This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

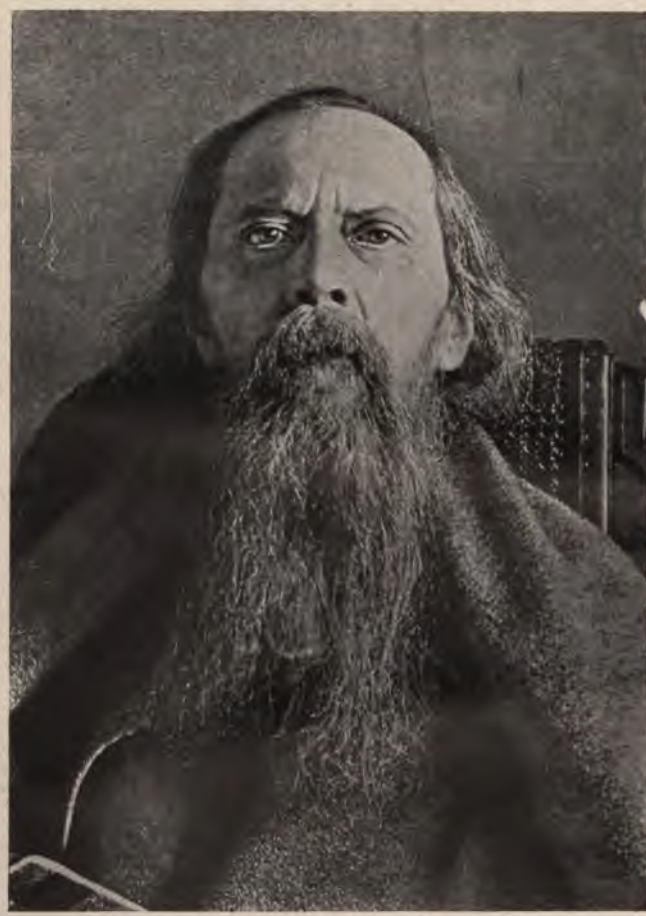
EX LIBRIS

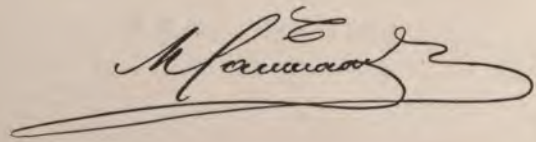
STANFORD

LIBRARIES

Gift of

Mr. and Mrs. Julian J. Meyer





Saltykov, M.E.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

М. Е. САЛТЫКОВА

[Н. ЩЕДРИНА].

ИЗДАНІЕ ПЯТОЕ.

Съ «Матеріалами для біографіи М. Е. Салтыкова», К. К. Арсеньева, и съ двумя портретами М. Е. Салтыкова.

ТОМЪ ПЯТЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1906 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1906.

891.73
S171
ed.5
v.5

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

I.

БЛАГОНАМѢРЕННЫЯ РѢЧИ.

(1872—1876 гг.).

КЪ ЧИТАТЕЛЮ.

Положеніе мое, какъ русскаго фрондёра, имѣетъ ту выгоду, что оно оставляетъ мнѣ много досужаго времени. Никто отъ меня ничего не ждетъ, никто на меня не возлагаетъ ни надеждъ, ни упованій. Я не состою членомъ ни единаго благотворительно-просвѣтительнаго общества, ни одной издающей сто одинъ томъ трудовъ комиссіи. Я не обязанъ распространять ни грамотность, ни малограмотность, ни даже безграмотность; ни полезныхъ свѣдѣній, ни безполезныхъ. Никто не требуетъ отъ меня ни проектовъ, ни рефератовъ, ни даже присутствія при празднованіи годовщинъ, пятилѣтій, десятилѣтій и т. д. Я просто скромный обыватель, пользующійся своимъ свободнымъ временемъ, чтобы посѣщать знакомыхъ и бесѣдовать съ ними, и совершенно довольный тѣмъ, что начальство не видитъ въ этомъ занятіи ничего предосудительнаго.

Знакомыхъ у меня тьма-тьмущая, и притомъ самыхъ разношерстныхъ. Не забудьте, что я ничего не ищу, кромѣ «благихъ начинаній»; а такъ какъ едва ли сыщется въ мірѣ человѣкъ, въ которомъ не притаилась бы хотя маленькая соринка этого добра, то понятно, какой перепутанный калейдоскопъ долженъ представлять кругъ людей, въ которомъ я обращаюсь. Я жму руки пустоплясамъ всѣхъ партій и лагерей, и не только не чувствую при этомъ никакой неловкости, но даже вполнѣ убѣжденъ, что русскій фрондёръ, у котораго нѣтъ ничего на умѣ, кромѣ «благихъ начинаній» (въ родѣ, напримѣръ, земскихъ учрежденій), иначе не можетъ и поступать. Въ свою очередь, и знакомые мои, зная, что у всякаго изъ нихъ есть хоть какой-нибудь пунктикъ, которому я сочувствую, тоже не

оставляютъ меня своими рукожатіями. И такимъ образомъ мы живемъ. Пріятели сходятся у меня и диспутируютъ. Одинъ (аристократъ) говоритъ, что хорошо бы обуздать мужика; другой (демократъ) возражаетъ, что мужика обуздывать нечего, ибо онъ «преданъ», а что слѣдуетъ ли, нѣтъ ли обуздать дворянское вольномысліе; третій (педагогъ), не соглашаясь ни съ первымъ, ни со вторымъ, выражаетъ такое мнѣніе, что ни дворянъ, ни мужиковъ обуздывать нѣтъ надобности, потому что дворяне опора, а мужики—почва, а слѣдуетъ обуздать «науку». Я слушаю эти диспуты и благодушествую. Выслушаю одного—кажется, что у него есть кусочекъ «благихъ начинаній»; выслушаю другого—кажется, и у него есть кусочекъ «благихъ начинаній». Ибо, повторяю: нѣтъ въ мірѣ выжатаго лимона, изъ котораго нельзя было бы выжать хоть капельку «благихъ начинаній». «А что̀, думаю я себѣ, подберу-ка я эти кусочки: можетъ-быть, что-нибудь да и выйдетъ!»

Я знаю, впрочемъ, что не выйдетъ ничего. Я знаю даже, что привычка подбирать дрянные кусочки—привычка негодная, изнурительная. Она держитъ человѣка между двухъ стульевъ и отнимаетъ у него всякую возможность дѣйствовать въ какомъ бы то ни было смыслѣ. Когда кусочковъ наберется много, то изъ нихъ образуется не картина и даже не собраніе полезныхъ матеріаловъ, а простая куча хламу, въ которой едва ли можно разобрать, что̀ куда принадлежитъ. Рыться въ этой кучѣ, вытаскивая наудачу то одинъ, то другой осколокъ—работа унизительная и совершенно безплодная. Я знаю все это, но и за всѣмъ тѣмъ не только остаюсь при этой дурной привычкѣ, но и виновнымъ въ преднамѣренномъ бездѣльничествѣ признать себя не могу.

Во-первыхъ, скажите, на какой-такой «образъ дѣйствія» я, русскій фрондёръ, могу претендовать? Агитировать—запрещено; революціи затѣвать—тѣмъ паче. Вездѣ, куда бы я ни сунулъ свой носъ, я слышу: «что̀ вы! куда вы! да имѣйте же терпѣніе! развѣ вы не видите... благія начинанія!»—И это говорятъ мнѣ безъ смѣха, безъ озорства, безъ малѣйшаго желанія мистифировать меня. Напротивъ того, я чувствую, что субъектъ, произносящій эти предостереженія, самъ ходитъ на цыпочкахъ, словно боится кого разбудить; что онъ серьезно чего-то ждетъ и въ ожиданіи, пока придетъ это «нѣчто», боится не только за будущее ожидаемаго, но и за меня, фрондёра, за меня, ко-

торый непрошеннымъ участіемъ можетъ скомпрометировать и «дѣло обновленія», и *самого себя*. Что̀ долженъ я ощутить при видѣ этой благоговѣйной оторопи, если-бъ даже въ головѣ моей и вполнѣ созрѣла потрясательная рѣшимость агитировать страну по вопросу о необходимости яснаго закона о потравахъ? Очевидно, что прежде всего я долженъ ощутить ту же благоговѣйную оторопь, которую ощущаетъ и предостерегающій меня субъектъ. Онъ ходитъ на цыпочкахъ—стало-быть, и впрямь что-нибудь да готовится. Онъ такъ благожелательно предостерегаетъ меня отъ опасныхъ увлеченій—стало-быть, и впрямь я рискую услышать: «фюить!», если не буду держать руки по швамъ. Оторопѣлый, пораженный пророческимъ тономъ предостереженій, я впадаю въ недоумѣніе и инстинктивно останавливаю свой бѣгъ. За минуту я горѣлъ агитаціонною горячкою и готовъ былъ сложить голову, лишь бы добиться «яснаго» закона о потравахъ; теперь—я значительно хладнокровнѣе смотрю на это дѣло и разсуждаю о немъ нѣсколько иначе.—А что̀, въ самомъ дѣлѣ,—говорю я себѣ:—ежели потравы могутъ быть устранены безъ агитаціи, то зачѣмъ же агитировать? Ежели нужно только «подождать», то отчего же не «подождать»? Все это до того резонно, что такъ и кажется, будто кто-то стоитъ и подталкиваетъ сзади: подожди да подожди! И вотъ я начинаю ждать, не зная, чего собственно я жду, и когда должно произойти то̀, что̀ я жду. А такъ какъ въ ожиданіи надобно же мнѣ какъ-нибудь провести время, то я располагаюсь у себя въ кабинетѣ и выслушиваю, какъ одинъ пріятель говоритъ: «надо обуздать мужика», а другой: «надо обуздать науку». Скажите, могу ли я поступить иначе?

Во-вторыхъ, какъ это ни парадоксально на первый взглядъ, но я могу сказать утвердительно, что всѣ эти люди, въ кругу которыхъ я обращаюсь и которые взаимно видятъ другъ въ другѣ «политическихъ враговъ»,—въ сущности, совсѣмъ не враги, а просто безтолковые люди, которые не могутъ или не хотятъ понять, что они болтаютъ совершенно одно и то же. Какъ ни стараются они провести между собою разграничительную черту, какъ ни увѣряютъ другъ друга, что такія-то мнѣнія можетъ имѣть лишь несомнѣнный жуликъ, а такія-то—безспорнѣйшій идіотъ, мнѣ все-таки сдается, что мотивъ у нихъ одинъ и тотъ же, что вся разница въ томъ, что одинъ дѣлаетъ руладу вверхъ, другой же обращаетъ ее внизъ, и что нѣтъ

даже повода задумываться надъ тѣмъ, кого цѣлесообразнѣе обуздать: мужика или науку. Все это одинаково цѣлесообразно въ томъ смыслѣ, что про эту «цѣлесообразность» одинаково цѣлесообразно можно сказать: «наплевать»... Слѣдовательно, если я и могу быть въ чемъ-нибудь обвиненъ, то единственно только въ томъ, что вступаю въ сношеніе съ людьми, разговаривающими объ обузданіи вообще, и выслушиваю ихъ. Но вѣдь не бѣжать же мнѣ, въ самомъ дѣлѣ, на необитаемый островъ, чтобы скрыться отъ нихъ!

Я родился въ атмосферѣ обузданія, я таинственною пуповиной прикрѣпленъ къ людямъ обузданія. Отъ раннихъ лѣтъ дѣтства я не слышу иныхъ разговоровъ, кромѣ разговоровъ объ обузданіи (хотя самое слово «обузданіе» и не всегда въ нихъ упоминается), и полагаю, что эти же разговоры проводятъ меня и въ могилу. Все относящееся до обузданія вошло, такъ сказать, въ интимную обстановку моей жизни, примелькалось, какъ плоскій русскій пейзажъ, прислушалось, какъ сказка старой няньки, и этого, мнѣ кажется, совершенно достаточно, чтобъ объяснить то равнодушіе, съ которымъ я отношусь къ обуздывательной средѣ и къ вопросамъ, ее волнующимъ. Я до такой степени *привыкъ* къ нимъ, что, право, не приходитъ даже на мысль вдумываться, въ чемъ собственно заключаются тѣ тонкости, которыми одинъ обуздательный проектъ отличается отъ другого таковогожъ. Спросите меня, что̀ либеральнѣе: обуздывать ли человѣчество при помощи земскихъ управъ, или при помощи особыхъ о земскихъ повинностяхъ присутствій — клянусь, я не найдусь даже отвѣтить на этотъ вопросъ. Я не понимаю, въ чемъ состоитъ сущность его, не могу себѣ объяснить, зачѣмъ тутъ привлеченъ либерализмъ? Мнѣ кажется, что оба рѣшенія, на которыя указываетъ вопросъ, одинаково стоятъ на почвѣ обузданія и различаются между собою лишь совершенно недоступною для меня діалектическою тонкостью. Поэтому я съ одинаковымъ равнодушіемъ протягиваю руку какъ сторонникамъ земскихъ управъ, такъ и защитникамъ особыхъ о земскихъ повинностяхъ присутствій. Вѣдь и тѣ, и другіе одинаково говорятъ мнѣ объ «обузданіи» — зачѣмъ же я буду цѣловаться съ однимъ и отворачиваться отъ другого изъ-за того только, что первый даетъ мнѣ на копейку менѣе обузданія, нежели второй? Лучше я дамъ каждому по копейкѣ своихъ—и пускай себѣ они сотрясаютъ воздухъ раз-

сказами о преимуществахъ земскихъ управъ надъ особыми о земскихъ повинностяхъ присутствіями, и наоборотъ...

Очень возможно, что я ошибаюсь, но мнѣ кажется, что всѣ эти частныя попытки, направленныя или къ тому, чтобы на вершокъ укоротить принципъ обузданія, или къ тому, чтобы на вершокъ удлинить его, не имѣютъ никакого существеннаго значенія. Сегодня на вершокъ короче, завтра—на вершокъ длиннѣе: все это еще больше удерживаетъ дѣло на почвѣ внезапностей и колебаній, нимало не разъясняя самаго принципа обузданія. Невольно приходитъ на мысль: если такъ много спорятъ объ укорачиваніяхъ и удлиненіяхъ принципа, то почему же не перенести споръ прямо на самый принципъ?

Міросозерцаніе громаднаго большинства людей все сплошь зиждится на принципѣ «обузданія». Я знаю, что многіе удивятся, услышавъ, что къ нимъ примѣняютъ эпитетъ «обуздывателей», но удивятся единственно потому, что слишкомъ ужъ буквально понимаютъ слово «обузданіе». Вдумайтесь въ смыслъ этого выраженія, и вы увидите, что «обузданіе» совсѣмъ не равносильно тому, что̀ на мѣстномъ жаргонѣ извѣстно подъ именемъ «подтягиванія», и что дѣйствительное значеніе этого выраженія гораздо обширнѣе и универсальнѣе. Сто̀итъ только припомнить сказки о «почвѣ» со всею свитою условныхъ формъ общежитія, союзовъ и проч., чтобы понять, что вся наша бѣдная жизнь замкнута тутъ, въ безчисленныхъ и перепутанныхъ развѣтвленіяхъ принципа обузданія, изъ которыхъ мы тщетно усиливаемся выбраться то съ помощью устнаго и гласнаго судопроизводства, то съ помощью переложенія земскихъ повинностей изъ натуральныхъ въ денежныя... Увы! мы стараемся устроиться какъ лучше, мы враждуемъ другъ съ другомъ по вопросу о переименованіи земскихъ судовъ въ полицейскія управленія, а въ концѣ концовъ все-таки убѣждаемся, что даже передача слѣдственной части отъ становыхъ приставовъ къ судебнымъ слѣдователямъ (мѣра сама по себѣ очень полезная) не избавляетъ насъ отъ тупого чувства недовольства, которое и послѣ учрежденія судебныхъ слѣдователей попрежнему продолжаетъ окрашивать всѣ наши поступки, всѣ житейскія отношенія наши.

Ясно, что тутъ скрывается крупное недоразумѣніе, довольно близкое ко лжи, разрѣшеніе котораго совершенно не зависитъ отъ того, чью руку, помѣщичью или крестьянскую, держатъ мировые посредники. Ка̀къ же поступить

въ данномъ случаѣ? Что предпринять, чтобы освободиться отъ чувства недовольства, отравляющаго жизнь? Ужъ не начать ли съ того, на что большинство современныхъ «дѣльцовъ» смотритъ именно какъ на ненужное и непрактичное? Не начать ли съ ревизіи самаго принципа обузданія, съ разоблаченія той массы лганья, которая непроницаемымъ облакомъ окружаетъ этотъ принципъ и мѣшаетъ какъ слѣдуетъ разсмотрѣть его?

Говоря по совѣсти, это именно самое подходящее средство. Я совсѣмъ не отрицатель. Я не отвергаю той пользы, которая можетъ произойти для человѣчества отъ улучшенія быта становыхъ приставовъ, или отъ того, что всѣ земскія управы будутъ относиться къ своему дѣлу съ рачительностью. Но я стою на одномъ: что частные вопросы не имѣютъ права загромождать до такой степени человѣческіе умы, чтобы исключать вопросы общіе. Я думаю даже, что ежели въ обществѣ существуетъ вкусъ къ общимъ вопросамъ, то это не только не вредитъ частностямъ, но даже помогаетъ имъ. При освѣщеніи общихъ вопросовъ и вопросъ о всеобщей воинской повинности будетъ разрѣшенъ сознательнѣе, и вопросъ объ устройствѣ земскихъ больницъ получитъ болѣе раціональное осуществленіе. Иногда кажется: вотъ вопросъ не отъ міра сего, вотъ вопросъ, который ни съ какой стороны не можетъ прикасаться къ насущнымъ потребностямъ общества — для чего же, дескать, говорить о такихъ вещахъ? Но вѣдь это вздоръ, любезный читатель! Это только жалкая уловка лгуновъ-дѣльцовъ! Сообразите только: возможное ли это дѣло, чтобы вопросъ глубоко-человѣческій, вопросъ, затрогивающій основныя отношенія человѣка къ жизни и ея явленіямъ, могъ хотя на одну минуту оставаться для человѣка безынтереснымъ, а тѣмъ болѣе могъ бы помѣшать ему устраиваться на практикѣ возможно выгоднымъ для себя образомъ,—и вы сами навѣрное скажете, что это вздоръ. Это до такой степени вздоръ, что даже мы, современные практики и дѣльцы, отмаливающіеся отъ общихъ вопросовъ, какъ отъ проказы,— даже мы, сами того не понимая, дѣйствуемъ не иначе, какъ во имя тѣхъ общечеловѣческихъ опредѣленій, которыя продолжаютъ теплиться въ насъ, несмотря на компактный слой наноснаго практическаго хлама, стремящагося заглушить ихъ! Если-бъ это было иначе, откуда же явились бы земскія управы? И откуда получила бы тверская земская управа рѣшимость ассигно-

вать необходимыя суммы для поддержанія артельныхъ сыроваренъ?

Какъ бы то ни было, но принципъ обузданія продолжаетъ стоять незыблемый, неизслѣдованный. Онъ написанъ во всѣхъ азбукахъ, на всѣхъ фронтисписахъ, на всѣхъ лбахъ. Онъ до того незыблемъ, что даже говорить о немъ не всегда удобно. Не потому ли—спрашивается—онъ такъ живучъ, не потому ли о немъ неудобно говорить, что около него ютятся и кормятся цѣлыя арміи лгуновъ?

Итакъ, побесѣдуемъ о лгунахъ.

Лгуны, о которыхъ идетъ рѣчь и для которыхъ «обузданіе» представляетъ отправную точку всей дѣятельности, бываютъ двухъ сортовъ: лицемѣрные, сознательно-лгущіе, и искренніе, фанатическіе.

Лицемѣрные лгуны суть истинные дѣльцы современности. Они лгутъ, какъ говорилось когда-то, при крѣпостномъ правѣ, «пуръ лѐ жансъ», нимало не отрицая ненужности принципа обузданія въ отношеніи къ себѣ и людямъ своего круга. Они забрасываютъ васъ всевозможными «краеугольными камнями», загромождаютъ вашу мысль всякими «основами» и тутъ же, на вашихъ глазахъ, на камни паскудятъ и на основы плюютъ. Въ обществѣ эти люди носятъ названіе «дѣльцовъ», потому что они не прочь отъ компромиссовъ, и «добрыхъ малыхъ», потому что они всегда готовы на всякое двоедушіе. И Богу помолиться, и покощунствовать. Это ревнители тихаго разврата, рыцари бездѣлицы, показывающіе свои патенты лишь такимъ же рыцарямъ, какъ и они, посѣтители «отдѣльныхъ кабинетовъ», устраиватели всевозможныхъ комбинацій на основаніи правила: «и волки сыты, и овцы цѣлы», антреметтёры высшей школы, политическія и нравственныя кукушки, потихоньку кладущія свои яйца въ чужія гнѣзда, при случаѣ—разбойники, при случаѣ—карманные воришки.

Лгуны искренніе суть тѣ утописты «обузданія», передъ которыми содрогается даже современная, освоившаяся съ лганьемъ дѣйствительность. Это чудища, которыя лгутъ не потому, чтобы имѣли умыселъ вводить въ заблужденіе, а потому, что не хотятъ знать ни свидѣтельства исторіи, ни свидѣтельства современности, которые ежели и видятъ фактъ, то признаютъ въ немъ не фактъ, а капризъ человѣческаго своеволія. Они бросаютъ въ васъ краеугольными камнями вполнѣ добросовѣстно, нимало не помышляя о томъ, что камень можетъ убить. Это угрюмые люди, никогда не по-

кидающіе марева, созданнаго ихъ воображеніемъ, и съ неумолимою послѣдовательностью проводящіе это марево въ дѣйствительность. Всегда вооруженные, недоступные и неподкупные, они не останавливаются не только передъ насиліемъ, но и передъ пустотою. «Если въ результатѣ нашихъ усилій оказывается только пустота,—говорятъ они,—то, слѣдовательно, оно не можетъ иначе быть». И вновь начинаютъ безумную работу данаидъ, совершая мимоходомъ злодѣянія, вырывая крики ужаса и нимало не наполняя бездны. Лично каждый изъ этихъ господъ можетъ вызвать лишь изумленіе передъ безграничностью человѣческаго тупоумія, изумленіе, впрочемъ, значительно умѣряемое опасеніемъ: вотъ-вотъ сейчасъ налетитъ! вотъ сейчасъ убьетъ, сотретъ съ лица земли этотъ ураганъ безсознательнаго и тупоумнаго лганья, отстаивающій свое право убивать во имя какой-то личной «искренности», до которой никому нѣтъ дѣла и передъ которой, тѣмъ не менѣе, сотни глупцовъ останавливаются съ разинутыми ртами: это, дескать, «искренность», а искренность надобно уважать!

Вотъ теоретики «обузданія», вотъ тѣ, которые съ неслыханною наглостью держатъ въ осадѣ человѣческое общество. Если хотите знать, которая изъ указанныхъ выше двухъ категорій лгуновъ кажется на мой взглядъ болѣе терпимою, я, не обинуясь, отвѣчу: лгуны сознательные, лицемѣрные. Лично, быть-можетъ, каждый изъ нихъ во сто кратъ омерзительнѣе, нежели лгунъ-фанатикъ, но личный характеръ людей играетъ далеко не первостепенную роль въ дѣлахъ міра сего. Я отъ души уважаю искренность, но не люблю костровъ и пытокъ, которыми она сопровождается, въ товариществѣ съ тупоуміемъ. Нѣтъ ничего ужаснѣе, какъ искренность, примѣненная къ насилію, и общество, руководимое фанатиками лжи, можетъ навѣрное разсчитывать на предстоящее превращеніе его въ пустыню. Я предпочитаю лгуна-лицемѣра уже по тому одному, что онъ никогда не лжетъ до конца, но лжетъ и оглядывается. Хотя онъ тоже не прочь отъ пытки, но у него нѣтъ того устоя, который окружаетъ пытку ореоломъ величія. У мелкаго плута и сердце, и руки всегда короче, нежели у подлиннаго, искренняго душегуба. Вора законъ посылаетъ въ смирительный домъ, душегуба—на каторгу. Не потому онъ дѣлаетъ это различіе, чтобы воръ былъ болѣе достоинъ уваженія, а потому, что онъ менѣе вреденъ. Наконецъ, лицемѣра-лгуна я могу презирать, тогда какъ въ виду

лгуна-фанатика мнѣ ничего другого не остается, какъ трепетать. Какъ хотите, а право презирать все-таки хоть сколько-нибудь да облегчаетъ меня...

Освободиться отъ «лгуновъ» — вотъ насущная потребность современнаго общества, потребность, во всякомъ случаѣ, не менѣе настоятельная, какъ и потребность въ правильномъ разрѣшеніи вопроса о дешевѣйшихъ способахъ околки льда на волжскихъ пристаняхъ.

Убѣждать теоретиковъ обузданія въ необходимости ревизіи этого принципа было бы, однако-жъ, совершенно напрасною тратой времени. Большинство изъ нихъ (лгуны-лицемѣры) не только не страдаетъ отъ того, что общество изнемогаетъ подъ игомъ насильно навязанныхъ ему и не имѣющихъ ни малѣйшаго отношенія къ жизни принциповъ, но даже извлекаетъ изъ общественной забитости извѣстныя личныя удобства. Меньшинство же (лгуны-фанатики) хотя и подвергаетъ себя обузданію, наравнѣ съ массою простецовъ, но неизвѣстно еще, почему люди этого меньшинства такъ сильно вѣрятъ въ творческія свойства излюбленнаго ими принципа: потому ли, что онъ влечетъ ихъ къ себѣ своими внутренними свойствами, или потому, что имъ извѣстны только легчайшія формы его. Есть много постниковъ, которые охотно держатъ постъ, сопровождающійся постною стерляжьей ухою, но которые навѣрное совсѣмъ не такъ ретиво пропагандировали бы теорію умерщвленія плоти, если-бъ она осуществлялась для нихъ въ формѣ ржаного хлѣба, приправленнаго лебедой.

На дѣлѣ героемъ обузданія оказывается совсѣмъ не теоретикъ, а тотъ бѣдный простецъ, который несетъ на своихъ плечахъ всѣ практическія примѣненія этого принципа. Онъ несетъ ихъ безъ усладъ, которыя могли бы обмануть его насчетъ свойствъ лежащаго на немъ бремени, безъ надежды на возможность хоть временныхъ экскурсій въ область запретнаго; несетъ потому, что вся жизнь его такъ сложилась, чтобъ сдѣлать изъ него живулю, способную выдерживать всевозможные обуздательные опыты. Онъ чтитъ всѣ союзы, но чтитъ не постольку, поскольку они защищаютъ его самого, а поскольку они ограждаютъ другихъ. Для него лично нѣтъ въ мірѣ угла, который не считался бы заповѣднымъ, хотя онъ самъ открытъ со всѣхъ сторонъ, открытъ для всѣхъ воздѣйствій, на изобрѣтеніе которыхъ такъ тароватъ досужій человѣческій умъ.

Вотъ для него-то именно и необходимы тѣ разъясненія, о которыхъ идетъ рѣчь.

Нельзя себѣ представить положенія болѣе запутаннаго, какъ положеніе добродушнаго простеца, который изо всѣхъ силъ сгибаетъ себя подъ игомъ обузданія и въ то же время чувствуетъ, что жизнь на каждомъ шагу такъ и подмываетъ его выскользнуть изъ-подъ этого ига. Строго обдуманной теоріи у него нѣтъ; онъ никогда не пробовалъ доказать себѣ необходимость и пользу обузданія: онъ не знаетъ, откуда оно пришло и какъ сложилось; для него это просто modus vivendi, который онъ всосалъ себѣ вмѣстѣ съ молокомъ матери. Съ другой стороны, онъ никогда не разсуждалъ и о томъ, почему жизнь такъ настойчиво подстрекаетъ его на бунтъ противъ обузданія; ему сказали, что это происходитъ оттого, что «плоть немощна» и что «врагъ силенъ»—и онъ на-слово повѣрилъ этому объясненію. Ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ опереться ему все-таки не на что. Онъ не имѣетъ надежной крѣпости, изъ которой могъ бы дѣлать набѣги на бунтующую плоть; не имѣетъ и укромной лазейки, изъ которой могъ бы послать «бодрому духу» справедливый укоръ, что вотъ, какъ ни дрянна и ни немощна плоть, а все-таки почему-нибудь да беретъ же она надъ тобою, «бодрымъ духомъ», верхъ. Словомъ сказать, онъ открытъ и беззащитенъ со всѣхъ сторонъ...

Но какъ ни жалка эта всесторонняя беззащитность, а для него, простеца, неизвѣстно зачѣмъ живущаго, неизвѣстно къ чему стремящагося, даже и она служитъ чѣмъ-то въ родѣ спасительной пристани. Устраните изъ жизни простеца элементъ безсознательности, и вы увидите передъ собою человѣка, отданнаго въ жертву непрерывному ужасу. Ужасъ — въ виду безрадостности существованія, со всѣхъ сторонъ опутаннаго обузданіемъ, и ужасъ же — въ виду угрызеній, которыя необходимо должны отравить торжество немощной плоти надъ бодрымъ духомъ. Куда ни оглянись—вездѣ огненная геенна. Ясно, что при такой обстановкѣ совсѣмъ невозможно было бы существовать, если-бъ не имѣлось въ виду облегчительнаго элемента, позволяющаго взглянуть на всѣ эти ужасы глазами пьянаго человѣка, который готовъ и море переплыть, и съ колокольни соскочить безъ всякой мысли о томъ, что изъ этого можетъ произойти. Ясно, что только одна безсознательность можетъ выручить простеца въ его затруднительномъ поло-

женіи. Если человѣкъ беззащитенъ, если у него нѣтъ средствъ бороться ни за, ни противъ немощной плоти, то ему остается только безусловно отдаться на волю гнетущей необходимости, въ какой бы формѣ она ни представлялась. Исполнивши это, онъ, по крайней мѣрѣ, освобождаетъ себя отъ вмѣняемости передъ судомъ собственной совѣсти, отъ ужасовъ, которыми она грозитъ ему на каждомъ шагу. Подобно лунатику, онъ идетъ навстрѣчу препятствію, столь же чуждый сознательному намѣренію преодолѣть его, какъ и сознательному опасенію разбить себѣ лобъ. Случись первое — онъ совершаетъ подвигъ безъ всякой мысли о его совершеніи; случись второе—онъ встрѣчаетъ смерть, какъ одну изъ внезапностей, сцѣпленіемъ которыхъ была вся его жизнь.

Но, — скажутъ, быть-можетъ, многіе: — что же намъ до того, сознательно или безсознательно примиряется человѣкъ съ жизнью? Вѣдь дѣло не въ томъ, въ какой формѣ совершается это примиреніе, а въ томъ, что оно, несмотря на форму, совершается до такой степени полно, что самъ примиряющійся не замѣчаетъ никакой фальши въ своемъ положеніи! Вѣдь примирившійся счастливъ — оставьте же его быть счастливымъ въ его безсознательности, не будите въ немъ напраснаго недовольства самимъ собою, недовольства, которое только производитъ въ немъ внутренній разладъ, но, въ концѣ концовъ, все-таки не сдѣлаетъ его ни болѣе способнымъ къ правильной оцѣнкѣ явленій, изъ которыхъ слагается ни для кого не интересная жизнь простеца, ни менѣе беззащитнымъ противъ вторженія въ эту жизнь всевозможныхъ внезапностей.

Возраженіе это, прежде всего, не весьма нравственно, хотя по преимуществу слышится со стороны людей, считающихъ себя охранителями добрыхъ нравовъ въ обществѣ. Въ основаніи его лежатъ темные виды на человѣческую эксплоатацію, которая, какъ извѣстно, ничѣмъ такъ не облегчается, какъ нахожденіемъ массъ въ состояніи безсознательности. Во-вторыхъ, если и есть основаніе допустить возможность сочетанія счастія съ безсознательностью, то счастье такого рода имѣетъ столь же мало шансовъ на прочность, сколь мало имѣетъ ихъ и сама безсознательность. Послѣдняя хотя и можетъ служить примирителемъ между человѣкомъ и жизнью, но лишь до тѣхъ поръ, покамѣстъ тому благопріятствуетъ спокойно-сложившаяся внѣшняя обстановка. Съ измѣненіемъ обстановки, съ вторженіемъ

къ нее новаго элемента, смягчающія свойства безсознательности истираются съ поразительной быстротой, и услуги, доставляемыя ею, дѣлаются не только ничтожными, но и прямо назойливыми, почти омерзительными. Такого рода метаморфозы вовсе не рѣдкость даже для насъ; мы на каждомъ шагу встрѣчаемъ мечущихся изъ стороны въ сторону простецовъ, и если проходимъ мимо нихъ въ недоумѣніи, то потому только, что ни мы, ни сами мечущіеся не даемъ себѣ труда формулировать не только источникъ ихъ отчаянія, но и свойство претерпѣваемой ими боли. А источникъ этотъ всегда одинъ и тотъ же: это — непроизвольное прекращеніе состоянія безсознательности.

Простецъ выносливъ — это правда. Покуда жизнь его идетъ обычною прозябательною колеей, гнетъ обузданія остается для него почти нечувствительнымъ. Но едва ли въ цѣломъ мірѣ найдется такое неосмысленное существованіе, которое можно было бы навсегда удержать на исключительно прозябательной колеѣ. У самаго простѣйшаго изъ простецовъ найдется въ жизни такая минута, которая разомъ выведетъ его изъ инерціи, разобьетъ въ прахъ его безсознательное благополучіе и заставитъ безнадежно метаться на прокустовомъ ложѣ обузданія. Вспомните, сколько въ этомъ бѣдномъ существованіи больныхъ мѣстъ, которыя такъ и напрашиваются на уязвленіе! Вспомните, что оно обставлено цѣлою свитой азбучныхъ афоризмовъ, изъ которыхъ ни одинъ не защищаетъ, а, напротивъ того, представляетъ легко отворяющуюся дверь для всевозможныхъ наѣздовъ! А между тѣмъ простецъ сжился съ этими афоризмами; онъ чувствуетъ себя сросшимся съ ними, онъ по нимъ устроилъ всю свою жизнь! И вдругъ является что-то нежданное, непредвидѣнное, вслѣдствіе чего онъ чувствуетъ, что съ него, не имѣющаго никакого понятія о самозащитѣ, живьемъ сдираютъ наносную кожу, которую онъ искони считалъ своею собственною! Какъ поступитъ онъ въ такомъ случаѣ?

Нѣтъ сомнѣнія, случись что-нибудь подобное съ теоретикомъ-дѣльцомъ — онъ скажетъ себѣ: «наплевать!» и пойдетъ туда, куда укажетъ ему его личная выгода. Случись то же самое съ теоретикомъ-фанатикомъ — онъ скажетъ себѣ: «это дьявольское навожденіе» — и постарается отбиться отъ него съ помощью пытки, костровъ и т. д. Но простецъ въ подобныхъ случаяхъ видитъ себя какъ въ лѣсу. Онъ не можетъ сказать себѣ: «устрою свою жизнь по-новому»,

потому что онъ весь опутанъ афоризмами, и нѣтъ для него другого выхода, кромѣ изнурительнаго маяченія отъ одного афоризма къ другому. Онъ никогда ничего не ждалъ, ни къ чему не готовился. Онъ самый процессъ собственнаго существованія выносилъ только потому, что не понималъ ни причинъ, ни послѣдствій своихъ и чужихъ поступковъ. И вдругъ для него наступаетъ моментъ какой-то загадочной ликвидаціи, въ которой онъ ровно ничего не понимаетъ. Жена сбѣжала съ юнкеромъ, сосѣдъ завладѣлъ полемъ, другъ оказался предателемъ. «Что̀ случилось?—въ смущеніи спрашиваетъ онъ себя:—не обрушился ли міръ? не прекратила ли дѣйствіе завѣщанная преданіемъ общественная мудрость?» Но и міръ, и общественная мудрость стоятъ неприкосновенные и нимало не тронуты тѣмъ, что въ ихъ глазахъ гибнетъ простецъ, котораго бросила жена, которому измѣнилъ другъ, у котораго сосѣдъ отнялъ поле.

Ничто не измѣнилось кругомъ, ничто не прекратило обычнаго ликованія, и только онъ, злосчастный простецъ, тщетно вопіетъ къ небу по дѣлу о побѣгѣ его жены съ юнкеромъ, съ тѣмъ самымъ юнкеромъ, который при немъ столько разъ и съ такимъ искреннимъ чувствомъ говорилъ о святости семейныхъ узъ!

Понятно, какъ долженъ онъ быть изумленъ. Въ томъ общемъ равнодушіи, которое встрѣчаетъ его горе, онъ видитъ какой-то странный внутренній разладъ, какую-то двойную, саму себя побивающую мораль. Мало того: самые поступки его жены, сосѣда, друга кажутся ему загадочными. Эти люди совсѣмъ не отрицатели и протестанты; напротивъ того, они сами не разъ утверждали его въ правилахъ общежитія, сами являлись пламенными защитниками тѣхъ афоризмовъ, которыми онъ, съ ихъ же словъ, окружилъ себя. Что̀ побудило ихъ уклониться отъ прямой дороги, не стѣсняясь даже тѣмъ, что это уклоненіе разбиваетъ чье-то существованіе? Нѣтъ ли въ ихъ поступкѣ двойной морали, притворства, порочнаго дѣйствія, за которыя ихъ должны были бы преслѣдовать угрызенія совѣсти?

Увы! тутъ вовсе нѣтъ никакой двойной морали, а что касается до угрызеній совѣсти, то самая надежда на нихъ оказывается пустымъ ребячествомъ. Тутъ была простая мораль «пуръ лѐ жансъ», которую ни одинъ дѣлецъ обузданія никогда не считаетъ для себя обязательною и въ которой всегда имѣется достаточно широкая дверь, чтобы выйти изъ области азбучныхъ афоризмовъ самому и вы-

вести изъ нея своихъ присныхъ. Если простецъ не видитъ этой двери, тѣмъ хуже для него; но для дѣльца-теоретика эта слѣпота представляетъ даже выгоду, ибо устраняетъ толкотню. Онъ свободно дѣлаетъ черезъ эту дверь свои экскурсіи и свободно же возвращается черезъ нее въ область афоризмовъ, когда это нужно для подкрѣпленія морали «пуръ лѐ жансъ». Какъ истинно-развитой человѣкъ, онъ гуляетъ и тутъ, и тамъ, никогда не налагая на себя никакихъ узъ, но въ то же время отнюдь не воспрещая, чтобы другіе считали для себя наложеніе узъ полезнымъ. Напротивъ того, онъ охотно даже поддерживаетъ вкусъ къ узамъ, ибо вкусъ этотъ развязываетъ ему руки, расчищаетъ передъ нимъ больше мѣста...

Но какъ ни просто такое объясненіе обстоятельства, смутившаго жизнь бѣднаго простеца, для него оно все-таки представляетъ тарабарскую грамоту. Онъ не понимаетъ, что причину поразившей его смуты составляетъ особенная, не имѣющая ничего общаго съ жизнью теорія, которую сочинители ея, нимало не скрываясь, называютъ моралью «пуръ лѐ жансъ» и которую онъ, простецъ, принялъ за нѣчто вполнѣ серьезное. Видя, что исконные регуляторы его жизни поломаны, онъ не задается мыслью: что-жъ это за регуляторы, которые ломаются при первомъ прикосновеніи къ нимъ? не они ли именно измяли и скомкали всю его жизнь?—но прямо и искренно чувствуетъ себя несчастливымъ. Несчастіе вызоветъ въ немъ протестъ, но протестъ настолько смутный, насколько смутенъ и источникъ, породившій его. Отъ изумленія онъ переходитъ къ унынію и отчаянію. Онъ мечется какъ въ предсмертной агоніи; онъ предпринимаетъ тысячу дѣйствій, одно нелѣпѣе и безсильнѣе другого, и попеременно клянется то отомстить своимъ обидчикамъ, то самому себѣ разбить голову...

Вотъ вѣроятный практическій результатъ, къ которому, въ концѣ концовъ, долженъ придти самый выносливый изъ простецовъ при первомъ жизненномъ уколѣ. Ясно, что безсознательность, которая дотолѣ примиряла его съ жизнью, уже не даетъ ему въ настоящемъ случаѣ никакихъ разрѣшеній, а только вноситъ элементъ раздраженія въ непроницаемый хаосъ понятій, составляющій основу всего его существованія. Она не примиряетъ, а приводитъ къ отчаянію.

Ужели зрѣлища этого безсильнаго отчаянія не достаточно, чтобъ всмотрѣться нѣсколько пристальнѣе въ эту

спутанную жизнь, чтобъ спросить себя: что̀ же, наконецъ, скомкало и спутало ее? что̀ сдѣлало этого человѣка такъ глубоко-неспособнымъ къ какому-либо противодѣйствію? что̀ поставило его втупикъ передъ самымъ простымъ явленіемъ, потому только, что это простое явленіе вышло изъ размѣровъ рутинной колеи?

Допустимъ, однако-жъ, что жизнь какого-нибудь простеца не настолько интересна, чтобъ вникать въ нее и сожалѣть о ней. Вѣдь простецъ—это незамѣтная тля, которую высшій организмъ ежемгновенно давитъ ногой, даже не сознавая, что онъ что-нибудь давитъ! Пусть такъ! Пусть гибнетъ простецъ жертвою недоумѣній! Пусть осуществляется на немъ великій законъ борьбы за существованіе, въ силу котораго крѣпкій пріобрѣтаетъ еще бо̀льшую крѣпость, а слабый безъ разговоровъ отметается за предѣлы жизни!

Но не забудьте, что имя простеца—легіонъ, и что никакой законъ, какъ бы онъ ни былъ безповоротенъ въ своей послѣдовательности, не въ силахъ окончательно стереть этого легіона съ лица земли. Простецъ нарождается безпрерывно, какъ та тля, которой онъ служитъ представителемъ въ человѣческомъ обществѣ и которую не передавить и не истребить цѣлому сонмищу хищниковъ. Не простецовъ, не тли, а «крѣпкихъ» мало, да притомъ же на современномъ общественномъ языкѣ, по какому-то горькому извращенію понятій, «крѣпкимъ» называется совсѣмъ не тотъ, кто дѣйствительно борется за существованіе, а тотъ, кто, подобно кукушкѣ, кладетъ свои яйца въ чужія гнѣзда. Ужели, хотя въ виду того, что простецъ съѣдобенъ, что онъ представляетъ собою лучшую anima vilis, на которой можетъ осуществляться законъ борьбы за существованіе,—ужели въ виду хоть этихъ удобствъ найдется себялюбецъ изъ «крѣпкихъ» настолько ограниченный, чтобы желать истребленія «простеца» или его окончательнаго обезсиленія?

Надо сказать правду: нельзя указать ни одной книжки въ литературѣ «крѣпкихъ», гдѣ бы фантазіи подобнаго рода нашли для себя сознательное выраженіе. Напротивъ того, всѣ книжки свидѣтельствуютъ единогласно, что простецъ имѣетъ столь же неотъемлемое право на существованіе, какъ «крѣпкій», исключая, разумѣется, тѣхъ случаевъ, когда законъ борьбы, независимо отъ указаній филантропіи, безжалостно посѣкаетъ перваго и щадитъ второго. Но, къ сожалѣнію, эта похвальная осмотрительность въ значительной степени подрывается тѣмъ обстоятельствомъ,

что общее міросозерцаніе «крѣпкихъ» столь же мало отличается цѣльностью, какъ и міросозерцаніе «простецовъ». Говоря по совѣсти, оно не только лишено какой бы то ни было согласованности, но все сплошь какъ бы склеено изъ кусочковъ и изолированныхъ теорій, изъ которыхъ каждая питаетъ самоё себя, организуя такимъ образомъ какъ бы непрекращающееся вавилонское столпотвореніе.

Отъ этого происходитъ, что едва, напримѣръ, соціологическая или позитивная теорія успѣютъ найти мѣсто для простеца, какъ теорія теологическая или экономическая уже спѣшатъ отнять у него это мѣсто и указываютъ на другое. И такимъ образомъ, за спорами, простецъ остается непристроеннымъ. А тутъ, какъ бы на помощь смутѣ, является еще практика «крѣпкихъ», которая уже окончательно смѣшиваетъ шашки и истребляетъ даже послѣднія крохи теоретической стыдливости. Теорія говоритъ свое: нужно пристроить простеца, нужно освободить его отъ колебаній, которыя тяготѣютъ надъ его жизнью, а практика *дѣлаетъ* свое, то-есть служитъ самымъ обнаженнымъ выраженіемъ людской ограниченности, не видящей впереди ничего, кромѣ непосредственныхъ результатовъ, пріобрѣтаемыхъ самолюбивою хищностью...

А между тѣмъ никто такъ не нуждается въ свободѣ отъ призраковъ, какъ простецъ, и ничье освобожденіе не можетъ такъ благотворно отозваться на цѣломъ обществѣ, какъ освобожденіе простеца.

Подумайте! Покуда «крѣпкій», благодушествуя, придумываетъ теоріи союзовъ—простецъ несетъ на себѣ все бремя дѣйствительнаго производительнаго труда. Покуда «крѣпкій» кладетъ свои яйца въ чужое гнѣздо (увы! въ гнѣздо того же простеца!)—простецъ обязывается устроить это гнѣздо, сдѣлать его удобнымъ для высиживанья чужихъ яицъ. Но какая же можетъ пойти на умъ работа, если этотъ умъ подавленъ призраками, если онъ вращается въ какой-то нескончаемой пустотѣ, изъ которой нѣтъ другого выхода, кромѣ отчаянія? Подумайте, сколько тутъ теряется нравственныхъ силъ! А если нравственныя силы нипочемъ на современномъ базарѣ житейской суеты, то переложите ихъ на гроши и сообразите, какъ великъ окажется недочетъ послѣднихъ, вслѣдствіе одного того только, что простецъ, пораженный уныніемъ, не видитъ ясной цѣли ни для труда, ни даже для самаго существованія!

О, теоретики пѣнкоснимательства! О, вы, которые съ

пытливостью, заслуживающей лучшей участи, допытываетесь, сколько грошей могло бы быть сбережено, если-бъ суммы, отпускаемыя на околку льда на волжскихъ пристаняхъ, были расходуемы болѣе осмотрительнымъ образомъ! Подумайте, не цѣлесообразнѣе ли поступили бы вы, обративъ вашу всепожирающую пѣнкоснимательную дѣятельность на изслѣдованіе тѣхъ нравственныхъ и матеріальныхъ ущербовъ, которые несетъ человѣческое общество, благодаря господствующимъ надъ нимъ призракамъ!

I.—Въ дорогѣ.

Я ѣхалъ недовольный, измученный, разстроенный. Въ М., гдѣ были у меня дѣла по имѣнію, ничто мнѣ не удалось. Дѣла оказались запущенными; мои требованія встрѣчали или прямой отпоръ, или такую уклончивость, которая не предвѣщала ничего добраго. Предвидѣлось судебное разбирательство, разъѣзды, расходы. Обладаніе правомъ представлялось чѣмъ-то сомнительнымъ, почти тягостнымъ.

— Очень ужъ вы, сударь, просты!—утѣшали меня мои м—скіе пріятели. Но и это утѣшеніе дѣйствовало плохо. Въ первый разъ въ жизни мнѣ показалось, что едва ли было бы не лучше, если-бъ про меня говорили: «вотъ молодецъ! Налетѣлъ, ухватилъ за горло—и дѣлу конецъ!»

Дорога отъ М. до Р. идетъ семьдесятъ верстъ проселкомъ. Дорога тряска и мучительна; лошади сморены и еле живы; тарантасъ сколоченъ на живую нитку; на половинѣ дороги надо часа три кормить. Но на этотъ разъ дорога была для меня поучительна. Сколько разъ проѣзжалъ я по ней, и никогда ничто не поражало меня: дорога какъ дорога, и лѣсомъ идетъ, и перелѣсками, и полями, и болотами. Но вотъ лѣтъ десять какъ я не былъ на родинѣ, не былъ съ тѣхъ поръ, какъ помѣщики взяли въ руки гитары и запѣли:

На рѣкахъ вавилонскихъ—тамо сѣдохомъ и плакахомъ...

и до какой степени все измѣнилось кругомъ!

Съ тѣхъ поръ и народъ «сталъ слабъ», и всѣ мы оказались «просты... ахъ, какъ просты!», и «нѣмецъ насъ одолѣлъ!» Да, нѣмецъ. «Долитъ нѣмецъ, да и шабашъ!»—вопіютъ въ одинъ голосъ всѣ кабатчики, всѣ кабазники, всѣ

содержатели постоялыхъ дворовъ. И вамъ ничего не остается дѣлать, какъ согласиться съ этимъ воплемъ, потому что вы видите собственными глазами и чуете сердцемъ, какъ всюду—и на землѣ, и подъ землею, и на водѣ, и подъ водою—всюду ползетъ нѣмецъ. Въ этихъ коренныхъ русскихъ мѣстахъ, гдѣ нѣкогда попирали ногами землю русскіе угодники и благочестивые русскіе цари и царицы,—въ настоящую минуту почти всевластно господствуетъ нѣмецъ. Онъ снимаетъ рощи, корчуетъ пни, разводитъ плантаціи, овладѣваетъ всѣми промыслами, отъ которыхъ, при менѣе черной сравнительно работѣ, можно ожидать болѣе прибылей, и даже угрожаетъ забрать въ свои руки исконный здѣшній промыселъ «откармливанія пѣуновъ». И чѣмъ ближе вы подъѣзжаете къ Троицкому посаду и къ Москвѣ, этому средоточію русской святыни, тѣмъ болѣе убѣждаетесь, что нѣмецъ совсѣмъ не перелетная птица въ этихъ мѣстахъ, что онъ не на шутку задумалъ здѣсь утвердиться, что онъ устраивается прочно и надолго и вѣрною рукой раскидываетъ мрежи, въ которыхъ суждено барахтаться всевозможнымъ Трифонычамъ, Сидорычамъ и прочей неуклюжей бѣлужинѣ и сомовинѣ, заспавшейся, опухшей, спившейся съ круга.

— Чей это домикъ?- спрашиваю я, указывая на стоящій въ сторонѣ новенькій, съ иголочки, домикъ, кругомъ котораго уже затѣянъ молодой садъ.

— Это Крестьянъ Иваныча! -отвѣчаетъ ямщикъ.—Онъ тутъ рощу у помѣщика купилъ. Вонъ онъ лѣсъ-то! Ишь сколько повалилъ! Словно городъ, костровъ-то наставилъ!

Я смотрю по указываемому направленію и вижу, что вдали дѣйствительно раскинулось словно большое село. Это сложенныя стопы бревенъ, тесу, досокъ, сажени всякаго рода дровъ: швырковыхъ, угольныхъ, хворосту и т. д.

— Кто же этотъ Крестьянъ Иванычъ?

— Нѣмецъ. Онъ ужъ лѣтъ пять здѣсь орудуетъ. Тощой пришелъ, а теперь, смотри, какую усадьбу взбодрилъ!

— Хорошій человѣкъ?

— Душа-человѣкъ. Какъ есть русскій. И не скажешь, что нѣмецъ. И вино пьетъ, и сморкается по нашему; въ церковь только не ходитъ. А на работѣ—дошлый-предошлый, все самъ! И хозяйка у него—все сама!

— А дорого за рощу далъ?

— Пустое дѣло. Почесть-что задаромъ купилъ. Иванъ Матвѣичъ помѣщикъ тутъ былъ, господинъ Сибиряковъ

прозывался. Крестьянъ-то онъ въ казну отдалъ. Остался у него лѣсокъ—самъ онъ въ него не заглядывалъ, а лѣсокъ ничего, хоть на какую угодно стройку гожъ, да болотце десятинъ съ сорокъ. Ну, онъ и говоритъ, Матвѣй-то Иванычъ: «гдѣ мнѣ, говоритъ, съ этимъ дермомъ возжаться!» Взялъ да и продалъ Крестьянъ Иванычу за безцѣнокъ. Владай!

— Отчего же свои крестьяне не купили, коли дешево?

— А крестьяне покудова проклаждались, покудова что... Да и засилья настоящаго у мужиковъ нѣтъ: все въ разсрочку да въ годы—жди тутъ! А Крестьянъ Иванычъ—настоящій человѣкъ, вѣроятный! Онъ тебѣ вынулъ бумажникъ, отсчиталъ денежки—поѣзжай на всѣ четыре стороны! Хошь—въ Москвѣ, хошь—въ Питерѣ, хошь—на теплыхъ водахъ живи! Болотце-то вотъ, которое просто въ придачу, задаромъ пошло, Крестьянъ Иванычъ нынче высушилъ да засѣялъ—такая ли трава расчудесная пошла, что теперича этому болотцу и цѣны по нашему мѣсту нѣтъ!

— Однако этотъ Крестьянъ Иванычъ, если въ засилье взойдетъ, онъ у васъ скоро съ лѣсами-то порѣшитъ!

— Это ты насчетъ того, что ли, что лѣсовъ-то не будетъ? Нѣтъ, за имъ безъ опаски насчетъ этого жить можно. Потому онъ умный. Нашъ русскій — купецъ или помѣщикъ—это такъ. Этому дай въ руки топоръ, онъ все безо времени сдѣлаетъ. Или съ весны рощу валить станетъ, или скотину по рубкѣ пуститъ, или подъ покосъ отдавать зачнетъ—ну, и останутся на томъ мѣстѣ одни пеньки. А Крестьянъ Иванычъ—тотъ съ умомъ. У него, смотри, какой лѣсъ на этомъ самомъ мѣстѣ лѣтъ черезъ сорокъ вырастетъ!

Ѣдемъ еще верстъ пять-шесть; проѣзжаемъ мимо усадьбы. Большой каменный двухэтажный домъ, съ башнями по бокамъ и вышкой по серединѣ; штукатурка мѣстами обвалилась; направо и налѣво каменные флигеля, службы, скотные и конные дворы, оранжереи, теплицы; во всѣ стороны тянутся проспекты, засаженные столѣтними березами и липами; сзади—темный, густой садъ; сквозь листву деревъ и кустовъ мѣстами мелькаетъ стальной блескъ прудовъ. И домъ, и садъ, и проспекты, и пруды—все запущено, все заглохло, на всемъ печать забвенія и сиротливости.

— Чья усадьба?

— Величкина Павла Павлыча была, а нынче Ѳедоръ Карлычъ купилъ.

— Какой Ѳедоръ Карлычъ?

— Нѣмецъ. Сибирянъ (Зильберманъ) прозывается. Хорошій баринъ. Умный.

— Отчего же у него такъ запущено?—удивляетесь вы, уже безотчетно подчиняясь какому-то странному внушенію, вслѣдствіе котораго выраженія: «нѣмецъ» и «запущенность» вамъ самимъ начинаютъ казаться несовмѣстимыми, тогда какъ та же запущенность показалась бы совершенно естественною, если-бъ рядомъ съ нею стояло имя Павла Павловича господина Величкина.

— Только по веснѣ купилъ. Онъ верхній-то этажъ снести хочетъ. Ранжереи тоже нарушилъ. Некому, говоритъ, здѣсь этого добра ѣсть. А въ ранжереяхъ-то кирпича одного тысячъ на пять будетъ.

— Много денегъ отдалъ?

— Сибирянъ-то? Задаромъ взялъ. Десятинъ съ тысячу мѣста здѣсь будетъ, только все лоскутками: въ одномъ мѣстѣ клочокъ, въ другомъ клочокъ. Ну, Павелъ Павлычъ и видитъ, что возжаться тутъ нѐ изъ чего. Взялъ да на кругъ по двадцать рублей десятину и продалъ. Анъ одна усадьба кирпичомъ того стòитъ. Лѣску тоже не мало, покосы!

— Да чтò же, наконецъ, за крайность была отдавать за безцѣнокъ?

— А та и крайность, что ничего не подѣлаешь. Павелъ-то Павлычъ, покудова у него крѣпостные были, тоже съ умомъ былъ, а какъ отошли, значитъ, крестьяне въ казну—онъ и узналъ себя. Остались у него отъ надѣла клочочки—самъ оставилъ; все получше, съ лѣскомъ, мѣстечки себѣ выбиралъ—ну, и не соберетъ ихъ. Помаялся-помаялся—и бросилъ. А Сибирянъ эти клочочки всѣ къ мѣсту пристроитъ.

Еще десять верстъ—впереди рѣчка. На рѣчкѣ плотина: слышенъ шумъ падающей воды, двигающихся колесъ; на берегу, въ лощинкѣ, ютится красивая, вновь выстроенная мельница.

— Чья мельница?

— Была мельница—теперь фабричка. Адамъ Абрамычъ купилъ. Увидалъ, что по здѣшнему мѣсту молоть нѐчего, и поворотилъ на фабричку. Бумагу дѣлаетъ.

Я уже не спрашиваю, кто этотъ Адамъ Абрамовичъ и за сколько онъ пріобрѣлъ мельницу. Я знаю. Но мною всецѣло овладѣваетъ вопросъ: и это земля, которую нѣкогда прославили чудеса русскихъ угодниковъ! Земля, которую

нѣкогда попирали стопы благочестивыхъ царей и благовѣрныхъ царицъ русскихъ, притекавшихъ сюда, подъ тихую сѣнь святыхъ обителей, отдохнуть отъ царственныхъ заботъ и трудовъ и излить воздыханія сокрушенныхъ сердецъ своихъ! Это ужасно! Вѣдь онъ, наконецъ, жидъ, этотъ Адамъ Абрамовичъ! Непремѣнно онъ жидъ! Жидъ—и гдѣ, въ какомъ мѣстѣ!

А вотъ кстати, въ сторонѣ отъ дороги, за сосновымъ боромъ, значительно, впрочемъ, порѣдѣвшимъ, блеснули и золоченыя главы одной изъ тихихъ обителей. Вдали, изъ-за лѣса, выдвинулось на просторъ темное плёсо монастырскаго озера. Я зналъ и этотъ монастырь, и это прекрасное, глубокое рыбное озеро. Какіе водились въ немъ лещи, и какъ я объѣдался ими въ годы моей юности! Вяленые, сушеные, копченые, жареные въ сметанѣ, вареные и обсыпанные яйцами—во всѣхъ видахъ они были превосходны!

— Озеро-то у монастыря нынче Иванъ Карлычъ снялъ!—оборачивается ко мнѣ ямщикъ.

— Что̀ ты?

— Истинно. Прежде все русскимъ сдавали, да, слышь, безо времени рыбу стали ловить,—ну, и выловили все. Прежде какіе лещи водились, а нынче только щурята да головль. Ну, и отдали Иванъ Карлычу.

Еще ударъ чувствительному сердцу! Еще язва для оскорбленнаго національнаго самолюбія! Иванъ Парамоновъ! Сидоръ Терентьевъ! Антипъ Егоровъ! Столпы, на которыхъ утверждалось благополучіе отечества! Вы, въ три дня созидавшіе и въ три минуты разрушавшіе созданное! Гдѣ вы? Гдѣ мрежи, которыми вы уловляли вселенную? Ужели и онѣ лежатъ заложенныя въ кабакѣ и ждутъ покупателя въ лицѣ Ивана Карлыча? Ужели и ваши таланты, и ваша «удача», и ваше «авось», и ваше «небось»—все, все погибло въ волнахъ очищенной?

— Нынче русскіе только кабаками занимаются,—какъ бы отвѣчаетъ ямщикъ на мою тайную мысль:—а прочее все къ нѣмцамъ отошло.

— Но вѣдь не всѣ же кабаками занимаются! Прочіе-то чѣмъ-же-нибудь да живутъ?

— А прочіе—кто невинно-падшимъ объявился, а кто въ приказчики къ нѣмцу нанялся. Ничего—нѣмцы нашими не гнушаются покудова. Прохора-то Петрова, чай, знаете?

— Это Голубчикова-то?

— Ну, вотъ, его самаго. Теперь онъ у Адама Абрамыча

первый человѣкъ состоитъ. И у него своя фабричка была подлѣ Адамъ Абрамычевой, и тоже пофордыбачилъ онъ по началу, какъ Адамъ-то Абрамычъ здѣсь поселился. Я-ста да мы-ста, да куда-ста кургузому противъ насъ устоять! Анъ черезъ годъ вылетѣлъ. Однако Адамъ Абрамычъ простилъ. Нынче Прохоръ-то Петровъ у него всѣмъ дѣломъ заправляетъ—оба другъ дружкой не нахвалятся.

Мы ѣдемъ съ версту молча. Наконецъ, ямщикъ снова оборачивается ко мнѣ.

— Я вотъ что̀ думаю,—говоритъ онъ:—теперича я ямщикъ, а задумай нѣмецъ свою тройку завести—ни въ жизнь мнѣ противъ его не устоять. Потому сбруйка у него аккуратненькая, животы не мученые, тарантасецъ покойный—ѣдетъ да посвистываетъ. Ни онъ лошадь не задергаетъ, ни онъ лишній разъ крутомъ ее не хлестнетъ—право-ну! Намеднись я съ Крестьянъ Иванычемъ въ Высоково на базаръ ѣздилъ, такъ онъ мнѣ: «ка̀къ это вы, русскіе, лошадей своихъ такъ калѣчите, говоритъ, неужто-жъ, говоритъ, ты не понимаешь, что лошадь твоя тебѣ хлѣбъ даетъ?» Ну, а намъ какъ этого не понимать? Понимаемъ!

— Ну, и что̀-жъ?

— Извѣстно, понимаемъ. Я вотъ тоже Крестьяну-то Иванычу и говорю: а тебя, Крестьянъ Иванычъ, по зубамъ-то, вѣрно, не чищивали?—«Нѣтъ, говоритъ, не чищивали».—Ну, а насъ, говорю, чистили. Только и всего. Эй, вы, колѣлыя!

Мы съ версту мчимся во весь духъ. Ямщикъ то и дѣло оглядывается назадъ, очевидно, съ желаніемъ уловить впечатлѣніе, которое произведетъ на меня эта безумная скачка. Наконецъ, лошади мало-по-малу начинаютъ сами убавлять шагу и кончаютъ обыкновенною лѣнивою рысью.

— Ужъ такъ нынче народъ слабъ сталъ, такъ слабъ!—произноситъ, наконецъ, ямщикъ, какъ бы вдругъ открывая предо мной свою завѣтную мысль.

— А что̀?

— Это чтобы обмануть, обвѣсить, утащить—на все первый сортъ. И не то, чтобъ себѣ на пользу—все въ кабакъ! У насъ въ М. девятнадцать кабаковъ числится—какіе тутъ прибытки на умъ пойдутъ! Онъ тебя утромъ на базарѣ обманулъ, анъ къ полудню, смотришь, его самого кабатчикъ до нитки обобралъ; а тамъ, по истеченіи времени, гляди, и у кабатчика либо выручку украли, либо безменомъ по темю—и духъ вонъ. Такъ оно колесомъ и идетъ.

И за дѣло, потому дураковъ учить надо. Только вотъ что̀ диво: куда деньги дѣваются? Ни у кого ихъ нѣтъ!

— А нѣмцы на что̀?

— И то правда. Денежка свое мѣсто знаетъ. Ползкомъ-ползкомъ, а доползетъ-таки до хозяина!

Опять восклицаніе: «эй, вы, колѣлыя!» и опять скачка.

— А вотъ и Пчельники, вонъ на горѣ-то

Въ Пчельникахъ кормежка.

Восклицаніе: «ужъ такъ нынче народъ слабъ сталъ!» составляетъ въ настоящее время модный припѣвъ градовъ и весей россійскихъ. Вездѣ, гдѣ бы вы ни были—вы можете быть увѣрены, что услышите эту фразу черезъ девять словъ на десятое. Вельможа въ раззолоченныхъ палатахъ, кабатчикъ за стойкой, земледѣлецъ за сохою—всѣ въ одно слово вопіютъ: «слабъ сталъ народъ!» То же самое услышали мы и на постояломъ дворѣ.

Жена содержателя двора, почтенная и дѣятельнѣйшая женщина, была въ избѣ одна, когда мы пріѣхали; прочіе члены семейства разошлись: кто на жнитво, кто на сѣнокосъ. Изба была чистая, свѣтлая, и все въ ней глядѣло запасливо, полною чашей. Меня накормили отличнымъ ситнымъ хлѣбомъ и совершенно свѣжими яйцами. За чаемъ зашелъ разговоръ о хозяйствѣ вообще и въ частности объ огородничествѣ, которое въ здѣшнемъ мѣстѣ считается главнымъ и почти общимъ крестьянскимъ промысломъ.

— Нѣтъ нынче прежней обо̀щи! — говорила хозяйка, вынимая изъ печи лопатой небольшіе румяные хлѣбцы:— горохи—и тѣ противъ прежняго на половину родиться стали!

— Отчего же? Земля, что ли, отощала?

— Нѣтъ, и не земля, а народъ сталъ слабъ. Ахъ, какъ слабъ нынче народъ!

Черезъ часъ пришелъ съ покоса хозяинъ, а за нимъ собрались и остальные члены семейства. Началось безконечное чаепитіе, подъ конецъ котораго изъ чайника лилась только чуть-чуть желтоватая вода.

— Я прежде паръ триста пѣуновъ въ Питеръ отправлялъ,—говорилъ хозяинъ:—а прошлой зимой и ста паръ не выходилъ!

— Невыгодно, что ли?

— Нѣтъ, выгода должна быть, только птицы совсѣмъ нонѣ не стало. А ежели и есть птица, такъ некормна, проѣстлива. Какъ ты ее со двора-то у мужичка кости да

кожа возьмешь—начни-ка ее кормить, она самоё себя съѣстъ.

— Отчего-жъ это?

— Да оттого, что народъ сталъ слабъ. Слабъ сталъ народъ, ни на что не похоже!

Хозяева отобѣдали и ушли опять на работы. Пришелъ пастухъ, который въ деревняхъ обыкновенно кормится по ряду то въ одной крестьянской избѣ, то въ другой. Ямщикъ мой призналъ въ пастухѣ знакомаго, который нѣсколько лѣтъ сряду пасъ стадо въ М.

— Ты что же отъ насъ ушелъ, Мартынъ?

— У васъ въ М. дверей у кабаковъ больно много.

— А ты бы не во всякую попадалъ!

— Да, убережешься у васъ! Развѣ я одинъ! Нынче и весь народъ вообще слабъ сталъ.

— Ужъ такъ слабъ, такъ слабъ!—вторили пастухъ, ямщикъ и хозяйка.

Частое повтореніе этой фразы подѣйствовало на меня раздражительно. Ужели же, думалось мнѣ, достаточно поставить передъ глазами русскаго человѣка штофъ водки, достаточно отворить дверь кабака, чтобъ онъ тотчасъ же растерялся, позабылъ и о горохѣ, и о пѣунахъ, и даже о священной обязанности бодро и неуклонно пасти ввѣренное ему стадо коровъ! Нѣтъ, тутъ что-нибудь да не такъ. Это выдумали клеветники русскаго народа или, по малой мѣрѣ, противники нынѣ дѣйствующей акцизной системы. Допустимъ, что водка имѣетъ притягивающую силу, но вѣдь не сама же по себѣ, а развѣ въ качествѣ отуманивающаго, одуряющаго средства. Некуда дѣваться, не объ чемъ думать, нечего жалѣть, не для чего жить—въ такомъ положеніи водка, конечно, есть единственное средство избавиться отъ тоски и гнетущаго однообразія жизни. Зачѣмъ откармливать пѣуновъ? зачѣмъ растить горохи? Вотъ хозяинъ постоялаго двора, который скупаетъ пѣуновъ и горохи,—тотъ, конечно, можетъ дать ясный отвѣтъ на эти вопросы, потому что пѣуны и горохи даютъ ему извѣстный барышъ. Но вѣдь онъ и не «слабъ». А мужикъ, то-есть первый производитель товара,—онъ ничего передъ собой не видитъ, никакой политико-экономической игры въ спросъ и предложеніе не понимаетъ, барышей не получаетъ, и потому можетъ сказать только: «наплевать»—и ничего больше. Чтобы предаться откармливанію пѣуновъ абсолютно, трансцендентально и безкорыстно, надо по малой мѣрѣ хоть

азбуку политической экономіи знать; но этого-то знанія именно у насъ и нѣтъ. Оттого и пѣуны выходятъ некормные, а горохи плохіе. Прежде, когда русская политическая экономія была въ завѣдываніи помѣщиковъ, какихъ индѣекъ выкармливали—подумать страшно! Теперь, когда политическая экономія перешла въ руки мужиковъ, самое названіе индѣйки грозитъ сдѣлаться достояніемъ исторіи. «Индѣйка,—объявляетъ мужикъ прямо:—птица проѣстливая, дворянская, мужику кормить ее не изъ чего». Но—ради самого Бога!—кто же будетъ откармливать индѣекъ?

Нѣтъ, хозяинъ постоялаго двора былъ неправъ, объясняя некормность нынѣшнихъ пѣуновъ такъ-называемою «слабостью» русскаго народк. И прежде крестьянская птица была тоща и хила, и нынче она тоща и хила; разведеніемъ же настоящей, сильной и здоровой птицы занимался исключительно помѣщикъ, у котораго были и надлежащія приспособленія, чтобъ сдѣлать индѣйку жирною, пухлою, бѣлою. «Уѣхалъ на теплыя воды» помѣщикъ—исчезла и птица; но погодите, имѣйте терпѣніе—птица будетъ! Придетъ Крестьянъ Иванычъ—такихъ представитъ индѣекъ, что самъ Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька—и тотъ залюбуется ими!

То же самое должно сказать и о горохахъ. И прежніе мужицкіе горохи были плохіе, и нынѣшніе мужицкіе горохи плохіе. Идеалъ гороха представлялъ собою крупный и полный помѣщичій горохъ, котораго нынче нѣтъ, потому что помѣщикъ уѣхалъ на теплыя воды. Но идеалъ этотъ живъ еще въ народной памяти, и вотъ, подъ обаяніемъ его, скупщикъ восклицаетъ: «нѣтъ нынче гороховъ! слабъ сталъ народъ!» Но погодите, имѣйте терпѣніе! Придетъ Карлъ Иванычъ и такихъ гороховъ представитъ, какихъ и во снѣ не снилось помѣщикамъ.

Остается, стало-быть, единственное доказательство «слабости» народа—это недостатокъ неуклонности и непреоборимой вѣрности въ пастьбѣ сельскихъ стадъ. Признаюсь, это доказательство мнѣ самому, на первый взглядъ, показалось довольно вѣскимъ, но, по нѣкоторомъ размышленіи, я и его не то чтобы опровергнулъ, но нашелъ возможнымъ обойти. Смѣшно, въ самомъ дѣлѣ, изъ-за какого-нибудь десятка тысячъ пастуховъ обвинить весь русскій народъ чуть не въ безуміи! Ну, запилъ пастухъ, — ну, и смѣните его, ежели не можете простить!

Но вотъ и опять дорога. И опять по обѣимъ сторонамъ мелькаютъ все нѣмцы, все нѣмцы. Чуть только клочокъ

поютнѣе — непремѣнно тамъ нѣмецъ копошится, рубитъ, колетъ, пилитъ, корчуетъ пни. И все это только еще піонеры, развѣдчики, за которыми уже виднѣется цѣлая армія.

— А позволь, твое благородіе, сказать, что̀ я еще думаю!—вновь заводитъ рѣчь ямщикъ:—я думаю, что мы противъ этихъ нѣмцевъ очень ужъ просты — оттого и задачи намъ нѣтъ.

— То-есть, что̀ же ты хочешь этимъ сказать?

— Нѣмецъ—онъ умный. Онъ изъ пятиалтыннаго норовитъ цѣлковыхъ надѣлать. Ну, и знаетъ тоже. Землю-то онъ сперва пальцемъ поковыряетъ да на языкѣ попробуетъ, каковъ у ней скусъ. А мы до этого не дошли... Просты.

Часъ-отъ-часу не легче. То слабы, то-есть пьяны, то просты, то-есть... Мы просты! Мы, у которыхъ сложилась даже пословица: «простота хуже воровства». Не вѣрю!

И я невольно припомнилъ, какъ м—скіе пріятели говорили мнѣ:

— Ужъ очень вы, сударь, просты! Ахъ, какъ вы просты!

И не одно это припомнилъ, но и то, какъ я краснѣлъ, выслушивая эти восклицанія. Не потому краснѣлъ, чтобъ я сознавалъ себя дуракомъ, или чтобъ считалъ себя въ правѣ поступать иначе, нежели поступалъ, а потому, что эти восклицанія напоминали мнѣ, что я *могъ поступать иначе,* то-есть съ выгодою для себя и въ ущербъ другимъ, и что самый фактъ непользованія этою возможностью у насъ считается уже глупостью.

Стыдно сказать, но дѣлается какъ-то обидно и больно, когда разомъ цѣлый кагалъ смотритъ на васъ какъ на дурака. Не самое названіе смущаетъ, а то указываніе пальцами, которое васъ преслѣдуетъ на каждомъ шагу. Вы имѣли, напримѣръ, случай обыграть въ карты—и не обыграли:

— Очень ужъ вы просты! Ахъ, какъ вы просты!

Васъ надули при покупкѣ, вы дались въ обманъ, не потому, что были глупы, а потому, что вамъ на умъ не приходило, чтобы въ странѣ, снабженной полиціей, мошенничество было одною изъ формъ общежитія:

— Очень ужъ вы просты! Ахъ, какъ вы просты!

Вы управляли чужимъ имѣніемъ и ничѣмъ не воспользовались въ ущербъ своему довѣрителю, хотя имѣли такъ-называемые «случаи», «дѣла» и т. п.:

— Очень вы ужъ просты! Ахъ, просты!

Нѣтъ, мы не просты. Ямщикъ совралъ. Не простъ тотъ

народъ, который къ простотѣ относится съ такою язвительностью, который такъ рѣшительно бичуетъ ее.

Но, можетъ-быть, мы недальновидны и невѣжественны? Можетъ-быть, мы самонадѣянны и черезчуръ ужъ способны? Можетъ-быть, даровой прибытокъ насъ соблазняетъ больше, нежели прибытокъ, сопряженный съ трудомъ?

Таковы были мысли, съ которыми я въѣхалъ въ Р.

Между уѣздными городами Р. занимаетъ одно изъ видныхъ мѣстъ. Въ немъ есть свой кремль, въ которомъ когда-то ютилась митрополія; черезъ него пролегаетъ шоссе, которое, впрочемъ, въ настоящее время не играетъ въ жизни города никакой роли; наконецъ, по веснѣ, тутъ бываетъ значительная ярмарка. Въ двухъ верстахъ отъ города пролегаетъ желѣзная дорога и имѣется станція.

Когда я пріѣхалъ въ Р., было около девяти часовъ вечера, но городская жизнь уже затихала. Всенощныя кончились; послѣдніе трезвоны замирали на колокольняхъ церквей; черезъ четверть часа улицы оживились богомольцами, возвращающимися домой; еще четверть часа — и городъ словно застылъ.

Есть что-то удручающее въ физіономіи уѣзднаго города, оканчивающаго свой день. Сумерки еще прозрачны, дневной зной только-что улегся; изъ садовъ несутся благоуханія; воздухъ мало-по-малу наполняется свѣжестью, а движеніе уже покончено. Покончено рѣзко, разомъ, словно оборвалось. Отовсюду несутся звуки запираемыхъ желѣзныхъ засововъ и болтовъ. Въ продолженіе нѣсколькихъ минутъ еще мелькаютъ въ окнахъ каменныхъ купеческихъ домовъ огоньки, свидѣтельствующіе о вечерней трапезѣ, а сквозь запертыя ставни деревянныхъ домиковъ слышится смутный говоръ. Но вотъ словно вздохъ пронесся надъ городомъ; все разомъ погасло и притихло. Мракъ погустѣлъ; вы на улицѣ одни; изъ-подъ ногъ что-то вдругъ шмыгнуло...

До прихода поѣзда оставалось еще около четырехъ часовъ. Въ «почтовой гостиницѣ», когда-то бойкой и оживленной, съ проведеніемъ желѣзной дороги все напоминало о запустѣніи. Въ номерахъ пахло прокислымъ и затхлымъ; загаженныя мухами окна растворялись съ трудомъ; на кровати, вмѣсто тюфяка, лежалъ замасленный и притоптанный блинъ. Нельзя ни спать, ни бодрствовать. Я вышелъ на улицу и, не встрѣтивъ тамъ ни души, направился къ озеру. Озеро въ Р. неопрятное, низменное; вода въ немъ тухлая,

никуда непригодная; даже рыба имѣетъ затхлый, болотный вкусъ; но вдали, по берегу, разбросано довольное количество селъ, которыя въ яркій солнечный день представляютъ пріятную панораму для глазъ. Со стороны горожанъ, набережная озера не въ чести. Богатый людъ удалился отъ нея поближе къ кремлю и предоставилъ берегъ озера люду бѣдному: мелкимъ чиновникамъ и мѣщанамъ. Маленькіе деревянные домики вразбросъ лѣпятся по береговой покатости, давая на ночь убѣжище людямъ, трудно сколачивающимъ, въ теченіе дня, мѣдные гроши на базарныхъ столахъ и рундукахъ и въ душныхъ камерахъ присутственныхъ мѣстъ.

Я спустился къ самой водѣ. Въ этомъ мѣстѣ дневное движеніе еще не кончилось. Чиновники только-что воротились съ вечернихъ занятій и передъ ужиномъ разсѣлись по крылечкамъ, въ виду завтрашняго праздничнаго дня, обѣщающаго имъ отдыхъ. Тутъ же бѣгали и заканчивали свои игры и чиновничьи дѣти.

Сзади меня, на крыльцѣ одинокаго домика, не защищеннаго даже дворомъ, сидѣло двое мужчинъ въ халатахъ, которые курили папиросы и вели на сонъ грядущій бесѣду.

— А Харинъ-то вѣдь проигралъ дѣло!—говорилъ одинъ.

— Что̀ ты!

— Проигралъ—это вѣрно. Дуракъ—ну, и проигралъ.

— Да вѣдь у всѣхъ на знати, что покойникъ рукой не владѣлъ передъ смертью! Весь городъ знаетъ, что Маргарита Ивановна ужъ на другой день духовную поддѣлала! И писалъ-то отецъ протопопъ!

— И поддѣлала, и всѣ это знаютъ, и даже самъ отецъ протопопъ подъ веселую руку не разъ проговаривался, и все же у Маргариты Ивановны теперь милліонъ чистоганомъ, а у Харина—кошель черезъ плечо. Потому—дуракъ.

— Дуракъ-то дуракъ, однако все-таки...

— Дуракъ—и больше ничего. Маргарита Ивановна предлагала ему мириться: «бери, говоритъ, двадцать тысячъ и ступай съ Богомъ» — зачѣмъ онъ не мирился! Зачѣмъ не мирился, коли знаетъ, что онъ дуракъ! Нѣтъ, говоритъ, подавай все! Это дураку-то! Гдѣ эти моды писаны! Опять и отецъ протопопъ, и Иванъ Ѳерапонтычъ—предлагали они ему! Предлагали они ему: дай намъ по десяти тысячъ — все по чистой совѣсти покажемъ! Скажемъ: подписались по неосмотрительности — и дѣло съ концомъ. Зачѣмъ онъ не соглашался! Зачѣмъ не соглашался, коли самъ знаетъ, что

онъ дуракъ! Маргарита Ивановна — та слова не сказала: сейчасъ вынула и отдала! А онъ кочевряжился! И хоть бы деньги съ него просили, а то векселя. Ну, далъ бы, а потомъ еще бабушка нà-двое сказала, какова бы по векселямъ-то получка была! Можетъ-быть, они совсѣмъ не его рукой подписаны? А можетъ-быть, они безденежные? Дуракъ!

— Такъ неужто-жъ Маргарита Ивановна такъ-таки ничего и не дастъ?

— И не дастъ. Потому—дуракъ, а дураковъ учить надо. Ежели дураковъ да не учить, такъ это что̀-жъ такое будетъ! Пущай-ко теперь попробуетъ, каково съ сумой-то щеголять!

Собесѣдники смолкаютъ. Слышится позѣвываніе; папироски еще разъ-другой вспыхнули и погасли. Черезъ минуту я уже вижу въ окно, какъ оба халата сидятъ у непокрытаго стола и крошатъ въ чашку хлѣбъ.

— Дурракъ!—раздается въ темнотѣ.

А у сосѣдняго домика смѣхъ и визгъ. На самой улицѣ дѣвочки играютъ въ горѣлки, несутся взапуски, ловятъ другъ друга. На крыльцѣ сидятъ мужчина и женщина, должно-быть, отецъ и мать семейства.

— Этакой случай былъ—и упустилъ. Дуракъ!—укоряетъ женщина.

— Да ты знаешь ли, дура, чѣмъ Сибирь пахнетъ?—возражаетъ мужчина.

— Для дурака, куда ни оглянись—вездѣ Сибирь. Этакой случай упустилъ!

Женщина вздыхаетъ и умолкаетъ, но не надолго.

— Дуракъ!—повторяетъ она.

— Не мути ты меня, ради Христа! Дуракъ да дуракъ! Нешто я не вижу! И словно вѣдь дьяволъ меня осѣтилъ!

— И чего ты глядѣлъ! Счастье само въ руки лѣзетъ, а онъ, смотри, носъ отъ него воротитъ! Дурракъ!

Мужчина, уличенный и подавленный, не возражаетъ. Раздаются вздохи и позѣвота; изрѣдка, сквозь сонъ, произносится слово: «дуракъ» — и опять тихо. Но на улицѣ, между играющими дѣвочками, происходитъ смятеніе.

— Не въ десятый разъ мнѣ горѣть! Я первая ударила!—протестуетъ жалобный голосъ одной изъ дѣвочекъ.

— Анъ я ударила! Я первая ударила! Ты дура, ты и гори! — возражаетъ другой голосъ, болѣе мужественный и крѣпкій.

— Я первая ударила! не мнѣ горѣть! Манькѣ горѣть!

Споръ оживляется, но протестующая сторона видимо слабѣетъ. Слышатся возгласы: «дура! криворотая! ишь, что̀ выдумала!» и т. д. Возгласы готовы перейти въ побоище.

— Цыцъ, паскуда!—раздается съ крыльца.

Протесты мгновенно смолкаютъ; горѣлки продолжаются ужъ безъ шума, и только изрѣдка безмолвіе нарушается крикомъ: «дура! что̀ взяла?»

На третьемъ крыльцѣ бесѣдуютъ двѣ сибирки.

— Нашъ хозяинъ нынче такую афёру сдѣлалъ, такую афёру, что страсть!—отзывается одна сибирка.

— Ужъ что̀ о вашемъ хозяинѣ говорить! Хозяинъ — первый сортъ!—отзывается другая сибирка.

— Нѣтъ, да ты вообрази! Продалъ онъ Семену Архипычу партію сѣмени, а Семенъ-то Архипычъ сдуру и деньги ему отдалъ. Стали потомъ сортировать, анъ сѣмя-то только сверху чистое, а внизу-то все съ пескомъ, все съ пескомъ!

— Дуракъ!

— Нѣтъ, ты вообрази! Все вѣдь съ пескомъ! Семенъ-то Архипычъ даже глаза вытаращилъ: «такъ, говоритъ, хорошіе торговцы не дѣлаютъ!»

— Дуракъ!

— А хозяинъ нашъ стоитъ да покатывается. «А у тебя гдѣ глаза были?—говоритъ.—Долженъ ли ты имѣть глаза, когда товаръ покупаешь?—говоритъ.—Нѣтъ, говоритъ, васъ, дураковъ, учить надо!»

— Дуракъ!

Дуракъ, дуракъ и дуракъ! — вотъ единственныя выраженія, которыя раздаются въ моихъ ушахъ. Мнѣ становится, наконецъ, страшно. Куда дѣваться отъ этого паскуднаго, поганаго слова? Десять дней сряду, прямо или косвенно, оно преслѣдуетъ меня; десять дней сряду я слышу наглый панегирикъ мошенничеству, присваивающему себѣ наименованіе ума. Даже тутъ, въ виду этой примиряющей ночи, только одно это слово и имѣетъ какой-нибудь опредѣленный смыслъ. Прислушайтесь къ остальному говору— и вы навѣрное ничего изъ него не вынесете. Это сбродъ какихъ-то обрывковъ, рядъ бродячихъ, ничѣмъ не связанныхъ восклицаній, не имѣющихъ даже характера проявленія мысли. Дѣтскій, неосмысленный лепетъ, полусонное бормотаніе, въ которомъ не за что ухватиться и нечего понимать — вотъ что̀ прежде всего поражаетъ вашъ слухъ. И вдругъ прорывается слово: «дуракъ» —и рѣчь оживляется, начинаетъ течь плавно и получаетъ смыслъ. Все, что̀ до

сихъ поръ бормоталось, всѣ безсмысленные обрывки, которыми безплодно сотрясался воздухъ,—все это бормоталось, копилось, и нанизывалось и собиралось въ виду одного всеразрѣшающаго слова: «дуракъ»!

Я скорѣе побѣжалъ въ гостиницу и, благо часы показывали одиннадцать, поѣхалъ на станцію желѣзной дороги.

Нѣтъ, мы не просты!

Станція была тускло освѣщена. Въ залѣ перваго класса господствовала еще пустота; за стойкой, при мерцаніи одинокой свѣчи, буфетчикъ дышалъ въ стаканы и перетиралъ ихъ грязнымъ полотенцемъ. Даже мой приходъ не смутилъ его въ этомъ наивномъ занятіи. Казалось, онъ говорилъ: вотъ я въ стаканъ дышу, а коли захочется, такъ и плюну, а ты будешь чай изъ него пить... Дурракъ!

Чтобъ не сидѣть одному, я направился въ залу третьяго класса. Тутъ, вслѣдствіе обширности залы, освѣщенной единственною лампой, темнота казалась еще гуще. На полу и на скамьяхъ сидѣли и лежали мужики. Большинство спало, но въ нѣкоторыхъ группахъ слышался говоръ.

— И какъ же онъ его нагрѣлъ!—восклицаетъ нѣкто въ одной группѣ.—Да это еще что—нагрѣлъ! Грѣетъ, братецъ ты мой, да приговариваетъ: «помни, говоритъ, въ другой разъ умнѣе будешь!» Сколько у насъ смѣху тутъ было!

— Дуракъ!

— Дуракъ и есть! Потому, ежели ты знаешь, что ты дуракъ, зачѣмъ же не въ свое дѣло лѣзешь? Ну, и терпи, значитъ!

Я иду далѣе и слышу:

— Нѣтъ, ты слушай, какъ онъ нѣмца объегорилъ. Вотъ такъ ужъ объегорилъ! Купилъ, братецъ, онъ у нѣмца въ рощѣ четыреста саженъ дровъ для фабрики, по три рубля за сажень. Ну, перевозилъ, значитъ, склалъ: милости просимъ, молъ, Богданъ Богданычъ, ко мнѣ въ домѣ разсчетецъ получить. Пришелъ Богданъ Богданычъ — онъ его честь-честью: заѣдочковъ, шипучки и все такое. «Ну, говоритъ, пиши, Богданъ Богданычъ, расписку, пока я долгъ готовить буду». Сталъ это, какъ и путный, деньги считать, а нѣмецъ ему тѣмъ временемъ живо расписку обработалъ. Только взялъ у нѣмца расписку посмотрѣть, видитъ—вѣрно: тысячу двѣсти рублей сполна получилъ. Да, вмѣсто того, чтобъ деньги-то отдать, онъ расписку-то вмѣстѣ съ деньгами—въ карманъ! «Самъ ты, говоритъ, передо мной, Богданъ Богданычъ, сейчасъ сознался, что деньги съ меха

сполна получилъ, слѣдственно и дожидаться тебѣ больше здѣсь нечего».

— Ха-ха! вотъ, братъ, такъ штука!

— Сколько смѣху у насъ тутъ было — и не приведи Господи! Слушай, что̀ еще дальше будетъ. Вотъ только нѣмецъ сначала будто не понялъ, да вдругъ какъ рявкнетъ: «воръ ты!» говоритъ. А нашъ ему: «ладно, говоритъ, ты, нѣмецъ, обезьяну, говорятъ, выдумалъ, а я, русскій, въ одну минуту всю твою выдумку опровергъ!»

— Молодецъ!

— Нѣтъ, ты бы на нѣмца-то посмотрѣлъ, какая у него въ ту пору рожа была! И испугался-то, и не вѣритъ-то, и за карманъ-то хватается—смѣхота да и только!

— Просты еще насчетъ этихъ дѣловъ нѣмцы, не выучены!

— Чего проще! просто дураки! совсѣмъ какъ оглашенные!

Далѣе, въ третьей группѣ, идетъ еще разговоръ.

— Нѣтъ, нынче какъ можно, нынче не въ примѣръ нашему брату лучше! А въ четвертомъ году я чуть-было даже ума не рѣшился, такъ онъ меня истиранилъ!

— Что̀ такъ?

— А вотъ какъ. Порядился я у него съ артелью за тысячу рублей въ деревнѣ домъ оштукатурить. Только онъ и говоритъ: «нѣтъ, братъ, Максимъ Потапычъ, этакъ нельзя; надо, говоритъ, письменное условіе намъ промежду себя написать».—Что̀ же, говорю, Василій Порфирычъ, условіе такъ условіе, мы отъ условіевъ не прочь: писывали!—Вотъ онъ и сочинилъ, братецъ, условіе, прочиталъ, растолковалъ; одно слово, все какъ слѣдуетъ. «Подпишись теперь», говоритъ. Ну, мнѣ чего: взялъ въ руки перо, обмакнулъ, подписалъ на бѣду грамотный! Только, что̀ бы ты думалъ, какую онъ, шельма, штуку со мной выкинулъ! Что̀ я-то исполнить долженъ, то-есть работу-то мою, всю расписалъ, какъ должно, а о себѣ вотъ что̀ сказалъ: «а я, говоритъ, Василій Порфировъ, обязуюсь заплатить за таковую работу тысячу рублей, *буде мнѣ то заблагорассудится!*»

— Вотъ-те и капуста съ масломъ!

— И безъ масла хороша будетъ. Слушай, что̀ дальше. Кончили мы работу—я за разсчетомъ къ нему. «Ну, говоритъ, спасибо, Потапычъ, нечего сказать, работа—первый сортъ! Ты, говоритъ, въ разное время двѣсти рублей ужъ получилъ, такъ вотъ тебѣ еще двѣсти рублей — ступай съ Богомъ!»—Какъ, говорю, двѣсти, мнѣ восемьсотъ приходится!—Слово за слово—контрактъ! Тутъ, братецъ, и объ-

яснилъ онъ мнѣ, какую онъ, значитъ, пружину подъ меня подвелъ! По нынѣшнему, сейчасъ бы его къ мировому—и шабашъ! а въ ту пору—ступай за сорокъ верстъ въ полицейское управленіе! Гонялъ я, гонялъ—одна мнѣ резолюція: самъ подписывалъ, самъ на себя и надѣйся! Два мѣсяца мучился я такимъ манеромъ—такъ ничего и не получилъ.

— Ловко онъ тебя объѣхалъ! Однако простъ вѣдь и ты!

— Чего простъ—совсѣмъ дуракъ!

— А дураковъ, братъ, учить надо! Это и въ законѣ такъ сказано! Вотъ онъ тебя и поучилъ!

Меня беретъ зло. Я возвращаюсь въ залу перваго класса, гдѣ застаю уже въ полномъ разгарѣ приготовленія къ ожидаемому поѣзду. Первыя слова, которыя поражаютъ мой слухъ, суть слѣдующія:

— Такъ онъ меня измучилъ, такъ надо мной насмѣялся! Вѣрите ли: даже во снѣ его увижу—такъ вся и задрожу.

— Очень ужъ вы, сударыня, просты!

Не ожидая дальнѣйшихъ объясненій, я быстро перехожу черезъ залу и достигаю платформы.

— Дуракъ! разиня!—объясняетъ жандармъ стоящему передъ нимъ растерявшемуся малому: — изъ-подъ ногъ мѣшокъ вытащили—не чуетъ! Такъ васъ и надо! Долго еще васъ, дураковъ, учить слѣдуетъ!

Нѣтъ, мы не просты!

Бьетъ часъ; слышится сигнальный свистъ, поѣздъ близко. Станція приходитъ въ движеніе; поднимаются шумъ, бѣготня, суета. Въ моихъ ушахъ, словно перекрестный огонь, раздаются всевозможныя привѣтствія и поощренія: «Дуракъ! разиня! простофиля! фалалей!» Наконецъ, я добираюсь до вагона второго класса и бросаюсь на первую порожнюю скамью, въ надеждѣ уснуть.

Но—увы!—лѣтнія ночи недолги. Не успѣваемъ мы проѣхать трехъ станцій, какъ въ вагонѣ уже совсѣмъ свѣтло. Сквозь безпокойную дорожную дремоту я слышу говоръ проснувшихся сосѣдей, который, постепенно оживляясь и оживляясь, усиливается, наконецъ, до того, что нечего и думать о снѣ. Было четыре часа утра, когда я окончательно открылъ глаза. Весь вагонъ бодрствовалъ; во всѣхъ углахъ шла оживленная бесѣда. Мой визави, чистенькій старичокъ, какъ послѣ оказалось, стараго покроя стряпчій по дѣламъ, переговаривался съ сидѣвшимъ наискось отъ меня

дуракомъ и умретъ! Потому и учатъ. Кабы на дураковъ да не плетъ—отъ нихъ житья бы на свѣтѣ не было!

Я опять пересаживаюсь на другое порожнее мѣсто, противъ двоихъ молодыхъ людей, которые оказываются приказчиками.

— Нашъ хозяинъ «генеальный»!—говоритъ одинъ изъ нихъ:—не то, что просто умный, а поднимай выше! Знаешь ли ты, какую онъ на-дняхъ штуку съ братомъ съ роднымъ сыгралъ?

— А что̀?

— Да такую, братецъ, штуку... вотъ такъ ужъ штука! Пріѣзжаетъ онъ къ брату на именинный пирогъ, а стряпчій—братнинъ, то-ись, стряпчій—и говоритъ ему: «поздравьте, говоритъ, братца: какую они вчерась покупку сдѣлали!»—Какая такая покупка?—спрашиваетъ нашъ-то.—«А вотъ, говоритъ, за двадцать верстъ отселѣ у господина помѣщика лѣсъ за сорокъ тысячъ купили, а лѣсу-то тамъ по дешевой цѣнѣ тысячъ на двѣсти будетъ».—Вѣрно ты говоришь?—«Вотъ какъ передъ Истиннымъ!»—Задатокъ данъ?—«Нѣтъ, сегодня вечеромъ отдавать будетъ».—Айда! пять тысячъ тебѣ въ зубы—молчокъ!—И притворился онъ, будто какъ у него животъ болитъ—ей-Богу!—да отъ именинника-то прямо къ помѣщику. Сорокъ пять тысячъ посулили, задатокъ отдали, да не глядя лѣсъ и купили!

— Молодецъ! Братъ-то что-жъ?

— Ничего; даже похвалилъ. «Ты, говоритъ, дуракомъ меня сдѣлалъ—такъ меня и надо. Потому ежели мы дураковъ учить не будемъ, такъ намъ самимъ на полку зубы класть придется».

Наконецъ, я рѣшаюсь, такъ сказать, замереть, чтобы не слышать этотъ разговоръ; но едва я намѣреваюсь привести это рѣшеніе въ исполненіе, какъ за спиной у меня слышу два старушечьихъ голоса, разговаривающихъ между собою.

— Ему, сударыня, только понравиться нужно,—разсказываетъ одинъ голосъ:—пошутить, что ли, мимику тамъ какую-нибудь сдѣлать, словомъ, разсмѣшить... Сейчасъ онъ тебѣ четвертную, а подъ веселую руку и двѣ. Ну, а мой-то и не понравился!

— Простъ, что ли, онъ у васъ, сударыня?

— Какой ужъ простъ! Прямо надо сказать: дуракъ! Ни онъ пошутить, ни представить что-нибудь... ну, и выгнали! И за дѣло, сударыня! Потому ежели дураковъ да не учить...

Я окончательно замираю, но сквозь дремоту слышу:

ности. Хорошо-съ. И сталъ онъ теперича подумывать, какъ бы господина Скачкова отъ пріятелевъ уберечь. Сейчасъ это составилъ свой планъ—и къ Аннѣ Ивановнѣ; онъ ужъ и тогда на Аннѣ-то Ивановнѣ женатъ былъ. Да вы, чай, изволили Анну-то Ивановну знавать?

— Какъ же, какъ же! Красавица была! Всей Москвѣ извѣстна.

— Вотъ-вотъ-вотъ. Вотъ и говоритъ онъ ей: «ты бы, Аннушка...» понимаете? «Что-жъ, говоритъ, я съ моимъ удовольствіемъ!» И начали они вдвоемъ Скачкова усовѣщивать. «И что это ты все шампанское да шампанское—ты водку пей! И капиталъ цѣлѣе будетъ, и пьянъ все одно будешь!» Словомъ сказать, такое омерзѣніе къ иностраннымъ винамъ внушили, что подъ конецъ онъ даже никакой другой посуды видѣть не могъ — непремѣнно чтобъ былъ полштофъ! Поселился онъ въ ту пору у Балясиныхъ, какъ въ своемъ домѣ: и всталъ, и легъ тамъ. Проснется утромъ—полштофъ!—пиши вексель въ тысячу рублей. Проснется къ обѣду—полштофъ! — пиши вексель въ двѣ тысячи рублей! Ужинать встанетъ—полштофъ! — опять вексель въ тысячу рублей. Вытянули они у него такимъ родомъ векселей на полмилліона—онъ и душу Богу отдалъ! Вотъ съ тѣхъ поръ и пошло у Балясиныхъ состояніе. И пошло имъ, и пошло! Теперь однихъ домовъ по Москвѣ семь штукъ считаютъ! На Ильинкѣ-то домъ чего стоитъ!

— Гм!.. простъ былъ этотъ Скачковъ, сказываютъ!

— Чего простъ—одно слово: дуракъ! Дуракъ, какъ есть скотина!

— Ну, а Балясинъ-то умненько живетъ... этотъ не разсоритъ!

— Помилуйте, прекраснѣйшіе люди! Съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ умеръ Скачковъ... словно рукой сняло! Пить совсѣмъ даже пересталъ, въ подряды вступилъ, откупа держалъ... Дальше—больше. Теперь церковь строитъ... въ Елоховѣ-то, изволите знать? — онъ-съ! А благодѣяніевъ сколько! И какъ, сударь, благодѣянія-то дѣлаетъ! Одна рука даетъ, другая не вѣдаетъ!

— А Анна-то Ивановна... говорятъ, съ приказчикомъ?

— Женщина-съ! Слабость ихъ женская!

— Ну, конечно. А впрочемъ, коли по правдѣ говорить: что же такое Скачковъ? Ну, стоитъ ли онъ того, чтобъ его жалѣть!

— Помилуйте! дуракъ, какъ есть скотина! Ду-у-р-ракъ!

Ну, а Петръ Ѳедорычъ, смотрите, какой домъ на Солянкѣ по веснѣ застроилъ! Всей Москвѣ украшеніе будетъ!

— Такъ-съ! а скажите, Капитолину-то Егоровну вы хорошо знаете?

— Капитолину-то Егоровну? Помилуйте! Еще въ дѣвицахъ, сударь, зналъ! Какъ она еще у отца, у Егора Прохорыча, въ дому у Калужскихъ воротъ жила! Вотъ когда зналъ! Въ переулкѣ-то большой домъ, еще булочная рядомъ.

— Что у нихъ за исторія съ мужемъ была?

— Съ дуракомъ-то? Помилуйте, скотина! Да все какъ нельзя проще произошло! Изволите видѣть: задумалъ онъ въ ту пору невинно-падшимъ себя объявить, — ну, она, какъ христіанка и женщина умная, разумѣется, на всякій случай мѣры приняла. Дома и лавки на свое имя переписала, капиталъ тоже къ рукамъ прибрала. Ну, разумѣется, покуда что, покуда въ коммерческомъ судѣ дѣло вели, покуда конкурсъ, покуда объявили невинно-падшимъ — его, голубчика, въ яму! А какъ выпустили изъ ямы-то, она ужъ его и не приняла! «Нѣтъ, говоритъ, ты, голубчикъ, по всѣмъ острогамъ сидѣть будешь, а мнѣ съ тобой жить послѣ того! Не приходится!» Только всего и дѣла было.

— Сс!.. Чѣмъ же онъ, однако, теперь живетъ?

— Такъ кое-когда Капитолина Егоровна изъ своихъ средствъ кое-что даетъ. Да зачѣмъ и давать! Сейчасъ получилъ — сейчасъ въ кабакъ снесъ!

— Да, простъ-таки Иванъ Гаврилычъ, на порядкахъ простъ!

— Помилуйте, дуракъ! Коли этакихъ дураковъ не учить, кого-жъ послѣ того учить надо?

Нѣсколько секундъ молчанія.

— Такъ вы говорите, что это можно?—вновь заводитъ рѣчь цилиндръ, повидимому, возвращаясь къ прежде прерванному разговору.

— Помилуйте, какъ не можно! Въ субботу торги назначены! Какъ мнѣ не знать: я самъ со стороны купца Толстопятова въ конкурсѣ состою!

— Можно, стало-быть?

— Да ужъ будьте покойны! Вотъ какъ: теперича въ Москву пріѣдемъ—и не безпокойтесь! Я все самъ... я самъ все сдѣлаю! Вы только въ субботу придите пораньше. Не пробьетъ двѣнадцати, а ужъ домъ...

— Право, мнѣ совѣстно! Для перваго знакомства и, можно сказать, такое одолженіе!

— Помилуйте, за что же-съ! Вотъ если-бъ Иванъ Гаврилычъ просилъ или господинъ Скачковъ — ну, тогда дѣло другое! А то проситъ человѣкъ основательный, можно сказать, солидный... Да я за честь...

Цилиндръ протягиваетъ стряпчему руку и крѣпко пожимаетъ руку послѣдняго.

— Одного я боюсь,—говоритъ онъ:—чтобъ Тихонъ Никанорычъ самъ не явился на торги!

— Онъ-то! Помилуйте, статочное ли дѣло! Онъ уже съ утра муху ловитъ! А ежели явится—такъ что-жъ? Милости просимъ! Сейчасъ ему въ руки бутыль—и дѣло съ концомъ! Что̀ угодно—все подпишетъ!

Цилиндръ сладко вздыхаетъ и нѣсколько секундъ молча улыбается.

— Да, простенекъ-таки почтеннѣйшій Тихонъ Никанорычъ!—наконецъ произноситъ онъ съ новымъ вздохомъ.

— Помилуйте, скотина! На-дняхъ это вообразилъ себѣ, что онъ свинья: не ѣстъ никакого корма, кромѣ какъ изъ корыта — да и шабашъ! Да ежели этакихъ дураковъ не учить, такъ кого же послѣ того и учить!

Между тѣмъ поѣздъ замедляетъ ходъ; мы приближаемся къ станціи.

— Станція Александровская! Поѣздъ стоитъ десять минутъ!—провозглашаетъ кондукторъ.

Мы высыпаемъ на платформы и спѣшимъ проглотить по стакану сквернаго чая. При послѣднемъ глоткѣ я вспоминаю, что пью изъ того самаго стакана, въ который, за пять минутъ до прихода поѣзда, дышалъ заспанный мужчина, стоящій теперь за прилавкомъ, дышалъ и думалъ: «пьете и такъ... дураки!» Возвратившись въ вагонъ, я пересаживаюсь на другое мѣсто, противъ двухъ купцовъ, съ бородами и въ сибиркахъ.

— Да,—говоритъ одинъ изъ нихъ:—нынче надо держать ухо востро! Нынче чуть ты отвернулся, анъ у тебя тысяча, а пожалуй и цѣлый десятокъ изъ кармана вылетѣлъ. Вы Маркова-то Александра знавали? Вотъ что̀ у Бакулина въ магазинѣ въ приказчикахъ служилъ? Бывало, все Сашка да Сашка! Сашка, сбѣгай туда! Сашка, рыло вымой! А теперь, смотри, какой домъ на Волхонкѣ взбодрилъ! Вотъ ты и думай съ ними!

— Да̀... народъ нынче! Да вѣдь и Бакулинъ-то простъ! Ну, какъ-таки такъ?—замѣчаетъ другая сибирка.

— Чего простъ! Дуракъ какъ есть! Дуракомъ родился,

къ отечеству... Конечно, это программа очень благодарная, но вѣдь тутъ самое важное—отношеніе автора къ этимъ вопросамъ дня. Читая васъ, кажется, что вы на всѣ эти «признаки времени» не шутя прогнѣваны. Вамъ хотѣлось бы, чтобъ мужья жили съ женами въ согласіи, чтобы дѣти повиновались родителямъ, а родители заботились о нравственномъ воспитаніи дѣтей, чтобы не было ни воровства, ни мошенничества, чтобы всякій считалъ себя въ правѣ стоять въ толпѣ разиня ротъ, не опасаясь ни за свои часы, ни за свой портмонэ, чтобы, наконецъ, представленіе объ отечествѣ было чисто какъ кристаллъ... Такъ, кажется?

— Предоставляю вамъ, какъ читателю, выводить тѣ заключенія, какія вы сочтете нужнымъ...

— Или, говоря другими словами, вы находите меня, для первой и случайной встрѣчи, слишкомъ нескромнымъ... Умолкаю-съ. Но такъ какъ, во всякомъ случаѣ, для васъ должно быть совершенно индифферентно, одному ли коротать время въ трактирномъ заведеніи, въ ожиданіи лошадей, или въ компаніи, то надѣюсь, что вы не откажетесь напиться со мною чаю. У меня есть здѣсь дѣльце одно, и ручаюсь, что вы проведете время не безъ пользы.

— Согласенъ, но прежде позвольте...

— Сергѣй Ивановъ Колотовъ къ вашимъ услугамъ. Здѣшній исправникъ.

Я взглянулъ на него съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ.

— Я понимаю: вамъ кажется страннымъ, что такой, можно сказать, юнецъ, какъ я, несетъ столь непосильное бремя, какъ бремя, сопряженное съ званіемъ исправника. Но не забудьте, что въ настоящее время мы всѣ живемъ очень быстро, и что вообще чиновничья мудрость измѣряется нынче не годами, а плотностью и даже, такъ сказать, врожденностью консервативныхъ убѣжденій, сопровождаемыхъ готовностью, по первому трубному звуку, устремляться, куда глаза глядятъ. Мы всѣ здѣсь, то-есть вся воинствующая бюрократическая армія, мы всѣ — молодые люди и всѣ урожденные консерваторы. Есть старшіе молодые люди, есть и младшіе молодые люди. Исправникомъ я лишь съ недавняго времени, а прежде состоялъ при старшемъ молодомъ человѣкѣ въ качествѣ младшаго молодого человѣка и, должно сознаться, блаженствовалъ, потому что обязанности мои были самыя легкія. Я возлежалъ на лонѣ моего принципала (онъ мой товарищъ по школѣ, но болѣе счастливый карьеристъ, нежели я), сказывалъ ему консер-

вативныя сказки, вмѣстѣ съ нимъ мечталъ объ англійскихъ лордахъ и правящихъ сословіяхъ и вообще кормилъ его печатными пряниками. Но въ скоромъ времени все это измѣнилось. Пошли въ ходъ «превратныя толкованія»; явилось на сцену «настроеніе умовъ», а тамъ недалеко ужъ и до doctrines les plus détéstables... Словомъ сказать, понадобился «глазъ». Et, ma foi!.. me voilà ispravnik!

Высказавши эту рацею, онъ бойко взглянулъ мнѣ въ лицо, какъ будто хотѣлъ внушить: а что̀, братъ, не ожидалъ ты, что въ этомъ захолустьѣ встрѣтишь столь интереснаго и либеральнаго собесѣдника?

Я догадался, что имѣю дѣло съ бюрократомъ самаго новѣйшаго закала. Но—странное дѣло!—чѣмъ больше я вслушивался въ его рекомендацію самого себя, тѣмъ больше мнѣ казалось, что, несмотря на внѣшній закалъ, передо мною стоитъ все тотъ же достолюбезный Держиморда, съ которымъ я когда-то былъ такъ пріятельски знакомъ. Да, именно Держиморда! Почищенный, приглаженный, выправленный, но все такой же балагуръ, готовый во всякое время и отца родного съ кашей съѣсть, и самому себѣ въ глаза наплевать...

Я всегда чувствовалъ слабость къ русской бюрократіи, и именно за то, что она всегда представляла собой въ моихъ глазахъ какую-то неразрѣшимую психологическую загадку. Несмотря на всѣ усилія выработать изъ нея бюрократію, она ни подъ какимъ видомъ не хочетъ сдѣлаться ею. Еще на глазахъ у начальства она и туда и сюда, но какъ только начальство за дверь—она сейчасъ же языкъ высунетъ и сама надъ собою хохочетъ. Представить себѣ русскаго бюрократа, который относился бы къ себѣ самому яко къ бюрократу, безъ нѣкотораго глумленія, не только трудно, но даже почти невозможно. А между тѣмъ бюрократствуютъ тысячи, сотни тысячъ, почти милліоны людей. Милліонъ ходячихъ психологическихъ загадокъ! Милліонъ людей, которые сами на себя безъ смѣха смотрѣть не могутъ—развѣ это не интересно?

Я думаю, что наше бывшее взяточничество (съ удовольствіемъ употребляю слово «бывшее» и даже могу удостовѣрить, что двугривенныхъ нынѣ воистину никто не беретъ) очень значительное содѣйствіе оказало въ этомъ смыслѣ. Взяточничество располагало къ изліяніямъ дружества и къ простотѣ отношеній; оно уничтожало преграды и сокращало разстоянія; оно прекращало бюрократическій

индифферентизмъ и дѣлало сердце чиновника доступнымъ для обывательскихъ невзгодъ. Какая, спрашивается, была возможность выработать бюрократа изъ Держиморды, когда онъ за двугривенный въ одну минуту готовъ былъ сдѣлаться изъ блюстителя и сократителя другомъ дома? Предположите, напримѣръ, хоть такой случай: Держиморда имѣетъ порученіе превратить ваше бытіе въ небытіе. Что онъ очень хорошо знаетъ, какую механику слѣдуетъ подвести, чтобы вы въ одну минуту перестали существовать,— въ этомъ, конечно, сомнѣваться нельзя! Но, къ счастію, онъ еще лучше знаетъ, что отъ прекращенія чьего-либо бытія не только для него, но и вообще ни для кого ни малѣйшей пользы послѣдовать не должно. И вотъ онъ начинаетъ маневрировать. Прежде всего онъ старается поразить ваше воображеніе и съ этою цѣлью является въ сопровожденіи цѣлаго арсенала прекратительныхъ орудій. Потомъ онъ напускаетъ на себя юпитеровскую важность, потрясаетъ плечами, жестикулируетъ и сквернословитъ басомъ. Словомъ сказать, приступаетъ къ дѣлу словно и путный. Но не падайте духомъ передъ этими военными хитростями, не убѣждайте, не оправдывайтесь, но прямо вынимайте двугривенный. Какъ только двугривенный блеснулъ ему въ глаза—вся его напускная, ненатуральная важность мгновенно исчезла. Прекратительныхъ орудій словно какъ не бывало: дѣло о небытіи погружается въ одинъ карманъ, двугривенный—въ другой; въ комнатѣ дѣлается свѣтло и радостно; на столѣ появляется закуска и водка... И вотъ передъ вами Держиморда-другъ дома, Держиморда-мужъ совѣта. Двугривенный прояснилъ его мысли и вызвалъ въ немъ тѣ лучшіе инстинкты, которые склоняютъ человѣка понимать, что бытіе лучше небытія, а препровожденіе времени за закуской лучше, нежели препровожденіе времени въ писаніи безплодныхъ протоколовъ, на которые еще Богъ вѣсть какимъ окомъ взглянетъ Сквозникъ-Дмухановскій (за полтинникъ вѣдь и онъ во всякое время готовъ сдѣлаться другомъ дома). Сообразивъ все это, онъ выпиваетъ рюмку за рюмкой и не только предаетъ забвенію вопросъ о небытіи, но васъ же уму-разуму учитъ, какъ вамъ это бытіе продолжить, упрочить и вообще привести въ цвѣтущее состояніе. Черезъ полчаса его уже нѣтъ; онъ все выпилъ и съѣлъ, что̀ видѣлъ его глазъ, и ушелъ за другимъ двугривеннымъ, который уже давно запримѣтилъ въ карманѣ у вашего сосѣда. Вы расквитались,

и хотя въ вашей мошнѣ сдѣлалось однимъ двугривеннымъ меньше, но не ропщите на это, ибо, благодаря этой монетѣ, при васъ остался драгоцѣннѣйшій даръ Творца: ваше бытіе.

Какъ хотите, а это своего рода habeas corpus.

Это до такой степени справедливо, что когда Держиморда умеръ, и преемники его начали относиться къ двугривеннымъ съ презрѣніемъ, то жить сдѣлалось многимъ тяжельше. Точно вотъ въ знойное, бездождное лѣто, когда и безъ того некуда дѣваться отъ духоты и зноя, а тутъ еще чуются въ воздухѣ признаки какой-то неслыханной повальной болѣзни.

— Тяжело, милый другъ, народушкѣ! Ничѣмъ ты отъ этой болѣсти не откупишься! — жаловались въ то время другъ другу обыватели и, по неопытности, одинъ за другимъ прекращали свое существованіе.

Но, къ счастью, такое суровое время проскочило довольно скоро. Благодаря Держимордѣ и долговременной его практикѣ, убѣжденіе, что дѣло о небытіи не имѣетъ въ себѣ ничего серьезнаго, установилось настолько прочно, что обыватели скоро одумались. Не помогли ни неуклонность, ни неумытность, ни вразумленія, ни мѣропріятія; жертвою ихъ сдѣлались лишь первые, застигнутые врасплохъ обыватели. Затѣмъ все постепенно вошло въ колею. Напрасно старались явившіеся на смѣну Держимордамъ безукоризненные молодые люди увѣрять и доказывать, что бюрократія не праздное слово — никто не повѣрилъ имъ. У всѣхъ еще на памяти замасленный Держимординъ халатъ, у всѣхъ еще въ ушахъ звенитъ раскатистый Держимординъ смѣхъ — о чемъ же тутъ, слѣдовательно, толковать! И вотъ молодые бюрократы корчатся, хмурятъ брови, надсаживаютъ свои груди, принимаютъ юпитеровскія позы, а имъ говорятъ:

— Ты не пугай — не слишкомъ-то испугались! У самого Антона Антоныча (Сквозникъ-Дмухановскій) въ передѣлѣ бывали — и то живы остались! Ты дѣло говори: сколько тебѣ слѣдуетъ?

— Ничего мнѣ не надо! Мнѣ надо, чтобъ вы прекратили свое существованіе! — усовѣщивали молодые бюрократы невѣрующихъ.

— Да ты подумай, что̀ ты сказалъ! Ты на Бога-то посмотри!

Разсудите сами, какой олимпіецъ не отступитъ передъ этою беззавѣтною наивностью? «Посмотри на Бога!» — шутка

сказать! А ну, какъ посмотришь, да тутъ же сквозь землю провалишься! Какъ не смутиться передъ этимъ напоминаніемъ, какъ не воскликнуть: «Богъ съ вами! живите, множьтесь и наполняйте землю!»

Такъ именно и поступили молодые преемники Держиморды. Нѣкоторое время они упорствовали, но, повсюду встрѣчаясь съ невозмутимымъ: «посмотри на Бога!»—поняли, что имъ ничего другого не остается, какъ отступить. Впрочемъ, они отступили въ порядкѣ. Отступили не ради двугривеннаго, но гордые сознаніемъ, что независимо отъ двугривеннаго нашли въ себѣ силу простить обывателей. И чтобы маскировать неудачу предпринятаго ими похода, сами поспѣшили сдѣлать изъ этого похода юмористическую эпопею.

Съ тѣхъ поръ отличительнымъ характеромъ русской бюрократіи сдѣлалось ироническое отношеніе къ самой себѣ. Прежніе Держиморды халатничали, нынѣшніе Держиморды увеселяютъ и амикошонствуютъ.

Словомъ сказать, настоящихъ, «отпѣтыхъ» бюрократовъ, которые не прощаютъ, очень мало, да и тѣ вынуждены вести уединенную жизнь. Даже такихъ немного, которые прощаютъ безъ подмигиваній. Бо́льшая же часть прощаетъ съ пѣніемъ и танцами, прощаетъ и во всѣ колокола звонитъ: вотъ, дескать, какой мы маскарадъ устраиваемъ!

Я знаю многихъ строгихъ моралистовъ, которые находятъ это явленіе отвратительнымъ. Я же хотя и не имѣю ничего противъ этого мнѣнія, но не могу, съ своей стороны, не присовокупить: живемъ помаленьку!

Только въ одномъ случаѣ и донынѣ русскій бюрократъ всегда является истиннымъ бюрократомъ. Это—на почтовой станціи, когда смотритель не даетъ ему лошадей для продолженія его административнаго бѣга. Тутъ онъ вытягивается во весь ростъ, надѣваетъ фуражку съ кокардой (хотя бы это было въ комнатѣ), скрежещетъ зубами, суетъ въ самый носъ подорожную и возглашаетъ:

— Да ты знаешь ли, курицынъ сынъ, съ кѣмъ дѣло имѣешь? Ты это видишь? Уткнись рыломъ-то въ подорожную, уткнись! прочитай!

Но, Богу споспѣшествующу, надо надѣяться, что, съ развитіемъ желѣзныхъ путей, и на почтовыхъ станціяхъ число случаевъ проявленія бюрократизма въ значительной степени сократится.

Кстати: говоря о безуспѣшности усилій по части наса-

жденія русской бюрократіи, я не могу не сказать нѣсколько словъ и о другомъ, хотя не особенно дорогомъ моему сердцу явленіи, но которое тоже играетъ не послѣднюю роль въ экономіи народной жизни и тоже прививается съ трудомъ. Я разумѣю соглядатайство.

Соглядатай-французъ—вотъ истинный мастеръ своего дѣла. Это соглядатай - бритва. Во-первыхъ, онъ убѣжденъ, что дѣлаетъ дѣло; во-вторыхъ, онъ знаетъ, что ему надобно, и, въ-третьихъ, онъ никогда самъ не втюрится. Вотъ три капитальныя качества, которыя дѣлаютъ изъ него мастера. Онъ подслушиваетъ со смысломъ и въ массѣ подслушаннаго умѣетъ налету различить существенное отъ ненужныхъ околичностей. Это сберегаетъ ему пронасть времени. Онъ не остановитъ своего вниманія на пустякахъ, не пожалуется, напримѣръ, на то, что такой-то тогда-то говорилъ, что человѣкъ происходитъ отъ обезьяны, или что такой-то, будучи въ пьяномъ видѣ, выразился: хорошо бы, молъ, Верхоянскъ вольнымъ городомъ сдѣлать и порто-франко въ немъ учредить. Ему нѣтъ дѣла ни до верхоянской автономіи, ни до происхожденія человѣка. Онъ подслушиваетъ только то, что въ данный моментъ и при извѣстныхъ условіяхъ представляетъ дѣйствительный подслушивательный интересъ. Подслушаетъ, устроитъ всю нужную обстановку и тогда уже и пожалуется. И при этомъ непремѣнно самого себя убережетъ. Онъ не станетъ, въ видахъ поощренія, воровать вмѣстѣ съ воромъ и не полѣзетъ въ заговоръ вмѣстѣ съ заговорщикомъ. Однимъ словомъ, никогда не поступитъ такъ, что потомъ и не разберешь, соглядатай ли онъ, или дѣйствительный воръ и заговорщикъ. Онъ облюбуетъ и натравитъ свою жертву издалека, почти не прикасаясь къ ней и строго стараясь держаться въ сторонѣ, въ качествѣ благороднаго свидѣтеля.

Итакъ, настоящій, серьезный соглядатай—это французъ. Онъ быстръ, сообразителенъ, неутомимъ; сверхъ того, сухощавъ, непотливъ и обладаетъ такъ-называемыми jarrets d'acier. Нѣмецъ, съ точки зрѣнія усердія, тоже хорошъ, но онъ уже робокъ, и потому усердіе въ немъ часто извращается опасеніемъ быть побитымъ. Жидъ могъ бы быть отличнымъ соглядатаемъ, но слишкомъ торопится. О голландцахъ, датчанахъ, шведахъ и проч. ничего не знаю. Но русскій соглядатай—положительно никуда негоденъ.

Прежде всего онъ рохля; онъ—тотъ человѣкъ, про котораго сказано, что онъ въ водѣ онучи сушитъ. Онъ ни-

когда не знаетъ, что ему надобно, и потому подслушиваетъ зря и, подслушавши, все кладетъ въ одну кучу. Во-вторыхъ, онъ невѣжественъ и потому всегда поражается пустяками и пугается самыхъ обыкновенныхъ вещей. Прокаливъ ихъ въ горнилѣ своего разнузданнаго воображенія, онъ съ необыкновенною любовью размазываетъ ихъ и этимъ очень легко вводитъ въ заблужденіе. Онъ лжетъ искренно, безъ всякой для себя пользы и притомъ почти всегда со слезами на глазахъ, и вотъ это-то именно и составляетъ главную опасность его лжей, опасность, къ сожалѣнію, весьма немногими замѣчаемую и вслѣдствіе этого служащую источникомъ безчисленныхъ промаховъ. Въ-третьихъ, русскій соглядатай или повадливъ, или тщеславенъ. Ежели онъ повадливъ, то всегда начинаетъ съ выпивки и потомъ, постепенно сдруживаясь съ предметомъ своихъ наблюденій, незамѣтно принимаетъ его нравы и обычаи. Слѣдя за воромъ, украдетъ самъ; слѣдя за заговорщикомъ, самъ напишетъ прокламацію. И за это, къ собственному удивленію, попадетъ на каторгу. Ежели онъ тщеславенъ, то любитъ, чтобъ его разумѣли благороднымъ человѣкомъ, называли масономъ и относились къ нему съ ласкою и довѣріемъ. Онъ обожаетъ слезы и безъ ума отъ раскаянія. Выплачьте у него на груди ваше заблужденіе, скажите ему при этомъ, что онъ масонъ, онъ проститъ. Онъ даже предупредитъ васъ въ случаѣ надобности, разумѣется, оговорившись: «пожалуйста, между нами». И впрочемъ тутъ же и другому, и третьему скажетъ: «это я, я предупредилъ! Нужно спасти благороднаго молодого человѣка!»

Но попробуйте сказать ему, что онъ совсѣмъ не масонъ...

И такимъ образомъ проходятъ годы, десятки лѣтъ, а настоящихъ, серьезныхъ соглядатаевъ не нарождается, какъ не нарождается и серьезныхъ бюрократовъ. Я не говорю, хорошо это, или дурно, созрѣли мы, или не созрѣли, но знаю многихъ, которые и въ этомъ готовы видѣть своего рода habeas corpus.

Такого рода мысли невольно представились мнѣ, покуда Колотовъ зарекомендовывалъ себя.

— А знаете ли, — сказалъ я: прежде, право, лучше было, Ни о какихъ настроеніяхъ никто не думалъ, исправники внутреннею политикой не занимались... Отлично!

Да-съ, но вы забываете, что у насъ нынче смутное время стоитъ. Суды оправдываютъ лицъ, нагрубившихъ квартальнымъ надзирателямъ, земства разговариваютъ объ

учительскихъ семинаріяхъ, объ артеляхъ, о сыровареніи. Да и представителей нравственнаго порядка до пропасти развелось: что ни шагъ, то доброхотный ревнитель. И всякій считаетъ долгомъ предупредить, предостеречь, предувѣдомить, указать на предстоящую опасность... Какъ тутъ не встревожиться?

— Слѣдовательно въ настоящую минуту вы находитесь въ экскурсіи по предмету «настроенія умовъ»?

— Да, я ѣду изъ З., гдѣ, по «достовѣрнымъ свѣдѣніямъ», засѣло цѣлое гнѣздо неблагонамѣренныхъ, и намѣренъ пробыть до сегодняшняго вечерняго парохода въ Л., гдѣ, по тѣмъ же «достовѣрнымъ свѣдѣніямъ», засѣло другое цѣлое гнѣздо неблагонамѣренныхъ. Вы понимаете, два гнѣзда на разстояніи какихъ-нибудь 30—40 верстъ!

— Однако какая пропасть гнѣздъ! А мы-то, простаки, ѣздимъ, ходимъ, ѣдимъ, пьемъ, посягаемъ—и даже не подозрѣваемъ, что всѣ эти отправленія совершаются нами въ самомъ, такъ сказать, круговоротѣ неблагонамѣренностей!

— Да-съ; вотъ вы теперь, предположимъ, въ трактирѣ чай пьете, а противъ васъ за однимъ столомъ другой господинъ чай пьетъ. Ну, вы и смотрите на него, и разговариваете съ нимъ просто какъ съ человѣкомъ, который чай пьетъ. Бацъ—анъ онъ неблагонадежный!

— Сколько опасностей!

— Опасностей нынче очень много, а главную опасность представляетъ дурная привычка употреблять въ разговорѣ мудреныя слова. Надобно непремѣнно оставить эту привычку и стараться говорить какъ можно проще, особливо въ трактирахъ и въ домахъ терпимости. Возьмемъ, для примѣра, хоть слово «ассоціація». Въ сущности, оно до того вошло въ литературный обиходъ, что никого уже не пугаетъ. Но трактиры и дома терпимости придерживаются еще академическаго словаря, въ который это слово не попало. Поэтому, ежели вы тамъ произнесете слова въ родѣ: ассоціація, ирригація, аберрація—все равно: половые и погибшія созданія все-таки поймутъ, что вы распространяете революцію.

— Приму ваше наставленіе къ свѣдѣнію. Но скажите на милость, чѣмъ же собственно занимаются лица, принадлежащія къ сословію неблагонамѣренныхъ?

— Занимаются они, по большой части, неблагонамѣренностями, откуда происходитъ и самое названіе: «неблагонамѣренный». Въ частности же, не по-дворянски себя ве-

дутъ. Такъ, напримѣръ, помѣщикъ Анпетовъ пригласилъ нѣсколькихъ крестьянъ, поселилъ ихъ вмѣстѣ съ собою, принялъ ихъ образъ жизни (только онъ отъ Лаферма папиросы курилъ, а они тютюнъ) и самъ наравнѣ съ ними обрабатываетъ землю.

— Самъ пашетъ?

— Самъ въ первой сохѣ и въ первой косѣ. Барыши, однако, они дѣлятъ совершенно сообразно съ указаніями экономической науки: сначала высчитываютъ проценты на основной и оборотный капиталы (эти проценты неблагонамѣренный беретъ въ свою пользу); потомъ откладываютъ извѣстный процентъ на вознагражденіе за трудъ по веденію предпріятія (этотъ процентъ тоже беретъ неблагонамѣренный, въ качествѣ руководителя работъ); затѣмъ остальное складываютъ въ общую массу.

— Гм!.. капиталъ-то, стало-быть, уважаетъ?

— Даже очень уважаетъ.

— Что же тутъ... Ахъ, да, понимаю! «Остальные складываютъ въ общую массу»... Стало-быть, и лѣнивый, и ретивый... Да, это такъ! Вѣдь это почти-что «droit au travail»!

— Ну, до этого-то еще далеко! Они объясняютъ это гораздо проще; во-первыхъ, дробностью разсчетовъ, а во-вторыхъ, тѣмъ, что изъ-за какого-нибудь гривенника не стоитъ хлопотать. Вѣдь при этой системѣ всякій старается сдѣлать все, что можетъ, для увеличенія чистой прибыли, слѣдовательно стоитъ ли усчитывать человѣка въ томъ, что онъ однимъ-двумя фунтами травы накосилъ меньше, нежели другой.

— Такъ что же тутъ... Впрочемъ, конечно, оно странновато: помѣщикъ — и самъ пашетъ! Однако вѣдь, съ другой стороны, онъ, можетъ-быть, ни къ чему другому и неспособенъ примѣнить свой трудъ, кромѣ обдѣлки земли! Можетъ-быть, все его самолюбіе въ томъ именно и заключается, чтобъ быть въ первой сохѣ и въ первой косѣ? Вѣдь вы знаете, что Людовикъ XVI, напримѣръ, даже хвастался тѣмъ, что былъ отличнымъ токаремъ? Я даже думаю, что самая система вознагражденія рабочихъ, въ формѣ участія въ чистой прибыли, есть штука очень хитрая, потому что она заставляетъ рабочаго тщательнѣе относиться къ своей работѣ и тѣмъ косвенно содѣйствуетъ возвышенію цѣнности земли. То-есть, опять же въ карманъ собственнику капитала.

— Все это возможно, а все-таки «странно нѣкако». Помните, у Островскаго двѣ свахи есть: сваха по дворянству и сваха по купечеству. Вообразите себѣ, что сваха по дворянству вдругъ начинаетъ дѣйствовать какъ сваха по купечеству, — вѣдь зазорно! Такъ-то и тутъ. Мы привыкли представлять себѣ землевладѣльца или отдыхающимъ, или пьющимъ на лугу чай, или ловящимъ въ прудѣ карасей, или проводящимъ время въ кругу любезныхъ гостей,—и вдругъ: первая соха! Не прилично-съ! Не принято-съ! Возмутительно-съ!

— Но вѣдь нынче значительное число «дворянскихъ гнѣздъ» попало въ руки купцовъ, кабатчиковъ, лѣсниковъ; стало-быть, и самые способы распоряженія земельною собственностью, силою вещей, измѣнили характеръ?

— Это такъ; но вѣдь и кабатчики нынче стараются дѣйствовать «по-благородному». Сидятъ въ тѣни, чай пьютъ, варенье варятъ, да тутъ же между отдыхомъ и мужичковъ обсчитываютъ.

— Черезъ кого же вы эти свѣдѣнія о настроеніи умовъ получаете?

— А мало ли отставныхъ поручиковъ, штабсъ-капитановъ, губернскихъ и коллежскихъ секретарей безъ дѣла шатается! Всѣ они нынче возмнили себя представителями нравственнаго порядка и борьбы. Живется этимъ ревнителямъ, правду сказать, довольно-таки холодно и голодно, а къ дѣлу они никакимъ манеромъ пристроиться не могутъ. Такъ-таки со времени упраздненія крѣпостного права и «висятъ на воздусяхъ». Ни въ управу, ни въ мировые судьи—никуда ихъ не пускаютъ. Вотъ какъ забаллотируютъ ихъ, они и начинаютъ полегоньку перебирать то того, то другого изъ той партіи, которая восторжествовала на выборахъ. И сейчасъ—предостереженьице!

— Однако какая гадость у васъ здѣсь завелась!

— Все больше отъ бѣдности и отъ огорченія. Какія у этихъ ревнителей нравственнаго порядка усадьбы, чѣмъ они въ этихъ усадьбахъ кормятся, въ какихъ рубищахъ ходятъ,—это даже представить себѣ трудно! Дрянной народъ, сплетникъ народъ. Да вотъ я сейчасъ познакомлю васъ съ однимъ капитаномъ изъ этой породы. Когда-то онъ служилъ здѣсь по выборамъ, потомъ судился за скрытіе убійства и былъ изгнанъ со службы; потомъ засѣкъ свою дворовую дѣвку, опять судился и оставленъ въ подозрѣніи... словомъ, цѣлый формуляръ. А теперь вотъ «добрыя на-

чала» поддерживаетъ. Да еще какой ехидный—что ни недѣля, то извѣщеніе!

— А вы вѣрите этимъ сплетнямъ?

— Ну, я-то собственно съ юмористической точки зрѣнія...

— Позвольте! Но вѣдь вы должны же дать отчетъ... ну, хоть въ томъ, что имѣетъ произойти сегодня?

— Отчетъ? А помнится, у васъ же довелось мнѣ вычитать выраженіе: «ожидать поступковъ». Такъ вотъ въ этомъ самомъ выраженіи резюмируется программа всѣхъ моихъ отчетовъ, прошедшихъ, настоящихъ и будущихъ. Скажу даже больше: отчетъ свой я могъ бы совершенно удобно написать въ моей к—ской резиденціи, не ѣздивши сюда. И ежели вы видите меня здѣсь, то единственно только для того, чтобы констатировать мое присутствіе.

Онъ снова бойко взглянулъ мнѣ въ лицо, и я постарался воспользоваться этимъ случаемъ, чтобы уловить въ его физіономіи хоть тѣнь замѣшательства. Но, къ сожалѣнію, ничего подобнаго поймать не могъ. Бываютъ люди, которые накидываютъ на себя бойкость именно для того, чтобъ маскировать извѣстную неловкость положенія, но въ Колотовѣ, повидимому, даже не было ни малѣйшаго сознанія какой-либо неловкости. Онъ вполнѣ искренно пользовался наилучшимъ настроеніемъ духа и остроумничалъ на свой собственный счетъ совершенно непринужденно и весело.

\- -

Мы вели разговоръ на площадкѣ передъ трактиромъ. Изъ «заведенія» до насъ доносился безтолковый говоръ угощающагося люда, смѣшанный съ звономъ чайной посуды и съ звуками «miserere», наигрываемаго машиной. Обоняніе наше было тоже не совсѣмъ пріятно поражаемо запахомъ прѣли, помоевъ, табачнаго дыма и кухоннаго чада, вылетавшимъ изъ открытыхъ настежь оконъ трактира. Въ виду свѣжести, несшейся съ рѣки, среди царствующаго окрестъ безмолвія, трактиръ казался какою-то безобразною клоакой, населенной неугомонными, поѣдающими другъ друга гадами. Все это дѣлало перспективу предстоявшаго чаепитія до того несоблазнительною, что я ужъ подумывалъ, не улепетнуть ли мнѣ въ болѣе скромное убѣжище отъ либерально-полицейскихъ разговоровъ моего случайнаго собесѣдника!

— А вотъ и мой капитанъ!—воскликнулъ Колотовъ.— Эге! да съ нимъ еще кто-то: попъ, кажется! Они тоже

понче ударились во всѣ тяжкія по части охранительныхъ началъ!

Я взглянулъ на вышку трактира. Тамъ, въ открытомъ окнѣ, стояла длинная фигура и махала платкомъ въ нашу сторону. Изъ-за нея выглядывало дѣйствительно нѣчто похожее на попа. Длинная фигура показалась мнѣ какъ будто знакомою.

Черезъ минуту мы уже были на вышкѣ, въ маленькой комнатѣ, которой стѣны были разрисованы деревьями на манеръ сада. Солнце въ упоръ палило сюда своими лучами, но капитанъ и его товарищъ, повидимому, не замѣчали нестерпимаго жара и порядкомъ-таки урѣзали, о чемъ краснорѣчиво свидѣтельствовалъ графинъ съ водкой, опорожненный почти до самаго дна.

Да, это былъ онъ, свидѣтель дней моей юности, отставной капитанъ Никифоръ Петровичъ Терпибѣдовъ. Но какъ онъ постарѣлъ, полинялъ и износился! Какъ мало онъ походилъ на того дѣятельнаго куроцапа, какимъ я его зналъ въ дни моего счастливаго, рѣзкаго дѣтства! Боже, какъ все это было давно, давно!

Наружность Терпибѣдова очень оригинальная. Это человѣкъ лѣтъ шестидесяти слишкомъ, необыкновенно длинный и весьма узкій въ кости. На этомъ длинномъ туловищѣ посажена непропорціонально маленькая головка, почти лишенная подбородка, съ крошечнымъ остаткомъ волосъ на вискахъ и затылкѣ, съ заостреннымъ носомъ, какъ у копчика, съ воспаленными глазами на выкатѣ и съ совершенно покатымъ лбомъ. Изъ внутренностей его, словно изъ пустого пространства, безъ всякихъ съ его стороны усилій, вылетаетъ громкій, словно лающій голосъ—особенность, которая, я помню, еще въ дѣтствѣ поражала меня, потому что при первомъ взглядѣ на его сухопарую, словно колеблющуюся фигуру скорѣе можно было ожидать ноющаго свиста иволги, нежели собачьяго лая.

Одѣтъ онъ тоже не совсѣмъ обыкновенно. На немъ свѣтло-коричневый фракъ съ узенькими фалдочками стариннаго покроя, сѣрые клѣтчатые штаны со штрипками и темно-малиновый кашемировый двубортный жилетъ. На шеѣ волосяной галстукъ, мѣстами сильно обившійся, изъ-подъ котораго высовываются туго накрахмаленные заостренные воротнички, словно стрѣлы врѣзывающіеся въ его обрюзглыя щеки. По всему видно, что онъ постепенно донашиваетъ гардеробъ, накопленный въ лучшія времена.

— Ба! сочинитель!—залаялъ онъ, увидавъ меня.

На меня вдругъ пахнуло словно сыростью. Какъ будто распахнулись двери давно неотпиравшагося подвала, въ которомъ безъ толку наваленъ былъ старый, заплесневѣвшій отъ времени хламъ. Я вспомнилъ былое, когда Терпибѣдовъ былъ еще, какъ говорится, въ самой порѣ и служилъ дворянскимъ засѣдателемъ въ земскомъ судѣ. Какъ видите, это было еще до появленія становыхъ приставовъ на аренѣ внутренно-политической дѣятельности (сосчитайте, сколько мнѣ лѣтъ-то!). Онъ довольно часто наѣзжалъ къ намъ и по службѣ, и въ качествѣ сосѣда по имѣнію, и всегда обращалъ на себя мое вниманіе въ особенности тѣмъ, что домашніе наши какъ-то ужъ черезчуръ безцеремонно обращались съ нимъ.

— Ну, что, куроцапъ, каково курчатъ полавливаешь?—неизмѣнно привѣтствовалъ покойный отецъ мой появленіе капитана.

— Какіе нонче курчата!—неизмѣнно же отвѣтствовалъ на это привѣтствіе капитанъ: — нынѣшніе, сударь, курчата некормленные, а ежели и есть которые покормнѣе, такъ на тѣхъ ужъ давно капитанъ-исправникъ петлю закинулъ.

Вслѣдъ затѣмъ подавалась закуска, и начинались «шутки», на которыя былъ такъ неистощимъ помѣщичій строй добраго стараго времени. Похлопывали Терпибѣдова по животу, какъ бы нащупывая спрятанныхъ тамъ курчатъ, пугали его, убирали со стола его тарелку съ недоѣденнымъ кушаньемъ, словомъ, продѣлывали на немъ весь скудный репертуаръ домашнихъ театральныхъ представленій. Я даже помню, какъ онъ судился по дѣлу о сокрытіи убійства, какъ его дразнили за это фофаномъ, и какъ онъ оправдывался, говоря, что «одну минуточку только не опоздай онъ къ секретарю губернскаго правленія—ничего бы этого не было».

Впослѣдствіи Терпибѣдовъ исчезъ въ той общей пучинѣ, въ которую кануло крѣпостное право. Даже фамиліи его какъ-то никто не упоминалъ, хотя связь моя съ родными мѣстами не прерывалась. И вдругъ оказывается, что онъ живъ-живёхонекъ, что какимъ-то образомъ онъ ухитрился ухватиться за какое-то бревнышко въ то время, когда прорвало и смыло плотину крѣпостного права, что онъ притаился, претерпѣлъ либеральныхъ мировыхъ посредниковъ и все-таки не погибъ. Да и не только не погибъ, но

даже всталъ на стражѣ, всталъ безкорыстно, памятуя и зная, что ремесло стража общественной безопасности вознаграждается у насъ больше пинками, нежели кредитными рублями.

— А голосъ-то у насъ, Никифоръ Петровичъ, прежній остался! Помните, какъ вы однажды тетеньку Прасковью Ивановну испугали?—сказалъ я, здороваясь съ нимъ.

— Помните, сударь, не забыли!—воскликнулъ онъ, слегка дрогнувъ:—прежнее-то, хорошее-то время... не забыли?

— Помню.

— Да-съ, примерли, всѣ примерли! Одинъ я да вотъ Григорій Александровичъ въ здѣшнихъ мѣстахъ изъ стариковъ остались. Стары, сударь, ветхи! Морковкина Петра Александровича, предводителя-то нашего бывшаго, помните?

— А гдѣ онъ теперь?

— Въ Москвѣ, сударь, въ ямѣ за долги года съ два высидѣлъ, а теперь у нотаріуса въ писцахъ, въ самыхъ, знаете, маленькихъ... десять рублей въ мѣсяцъ жалованья получаетъ. Да и какое ужъ его писанье! И перо-то онъ не въ чернильницу, а больше въ ротъ себѣ суетъ. Изъ-за того только и держатъ, что предводителемъ былъ, такъ купцы на него смотрѣть ходятъ. Ну, иной смотритъ-смотритъ, а между прочимъ—и актецъ совершитъ.

— Скажите, пожалуйста, вѣдь въ тысячахъ душахъ былъ! А какой хлѣбосолъ: свой оркестръ держалъ, пѣвчихъ, три трехлѣтія предводителемъ выслужилъ!

— Не три, а цѣлыхъ пять-съ!

— И теперь... писцомъ!

— Да-съ, въ конторѣ у нотаріуса сидитъ... духота-то какая! Да еще прочіе служащіе въ трактиръ за кипяткомъ заставляютъ бѣгать!

— Ну, а имѣніе его?

— Имѣніе его Пантелей Егоровъ, здѣшній хозяинъ, съ аукціона купилъ. Такъ, за ничто подлецу досталось. Домъ снесъ, паркъ вырубилъ, лѣсъ свелъ, скотъ выпродалъ... Послѣ музыкантовъ какой инструментъ остался—и тотъ въ здѣшній полкъ спустилъ. Не узнаете вы Грѣшищева! Пантелей Егоровъ по немъ словно французъ прошелъ! Помните, какіе караси въ прудахъ были—и тѣхъ всѣхъ до одного выловилъ да здѣсь въ трактирѣ мужикамъ на порціи скормилъ! Сколько деньжищъ выручилъ—страсть!

Онъ свистнулъ, поникъ головой и задумался.

— Ну, а вы какъ, Никифоръ Петровичъ?

— Нехорошо-съ. То-есть такъ плохо, такъ плохо, что если начать разсказывать, такъ въ своемъ родѣ «Тысяча и одна ночь» выйдетъ. Ну, а все-таки еще ратуемъ.

— Служите?

— Нѣтъ, такъ, по своей охотѣ ратуемъ. А впрочемъ, и то сказать, горевые мы ратники! Вотъ кабы тузы-то наши козырные живы были—ну, и намъ бы поповаднѣе было заодно съ ними помѣряться. Да отъ нихъ, вишь, только могилки остались, а намъ-то, мелкотѣ, не очень и довѣряютъ нынѣшніе правители-то!

— А вамъ бы еще послужить, Никифоръ Петровичъ.

— Слуга покорный-съ. Нынче, сударь, все молодежь пошла. Химіи да физики въ ходу, а мы вѣдь безъ химій вѣкъ прожили, а наипаче на Божью милость надѣялись. Не годимся-съ. Такое ужъ нонче время настало, что въ церкву не ходятъ, а больше, съ позволенія сказать, въ удобреніе вѣруютъ.

— Не черезъ край ли вы хватили, Никифоръ Петровичъ?

— Нѣтъ-съ, до краевъ еще далеко будетъ. Вездѣ нынче этотъ развратъ пошелъ, даже духовные — и тѣ невѣрующіе какіе-то сдѣлались. Этта, доложу вамъ, затесался у насъ въ земскіе гласные попъ одинъ, такъ и тотъ намеднись при всей публикѣ такъ и ляпнулъ: «цифру мнѣ подайте, цифру! ни во что, кромѣ цифры, не повѣрю!» Это духовное-то лицо!

— Это дѣйствительно-съ. Отецъ Спиридоній Благосклоновъ, села Бекетова іерей. Верстъ десять отсюдова будетъ.

Слова эти произнесъ пріѣхавшій съ Терпибѣдовымъ священникъ. Это былъ человѣкъ уже пожилой, небольшого роста, тучный, съ большою и почти совсѣмъ лысою головой, которую онъ держалъ нѣсколько закинувъ назадъ. Характеристическимъ отличіемъ его плоскаго лица представлялись широкія, пещеристыя ноздри, которыя, такъ-сказать, и опредѣляли всю его физіономію. Все прочее утопало въ какомъ-то рыжевато-бѣлесоватомъ колоритѣ. Маленькіе, полупотухшіе глаза неподвижно смотрѣли сквозь очки и казались невидящими; тонкія, выцвѣвшія губы едва раскрывались даже въ то время, когда онъ говорилъ. Рѣдкіе свѣтло-рыжіе волосы на головѣ висѣли въ безпорядкѣ; на бородѣ и усахъ почти совсѣмъ волосъ не было. Говорилъ онъ солидно и пріятнымъ басомъ, но въ голосѣ звучала рѣзкая подыскивающая нотка, отъ которой становилось неловко. Вообще это было какое-то загадочное существо, ко-

тораго видъ вселялъ опасеніе. Даже Терпибѣдовъ, при всемъ сознаніи своей несомнѣнной благонамѣренности, побаивался его и, повидимому, находился подъ сильнымъ его вліяніемъ, что̀ не мѣшало ему однако-жъ шутить надъ своимъ менторомъ довольно смѣлыя шутки. Несмотря на жаркое іюльское время, на священникѣ была черная суконная ряса, сильно порыжѣвшая и запыленная.

— Рекомендую! — представилъ его намъ Терпибѣдовъ: — отецъ Арсеній, бывшій священникъ нашего прихода, а нынѣ запрещенный попъ-съ. По навѣтамъ, а больше за кляузы-съ. До двадцати приходовъ въ свою жизнь перемѣнилъ, нигдѣ не ужился, а теперь и вовсе скапутился!

При этой неожиданной аттестаціи отецъ Арсеній молча вскинулъ своими незрящими глазами въ сторону Терпибѣдова. Подъ вліяніемъ этого взора, расходившійся капитанъ вдругъ съёжился и засуетился. Онъ схватилъ со стола дорожный чубукъ, вынулъ изъ кармана засаленный кисетъ и началъ торопливо набивать трубку.

— Извольте же продолжать, Никифоръ Петровичъ! — солидно протянулъ отецъ Арсеній. — Вы сказали: «за кляузы»... извольте же объяснить, какого рода и по какому случаю эта называемая вами кляуза начало свое получила!

— Нѣтъ ужъ, слуга покорный, ты и на меня еще кляузу напишешь! — попробовалъ отшутиться Терпибѣдовъ. — Вотъ, сударь! — перемѣняя разговоръ, обратился онъ ко мнѣ: — нынче и трубку ужъ самъ закуриваю, а *прежде* сталъ ли бы я! Прошка! венѐ-зиси! — и трубка въ зубахъ!

— Дѣйствительно, прежде не малое было поощреніе лѣности и тунеядству! — уязвилъ отецъ Арсеній.

— Да, сударь, было-съ, было наше времечко! — продолжалъ Терпибѣдовъ, словно не слыша поповскаго замѣчанія. — Такъ вотъ и вы родное гнѣздо посѣтить собрались? Дѣльно-съ. Лѣску малую толику спустить-съ, насчетъ пустошей распорядиться-съ... пользительно-съ!

— Скажите, капитанъ, вѣдь и у васъ тутъ, кажется, некодалеку усадьба была?

— Какъ же-съ, какъ же-съ. И по сейчасъ есть-съ. Только прежде я ее Монрепо̀ прозывалъ, а нынче Монсуфрансо̀мъ зову. Нельзя, сударь. Потому во всѣхъ комнатахъ течь! Въ прошлую весну всѣ дожди на своихъ бокахъ принялъ, а вотъ онъ, іерей-то, называетъ это благорастворе-ніемъ воздуховъ!

— Это дѣйствительно,— пояснялъ отецъ Арсеній.—Весна у насъ нынче для произрастанія злаковъ весьма благопріятная была. Капуста, огурцы —даже сейчасъ во всемъ блескѣ. Но у кого крыша въ неисправности, тотъ, конечно, не мало огорченій претерпѣлъ.

— Да-съ, претерпѣлъ-таки. Ужъ давно думаю я это самое Монрепо по боку —да никому, вишь, не требуется. Пантелею Егорову предлагалъ: купи, говорю, тебѣ, говорю, все одно, чью кровь ни сосать! Такъ нѣтъ, и ему не нужно! «Въ твоемъ, говоритъ, Монрепо не людямъ, а лягушкамъ жить!» Вотъ, сударь, какъ нынче бывшіе холопы-то съ господами со своими поговариваютъ!

Онъ усиленно потянулъ дымъ, и мнѣ показалось, что внутри у него словно что зарычало.

— Такъ-то вотъ мы и живемъ,—продолжалъ онъ.—Это бывшіе слуги-то! Главная причина: никакъ забыть не можемъ. Кабы ежели Богъ намъ забвеніе послалъ, все бы, кажется, лучше было. Сломалъ бы хоромы-то, выстроилъ бы избу рублей въ двѣсти, надѣлъ бы зипунъ, трубку бы тютюномъ набилъ... царствуй! Такъ нѣтъ, все хочется, какъ получше. И зальце чтобъ было, кабинетецъ тамъ, что ли, «мадамъ, перметте бонжуръ! человѣкъ, рюмку водки и закусить!» Вотъ что конфузитъ-то насъ! А то какъ бы не жить! Житье —первый сортъ!

— И то еще ладно, капитанъ, что вы хорошее расположеніе духа не утратили! —усмѣхнулся я.

— Помилуйте! съ ними театровъ не надобно-съ, никогда не соскучитесь! —прибавилъ отецъ Арсеній.— Только вотъ на языкъ невоздержны маленько.

— Да-съ, будешь и театры представлять, какъ въ зной-то палитъ, а въ дождь поливаетъ! Смиряемся-съ. Терпимъ и молчимъ. Въ терпѣніи хотимъ стяжать души наши... такъ, что ли, батя?

— При ветхости крыши и это утѣшеніемъ послужить можетъ!

— Однимъ словомъ, прежде лучше жилось—такъ, что ли, капитанъ? поддразнивалъ Колотовъ.

— Прежде! прежде-то! прежде-съ!

Терпибѣдовъ словно прогремѣлъ эту фразу и даже поперхнулся отъ волненія.

— Прежде, я вамъ доложу, настоящихъ-то слугъ цѣнили-съ,—продолжалъ онъ, захлебываясь на каждомъ словѣ:—а нынче настоящихъ-то слугъ...

Онъ вдругъ оборвалъ, словно чуя, что незрящій взоръ отца Арсенія покоится на немъ. И дѣйствительно, взоръ этотъ какъ бы говорилъ: продолжай! добалтывайся! твои будутъ рѣчи, мои—перо и бумага. Поэтому очень кстати появился въ эту минуту чайный приборъ.

— А какую я вамъ, Сергѣй Иванычъ, рыбку припасъ,— обратился Терпибѣдовъ къ Колотову:—ужъ если рыбка невкусна покажется, такъ хоть всю рѣчную муть перешарьте— пустое дѣло будетъ.

— Осётрикъ во всѣхъ статьяхъ-съ,—мягко, даже почти благосклонно пояснялъ отецъ Арсеній, дуя въ блюдечко и прищелкивая зубами сахаръ.

— Знаю; вы писали, капитанъ. Господинъ Парначевъ, кажется?

— То-есть, писалъ собственно я-съ, а они токмо подписомъ своимъ утвердить пожелали,—замѣтилъ отецъ Арсеній.

— Парначевъ! Не Павла ли Николаича сынъ? Да вѣдь онъ тутъ въ земствѣ, кажется,—вспомнилъ я.

— Онъ самый-съ. Въ земствѣ-съ, да-съ. Шайку себѣ подобралъ... разночинцевъ разныхъ... всѣ мѣста имъ роздалъ—ну, и держитъ уѣздъ въ осадѣ. Скоро дождемся, что по большимъ дорогамъ разбойничать будутъ. Артели, банки, каммуны... Это дворянинъ-съ! Дворянинъ, сударь, а какими дѣлами занимается! Да вотъ батюшка лучше меня распишетъ!

— Дѣйствительно, могу свидѣтельствовать. Много неповинныхъ душъ Валеріанъ Павлычъ совратилъ; даже всю округу, можно сказать, своимъ тлетворнымъ дыханіемъ заразилъ,—сентенціозно подтвердилъ отецъ Арсеній.

— И добро бы изъ долгогривыхъ—все бы не такъ обидно! А то вѣдь дворянинъ-съ!

— Однако вы довольно-таки несносно объ нашемъ сословіи выражаетесь, Никифоръ Петровичъ!—обидѣлся отецъ Арсеній.—Прошу, оставьте!

— Ну, батя, не взыщи! Долгогривые—они вѣдь... примѣры-то эти были!

— Чувствительнѣйше васъ прошу, оставьте-съ!

— Позвольте, господа, не въ томъ совсѣмъ вопросъ! Что же собственно дѣлаетъ господинъ Парнаевъ, что могло въ такой степени возбудить ваше негодованіе? Объясните сначала вы, капитанъ!

— Все дѣлаетъ. Каммуны дѣлаетъ, протолеріатъ проце-

вѣдуетъ, прокламацію распущаетъ... все, словомъ сказать, весь ядъ!

— Главнѣйше же, путямъ Провидѣнія не покоряется,— пояснилъ отецъ Арсеній: дождь, напримѣръ, не отъ Бога, а отъ облаковъ... Да облака-то откуда?

— А вы, батюшка, имѣли разговоръ съ господиномъ Парначевымъ объ этомъ предметѣ?

— Прямого разговору собственно съ ними не было, а отъ крестьянъ довольно-таки наслышанъ. У здѣшнихъ крестьянъ, позвольте вамъ доложить, издавна такой обычай: ненастье ли продолжительное, засуха ли лѣкарство у нихъ на этотъ счетъ одно: молебствіе. И завсегда они соглашались на это съ готовностью, нынче же строптивость выказали. Прошлую весну совсѣмъ-было здѣсь насъ залило— ну, я, признаться, самъ даже предложилъ: не помолебствовать ли, друзья? А они въ отвѣтъ: «Дождь-то вѣдь отъ облаковъ; облака, что ли, ты заговаривать станешь?» Отъ кого, смѣю спросить, они столь неистовыми мыслями заимствоваться могли?

Я слушалъ этотъ обвинительный актъ и, признаюсь откровенно, слушалъ не безъ страха. Я спрашивалъ себя не о томъ, какія послѣдствія для Парначева можетъ имѣть эта галиматья, для меня было вполнѣ ясно, что о послѣдствіяхъ тутъ не можетъ быть и рѣчи, но о томъ, можно ли жить въ подобной обстановкѣ, среди столь необыкновенныхъ разговоровъ? Вѣдь пошлость не всегда ограничивается однимъ тѣмъ, что оскорбляетъ здравый человѣческій смыслъ; въ большинствѣ случаевъ она вызываетъ, кромѣ того, и очень рѣзкія поползновенія къ прозелитизму. Не она покоряется убѣжденіямъ разума, но требуетъ, чтобъ разумъ покорился ея убѣжденіямъ. Столкновеніе приходитъ не вдругъ, но что оно несомнѣнно придетъ въ этомъ служитъ ручательствомъ тотъ громадный запасъ досужества, который всегда находится въ распоряженіи пошлости. Подумайте, сколько варварскаго трагизма скрыто въ этой предстоящей коллизіи!

На сторонѣ пошлости привычка, боязнь неизвѣстности, отсутствіе знанія, недостатокъ отваги. Все, что отдаетъ человѣка въ жертву темнымъ силамъ, все это предлагаетъ ей союзъ свой. Заручившись этими пособниками и имѣя наготовѣ свой собственный жизненный кодексъ, она до такой степени насыщаетъ атмосферу его міазмами, что вдыханіе этихъ послѣднихъ становится обязательнымъ.

Всякое явленіе она обозначаетъ своими примѣтами, всякому факту находитъ готовое, полу-эмпирическое, полу-мистическое толкованіе. Какъ сложились эти примѣты и толкованія—этого она, конечно, не объяснитъ, да ей и не нужно объясненій, ибо необъяснимость не только не подрываетъ ея кодекса, но даже еще больше удостовѣряетъ въ его непреложности. И ежели она встрѣчаетъ отказъ и сомнѣніе, то это нимало не заставляетъ ее вдуматься въ свои требованія, но только возбуждаетъ удивленіе. Отъ удивленія она переходитъ къ назойливости, отъ назойливости къ застращиванію. Досугъ даетъ ей чудовищныя средства въ смыслѣ прозелитизма; всегда праздная, всегда суетящаяся, она неутомимо кружитъ около сомнѣвающагося и постепенно стягиваетъ, суживаетъ свои круги. И вотъ наступаетъ моментъ, когда она приступаетъ уже настоятельно и, не стѣсняясь формальностями, прямо объявляетъ свою сентенцію. Вы не вѣрите примѣтамъ—вы безбожникъ; вы не раболѣпствуете—вы насадитель революціонныхъ идей, возмутитель, ниспровергатель авторитетовъ; вы относитесь критически къ извѣстнымъ общественнымъ явленіямъ—вы развратникъ, ищущій разрушить общественныя основы...

Спрашиваю вновь: какъ жить и не погибнуть въ подобной обстановкѣ, среди вѣчнаго жужжанія глупыхъ рѣчей, не имѣя ничего передъ глазами, кромѣ зрѣлища глупыхъ дѣлъ?

— И вы можете доказать, что господинъ Парначевъ все тò дѣлалъ, чтò вы о немъ сейчасъ разсказывали?— обратился между тѣмъ Колотовъ къ Терпибѣдову.

— Какихъ доказательствъ! Всей округѣ извѣстно!

— Знаете ли, однако-жъ, что это до того любопытно, что мнѣ хотѣлось бы, чтобы вы кой-что разъяснили. Чтò значитъ, напримѣръ, выраженіе: «распространять протолеріатъ»? или другое: «распущать прокламацію»?

— Извините, Сергѣй Иванычъ, я вреднымъ идеямъ не обучался-съ. Въ университетахъ не бывалъ-съ. Знаю, что вредныя, и больше мнѣ ничего не требуется! Да-съ!

— Все-таки не мѣшаетъ хоть понимать, въ чемъ заключается вредъ.

— Говорю вамъ, вся округа подтвердитъ. Первый— здѣшній хозяинъ. И опять еще—батюшка: какого еще лучше свидѣтеля! Духовное лицо!

— Могу свидѣтельствовать, и не токмо самъ, но и дру-

гихъ достовѣрныхъ свидѣтелей представить могу. Хоша бы изъ тѣхъ же совращенныхъ господиномъ Парначевымъ крестьянъ. Потому мужикъ хотя и охотно склоняетъ свой слухъ къ зловреднымъ ученіямъ и превратнымъ толкованіямъ, однако онъ и не безъ раскаянія. Особливо ежели видитъ, что начальство требуетъ отъ него чистосердечнаго сознанія.

— Прекрасно; разскажите же сначала, что̀ вы лично имѣете свидѣтельствовать о господинѣ Парначевѣ?

Отецъ Арсеній задумался и съ минуту пощипывалъ рѣдкіе, чуть замѣтные волоски своей бороды.

— Не безполезно ли будетъ?—наконецъ выговорилъ онъ, смотря черезъ очки на Колотова.

— Отчего?

— Да видится мнѣ, что слова-то наши какъ будто не внушаютъ вамъ большого довѣрія...

— Гм... значитъ, и я ужъ сдѣлался въ вашихъ глазахъ подозрительнымъ... Скоренько! Нѣтъ, коли такъ, то разсказывайте. Поймите, что вѣдь до сихъ поръ вы ничего еще не сказали, кромѣ того, что дождь—изъ облаковъ.

— А этого мало-съ?

— Не много-съ. Разсказывайте, прошу васъ.

— Даже съ превеликимъ моимъ удовольствіемъ-съ. Былъ и со мною лично случай; былъ-съ. Прихожу я, напримѣръ, прошлою осенью, къ господину Парначеву, какъ къ духовному моему сыну, въ домъ...

— Такъ господинъ Парначевъ и на духу у васъ бываетъ?

— Бывалъ-съ. Только, по замѣчанію моему, съ ихъ стороны это больше одно притворство было...

— Вы это вѣрно знаете?

— Перстовъ своихъ въ душевныя раны господина Парначева не вкладывалъ, но, судя по прочимъ поступкамъ...

— А о прочихъ поступкахъ судя по этому... Впрочемъ, продолжайте.

— Слѣдственно, прихожу я къ нимъ въ родѣ какъ бы для бесѣды, а самъ, между прочимъ, въ головѣ свой особый предметъ держу. И вижу я, значитъ, что въ прихожей у нихъ никого нѣтъ, а между тѣмъ изъ кабинета, рядомъ съ прихожей, слышится говоръ. Всталъ я этакъ около двери, будто ноги вытираю, а самъ, между прочимъ, прислушиваюсь. И слышу я эти самыя слова: протолеріатъ, эмансипація, бюрократія, плутократія... А затѣмъ и насчетъ

сыроваренія. Одинъ голосъ говоритъ: «вы, говоритъ, въ недоимки по уши влѣзли; устраивайте артели, варите сыры— и недоимкамъ вашимъ конецъ». Другой голосъ отвѣчаетъ: «хорошо бы это, только какъ же тутъ быть? Теперича у насъ молоко-то ребята хлебаютъ, а тогда оно, значитъ, на недоимки пойдетъ?...» И опять первый голосъ говоритъ: «варите сыры, потому что вамъ, какъ ни вертитесь, двухъ зайцевъ не поймать: либо дѣтей молокомъ кормить, либо недоимки очищать». А другой голосъ отвѣчаетъ: «по-моему, пусть лучше дѣти хлебаютъ». «А по-моему, — это опять первый голосъ,—лучше недоимки очищать, потому что своевременная уплата повинностей есть первый признакъ человѣка, созрѣвшаго для свободы». Хорошо-съ. Только-что, значитъ, онъ это слово «свобода» выговорилъ, анъ, какъ на грѣхъ, подо мной половица и скрипнула. Сейчасъ это Валеріанъ Павлычъ потихоньку-потихоньку, на цыпочкахъ, на цыпочкахъ — и прямо къ двери. И такъ это у нихъ скоро сдѣлалось, что я даже потрафить не успѣлъ. Словомъ сказать, такъ меня пристигли, что я даже совсѣмъ безъ словъ сдѣлался. Стою это въ дверяхъ и вижу только одно: что у нихъ сидитъ нашъ крестьянинъ Лука Прохоровъ, по замѣчанію моему, самый то-есть злѣйшій бунтовщикъ. «Вы,—говоритъ мнѣ господинъ Парначевъ: — коли къ кому въ гости приходите, такъ прямо идите, а не подслушивайте!» А Лука Прохоровъ сейчасъ же за шапку и такъ-таки прямо и говоритъ: «мы, говоритъ, Валеріанъ Павлычъ, объ этомъ предметѣ въ другое время побесѣдуемъ, а теперь между нами лишнее бревнышко есть». Однако я сдѣлалъ видъ, какъ будто не обратилъ вниманія, и взошелъ. Сѣли мы съ Валеріаномъ Павлычемъ другъ противъ друга, и вижу я, что онъ сидитъ у письменнаго стола, на креслѣ покачивается, смотритъ на меня и молчитъ. Довольно долго онъ эту комедію продолжалъ, однако и я помаленьку съ своей стороны оправился: сначала легонько, потомъ побольше, а наконецъ и прямо ему въ лицо заглянулъ. И пришло мнѣ въ эту минуту откровеніе: дай, думаю, я ему нравоученіе сдѣлаю, можетъ-быть, онъ и раскается! И сталъ я ему говорить: не для забавы, Валеріанъ Павлычъ, и не для празднословія пришелъ я къ вамъ, а по душевному дѣлу! — «Слушаю-съ», говоритъ.— Грѣхъ, говорю, великій грѣхъ вы содѣлываете! — «Любопытно», говоритъ.—Любопытнаго, говорю, въ грѣхѣ мало, а слезъ достойнаго много! — «Забавно!» — Нынче забавно,

говорю, а завтра и горько показаться можетъ! Спрошу васъ: зачѣмъ вы малыхъ сихъ въ соблазнъ вводите!? Тутъ ужъ онъ, знаете, и смѣяться пересталъ.—«А вы, говоритъ, увѣрены въ этомъ?»—Не только, говорю, увѣренъ, но даже достовѣрныхъ свидѣтелей представить могу.—«Такъ извольте, говоритъ, сейчасъ изъ моего дома вонъ! Я, говоритъ, къ вамъ не хожу и васъ къ себѣ подслушивать не прошу».

— Каковъ гусь! Это съ духовнымъ-то лицомъ такъ поговариваетъ!—прервалъ Терпибѣдовъ.—А вы еще доказательствъ требуете!

— Какъ выгнали это они меня, иду я къ себѣ домой и думаю: за что̀ онъ меня обидѣлъ? Я къ нему съ утѣшеніемъ, а онъ мнѣ на это: пошелъ вонъ! Иду это и вижу: на улицѣ мальчишки играютъ. И только, значитъ, завидѣли меня, какъ всѣ разомъ закричали: «попъ! попъ! выпусти собаку*)!» Подошелъ я къ одному:—другъ мой, кто тебя научилъ?—«Новый учитель», говоритъ. Къ другому:—тебя кто научилъ?—«Новый учитель», говоритъ.—Нехорошо, говорю, дѣти! Когда я у васъ въ школѣ учителемъ былъ, то вы подобныхъ неистовыхъ словъ не говаривали!.. А новаго-то учителя, только за двѣ недѣли передъ тѣмъ, господинъ Парначевъ изъ губерніи вывезъ. Въ столь короткое время—и ужъ столь быстрые успѣхи ученики сдѣлали!

— Такъ вы прежде учителемъ въ школѣ были?

— Былъ-съ, и прошедшею осенью, по проискамъ господина Парначева, смѣненъ-съ.

— За что̀-жъ васъ смѣнили?

— А за то собственно и смѣнили, что, по словамъ господина Парначева, я крестьянскихъ мальчиковъ естеству вещей не обучалъ, а обучалъ якобы пустякамъ. У меня и засвидѣтельствованная копія съ ихъ доношенія земскому собранію, на всякій случай, взята. Коли угодно...

— Гм!.. да! Возвратимся прежде къ вашему случаю. Изъ разсказа вашего я понялъ, что вы не совсѣмъ осторожно слушали у дверей, и господину Парначеву это не понравилось. Въ чемъ же тутъ собственно злоумышленіе?

— Позволю себѣ спросить васъ: ежели бы теперича они не злоумышляли, зачѣмъ же имъ было опасаться, что ихъ

---

*) Дѣтская крестьянская игра. Берутъ полевой цвѣтокъ и ждутъ, пока изъ чашечки его выползетъ букашка; въ ожиданіи кричатъ: «попъ! *попъ! выпусти* собаку!»

подслушаютъ? Теперича, къ примѣру, если вы, или я, или господинъ капитанъ... сидимъ мы, значитъ, разговариваемъ... И какъ у насъ злыхъ помышленій нѣтъ, то неужели мы станемъ опасаться, что насъ подслушаютъ? Да милости просимъ! Сердце у насъ чистое, помысловъ нѣтъ—хоть до завтрева слушайте!

— Да, но, съ точки зрѣнія общественной безопасности, этого факта все-таки недостаточно. Повторяю: изъ разсказа вашего я вижу только одно, что вы подслушивали...

— Не подслушивалъ, а какъ бы сказать — хотѣлъ достойныя примѣчанія вещи усмотрѣть.

— Ну, да, подслушивали. Вотъ это самое подслушиваніемъ и называется. Вѣдь вы же сами сейчасъ сказали, что даже не успѣли «потрафить», какъ господинъ Парначевъ отворилъ дверь? Стало-быть...

— А по моему мнѣнію, это не только не къ оправданію, но даже къ отягченію ихъ участи должно послужить. Потому позвольте васъ спросить: зачѣмъ съ ихъ стороны поспѣшность такая вдругъ потребовалась? И зачѣмъ, кабы они ничего не опасались, имъ было на цыпочкахъ идти? Не явствуетъ ли...

— А я полагаю, что это затѣмъ было сдѣлано, чтобъ вы впередъ подслушивали умѣючи. А вы вотъ подслушиваете, да ничего не слышите!

— Извините меня! Довольно неистовыхъ словъ слышалъ: свобода, эмансипація, протолеріатъ!.. И опять-таки случай съ ребятишками... не достаточно ли изъ онаго явствуетъ...

— Слушайте-ка! вѣдь вы сами отлично знаете, что это дѣтская игра?

— Но почему же они предприняли именно ее, а не другую какую игру, и предприняли именно въ такой моментъ, когда меня завидѣли? Позвольте спросить-съ.

— Объ этомъ вы бы у нихъ спросили!

— Стало-быть, по мнѣнію вашему, все это — дѣло возможное и ненаказуемое? Стало-быть, и аттестація, что я дѣтей естеству вещей не обучалъ—и это дѣло допустимое?

— Ежели вы находили эту аттестацію для себя обидною, то вамъ слѣдовало ее той инстанціи обжаловать, отъ которой зависитъ опредѣленіе сельскихъ учителей.

— Позвольте мнѣ сказать! Имѣю ли же я, наконецъ, основаніе законныя свои права отыскивать, или долженъ молчать? Я вашему высокородію объясняю, а вы мнѣ изволите на какую-то инстанцію указывать! Я вамъ объясняю,

а не инстанціи-съ! Вѣдь они всего меня лишили: сперва учительскаго званія, а теперь, можно сказать, и собственнаго моего званія...

— Ну, это что-то ужъ мудрено!

— Напротивъ того, даже очень легко-съ. Позвольте мнѣ объяснить. Послѣ того случая, о которомъ я имѣлъ честь вамъ сообщить, поселилась между нами замѣтная холодность, а съ ихней стороны, можно сказать, даже ненависть. Я доношеніе — и они доношеніе; я въ губернію — и они въ губернію. Что̀ они тамъ говорили, какія оправданія противъ моихъ доношеній принесли — этого я не знаю. Знаю только, что наряжено было надо мною слѣдствіе, якобы надъ безпокойнымъ и ябедникомъ, а двѣ недѣли тому назадъ пришло и запрещеніе. И выходитъ теперь, что я запрещенный попъ-съ! Ужели и этого въ глазахъ начальства еще недостаточно?

Сказавъ послѣднія слова, отецъ Арсеній даже измѣнилъ своей сдержанности. Онъ всталъ со стула и обѣ руки простеръ впередъ, какъ бы взывая къ отмщенію. Мы всѣ смолкли. Колотовъ пощипывалъ бородку и барабанилъ по столу; Терпибѣдовъ угрюмо сосалъ чубукъ; я тоже чувствовалъ, что любопытство мое удовлетворено вполнѣ, и что не мѣшало бы куда-нибудь улизнуть. Наконецъ, капитанъ первый нарушилъ тишину.

— Стало-быть, теперича нужно дневного разбоя... тогда только начальство вниманіе обратитъ? — сказалъ онъ, не обращаясь ни къ кому въ особенности.

— Да, чего-нибудь въ этомъ родѣ,—пошутилъ Колотовъ.

— Чтобы васъ, значитъ, грабить начали?

— Да, вообще... протолеріатъ бы какой-нибудь произвели.

Я невольно усмѣхнулся.

— Смѣется... писатель! Смѣйтесь, батюшка, смѣйтесь! И такъ намъ никуда носу показать нельзя! Намеднись выхожу я въ свой палисадникъ — смотрю, а на клумбахъ цѣлое стадо Васюткиныхъ гусей пасется. Ну, я его честь-честью: позвалъ-съ, показалъ-съ.—Смотри, говорю, мерзавецъ! любуйся! Вѣдь по-настоящему въ острогѣ сгноить за это тебя мало! И что-жъ бы, вы думали, онъ мнѣ на это отвѣтилъ? «Отъ мерзавца слышу-съ!» Это Васютка-то такъ поговариваетъ! Ась? Отъ кого, позвольте узнать, идеи-то эти къ нимъ попали?

— Вы бы у Васютки и спросили: кто, молъ, тебя выучилъ на «мерзавца» «мерзавцемъ» отвѣчать?

— Стало-быть, господину Парначеву такъ-таки ничего и не будетъ?

— Не знаю; до сихъ поръ ничего замѣчательнаго не вижу... Понялъ я изъ вашихъ словъ одно: что господинъ Парначевъ пропагандируетъ своевременную уплату недоимокъ—такъ вѣдь это не возбраняется!

— Не понравился, батя, не понравился нашъ осётрикъ господину молодому исправнику! Что-жъ, и прекрасно! Очень даже это хорошо-съ! Пускай Васютки мерзавцами насъ зовутъ! Пускай своихъ гусей въ нашихъ палисадникахъ пасутъ! Теперь я знаю-съ! Ужо̀, какъ домой пріѣду—сейчасъ двери настежь и всѣхъ хамовъ созову. Пасите, скажу, подлецы, хоть въ залѣ у меня гусей пасите! Жгите, рубите, рвите! Исправникъ, скажу, разрѣшилъ!

— Гм!.. Это недурно! Только вѣдь вы, пожалуй, не скажете, капитанъ?

— Ну, вотъ вамъ крестъ! Провалиться мнѣ на семъ мѣстѣ, ежели не скажу!

— Скажите, скажите! Я не обижусь. Ну-съ, конференція, стало-быть, кончена; о господинѣ Парначевѣ вы никакихъ больше свѣдѣній сообщить не имѣете?

— По замѣчанію моему, хозяинъ здѣшній словно бы изъявлялъ готовность свидѣтельствовать!—отозвался отецъ Арсеній.—Впрочемъ, думаю, что врядъ ли и его свидѣтельство во вниманіе примется.

— Нѣтъ, отчего-жъ, пускай свидѣтельствуетъ! Только я долженъ васъ предупредить, что мнѣ извѣстны нѣкоторые эпизоды изъ жизни здѣшняго хозяина...

— Эпизодовъ, ваше высокоблагородіе, въ жизни каждаго человѣка довольно бываетъ-съ! А у другого, можетъ-быть, и больше ихъ... Говорить только не хочется, а ежели бы, значитъ, біографію каждаго изъ здѣшнихъ помѣщиковъ начертать—не многимъ бы по вкусу пришлось!

— Какіе же это эпизоды про здѣшняго хозяина? — полюбопытствовалъ я у отца Арсенія.

— Пустое дѣло-съ. Молва одна. Сказываютъ это, будто онъ у здѣшняго купца Мосягина жену соблазнилъ и вмѣстѣ, будто бы, они въ ту пору дурманомъ его опоили и капиталомъ его завладѣли... Судьбище у нихъ тутъ большое по этому случаю было, съ полгода мѣста продолжалось.

— Мосягинъ? Это не яичникъ ли?—вспомнилось мнѣ.

— Онъ самый-съ. Яйца по окрестности скупалъ и въ Петербургъ отправлялъ.

— Живъ онъ?

— И посейчасъ здѣсь живетъ. И прелюбодѣйственная жена съ нимъ. Только не при капиталахъ находится, а кое-чѣмъ пропитываются. А Пантелей Егорычъ, между прочаго, свое собственное заведеніе открылъ.

— И какое еще заведеніе-то! Въ Москвѣ не стыдно! За одну машину восемьсотъ заплатилъ!—вставилъ Терпибѣдовъ.

— Мужикъ умный. А въ настоящее время даже и христіанинъ-съ.

— Ну, батя, что христіанинъ-то онъ—это еще бабушка на-двое сказала! Умница—это такъ! Изъ шельмовъ шельма—это я и при немъ скажу!—отрекомендовалъ Терпибѣдовъ.

— Позвольте, батюшка,—вновь началъ я: — вотъ вы сейчасъ сказали, что Мосягинъ и теперь здѣсь живетъ? Что-жъ, онъ такъ-таки просто и живетъ?

— А что̀ же ему больше и дѣлать, сударь?

— Да вѣдь вы говорите, что Пантелей Егоровъ жену у него соблазнилъ, капиталъ отнялъ...

— То-есть, какъ бы вамъ сказать! Кто говоритъ: отнялъ, а кто говоритъ: Мосягинъ самъ оплошалъ. Прогорѣлъ, значитъ. А главная причина, Пантелей Егоровъ теперича очень большое засиліе взялъ — ну, Мосягину противъ его вѣры и нѣту.

— Тѣмъ, стало-быть, и кончено?

— По здѣшнему мѣсту эти концы очень часто, сударь, бываютъ. Смотришь это на человѣка: растетъ, кажется... ну, такъ растетъ, такъ растетъ! Шире да выше, краше да лучше, и конца краю, по видимостямъ, деньгамъ у него нѣтъ. И вдругъ это—прогоритъ. Словно даже свѣчка, въ одну минуту истаетъ. Либо самъ запьетъ, либо жена сбѣсится... разумѣется, больше отъ собственной глупости. И пойдетъ это книзу да книзу, у̀же да хуже...

— И дѣльно! Потому—дуракъ! Учить дураковъ надо!—выпалилъ Терпибѣдовъ.

— По здѣшнему мѣсту насчетъ дураковъ даже очень строго. Въ родѣ какъ даже имѣніемъ своимъ владѣть недостойными почитаются... Сейчасъ это или самъ отъ своей глупости прогоритъ, или унесетъ у него кто-нибудь...

— Дуракъ—это по-здѣшнему значитъ: выморочный человѣкъ,—пояснилъ Колотовъ.

— Такъ прикажете позвать Пантелея Егорыча?

— Позовите, позовите! Пускай свидѣтельствуетъ!

———

На окликъ Терпибѣдова вошелъ человѣкъ, составлявшій совершенную противоположность съ запрещеннымъ попомъ. Насколько отецъ Арсеній былъ солиденъ и сдержанъ въ своихъ движеніяхъ, настолько же Пантелей Егоровъ былъ юрокъ и быстръ. Несмотря на нѣсколько лѣтъ благополучнаго хозяйничанья, онъ все еще рѣзко напоминалъ собой бойкаго полового, хотя, впрочемъ, уже свысока относился къ этой незавидной должности и изо всѣхъ силъ старался подражать «настоящимъ хозяевамъ». Это былъ малый лѣтъ тридцати, съ круглымъ, чистымъ и румянымъ лицомъ, курчавою головою, небольшою свѣтлорусою бородкой и маленькими, безпокойно высматривающими глазками. Одѣтъ онъ былъ въ полурусскій, полунѣмецкій костюмъ, состоявшій изъ двубортнаго застегнутаго сюртука, жилета и брюкъ, запущенныхъ въ длинные, до колѣнъ, сапоги. Вся фигура его была въ непрестанномъ движеніи: голова поминутно встряхивалась, глаза бѣгали, ноздри раздувались, плечи вздрагивали, руки то закидывались за спину, то закладывались за борты сюртука. Да и самъ онъ безпрестанно то садился на стулъ, то опрометью вскакивалъ съ него, какъ бы вслѣдствіе давленія какой-то скрытой пружины. Вообще съ перваго же взгляда можно было заключить, что это человѣкъ, устраивающій свою карьеру и считающій себя еще далеко не въ концѣ ея, хотя, съ другой стороны, замѣтное развитіе брюшной полости уже свидѣтельствовало о рождающейся наклонности къ сибаритству. Какъ видно, онъ ожидалъ, что его позовутъ на вышку, потому что слѣдомъ за нимъ въ нашу комнату вошло двое половыхъ съ подносами, изъ которыхъ на одномъ стояли графины съ водкой, а на другомъ—тарелки съ закуской.

— Для перваго знакомства, позвольте просить, ваше высокородіе!—обратился онъ къ Колотову, указывая рукой на подносы.

— Благодарю васъ, я потомъ обѣдать спрошу. Вотъ капитанъ, вѣроятно, не откажется. Садитесь, пожалуйста.

— Постоимъ-съ.

Онъ дѣйствительно минуты двѣ постоялъ, потомъ какъ-то бокомъ придвинулъ стулъ и бокомъ же сѣлъ на него. Но вслѣдъ затѣмъ опять вскочилъ, словно его обожгло. Терпибѣдовъ и отецъ Арсеній тыкали между тѣмъ вилками въ кусочки колбасы и икры и проглатывали рюмку за рюмкой.

— Вы знаете господина Парначева? — спросилъ Колотовъ хозяина.

Пантелей Егоровъ вдругъ встрепенулся.

— Позвольте вамъ доложить!—зачастилъ онъ, становясь навытяжку, словно у допроса, и складывая назади руки.— Не токмà что знаемъ, а даже очень хорошо, можно сказать, понимаемъ ихъ!

— Чтò же вы понимаете?

— А такъ мы ихъ понимаемъ, какъ есть они по всей здѣшней округѣ самый вредный господинъ-съ. Теперича, ежели взять ихъ, да еще господина Анпетова, такъ это именно можно сказать: два сапога—пара-съ!

— Это тотъ Анпетовъ, который самъ пашетъ?

— Они самые-съ. Позвольте вамъ доложить! Скажемъ теперича хошь про себя-съ. Довольно я низкаго званія человѣкъ, однако, при всемъ томъ, такъ себя понимаю, что, кажется, тыщъ бы не взялъ, чтобы, значитъ, на одной линіи съ мужикомъ идти! Помилуйте! одной, съ позволенія сказать, вòни... И Боже ты мой! Ну, а они — они ничего-съ! Для нихъ это, значитъ, замѣсто какъ у благородныхъ господъ амбрѐ.

— Ну-съ, господинъ Анпетовъ пашетъ, а господинъ Парначевъ чтò дѣлаетъ?

— Они не пашутъ—это дѣйствительно-съ. Только, осмѣлюсь вамъ доложить, большая отъ нихъ смута промежду черняди идетъ-съ! Такая смута, такая смута! И ежели теперича, примѣрно, хоть между крестьянъ... или даже между господъ помѣщиковъ, которые изъ молодыхъ-съ... маленько, значитъ, позамялось,—такъ это именно ихъ, господина Парначева, дѣло-съ.

— Чтò же собственно позамялось-то?

— Все-съ, ваше высокородіе! Словомъ сказать, все-съ. Хоша бы, напримѣръ, артели, кассы... Когда-жъ это видано? Прежде всякій, ваше высокородіе, при своемъ дѣлѣ состоялъ-съ: господинъ на службѣ былъ, купецъ торговалъ, крестьянинъ, значитъ, на господина работалъ-съ... А нынче, можно сказать, съ этими классами, да съ училищами, да съ артелями, вся чернядь въ гору пошла!

— Но почему же вы думаете, что это отъ Парначева идетъ?

— Помилуйте! позвольте вамъ доложить! Какъ же намъ-то не знать! Всей округѣ довольно извѣстно. Конечно, они себя берегутъ и даже, какъ бы сказать, не всякому объ себѣ высказываютъ; однако и изъ прочіихъ ихъ поступковъ очень достаточно это видно.

— Вотъ это прекрасно, что вы объ поступкахъ упомянули. Можете назвать хоть одинъ?

— Помилуйте! даже очень могу-съ. Теперича, возьмемъ къ примѣру хошь такой случай. Пріѣзжаютъ они на-дняхъ въ наше селеніе... насчетъ школы, значитъ. Собрали-это сходъ, сами къ нему вышли и зачали съ стариками говорить: «Селеніе, говоритъ, у васъ обширное, кабаковъ нѣсть числа, а школы нѣтъ. И какъ вы люди темные, то отъ этого самаго, значитъ, всѣ васъ обижаютъ. Купцы обсчитываютъ и обмѣриваютъ, чиновники—притѣсняютъ. И нигдѣ вы себѣ правъ не можете найти, потому, ежели даже въ судъ вы жаловаться пойдете, такъ и тамъ своего дѣла порядкомъ разсказать не можете. И все, будто бы, потому, что школы нѣтъ. А будетъ школа, и пойдетъ это, значитъ, вездѣ свѣтъ. Не вы, молъ, такъ дѣти у васъ ученыя будутъ и всякое себѣ удовлетвореніе сдѣлать будутъ въ состояніи. И никто ихъ не обидитъ, потому что у ученаго человѣка противъ всякой обиды средствіе есть!» Хорошо-съ. Говорятъ это они, а я между народомъ стою и слушаю-съ. И все мнѣ думается: что-то какъ будто они неловко говорятъ! Чиновники, молъ, обижаютъ, а вѣдь чиновники-то—слуги царскіе; какъ же, молъ, это такъ! Опять и это: всякій будто человѣкъ можетъ самъ себѣ удовлетвореніе сдѣлать—гдѣ же это видано! въ какихъ безсудныхъ земляхъ-съ! Ахъ, думаю, далеконько вы, Валеріанъ Павлычъ, камешокъ-то забрасываете, да какъ бы самимъ потомъ вытаскивать его не пришлось! И сейчасъ же мнѣ, сударь, послѣ того мысль вошла. Покуда онъ съ ними разговаривалъ, а я бѣгомъ-бѣгомъ, да въ трактиръ: постой, думаю, устрою я тебѣ суприз! Пришелъ въ трактиръ-съ, всталъ за стойку и жду, какъ они, наговорившись, придутъ чай пить. И дѣйствительно-съ, черезъ полчаса времени, какъ только они на крыльцо, а я сейчасъ, значитъ, къ машинѣ: *Коль славенъ*... это, значитъ, въ Сіонѣ-съ! И что-жъ бы вы думали—хошь бы онъ бровью пошевельнулъ! Посѣтители сидятъ, чай пьютъ, всѣ, можно сказать, въ умиленіи, а онъ, какъ вошелъ въ фуражкѣ, такъ и шмыгнулъ наверхъ-съ! Ну, и точно-съ! Посмотрѣлъ я тогда на нихъ, да только вслѣдъ головой строгонько покачалъ. Даже многіе посѣтители въ то время это замѣтили. И такъ это мнѣ обидно сдѣлалось, глядя на ихнее невѣжество, что, кажется, деньги эти самыя, которыя они мнѣ за чай потомъ заплатили... кажется, скорѣе за окно бы ихъ вышвырнулъ, нечѣмъ такихъ посѣтителевъ у себя принимать!

— Ну, братъ, деньги-то ты за окно не бросишь, хоть бы онѣ отъ самого антихриста были!—по своему обыкновенію, сюрпризомъ вставилъ Терпибѣдовъ.

Отца Арсенія передернуло; Пантелей Егоровъ поблѣднѣлъ.

— Мелко вы, сударь, плаваете! — сказалъ онъ, блистая глазами на Терпибѣдова:—вотъ что̀ скажу вамъ, Никифоръ Петровичъ!

— Позвольте, оставимъ, капитанъ, эпизоды,—вступился Колотовъ:—и будемъ заниматься предметомъ нашей конференціи. Итакъ, вы говорите, что господинъ Парначевъ этимъ поступкомъ сильно васъ оскорбилъ?

— Такъ оскорбилъ, такъ оскорбилъ-съ, даже душа во мнѣ вся перевернулась! Какъ передъ Истиннымъ-съ! Помилуйте! тутъ публика... чай кушаютъ... въ умиленіи-съ... а они въ фуражкѣ! Всѣ, можно сказать, такъ и ахнули!

— И вы полагаете, что со стороны господина Парначева тутъ былъ умыселъ?

— Позвольте вамъ доложить, какъ же возможно, чтобы безъ умысла! Тутъ, значитъ, публика... чай кушаютъ... въ умиленіи... а они въ фуражкѣ!

— Поймите меня, тутъ все дѣло въ томъ, былъ ли умыселъ, или нѣтъ? Беретесь ли вы доказать, что умыселъ былъ?

— Помилуйте! Зачѣмъ-же-съ? И какъ же возможно это доказать? Это дѣло душевное-съ! Я, значитъ, что̀ видѣлъ, то̀ и докладываю! Видѣлъ, къ примѣру, что тутъ публика... въ умиленіи-съ... а они въ фуражкѣ!

— Зачѣмъ же вы тогда прямо не замѣтили господину Парначеву, что онъ поступаетъ оскорбительно для васъ и вашихъ гостей? Можетъ-быть, дѣло-то и разъяснилось бы?

— Кажется, такихъ правиловъ нѣтъ, чтобы мужикамъ господъ учить! Они здѣсь всѣхъ учатъ, а не то чтобы что-съ!

— Однако, ежели теперь господину Парначеву сообщить ваше показаніе, такъ вѣдь онъ, пожалуй, и въ амбицію вломиться можетъ!

— Сдѣлайте ваше одолженіе! Зачѣмъ же имъ сообщать! И безъ того они ко мнѣ ненависть питаютъ! Такую, можно сказать, мораль на меня пускаютъ: и закладчикъ-то я, и монетчикъ-то я! Даже на каторгѣ словно мнѣ мѣста нѣтъ! Два раза дѣло мое съ господиномъ Мосягинымъ поднимали! Прошлой зимой, въ самое, то-есть, бойкое время — рекрутскій наборъ былъ—а у меня, по ихъ проискамъ, два питейныхъ заведенія прикрыли! Бунтуютъ противъ меня—

и кончено дѣло! Стало-быть, ежели теперича имъ еще сказать—что̀ же такое будетъ!

— Вотъ видите! Вы дѣла завязываете, а на очную ставку стать не хотите!

— Зачѣмъ же-съ! Я, ваше высокородіе, по простотѣ-съ! Думалъ это, значитъ, что ихъ только на замѣчаніе возьмутъ—тѣмъ, молъ, дѣло и кончится!

— А вы полагаете, что взять человѣка на замѣчаніе—это ничего?

Пантелей Егоровъ вдругъ смолкъ. Онъ нервно сѣменилъ ногами на одномъ мѣстѣ и бросалъ тревожные взгляды на отца Арсенія. Но запрещенный попъ стоялъ въ сторонѣ и тыкалъ вилкой въ пустую тарелку. На минуту въ комнатѣ воцарилось глубокое молчаніе.

— Стало-быть, господину Парначеву такъ-таки ничего и не будетъ!—вдругъ, словно громомъ, раскатился Терпибѣдовъ.

III.—Переписка.

«Любезная маменька!

«Мѣсяцъ тому назадъ я увѣдомлялъ васъ, что получилъ мѣсто товарища прокурора при здѣшнемъ окружномъ судѣ. Съ тѣхъ поръ я произнесъ уже восемь обвинительныхъ рѣчей, и вотъ результатъ моей дѣятельности: два приговора *безъ смягчающихъ вину обстоятельствъ;* шесть приговоровъ, по которымъ содѣянное преступленіе признано подлежащимъ наказанію, но съ допущеніемъ смягчающихъ обстоятельствъ; оправданій—ни одного. Можете себѣ представить, въ какомъ я восторгѣ!

«Начальство замѣтило меня; между обвиняемыми мое имя начинаетъ вселять спасительный страхъ. Я не смѣю еще утверждать рѣшительно, что послѣдствіемъ моей дѣятельности будетъ непосредственное и быстрое уменьшеніе проявленій преступной воли (а какъ бы это было хорошо, милая маменька!), но, кажется, не ошибусь, если скажу, что года черезъ два-три я буду призванъ къ болѣе высокому жребію.

«Двадцати шести, двадцати семи лѣтъ я буду прокуроромъ—это почти вѣрно. Я имѣю полное основаніе разсчитывать на такое повышеніе, потому что если уже теперь начальство *безъ содроганія* поручаетъ мнѣ защиту госу-

дарственнаго союза отъ угрожающихъ ему опасностей, то ясно, что въ будущемъ меня ожидаютъ очень и очень серьезныя служебныя перспективы.

«Принявъ во вниманіе все вышеизложенное, а равнымъ образомъ имѣя въ виду, что казенное содержаніе, сопряженное съ званіемъ сенатора кассаціонныхъ департаментовъ, есть одинъ изъ прекраснѣйшихъ удѣловъ, на которые можетъ претендовать смертный въ сей земной юдоли, я бодро гляжу въ глаза будущему! Я не ропщу даже на то, что нѣкоторые изъ моихъ товарищей по школѣ, сдѣлавшись адвокатами, держатъ своихъ собственныхъ лошадей, а нѣкоторые, сверхъ того, имѣютъ и клеперовъ!

«Всѣмъ этимъ я обязанъ вамъ, милая маменька, или, лучше сказать, той безграничной проницательности материнской любви, которая сразу умѣла угадать мое настоящее назначеніе. Вы удержали меня на краю пропасти въ ту минуту, когда душа моя, по неопытности и легкомыслію, уже готова была устремиться въ зіяющія бездны адвокатуры!

«— Другъ мой! — сказали вы мнѣ: — въ Россіи безъ казенной службы прожить нельзя; непремѣнно что-нибудь такое сдѣлаешь, что вдругъ очутишься сосланнымъ въ Сибирь, въ мѣста не столь отдаленныя! — Святая истина!

«Теперь, покуда пора увлеченія еще не прошла, адвокаты спѣшатъ пользоваться дарами жизни. Они имѣютъ лучшіе экипажи, пользуются лучшими кокотками, пьютъ лучшія вина! Но тѣмъ печальнѣе будетъ часъ пробужденія... особенно для тѣхъ, которыхъ онъ настигнетъ въ не столь отдаленныхъ мѣстахъ Сибири!

«Я рожденъ прокуроромъ, милая маменька! Обвиненіе, такъ сказать, гнѣздится въ крови моей!

«Однажды содѣянное преступленіе находитъ во мнѣ мстителя безпощаднаго, неумолимаго и неутомимаго! Ибо что̀ такое преступленіе, милая маменька?

«Съ одной стороны, преступленіе есть осуществленіе, или, лучше сказать, проявленіе злой человѣческой воли. Съ другой стороны, злая воля есть тотъ всемогущій рычагъ, который до тѣхъ поръ двигаетъ человѣкомъ, покуда не заставитъ его совершить что-либо въ ущербъ высшей идеѣ правды и справедливости, положенной въ основаніе пятнадцати томовъ свода законовъ Россійской Имперіи.

«Таково, милая маменька, преступленіе!

«Но ежели правда и справедливость нарушены, то мо-

жетъ ли законъ равнодушно взглянуть на фактъ этого нарушенія? Не въ правѣ ли онъ потребовать, чтобы нарушенное было возстановлено быстро, немедленно, по горячимъ слѣдамъ? чтобы преступленіе, пристигнутое, разоблаченное отъ всѣхъ покрововъ, явилось передъ лицомъ юстиціи въ приличной ему наготѣ и притомъ снабженное неизгладимымъ клеймомъ позора на мрачномъ челѣ?

«Отсюда: необходимость наказанія.

«Наказаніе, милая маменька, не есть что-либо самостоятельное. Это не что̀ иное, какъ естественное и неизбѣжное послѣдствіе самого преступленія—и ничего болѣе.

«Кто мыслитъ «преступленіе», тотъ въ то же время неизбѣжно, такъ сказать, фаталистически, мыслитъ и «наказаніе»!

«Таковъ неумолимый законъ логики!

«Не потому долженъ быть наказанъ преступникъ, что этого требуетъ безопасность общества или величіе закона, но потому, что объ этомъ вопіетъ сама злая воля, служащая источникомъ содѣяннаго преступленія. Она сама настаиваетъ на необходимости наказанія, ибо въ противномъ случаѣ она не совершила бы *всего* естественнаго круга, который обязывается совершить!

«Преступленіе, оставленное безъ наказанія,—это недоговоренное слово, это недоконченная мысль, это недоносокъ, который осужденъ умереть при самомъ рожденіи!

«Предположеніе это такъ нелѣпо и, можно сказать, даже чудовищно, что ни одинъ адвокатъ никогда не осмѣлится остановиться на идеѣ ненаказуемости, и всѣ такъ-называемыя оправдательныя рѣчи суть не что̀ иное, какъ болѣе или менѣе унизительныя варьяціи на тему: «не пойманъ—не воръ!»

«На комъ же—спросите вы—лежитъ обязанность возстановлять нарушенную правду?

«Священная эта обязанность лежитъ, во-первыхъ, на самомъ законѣ, а во-вторыхъ—на судѣ, который, однако-жъ, безсиленъ, если не подвигнутъ къ тому иниціативой прокурора.

«Прокуроръ—это излюбленный человѣкъ закона, это око его, это преданнѣйшій и, такъ сказать, всегда стоящій на стражѣ исполнитель его велѣній!

«Прокуроръ!

«Онъ ни на минуту не покидаетъ величественнаго храма правосудія, онъ неустанно бодрствуетъ и неустанно же со-

вершаетъ возліянія! Это его долгъ, милая маменька, это провиденціальное его назначеніе. Безъ этого—прокуроръ немыслимъ!

«Онъ закалаетъ законопреступную волю человѣческую и, очистивъ ее при посредствѣ наказанія, приноситъ въ жертву вѣчной идеѣ правды и справедливости!

«И рядомъ съ этимъ поразительнымъ зрѣлищемъ вы видите жалкую, безсильную стряпню адвоката, который надѣется, что подъ дѣйствіемъ его тлетворнаго дыханія самое солнце правды утратитъ свою лучезарность!

«Не безумная ли это надежда, милая маменька?

«Засимъ, испрашивая вашего благословенія и цѣлуя ваши ручки, остаюсь неизмѣнно любящій вашъ сынъ—

«Николай Батищевъ».

«P. S. Помните ли вы Ероѳеева, милая маменька? Того самаго Ероѳеева, который къ намъ по праздникамъ изъ школы хаживалъ? Теперь онъ адвокатъ, и представьте себѣ, какую штуку удралъ!—взялъ да и объявилъ себя спеціалистомъ по части скопцовъ! До тѣхъ поръ у него совсѣмъ дѣлъ не было, а теперь отъ скопцовъ отбою нѣтъ! Надняхъ выигралъ одно дѣло и получилъ сорокъ тысячъ. Сорокъ тысячъ, милая маменька! А вѣдь онъ даже не очень умный!»

«Милый дружокъ Николенька.

«Живя нѣсколько лѣтъ безвыѣздно въ деревнѣ, я такъ отъ нынѣшнихъ порядковъ отстала, что, признаюсь, не совсѣмъ даже поняла, какая-такая это должность, въ которой все обвинять нужно. Да, спасибо, братецъ Григорій Николаевичъ растолковалъ. Въ нынѣшнее время,—сказалъ онъ,—во всѣхъ образованныхъ государствахъ судопроизводство устроено на манеръ извѣстныхъ pièces à tiroir (помню я эти пьесы, мой другъ; еще будучи въ институтѣ, въ «La fille de Dominique» игрывала). Выдвинь одинъ ящикъ—обвиненіе; выдвинь другой ящикъ—оправданіе. А потомъ: du choc des opinions jaillit la vérité—точь-въ-точь, какъ въ «La fille de Dominique», гдѣ, сколько я ни переодѣвалась, а въ концѣ пьесы все-таки объяснилось, что я—дочь Доминика, и больше ничего. Не знаю, такъ ли объяснилъ братецъ (онъ у насъ привыкъ обо всемъ въ ироническомъ смыслѣ говорить, за что̀ и по службѣ успѣха не имѣлъ), но ежели такъ, то, по-моему, это очень хорошо.

«Зная твое доброе сердце, я очень понимаю, какъ тягостно для тебя должно быть всѣхъ обвинять; но если начальство твое желаетъ этого, то что̀ же дѣлать, мой другъ,— обвиняй! Неси сей крестъ съ смиреніемъ и утѣшай себя тѣмъ, что въ мірѣ не однѣ радости, но и горести! И кто же изъ насъ можетъ сказать навѣрное, что̀ для души нашей полезнѣе: первыя или послѣднія! Я, по крайней мѣрѣ, еще въ институтѣ была на сей счетъ въ недоумѣніи, да и теперь въ ономъ же нахожусь.

«Благородныя твои чувства, въ письмѣ выраженныя, очень меня утѣшили, а сестрица Анюта даже прослезилась, читая философическія твои размышленія насчетъ человѣческой закоренѣлости. Сохрани этотъ пламень, мой другъ, сохрани его навсегда. Это единственная наша отрада въ жизни, гдѣ, какъ тебѣ извѣстно, всѣ мы странники, и ни одинъ волосъ съ головы нашей не упадетъ безъ воли Того, Который заранѣе все знаетъ и опредѣляетъ!

«Я никогда не была озабочена насчетъ твоего будущаго: я знаю, что ты у меня умница. Поэтому меня не только не удивило, но даже обрадовало, что ты такою твердою и вѣрною рукой сумѣлъ начертить себѣ цѣль для предстоящихъ стремленій. Сохрани эту твердость, мой другъ, сохрани ее навсегда! Ибо жизнь безъ сего свѣточа—все равно, что утлая ладья безъ кормила и весла, несомая въ бурную ночь по волнамъ океана au gré des vents.

«Ты пишешь, что стараешься любить своихъ начальниковъ и дѣлать имъ угодное. Судя по воспитанію, тобою полученному, я иного и не ожидала отъ тебя. Но знаешь ли, другъ мой, почему начальники такъ дороги твоему сердцу, и почему *мы всѣ*, tous tant que nous sommes, обязаны любить данное намъ отъ Бога начальство? Прошу тебя, выслушай меня.

«Мы должны любить его, во-первыхъ, потому, что начальство есть, прежде всего, другъ человѣчества, или, какъ у насъ въ институтѣ, въ одномъ водевилѣ, пѣли:

Il voit tout,
Il sait tout,
Et il fourre son nez partout!

«А во-вторыхъ, потому, что оно награждаетъ любящихъ его и наказуетъ противящихся ему.

«Подумай объ этомъ, другъ мой, и сообразно съ симъ располагай своимъ поведеніемъ!

«Поэтому, ежели начальство приказываетъ тебѣ обвинять,

то значитъ, что это такъ слѣдуетъ. Когда же наступитъ время оправдывать, то, конечно, оно же безъ труда прикажетъ тебѣ и оправдывать

«При старости лѣтъ моихъ, я ко многому въ жизни сдѣлалась равнодушна, но по временамъ и я не могу не содрогнуться! Много, ахъ, слишкомъ много злодѣяній скрывается въ нѣдрахъ міра сего, особливо же съ тѣхъ поръ, какъ всѣмъ сказана воля. Нигдѣ ужъ нѣтъ ни почтенія, ни преданности, а о потравахъ и о прочемъ—и говорить нечего. Посему теперь именно такое время настало, когда не оправдывать, а обвинять надлежитъ, дабы хотя этимъ постигшую насъ волю нѣсколько остепенить. Даже братецъ Григорій Николаевичъ, который, какъ ты знаешь, самъ этой воли желалъ, доколѣ она не пришла,—и тотъ теперь смирился и говоритъ: «je crois que le knout ferait bien mieux leurs affaires!» Я же, съ своей стороны, прибавлю: et les nôtres! Вотъ какъ Богъ-то ведетъ человѣка неисповѣдимымъ путемъ своимъ! Былъ нашъ Григорій Николаевичъ вольтерьянецъ, и Лафайэтъ съ языка у него не сходилъ, а теперь лежитъ разбитый параличомъ да «все упованіе мое на Тя возлагаю» шепчетъ!

«Да, другъ мой, неисповѣдимы пути Божіи! Сколько прежде насъ съ сестрицей Анютой огорчалъ братецъ, столько же теперь утѣшаетъ и радуетъ. Ты знаешь, какой у него необузданный умъ былъ, а теперь, какъ мужиковъ отняли, такимъ христіаниномъ сдѣлался, что дай Богъ всякому. Намедни даже удивилъ насъ. Читаемъ мы вечеромъ «житіе», только онъ вдругъ на одномъ мѣстѣ остановилъ насъ: «Сестрицы, говоритъ, если я, по старой привычкѣ, скощунствую, такъ вы меня, Христа-ради, простите!» И скощунствовалъ-таки, не удержался. Ну, да ужъ Богъ съ нимъ! Хорошо и то, что хоть какіе-нибудь признаки смиренія въ немъ показались!

«Знаешь ли что̀, другъ мой! Я думаю, что это у него такая болѣзнь! Представь себѣ, сидитъ онъ намеднись въ своемъ большомъ креслѣ и четки перебираетъ... ну, совсѣмъ, въ полномъ видѣ, христіанинъ! И вдругъ—что̀-жъ слышимъ! «А что̀, говоритъ, не объясните ли вы мнѣ, сестрицы, чего во мнѣ больше: малодушія или малоумія?» Мы смотримъ на него во всѣ глаза, думаемъ, не пароксизмъ ли съ нимъ. «Да поймите же вы меня, говоритъ, вѣдь я доподлинно знаю, что ничего этого нѣтъ, а между тѣмъ вотъ сижу съ вами и четки перебираю!» Такъ это

насъ съ сестрицей офрашировало, что мы сейчасъ же за отцомъ Ѳеодоромъ гонца послали. И что-жъ!—все какъ рукой сняло! Такой опять христіанинъ сдѣлался, такой христіанинъ! Ни рукой, ни ногой не шевельнетъ, только головой качаетъ!

«Какой это урокъ для всѣхъ насъ, другъ мой!

«Затѣмъ, благословляя тебя на новомъ поприщѣ, сердечный другъ мой, и желая тебѣ блестящихъ успѣховъ на ономъ, остаюсь любящая тебя мать—

«Надежда Батищева».

«P. S. А что ты насчетъ адвоката Ероѳеева пишешь, будто бы со скопца сорокъ тысячъ получилъ, то не завидуй ему. Сорокъ тысячъ тогда полезны, если на оныя хорошій процентъ получать; Ероѳеевъ же навѣрное сего направленія своимъ деньгамъ не дастъ, а либо по портнымъ да на галстуки оныя разсоритъ, либо въ кондитерской на пирожкахъ проѣстъ. Еще смолоду онъ эту склонность имѣлъ и никогда утѣшеніемъ для своихъ родителей не былъ».

«Любезная маменька.

«Спѣшу сообщить вамъ объ одномъ весьма важномъ успѣхѣ, полученномъ мною,—успѣхѣ, который, вѣроятно, послужитъ къ окончательному обезпеченію моего будущаго.

«Третьяго дня меня призвалъ мой генералъ и сказалъ мнѣ:

«— На-дняхъ здѣсь напали на слѣдъ цѣлаго скопища злоумышленниковъ...

«Я поклонился.

«— Слѣдствіе по этому дѣлу уже начато. Производятъ его люди извѣстные своею дѣятельностью и ловкостью, но я долженъ сознаться, что до сихъ поръ никакого существеннаго результата не достигнуто.

«Я поклонился вновь.

«— Я пришелъ къ тому убѣжденію, что недостаточность результатовъ происходитъ оттого, что тутъ употребляются совсѣмъ не тѣ пріемы. Я не знаю, что именно нужно, но безсиліе старыхъ, традиціонныхъ уловокъ для меня очевидно. Онѣ безъ пользы ожесточаютъ злоумышленниковъ, между тѣмъ какъ нужно, чтобы дѣло само собой, такъ-сказать, скользя по своей естественной покатости, пришло къ неминуемому концу. Вотъ мой взглядъ. Вы, мой другъ, человѣкъ новый и современный—вы должны понять меня Поэтому я рѣшился поручить это дѣло вамъ.

«Съ начальниками нужно быть очень сдержаннымъ, милая маменька. Никогда не слѣдуетъ забѣгать имъ впередъ, потому что это можетъ показаться навязчивостью. Только въ крайнемъ случаѣ, когда уже вполнѣ несомнѣнно, что начальникъ находится въ затрудненіи насчетъ предмета предстоящей бесѣды, можно помочь ему, бросивъ вскользь какую-нибудь мысль. Но и тутъ слѣдуетъ устроить такъ, чтобы генералъ ни на минуту не усомнился, что эта мысль его собственная. Вотъ почему я ни слова не отвѣчалъ на обращенную ко мнѣ рѣчь генерала и только новымъ безмолвнымъ поклономъ засвидѣтельствовалъ о моей твердой готовности слѣдовать начальственнымъ предписаніямъ.

«— Дѣло въ томъ,—продолжалъ генералъ:—что нѣсколько злоумышленниковъ образовали изъ себя «Общество для предвкушенія гармоній будущаго». По «уставу» общества—онъ находится въ нашихъ рукахъ—цѣль его заключается «въ непрерывномъ созерцаніи гармоній будущаго и въ терпѣливомъ перенесеніи бѣдствій настоящаго». Вы понимаете, однако, что это только казовая, такъ сказать, офиціальная цѣль общества, и несомнѣнно, что у него должны быть другія, болѣе опасныя цѣли, которыя оно, разумѣется, сочло нужнымъ скрыть. Но этихъ-то цѣлей мы именно и не знаемъ.

«Высказавъ это, генералъ остановился, какъ бы приглашая меня къ дальнѣйшимъ развитіямъ.

«— Осмѣлюсь повергнуть на усмотрѣніе вашего превосходительства только одинъ почтительнѣйшій вопросъ,—началъ я:—если найденъ «уставъ» общества, то, можетъ-быть, имѣется въ виду и списокъ членовъ его?

«— Да, списокъ есть! Найдена бумажка, на которой карандашомъ написано пятнадцать фамилій, и что всего прискорбнѣе—въ числѣ участниковъ общества значится одинъ уланскій офицеръ.

«— Напротивъ того, смѣю думать, что это признакъ очень хорошій, ваше превосходительство. Участіе уланскаго офицера, если позволено такъ выразиться, открываетъ передъ нами цѣлый міръ интригъ. Чтобы настичь этого человѣка, превратныя толкованія должны были слишкомъ самоувѣренно и слишкомъ далеко распространять свои корни и нити. Не будь уланскаго офицера, мы могли бы еще колебаться насчетъ важности злоумышленія: теперь—мы имѣемъ право провидѣть уже цѣлую организацію! Уланскій офицеръ—это ключъ; уланскій офицеръ—это все! Я спра-

шиваю себя: зачѣмъ нуженъ уланскій офицеръ?—и смѣло отвѣчаю: онъ нуженъ въ качествѣ эксперта по военной части! Я не смѣю утверждать, но мнѣ кажется... и если вашему превосходительству угодно будетъ выслушать меня...

«— Говорите, мой другъ!

«— Я положительно убѣжденъ, что найденный списокъ съ пятнадцатью фамиліями представляетъ собой силы далеко не всего общества, а лишь одного изъ отдѣловъ его!

«Голосъ, которымъ я высказалъ это убѣжденіе, звучалъ такою искренностью, что генералъ былъ видимо пораженъ.

«— Такова была и моя первоначальная мысль,—сказалъ онъ:—но что̀ прикажете дѣлать! Эти старые рутинеры... они никогда не видятъ дальше своего носа.

«— И сверхъ того я убѣжденъ, что съ помощью этого ничтожнаго клочка бумаги, которому, повидимому, придается такое узкое значеніе, можно, при нѣкоторой ловкости, дойти до поразительнѣйшихъ развѣтвленій и заключеній!—продолжалъ я, увлекаясь больше и больше и даже, незамѣтно для самого себя, переходя въ запальчивость.

«Но запальчивость эта не только не оскорбила генерала, но, напротивъ того, понравилась ему. На губахъ его скользнула ангельская улыбка. Это до такой степени тронуло меня, что и на моихъ глазахъ показались слезы. Клянусь однако-жъ, что тутъ не было лицемѣрія съ моей стороны, а лишь только счастливое стеченіе обстоятельствъ!

«— Итакъ, молодой человѣкъ, въ походъ?!—весело сказалъ онъ, голосомъ и взоромъ ободряя меня.

«— Всѣ силы... вся кровь... ваше превосходительство...—говорилъ я прерывающимся голосомъ.

«— Вѣрю!

«— Я не имѣю словъ, ваше превосходительство, но если позволено такъ выразиться...

«— Успокойтесь, великодушный молодой человѣкъ! Увы! мы не имѣемъ права даже быть чувствительными! Итакъ, въ походъ! Но, прежде чѣмъ приступить къ дѣлу, скажите, не имѣете ли вы сообщить мнѣ что-нибудь насчетъ плана вашихъ дѣйствій?

«— На первый разъ позвольте мнѣ просить васъ объ одной милости, ваше превосходительство!

«— Говорите, мой другъ!

«— Позвольте мнѣ называть этихъ людей не злоумышленниками, а заблуждающимися!

«Генералъ взглянулъ на меня изумленными глазами, но черезъ минуту я убѣдился, что онъ понялъ мою мысль.

«— Благородный молодой человѣкъ!—сказалъ онъ, протягивая мнѣ руку.

«— Осмѣлюсь высказать мою мысль вполнѣ,—продолжалъ я съ чувствомъ:—не нужно обезкураживать, ваше превосходительство! Нужно, чтобъ они всегда съ полнымъ довѣріемъ, съ возможною, такъ сказать, искренностью... Быть-можетъ, я слишкомъ смѣлъ, ваше превосходительство! быть-можетъ, мои скромныя представленія...

«— Напротивъ, всегда будьте искренни! Что же касается до вашего великодушнаго желанія, то я тѣмъ болѣе ничего не имѣю противъ удовлетворенія его, что въ свое время, безъ вреда для дѣла, наименованіе «заблуждающихся» вновь можно будетъ замѣнить наименованіемъ злоумышленниковъ... Не правда ли?

«— Точно такъ, ваше превосходительство!

«Затѣмъ онъ позвонилъ и приказалъ передать мнѣ дѣло о злоумышленникахъ, которые отнынѣ, милая маменька, благодаря моей иниціативѣ, будутъ уже называться «заблуждающимися». На прощанье генералъ опять протянулъ мнѣ руку.

«Не знаю, какъ я дошелъ до своей квартиры. Нервы мои были такъ возбуждены, что я буквально цѣлые полчаса рыдалъ. О, если-бъ всѣ подчиненные умѣли понимать и цѣнить сердца своихъ начальниковъ!

«И вчера, и третьяго-дня, обѣ ночи я употребилъ на ознакомленіе съ дѣломъ. Генералъ сказалъ правду: всѣ эти «предвкушенія» представляютъ только внѣшній предлогъ, за которымъ скрываются очень важныя преступныя цѣли. Нѣтъ, господа, шалите! ужъ меня вы не проведете своими «предвкушеніями»! Я самъ человѣкъ современный и кой-что понимаю въ вашихъ такъ-называемыхъ «предвкушеніяхъ»! Я съ перваго же абцуга почувствовалъ, въ чемъ тутъ штука! И представьте себѣ, милая маменька, до сихъ поръ *ровно* ничего не сдѣлано для раскрытія настоящихъ цѣлей «Общества»! Ничего! И за всѣмъ тѣмъ, благодаря неутомимой дѣятельности моихъ предшественниковъ, дѣло уже развилось до четырехъ томовъ при пятнадцати обвиняемыхъ. Пятнадцать обвиняемыхъ, милая маменька, которые томятся въ заключеніи — за что? — за то, что совмѣстно занимались «предвкушеніями»! Гдѣ же справедливость?

«Теперь моя черновая работа кончена, и планъ будущихъ дѣйствій составленъ. Этотъ планъ ясенъ и можетъ быть выраженъ въ двухъ словахъ: строгость и снисхожденіе! Прежде всего—душа преступника! Произвести въ ней спасительное движеніе и посредствомъ него придти къ раскрытію истины—вотъ цѣль! Затѣмъ—въ походъ! Но не противъ злоумышленниковъ, милая маменька, а противъ бѣдныхъ неопытныхъ заблуждающихся! Мнѣ кажется, что это именно тотъ настоящій тонъ, на которомъ можно разъиграть какую угодно пьесу...

«Пользуюсь минутой свободы, чтобъ сообщить вамъ, милая маменька, объ этомъ новомъ знакѣ довѣрія, которымъ я почтенъ. Затѣмъ, цѣлуя ваши ручки и испрашивая вашего благословенія, въ настоящую минуту болѣе, нежели когда-либо, для меня драгоцѣннаго, остаюсь любящій и глубоко преданный сынъ вашъ—

«Николай Батищевъ».

«P. S. А Ерофеевъ еще штуку удралъ. Заманилъ къ себѣ другого скопца и опять сорвалъ съ него сорокъ тысячъ. Повидимому, цифра сорокъ тысячъ дѣлается для него въ родѣ прецедента, на который онъ рѣшился ссылаться въ будущемъ, подобно тому, какъ другіе ссылаются на рѣшенія кассаціонныхъ департаментовъ сената. Устроился онъ отлично: за монтировку одного кабинета заплатилъ пятнадцать тысячъ, въ пріемной поставилъ золоченую мебель, а на полкахъ размѣстилъ полное собраніе законовъ. На душу кліента это производитъ впечатлѣніе почти неотразимое. Нѣтъ, какъ хотите, а Ерофеевъ, право, не такъ глупъ, какъ до сихъ поръ о немъ думали!»

«По полученіи твоего письма, голубчикъ Николенька, сейчасъ же послала за отцомъ Ѳеодоромъ, и всѣ вмѣстѣ соединились въ теплой мольбѣ Всевышнему о ниспосланіи тебѣ духа бодрости, а начальникамъ твоимъ долголѣтія и нетлѣнныхъ наградъ. И когда все это исполнилось, такое въ душѣ моей сдѣлалось спокойствіе, какъ будто тихій ангелъ въ ней пролетѣлъ!

«Не ропщи, другъ мой! Я знаю, что тебѣ не легко, но Богъ и начальники не оставятъ тебя. Немногимъ на долю такое счастье выпадаетъ, какое тебѣ выпало. Другой весь вѣкъ на одномъ мѣстѣ сидитъ, и никто его не замѣчаетъ; все равно, что онъ есть, что его нѣтъ. А тебя среди от-

личныхъ отличили—вотъ какое важное дѣло довѣрили! Другіе хлопочутъ, и имъ не даютъ; ты же и не просилъ, а тебѣ дали. Неси же сей крестъ съ смиреніемъ и вѣрою! Помни, что все въ семъ мірѣ отъ Бога, и что мы въ Его рукахъ не что иное, какъ орудіе, которое само не знаетъ, куда устремляется и что̀ въ сей жизни достигнуть ему предстоитъ.

«Читала твое письмо и содрогалась: ахъ, какіе могутъ быть ужасные люди, мой другъ! Помню, когда намъ въ институтѣ изъ исторіи уроки задавали, то тамъ тоже злодѣи описывались. Стало-быть, это такъ свыше опредѣлено, чтобъ имъ быть, и опредѣлено для того, чтобы отъ сравненія съ ними добродѣтель еще больше возвышалась и заслуживала наградъ. А мы живемъ среди этихъ людей и даже не знаемъ! Ничего мы не знаемъ, мой другъ, и если бы начальство за насъ не бодрствовало — что̀ бы мы были! И признаюсь откровенно: когда то мѣсто въ письмѣ твоемъ прочитала, гдѣ ты своему благодѣтелю предложилъ ужасныхъ этихъ злодѣевъ называть не злоумышленниками, а заблуждающимися, то весьма была симъ офраппирована. Тѣмъ болѣе, зная благородство твоихъ чувствъ. Но увидѣла, что все это есть не что иное, какъ обдуманный съ твоей стороны подходъ, и что впослѣдствіи вновь эти люди въ злоумышленниковъ переименованы будутъ, и опять утѣшилась. Знай, другъ мой, что горшихъ злоумышленниковъ не было, нѣтъ и не будетъ! Отецъ Θеодоръ говоритъ, что они паче душегубовъ и воровъ, что сіи немногимъ зло причиняютъ, а они по всему міру распространяютъ его. Помни это, душа моя, помни и блюди юношескій пламень твой!

«Братецъ Григорій Николаичъ такой нынче истинный христіанинъ сдѣлался, что мы смотрѣть на него безъ слезъ не можемъ. Ни рукой, ни ногой пошевелить не можетъ, и что̀ говоритъ — не разберемъ. И ему мы твое письмо прочитали, думая, что при недугахъ оное его утѣшитъ, однако онъ, выслушавъ, только глаза шире обыкновеннаго раскрылъ.

«Пишу къ тебѣ кратко, зная, что теперь тебѣ не до писемъ. Будь бодръ, мой другъ, и впередъ утѣшай меня, какъ всегда утѣшалъ. Благословляя тебя на новый трудъ, остаюсь любящая тебя—

«Надежда Батищева».

«P. S. А что ты объ адвокатѣ Ероѳеевѣ пишешь, то мнѣ даже очень прискорбно, что ты такъ на семъ настаиваешь. Неужто же ты завидуешь сему врагу религіи, который по мѣняльнымъ рядамъ ходитъ и отъ изуродованныхъ людей поживы ищетъ! Прошу тебя, другъ мой, оставь сію мысль!»

«Милая маменька!

«Дѣло, о которомъ я писалъ вамъ въ прошломъ письмѣ, развивается такъ быстро, что теперь у меня, вмѣсто пятнадцати, уже восемьдесятъ три человѣка обвиняемыхъ. Восемьдесятъ три человѣка! Восемьдесятъ три жертвы пагубныхъ заблужденій! Это ужасно!

«Но какіе это люди, миленькая маменька! Сколько бы они могли принести пользы отечеству, если-бъ не заблуждались! Какіе величественные замыслы! Какія грандіозныя задачи! Люди, которые по всей справедливости могли бы претендовать на титулъ благодѣтелей человѣчества, — эти люди не имѣютъ теперь впереди ничего, кромѣ справедливой кары закона! И они подвергнутся ей, этой карѣ (въ этомъ *я* могу служить вамъ порукою)... подвергнутся, потому что заблуждались!

«Не вдругъ, однако-жъ, удалось мнѣ проникнуть въ святилище душъ ихъ. Много пришлось выслушать дерзкихъ выходокъ и очень непрозрачныхъ намековъ, но терпѣніе и особаго рода выдержка и въ этихъ трудныхъ обстоятельствахъ не оставили меня. Я восторжествовалъ. Мой взглядъ былъ вѣренъ: это именно неопытные заблуждающіеся, которыхъ молодыя души прежде всего доступны чувствительности. Не чувствительность ли ввергла ихъ и въ бездну заблужденія? Не она ли причиной, что молодыя ихъ силы, не успѣвъ развернуться въ пышный цвѣтъ, уже являются преждевременно обреченными на гибель? Да, это еще вопросъ, и даже очень важный вопросъ, милая маменька, ибо та же чувствительность, которая служитъ источникомъ омерзительнѣйшихъ преступленій, можетъ подвигать человѣка и къ дѣяніямъ высочайшей благонамѣренности и преданности. Стало-быть, нужно только съ умѣньемъ пользоваться этимъ двигателемъ, нужно только умѣть направить его, однимъ словомъ, нужно внимательно пересмотрѣть уставъ пресѣченія и предупрежденія преступленій — и тогда все будетъ благополучно! Я, по крайней мѣрѣ, сильно склоняюсь въ пользу этого предположенія, хотя—увы!—и пони-

маю, что мое личное убѣжденіе безсильно въ виду предписаній закона! А законъ ясенъ... и неумолимъ!

«Повторяю: много стоило мнѣ усилій, чтобы найти ключъ къ сердцамъ этихъ людей. Людей чувствительныхъ, но, къ несчастію, уже испорченныхъ недовѣріемъ къ лицамъ, которыя, въ сущности, искренно желаютъ имъ добра. Въ особенности заботилъ меня нѣкто Ѳеофанъ Филаретовъ, съ отличіемъ кончившій курсъ въ московской духовной академіи и въ качествѣ многообѣщающаго юноши названный Филаретовымъ — въ честь покойнаго московскаго митрополита. Вы знаете, какъ прозорливъ былъ покойный преосвященный; но на этотъ разъ неисповѣдимые пути Провидѣнія и его прозорливости готовили важное и прискорбное испытаніе. Преосвященный готовилъ Ѳеофана для высшихъ ступеней духовной іерархіи, а вмѣсто того онъ нынѣ томится въ заключеніи, изъ котораго долженъ будетъ перейти непосредственно на скамью обвиненныхъ! Какъ не подивиться столь неожиданному перевороту судебъ, милая маменька!

«Знакомство мое съ Ѳеофаномъ было очень оригинально. Это человѣкъ невысокаго роста, плотный, даже коренастый, на первый взглядъ угрюмый, но съ необыкновенно кроткими глазами. Несомнѣнно, онъ ожидалъ, что я относительно его буду поступать, какъ обыкновенно въ этихъ случаяхъ дѣлается, то-есть сниму формальный допросъ и затѣмъ отпущу въ тюрьму, сказавъ въ заключеніе нѣсколько укорительныхъ фразъ. Ничуть не бывало; я встрѣтилъ его какъ равный равнаго, или, лучше сказать, какъ счастливецъ встрѣчаетъ несчастливца, которому отъ всей души сочувствуетъ, хотя, къ сожалѣнію, и не въ силахъ преподать всѣхъ утѣшеній, какъ бы желалъ. Я самъ придвинулъ ему стулъ, предложилъ стаканъ чаю, папиросъ и проч. Это видимо его поразило, хотя нѣкоторое время онъ все-таки еще не оставлялъ своего недовѣрія ко мнѣ. Но и тутъ онъ былъ прекрасенъ! Онъ высказалъ мнѣ такъ много истинъ и притомъ съ такимъ пламеннымъ убѣжденіемъ, что, несмотря на горечь формы, я внутренно не могъ не согласиться съ нимъ!

«Онъ говорилъ мнѣ: — «Вы фарисеи и лицемѣры! Вы, какъ Исавъ, готовы за горшокъ чечевицы продать всѣ такъ-называемыя основы ваши! Вы говорите о святости вашего суда, а сами между тѣмъ на каждомъ шагу дѣлаете изъ него или львиный ровъ, или сиренскую прелесть!

Вы указываете на бракъ, какъ на основу вашего гнилого общества, а сами прелюбодѣйствуете! Вы распинаетесь за собственность, а сами крадете! Вы со слезами на глазахъ разглагольствуете о любви къ отечеству, а сами сапоги съ бумажными подметками ратникамъ ставите! И крадете, и убиваете, и клянетесь лживо, и жрете Ваалу!» И такъ далѣе, все въ духѣ пророка Иліи.

«Милая маменька! какъ хотите, а тутъ есть доля правды! Особенно насчетъ ратниковъ — вѣдь это даже фактъ, что нашъ бывшій предводитель такими сапогами ихъ снабдилъ, что они, пройдя тридцать верстъ, очутились босы! Быть-можетъ, слова: «жрете Ваалу» слишкомъ уже смѣлы, но не знаю, какъ вамъ, а мнѣ эта смѣлость нравится! Въ ней есть что-то рыцарское...

«Но когда я, со слезами на глазахъ, просилъ его успокоиться, когда я доказалъ ему, что въ видахъ его же собственной пользы лучше, ежели дѣло его будетъ въ рукахъ человѣка, ему сочувствующаго (я могу признать его обличенія несвоевременными, но не сочувствовать имъ — не могу!), когда я, наконецъ, подалъ ему стаканъ чаю и предложилъ папиросу, онъ мало-по-малу смягчился. И теперь, милая маменька, изъ этого чувствительнаго, но не питающаго къ начальству довѣрія человѣка я вью веревки!

«Постепенно онъ открылъ мнѣ все, всѣ свои замыслы, и указалъ на всѣхъ единомышленниковъ своихъ. Повѣрите ли, что въ числѣ послѣднихъ находятся даже многія высокопоставленныя лица! Когда-нибудь я покажу вамъ чувствительныя письма, въ которыхъ онъ изливаетъ передо мной свою душу: я снялъ съ нихъ копіи, приложивъ подлинныя къ дѣлу. Ахъ, какія это письма, милая маменька!

«О замыслахъ его я тоже когда-нибудь лично сообщу вамъ, потому что боюсь повѣрить письму то, что̀ покуда составляетъ еще тайну между небомъ, моимъ генераломъ и мной. Теперь же могу сказать только одно: они хотѣли переформировать всю Россію и, между прочимъ, требовали, чтобы каждый, находясь у себя дома, имѣлъ право считать себя въ безопасности. Какая плодотворная мысль, если бы въ ней не скрывался червь заблужденія! Но именно этотъ-то червь и испортилъ все, ибо подъ «безопасностью» они разумѣли не огражденіе обывателей отъ разбойниковъ и воровъ (что̀ было бы вполнѣ плодотворно), но воспрещеніе полиціи входить въ обывательскія квартиры!

«Сверхъ того, подъ величайшимъ секретомъ могу сообщить вамъ и еще одну, очень характеристичную подробность. Они предполагали уничтожить всѣ нынѣшнія министерства и замѣнить ихъ только двумя: министерствомъ оплодотворенія и министерствомъ отчаянія. Въ составъ перваго должны были войти нынѣшнія министерства: финансовъ, народнаго просвѣщенія и путей сообщенія; въ составъ второго—министерства: внутреннихъ дѣлъ и юстиціи, а также государственный контроль. По плану преступнаго замысла, активную роль должно было играть только министерство оплодотворенія, ибо лишь чрезъ развитіе промышленности, народнаго богатства, просвѣщенія и чрезъ устройство путей сообщенія можетъ быть достигнуто благоденствіе страны. Министерство же отчаянія должно постоянно бездѣйствовать и играть роль чисто-коммеморативнаго свойства, т. е. унылымъ видомъ своимъ напоминать гражданамъ о тѣхъ бѣдствіяхъ, которымъ они подвергались въ то время, когда это министерство было, такъ сказать, переполнено жизнью. Но что еще оригинальнѣе: чиновникамъ министерства отчаянія присвояются двойные оклады жалованья противъ чиновниковъ министерства оплодотворенія, на томъ основаніи, что первые хотя и бездѣйствуютъ, но самое это бездѣйствіе имѣетъ настолько укоризненный характеръ, что требуетъ усиленнаго вознагражденія.

«Когда я докладывалъ объ этомъ моему генералу, то даже онъ не могъ воздержаться отъ благосклонной улыбки.— «А вѣдь это похоже на дѣло, мой другъ!» — сказалъ онъ, обращаясь ко мнѣ. На что я весело отвѣтилъ: — «Всякое заблужденіе, ваше превосходительство, имѣетъ крупицу правды, но правды преждевременной, которая по этой причинѣ и именуется заблужденіемъ». — Отвѣтъ этотъ такъ понравился генералу, что онъ эту же мысль не разъ послѣ того въ англійскомъ клубѣ отъ себя повторялъ.

«Много помогъ мнѣ и уланскій офицеръ, особливо когда я открылъ ему раскаяніе Филаретова. Вотъ истинно добрѣйшій малый, который самъ едва ли знаетъ, за что подъ арестомъ сидитъ! И сколько у него смѣшныхъ анекдотовъ! Многіе изъ нихъ я генералу передалъ, и такъ они ему пришлись по сердцу, что онъ всякій день, какъ я вхожу съ докладомъ, встрѣчаетъ меня словами: —«Ну, что, какъ нашъ уланъ? Поберегите его, мой другъ! Тѣмъ больше, что намъ съ военнымъ вѣдомствомъ ссориться не приходится!»

«Тороплюсь закончить письмо мое, ибо положительно не имѣю минуты свободной. Вѣрите ли, милая маменька: днемъ допросы снимаю, ночью записки составляю и пишу рапорты, отношенія и предписанія. Товарищи по службѣ увѣряютъ, что я похудѣлъ, но въ глубинѣ души, я увѣренъ, завидуютъ мнѣ. Успѣхъ придалъ мнѣ бодрость, такъ-сказать, окрылилъ меня. Несмотря на безсонныя ночи, я положительно не чувствую усталости. Веселъ, неутомимъ, готовъ поболтать, а при случаѣ даже и посмѣяться. Вчера вечеромъ урвалъ минуту, чтобы взглянуть «La fille de m-me Angot», но не успѣлъ и одного акта досидѣть, какъ потребовали къ генералу...

«Прощайте, милая маменька, и проч.

«Николай Батищевъ».

«P. S. Адвокатъ Ероѳеевъ третьяго скопца заманилъ и сорвалъ съ него какую-то совсѣмъ ужъ баснословную сумму. Слышно, что онъ пятипроцентныя бумаги на биржѣ скупаетъ. Какъ хотите, а онъ не только не дуракъ, какимъ его многіе почитаютъ, но, по-моему, даже очень уменъ».

«Милый сынъ Николенька.

«Никогда, даже когда была молода, ни одного романа съ такимъ интересомъ не читывала, съ какимъ прочла послѣднее твое письмо. Да, мой другъ! мрачны, ахъ, какъ мрачны тѣ ущелія, въ которыхъ лишенная христіанской поддержки душа человѣческая преступные свои ковы строитъ!

«Сестрица Анюта въ полномъ отъ твоего Филаретова восхищеніи.—«Представляю себѣ, говоритъ, какъ хорошъ бы онъ былъ въ саккосѣ!» Но я, съ своей стороны, его не одобряю и думаю, что озлобленіе этого человѣка оттого происходитъ, что онъ не дворянинъ. Если бы онъ былъ дворянинъ, то, какъ образованный, безъ труда понялъ бы, что все сіе неизбѣжно, и при слабости нашей даже не безъ пользы. Хорошо по воскресеньямъ въ церкви проповѣди на этотъ счетъ слушать (да и то не каждое воскресенье, мой другъ!), но ежели каждый день всячески будутъ тебя костить, то подъ конецъ оно и многонько покажется. Отецъ Ѳеодоръ тоже со мной соглашается, что хотя вразумлять и необходимо, однако же безъ потери чувствъ. Всѣ мы люди, всѣ въ мірѣ живемъ и всѣ Богу и царю виноваты, и какъ безъ сего обойтись—не знаемъ. Вотъ о чемъ надлежало бы твоему Филаретову помнить. Однако, такъ какъ и гене-

ралу твоему предики этого изувѣра понравились, то оставляю это на его усмотрѣніе, тѣмъ больше, что, судя по письму твоему, какъ тамъ ни разглагольствуй въ духѣ пророка Иліи, а все-таки разглагольствіямъ этимъ одинъ неизбѣжный конецъ предстоитъ.

«Гораздо больше понравился мнѣ уланскій офицеръ, фамилію котораго ты, однако же, не пишешь. Пожалуйста, анекдотовъ его побольше собери и тетрадку намъ пришли. Въ деревенскомъ нашемъ уединеніи большое утѣшеніе намъ составишь.

«Пишешь ты также, что въ дѣлѣ твоемъ много высокопоставленныхъ лицъ замѣшано, то, признаюсь, извѣстіе это до крайности меня встревожило. Знаю, что ты у меня умница и пустого дѣла не затѣешь, однако не могу воздержаться, чтобы не сказать: побереги себя, другъ мой! не поставляй симъ лицамъ въ тяжкую вину того, что̀, быть-можетъ, они лишь по легкомыслію своему допустили! Ограничь свои дѣйствія Филаретовымъ и ему подобными.

«На этотъ счетъ отъ опытности моей могу сказать тебѣ слѣдующее. Очень часто мы видимъ, что высшія лица опыты разные производятъ, а низшія этимъ соблазняются и за настоящее принимаютъ. А такъ какъ безъ опытовъ прожить нельзя, то и въ грѣхъ этимъ лицамъ ставить не слѣдуетъ, а слѣдуетъ ставить въ грѣхъ лишь тѣмъ, которые не тѣ опыты производятъ, какіе отъ Бога имъ предназначены. Есть люди высшіе, средніе и низшіе—и сообразно съ симъ опыты. Высшій человѣкъ можетъ и высшіе опыты производить, потому что онъ же во всякое время и отмѣнить ихъ можетъ. Низшій же человѣкъ, какъ, напримѣръ, твой Филаретовъ, коль скоро начинаетъ непринадлежащіе ему опыты производить, то сейчасъ же ими воспламеняется—и оттого производитъ злоумышленность!

«Поэтому, другъ мой, ежели ты и видишь, что высшій человѣкъ проштрафился, то имѣй въ виду, что у него всегда есть отвѣтъ: «я, по должности своей, опытъ производилъ!» И все ему простится, потому что онъ и самъ себя давно во всемъ простилъ. Но тебѣ онъ никогда того не проститъ, что ты его передъ начальствомъ въ сомнѣніе или въ погрѣшность ввелъ.

«Вотъ почему я, какъ другъ, прошу и, какъ мать, внушаю: берегись этихъ людей! Отъ нихъ всякое покровительство на насъ нисходитъ, а между прочимъ и напасть. Ежели ты несомнѣнно предвидишь, что такому лицу въ

разставленную передъ нимъ сѣть попасть надлежитъ, то лучше объ этомъ потихоньку его предварить и совѣта его спросить, какъ въ этомъ случаѣ поступить прикажетъ. Эти люди всегда таковые поступки помнятъ и цѣнятъ.

«Братецъ Григорій Николаичъ, по всѣмъ видимостямъ, къ концу жизни своей приближается. Даже глазъ почти не открываетъ, а все больше въ усыпленіи находится. Истинно многомятежная жизнь его была! Сколько онъ за гнусныя свои идеи пострадалъ—такъ это даже вчужѣ вспомнить больно! А подъ конецъ, однако, смирился и даже рабовъ имѣть за необходимое полагалъ. И все-таки, несмотря на суровые уроки, въ немъ эта старая дрянная искорка осталась! Намеднись прочли мы ему письмо твое, думали мнѣніе его узнать, а онъ, вмѣсто того, двусмысленность сдѣлалъ. Но мы ужъ и тому рады, что онъ продолжаетъ христіаниномъ быть. Боюсь только, какъ бы подъ конецъ какого баламуту не надѣлалъ!

«Прощай, другъ мой, и проч.

«Надежда Батищева».

«P. S. А что ты насчетъ Ерофеева пишешь, то удивляюсь: неужто у васъ, въ Петербургѣ, сконцы какъ грибы растутъ? Не лжетъ ли онъ? Еще смолоду онъ къ хвастовству непомѣрную склонность имѣлъ! Или, можетъ-быть, изъ зависти тебя соблазняетъ? Но ты соблазнамъ его не поддавайся и бодро шествуй впередъ, какъ начальство тебѣ приказываетъ!»

«Любезная маменька!

«Планы мои разрушились вдругъ, въ одну минуту...

«Вы знаете мои правила! Вамъ извѣстно, что я не могу быть преданъ не всецѣло! Ежели я кому-нибудь предаюсь, то дѣлаю это безгранично... беззавѣтно! Я весь тутъ. Я люблю, чтобъ начальникъ ласкалъ меня, и ежели онъ ласкаетъ, то отдаюсь ему совсѣмъ! Если сегодня я отдаюсь душой судебному генералу, то его одного и люблю, и всѣхъ его соперниковъ ненавижу! Но ежели завтра меня полюбитъ контрольный генералъ, то я и его буду любить одного и всѣхъ его соперниковъ буду ненавидѣть!

«Дѣло, о которомъ я говорилъ вамъ въ послѣднемъ письмѣ моемъ, продолжало развиваться съ ужасающей быстротой. Каждый день приносилъ новую животрепещущую подробность. Новые замыслы, новые планы, новыя раз-

вѣтвленія! Отдѣлъ «общества» въ Весьегонскѣ, отдѣлъ въ Тетюшахъ, отдѣлъ въ Елабугѣ... однимъ словомъ, что-то ужасное! Вся Россія, пропитанная ядомъ «предвкушеній»! Вся Россія, ничѣмъ другимъ не занимающаяся, кромѣ «терпѣливаго перенесенія бѣдствій настоящаго»! Какое потрясающее душу зрѣлище! И какіе ужасные люди! Укоры, которые нѣкогда высказывалъ мнѣ Ѳеофанъ, уже представлялись мнѣ чѣмъ-то въ родѣ дѣтскаго лепета! Передо мной предстали люди совершенно особенные, почти необыкновенные, которые даже не укоряли, а просто-на̀-просто ругательски-ругали меня! Въ ихъ глазахъ Ѳеофанъ слылъ уже консерваторомъ и даже ретроградомъ! Онъ еще допускалъ существованіе министерствъ (вы помните, милая маменька, его остроумную ипотезу двухъ министерствъ: оплодотворенія и отчаянія), а слѣдовательно и возможность административнаго воздѣйствія; они же ровно ничего не допускали, а только, по выраженію моего товарища, Коли Персіянова, требовали милліонъ четыреста тысячъ головъ.

«Обо всемъ я, разумѣется, каждодневно докладывалъ моему генералу, и, повидимому, онъ выслушивалъ меня охотно. Не разъ мы содрогались вмѣстѣ, но и не разъ удавалось мнѣ возбуждать на его устахъ улыбку...

«Милая маменька! Помнится, что въ одномъ изъ предъидущихъ писемъ я разъяснялъ вамъ мою теорію отношеній подчиненнаго къ начальнику. Я говорилъ, что съ начальниками нужно быть сдержаннымъ и всячески избѣгать назойливости. Никогда не слѣдуетъ утомлять ихъ... даже заявленіями преданности. Все въ мѣру, милая маменька, все настолько, чтобы физіономія преданнаго подчиненнаго не примелькалась, не опротивѣла!

«Но, начертавъ себѣ эту ligne de conduite, я, къ сожалѣнію, самъ не удержался на ней. Я былъ усерденъ и преданъ *болѣе, нежели требовалось...*

«Я не знаю, какъ это случилось, но послѣ цѣлаго мѣсяца неслыханныхъ съ моей стороны усилій и безсонныхъ ночей я почувствовалъ въ голосѣ генерала ноту усталости. Горько прозвучала въ душѣ моей эта нота, но на первыхъ порахъ, по неопытности моей, я приписывалъ это обстоятельство или подпольной интригѣ, или простой случайности. Я не понялъ, какъ много скрывается здѣсь для меня рокового, и, вмѣсто того, чтобы обуздать свое усердіе, еще больше усилилъ его. Каждое утро я приходилъ къ генералу

съ новымъ, болѣе и болѣе обильнымъ запасомъ подробностей, но—увы!—уже не возбуждалъ ими ни содроганія, ни улыбки. Генералъ усталъ, охладѣлъ—это было ясно. Тогда, чтобы сразу поднять мой упадавшій кредитъ, я придумалъ такой coup de théâtre, который, по мнѣнію моему, долженъ былъ *непремѣнно* разбудить въ немъ гаснущій интересъ къ дѣлу.

«Надо вамъ сказать, что передъ этимъ я только-что открылъ нѣчто новое и въ высшей степени замѣчательное. Оказалось, что злоумышленники на общія деньги выписывали «Труды Вольно-Экономическаго Общества» и собирались въ разныхъ мѣстахъ для совмѣстнаго ихъ чтенія. Для чего они это дѣлали? Развѣ они не могли читать «Труды» каждый въ своей квартирѣ? Развѣ стоятъ того «Труды», чтобъ по поводу ихъ затѣвать недозволенныя сборища и тратиться на извозчиковъ?—вотъ вопросы, которыми я задался, милая маменька, и на которые самъ себѣ далъ отвѣтъ: нѣтъ, это не спроста!

«Я не буду описывать вамъ, съ какимъ восторгомъ я стремился утромъ къ генералу, чтобы доложить ему о своемъ новомъ открытіи, но едва началъ свой разсказъ, какъ уже меня поразило какое-то зловѣщее выраженіе, свѣтившееся въ его глазахъ.

«— Я долженъ вамъ сказать,—произнесъ онъ холодно:—что еще вчера мною сдѣлано распоряженіе о совершенномъ прекращеніи этого дѣла.

«Я ничего не понялъ. Я стоялъ противъ него, затаивъ дыханіе, и ждалъ.

«— Я ничего не могу сказать,—продолжалъ онъ:—насколько важно или неважно производимое вами дѣло, потому что дѣйствія ваши не только не объяснили, но даже запутали и то, что было сдѣлано вашими предмѣстниками. Но я могу сказать положительно, что вотъ уже цѣлый мѣсяцъ, какъ вы подвергаете меня самымъ непростительнымъ истязаніямъ. Я думалъ, что вы сами, наконецъ, поймете все неприличіе вашей настойчивости, но, къ сожалѣнію, даже эта скромная надежда моя не оправдалась. Вчера вы хотѣли увѣрить меня, что въ Конотопѣ свила гнѣздо измѣна, а сегодня вы уже хотите заставить меня даже въ такомъ фактѣ, какъ совмѣстное чтеніе «Трудовъ Вольно-Экономическаго Общества», видѣть преступный умыселъ.

«Я раскрылъ ротъ, чтобы заявить о моемъ раскаяніи и

завѣрить, что его превосходительству стòитъ только указать мнѣ путь...

«— Я знаю, чтò вы хотите сказать,—остановилъ онъ меня:—вы усердны, молодой человѣкъ, въ этомъ отказать вамъ нельзя! Но вы *слишкомъ* усердны, а это такой недостатокъ, передъ которымъ даже совершенная бездѣятельность представляется качествомъ далеко не безполезнымъ. Я болѣе ничего не имѣю прибавить вамъ.

«Да; онъ сказалъ мнѣ все это, и голосъ его ни разу не дрогнулъ... И я долженъ былъ оставить его кабинетъ, не выразивъ ни оправданія, ни даже раскаянія...

«Я не могу передать вамъ въ настоящемъ письмѣ всѣхъ подробностей этой печальной исторіи: до такой степени она подавляетъ меня! Но, во всякомъ случаѣ, вѣроятный ея результатъ вполнѣ уже для меня выяснился: карьера, о которой я такъ недавно и такъ восторженно писалъ вамъ, разрушена навсегда! Конечно, еще можетъ подвернуться какой-нибудь особенный, сверхъ естественный случай, который дастъ мнѣ возможность вынырнуть, но до тѣхъ поръ— я долженъ сознаться въ этомъ—шансы мои очень и очень слабы!

«Усердіе, на которое я такъ надѣялся,—это самое усердіе погубило меня. Не будь я такъ усерденъ, я не очутился бы въ той безпримѣрной тоскѣ, въ которую меня повергла неудача моего предпріятія. Но я превзошелъ самого себя—и палъ жертвою своихъ собственныхъ усилій! Какой поразительный урокъ, милая маменька! И какъ поучителенъ онъ долженъ быть для тѣхъ, которые проводятъ жизнь, по всѣмъ министерствамъ влача беззавѣтную свою преданность!

«Къ довершенію всего, неудача моя съ быстротою молніи облетѣла все наше вѣдомство. Товарищи смотрятъ на меня съ двусмысленными улыбками и при моемъ появленіи шепчутся между собою. Вчера—зависть, сегодня—недоброжелательство и насмѣшки. Вотъ кругъ, въ которомъ осуждена вращаться преданность...

«И всѣ эти люди, которые завтра же съ полною готовностью продѣлаютъ все то, чтò я продѣлалъ вчера, безъ всякаго стыда говорятъ вамъ о какихъ-то основахъ и краеугольныхъ камняхъ, посягательство на которые равносильно посягательству на безопасность цѣлаго общества!

«О, Ѳеофанъ Филаретовъ! какъ часто и съ какою отра-

дой я вспоминаю о тебѣ въ моемъ уединеніи! Ты сказалъ святую истину: въ нашемъ обществѣ (зачеркнуто: «вѣдомствѣ») человѣкъ, ищущій справедливости, находитъ одно изъ двухъ: или ровъ львиный, или прелесть сиренскую!..

«Прощайте, милая маменька! Благословите и пожалѣйте несчастнаго, цѣлующаго ваши ручки, сына—

«Николая Батищева».

«P. S. Вы положительно несправедливы къ Ероѳееву, милая маменька. Это человѣкъ ума очень обширнаго, и ежели умѣетъ сыскать полезнаго для себя скопца, то не потому, что они какъ грибы въ Петербургѣ растутъ, а потому, что у него есть особенная къ этому предмету склонность. Въ несчастіи моемъ онъ одинъ не усомнился отнестись ко мнѣ симпатически и пріѣхалъ пожать мою руку. Онъ помнитъ гостепріимство, которое вы оказывали ему, когда онъ къ намъ изъ школы по праздникамъ хаживалъ, и еще недавно съ большимъ участіемъ объ васъ разспрашивалъ. Онъ даже предлагалъ мнѣ вступить съ нимъ въ компанію по веденію дѣлъ, и хотя я ни на что еще покуда не рѣшился, однако будущность эта довольно-таки мнѣ улыбается. Какъ хотите, а нигдѣ, кромѣ частной дѣятельности, нельзя найти настоящей самостоятельности! Это единственная арена, на которой дорожатъ знающими и усердными людьми».

«Милый дружокъ Николенька.

«Получивъ твое письмо, такъ была имъ поражена, что даже о братцѣ Григоріи Николаичѣ забыла, который, за нѣсколько часовъ передъ тѣмъ, тихо, на рукахъ у сестрицы Анюты, скончался. Христосъ съ нимъ! Слава Богу, онъ умеръ утѣшенный! Не только никакой шутки надъ отцомъ Ѳеодоромъ не позволилъ себѣ, но даже съ истинно-христіанскимъ благоговѣніемъ напутствіе его выслушалъ. Теперь онъ взираетъ на насъ съ высотъ небесныхъ, а можетъ-быть, и до днесь душа его между нами витаетъ и видитъ какъ горесть нашу, такъ и приготовленія, которыя мы къ погребенію его дѣлаемъ.

«Какъ ни прискорбна превратность, тебя постигшая, но и теперь могу повторить лишь то, что̀ неоднократно тебѣ говорила: не однѣ радости въ семъ мірѣ, мой другъ, но и горести, а потому не ропщи. Ты все сдѣлалъ, что̀ доброму и усердному подчиненному сдѣлать надлежало,—стало-быть,

совѣсть твоя чиста. По усердію твоему, ты хотѣлъ до конца твоего генерала прельстить; если же ты въ томъ не успѣлъ, то, стало-быть, Богу не угодно было. Смирись же, другъ мой, ибо на все Его святая воля, мы же всѣ странники, а бездыханный трупъ братца Григорія Николаича даже сильнѣе, нежели прежде, меня въ этой мысли утверживаетъ!

«Я не только на тебя не сержусь, но думаю, что все это со временемъ еще къ лучшему поправиться можетъ. Такъ, напримѣръ: отчего бы тебѣ, немного погодя, вновь передъ генераломъ не открыться и не завѣрить его, что все это отъ неопытности твоей и незнанія произошло? Генералы это любятъ, мой другъ, и раскаивающимся еще больше протежируютъ!

«Впрочемъ, предоставляю это твоему усмотрѣнію, потому что хотя бы и хотѣла что-нибудь еще въ поученіе тебѣ сказать, но не могу: хлопотъ по горло. Теперь приготовляемся послѣдній долгъ усопшему другу отдать, а послѣ того и объ утвержденіи въ правахъ наслѣдства подумать надо. Братецъ послѣ себя прекраснѣйшее имѣніе въ Курской губерніи оставилъ, а теперь, по Божьему соизволенію, оно должно перейти къ намъ. Сказывалъ старый камердинеръ его, Платонъ, что у покойнаго старая пассія въ Москвѣ жила и отъ оной, будто бы, дѣти, но она, по закону, никакого притязанія къ имѣнію покойнаго имѣть не можетъ; мы же, по христіанскому обычаю, отъ всего сердца грѣхъ ей прощаемъ и даже не желаемъ знать, какой отъ этого грѣха плодъ былъ! Жаль, конечно, дѣтей, но ежели законъ имъ правъ не даетъ, то что̀ же мы противъ закона сдѣлать можемъ!

«Прощай, другъ мой; пиши, не удастся ли тебѣ постигшую грозу отъ себя отклонить и попрежнему въ любви твоего генерала утвердиться. А какъ бы это хорошо было! Любящая тебя мать—

«Надежда Батищева».

«P. S. Прости, Христа-ради, что объ Ероѳеевѣ такъ низко заключила. Теперь и сама вижу, что дѣла о скопцахъ не безъ выгоды. Быть-можетъ, Провидѣніе нарочно послало его, чтобы тебя утѣшить. Не даромъ же ты въ каждомъ письмѣ объ немъ писалъ: должно-быть, предчувствіе было, что понадобится».

«Любезная маменька.

«Я подалъ въ отставку.

«Такое рѣшеніе можетъ вамъ показаться внезапнымъ, но я сейчасъ докажу, что оно далеко не было съ моей стороны внезапностью.

«Я разсудилъ такъ: послѣ моей катастрофы надѣяться на скорое возстановленіе въ мнѣніи моего генерала было бы глупостью. Меня будутъ заставлять каждодневно обвинять, я каждый день буду одерживать побѣды надъ присяжными засѣдателями—и генералъ будетъ говорить, что я только исполняю свою обязанность. Составъ моихъ товарищей будетъ мѣняться, вслѣдствіе повышеній, и я одинъ останусь незыблемъ, покуда не сдадутъ меня, наконецъ, въ видѣ милости, въ архивъ, членомъ бѣлозерскаго окружнаго суда, гдѣ я и буду до конца жизни судить бѣлозерскихъ снѣтковъ. Ясно, что такое будущее не имѣетъ въ себѣ ничего блестящаго.

«Поэтому, въ видахъ моей же собственной пользы, необходимо, чтобы меня забыли, или, лучше сказать, чтобы я напомнилъ о себѣ на другомъ поприщѣ. Доселѣ—я обвинялъ; отнынѣ—буду оправдывать. Я хочу доказать, и докажу, что въ области правосудія нѣтъ ничего для меня недоступнаго. Убѣдившись въ этомъ, генералъ, безъ сомнѣнія, самъ пойметъ, чего онъ лишился, пренебрегши моими заслугами, и тогда мнѣ останется только дать знать стороной, что и мое сердце не недоступно для раскаянія. И я вновь верну себѣ благосклонность моего начальника и вновь, еще съ бо́льшей пламенностью, возьму въ свои руки бразды обвиненія. Но уже не иначе, милая маменька, какъ въ качествѣ настоящаго прокурора, а не товарища.

«Весь этотъ планъ отлично объяснилъ мнѣ Ероѳеевъ, а покуда далъ мнѣ отличнѣйшій и очень выгодный способъ проявить свои способности на поприщѣ оправданія.

«На-дняхъ предстоитъ Петербургу небывалое и величественное зрѣлище: будутъ судиться восемьдесятъ скопцовъ. Собственно Ероѳеевъ взялъ на себя лишь декоративную часть этого дѣла, на судѣ же у каждаго изъ обвиненныхъ будетъ по два защитника и по два подручныхъ. Но такъ какъ въ Петербургѣ нѣтъ такого количества способныхъ на защиту скопцовъ адвокатовъ, то нѣкоторымъ изъ защитниковъ предоставлено будетъ участвовать въ нѣсколькихъ парахъ и такимъ образомъ кюмулировать нѣсколько гонораровъ. Каждой парѣ назначается гонорара сорокъ тысячъ,

изъ которыхъ должно удѣлить нѣкоторую часть подручнымъ, въ вознагражденіе за нѣкоторыя занятія, требующія болѣе тѣлесныхъ упражненій, нежели умственнаго труда.

«Ероѳеевъ обѣщалъ мнѣ участіе въ нѣсколькихъ парахъ, при чемъ, на первый разъ, на меня возложена будетъ защита самыхъ легкихъ скопцовъ, дабы на нихъ я могъ, такъ сказать, переломить первое мое копье на аренѣ защиты. Успѣхъ кажется мнѣ до такой степени несомнѣннымъ, что я уже заранѣе далъ назначеніе своему гонорару. Съ вашего позволенія, милая маменька, я пріобрѣту ту пустошь, о покупкѣ которой такъ часто мечталъ покойный дяденька. Тогда имѣніе наше будетъ вполнѣ округлено и навсегда обезпечено лугами, въ которыхъ оно такъ сильно до сихъ поръ нуждалось.

«Итакъ, я бодръ попрежнему. Я сдѣлался даже бодрѣе, ибо теперь уже не боюсь, что кто-нибудь меня внезапно обругаетъ или оборветъ.

«Благословите же меня, добрый другъ мой, потому что въ настоящую минуту ваше благословеніе, болѣе нежели когда-нибудь, для меня дорого. Остаюсь и проч.

«Николай Батищевъ».

IV.—Столпъ.

Въ прежнія времена, когда еще «свои мужички» были, родовое наше имѣніе Чемезово недаромъ слыло золотымъ дномъ. Всего было у насъ довольно; отъ хлѣба ломились сусѣки; тальками, полотнами, бараньими шкурами, сушеными грибами и другимъ деревенскимъ продуктомъ полны были кладовыя. Все это скупалось мѣстными т—скими прасолами, которые зимою и глухою осенью усердно разъѣзжали по барскимъ усадьбамъ.

Между этими скупщиками въ особенности памятенъ мнѣ т—скій мѣщанинъ, Осипъ Ивановъ Деруновъ. Я какъ сейчасъ вижу его передъ собою. Человѣкъ онъ былъ среднихъ лѣтъ (лѣтъ тридцати пяти или съ небольшимъ) и чрезвычайно пріятной наружности. Изъ лица бѣлъ, румянъ и чистъ; глаза голубые; на губахъ улыбка; зубы бѣлые, ровные; волоса бѣлокурые, слегка вьющіеся; походка мягкая; голосъ—ясный и звучный теноръ. Въ домѣ у насъ его рѣшительно всѣ какъ-то особенно жаловали. Папенька лю-

билъ за то, что онъ былъ словоохотливъ, повадливъ и прекрасно читалъ въ церкви апостола; маменька—за то, что онъ безъ разговоровъ накидывалъ на четверть ржи лишній гривенникъ и лишнюю копейку на фунтъ сушеныхъ грибовъ; горничныя дѣвушки—за то, что у него для каждой былъ или подарочекъ, или ласковое слово. Поэтому, когда наѣзжалъ Деруновъ, то всѣ лица просвѣтлялись. Господа видѣли въ немъ, такъ-сказать, выразителя ихъ годового дохода; дворовые люди радовались изъ инстинктивнаго сочувствія къ человѣку оборотливому и живому. Позовутъ, бывало, Дерунова въ столовую и посадятъ вмѣстѣ съ господами чай пить. Сидитъ онъ скромно, пьетъ не торопко, блюдечко съ чаемъ всей пятерней держитъ. Разсказываетъ, гдѣ былъ, что у кого купилъ, какъ преосвященный, объѣзжая епархію, въ К—нѣ обѣдню служилъ, какой у протодьякона голосъ, и въ какихъ отношеніяхъ новый становой къ исправнику и секретарю земскаго суда. Разсказываетъ, что нынче на все дороговизна пошла, и пошла оттого, что «прежнія деньги на сигнаціи были, а теперьче на серебро счетъ пошелъ»; разсказываетъ, что дѣло торговое трудное, что «рынокъ на рынокъ не потрафишь: иной разъ дорого думаешь продать, анъ ни за что спустишь, а другой разъ и совсѣмъ, кажется, дѣловъ нѣтъ, анъ вдругъ Богъ подходящаго человѣка послалъ»; разсказываетъ, что въ скоромъ времени «объявленія набору ждать надо», и что хотя наборъ—«оно конечно»...—«одначе и безъ набору быть нельзя». Слушаетъ папенька всѣ эти разсказы и тоже не вытерпитъ—молвитъ:

— Башка, братъ, у тебя, Осипъ Иванычъ! Не здѣсь бы, не въ захолустьѣ бы, тебѣ сидѣть! Министромъ бы тебѣ быть надо!

Такъ за Деруновымъ и утвердилась навсегда кличка: «министръ». И не только у насъ въ домѣ, но и по всей округѣ, между помѣщиками, которыхъ дѣла онъ, конечно, зналъ лучше, нежели они сами. Вездѣ его любили, всѣ совѣтовались съ нимъ и удивлялись его уму, а многіе даже ввѣряли ему болѣе или менѣе значительные куши подъ оборотъ, въ полной увѣренности, что Деруновъ не только полностью отдастъ деньги въ срокъ, но и съ благодарностью.

Въ то время Деруновъ только-что начиналъ набираться силы. Въ Т*** у него былъ постоялый дворъ и при немъ большой хлѣбный лабазъ. Памятенъ мнѣ этотъ постоялый

дворъ и вся обстановка его. Длинное, одноэтажное строеніе выходило фасадомъ на неоглядную базарную площадь, по которой кружились столбы пыли въ сухое лѣтнее время и на которой тонули въ грязи мужицкіе возы осенью и весною. Крытъ былъ домъ соломой подъ щетку и издали казался громаднымъ, ощетинившимся наметомъ; некрашеныя стѣны отъ времени и непогодъ сильно почернѣли; маленькія, съ незапамятныхъ временъ немытыя оконца подслѣповато глядѣли на площадь и вслѣдствіе осѣвшей на нихъ грязи отливали снаружи всевозможными цвѣтами; тесовыя почернѣвшія ворота вели въ громадный темный дворъ, въ которомъ непривычный глазъ съ трудомъ могъ что-нибудь различать, кромѣ безчисленныхъ полосъ свѣта, которыя врывались сквозь дыры соломеннаго навѣса и яркими пятнами пестрили навозъ и улитый скотскою мочею деревянный помостъ. Пріѣзжій въѣзжалъ въ ворота и поглощался дворомъ словно пропастью. Слышалось фырканье лошадей, позвякиванье колокольцовъ и бубенчиковъ, гулкій летъ голубей, хлопанье крыльями домашней птицы; гдѣ-то, въ самомъ темномъ углу, забранномъ старыми досками, хрюкалъ поросенокъ, откармливаемый на убой къ одному изъ многочисленныхъ храмовыхъ праздниковъ. Обдавало запахомъ дегтя, навоза, самоварнаго чада и вареной убоицы, паръ отъ которой валилъ во дворъ черезъ отворенную дверь черной избы. Направо отъ воротъ спускалось во дворъ крыльцо съ колеблющимися ступеньками и съ небольшими сѣнцами вверху, въ которыхъ постоянно пыхтѣлъ самоваръ съ вѣчно наставленною трубою. Выйдя изъ сѣней, вы встрѣчали нѣчто въ родѣ холоднаго коридора съ чуланчиками и кладовушками на каждомъ шагу, въ которомъ царствовала такая кромѣшная тьма, что надо было идти ощупью, чтобъ не стукнуться лбомъ о какую-нибудь перекладину или не споткнуться. Изъ этого коридора шли двери прежде всего въ черную избу, въ которой останавливались подводчики и прочій сѣрый людъ, и затѣмъ въ «чистые покои», гдѣ останавливались помѣщики. Черная изба была довольно обширная о трехъ окнахъ комната, въ которой, за перегородкой, съ молодою женой (женился онъ довольно поздно, когда ему было уже около тридцати лѣтъ) ютился самъ хозяинъ. «Чистые покои» были маленькія, узенькія комнатки; въ нихъ пахло затхлостью, мышами и тараканами; половицы шатались и изобиловали щелями и дырами, прогрызенными крысами; газетная бумага, которою

обклеены были стѣны, мѣстами висѣла клочьями, мѣстами совсѣмъ была отодрана. Оконныя рамы чуть держались на петляхъ и при всякомъ порывѣ вѣтра съ шумомъ отворялись или захлопывались. И сколько тутъ было мухъ, тараканов, клоповъ!

Несмотря на эту незавидную обстановку, проѣзжій людъ такъ и валилъ къ Осипу Иванову. Для чернаго люда у него были такія щи, что «не продуешь», для помѣщиковъ— привѣтливое слово и умное разсужденіе въ родѣ того, что «прежде счетъ на ассигнаціи былъ, а нынче на серебро пошелъ». Мнѣ, юношѣ лѣтъ тринадцати-четырнадцати, было столько разъ говорено объ умѣ Осипа Иваныча, что я даже побаивался его. Когда я останавливался на его постояломъ дворѣ, проѣздомъ, во время каникулъ, въ родное гнѣздо, онъ обращался со мною ласково и въ то же время учительно. Войдетъ, бывало, въ занятую мною комнату, сядетъ, покуда я закусываю, у стола противъ меня и начнетъ экзаменовать.

— Въ побывку, паренекъ, собрался?

— На каникулы, Осипъ Иванычъ.

— Гм!.. каникулы... это когда песьи мухи одолѣваютъ? Ну, надо экзаментъ тебѣ сдѣлать. Учителямъ потрафлялъ ли?

— Потрафлялъ, Осипъ Иванычъ.

— Это хорошо, что учителямъ потрафляешь. Въ науку пошелъ—надо потрафлять. Иной разъ и занапрасно учитель побьетъ, а ты ему: «покорно, молъ, благодарю, Августъ Карлычъ!» Вѣдь нѣмцы, поди, у васъ?

— Нѣмцы, Осипъ Иванычъ; только у насъ учителямъ бить не позволяется.

— И не позволяется, а все же, чай, потихоньку исправляются. И насъ царь побивать не велѣлъ, а кто только насъ не побиваетъ!

— Ей-Богу, Осипъ Иванычъ, у насъ не бьютъ!

Но Осипъ Иванычъ только покачиваетъ въ отвѣтъ головой, что̀ меня всегда очень обижало, потому что я воспитывался въ одномъ изъ тѣхъ рѣдкихъ въ то время заведеній, гдѣ дѣйствительно тѣлесное наказаніе допускалось лишь въ самыхъ исключительныхъ случаяхъ.

— А заповѣдямъ учился?—продолжаетъ между тѣмъ экзаменовать Осипъ Иванычъ.

— Знаю.

— А коли знаешь, такъ, значитъ, прежде всего Бога люби да родителевъ чти. Почитаешь ли родителей-то?

— Почитаю, Осипъ Иванычъ.

— Чти родителей, потому что безъ нихъ вашему брату дѣваться некуда, даромъ что ты востёръ. Вотъ изъ ученья выйдешь—кто тебѣ на прожитокъ дастъ? Жениться захочешь—кто невѣсту припасетъ?—все родители!—Такъ ты и утромъ, и вечеромъ за нихъ Бога моли: спаси, молъ, Господи, папыньку, мамыньку, сродственниковъ! Всѣхъ, сударь, чти!

— И то чту!

— То-то, говорю: чти! Вотъ мы, чернядь, какъ въ совершенныя лѣта придемъ, такъ сами домой несемъ. Родитель-то тебѣ мѣдную копеечку дастъ, а ты ему рубль принеси! А и мы родителей почитаемъ! А вы, дворяна, ровно малолѣтные, до старости все изъ дому тащите—какъ же вамъ родителей не любить!

— Выйду изъ ученья, на службу поступлю, самъ буду жалованье получать.

— Велико твое жалованье—въ баню на него сходить! Жалованья-то дадутъ тебѣ алтынъ, а прихотей у тебя на сто рублевъ. Тутъ только тебѣ подавай!

Я не возражалъ; наступило нѣсколько минутъ затишья, въ продолженіе которыхъ Осипъ Иванычъ громко зѣвалъ и крестилъ свой ротъ. Но не такой онъ былъ человѣкъ, чтобы скоро отстать.

— Я тоже родителей чтилъ, — продолжалъ онъ прерванную бесѣду:—за это меня и Богъ благословилъ. Бывало, родитель-то гнѣвается, а я ему въ ножки! Зато теперь я съ домкомъ; своимъ хозяйствомъ живу. Все у меня какъ слѣдуетъ; пороковъ за мной не состоитъ. Не пьяница, не тать, не прелюбодѣй. А вотъ братецъ у меня, такъ тотъ передъ родителями-то фордыбаченьемъ думалъ взять—анъ и до сихъ поръ въ кабалѣ у купцовъ состоитъ. Курицы у него своей нѣтъ!

— Можетъ-быть, его обдѣлили?

— Никто не обдѣлилъ, самъ себя обдѣлилъ. Сама себя раба бьетъ, коли плохо жнетъ. На все, сударь, воля родительская!

Проэкзаменовавши меня такимъ родомъ и оставшись испытаніемъ доволенъ, Осипъ Иванычъ предлагалъ мнѣ отдохнуть съ дороги и уводилъ въ баньку, гдѣ разстилалось душистое одворичное сѣно и куда ни одна муха, ни одинъ клопъ не смѣли проникнуть. Тамъ я засыпалъ тѣмъ глубокимъ и освѣжительнымъ сномъ, которымъ можетъ за-

сыпать только юноша, испытавшій сряду нѣсколько дней тряской и безсонной дороги. Часа черезъ три меня, полусоннаго, поднимали съ мягкаго ложа, укладывали въ тарантасъ и увозили изъ Т*** въ Чемезово, гдѣ ждали меня новые экзамены въ томъ же родѣ и духѣ, какъ и сейчасъ выдержанный экзаменъ Осипа Иваныча.

Но тогда было время тугое, и, несмотря на оборотливость Дерунова, дѣла его развивались не особенно быстро. Онъ выписался изъ мѣщанъ въ купцы, слылъ за человѣка зажиточнаго, но долго и крѣпко держался постоялаго двора и лабаза. Можетъ-быть, и скопился у него капиталецъ, да по тогдашнему времени пристроить его было некуда.

Рисковать было не въ обычаѣ; жили осторожно, прижимисто, какъ будто боялись, что увидятъ—отнимутъ. Конечно, и тогда встрѣчались аферисты и пройдохи, но чтобы идти по ихъ слѣдамъ, нужно было имѣть большую рѣшимость и несомнѣнную готовность претерпѣть. Человѣкъ робкій, или, какъ тогда говорилось, «основательный», неохотно ввязывался въ операціи, которыя были сопряжены съ рискомъ и хлопотами. Богатства пріобрѣтались терпѣніемъ и неустаннымъ присовокупленіемъ гроша къ грошу, для чего не требовалось ни особливой развязности ума, ни той канальской изворотливости, безъ которой не можетъ ступить шагу человѣкъ, изъявляющій твердое намѣреніе выбрать изъ кармановъ своихъ ближнихъ все, что въ нихъ обрѣтается.

Съ тѣхъ поръ прошло около двадцати лѣтъ. Въ продолженіе этого времени я вынесъ много всякаго рода жизненныхъ толчковъ, странствуя по морю житейскому. Исколесовавъ отъ конца въ конецъ всю Россію, перебывалъ во всевозможныхъ градахъ и весяхъ: и соломенныхъ, и голодныхъ, и холодныхъ, но не видалъ ни Т***, ни родного гнѣзда. И вотъ, однако-жъ, судьба бросила меня и туда...

Пріѣзжаю въ Т*** и съ перваго же взгляда убѣждаюсь, что умы развязались. Во-первыхъ, къ самымъ, такъ сказать, воротамъ города проведена желѣзная дорога. Двадцать лѣтъ тому назадъ никто бы не догадался, что изъ Т*** можно что-нибудь возить; теперь не только возятъ, но даже прямо говорятъ, что и конца этой возкѣ не будетъ. Двадцать лѣтъ тому назадъ почти весь мѣстнаго производства хлѣбъ потребляли на мѣстѣ; теперь—запросъ на хлѣбъ сталъ такъ великъ, что съѣдать его весь сдѣлалось какъ бы щекотливымъ. Свистнетъ паровозъ, загрохо-

четъ поѣздъ, и увозитъ, и увозитъ бунты за бунтами куда-то въ синюю даль. И даже не знаетъ безсмысленная чернь, куда исчезаетъ ея трудовой хлѣбъ, и кого онъ будетъ питать...

Во-вторыхъ, кабаковъ было не больше пяти-шести на весь городъ; теперь на каждый переулокъ не менѣе пяти-шести кабаковъ.

Въ-третьихъ, городъ осенью и весной утопалъ въ грязи, а лѣтомъ задыхался отъ пыли; теперь—соборную площадь ужъ вымостили, да, того гляди, вымостятъ и Московскую улицу.

Въ-четвертыхъ, прежде былъ городничій, который всѣмъ вѣдалъ, всѣхъ каралъ и миловалъ; теперь—до того доведено самоуправленіе, что даже въ городскіе головы выбранъ отставной корнетъ.

Въ-пятыхъ, прежде правосудіе предоставлялось уѣзднымъ судамъ, и я какъ сейчасъ вижу толпу голодныхъ подьячихъ, которые за рубль серебра готовы были вамъ всякое удовлетвореніе сдѣлать. Теперь настоящаго суда нѣтъ, а судитъ и рядитъ какой-то совершенно безразсудный отставной поручикъ изъ мѣстныхъ помѣщиковъ, который, не ожидая даже рубля серебромъ, въ силу одного лишь собственнаго легкомыслія, готовъ во всякую минуту въ-конецъ обездолить васъ.

Въ-шестыхъ, наконецъ, прежде совсѣмъ не было адвокатовъ, а были люди, носившіе названіе «ябедниковъ», «приказныхъ строкъ», «крапивнаго сѣмени» и т. д., которые ловили кліентовъ по кабакамъ и писали неосновательныя просьбы за косушку. Нынче и въ Т*** завелось до десяти «аблакатовъ», которые и за самую неосновательную просьбу меньше красненькой не возьмутъ.

Вмѣстѣ съ общимъ обновленіемъ измѣнилось и положеніе Дерунова. Еще ѣхавши по желѣзной дорогѣ въ Т***, я уже слышалъ, что имя его упоминалось, какъ имя главнаго мѣстнаго воротилы. Разбогатѣлъ онъ страшно и уже не сколачивалъ по копеечкѣ, а прямо орудовалъ. Арендовалъ у помѣщиковъ винокуренные заводы, въ большинствѣ городовъ губерніи имѣлъ винные склады, содержалъ громадное количество кабаковъ, скупалъ и откармливалъ скотъ и всю мѣстную хлѣбную торговлю прибралъ къ своимъ рукамъ. Однимъ словомъ, это былъ монополистъ, который всякую чужую копейку считалъ гулящею и не успокаивался до тѣхъ поръ, пока не залучитъ ее въ свой карманъ.

Раннимъ утромъ поѣздъ примчалъ насъ въ Т***. Я надѣялся, что найду тутъ своихъ лошадей, но за мной еще не пріѣхали. Въ ожиданіи я кое-какъ пріютился въ довольно грязной мѣстной гостиницѣ и, имѣя сердце чувствительное, разумѣется, не утерпѣлъ, чтобы не повидаться съ дорогими свидѣтелями моего дѣтства: съ постоялымъ дворомъ и его бывшимъ владѣльцемъ.

Стараго постоялаго двора уже не было и слѣда. На мѣстѣ его возвышались двухэтажныя каменныя палаты, съ пространными флигелями и амбарами, въ которыхъ помѣщались контора и склады. Ужасно это меня огорчило. Вотъ тутъ, на самомъ этомъ мѣстѣ, была любезнѣйшая сердцу грязь; вотъ здѣсь я лакомился сдобными лепешками со сливками; вотъ тамъ я дразнилъ индюка... И вдругъ— ничего этого нѣтъ! Какія-то каменныя палаты, отъ которыхъ не вѣетъ ничѣмъ, отзывающимся сердечною теплотою! До такой степени это поразило меня, что, взойдя на парадное крыльцо, я даже предложилъ себѣ вопросъ: не дать ли тягу? Кто знаетъ, не окаменѣлъ ли и самъ Деруновъ, подобно своимъ палатамъ! Вспоминаетъ ли о прежнихъ сѣренькихъ дняхъ, или же онъ и прошлое свое, вмѣстѣ съ другою ненужною ветошью, сбылъ куда-нибудь въ такое мѣсто, гдѣ его никакими способами даже отыскать нельзя! Я несчастливъ, и потому очень понятно, что для меня всякая подробность прошлаго имѣетъ цѣну свѣтлаго воспоминанія. Напротивъ того, Деруновъ счастливъ— зачѣмъ же, спрашивается, ему прошлое, въ которомъ все-таки было не безъ плутней, а слѣдовательно и не безъ потасовокъ за оныя?

Теперь Деруновъ — опора и столпъ. Авторитеты уважаетъ, собственность чтитъ, насчетъ семейнаго союза нимало не сомнѣвается. Онъ много и безпрекословно жертвуетъ и получаетъ за это медали; на немъ почіетъ множество благословеній синода; у него въ домѣ останавливается, во время ревизіи, губернаторъ; его чуть не боготворитъ исправникъ и тщетно старается подкузьмить мировой судья. Въ довершеніе всего, у него дочь выдана за полковника. Какое значеніе могу я имѣть въ его глазахъ, кромѣ значенія ненужнаго напоминанія прошлаго? Я не могу ничего ни продать, ни купить, ни даже предложить какія-нибудь услуги. Я—ветошь прошлаго, очевидецъ замасленной сибирки, загаженныхъ мухами счетовъ, на которыхъ онъ когда-то щелкалъ, приговаривая: «за са-

моваръ пять копеекъ, овсеца мѣру брали — двадцать копеекъ, за тепло—сколько пожалуете» и т. д. Зачѣмъ я пришелъ?

Но покуда я раздумывалъ, въ воротахъ дома показался самъ старикъ Деруновъ, который только-что окончилъ свои распоряженія во дворѣ.

Несмотря на свои слишкомъ шестьдесятъ лѣтъ, онъ былъ совершенно бодръ и свѣжъ. Онъ представлялъ собою совершеннѣйшій типъ той породы крѣпкихъ, сильныхъ и румяныхъ стариковъ, которыхъ называютъ благолѣпными. Голубые глаза его слегка потускнѣли, вслѣдствіе старческой слезы, но смотрѣли попрежнему благодушно, какъ будто говорили: зачѣмъ тебѣ въ душу мою забираться, я и безъ того весь тутъ! Волоса побѣлѣли, но еще кудрявились, обрамливая обнаженный черепъ и образуя вокругъ головы родъ облака. Та же пріятная улыбка на губахъ, тотъ же мягкій, лишь слегка надтреснутый теноръ. Словомъ сказать, передо мной стоялъ прежній Осипъ Ивановъ, но только посановитѣе и въ то же время поумытѣе и пощеголеватѣе.

— Вамъ до меня?—обратился онъ ко мнѣ съ вопросомъ.

Я назвалъ себя.

Старикъ постоялъ съ минуту, какъ бы ища въ своей памяти, но, наконецъ, вспомнилъ. И, сказать по правдѣ, вспомнилъ съ видимымъ удовольствіемъ.

— Господи!—засуетился онъ около меня:—лёгко ли дѣло, сколько годовъ не видались! Поди, ужъ лѣтъ сорокъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ ты у меня махонькой на постояломъ лошадей кармливалъ!

— Сорокъ не сорокъ, а много-таки воды утекло!

— Что̀ и говорить! Вотъ и у васъ, сударь, головка-то бѣленька стала, а объ старикахъ и говорить нечего. Впрочемъ, я на себя не пожалуюсь: ни единой во мнѣ хворости до сей поры нѣтъ! Да что̀ же мы здѣсь стоимъ! Милости просимъ наверхъ!

Пошли въ домъ; лѣстница отличная, свѣтлая; въ комнатахъ—благолѣпіе. Сначала мнѣ любопытно было взглянуть, каковъ-то покажется Осипъ Ивановичъ среди всей этой роскоши, но я тотчасъ же убѣдился, что для моего любопытства нѣтъ ни малѣйшаго повода: до такой степени онъ освоился со своей новой обстановкой.

— Вотъ какую хижу я себѣ выстроилъ!—привѣтствовалъ онъ меня, когда мы вошли въ кабинетъ.—Теперь у

меня простора вдоволь, хотя въ дрожкахъ по горницамъ разъѣзжай. А прежде-то что̀ на этомъ мѣстѣ было... чай, помните?

— Да, не забылъ-таки. И знаете ли, Осипъ Иванычъ, какъ подходилъ къ вашему дому, да увидѣлъ, что прежняго постоялаго двора нѣтъ—какъ будто жаль стало!

— Что̀ жалѣть-то! Вони да грязи мало, что ли, было? Послѣ постоялаго-то у меня тутъ другой домо̀къ, чистый, былъ, да и въ томъ тѣсно стало. Скоро пять лѣтъ будетъ, какъ вотъ эти палаты выстроилъ. Жить надо такъ, чтобъ и свѣтло, и тепло, и во всемъ чтобъ приволье было. При деньгахъ да не пожить, за это и люди осудятъ! Ну, а теперь побесѣдуемте, сударь, закусимте; я ужъ васъ отъ себя не пущу! Сказывай, сударь, зачѣмъ пріѣхалъ? нужды нѣтъ ли какой?

Старикъ, очевидно, не зналъ, какой тонъ установить въ отношеніи ко мнѣ, и потому безпрерывно переходилъ отъ «вы» на «ты».

— Да у васъ, чай, дѣла; еще задержишь...

— Какія дѣла! Всѣхъ дѣлъ не передѣлаешь! Для дѣловъ дѣльцы есть—ну, и пускай ихъ, съ Богомъ, бѣгаютъ! Господи, сколько годовъ, сколько годовъ-то прошло! Голова-то у тебя вѣдь почесть бѣлая! Чай, въ городъ-то въ родной въѣхали, такъ диву дались!

— Да, порядочно-таки измѣнился!

— Постой, что̀ еще впередъ будетъ! Площадь-то какая прежде была? Экипажи изъ грязи народомъ вытаскивали! А теперь посмотри—какъ есть красавица! Соборъ-то, соборъ-то! на кумполъ-то взгляни! За пятнадцать верстъ, какъ по острѣченскому тракту ѣдешь, видно! Какъ съ послѣдней станціи выѣдешь—все передъ глазами, словно вотъ рукой до города-то подать! Каменныхъ домовъ сколько понастроили! А ужо̀, какъ Московскую улицу вымостимъ да гостиный дворъ выстроимъ—чѣмъ не Москва будетъ!

— Хорошо-то хорошо... да вѣдь и прежде...

— Нечего, сударь, прежняго жалѣть! Надо дѣло говорить: ничего въ «прежнемъ» хорошаго не было! Я и старикъ, а не жалѣю. Только вонь и грязь была. А этого добра, коли кому пріятно, и нынче вдоволь достать можно. Поѣзжай въ «пѣшую слободу» да и живи тамъ въ навозѣ!

Осипъ Иванычъ на минуту остановился и не то восторженно, не то иронически воскликнулъ:

— Однихъ питейныхъ заведеній у насъ нынче числомъ шестьдесятъ пять штукъ!

— Да? Ну, это, конечно, усовершенствованіе немаловажное...

— Не нравится? А мнѣ такъ любо смотрѣть! Ровно часовые по улицѣ-то стоятъ: впустить впустятъ, а выпустить и думать не моги!

— Что̀-жъ тутъ хорошаго?

— А то и хорошо, что вольному воля! Прежде насчетъ всего запретъ былъ, а нынче—воля! А впрочемъ, доложу вамъ, умному человѣку на этотъ счетъ все едино: что̀ запретъ, что̀ воля. Когда запретъ былъ—у умнаго человѣка на предметъ запрета выдумка была; воля пришла—у него на предметъ этой самой воли выдумка готова! Умный человѣкъ никогда безъ хлѣба не оставался. А что касается до прочихъ, такъ вѣдь и для нихъ все равно. Только навыворотъ... ха-ха!

Осипъ Иванычъ звонко и добродушно засмѣялся и даже нѣсколько, кажется, удивился, что и я вмѣстѣ съ нимъ не смѣюсь.

— Да что̀-жъ ты унылой какой сдѣлался? — сказалъ онъ:—а ты побравѣе, поповоротливѣе взглядывай, потрафляй! На меня смотри: чѣмъ былъ и чѣмъ сталъ!

— Да, вамъ-таки посчастливилось, кажется!

— Благословилъ Господь! А все-таки скажу, въ нашемъ дѣлѣ какъ кому потрафится! Сумѣлъ потрафить—съ рублемъ будешь; не сумѣлъ—въ трубу вылетѣлъ! Одно вѣрно: руки склавши сидѣть будешь—много не наживешь! Не мало тоже я думы передумалъ, покуда рѣшился колесо-то это завести. Прежде и я по зернышку клевалъ, ну, а потомъ вижу — люди горстями хватаютъ, подумалъ: не все же людямъ — и намъ, можетъ, частица перепадетъ! Да объ этомъ послѣ! Что̀ мы такъ-то сидимъ! Эй! чаю сюда, да закусочки! Господи! сколько лѣтъ, сколько зимъ! Еще отъ родителей вашихъ, сударь, ласку видѣлъ, вотъ оно когда, знакомство-то наше, началось! Недавно еще мимо Чемезова-то проѣзжалъ— вспоминалъ, какъ же! Домъ-то барскій, сказываютъ, ужъ обвалился; ни замковъ, ни заслонокъ, даже кирпичи изъ печей—и тѣ повытасканы. Пожалѣлъ я: стоитъ махина безъ оконъ, словно инвалидъ безъ глазъ!

Осипъ Иванычъ неодобрительно покачалъ головой. Между тѣмъ подали чай, а на другомъ столѣ приготовляли закуску.

— Туда, что ли, сударь, ѣдете?—обратился ко мнѣ Деруновъ.

— Туда.

— Что̀ дѣлать предполагаете?

— Да посмотрю...

— По правдѣ сказать, невелико вамъ нынче веселье, дворянамъ. Очень ужъ оплошали вы. Начнемъ хоть съ тебя: шутка сказать, двадцать лѣтъ въ своемъ родномъ гнѣздѣ не бывалъ! Гдѣ былъ? зачѣмъ странствовалъ? — спросилъ бы я тебя — такъ самъ, чай, отвѣта не дашь! Служилъ семь лѣтъ, а выслужилъ семь рѣпъ.

— Всякому свое, Осипъ Иванычъ. Можетъ-быть, и на нашей улицѣ будетъ праздникъ!

— Знаю я, сударь, что начальство пристроить васъ куда-нибудь желаетъ. Да врядъ ли. Не туда вы глядите, чтобъ къ какому-ни-на-есть дѣлу приспособиться!

— Ужъ будто и дѣла для насъ никакого не найдется?

— Какое же дѣло? Вино вамъ предоставлено было однимъ курить — кажется, на что статья подходящая! — а много ли барыша нажили? Побились-побились, да къ тому же Дерунову на поклонъ пришли — выручай! Нечего дѣлать — выручилъ! Теперь всѣ заводы въ округѣ у меня въ арендѣ состоятъ. Плачу аренду исправно, до отвѣтственности не допущаю — загребай помѣщикъ денежки да живи на теплыхъ водахъ!

— Воспитаніе, Осипъ Иванычъ, не такое мы получили, чтобъ объ матеріальныхъ интересахъ заботиться. Я вотъ по-латыни прежде хорошо зналъ, да, жаль, и ее позабылъ. А кабы не позабылъ, тоже утѣшался бы теперь!

— На пустыя поля да на бѣлоусъ глядючи. Такъ, сударь. А надолго ли, смѣю спросить, въ Чемезово-то собрались?

— Нѣтъ, зачѣмъ надолго! Посмотрѣть да кой-чѣмъ распорядиться — и опять въ Петербургъ!

— То-то. Въ деревнѣ вѣдь тоже пить-ѣсть надо. Земля есть, да ее не укусишь. А въ Петербургѣ все-таки что-нибудь добудешь. Да ты не обидься, что̀ я тебя спрошу: кончать, что ли, съ вотчиной-то хочешь?

— Хотѣлось бы. Крестьяне на выкупѣ, земля — обрѣзки кое-какіе остались; не къ рукамъ мнѣ, Осипъ Иванычъ!

— А не къ рукамъ, такъ продать нужно. Дерунова за бока! Что̀-жъ, я и теперь послужить готовъ, какъ въ старину служивалъ. Даромъ денегъ не дамъ, а настоящую цѣну отчего не заплатить? Заплачу!

— Да вѣдь настоящая-то цѣна... кто ее знаетъ, какая она?!

— Настоящая цѣна — христіанская цѣна. Чтобъ ни мнѣ,

чи тебѣ — никому не обидно; вотъ какъ это цѣна! У тебя какая земля? И тебѣ она не нужна, и мнѣ не нужна! Вотъ по этому самому мачтабу и прикладывай, чего она стóитъ!

— Однако вѣдь вы охотитесь же купить!

— Такъ, балую. У меня теперь почесть четверть уѣзда земли-то въ рукахъ. Скупаю по малости, ежели кто отъ нужды продаетъ. Да и услужить хочется — кáкъ хорошему человѣку не услужить! Всѣ мы Боговы слуги, всѣ другъ дружкѣ тяготы нести должны. И съ твоей землей у меня купленная земля по смежности есть. Твои-то клочки къ прочимъ ежели присовокупить — анъ дача выйдетъ. А у тебя развѣ дача?

— Ну, кромѣ васъ, и крестьяне, можетъ-быть, пожелаютъ пріобрѣсти.

— Крестьяне? Крестьянину, сударь, дани платить надо, а не о пріобрѣтеніи думать. Это не нами заведено, не нами и кóнчится. Всѣмъ онъ дань несетъ; не только казнѣ-матушкѣ, а и мнѣ, и тебѣ, хоть мы и не замѣчаемъ того. Такъ ему свыше написано. И по моему слабому разуму, ежели человѣкъ бѣдный, такъ чѣмъ меньше у него, тѣмъ даже лучше. Лишней обузы нѣтъ.

Сужденіе это было такъ неожиданно, что я невольно взглянулъ на моего собесѣдника, не разсердился ли онъ на что-нибудь. Но онъ попрежнему былъ румянъ; попрежнему невозмутимо-благодушно смотрѣли его глаза; попрежнему на губахъ играла пріятная улыбка.

— Да ужъ не разсердили ли васъ чѣмъ-нибудь крестьяне, что вы отъ лишней обузы облегчить ихъ хотите?—спросилъ я.

— Я-то сержусь! Я ужъ который годъ и не знаю, чтò за сердце такое на свѣтѣ есть! На мужичка сердиться! И-и! Да отъ кого же я и пользу имѣю, какъ не отъ мужичка! Я вотъ только тебѣ по-христіанскому говорю: не вяжись ты съ мужикомъ, не твое это дѣло! Предоставь мнѣ съ мужика получать! Ужъ я своего не упущу, все до копейки выберу!

— Послушайте, однако-жъ, почему же вы полагаете, что я не получу? Вѣдь это странно: вы получите, а я не получу!

— Ничего тутъ страннаго нѣтъ. Вы только подумайте, сударь, мое ли дѣло, или ваше? Я вотъ аблаката нанимаю, полторы тысячи ему плачу, такъ онъ у меня и въ пиръ, и въ міръ. Ѣздитъ себѣ да покатывается. У меня въ годъ-то, можетъ, больше сотни дѣлъ во всѣхъ мѣстахъ перебываетъ. Тутъ и въ грошъ есть, и въ тысячу. Такъ разложите эти

полторы тысячи на сто дѣлъ—что̀ выйдетъ! Плёвое дѣло? А тебѣ изъ-за каждой срубленной елки, изъ-за каждой гривенной потравы аблаката нанимать нужно! Резонъ ли это? Гдѣ ты столько денегъ найдешь, чтобы эту прорву насытить? Да и аблаката-то гдѣ еще найдешь? За нимъ тоже въ городъ ѣхать нужно, харчиться, убытчиться! Во что̀ это тебѣ вскочитъ! А земля-то, сударь, хоть и нѣтъ у нея души, а чувствуетъ она, матушка, что у ней настоящаго радѣтеля нѣтъ!

— Да я не объ землѣ. Я знаю, что я не радѣтель землѣ. Я землю мужикамъ продамъ, а съ мужиковъ деньги получу.

— Разомъ ничего вы, сударь, съ нихъ не получите, потому что у нихъ и денегъ-то настоящихъ нѣтъ. Придется въ разсрочку дѣло оттягивать. А разсрочка эта вотъ что̀ значитъ: поплатятъ они съ грѣхомъ пополамъ годокъ-другой, а потомъ и надоѣстъ: все плати да плати!

— Надоѣстъ! Это развѣ резонъ! Вѣдь не безсудная же земля!

— И земля не безсудная, и резону не платить нѣтъ, а только вѣдь и деньга защитника любитъ. Нѣтъ у нея радѣтеля — она промежъ пальцевъ прошла! Есть радѣтель — она и сама собой въ карманѣ запутается. Ну, положимъ, разсрочилъ ты крестьянамъ уплату на десять лѣтъ... примѣрно, хоть по полторы тысячи въ годъ...

«По полторы тысячи! Стало-быть, пятнадцать тысячъ въ десять лѣтъ!—мелькнуло у меня въ головѣ.—Однако, братъ, ты ловокъ! Сколько же *разомъ*-то ты намѣренъ былъ мнѣ отсыпать?!»

— Ну, продалъ, заключилъ условіе, уѣхалъ. Не управляющаго же тебѣ нанимать, чтобъ за полуторами тысячами смотрѣть. Уѣхалъ—и вся недолга! Ну, годъ они тебѣ платятъ, другой платятъ; на третій — пишутъ: «сѣновъ не родилось, скотъ выпалъ...» Неужто-жъ ты изъ Питера сюда поскачешь, чтобъ съ ними судиться?!

— Не поскачу, а напишу кому слѣдуетъ.

— Да вѣдь у нихъ и взаправду скотъ выпалъ—неужто ты ихъ зорить будешь!

— Однако вѣдь вы взыскали бы?

— Я—другое дѣло. Я радѣтель. Я и землю соблюду, и деньги взыщу. Я всякое дѣло порядкомъ поведу. Ежели бы я, напримѣръ, и совсѣмъ за землей не смотрѣлъ, такъ у меня крестьянинъ синь-пороха не украдетъ. Потому у него изстари составилось мнѣніе, что у Дерунова ничего плохо не

лежитъ. Опять же и насчетъ взысканій: не разоряю я, а исподволь взыскиваю. Вижу, коли у котораго силы нѣтъ — въ работу возьму. Дрова заставлю пилить, сѣно косить — мнѣ всего много нужно. Ему пріятно, потому что онъ гроша изъ кармана не вынулъ, а ровно бы на гулянкахъ отработался, а мнѣ и того пріятнѣе, потому что я работой-то съ него вмѣсто рубля—два получу!

— Ну, а вы... сколько бы вы мнѣ за землю предложили?

— Пять тысячъ — самая христіанская цѣна. И деньги сейчасъ въ столѣ — словно бы для тебя припасены! Пять тысячъ на кругъ! Тутъ и худая, и хорошая десятина—все въ одной цѣнѣ!

— Ну, нѣтъ, это дешевенько. Лучше ужъ я посмотрю!

— Посмотри! Что-жъ, и посмотрѣть не худое дѣло! Старики говаривали: свой глазокъ—смотрокъ! И я вотъ старъ-старъ, а вездѣ самъ посмотрю. Большая у меня сѣть раскинута, и не оглядишь всеё, а все какъ-то сердце не на мѣстѣ, какъ гдѣ самъ не досмотришь! Такъ день-деньской и маюсь. А, право, пять тысячъ далъ бы! И деньги припасены въ столѣ—ровно какъ тебя ждалъ!

Однако я ничего не отвѣтилъ на этотъ новый вызовъ. Мы оба на минуту смолкли, но я инстинктивно почувствовалъ, что между нами вдругъ образовалась какая-то натянутость. Я смотрѣлъ въ сторону. Осипъ Иванычъ тоже поглядывалъ куда-то въ уголъ.

— Ну, а ваши дѣла какъ?—прервалъ я первый молчаніе.

— Нечего Бога гнѣвить — дѣла хороши! Нынче только мозгами шевелить не лѣнись, а деньга сама къ тебѣ привалитъ!

— Хлѣбомъ торгуете?

— Хлѣбомъ нынче за первый сортъ торговать. Насчетъ податей строго стало, выкупныя требуютъ — ну, и везутъ. Иному и самому нужно, а онъ отъ нужды везетъ. Очень эта операція нынче выгодная.

— Скотъ скупаете тоже, я слышалъ?

— И скотъ скупать хорошо, коли кò время. Вотъ въ мартѣ кормы-то повыберутся, да и недоимки понуждать начнутъ—тутъ только не плошай! За безцѣнокъ цѣлые табуны покупаемъ, да на винокуренныхъ заводахъ на барду ставимъ! Хорошій барышъ бываетъ!

— Лѣсà, вино?

— И лѣсами подобрались — дрова въ цѣнѣ стали. И *вино* — статья полезная, потому — воля. Я нынче фабрику

миткалевую завелъ: очень ужъ народъ дешевъ, а провозъ-то по чугункѣ не Богъ знаетъ, чего стòитъ! Да чтò! Я хочу тебя спросить: пошли нынче акціи, и мнѣ тоже предлагали, да я не взялъ!

— Что-жъ такъ?

— Опаску имѣю. Намеднись даже генералъ ко мнѣ изъ Питера пріѣзжалъ. Снялъ, вишь, желѣзную дорогу, такъ въ учредители звалъ. Очень хвалилъ!

— Зачѣмъ же стало?

— То-то, что Сибирь-то еще у меня въ памяти! Забыть бы объ ней надо! Еще бы вольнѣе орудовать можно было!

— Съ какой же тутъ стати Сибирь?

— Да вѣдь на грѣхъ мастера нѣтъ. Толковалъ онъ мнѣ много, да мудрено что-то. Я ему говорю: вотъ рубль — желаю на него пятнадцать копеечекъ получить. А онъ мнѣ: «Зачѣмъ твой рубль? Твой рубль только для прилику, а ты просто задаромъ еще такой рубль получишь!» Ну, я и поусумнился. Сибирь, думаю. Вотъ сынъ у меня, Николай Осипычъ,—тотъ сразу эту механику понялъ!

— Должно-быть, вашъ генералъ помѣщеніе для облигацій выгодное нашелъ; ну, акціи-то и пойдутъ какъ будто на придачу.

— Вотъ это самое и онъ толковалъ, да вычурно что-то. Много, ахъ, много нынче безмѣстныхъ-то шляется! То съ тѣмъ, то съ другимъ. Намеднись тоже Прокофій Иванычъ— помѣщикъ здѣшній, Томилинымъ прозывается — съ каменнымъ углемъ напрашивался: будто бы у него въ имѣніи не есть этому углю конца. Счастливчики вы, господа дворяне! Нѣтъ-нѣтъ, да что-нибудь у васъ и окажется! Совсѣмъ-было капутъ вамъ—анъ вдругъ на лѣсъ потребитель явился. Лѣсà извели—уголь явился. Того гляди, золото окажется— ей-Богу, такъ!

— Вотъ какъ вы всѣ земли-то купите, вамъ все и достанется: и уголь, и золото! Ну, а семейство ваше какъ?

— Живемъ помаленьку. Жена, слава Богу, поперекъ себя шире стала. Въ проферанецъ играть выучилась! Я ей, для спокою, и компанію составилъ: капитанъ тутъ одинъ, да бывшій судья, да Глафиринъ Николай Петровичъ.

— Это предводитель-то?

— Былъ предводителемъ, а нынче онъ, какъ и прочіе, на Бога да на каменный уголь надежду имѣетъ. Сколь прежде былъ лютъ, столь нынче смиренъ. Собираются съ обѣда

да и обыгрываютъ Анну Ивановну помаленьку. Мнѣ не убыточно, имъ — рублишко на молочишко, а ей — моціонъ!

— А дѣти?

— Старшій сынъ, Николай, дѣльный парень вышелъ. Съ понятіемъ. Теперь онъ за сорокъ верстъ, въ С***, хлѣбъ закупать уѣхалъ! Съ-часу-на-часъ домой жду. Здѣсь-то мы хлѣбъ нынче не покупаемъ; станція — такъ конкурентовъ много развелось, приказчиковъ съ Москвы насылаютъ, цѣны набиваютъ. А подальше — поглуше. Ну, а младшій сынъ, Яковъ Осипычъ, — тотъ съ изъянцемъ. Съ годъ мѣста на глаза его не пущаю, а по времени, пожалуй, и совсѣмъ отъ себя отпихну!

— Жалко.

— Непочтителенъ. Я ужъ его и въ смирительный за непочтеніе сажалъ — все неймется. Теперь на фабрику къ Астафью Астафьичу — англичанинъ, въ управителяхъ у меня живетъ—подъ начало его отдалъ. Жаль малаго — да не что̀ станешь дѣлать! Кажется, кабы не жена у него да не дѣти—давно бы въ солдаты сдалъ!

— И женатъ?

— Женатъ, четверо дѣтей. Жена у него, въ добрый часъ молвить, хорошая женщина! Ужъ такъ она мнѣ пріятна: и покорна, и къ дому радѣльна, словомъ сказать—для родителевъ лучше не надо! Всѣ здѣсь, со мною живутъ, всѣхъ у себя пріютилъ! Потому, хоть и противникъ онъ мнѣ, а все родительское-то сердце болитъ! Не по немъ, такъ по приснымъ его! Кровь вѣдь моя, ты это подумай!

— Что̀ говорить! Стало-быть, только двое сыновей у васъ и есть?

— Сыновъ двое, да дочь еще за полковника выдана. Хорошій человѣкъ, настоящій. Не пьетъ; только одну рюмку передъ обѣдомъ. Бережливъ тоже. Живутъ хорошо; съ деньгами.

— Еще бы не съ деньгами! Чай, порядочный кушъ въ приданое-то отсыпали!

— Нѣтъ, я на этотъ счетъ съ оглядкой живу. Ласкать ласкаю, а баловать — Боже храни! Не видѣвши-то денегъ, она все лишній разъ къ отцу съ матерью забѣжитъ, а дай ей деньги въ руки — только ты ее и видѣлъ. Э-эхъ! всѣ мы, сударь, люди, всѣ человѣки, всѣ денежку любимъ! Вотъ помирать стану — всѣмъ распредѣлю, ничего съ собой не унесу. Да ты что̀ объ семьѣ-то заговорилъ, или самъ обзавестись хочешь?

— Куда мнѣ! И одному-то врядъ прожить, а то еще съ семьей!

— Не говори ты этого, сударь, не грѣши! Въ семьѣ ли человѣкъ, или безъ семьи? Теперь мнѣ хоть какую угодно принцессу предоставь—развѣ я ее на мою Анну Ивановну промѣняю! Спаси Господь! Въ семью-то придешь — ровно въ раю очутишься! Право! Благодать, тишина, всякій при своемъ мѣстѣ—истинный рай земной!

Осипъ Иванычъ зѣвнулъ и перекрестилъ ротъ. Разговоръ видимо истощился. Я уже всталъ съ намѣреніемъ проститься, но гостепріимный хозяинъ и слышать не хотѣлъ, чтобъ я уѣхалъ, не отвѣдавъ его хлѣба-соли. Кстати, въ эту самую минуту послышался стукъ подъѣзжающаго къ крыльцу экипажа.

— Да вотъ и Николай Осипычъ воротился! — сказалъ Осипъ Иванычъ, подходя къ окну.—Такъ и есть, онъ самый! Познакомитесь! Онъ хоть и не воспитывался въ коммерческомъ, а малый съ понятіемъ! Кстати, можетъ, и мимо Чемезова проѣзжалъ.

Черезъ минуту въ комнату вошелъ среднихъ лѣтъ мужчина, точь-въ-точь Осипъ Иванычъ, какимъ я зналъ его въ ту пору, когда онъ былъ еще мелкимъ прасоломъ. Тѣ же ласковые глаза, та же пріятнѣйшая улыбка, тѣ же вьющіеся каштановые, съ легкой просѣдью, волоса. Вся разница въ томъ, что Осипъ Иванычъ ходилъ въ сибиркѣ, а Николай Осипычъ носитъ пиджакъ. Войдя въ комнату, Николай Осипычъ помолился и подошелъ къ отцу, къ рукѣ. Осипъ Иванычъ отрекомендовалъ насъ другъ другу.

— Ну, что̀, ка̀къ торги?

— Торговалъ, папенька, за первый сортъ. Только въ С*** задержечка вышла. Ѣздилъ въ Р***—тамъ купилъ.

— Что такъ? Не чикуновскіе ли приказчики наѣхали?

— Нѣтъ, благодареніе Богу, о̀кромя насъ, еще никого не видать. А такъ, промежду мужичковъ капризъ сдѣлался. Цѣну, кажется, давали имъ настоящую, шесть гривенъ за пудъ—анъ нѣтъ: «нынче, видишь ты, и во снѣ такихъ цѣнъ не слыхано!»

— Во снѣ и все хорошія цѣны снятся! Такъ и не продали?

— Не продали. Всѣ, какъ есть, въ Р*** уѣхали. Пріѣхали—а тамъ опять мы же. Только ужъ я тамъ, папенька, по пятидесяти копеечекъ купилъ.

— И дѣло. Впередъ наука. Вотъ десять копеекъ на пудъ

убытку понесъ да задаромъ тридцать верстъ проѣхалъ. Слѣдственно, въ предбудущемъ, что̀ ему ни дай—возьметъ. Однако это, братъ, въ нашихъ мѣстахъ новость! Скажи пожалуй, стачку затѣяли! Да за стачки-то нынче, знаешь ли, ка̀къ! Что-жъ ты исправнику не шепнулъ!

— Ничего, папенька, покамѣстъ еще своими мѣрами справляемся-съ.

— Ну, ладно. И то сказать, окромя насъ и покупщиковъ-то солидныхъ здѣсь нѣтъ. Испугать вздумали! Нѣтъ, братъ, ростомъ не вышли! Бунтовать не позволено!

— Истинный, папенька, бунтъ былъ! Просто, какъ есть, стали всѣ заодно — и шабашъ. «Вы, говорятъ, изъ всего уѣзда кровь пьете!» Даже смѣшно-съ.

— Никогда прежде бунтовъ не бывало, а нынче, смотрика, бунты начались!

— Да какой же это бунтъ, Осипъ Иванычъ!—вступился я.

— А по-твоему, баринъ, не бунтъ? Мнѣ для чего хлѣбъ-то нуженъ? Самъ, что ли, экую махину съѣмъ? Въ амбарѣ, что ли, я гноить его буду? Въ казну, сударь, въ казну я его ставлю! Армію, сударь, хлѣбомъ продовольствую! А ну, какъ у меня изъ-за нихъ, курицыныхъ сыновъ, хлѣба не будетъ! Помирать, что ли, арміи-то? По-твоему, это не бунтъ?

На сей разъ Осипъ Иванычъ совершенно явно и довольно нагло говорилъ мнѣ «ты». Онъ возмущался такъ искренно, что даже измѣнилъ своему обычному благодушію. Признаюсь откровенно, я и не подумалъ возразить ему. Соображеніе, что, по милости мужиковъ, не соглашающихся взять *настоящую* цѣну, армія можетъ встрѣтить препятствіе въ продовольствіи, было такъ рѣшительно и притомъ такъ полно современности, что я даже самъ испугался, какимъ образомъ оно прежде не пришло мнѣ въ голову. Конечно, я понималъ, что и противъ такого капитальнаго соображенія не невозможны возраженія, но, съ другой стороны, что̀ можетъ произойти, если вдругъ Осипу Иванычу въ моемъ скромно выраженномъ мнѣніи вздумается заподозрить или «превратное толкованіе», или наклонность къ «распространенію вредныхъ идей»? Скажу я, напримѣръ, что при неисправности подрядчика военное вѣдомство можетъ распорядиться насчетъ его залоговъ, а онъ вдругъ растолкуетъ, что я арміи и флоты отрицаю, основы потрясаю, авторитетовъ не признаю! Развѣ этихъ примѣровъ не бывало? Развѣ не обвиняли фабриканты своихъ рабо-

чихъ въ бунтѣ за то, что они соглашались работать не иначе, какъ подъ условіемъ увеличенія заработной платы? Поэтому я призвалъ на помощь возможное при подобныхъ обстоятельствахъ гражданское мужество и воскликнулъ:

— Ну, да, армія... конечно, армія! Представьте, я и не подумалъ!

— А я такъ денно и нощно объ этомъ думаю! Одна подушка моя знаетъ, сколь много я безпокойствъ изъ-за этого переношу! Ну, да ладно. Давали христіанскую цѣну — не взяли, такъ на предбудущее время и пятидесяти копеекъ напроситесь. Нѣтъ ли еще чего новаго?

— Кандауровскаго барина чуть-чуть не увезли-съ.

— Какъ увезли? куда?

— Неизвѣстно-съ. И за что — никто не знаетъ. Сказывали этта, будто господинъ становой писалъ. Ни съ кѣмъ будто не знакомится, книжки читаетъ, дома по вечерамъ сидитъ...

— Не было ли поступковъ за нимъ какихъ?

— Поступковъ не было. И становой, сказываютъ, писалъ: поступковъ, говоритъ, нѣтъ, а ни съ кѣмъ не знакомится, книжки читаетъ... Такъ и ожидали, что увезутъ! Однако отвѣтъ отъ вышняго начальства вышелъ: дожидаться поступковъ. Да баринъ-то самъ догадался, что нынче съ становымъ шутка плохая: сѣлъ на машину—и айда въ Петербургъ-съ!

— Да, строгонько нонѣ насчетъ этихъ чтеніевъ стало. Насчетъ вина свободно, а насчетъ чтеніевъ строго. За умъ взялись.

— А развѣ что-нибудь у васъ было? Безпокойства какія-нибудь?—полюбопытствовалъ я.

— Мало ли у насъ тутъ сквернословіевъ было!

— Однако вѣдь вы сами говорите, что за кандауровскимъ бариномъ никакихъ поступковъ не было?

— А кто его знаетъ! Можетъ, онъ промежду себя революцію пущалъ. Не по-людски живетъ, ни съ кѣмъ хлѣба-соли не водитъ! Кому вдомекъ, что̀ у него на умѣ!

— Позвольте, Осипъ Иванычъ, вѣдь если такъ разсуждать, то, пожалуй, кандауровскій-то баринъ и хорошо сдѣлалъ, что въ Петербургъ бѣжалъ! Одинъ бѣжитъ, другой бѣжитъ...

— А коли кто задумалъ бѣжать — никто не держитъ! Слава Богу! И окромя довольно народу останется!

Сказавши это, Осипъ Иванычъ опрокинулся на спину

и, положивъ ногу на ногу, лѣвую руку откинулъ, а правою забарабанилъ по ручкѣ дивана. Очевидно было, что онъ собрался прочитать намъ предику, но съ такимъ при этомъ разсчетомъ, что онъ будетъ и разглагольствовать, и на бобахъ разводить, а мы будемъ слушать да поучаться.

— Мы здѣсь живемъ въ тишинѣ и во всякомъ благомъ поспѣшеніи,—сказалъ онъ солидно: — каждый при своемъ занятіи находится. Я, напримѣръ, при торговлѣ состою; другой — рукомесло при себѣ имѣетъ; третій — отъ земли питается. Что̀ кому свыше опредѣлено. Чтеніевъ для насъ не полагается.

Осипъ Иванычъ умолкъ на минуту и окинулъ насъ взглядомъ.

Я сидѣлъ, съёжившись и какъ бы сознаваясь въ какой-то винѣ; Николай Осипычъ, какъ говорится, ѣлъ родителя глазами. Повидимому, это поощрило Дерунова. Онъ сложилъ обѣ руки на животѣ и глубокомысленно вертѣлъ однимъ большимъ пальцемъ вокругъ другого.

— Главная причина, — продолжалъ онъ: — коли ежели безъ пользы читать, такъ отъ чтеніевъ даже для разсудка не безъ ущерба бываетъ. День человѣкъ читаетъ, другой читаетъ—смотришь, по времени и мечтать начнетъ. И возмечтаетъ неявленная и неудобь-глаголемая. Отобьется отъ дѣла, почтеніе къ старшимъ потеряетъ, начнетъ сквернословить. Вотъ его въ ту пору сцарапаютъ раба Божьяго— и на цугундеръ. Веди себя благородно, не мути, унылости на другихъ не наводи. Такъ ли, по-твоему, сударь?

— Да что-жъ «по-моему»! Меня вѣдь не спросятъ!

— Вотъ это ты дѣльное слово сказалъ. Не спросятъ— это такъ. И ни тебя, ни меня, никого не спросятъ; сами все какъ слѣдуетъ сдѣлаютъ! А почему тебя не спросятъ, не хочешь ли знать? А потому, баринъ, что уши выше лба не растутъ; а у кого ненарокомъ и вырастутъ сверхъ мѣры—подрѣзать маленечко можно!

Видя, что мысли Дерунова принимаютъ унылый и не совсѣмъ безопасный оборотъ, я серьезно обезпокоился. Несмотря на смутную форму его предики, ясно было, что она направлена въ мой огородъ. Какъ ни робко выражено было мною сомнѣніе насчетъ правильности наименованія бунтовщиками мужиковъ, не соглашавшихся взять предлагаемую имъ за хлѣбъ цѣну, но даже и оно видимо омрачило благодушіе старика. Стало-быть, кромѣ благодушія, въ немъ, съ теченіемъ времени и подъ вліяніемъ постоянной удачи

въ дѣлахъ, развилась еще и другая черта: претензія на непререкаемость. Съ минуты на минуту я ждалъ, что отъ намековъ онъ перейдетъ къ прямымъ обвиненіямъ, и что я, къ ужасу своему, встрѣчусь лицомъ къ лицу съ вопросомъ: нужны ли арміи, или нѣтъ? Напрасно буду я завѣрять, что тутъ даже вопроса не можетъ быть, — моего отвѣта не захотятъ понять и даже не выслушаютъ, а будутъ съ настойчивостью, достойною лучшей участи, приставать: «нѣтъ, ты не отлынивай, ты говори прямо: нужны ли арміи, или нѣтъ?» И если я, наконецъ, отъ всей души и отъ всего моего помышленія возопію: нужны! и въ подтвержденіе искренности моихъ словъ потребую шампанскаго, чтобъ провозгласить тостъ за процвѣтаніе армій и флотовъ, то и тогда удостоюсь только иронической похвалы, въ родѣ: «ну, братъ, ловкій ты парень!» или: «знаетъ кошка, чье мясо съѣла!» и т. д.

Поэтому, въ отвращеніе дальнѣйшихъ бѣдствій, я воспользовался первою паузой, чтобъ перемѣнить разговоръ.

— Вы давно не бывали въ Чемезовѣ?—обратился я къ Николаю Осипычу.

— Сегодня только проѣзжалъ. Слѣдомъ за мной и старикъ Лукьянычъ за вами пріѣхалъ. Въ гостиницѣ кормить остановился.

— Ну, вотъ и прекрасно. Стало-быть, я и поѣду.

— Постой, погоди! Какъ же насчетъ земли-то! Берешь, что ли, пять тысячъ? — остановилъ меня Осипъ Иванычъ и, обращаясь къ сыну, прибавилъ: — Вотъ, занадѣльную землю у барина покупаю, пять тысячъ надавалъ.

— Пять тысячъ-съ!—удивился Николай Осипычъ.

— Много денегъ, самъ знаю, что много! Ради родителевъ вызволить барина хотѣлъ, какъ еще маленькимъ человѣкомъ будучи, ласку отъ нихъ видѣлъ!

— Берите-съ! — обратился ко мнѣ Николай Осипычъ, какъ будто даже со страхомъ:—этакая цѣна! Да за этакую цѣну обѣими руками ухватиться надобно!

— И я то же говорю, а баринъ вотъ ломается.

— Не ломаюсь, а осмотрѣться желаю. Надѣюсь, что имѣю на это право!

— Кто объ твоихъ правахъ говоритъ! Любуйся, смотри! А главная причина: никому твоя земля не нужна, слѣдственно смотри на нее или не смотри — краше она отъ того не будетъ. А другая причина: деньги у меня въ столѣ

лежатъ, готовы. И въ Чемезово ѣхать не нужно. Взялъ, получилъ и кати безъ хлопотъ обратно въ Питеръ!

Но я всталъ и рѣшительно началъ откланиваться.

— Стало-быть, ты и хлѣба-соли моей отвѣдать не хочешь! Ну, баринъ, не ждалъ я! А родители-то, родители-то какіе у тебя были!

Осипъ Иванычъ тоже всталъ съ дивана и по всѣмъ правиламъ гостепріимства взялъ мою руку и обѣими руками крѣпко сжалъ ее. Но въ то же время онъ не то печально, не то укоризненно покачивалъ головой, какъ бы говоря: какіе были родители и какія вышли дѣти!

— Да не обидѣлъ ли я тебя тѣмъ, что насчетъ чтеніевъ-то спроста сказалъ?—продолжалъ онъ, стараясь сообщить своему голосу особенно простодушный тонъ.—Такъ вѣдь у насъ, стариковъ, ужъ обычай такой: не все по головкѣ гладимъ, а иной разъ и противъ шерсти причесать вздумаемъ! Не погнѣвайся!

— Полноте! Мнѣ и въ голову не приходило, что ваши слова могли относиться ко мнѣ!

— Къ тебѣ не къ тебѣ, а ты тоже на усъ мотай! Отъ стариковъ-то не отворачивайся. Если когда и поучатъ, тебя жалѣючи—не сколько тебѣ убытку отъ этого будетъ! Кандауровскій-то баринъ недалеко отъ твоей вотчины жилъ! Такъ-то!

Мы простились довольно холодно, хотя Деруновъ соблюлъ весь заведенный въ подобныхъ случаяхъ этикетъ. Жалъ мнѣ руки и въ это время смотрѣлъ въ глаза, откинувшись всѣмъ корпусомъ назадъ, какъ будто не могъ на меня наглядѣться, проводилъ до самаго крыльца и на прощанье сказалъ:

— Забѣги, какъ изъ Чемезова въ обратный поѣдешь! И съ крестьянами коли насчетъ земли не поладишь—только слово шепни—Деруновъ купитъ! Только-что ужъ въ ту пору я пяти тысячъ не дамъ! Ау, братъ! Ты съ перваго слова не взялъ, а я со второго слова—не дамъ!

Лукьянычъ выѣхалъ за мной въ одноколкѣ, на одной лошади. На вопросъ, неужто не нашлось попросторнѣе экипажа, старикъ отвѣтилъ, что экипажей много, да въ ломъ ихъ лучше отдать, а лошадь одна только и осталась, прочія же «кои пали, а кои такъ изничтожились».

— Ну, братъ, не красиво же у васъ тамъ!—вздохнулъ я.

— Какая красота! Былъ-было дворянинъ, да чортъ перемѣнилъ! Вотъ полюбуетесь на усадьбу-то!

Въ Лукьянычѣ олицетворялась вся исторія Чемезова. Онъ былъ охранителемъ его во времена помѣщичьяго благоденствія и онъ же охранялъ его и теперь, когда Чемезово сдѣлалось, по его словамъ, такимъ мѣстомъ, гдѣ, «куда ни плюнь, все на пусто попадешь». Не разъ писывалъ онъ мнѣ письма, въ которыхъ изображалъ упадокъ родного гнѣзда, но, наконецъ, убѣдившись въ моемъ равнодушіи, прекратилъ всякое настояніе. Съ немногими оставшимися въ живыхъ стариками и старухами, изъ бывшихъ дворовыхъ, ютился онъ въ подвальномъ этажѣ барскаго дома, получая ничтожное содержаніе изъ доходовъ, собираемыхъ съ кой-какихъ сѣнныхъ покосовъ, и, не безъ тайнаго ропота на мое легкомысліе, взиралъ, какъ разрушеніе постепенно клало свою руку на все окружающее. Упала оранжерея; вымерзъ грунтовой сарай; заглохъ садъ; перевелся скотъ; лошади выстаивали свои лѣта и падали. Потомъ сначала въ одной изъ комнатъ дома грохнулся потолокъ, за нею въ другой комнатѣ... Птицы и градъ повыбили изъ оконъ стекла; крыша проржавѣла и дала течь. Долгое время кое-какъ, своими средствами, замазывали и законопачивали, но когда, наконецъ, изо всѣхъ щелей вдругъ полилось и посыпалось—бросили и заботились только о томъ, какъ бы сохранить отъ разрушенія нижній этажъ, въ которомъ жили старики-дворовые. Вотъ зрѣлище, которое ожидало меня впереди и отъ присутствованія при которомъ я охотно бы отказался, если-бъ въ послѣднее время меня съ особенною назойливостью не начала преслѣдовать мысль, что надо во что̀ бы то ни стало покончить.

И вотъ я ѣхалъ «кончать». Съ чѣмъ кончать, ка̀къ кончать — я самъ хорошенько не зналъ, но зналъ навѣрное, что тѣмъ или другимъ способомъ я «кончу», то-есть уѣду отсюда свободный отъ Чемезова. Куда-нибудь, какъ-нибудь, во что̀ бы ни стало! — вотъ единственная мысль, которая работала во мнѣ и которая еще болѣе укрѣпилась послѣ свиданія съ Деруновымъ. Должно-быть, и Лукьянычъ угадалъ эту мысль, потому что лицо его, на минуту просвѣтлѣвшее при свиданіи со мною, вдругъ нахмурилось подъ вліяніемъ недобраго предчувствія. Съ старческою медленностью, безпрестанно вздыхая, закладывалъ онъ лохматаго мерина въ убогую одноколку, и, быть-можетъ, въ это время въ его воображеніи особенно ярко рисовалась сравнитель-

ная картина прежняго помѣщичьяго приволья и теперешняго убожества. Покуда меня не было налицо, онъ могъ и роптать, и сожалѣть, и даже сравнивать, но яснаго пониманія положенія вещей у него все-таки не было. Теперь передъ нимъ стоялъ самъ «баринъ»—и вотъ къ услугамъ этого «барина» готова не рессорная коляска, запряженная четверней караковыхъ жеребцовъ, съ молодцомъ-кучеромъ въ шелковой рубашкѣ на козлахъ, а ободранная одноколка съ хромымъ мериномъ, который отъ старости едва волочилъ ноги, и съ нимъ, Лукьянычемъ, посѣдѣвшимъ, сгорбившимся, одѣтымъ въ какой-то неслыханный затрапезъ! Лукьянычъ вдругъ, въ одну минуту, понялъ. «Баринъ», одноколка, домъ безъ потолковъ, усадьба безъ оранжерей, садъ безъ дорожекъ — все это ярко сопоставилось въ его старческой головѣ. И затѣмъ, словно искра, засвѣтилась мысль: да, надо кончить! То-есть, та самая мысль, до которой инымъ, болѣе сложнымъ и болѣзненнымъ процессомъ, додумался и я...

Мы сѣли рядомъ, кое-какъ скрючились и поѣхали.

Долго мы ѣхали бо́льшою доро̀гой и не заводили разговора. Мнѣ все мерещился «кандауровскій баринъ». «Чуть-чуть не увезли!» Какъ просто и естественно вылилась эта фраза изъ устъ Николая Осипыча! Ни страха, ни сожалѣнія, ни даже изумленія. Какъ будто рѣчь шла о поросенкѣ, котораго *чуть-чуть* не задавили доро̀гой!

За что̀? по какому резону? что̀ случилось? — никому неизвѣстно! Извѣстно только, что «въ гости не ходилъ» и «книжки читалъ»...

Но, можетъ-быть, онъ дома одинъ-на-одинъ въ потолокъ плевалъ? Можетъ-быть, онъ «Собраніемъ иностранныхъ романовъ» зачитывался? Неужто и это зазорно? Неужто и это занятіе настолько подозрительно, что даже и ему нельзя предаваться въ тишинѣ, но должно производить публично, въ виду всѣхъ!

И кто же этотъ сердцевѣдецъ, который счелъ своею обязанностью проникнуть въ душу «кандауровскаго барина» и обличить ея тайные помыслы? Увы! это становой приставъ, это бывшій куроѣдъ, а теперешній экспертъ по части благонадежности или неблагонадежности обывательскихъ убѣжденій!

Вотъ мы, жители столицъ, часто на начальство ропщемъ. Говоримъ: стѣсняетъ, правъ не даетъ. Нѣтъ, съѣздите-ка въ деревню да у станового подъ началомъ поживите!

Что̀ было бы съ «кандауровскимъ бариномъ», если-бъ начальство не написало: «дожидаться поступковъ»! Что̀ сталось бы съ нимъ, если-бъ судьба его зависѣла единственно отъ усмотрѣнія сердцевѣдца-станового!

Становой! Какая метаморфоза, если посравнить съ добрымъ старымъ временемъ!

Я помню, смотритъ, бывало, папенька въ окошко и говоритъ: «вотъ пьяницу-станового везутъ». Пріѣдетъ ли становой къ помѣщику по дѣламъ — первое ему привѣтствіе: «что̀, пьяница, видно, куръ по уѣзду сбирать ѣздишь!» Заикнется ли становой насчетъ починки мостовъ — отвѣтъ: «кромѣ тебя, ѣздить здѣсь некому, а для тебя, пьяницы, и эти мосты—таковскіе». Словомъ сказать, кромѣ «пьяницы» да «куроѣда», и словъ ему никакихъ нѣтъ!

Я знаю, что такую манеру обращаться съ агентомъ полицейской власти похвалить нельзя; но согласитесь, однако-жъ, что и метаморфоза черезчуръ ужъ рѣзка. Все былъ «куроѣдъ», и вдругъ—сердцевѣдъ!

Въ прежнія времена говаривали: «тайныя помышленія Богъ судитъ, ибо Онъ одинъ въ совершенствѣ видитъ сокровенную человѣческую мысль...» Нынче все такъ упростилось, что даже становой, нимало не робѣя, говоритъ себѣ: «а дай-ка и я понюхаю, чѣмъ въ человѣческой душѣ пахнетъ!» И нюхаетъ.

Я сижу дома и, запершись отъ людей, Поль-де-Кока читаю, а становой уже нѣчто насчетъ «превратныхъ толкованій» умозаключилъ! Не по случаю Поль-де-Кока умозаключилъ (въ этомъ смыслѣ онъ такъ образованъ, что даже Баркова наизустъ знаетъ), а по случаю моей любви къ уединенію. Онъ думаетъ: зачѣмъ я уединяюсь, когда прочіе въявь всѣ срамоты производятъ? И вотъ онъ начинаетъ сослѣжать меня. Я держу у себя Гришку-лакея, думаю, что живу за нимъ, какъ за каменной стѣной, а онъ ужъ и Гришку развратилъ и потихоньку его выспросилъ, что̀ и какъ, почтителенъ ли я къ начальству, не затѣваю ли революцій и т. п. Онъ даже не ждетъ съ моей стороны «поступковъ», а просто, на основаніи Гришкиныхъ показаній, проникаетъ въ тайники моей души и однимъ почеркомъ пера производитъ меня или въ званіе «столпа и опоры», или въ званіе «опаснаго и безпокойнаго человѣка», смотря по тому, ка̀къ Богъ ему на душу положитъ! Это бывшій-то куроѣдъ!

Куроѣдъ, совмѣстившій въ своемъ одномъ лицѣ всю ака-

демію нравственныхъ и политическихъ наукъ! Куроѣдъ— сердцевѣдъ, куроѣдъ — психологъ, куроѣдъ — политиканъ! Куроѣдъ, принимающій на себя расцѣнку обывательскихъ убѣжденій и съ самымъ невозмутимымъ видомъ однимъ выдающій аттестатъ благонадежности, а другимъ — аттестатъ неблагонадежности!

Ужели же и впрямь нѣтъ другого дѣла для куроѣдовъ?

Очевидно, тутъ есть недоразумѣніе, въ существованіи котораго много виноватъ т—скій исправникъ. Онъ призвалъ къ себѣ подвѣдомственныхъ ему куроѣдовъ и сказалъ имъ: «вы отвѣчаете мнѣ, что въ вашихъ участкахъ тихо будетъ!» Но при этомъ не разъяснилъ, что читать книжки, не ходить въ гости и вообще вести уединенную жизнь — вовсе не противорѣчитъ общепринятому понятію о «тишинѣ».

И вотъ куроѣды взбаламутились и съ помощью Гришекъ, Прошекъ и Ванекъ начинаютъ орудовать. Не простой тишины они ищутъ, а тишины прозрачной, обитающей въ открытомъ со всѣхъ сторонъ помѣщеніи. Вездѣ, даже въ самой несомнѣнной тишинѣ, они видятъ или нарушеніе тишины, или подстрекательство къ таковому нарушенію.

Еще на-дняхъ одинъ становой-щеголь мнѣ говорилъ: «по-настоящему, насъ не становыми приставами, а начальниками становъ называть бы надо, потому что я, напримѣръ, за весь свой станъ отвѣчаю: чуть ежели кто ненадеженъ или въ мысляхъ нетвердъ — сейчасъ же къ свѣдѣнію долженъ дать знать!» Взглянулъ я на него—во всѣхъ статьяхъ куроѣдъ! И глаза врозь, и руки растопырилъ, словно курицу поймать хочетъ, и носомъ воздухъ нюхаетъ. Только вотъ мундиръ — мундиръ, это точно, что ловко сидитъ! У прежнихъ куроѣдовъ такихъ мундирчиковъ не бывало!

И этотъ-то щеголь судитъ «моя тайная и сокровенная», судитъ, потому что я живу у него въ стану, а онъ «за весь станъ отвѣчаетъ». Онъ залѣзаетъ въ мою душу и барахтается въ ней на всей своей волѣ!

А «кандауровскій баринъ» между тѣмъ плюетъ-себѣ въ потолокъ и думаетъ, что это ему пройдетъ даромъ. Какъ бы не такъ! Еще счастливъ твой Богъ, что начальство за тебя заступилось, «поступковъ ожидать» велѣло, а то быть бы бычку на веревочкѣ! Да и тутъ ты не совсѣмъ отбоярился, а вынужденъ былъ въ Петербургъ удирать! Ты надѣялся всю жизнь въ Кандауровкѣ, въ халатѣ и въ туфляхъ, изжить, ни одного потолка неисплеваннымъ не оставить,—анъ

нѣтъ! Одѣвайся, обувайся, надѣвай сапоги и кати, невѣдомо зачѣмъ, въ Петербургъ!

Какія жестокія времена!

Да и одинъ ли становой, одинъ ли исправникъ! Вонъ Деруновъ и партикулярный человѣкъ, которому ничего ни отъ кого не поручено, а попробуй, поговори-ка съ нимъ по душѣ! Ничего-то онъ въ психологіи не смыслитъ, а ежели нужно—право, не хуже любого доктора философіи всю твою душу по ниточкѣ разберетъ!

Проста наша психологія, ахъ, какъ проста! Только одно слово отъ себя прилги, или скрой одно слово—и вся человѣческая подноготная словно на ладони! Вотъ, напримѣръ, я давеча насчетъ бунтовъ говорилъ, что нельзя назвать бунтовщиками крестьянъ за то только, что они хлѣбъ по шести гривенъ отдать не соглашались! Прибавь Деруновъ отъ себя только десять слѣдующихъ словъ: «и при семъ, яко бы армій совсѣмъ не нужно, говорилъ» — и дѣло въ шляпѣ. Я знаю, меня не казнятъ даже и за это, но знаю также, что ни въ Навозномъ, ни въ Соломенномъ мнѣ не будетъ житья. Удирай, бѣги во всѣ лопатки въ Петербургъ, чтобы тамъ на глазахъ у начальства невинную свою душу спасти!

Я удивляюсь даже, что Деруновы до такой степени скромны и сдержанны. Имѣй я ихъ взгляды на бунты и тѣ удобства, которыми они пользуются для приведенія этихъ взглядовъ, я всякаго бы человѣка, который мнѣ нагрубилъ или просто не понравился, со свѣту бы сжилъ. Писалъ бы да пописывалъ: «и при семъ, яко бы армій совсѣмъ не нужно, говорилъ!» И навѣрное получилъ бы удовлетвореніе...

Какой необыкновенный міръ — этотъ міръ Деруновыхъ! Какъ все въ немъ перепутано, скомкано, захламощено всякаго рода противорѣчивыми примѣсями! Какъ все колеблется и проваливается, словно половицы въ парадныхъ комнатахъ стараго чемезовскаго дома, въ которыхъ даже крысы отказались жить!

Имѣетъ ли, напримѣръ, Осипъ Иванычъ право называться столпомъ? Или же, напротивъ того, онъ принадлежитъ къ числу самыхъ злыхъ и отъявленныхъ отрицателей собственности, семейнаго союза и другихъ основъ? Бьюсь объ закладъ, что никакой мудрецъ не дастъ на эти вопросы сколько-нибудь положительныхъ отвѣтовъ.

Что онъ всѣмъ своимъ нутромъ рьяный и упорный поборникъ всевозможныхъ союзовъ—въ этомъ я конечно, не

сомнѣваюсь. Это доказывается однимъ тѣмъ, что онъ богатъ (слѣдовательно чтитъ «собственность»), что онъ держитъ въ порядкѣ семью (слѣдовательно чтитъ «семейный союзъ»), что онъ, изъ уваженія «къ высшему начальству», жертвуетъ на «общеполезное устройство» (слѣдовательно чтитъ союзъ государственный). Но понимаетъ ли онъ самъ, что онъ «поборникъ»? Не говоритъ ли въ этомъ случаѣ одно его нутро, которое влечетъ его быть «радѣтелемъ» и «защитникомъ» безъ всякаго участія въ томъ его сознанія?

Вотъ этого-то я именно и не могу себѣ объяснить.

Вѣдь самъ же онъ, и даже не безъ самодовольства, говорилъ давеча, что по всему округу сѣть разостлалъ? Сталобыть, онъ кого-нибудь въ эту сѣть ловитъ! Кого ловитъ? Не такихъ ли же представителей принципа собственности, какъ и онъ самъ? Воля ваша, а есть тутъ нѣчто сомнительное!

Когда давеча Николай Осипычъ разсказывалъ, какъ онъ ловко мужичковъ окружилъ, какъ онъ и въ С., и въ Р. сѣть закинулъ и довелъ людей до того, что хоть задаромъ хлѣбъ отдавай,—развѣ Осипъ Иванычъ вознегодовалъ на него? развѣ онъ сказалъ ему: бездѣльникъ, помни, что мужику точно такъ же дорога его собственность, какъ и тебѣ твоя!? Нѣтъ, онъ даже похвалилъ сына, онъ назвалъ мужиковъ бунтовщиками и накричалъ съ три короба о вредѣ стачекъ, отнюдь, повидимому, не подозрѣвая, что «стачку», собственно говоря, производилъ онъ одинъ.

Или, наконецъ, насчетъ меня. Съ какимъ злорадствомъ доказывалъ онъ мнѣ, что я ничего изъ Чемезова не извлеку и что нѣтъ для меня другого выхода, кромѣ какъ прибѣгнуть къ нему, Дерунову, и порѣшить это дѣло на всей его волѣ! Предположимъ, что онъ правъ; допустимъ, что я, дѣйствительно, неспособенъ къ «извлеченіямъ» и въ концѣ концовъ долженъ буду признать въ Деруновѣ того суженаго, котораго, по пословицѣ, конемъ не объѣдешь. Но развѣ онъ имѣлъ бы право поступать со мною такъ, какъ онъ поступилъ, если-бъ былъ дѣйствительный и сознательный поборникъ принципа собственности? Не обязанъ ли онъ былъ утѣшить меня, наставить, укрѣпить? Не обязанъ ли былъ представить мнѣ самый подробный и самый истинный разсчетъ, ничего не утаивая и даже обѣщая, что буде со временемъ и еще найдутся какіе-нибудь лишки, то и они пойдутъ не къ нему, а ко мнѣ въ карманъ?

Нѣтъ, какъ хотите, а съ точки зрѣнія собственности — онъ не «столпъ»!

И кто же знаетъ, столпъ ли онъ съ точки зрѣнія союзовъ семейнаго и государственнаго? Можетъ-быть, въ государственномъ союзѣ онъ усматриваетъ однѣ медали, которыми уснащена его грудь? Можетъ-быть, въ союзѣ семейномъ...

Но здѣсь нить моихъ размышленій порвалась, и я, несмотря на неловкое положеніе тѣла, заснулъ настолько глубоко и сладко, что даже увидѣлъ сонъ.

Видѣлся мнѣ становой приставъ. Окончилъ, будто бы, онъ курсъ наукъ и даже получилъ въ геттингенскомъ университетѣ дипломъ на доктора философіи. Сидитъ, будто, этотъ испытанный психологъ и пишетъ:

«Проявился въ моемъ станѣ купецъ 1-й гильдіи Осипъ Ивановъ Деруновъ, который собственности не чтитъ и въ дѣйствіяхъ своихъ по сему предмету представляется не безъ опасности. Искусственными мѣрами понижаетъ онъ на базарахъ цѣну на хлѣбъ и тѣмъ вынуждаетъ мѣстныхъ крестьянъ сбывать свои продукты за безцѣнокъ. И даже на-дняхъ, встрѣтивъ чемезовскаго помѣщика (имя рекъ), наглыми и безстыжими способами вынуждалъ онаго продать ему свое имѣніе за самую ничтожную цѣну.

«А потому благоволитъ вышнее начальство онаго Дерунова изъ подвѣдомственнаго мнѣ стана извлечь и поступить съ нимъ по законамъ, водворивъ въ мѣста болѣе отдаленныя и безопасныя» . . . . . .

. . . . . .

— Знатно, сударь, уснули,—привѣтствовалъ меня Лукьянычъ, когда я, при первомъ сильномъ толчкѣ одноколки, очнулся: — даже кричали во снѣ. Крикните: «воръ!» — и опять уснете!

Я чувствую, что сейчасъ завяжется разговоръ, что Лукьянычъ горитъ нетерпѣніемъ что-то спросить, но только не знаетъ, какъ приступить къ дѣлу. Мы ѣдемъ молча еще съ добрую версту по мостовнику: я истребляю папиросу за папиросою. Лукьянычъ исподлобья взглядываетъ на меня.

— Кончать пріѣхали?—наконецъ произноситъ онъ.

— Да надо бы... всему есть конецъ, Лукьянычъ!

— Это такъ точно. (Лукьянычъ нервно передергиваетъ возжами). У Осипа Иванова побывали?

— Былъ.

— Покупаетъ, значитъ?

— Надавалъ пять тысячъ.

— Ловокъ толстобрюхой!

Молчаніе.

— Конечно, — вновь начинаетъ Лукьянычъ: — многіе нынче такъ-то говорятъ: пропади, молъ, оно прòпадомъ!

Опять молчаніе.

— Какъ же быть-то, Лукьянычъ?

— Вотъ и я это самое говорю: ничего не подѣлаешь! Пропади, молъ, оно прòпадомъ!

Опять молчаніе.

— Прежде люди по мѣстамъ сидѣли. Нынче всѣ, ровно жиды, разбѣжались.

— Согласись, однако-жъ, что мнѣ здѣсь дѣлать нечего.

— Папенька съ маменькой нашли бы, чтò дѣлать. А вамъ чтò! Пропади оно прòпадомъ—и дѣлу конецъ.

— Заладилъ одно! Ты бы лучше сказалъ, подходящую ли цѣну даетъ Деруновъ?

— Стало-быть, для него подходящая, коли даетъ!

— Да для меня-то подходящая ли?

— И для васъ, коли ежели...

— Не лучше ли крестьянамъ предложить?

— Чтò-жъ, и крестьянамъ... тоже съ удовольствіемъ...

— Вотъ Деруновъ говоритъ, что крестьянамъ-то подати впору платить!

— Знаетъ, толстобрюхой!

Въ этомъ родѣ мы еще съ четверть часа поговорили, и все настоящаго разговора у насъ не было. Ничего не поймешь.—Хороша ли цѣна Дерунова?—«Знамо хороша, коли самъ даетъ».—Выстоять ли крестьяне, если имъ землю продать?—«Знамо выстоять, а може и не придется выстоять, коли ежели...»

— Слушай! ты чтò такое говоришь?

— Чтò говорю! Знамо мы рабы, и слова у насъ рабскія.

— Я тебя объ дѣлѣ спрашиваю, а ты меня или дразнишь, или говорить не хочешь!

— Объ чемъ говорить, коли вы сами никакого дѣла не открываете!

— Я кончать хочу! Понимаешь, хочу кончать!

— И кончать тоже съ умомъ надо. Сами въ глаза своего дѣла не видѣли, а кругомъ пальца обернуть его хотите. Ни съ мужиками разговору не имѣли, ни какова-такова земля у васъ есть — не знаете. Сколько лѣтъ терпѣли, а теперь въ двѣ минуты конецъ хотите сдѣлать!

Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь я ничего не знаю. Ни земли не знаю, ни «своего дѣла». Странно, какъ это соображеніе ни разу не пришло мнѣ въ голову. Въ теченіе многихъ лѣтъ

одно у меня было въ мысляхъ: кончить. И вотъ, наскучивъ быть столько времени подъ гнетомъ одного и того же вопроса, я сѣлъ въ одно прекрасное утро въ вагонъ и помчался въ Т***, никакъ не предполагая, что «конецъ» есть нѣчто сложное, требующее осмотровъ, покупщиковъ, разговоровъ, запрашиваній, хлопаній по рукамъ и т. п. Оказывается, однако-жъ, что въ мірѣ ничто не дѣлается спустя рукава, и что если-бъ я захотѣлъ даже, въ видахъ сокращенія переписки, покончить самымъ безвыгоднымъ для меня образомъ, то и тутъ мнѣ предстояло безчисленное множество всякаго рода формальностей. Какъ бы, вмѣсто «конца»-то, не придти къ самому ужаснѣйшему изъ всѣхъ «началъ»: къ началу цѣлаго ряда процессовъ, которые могутъ отравить всю жизнь? При этой мысли мнѣ сдѣлалось такъ скверно, что даже померещилось: не лучше ли бросить, то-есть, оставить все попрежнему и воротиться назадъ?

Во всякомъ случаѣ, я рѣшился до времени не докучать Лукьянычу разговорами о «концѣ» и свелъ рѣчь на Дерунова.

— А ходко пошелъ Осипъ Ивановъ!

— Голова на плечахъ есть! Оттого!

— Крестьянъ, говорятъ, шибко притѣсняетъ?

— Чѣмъ притѣсняетъ? Нынче—воля!

— Чудакъ! развѣ вольнаго человѣка нельзя притѣснить?

— Засиліе взялъ, а потому и окружилъ кругомъ. На какой базаръ ни сунься—вездѣ отъ него приказчики. Какое слово скажутъ, такъ тому и быть!

— Повезло ему! Богатъ, у всѣхъ въ почтеніи, въ семьѣ счастливъ!

— Въ двухъ семьяхъ...

— Какъ въ двухъ! Неужто у него и на сторонѣ семья есть?

— Не на сторонѣ, а въ своемъ дому. Анну-то Ивановну онъ нынче оставилъ—у сына, у Яшеньки, жену отнялъ!

Признаюсь, это извѣстіе меня озадачило. Какъ! этотъ благолѣпный старикъ, который праздника въ праздникъ не вмѣняетъ, ежели двухъ обѣденъ не отстоитъ, который еще давеча говорилъ, что свою Анну Ивановну ни на какую принцессу не промѣняетъ... снохачъ!

— Да не врутъ ли, Лукьянычъ? Сказываютъ, Яшенька-то вѣдь у него непутный!

— Запиваетъ, извѣстно!

— Ну, видишь ли!

— Съ этого самаго и запилъ, что сраму стерпѣть не могъ!

Кончено. Съ невыносимою болью въ сердцѣ я долженъ былъ сказать себѣ: Деруновъ—не столпъ! Онъ не столпъ относительно собственности, ибо признаетъ неприкосновенной только лично ему принадлежащую собственность. Онъ не столпъ относительно семейнаго союза, ибо снохачъ. Наконецъ, онъ *не можетъ* быть столпомъ относительно союза государственнаго, ибо не знаетъ даже географическихъ границъ русскаго государства...

Но гдѣ же искать «столповъ», если даже Осипъ Иванычъ не столпъ?

V.—Кандидатъ въ столпы.

Какая, однако-жъ, загадочная, запутанная среда! Какіе жестокіе, неумолимые нравы! До какой поразительной простоты формъ доведенъ здѣсь законъ борьбы за существованіе! Горе «дуракамъ»! Горе простецамъ, кои «съ суконнымъ рыломъ» суются въ калашный рядъ чай пить! Горе «карасямъ», дремлющимъ въ невѣдѣніи, что провиденціальное ихъ назначеніе заключается въ томъ, чтобъ служить кормомъ для щукъ, наполняющихъ омутъ жизненныхъ основъ!

Все это я и прежде очень хорошо зналъ. Я зналъ и то, что «дураковъ учить надо», и то, что «съ суконнымъ рыломъ» въ калашный рядъ соваться не слѣдуетъ, и то, что «на то въ морѣ щука, чтобы карась не дремалъ». Словомъ сказать, всѣ изреченія, въ которыхъ, какъ въ неприступной крѣпости, заключалась наша столповая, безапелляціонная мудрость. Мало того, что я *зналъ*,—при одномъ видѣ избранниковъ этой мудрости я всегда чувствовалъ инстинктивную оторопь.

Мнѣ казалось, что эти люди во всякое время готовы растерзать меня на клочки. Не за то растерзать, что я въ чемъ-нибудь виноватъ, а за то, что я или «ротъ разинулъ», или «слюни распустилъ». Начавши жизненную карьеру съ процесса простого, такъ сказать, не-тенденціознаго «отнятія», они постепенно приходятъ въ восторженное состояніе и возвышаются до ненависти. Имъ мало отнять у «разини», имъ нужно сократить «разиню», чтобъ она не болталась по бѣлу свѣту, не обременяла понапрасну землю.

Ненависть къ «дураку» возводится почти на степень политическаго и соціальнаго принципа.

Какъ тутъ жить?!

Но я живу и слѣдовательно волею и неволею дѣлаюсь причастникомъ жизненнаго процесса. Въ сущности, этотъ процессъ даже для «разини» не представляетъ ничего головоломнаго. Наравнѣ со всѣми прочими, я могу и купить, и продать, и объявить войну, и заключить миръ. Купить такъ купить, продать такъ продать, говорю я себѣ, и мнѣ даже въ голову не приходитъ, что нужно принадлежать къ числу семи мудрецовъ, чтобы сладить съ подобными бросовыми операціями. Но когда наступаетъ моментъ «ладить»—вотъ тутъ-то именно я и начинаю путаться. Мнѣ дѣлается неловко, почти совѣстно. Мнѣ начинаетъ казаться, что на меня со всѣхъ сторонъ устремлены подозрительные взоры, что въ головѣ человѣка, съ которымъ я имѣю дѣло, сама собою созрѣваетъ мысль: а вѣдь онъ меня хочетъ надуть! И кто же можетъ поручиться, что и въ моей головѣ не зрѣетъ та же мысль? Не думаю ли и я съ своей стороны: а вѣдь онъ меня хочетъ надуть!

Это чувство обоюдной подозрительности до того противно, что я немедленно начинаю ощущать страстную потребность освободиться отъ него. И потому на практикѣ я почти всегда дѣйствую «безъ ума», то-есть—спѣшу. Когда я продаю, то мои дѣйствія сами собою принимаютъ такой характеръ, какъ будто покупщикъ дѣлаетъ мнѣ благодѣяніе и выручаетъ меня изъ неслыханнаго затрудненія. Когда я покупаю, и продавецъ, по осмотрѣ предмета покупки, начинаетъ увѣрять меня, что все видѣнное мною ничто въ сравненіи съ тѣмъ, что̀ я, съ Божьею помощью, впереди увижу, то я не только не вступаю съ нимъ въ споръ, не только не уличаю его во лжи, но, напротивъ того, начинаю восклицать: да помилуйте! да неужели же я не понимаю! и т. д. Когда я объявляю войну, то какимъ-то образомъ всегда такъ устраивается, что я нахожу своего противника вооруженнымъ прекраснѣйшимъ шассно, а самъ нападаю на него съ кремневымъ ружьемъ, у котораго, вдобавокъ, вмѣсто кремня вставлена крашеная подъ кремень чурочка. Когда заключаю миръ, то говорю: возьми все—и отстань!

Но что̀ всего удивительнѣе: я не только не питаю никакой ненависти къ этимъ людямъ, но даже скорѣе склоненъ оправдывать ихъ. Такъ что если-бъ я былъ присяжнымъ засѣдателемъ и мнѣ, въ этомъ качествѣ, пришлось

бы судить различные случаи «отнятія» и «устраненія изъ жизни», то я положительно убѣжденъ, что и тутъ поступилъ бы какъ «разиня», «слюняй» и «дуракъ». Какимъ образомъ занести руку на вора, когда сама народная мудрость сочинила пословицу о карасѣ, которому не полагается дремать? Какимъ образомъ обрушиться на нарушителя семейнаго союза, когда мнѣ достовѣрно извѣстно, что «чуждыхъ удовольствій любопытство» (такъ опредѣляетъ прелюбодѣяніе «Письмовникъ» Курганова) представляетъ одну изъ утонченнѣйшихъ формъ новѣйшаго общежитія? Вотъ почему я совсѣмъ неспособенъ быть судьей. Я не могу ни карать, ни миловать: я могу только бояться...

Увы! я не англо-саксъ, а славянинъ. Славянинъ съ головы до ногъ, славянинъ до мозга костей. Историки удостовѣряютъ, что славяне изстари славились гостепріимствомъ, — вотъ это-то именно качество и преобладаетъ во мнѣ. Я люблю всякаго странника угостить, со всякимъ встрѣчнымъ по душѣ покалякать. И ежели подъ видомъ странника вдругъ окажется разбойникъ, то я и тутъ не смущусь: возьми все — и отстань. Я даже не попытаюсь оборониться отъ него, потому что вѣдь, въ сущности, все равно, какъ обездолитъ меня странникъ: приставши ли съ ножомъ къ горлу, или разговаривая по душѣ. Пусть только онъ спрячетъ свой ножъ, пусть объѣдаетъ и опиваетъ меня по душѣ! Грѣха меньше.

Говоря по правдѣ, меня и «учили» не разъ, да и опытностью житейскою судьба не обдѣлила меня. Я многое испыталъ, еще больше видѣлъ и даже — о, странная игра природы! — ничего изъ видѣннаго и испытаннаго не позабылъ...

Но все это прошло мимо, словно скользнуло по мнѣ. Какъ будто я видѣлъ во снѣ какое-то фантастическое представленіе, надъ которымъ и плакать, и хохотать хочется...

Я помню, какъ пришла мнѣ однажды въ голову мысль: куплю я себѣ подмосковную! Зачѣмъ Чемезово? Что̀ такое Чемезово? Чемезово—глушь, болотина, трясина! Въ Чемезовѣ съ голоду помрешь! Въ Чемезово никто покалякать по душѣ не заѣдетъ! То ли дѣло «подмосковная»! И вотъ, вмѣсто того, чтобъ «съ умомъ» повести дѣло, я по обыкновенію началъ спѣшить, а меня, тоже по обыкновенію, начали «объегоривать». Какіе-то благочестивые мерзавцы явились; вздыхаютъ, Богу молятся—и объегориваютъ! Чужой лѣсъ показываютъ и тутъ же, смѣючись, говорятъ:

«да вы бы, сударь, съ планомъ провѣрили! вѣдь это дѣло не шуточное: на вѣ-ѣкъ!» А я-то такъ и надрываюсь: да что вы! да помилуйте! да неужто-жъ вы предполагаете! да я! да вы! и т. д. И что̀ же въ результатѣ вышло? Вышло, что я до сего дня на проданный мнѣ лѣсъ любуюсь, но войти въ него не могу: чужой!

Памятны мнѣ «крѣпостныя дѣла» въ московской гражданской палатѣ. Выходишь, бывало, сначала подъ навѣсъ какой-то, оттуда въ темныя сѣни съ каменными сводами и кирпичнымъ, выбитымъ просительскими ногами поломъ, нащупаешь дверь, пропитанную потомъ просительскихъ рукъ, и очутишься въ узкомъ коридорѣ. Коридоръ свѣтлый, потому что идетъ вдоль наружной стѣны съ окнами; но по правую сторону онъ ограниченъ рѣшетчатой перегородкой, за которою виднѣется пространство, наполненное сумерками. Тамъ, въ этихъ сумеркахъ, словно въ громадной звѣриной клѣткѣ, кружатся служители купли и продажи и словно затѣваютъ какую-то исполинскую стряпню. Осипшіе съ похмелья голоса что-то бормочутъ, дрожащія руки что-то скребутъ. Здѣсь, по манію этихъ звѣрообразныхъ людей, получаетъ принципъ собственности свою санкцію! Здѣсь съ восхода до заката солнечнаго поются ему немолчные гимны! Здѣсь стригутъ и брѣютъ и кровь отворяютъ! Здѣсь, за этой рѣшеткой. А по сю сторону перегородки, прислонившись къ замасленному карнизу ея, стоятъ люди кабальные, подневольные, люди, обуреваемые жаждой стяжанія, стоятъ и въ безысходной тоскѣ внемлютъ гимну собственности, который вопіетъ изъ всѣхъ стѣнъ этого мрачнаго зданія! И въ каждомъ изъ этихъ кабальныхъ людей, словно нарывъ, назрѣваетъ мучительная мысль: вотъ сейчасъ, сейчасъ налетитъ «подвохъ»! сейчасъ разверзнется подъ ногами трапъ... хлопъ! И начнутъ тебя свѣжевать вотъ эти самые немытые, нечесанные, вонючіе служители купли и продажи! Свѣжевать и приговаривать: — «Не суйся, дуракъ, съ суконнымъ рыломъ въ калашный рядъ чай пить! Забылъ, дуракъ, что на то щука въ морѣ, чтобы карась не дремалъ! Дуракъ!»

Помню я и уѣздный судъ. Помню судью, лихого малаго, который никогда не затруднялся «для своего брата-дворянина одолженіе сдѣлать», но всегда какъ-то такъ устраивалъ, что вмѣсто одолженія выходила пакость. Помню секретаря, у котораго щека была насквозь прогрызена фистулою и весь организмъ потрясенъ трясеніемъ, и ко-

торый, за всѣмъ тѣмъ, всѣмъ своимъ естествомъ, казалось, говорилъ: ужо я завяжу тебѣ узелочекъ на память, и будешь ты всю жизнь его развязывать! Помню весь этотъ кагалъ, у котораго, начиная со сторожа, никакихъ другихъ словъ на языкѣ не было, кромѣ: урвать, облапошить, объегорить, пустить по-міру...

Помню тетушекъ, сестрицъ, дяденекъ, братцевъ, постоянно ведшихъ между собою какую-то безконечную тяжбу, подличавшихъ передъ всевозможными секретарями, столоначальниками, писцами, открывавшихъ передъ ними всю срамную подноготную своего домашняго очага, не отступавшихъ ни передъ лестью, ни передъ сплетней, ни передъ клеветой.

— Безпремѣнно эта расписка фальшивая! — восклицала одна тетенька.

— Безпремѣнно онъ столоначальника перекупилъ!—восклицала другая тетенька.

— Ужъ это какъ святъ Богъ, что они его дурманомъ опоили!—вопіяла сестрица.

И такъ далѣе, то-есть цѣлый рядъ возгласовъ, въ которыхъ такъ и сыпались, словно жемчугъ бурмицкій, слова: «подкупилъ», «надулъ», «опоилъ» и проч.

Надѣюсь, что это школа хорошая и вполнѣ достаточная, чтобы изъ самаго несомнѣннаго «ротозѣя» сдѣлать осторожнаго и опытнаго практика. Но повторяю: ни опытъ, ни годы не вразумили меня. Я знаю, я помню—и ничего больше. И теперь, какъ всегда, я остаюсь при своемъ славянскомъ гостепріимствѣ и ничего другого не понимаю, кромѣ разговора по душѣ... со всякимъ встрѣчнымъ, не исключая даже человѣка, который вотъ-вотъ сейчасъ начнетъ меня «облапошивать». И теперь, какъ всегда, я «спѣшу», то-есть смотрю на своего покупателя и своего продавца, какъ на избавителей, безъ помощи которыхъ я навѣрное погрязъ бы въ бѣдѣ... Возьми все—и отстань!

Говорятъ, что теперь ничего этого уже нѣтъ. Нѣтъ ни уѣздныхъ судовъ, ни гражданскихъ палатъ, ни рѣшетокъ, за которыми сидятъ «крѣпостныя дѣла». Конечно, это фактъ утѣшительный, но я долженъ сознаться, что даже и отъ него немного прибавилось во мнѣ куражу. Я все-таки *боюсь*, и всякій разъ, какъ приходится проходить мимо конторы нотаріуса, мнѣ кажется, что у него на вывѣскѣ все еще стоитъ прежнее: «здѣсь стригутъ, брѣютъ и кровь отворяютъ». Что здѣсь меня въ чемъ угодно могутъ увѣрить и разувѣрить. Что здѣсь меня могутъ заставить со-

вершить такой актъ, котораго ни одинъ человѣкъ въ мірѣ не имѣетъ права совершить. Что здѣсь мнѣ несовершеннолѣтняго выдадутъ за совершеннолѣтняго, каторжника за столпа, глухонѣмого за витію, явнаго прелюбодѣя за ревнителя семейныхъ добродѣтелей. И въ заключеніе скажутъ: «что̀ же дѣлать, милостивый государь, это косвенный налогъ на ваше невѣжество!» И даже потребуютъ, чтобы я этимъ объясненіемъ утѣшился.

Какая загадочная, запутанная среда! И какое жалкое положеніе «дурака» среди этихъ тоже не умныхъ, но несомнѣнно сноровистыхъ и хищныхъ людей!

На этотъ разъ, однако-жъ, въ виду предстоявшаго мнѣ «конца», я твердо рѣшился окаменѣть и устранить всякую мысль о славянскомъ гостепріимствѣ. «Пора, наконецъ, и за умъ взяться!»—сказалъ я себѣ и приступилъ къ дѣлу съ мыслью ни на іоту не отступать отъ этой рѣшимости.

Старикъ Лукьянычъ тоже, повидимому, убѣдился, что «конецъ» неизбѣженъ, и что отдалять его—значитъ только безполезно поддерживать тревожное чувство, всецѣло овладѣвшее мною. Поэтому онъ впалъ въ какую-то суетливую дѣятельность, въ одно и то же время знакомя меня съ положеніемъ моего имѣнія и развѣдывая подъ рукой, не навернется ли гдѣ подходящаго покупщика.

Я кое-какъ устроился въ одной изъ комнатъ гостинаго флигеля, которая не представляла еще большой опасности. Первые дни были посвящены осмотрамъ. Деруновъ былъ правъ: громадный барскій домъ стоялъ безъ оконъ, словно старый инвалидъ безъ глазъ. Стѣны почернѣли, красная краска на желѣзной крышѣ частью выгорѣла, частью пестрила ее безобразными пятнами; крыльцо обвалилось; внутри дома—полъ колебался, потолки частью обрушились, частью угрожали обрушеніемъ. Но расхищенія не было, и Деруновъ положительно прилгалъ, говоря, что даже кирпичъ изъ печей растасканъ.

— Тутъ одного гвоздья сколько! — восторгался Лукьянычъ, безстрашно водя меня по опустѣлымъ комнатамъ.— Кирпичу, изразцу, заслонокъ—страсть! Опять же и дерево! только нижніе вѣнцы подгнили, да балки поперечныя сопрѣли, а прочее — хоть опять сейчасъ въ дѣло! Сейчасъ взялъ, балки перемѣнилъ, верхнюю половину дома вывѣсилъ, нижніе вѣнцы подрубилъ—и опять ему вѣку не будетъ, дому-то!

Осмотрѣвши домъ, перешли къ оранжереямъ, скотному

и конному дворамъ, флигелямъ, людскимъ, застольнымъ... Все было ветхо, все покривилось и накренилось, вездѣ пахло опальною затхлостью, но гвоздья вездѣ было пропасть. Садъ заглохъ, дорожекъ не было и помину, но березы, тополи и липы разрослись такъ роскошно, что мнѣ самому стало какъ-то не по себѣ, когда я подумалъ, что, быть-можетъ, черезъ мѣсяцъ или черезъ два пріѣдетъ сюда деруновскій приказчикъ, и по манію его ляжетъ, посѣченная топоромъ, вся эта великолѣпная растительность. И эти отливающіе серебромъ тополи, и эти благоухающія липы, и эти стройныя, до самой верхушки обнаженныя отъ сучьевъ березы, неслышно помавающія въ вышинѣ своими всклоченными, чуть видными вершинами... Еще мѣсяцъ — и старый чемезовскій садъ будетъ представлять собою ровное мѣсто, усѣянное пеньками и загроможденное полсаженками дровъ, готовыхъ къ отправленію на фабрику. Казалось, вся эта заглохшая, одичалая чаща въ одинъ голосъ говорила мнѣ: выростили, выхолили, и вотъ пришелъ «скучающій» человѣкъ, которому неизвѣстно почему неизвѣстно что̀ надоѣло, пришелъ, черкнулъ какое-то дурацкое слово—и разомъ уничтожилъ весь этотъ процессъ рощенія и холенія!

— Ишь какой выросъ! — говорилъ между тѣмъ Лукьянычъ: — вотъ недѣли черезъ двѣ зацвѣтутъ липы, пойдетъ это духъ — и не выйдешь отюда! Грибовъ сколько — все бѣлые! Орѣшникъ вонъ въ томъ углу засѣлъ — и не додерешься! Малина, ежевика...

Въ тонѣ голоса Лукьяныча слышалось обольщеніе. Меня самого такъ и подмывало, такъ и рвалось съ языка: «а что̀, братъ, коли-ежели» и т. д. Но, вспомнивъ, что если однажды я встану на почву разговора по душѣ, то всѣ мои намѣренія и предположенія относительно «конца» разлетятся какъ дымъ, я промолчалъ.

— Ежели даже теперича срубить ихъ, парки-то, — продолжалъ Лукьянычъ:—такъ отъ одного молодятника черезъ десять лѣтъ новые парки выростутъ! Вонъ она липка-то— робёнокъ еще! Купятъ, начнутъ кругомъ большія деревья рубить — и ее тутъ же зря замнутъ. Потому у него̀, у купца-то, ни бережи, ни жалѣнія: онъ взялъ деньги — и прочь пошелъ... хоть бы тотъ же Осипъ Ивановъ! А сруби теперича эти самые парки настоящій хозяинъ, да сруби жалѣючи—въ десять лѣтъ эта липка такъ выхолится, что и не узнаешь ее!

Обольщеніе шло crescendo; я чувствовалъ себя, такъ сказать, на краю пропасти, но все еще оставался неколебимъ.

— Опять ежели теперича самимъ рубить начать,—вновь началъ Лукьянычъ: — изъ каждой березы вѣрно полсажонокъ выйдетъ. Ишь она какая стеколистая выросла — и вершины-то не видать! А подъ парками-то восемь десятинъ — однихъ дровъ полторы тыщи саженей выпилить можно! А молодятникъ самъ по себѣ! Молодятникъ еще лучше послѣ вырубки пойдетъ! Черезъ десять лѣтъ и не узнаешь, что тутъ рубка была!

— А что̀ коли-ежели... — невольно сорвалось у меня съ языка.

Однако Богъ спасъ, и я успѣлъ остановиться во̀-время.

— Коли-ежели этотъ паркъ Дерунову въ руки,—поправился я:—вѣдь онъ тутъ кучу деньжищъ загребетъ!

— И Деруновъ загребетъ, и другой загребетъ. Главная причина: у кого голова на плечахъ состоитъ, тотъ и загребетъ. Да парки что̀! Вотъ ужо̀ запряжемъ мерина, въ Филищево съѣздимъ, лѣсъ посмотримъ—вотъ такъ лѣсъ!

Съѣздили въ Филищево, потомъ въ Ковалиху съѣздили, потомъ въ Тараканиху. И вездѣ оказался лѣсъ. Въ одномъ мѣстѣ настоящій лѣсъ, «хоть въ какую угодно стройку пущай», въ другомъ—молодятникъ засѣлъ.

— Вотъ тутъ вашъ папенька пятнадцать лѣтъ назадъ лѣсъ вырубилъ, — хвалилъ Лукьянычъ: — а смотри, какой ужъ стеколистый березнячокъ на его мѣстѣ засѣлъ. Коли-ежели только терпѣніе, такъ черезъ двадцать лѣтъ цѣны этому лѣсу не будетъ.

Словомъ сказать, столько богатствъ оказалось, что и не сосчитать. Только поля около усадьбы плохи. Загрубѣли, задерневѣли, поросли лознякомъ. А впрочемъ, «коли-ежели къ рукамъ», то и поля, пожалуй, недурны.

— Одного лозняку тутъ на всю жизнь протопиться станетъ! Мы ужъ сколько лѣтъ имъ протапливаемся, а все его, каторжнаго, не убываетъ. Хитеръ толстомясой (т.-е. Деруновъ)! За всю палестину пять тысячъ надавалъ! Ахъ, дуй-те горой! Да тутъ одного гвоздья... да кирпича... да дровъ... окромя всего прочаго... Ахъ, ты, Господи!

Зрѣлище этихъ богатствъ поколебало и меня. Шутка сказать! Въ Филищевѣ, по малой мѣрѣ, пятнадцать тысячъ саженъ дровъ, въ Ковалихѣ пять тысячъ, въ паркѣ полторы, а тамъ еще Тараканиха, Опалиха, Ухово, Волчьи-

Ямы... Срубить лѣсъ, продать дрова (ежели даже хоть по рублю за сажень очистится)... сколько тутъ денегъ-то! А земля-то все-таки будетъ моя! И опять пошелъ на ней лѣсъ расти!.. Черезъ двадцать лѣтъ опять Тараканиху да Опалиху по боку... и опять пошелъ лѣсъ! А отопиться и лознякомъ можно! Лѣсъ и лознякъ! Лѣсъ, лѣсъ, лѣсъ! Просто хоть сойти съ ума!

Но вѣдь для этого надобно жить въ Чемезовѣ, надобно безпокоиться, разговаривать, хлопать по рукамъ, запрашивать, уступать... А главное, жить тутъ, жить съ чистымъ сердцемъ, на глазахъ у всевозможныхъ сердцевѣдцевъ, офиціальныхъ и партикулярныхъ, которыми кишитъ современная русская провинція! Вотъ что̀ страшитъ. Еще въ Петербургѣ до меня доходили—черезъ разныхъ пріѣзжихъ изъ провинціи—слухи объ этихъ новоявленныхъ сердцевѣдцахъ.

— Теперь, братъ, не то, что̀ прежде! — говорили одни пріѣзжіе: — прежде, бывало, живешь ты въ деревнѣ, и никому нѣтъ дѣла, въ потолокъ ли ты плюешь, химіей ли занимаешься, или Поль-де-Кока читаешь! А нынче, братъ, ау! Химію-то изволь по боку, а читай Поль-де-Кока, да еще такъ читай, чтобы всѣ твои домочадцы знали, что ты именно Поль-де-Кока, а не «Общепонятную физику» Писаревскаго читаешь!

— Теперь, братъ, деревню бросить надо! — говорили другіе: — теперь тамъ цѣлая стѣна сердцевѣдцевъ образовалась. Смотрятъ, уставивъ брады, да умозаключаютъ каждый сообразно со степенью собственной невѣжественности! Чѣмъ больше который невѣжественъ, тѣмъ больше потрясаній и подкоповъ видитъ. Молви ты въ присутствіи сердцевѣдца какое-нибудь неизвѣстное ему слово—ну, хоть «моветонъ», что ли—сейчасъ: «фюитъ!» и пошла писать губернія.

Да, это такъ; въ этомъ я самъ теперь убѣдился, поговоривъ съ Деруновымъ. Я былъ на одинъ шагъ отъ опасности, и ежели не попался въ бѣду, то обязанъ этимъ лишь тому, что Деруновъ самъ еще не вполнѣ обнялъ всю обширность полномочій, которыя находятся въ его распоряженіи. Конечно, онъ не настоящій, то-есть не офиціальный сердцевѣдецъ, онъ только «подспорье»... Но вѣдь и съ подспорьемъ нынче шутить нельзя! Посмотритъ, умозаключитъ, возьметъ въ руки перышко—смотришь, анъ и сѣло на тебя пятнышко... Положимъ, крошечное, съ булавочную головку, а все-таки пятнышко! Поди, потомъ, соскребывай его!

Какъ все измѣнилось! какъ все вдругъ шарахнулось въ сторону! Давно ли исправники пламенѣли либерализмомъ, давно ли частные пристава обливались слезами, дѣлая домовыя выемки! Давно ли? Да не больше десяти лѣтъ тому назадъ!

— Ne croyez pas à ces larmes! ce sont des larmes de crocodile!—еще въ то время предостерегалъ меня одинъ знакомый французъ, свидѣтель этихъ выемочныхъ слезъ.

Но, признаюсь, несмотря на это образное предостереженіе, я вѣрилъ не ему, а полицейскимъ слезамъ. Я думалъ, что разъ полились эти слезы, и будутъ онѣ литься безъ конца... что въ этихъ слезахъ заключается только зародышъ, которому суждено развиваться дальше и дальше.

Я столько видѣлъ въ то время чудесъ, что не могъ, не имѣлъ права быть скептикомъ. Я зналъ губернатора, который былъ до того либераленъ, что не вѣрилъ даже въ существованіе тверди небесной.

— Ничему я этому не вѣрю!—говорилъ онъ.—Какъ будто земля подъ стекляннымъ колпакомъ виситъ, и кто-то тамъ ею ворочаетъ—какіе пустяки!

Я зналъ генерала, который до того скептически относился къ «чудесамъ кровопусканія», что говорилъ мнѣ:

— Конечно... есть случаи... какъ это ни прискорбно... когда безъ кровопусканія обойтись невозможно. Это такъ! это я допускаю! Но чтобы во всякомъ случаѣ... сейчасъ же... съ перваго же раза... такъ сказать, не разобравши дѣла... не вѣрьте этому, милостивый государь! не вѣрьте этому никогда! Это... неправда!

И все это я видѣлъ своими глазами, все это я слышалъ своими ушами не дальше, какъ десять лѣтъ тому назадъ!

И вдругъ весь этотъ либерализмъ исчезъ! Исправникъ «подтягиваетъ», частный приставъ обыскиваетъ и гогочетъ отъ внутренняго просвѣтлѣнія. Всѣ повѣрили, что земля подъ стекляннымъ колпакомъ виситъ, всѣ увѣровали въ «чудеса кровопусканія», да не только сами увѣровали, но хотятъ, чтобъ и другіе тому же вѣрили, чтобы ни въ комъ не осталось ни тѣни прежняго либерализма.

«Насчетъ вина свободно, насчетъ чтеніевъ—строго!» вотъ собственныя слова Дерунова, которыя, конечно, никогда не изгладятся изъ моей памяти. И какой загадочный человѣкъ этотъ Деруновъ! Вслушаешься въ тонъ, которымъ онъ произноситъ свои «предики»,—кажется, что онъ говоритъ серьезно и даже съ нѣкоторой нажимкой. И вдругъ про-

Ямы... Срубить лѣсъ, продать дрова (ежели даже хоть по рублю за сажень очистится)... сколько тутъ денегъ-то! А земля-то все-таки будетъ моя! И опять пошелъ на ней лѣсъ расти!.. Черезъ двадцать лѣтъ опять Тараканиху да Опалиху по боку... и опять пошелъ лѣсъ! А отопиться и лознякомъ можно! Лѣсъ и лознякъ! Лѣсъ, лѣсъ, лѣсъ! Просто хоть сойти съ ума!

Но вѣдь для этого надобно жить въ Чемезовѣ, надобно безпокоиться, разговаривать, хлопать по рукамъ, запрашивать, уступать... А главное, жить тутъ, жить съ чистымъ сердцемъ, на глазахъ у всевозможныхъ сердцевѣдцевъ, офиціальныхъ и партикулярныхъ, которыми кишитъ современная русская провинція! Вотъ что̀ страшитъ. Еще въ Петербургѣ до меня доходили—черезъ разныхъ пріѣзжихъ изъ провинціи—слухи объ этихъ новоявленныхъ сердцевѣдцахъ.

— Теперь, братъ, не то, что̀ прежде! — говорили одни пріѣзжіе: — прежде, бывало, живешь ты въ деревнѣ, и никому нѣтъ дѣла, въ потолокъ ли ты плюешь, химіей ли занимаешься, или Поль-де-Кока читаешь! А нынче, братъ, ау! Химію-то изволь по боку, а читай Поль-де-Кока, да еще такъ читай, чтобы всѣ твои домочадцы знали, что ты именно Поль-де-Кока, а не «Общепонятную физику» Писаревскаго читаешь!

— Теперь, братъ, деревню бросить надо! — говорили другіе: — теперь тамъ цѣлая стѣна сердцевѣдцевъ образовалась. Смотрятъ, уставивъ брады, да умозаключаютъ каждый сообразно со степенью собственной невѣжественности! Чѣмъ больше который невѣжественъ, тѣмъ больше потрясаній и подкоповъ видитъ. Молви ты въ присутствіи сердцевѣдца какое-нибудь неизвѣстное ему слово—ну, хоть «моветонъ», что ли—сейчасъ: «фюитъ!» и пошла писать губернія.

Да, это такъ; въ этомъ я самъ теперь убѣдился, поговоривъ съ Деруновымъ. Я былъ на одинъ шагъ отъ опасности, и ежели не попался въ бѣду, то обязанъ этимъ лишь тому, что Деруновъ самъ еще не вполнѣ обнялъ всю обширность полномочій, которыя находятся въ его распоряженіи. Конечно, онъ не настоящій, то-есть не офиціальный сердцевѣдецъ, онъ только «подспорье»... Но вѣдь и съ подспорьемъ нынче шутить нельзя! Посмотритъ, умозаключитъ, возьметъ въ руки перышко—смотришь, анъ и сѣло на тебя пятнышко... Положимъ, крошечное, съ булавочную головку, а все-таки пятнышко! Поди, потомъ, соскребывай его!

—

Какъ все измѣнилось! какъ все вдругъ шарахнулось въ сторону! Давно ли исправники пламенѣли либерализмомъ, давно ли частные пристава обливались слезами, дѣлая домовыя выемки! Давно ли? Да не больше десяти лѣтъ тому назадъ!

— Ne croyez pas à ces larmes! ce sont des larmes de crocodile!—еще въ то время предостерегалъ меня одинъ знакомый французъ, свидѣтель этихъ выемочныхъ слезъ.

Но, признаюсь, несмотря на это образное предостереженіе, я вѣрилъ не ему, а полицейскимъ слезамъ. Я думалъ, что разъ полились эти слезы, и будутъ онѣ литься безъ конца... что въ этихъ слезахъ заключается только зародышъ, которому суждено развиваться дальше и дальше.

Я столько видѣлъ въ то время чудесъ, что не могъ, не имѣлъ права быть скептикомъ. Я зналъ губернатора, который былъ до того либераленъ, что не вѣрилъ даже въ существованіе тверди небесной.

— Ничему я этому не вѣрю!—говорилъ онъ.—Какъ будто земля подъ стекляннымъ колпакомъ виситъ, и кто-то тамъ ею ворочаетъ—какіе пустяки!

Я зналъ генерала, который до того скептически относился къ «чудесамъ кровопусканія», что говорилъ мнѣ:

— Конечно... есть случаи... какъ это ни прискорбно... когда безъ кровопусканія обойтись невозможно. Это такъ! это я допускаю! Но чтобы во всякомъ случаѣ... сейчасъ же... съ перваго же раза... такъ сказать, не разобравши дѣла... не вѣрьте этому, милостивый государь! не вѣрьте этому никогда! Это... неправда!

И все это я видѣлъ своими глазами, все это я слышалъ своими ушами не дальше, какъ десять лѣтъ тому назадъ!

И вдругъ весь этотъ либерализмъ исчезъ! Исправникъ «подтягиваетъ», частный приставъ обыскиваетъ и гогочетъ отъ внутренняго просвѣтлѣнія. Всѣ повѣрили, что земля подъ стекляннымъ колпакомъ виситъ, всѣ увѣровали въ «чудеса кровопусканія», да не только сами увѣровали, но хотятъ, чтобъ и другіе тому же вѣрили, чтобы ни въ комъ не осталось ни тѣни прежняго либерализма.

«Насчетъ вина свободно, насчетъ чтеніевъ—строго!» вотъ собственныя слова Дерунова, которыя, конечно, никогда не изгладятся изъ моей памяти. И какой загадочный человѣкъ этотъ Деруновъ! Вслушаешься въ тонъ, которымъ онъ произноситъ свои «предики»,—кажется, что онъ говоритъ серьезно и даже съ нѣкоторой нажимкой. И вдругъ про-

рвется нотка... ну, смѣется эта нотка, да и все тутъ! Смѣется, словно вотъ такъ и говоритъ: видишь, какія я чудеса въ рѣшетѣ передъ тобою выкладываю! А ты все-таки слушай, да на усъ себѣ мотай! Потому что я—столпъ!

Жестокіе нравы! Загадочный, запутанный міръ!

Нѣтъ, лучше уйти! Какія тутъ тысячи, десятки тысячъ саженей дровъ! Пойдетъ ли на умъ все это обиліе гвоздя, кирпича, изразца, которымъ соблазняетъ меня старикъ! Кончить и уйти—вотъ это будетъ хорошо!

— Нѣтъ, Лукьянычъ, мнѣ здѣсь жить незачѣмъ!—сказалъ я однажды, когда старикъ съ особеннымъ рвеніемъ началъ разводить передо мною на бобахъ.

— А почему-жъ бы?

— А вотъ почему: скажи я теперь хоть тебѣ, что, напримѣръ, не Илья пророкъ громомъ распоряжается...

— Что̀ вы, сударь! Христосъ съ вами!

— Ну, видишь! Ты вотъ отъ моихъ словъ только ротъ разинулъ, а другой рта-то не разинетъ, а свиснетъ...

— А вы, сударь, не говорите! За это тоже не похвалятъ.

— Знаю; поэтому и ухожу отъ грѣха. Такъ вотъ что̀: подыскивай-ка ты покупщика.

Въ теченіе мѣсяца передъ моими глазами прошла цѣлая портретная галлерея лицъ. Я видѣлъ всѣ оттѣнки любостяжанія, начиная съ заискивающаго, въ основаніи котораго лежитъ робкое чувство зависти, и кончая наглымъ, отъ котораго такъ и пышетъ беззавѣтною вѣрою въ несокрушимую силу хищничества. Мирное Чемезово сдѣлалось ареною борьбы, которая, благодаря элементу соревнованія, нерѣдко принимала характеръ ненависти. Всякій являлся на арену купли, съ головы до ногъ вооруженный темными подозрѣніями, и потому не шелъ прямою дорогой къ дѣлу, но выбиралъ окольные пути. Всякій старался не только отбить у другого облюбованный кусокъ, но еще подставить конкурренту ногу и по возможности очернить его. Сначала меня занимала эта безпардонная игра страстей, разгоравшаяся по поводу какой-нибудь Ковалихи или Тараканихи, потому что я имѣлъ наивность видѣть въ ней выраженіе настоятельно говорившаго чувства собственности; но потомъ, всмотрѣвшись ближе, я убѣдился, что принципъ собственности, въ смыслѣ общественной основы, играетъ здѣсь самую жалкую, почти призрачную роль.

Конечно, я былъ бы неправъ, если-бъ утверждалъ, что

въ моихъ глазахъ происходило прямое воровство, или кража, или грабежъ. Но тутъ въ постоянномъ ходу было дѣйствіе, называемое въ просторѣчіи «подвохомъ»,—это несомнѣнно. Только теперь я увидѣлъ, сколько можетъ существовать видовъ «отнятія», которыхъ не только законъ, но даже самый тонкій психологъ ни предусмотрѣть, ни поименовать не можетъ. Весь процессъ купли и продажи основанъ на психологическихъ тонкостяхъ, относительно которыхъ немыслимы какія бы то ни было юридическія опредѣленія. Вы слабохарактерны—я налетаю на васъ орломъ; вы тщеславны—я опутываю васъ паутиной самой тонкой лести; вы недальновидны или глупы—я показываю вамъ чудеса въ рѣшетѣ, отъ которыхъ вы дурѣете окончательно. Очень часто «подвохъ» является даже въ самой цинической и грубой формѣ, безъ всякаго участія психологіи; но и тутъ онъ не доступенъ для изобличенія, потому что въ основаніи его предполагается обоюдное согласіе. Своими ли ты глазами смотрѣлъ? своими ли руками бралъ?—таковы афоризмы, на которыхъ твердо стоитъ «подвохъ». Двѣ стороны находятся другъ противъ друга и обѣ стараются другъ друга обойти. Не украсть, а именно обойти. Даже «дуракъ» не прочь бы обойти умнаго, но только не умѣетъ. И только тогда, когда «подвохъ» возымѣлъ уже свое дѣйствіе, когда психологическая игра совершила весь свой кругъ и получила отъ нотаріуса надлежащую санкцію, когда участвовавшія въ ней стороны уже получили возможность провѣрить самихъ себя, только тогда начинаютъ онѣ ощущать нѣчто странное. Я уже не говорю о сторонѣ «объегоренной», «облапошенной» и т. д., которая съ растерявшимся видомъ ощупываетъ себя, какъ будто съ нею наяву произошло что-то въ родѣ сновидѣнія; я думаю, что даже сторона «объегорившая», «облапошившая» и т. д.—и та чувствуетъ себя изубытченною, на томъ основаніи, что «мало еще дурака нагрѣли». Конечно, кражи тутъ нѣтъ, но, какъ хотите, есть нѣчто до такой степени похожее, что самая неопредѣлительность факта возбуждаетъ чувство еще болѣе тревожное, нежели настоящая кража. Куда идти? гдѣ искать отмщенія? Ежели искать его въ сферѣ легальности, то ни одинъ правильно организованный судъ не признаетъ себя компетентнымъ въ дѣлѣ психологическихъ игръ. Ежели искать его въ сферѣ такъ-называемаго общественнаго мнѣнія, то всѣ эти «рохли», «разини» и «дураки» занимаютъ въ жизненномъ пирѣ такое приниженное, постылое

мѣсто, что внезапный протестъ ихъ можетъ возбудить только чувство изумленія.

Собственно говоря, я почти не принималъ участія въ этой любостяжательной драмѣ, хотя и умѣлъ воспользоваться плодами ея. Самымъ процессомъ ликвидаціи всецѣло овладѣлъ Лукьянычъ, который чувствовалъ себя тутъ какъ рыба въ водѣ! Покупщики приходили, уходили, опять приходили, и старикъ не только не утомлялся этою безконечною суетолокою, но даже какъ будто помолодѣлъ.

— Вотъ погодите,—говорилъ онъ, спровадивъ какого-нибудь претендента на обладаніе Опалихой:—онъ еще ужò придетъ, мы его тутъ съ однимъ человѣкомъ стравимъ!

И стравливалъ. Стравливалъ всегда внезапно, какъ бы ненарокомъ, и притомъ такъ язвительно, что у конкуррентовъ наливались кровью глаза и выступала пѣна у рта. Конечно, это въ значительной степени оттягивало ликвидацію моихъ дѣлъ, но въ этомъ отношеніи всѣ мои настоянія оставались безсильными. Лукьянычъ не только не хотѣлъ понимать, но даже просто-нà-просто не понималъ, чтобъ можно было какое-нибудь дѣло сдѣлать, не проведя его сквозь всѣ мытарства запрашиваній, оговорокъ, обмолвокъ и всей безконечной свиты мелкихъ подвоховъ, которыми сопровождается всякая такъ-называемая полюбовная сдѣлка, совершаемая въ мірѣ столповъ и основъ.

Я, конечно, не намѣренъ разсказывать читателю всѣ перипетіи этой драмы, но считаю нелишнимъ остановиться на одномъ эпизодѣ ея, которымъ, впрочемъ, и кончились мои деревенскія похожденія по предмету продажи и купли.

Между прочимъ, Лукьянычъ счелъ долгомъ запастись сводчикомъ. Однимъ утромъ, сижу я у окна—вижу, къ барскому дому подъѣзжаетъ такъ-называемая купецкая телѣжка. Лошадь сильная, широкогрудая, длинногривая, сбруя такъ и горитъ, дуга расписная. Изъ телѣжки бойко соскакиваетъ человѣкъ въ синемъ армякѣ, привязываетъ возжами лошадь къ крыльцу и направляется въ помѣщеніе, занимаемое Лукьянычемъ. Не проходитъ десяти минутъ, какъ старикъ является ко мнѣ.

— Заяцъ изъ Долгинихи пріѣхалъ,—докладываетъ онъ.

— Покупщикъ, что ли?

— Говоритъ, что «Волчьи-Ямы» купить охотится.

— Что-жъ, переговори съ нимъ!

— Стало-быть, онъ до васъ дойти хочетъ.

— А коли хочетъ, такъ зови!

Но вмѣсто того, чтобъ уйти. Лукьянычъ переминается съ ноги на ногу, видимо желая что-то сказать еще.

— Только онъ покупщикъ не настоящій,—произноситъ онъ наконецъ, по своему обыкновенію загадочно понижая голосъ:—у него всего и имущества вонъ эта телѣга съ лошадью.

— Такъ объ чемъ же я буду съ нимъ говорить?

— Поговорите, можетъ, и польза будетъ.

— Да кто онъ такой?

— Здѣшній, изъ Долгинихи, Ѳедоръ Никитинъ Чурилинъ. А Зайцемъ прозванъ оттого, что онъ на всякомъ мѣстѣ словно бы изъ-подъ куста выпрыгнулъ. Гдѣ его и не ждешь, а онъ тутъ. Крестьянствомъ не занимается, а только маклеритъ. Чуть гдѣ прослышитъ, что въ раздѣлку пошло—ему ужъ и не сидится. Съ недѣлю мѣста есть, какъ онъ около насъ кружитъ, да я все молчалъ. Самъ, думаю, придетъ—анъ вотъ и пришелъ.

— Чѣмъ же онъ для насъ-то можетъ быть полезенъ?

— Первое дѣло, покупателя приведетъ. Второе дѣло, и самъ для виду подторговывать будетъ, коли прикажемъ. Только баловать его не нужно.

— То-есть, какъ же не «баловать»?

— Много денегъ давать не надо. Онъ тоже ловокъ на чужія-то деньги чай пить. Вы сами-то не давайте, ко мнѣ посылайте.

Лукьянычъ уходитъ и черезъ минуту является вмѣстѣ съ Зайцемъ. Это средняго роста человѣкъ, жиденькій, бѣлокуренькій, съ подстриженною рыжеватою бородкой, съ маленькими бѣгающими глазками, обрамленными розовыми, какъ у кролика, вѣками, съ востренькимъ носомъ. Вообще фигурой своей онъ напоминаетъ отчасти лисицу, отчасти зайца. Одѣтъ щеголемъ: въ синей, тонкаго сукна сибиркѣ, подпоясанной алымъ кушакомъ, сверхъ которой надѣтъ такой же синій армякъ; на ногахъ высокіе смазные сапоги. Подходитъ онъ на цыпочкахъ, почти неслышно, къ самому столу, за которымъ я сижу. Къ разговору приступаетъ шопотомъ, словно секретъ вывѣдать хочетъ. При этомъ безпрерывно оглядывается по сторонамъ и при малѣйшемъ шорохѣ вздрагиваетъ.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Наслышаны, что ваша милость вотчину продать желаете?

— Да, желалъ бы.

— Такъ-съ. А какая, примѣрно, цѣна ваша будетъ?

— Да вы осматривали дачу-то?

— Даже очень довольно смотрѣли. Мы, ваше благородіе, здѣшніе жители. Можетъ, около каждаго куста разъ десять обошли. Очень довольно знаемъ. Въ Филипцевѣ это точно, что есть лѣсокъ, а въ прочіихъ мѣстахъ лѣтъ двадцать настоящаго лѣсу дожидаться надо!

— Мнѣ кажется, однако, что и въ нѣкоторыхъ другихъ пустошахъ порядочный лѣсъ есть.

— Помилуйте, ваше благородіе! Позвольте вамъ доложить! Лѣсъ, одно слово, это такое дѣло: возьмемъ теперича одну десятину—ей одна цѣна; возьмемъ другую десятину—ей другая цѣна! Стало-быть, коли-ежели я или, къ примѣру, другой покупщикъ...

— Постой, Ѳедоръ Никитичъ!—вмѣшивается Лукьянычъ:—ты вѣдь не для себя торговаться пришелъ! Зачѣмъ же ты нашъ лѣсъ хаишь! А ты похвали! Можетъ, отъ твоего-то слова, гдѣ и нѣтъ лѣсу—онъ вырастетъ!

— Это такъ точно-съ. Главная причина, какъ его показать покупателю. Можно, теперича, и такъ показать, что куда онъ ни взглянулъ—вездѣ у него лѣсъ въ глазахъ будетъ, и такъ показать, что онъ только одну рѣдочь увидитъ. Проѣхалъ я давеча Ковалихой: въ бочку-то, направо-то... ахъ, хорошъ лѣсокъ! Ну, а ежели полѣвѣе взять—пильщикамъ заплатить не изъ чего!

— А ты бы вотъ съѣздилъ да показалъ барину-то, какъ оно по-твоему выходитъ!

— Чего же лучше-съ! Вотъ не угодно ли на моей лошади хоть въ Филипцево съѣздить. И Степана Лукьяныча съ собой захватимъ.

Поѣхали. Я съ Зайцемъ сѣлъ рядомъ; Лукьянычъ спустился корпусомъ въ телѣжный рыдванъ, а ноги взодралъ на ободокъ. Заяцъ былъ видимо польщенъ и весело пошевеливалъ возжами; онъ напоминалъ собой фокусника, собирающагося показать свои лучшіе фокусы и нимало не сомнѣвающагося, что публика останется имъ довольна. Съ полчаса мы ѣхали дорогою, потому свернули въ сторону и поѣхали цѣликомъ по луговинѣ, тамъ и сямъ усѣянной небольшими куртинами березника, перемѣшаннаго съ осиною. Долго мы кружили тутъ и все никакъ не доѣдемъ до Филипцева, т.-е. до «настоящаго лѣса». Выдастся мѣстами изрядная десятинка, мелькнетъ—и опять пошла писать рѣдочь.

— Да ты что̀ такое показываешь? —воззрился, наконецъ, Лукьянычъ.

— Филищево показываю! Или своего мѣста не узналъ! Вонъ и осина, на которой прошлою осенью Онисимъ Дылда повѣсился!

Лукьянычъ не выдержалъ и выругался, чѣмъ, впрочемъ, Заяцъ нимало не смутился.

— Теперича ка̀къ по-вашему? Много ли, примѣрно, ваше Филищево сто̀итъ?—обратился онъ ко мнѣ.

— Да, но вѣдь...

— Это такъ точно-съ! Однако вотъ хоть бы ваша милость! Говорите вы теперича мнѣ: покажи, молъ, Ѳедоръ, Филищево! Смѣю ли я, примѣрно, не показать? Такъ точно и другой покупщикъ: покажи, скажетъ, Ѳедоръ, Филищево—долженъ ли я, значитъ, ему удовольствіе сдѣлать? Стало-быть, я и показываю. А можно, пожалуй, и по-другому показать... Но, но, пошевеливай!—крикнулъ онъ на коня, замедлившаго ходъ на дорогѣ, усѣянной цѣлымъ переплетомъ древесныхъ корней.

Черезъ пять минутъ мы опять выѣхали на торную дорогу, съ которой уже нельзя было своротить, потому что по обѣимъ ея сторонамъ стояла сплошная стѣна высокихъ и толстыхъ елей.

— Вотъ и опять то же Филищево, только въ этомъ самомъ мѣстѣ цѣны ему нѣтъ! — съ нѣкоторымъ торжествомъ провозгласилъ Заяцъ.

— Да вы зачѣмъ же показываете либо одно, либо другое? Вы бы, какъ слѣдуетъ, все показали!

— Помилуйте! Позвольте вамъ доложить! Неужто я своего дѣла не знаю! Къ примѣру возьмемъ, теперича, хоть покупателя — могу ли я его принуждать! Привезъ я его, теперича, хоть въ это самое мѣсто, показалъ ему; онъ сейчасъ взглянулъ: «ахъ, хорошъ лѣсокъ, Ѳедоръ!» Главная причина, значитъ, облюбовалъ. Что̀ же я, теперича, противъ этого сдѣлать могу? Само собой, чтобы, примѣрно, въ отвѣтѣ передъ нимъ не остаться, скажешь ему: не весь, молъ, такой лѣсъ, есть и прогалинки. Однако, какъ онъ сразу въ своемъ дѣлѣ увѣрился, такъ тутъ ему что̀ хочешь говори: онъ все мимо ушей пропущаетъ! «Айда̀ домой, Ѳедоръ!—говоритъ.—Лѣсъ первый сортъ; нечего и смотрѣть больше! Теперь только маклери, какъ бы подешевле намъ этотъ лѣсъ купить!» И купитъ, и цѣну хорошую дастъ, потому что настоящій лѣсъ видѣлъ! А какъ

начнешь съ рѣдочи-то показывать, такъ послѣ хоть и привези его сюда, къ настоящему лѣсу — онъ все про рѣдочь поминать будетъ!

— Скажите, вы имѣете въ виду какого-нибудь покупщика?

— У меня, ваше благородіе, по здѣшней округѣ очень знакомства довольно. Хорошіе господа довѣряютъ мнѣ, а не то чтобы что̀! Ну, и купцы тоже: и въ Р., и въ К., и въ Т.

— Дерунова вы знаете?

— Какъ не знать Осипа Иваныча! Довольно знаемъ. Послужилъ тоже его степенству. Да, признаться, зацѣпочка этта небольшая у насъ вышла.

— А что̀?

— Да такъ-съ. Тоже онамеднись лѣсъ показывалъ, генералъ Голозадовъ продавалъ. Признаться, маленько спапашился я тогда, а молодецъ деруновскій и догадайся. Очень они на меня въ ту пору обидѣлись, Осипъ Иванычъ.

— Чай, и за вихры досталось! — вставилъ свое слово Лукьянычъ.

— Этого Богъ миловалъ. Сколько на свѣтѣ живу, а за вихры, кромѣ тятеньки съ маменькой, никто еще не дералъ. А не велѣлъ, значитъ, Осипъ Иванычъ до себя допущать.

— Да, братъ, ваша должность тоже—и-и! Плутовать—плутуй, а по сторонамъ не заглядывайся!

— Наша должность, ваше благородіе, осмѣлюсь вамъ доложить, даже очень довольно строгая. Смо̀трите, примѣрно, теперича, хоть вы, или другой кто: гуляетъ, молъ, Ѳедоръ, въ баклуши бьетъ! А я, между прочимъ, нисколько не гуляю, все промежду себя обдумываю. Какъ, значитъ, кому угодить и кому что̀, къ примѣру, требуется. Все это я на замѣчаніи держать долженъ. Къ примѣру, хошь бы такой случай: иной купецъ самъ доходитъ, а другой—черезъ приказчиковъ.

— Съ приказчиками, я думаю, скорѣе дѣло-то сдѣлаешь!

— И приказчикъ приказчику рознь, Степанъ Лукьянычъ,—вотъ какъ надо сказать. Одно дѣло деруновскій приказчикъ, и одно дѣло — владыкинскій приказчикъ. А въ прочіихъ частяхъ, разумѣется, коли ежели господинъ маслица не пожалѣетъ, съ приказчикомъ все-таки складнѣе дѣло сдѣлать можно.

— Подкупить, значитъ, нужно?

— Зачѣмъ подкупать? А просто, къ примѣру, пообѣщать. Копейку, что ли, съ рубля, или хоша бы и двѣ, если, значитъ, дѣло хорошо доложить хозяину.

— Ну, двѣ-то копейки—это, братъ, ты совралъ!—вступился Лукьянычъ.— Копейку—это точно, это по-христіански будетъ!

— Эхъ, Степанъ Лукьянычъ, какъ это, братецъ, ты говоришь: «совралъ»! Могу ли я теперича господина обманывать! Можетъ, я черезъ это самое кусокъ хлѣба себѣ получить надѣюсь, а ты говоришь: «совралъ»! А я все одно что̀ передъ Богомъ, то̀ и передъ господиномъ! Возьмемъ теперича хоть это самое Филипцево! Будемъ говорить такъ: что̀ для господина пріятнѣе, пять ли тысячъ за него получить, или три? Сказывай!

— Оно, конечно, кабы пять... да наврядъ...

— Ты говоишь: наврядъ, а я тебѣ говорю: никто какъ Богъ! Владыкина Петра Семеныча знаешь?

— Слыхивалъ.

— А слыхивалъ, такъ и про Тихона Иванова, про приказчика его, значитъ, слыхивалъ. Вотъ ужо̀ поѣду въ К., шепну Тихону Иванову: Тихонъ, молъ, Иванычъ, доложите, молъ, хозяину, что хорошій баринъ лѣсокъ продаетъ!

— Да, кабы пять тысячъ... не жаль бы и двухъ копеекъ...

— И не пять тысячъ, а больше дастъ — вотъ что̀! Потому, сейчасъ ты его въ трактиръ сводилъ, закуску потрафилъ: Тихонъ Иванычъ, сдѣлай милость!

— Закуска—это точно; закуска—это первое дѣло!

Заяцъ постепенно разгорячался и началъ лгать; съ своей стороны, и Лукьянычъ, постепенно поддаваясь обаянію лганья, съ какимъ-то беззавѣтнымъ простодушіемъ вторилъ ему.

— Потому что у насъ все на чести! — ораторствовалъ Заяцъ.— Будемъ такъ говорить: баринъ лѣсъ продаетъ, а Тихонъ Ивановъ его осматриваетъ. Въ одномъ мѣстѣ посмотритъ — ахъ, хорошъ лѣсокъ! Въ другомъ поглядитъ — вотъ такъ, братъ, лѣсокъ! Правильно ли я говорю?

— Это такъ... правильно... это такъ точно!

— Ты думаешь, мало у васъ въ Филипцевѣ добра?

— Мало ли тутъ добра!

— Я тебѣ вотъ какъ скажу: будь я теперича при капиталѣ—не глядя бы семь тысячъ за него далъ! Потому

что сейчасъ бы я первымъ дѣломъ этотъ самый лѣсъ разсортировалъ. Начать хоть со строевого... видѣлъ, какія по дорогѣ деревья-то стоятъ... ужастёенныя!

— Мало ли тутъ дерева! Хоть въ какую угодно стройку!

— Хорошо. Стало-быть: перво-на̀-перво строевой лѣсъ... Сколько тутъ, по-твоему, корней будетъ? Тысячи три будетъ?

— Коли не побольше... Какъ трехъ тысячъ не быть!

— Ну, клади три!.. Анъ дерево-то, оно три рубля... на мѣстѣ! А на станціи за него дашь и шесть рублей... какъ калачъ! Вотъ ужъ девять тысячъ. А потомъ дрова... сколько тутъ дровъ-то!

— Мало ли тутъ дровъ!

— Опять же товарникъ... сучья... по нашему мѣсту всякій сучокъ денегъ стòитъ! А земля-то! Земля-то вѣдь опять за покупателемъ останется!

— И опять по ней лѣсъ пойдетъ!

— И какой еще лѣсъ-то пойдетъ! Въ десять лѣтъ и не узнаешь, была ли тутъ рубка, или нѣтъ! Мѣсто же здѣсь боровое, ходкое!

— Эхма!

— А я чтò же говорю! Я то же и говорю: кабы теперича капиталъ въ руки—сейчасъ бы я это самое Филипцево... то-есть, ни въ жизнь бы никому не уступилъ! Да тутъ, коли человѣкъ съ дарованіемъ... тутъ конца-краю деньгамъ не будетъ!

— Такъ ты такъ и дѣйствуй. Улещай покупателя. Старайся.

— И то стараюсь. Потому вижу: господинъ добрый, несвѣдущій—для кого же намъ и стараться-то! Слава Богу! я всѣмъ господамъ по здѣшнему мѣсту довольно извѣстенъ! Голозадовъ генералъ, Порфирьевъ господинъ... всѣ хоть сейчасъ аттестатъ мнѣ подписать готовы!

— Вотъ ты объ Владыкинѣ давеча помянулъ... такъ онъ врядъ ли у насъ купитъ. Онъ, слышь, у кандауровскаго барина всю палестину торгуетъ! У насъ ему не рука.

— А Владыкинъ не захочетъ, такъ къ Бородавкину, къ Филиппу Ильичу, толкнемся. Мужикъ денежный. Этотъ самъ осматривать поѣдетъ, приказчику не поручитъ.

— Ну, самому-то двухъ копеечекъ не посулишь!

— У этого опять другой фортель: пунштъ любитъ. Какъ пріѣхалъ—такъ чтобы сейчасъ ему пунштъ готовъ былъ! И пьетъ онъ этотъ пунштъ, докуда глаза у него круглые не сдѣлаются! А въ ту пору, чтò хочешь, тò у него и бери.

— Проснится, небось?

— Проснится — и опять чтобы сейчасъ пуншть! Само собой, ужъ тутъ не зѣвай. Главная причина все такъ подстроить, чтобы въ этомъ самомъ видѣ хорошей неустойкой его обязать. Страсть, какъ онъ этихъ неустоекъ боится! Словно робенокъ!

— Ишь ты, парень!

— А Бородавкинъ ежели не поѣдетъ — Хмелева Павла Ѳомича за бока приволокёмъ! И насчетъ его опять есть фортель: амбицію большую имѣетъ! Скажи ему только: Деруновъ, молъ, Осипъ Иванычъ, пять тысячъ давалъ — сейчасъ онъ, не глядя, шесть тысячъ отвалитъ!

— Житье имъ, этимъ аршинникамъ!

— И какое еще житье-то! Скажемъ, къ примѣру, хоть объ томъ же Хмелевѣ — давно ли онъ сѣрымъ мужикомъ состоялъ! И вдругъ ему Господь разумъ развязалъ! Зачалъ онъ и направо загребать, и налѣво загребать... Страсть! Сядетъ-это, словно котъ въ темномъ углу, выпуститъ когти и ждетъ... только глаза мерцаютъ!

Изъ Филипцева заѣхали мы въ Опалиху, а по дорогѣ осмотрѣли и Волчьи-Ямы. И тутъ оказалось то же: полѣвѣе проѣхать — цѣны нѣтъ, поправѣе взять — вся цѣна грошъ.

— Главная причина, какъ показать... это такъ точно! — вторитъ ему Лукьянычъ.

Словно во снѣ слушаю я этотъ разговоръ. Въ ушахъ моихъ раздаются слова: «фортель... загребать... какъ показать... никто какъ Богъ... тысячи, три тысячи... семь тысячъ...» Картины одна другой фантастичнѣе рисуются въ моемъ воображеніи. То мнѣ кажется, что я — волкъ, а всѣ эти Деруновы, Владыкины, Хмелевы, Бородавкины — мирно пасущееся стадо барановъ, въ виду котораго я сижу и щелкаю зубами. И вотъ я начинаю гарцовать и, распустивъ хвостъ по вѣтру, описываю круги. Одинъ смѣлый прыжокъ — и я уже тамъ, въ самой серединѣ стада! Но, о ужасъ! не успѣлъ я еще хорошенько раскрыть пасть, какъ всѣ эти бараны, вмѣсто того, чтобы смиренно подставить мнѣ свои загривки, вдругъ оскаливаютъ на меня зубы и поднимаютъ побѣдный вой! Картина перемѣняется. Я оказываюсь не волкомъ, а бараномъ, на котораго Заяцъ обманнымъ образомъ напялилъ волчью шкуру! Я слышу хохотъ и вой: «жарь его!» «наяривай!» «накладывай!» «въ загривокъ-то, въ загривокъ его!» — раздается въ моихъ ушахъ. — «Дуракъ! дуракъ! дуракъ!»

Пообѣдавши, Заяцъ уѣхалъ.

— Ты смотри, по сторонамъ не заглядывайся! За это, братъ, тоже не похвалятъ!—напутствовалъ его Лукьянычъ.

— Зачѣмъ по сторонамъ глядѣть, мы на чести дѣло поведемъ! Счастливо оставаться, ваше благородіе! Увидите, коли я завтра же вамъ Бородавкина Филиппа Ильича не предоставлю!

Телѣжка загремѣла, и вскорѣ цѣлое облако пыли окутало и ее, и фигуру деревенскаго маклера. Я сѣлъ на крыльцо, а Лукьянычъ всталъ нѣсколько поодаль, одну руку положивъ поперекъ груди, а другою упершись въ подбородокъ. Нѣкоторое время мы молчали. На дворѣ была тишь; солнце стояло низко; въ воздухѣ чуялась вечерняя свѣжесть, и весь онъ былъ пропитанъ ароматомъ отъ только-что зацвѣвшихъ липъ.

— Ишь вѣдь! — вдругъ отозвался Лукьянычъ, озирая глазами высь и отирая платкомъ потъ, выступившій на лбу.

— Да, братъ, хорошо теперь на вольномъ воздухѣ.

— И не вышелъ бы!

Въ самомъ дѣлѣ, такъ было хорошо среди этой тишины, этой теплыни угасающаго дня, этихъ благоуханій, что разговоръ нашъ непремѣнно принялъ бы сантиментальный характеръ, если-бъ изрѣдка долетавшій стукъ Зайцевой телѣжки не возвращалъ насъ къ дѣйствительности.

— Не нравится мнѣ этотъ Заяцъ,—сказалъ я.

— Чего въ немъ нравиться!

— Зачѣмъ же ты привелъ его?

— А намъ развѣ «нравиться» надо! Намъ нужно, чтобъ дѣло сдѣлалъ, а тамъ, пожалуй, хоть вѣкъ его не видать!

— Однако вѣдь ты самъ видишь, что онъ просто-напросто мошенникъ!

— Мошенникъ — много про него сказать. А лодырь!.. нестоящій, значитъ, человѣкъ!

— Вотъ, ты говоришь: нестоящій человѣкъ, а между тѣмъ самъ же его привелъ! Какъ же такъ жить? Ну, скажи, можно ли жить, когда безъ подвоха никакого дѣла сдѣлать нельзя?

— Живемъ помаленьку. Стало-быть, не до конца еще прегрѣшили.

— Да ты пойми же, Лукьянычъ, вотъ завтра Бородавкинъ пріѣдетъ: неужто-жъ и въ самомъ дѣлѣ ты будешь его пуншемъ спаивать?

— А коли ему нравится, пущай пьетъ!

— Да вѣдь это значитъ прямо мошенничать! Съ пьянымъ человѣкомъ въ сдѣлку входить!

Лукьянычъ изумленными глазами взглянулъ на меня.

— Да никакъ вы въ самъ-дѣлѣ думаете, что вы Бородавкина обидѣть можете?—удивился онъ.

— Обидѣть! Не обидѣть, а коли по-твоему дѣлать, такъ просто-на-просто обмануть!

— Христосъ съ вами! Да вы слыхали ли про Бородавкина-то? Онъ вѣдь два раза невинно-падшимъ объявлялся! Два раза въ острогѣ сидѣлъ и всякій разъ чистъ выходилъ! На-тко! нашли кого обмануть! Да его и пунштомъ-то для того только поятъ, чтобы онъ не слишкомъ ужъ лютъ былъ!

Сказавши это, Лукьянычъ махнулъ рукой и ушелъ въ свое логово готовиться къ завтрашнему дню. Черезъ полчаса вышелъ оттуда еще такой же ветхій старикъ и началъ вмѣстѣ съ Лукьянычемъ запрягать въ одноколку мерина.

Посылали въ городъ за кизляркой и другими припасами для предстоящихъ «пунштовъ».

Но я не выдержалъ.

Ежедневные разъѣзды по однимъ и тѣмъ же мѣстамъ, безпрерывные разговоры объ однихъ и тѣхъ же предметахъ до того расшатали мои нервы, что мнѣ почти всю ночь не спалось. Передо мной, въ теченіе нѣсколькихъ безсонныхъ часовъ, прошли всѣ подробности любостяжательной драмы, которой я былъ очевидцемъ и участникомъ. Вспомнился благолѣпный Деруновъ и его самодовольныя предики насчетъ «бунтовъ», въ которыхъ такъ ясно выразилась наша столповая мораль; вспомнилась свита мелкихъ торгашей-прасоловъ, которые въ теченіе цѣлаго мѣсяца, съ утра до вечера, держали меня въ осадѣ и которые хотя и не успѣли еще, подобно Дерунову, уловить вселенную, но уже имѣли наготовѣ всѣ нужныя для этого уловленія мрежи; вспомнилась и безконечная канитель разговоровъ между Лукьянычемъ и безчисленными претендентами на обладаніе разрозненными клочьями нѣкогда великолѣпнаго чемезовскаго имѣнія...

Эти разговоры въ особенности раздражали меня. Всѣ они велись въ одной и той же формѣ, всѣ одинаково не имѣли никакого содержанія, кромѣ совершенно безсмысленной укоризны. На русскомъ языкѣ даже выработался особенный терминъ для характеристики подобныхъ разговоровъ. Этотъ терминъ: «собачиться».

— А ты настоящую цѣну давай! —собачился, напримѣръ, Лукьянычъ.

— И то настоящую цѣну даемъ! — съ своей стороны отсобачивался прасолъ-покупщикъ.

— А ты дѣло говори!

— И то дѣло говоримъ!

— Слушай, сколько ты тутъ дровъ напилить хочешь?

— Сколько напилимъ —все наше будетъ.

— Опять товарникъ! Ты думаешь, сколько ты товарнику тутъ напилишь?

— Опять-таки, сколько ни напилимъ —все наше будетъ!

— Бога ты не боишься!

— Ты одинъ, видно, боишься!

И такъ далѣе, до тѣхъ поръ, пока запасъ «собаченья» не истощался на время. Тогда наступало затишье, въ продолженіе котораго Лукьянычъ пощипывалъ бородку, язвительно взглядывая на покупателя, а покупатель упорно смотрѣлъ въ уголъ. Но обыкновенно Лукьянычъ не выдерживалъ и, по прошествіи нѣсколькихъ минутъ, съ судорожнымъ движеніемъ хватался за счеты и начиналъ на нихъ выкладывать какія-то фантастическія суммы.

— Слушай, боишься ли ты Бога! — принимался онъ вновь за прежнюю канитель укоризнъ.

Вспомнился мнѣ, наконецъ, и Заяцъ, за нѣсколько часовъ передъ тѣмъ съ такою безцеремонною торжественностью посвящавшій меня въ тайны искусства «показыванія», котораго я нѣкогда былъ жертвою.

Теперь это искусство «показыванія» уже не меня обездоливало, а, напротивъ того, *мнѣ* предлагало свои услуги.

Ясно, что передо мной, въ теченіе цѣлаго мѣсяца, каждодневно производился тотъ самый актъ «потрясанія», который поселяетъ такой наивный ужасъ въ сердцахъ нашихъ столповъ. Да, это было оно, это было «потрясаніе», и вотъ эти люди, которые такъ охотно блѣднѣютъ при произнесеніи самаго невиннаго изъ заклейменныхъ преданіемъ «страшныхъ словъ», — эти люди, говорю я, повидимому, даже и не подозрѣваютъ, что рядомъ съ ними, чуть ли не ими самими, каждый часъ, каждую минуту, производится самое дѣйствительное изъ всѣхъ потрясаній, какое только можетъ придумать человѣческая злонамѣренность!

И съ какою наивною безсознательностью, съ какимъ простодушнымъ невѣдѣніемъ производится этотъ актъ «потрясанія общественныхъ основъ»! Это даже не актъ, а

почти простой обрядъ. Даже добрякъ Лукьянычъ, которому, конечно, и на мысль никогда не приходило кого-нибудь ограбить, и тотъ является чуть не грабителемъ, или, по крайней мѣрѣ, попустителемъ и пособникомъ грабежа. Не услаждался ли онъ всѣмъ существомъ своимъ фокусами «показыванія», представленными Зайцемъ? Не послалъ ли онъ въ городъ за кизляркой, въ надеждѣ, что Бородавкинъ, подъ вліяніемъ «пунштовъ», ходчѣе пойдетъ въ устраиваемую ему Зайцемъ ловушку?

И чѣмъ дольше я думалъ, тѣмъ больше и больше таяла моя недавняя рѣшимость дѣйствовать съ умомъ. И по мѣрѣ того, какъ она исчезала, на ея мѣсто, сначала робко, но потомъ все настойчивѣе и настойчивѣе, всплывала другая рѣшимость: бросить! бросить все и бѣжать!

Какъ-то вдругъ для меня сдѣлалось совсѣмъ ясно, что мнѣ совсѣмъ не къ лицу ни продавать, ни покупать, ни даже ликвидировать; что мое мѣсто совсѣмъ не тутъ, не въ мірѣ продажъ, войнъ, трактатовъ и союзовъ, а гдѣ-то въ безвѣстномъ углу, изъ котораго мнѣ никто не препятствовалъ бы кричать вслѣдъ несущейся мимо меня жизни: возьми все—и отстань!..

Утромъ, едва я успѣлъ забыться тревожнымъ сномъ, какъ меня разбудилъ громъ и звонъ, раздававшій на дворѣ. Одѣвшись наскоро, я выбѣжалъ на крыльцо, и глазамъ моимъ представилась картина необычной для Чемезова суеты. Старики и старухи, мирно доживавшіе свой вѣкъ въ подвальныхъ этажахъ барскаго дома, всѣ разомъ выползли на барскій дворъ, сновали взадъ и впередъ, отъ амбара къ кладовой, отъ кладовой къ погребу, гремѣли ключами, отпирали, запирали, что-то вынимали, несли. У конюшни стояла крытая ямская повозка; вблизи нея, на лужку, ходили три спутанныя лошади и кормились, встряхивая бубенчиками. На вопросъ мой, что̀ случилось, мнѣ отвѣчали, что пріѣхалъ купецъ Бородавкинъ и вмѣстѣ съ Зайцемъ и Лукьянычемъ отправился осматривать дачу.

Я ждалъ довольно долго. Наконецъ, часа черезъ три, осторожно, словно крадучись, вошелъ въ мою комнату Заяцъ. Лицо его, въ буквальномъ смыслѣ слова, было усѣяно каплями пота и выражало таинственность и озабоченность...

— Желаютъ васъ видѣть,— доложилъ онъ шопотомъ.

Я чувствовалъ, что рѣшительный часъ насталъ, но все еще колебался.

— Ваше высокоблагородіе, позвольте вамъ доложить!— продолжалъ онъ таинственно:—они теперича въ такомъ пунктѣ состоятъ, что всего у нихъ, значитъ, просить можно. Коли-ежели, къ примѣру, всю дачу продать пожелаете—они всю дачу купятъ; коли-ежели пустошь какую, или парки, или хоша бы и домъ—они и на это согласны! Словомъ сказать, съ ихъ стороны на все согласіе будетъ полное!

И надо было видѣть его изумленіе и даже почти негодованіе, когда я объявилъ ему, что въ настоящую минуту ничего продавать не намѣренъ.

VI.—Превращеніе.

На дняхъ иду по Невскому, мимо парикмахерской Дюбюра, смотрю и глазамъ не вѣрю: по лѣстницѣ магазина сходитъ... самъ Осипъ Ивановичъ Деруновъ!

Нужно было въ свое время очень запечатлѣть въ памяти лицо Осипа Иваныча, чтобы узнать его въ томъ обличіи, въ какомъ онъ предсталъ передо мной въ эту минуту. На плечахъ накинута соболья шуба рѣдчайшей воды (въ «своемъ мѣстѣ» онъ носитъ желтую лисью шубу, а въ дорогу такъ и волчьей не брезгаетъ), на головѣ надѣтъ самаго новѣйшаго фасона цилиндръ, изъ-подъ котораго высыпались наружу серебряныя кудри; борода расчесана, мягкая какъ пухъ, и разитъ духами; румянецъ на щекахъ даже пріятнѣе прежняго; глаза блестятъ... словомъ сказать, лѣтъ двадцать пять съ плечъ долой—никакъ не меньше.

И прежде случалось, что Деруновъ по временамъ наѣзжалъ въ Петербургъ по своимъ дѣламъ, но пріѣзды эти всегда совершались болѣе чѣмъ скромно. Останавливался онъ обыкновенно у кума своего, Ивана Иваныча Зачатіевскаго, сына к—скаго пономаря, который служилъ въ одномъ изъ департаментовъ столоначальникомъ, досидѣлся до чина статскаго совѣтника и съ полученіемъ его воспользовался титуломъ управляющаго столомъ. Если же у кума было нельзя пріютиться (Зачатіевскій былъ необыкновенно плодущъ, и не всегда въ его квартирѣ имѣлся свободный уголъ), въ такомъ случаѣ Деруновъ нанималъ дешевенькій номеръ въ гостиницѣ «Рига» или у Ротина, и тамъ всѣ его издержки, сверхъ платы за номеръ, ограничивались требова-

ніемъ самовара, потому что чай и сахаръ у него были свои, а вмѣсто обѣда онъ насыщался холодными закусками съ сайкой, покупаемыми у лоточниковъ. Франтить онъ не только не франтилъ, но даже, ступая на петербургскую почву, какъ бы съ разсчетомъ усугублялъ невзрачность своего костюма. Иногда, во время этихъ наѣздовъ, онъ удостоивалъ посѣщать и меня.

— Охота вамъ, Осипъ Иванычъ, себя изнурять!—бывало, скажешь ему:—человѣкъ вы состоятельный, а другіе говорятъ—и богатый, могли бы въ Петербургѣ шику задать, а вы вотъ въ сибиркѣ ходите да бѣлужиной, вмѣсто обѣда, пробавляетесь!

— А ты слушай-ко, другъ, что̀ я тебѣ скажу!—благосклонно объяснялъ онъ мнѣ въ отвѣтъ.—Ты говоришь, я человѣкъ состоятельный, а знаешь ли ты, ка̀къ я капиталъ-то свой пріобрѣлъ? Все постепенно, другъ, все пятачками да гривенничками! Кабы платье-то у меня хорошее было, мнѣ бы въ каретѣ ѣздить надо, а за нее, поди, пять рублей въ день отдать мало! А теперь я отъ Ивана Иваныча (Зачатіевскаго, изъ Измайловскаго полка) выйду—платье-то у меня таковское: и забрызгаетъ—терпитъ! Вотъ я иду-иду на биржу, да и даю извозчику сначала двугривенничекъ, а потомъ, у Вознесенья, и пятиалтынничекъ. Времени передо мной достаточно, на пожаръ спѣшить нечего. Не возьметъ извозчикъ пятиалтынничка—я и до адмиралтейства, замѣсто прогулки, дойду, а оттоль ужъ за гривенничекъ и сяду до биржи. Анъ сочти-ка ты, сколько гривенниковъ-то за день въ карманѣ останется—вѣдь шутя-шутя рубля полтора-два въ сутки набѣжитъ!

— А вамъ очень эти полтора-два рубля дороги?

— Мнѣ все дорого, потому на полу и гривенника не поднимешь. Опять и то скажу: я вѣдь всякою операціей орудую, и сало покупаю, и масло постное, всякій, значитъ, товаръ. Во все пальцемъ колупнуть долженъ, а иное и на языкъ испробовать. Кабы теперича я въ хорошемъ платьѣ да въ перчаткахъ ходилъ, какъ бы къ товару-то я приступился? Вѣдь около него хорошее-то платье изгадишь, а оно, поди, денегъ сто̀итъ. Вотъ и сталъ бы я, вмѣсто того, чтобы самъ до всего доходить, приказчика за себя посылать, а приказчику-то плати, да онъ же тебя за твои деньги продастъ! А теперь—святое дѣло! Нужды нѣтъ, что по пятачкамъ да по гривенничкамъ сбираемъ: курочка и по зернышку клюетъ, да сыта бываетъ!

— Ну, вы-то, чай, не все по зернышку клюете! Какъ сало-то на языкъ попробуете—въ карманѣ, смотри, и изрядный кушъ очутится!

— Бываютъ и куши—и отъ кушей не отказываемся. Да вѣдь и тутъ опять: отчего эти самые куши до насъ доходятъ? Все черезъ нашу же экономію да осмотрительность! Лучше скажу тебѣ: давно нѣмецъ здѣшній такое мнѣніе объ насъ, русскихъ, имѣетъ, что въ худомъ-то платьѣ человѣку больше вѣритъ, нежели который человѣкъ къ нему въ каретѣ да на рысакахъ къ крыльцу подъѣдетъ. Теперича хоть бы я: миткалевая фабрика у меня есть, хлопокъ нуженъ; какъ приду я къ нѣмцу въ своемъ природномъ, русскомъ видѣ, мнѣ и поклониться ему не стыдно! Да и онъ тоже, глядя на мою одёжду, соображаетъ. Этотъ человѣкъ, говоритъ, основательный! Глядишь—анъ мнѣ и уступочка за мою основательность. Нѣтъ, сударь, видно, намъ, русскимъ, еще предѣлъ не вышелъ въ хорошемъ-то платьѣ ходить!

И вотъ этотъ самый человѣкъ, возведшій хожденіе въ худомъ платьѣ чуть не въ теорію, является передо мной совершеннымъ франтомъ. Изъ-за распахнувшейся на мгновеніе шубы я замѣтилъ отлично сшитый сюртукъ и ослѣпительной бѣлизны рубашку съ крупными брильянтовыми запонками; на рукахъ перчатки à double conture, на шеѣ—узенькій черный col... Только сапоги на-выпускъ обличаютъ русскаго человѣка, да и то, быть-можетъ, онъ сохранилъ ихъ потому, что видѣлъ такіе же у какого-нибудь знакомаго кирасира.

— Осипъ Иванычъ—вы?—спросилъ я нерѣшительно.

— Самолично-съ.

Онъ высунулъ изъ-подъ шубы два пальца, одинъ изъ которыхъ я слегка и потянулъ къ себѣ, сказавъ:

— Вотъ вы и въ перчаткахъ! А помните, недавно еще вы говорили, что вамъ непремѣнно голый палецъ нуженъ, чтобъ сало ловчѣе было колупать и на языкъ пробовать?

— Было... и это!—отвѣтилъ онъ, нѣсколько сконфузясь.— А что только два пальца вамъ подалъ, такъ этому есть причина: шубу поддерживаю.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ! Не шутя, вѣдь узнать васъ нельзя, Осипъ Иванычъ! Похорошѣли, помолодѣли! Просто двадцать пять лѣтъ съ костей долой! Надолго ли въ Петербургъ?

— Думаю недѣльки двѣ еще побыть.

— А помнится, вы не очень-то Петербургъ долюбливали! По дѣламъ?

— По дѣламъ... ну, и провѣтриться тоже... Сидишь-сидишь этта въ захолустьѣ—захочется и на свѣтъ Божій взглянуть!

— И прекрасно. Теперь, стало-быть, вамъ остается только «штучку» какую-нибудь подцѣпить—и дѣло въ шляпѣ! А, можетъ-быть, вы ужъ и подцѣпили?

— Есть ихъ, «штучекъ»-то... довольно здѣсь! Я, впрочемъ, не столько для нихъ, сколько для того, что ужъ оченно генералъ пріѣхать просилъ.

— Какой генералъ?

— Да вотъ что̀ лѣтось къ намъ въ К. пріѣзжалъ... сказывалъ вамъ, помнится! Насчетъ облигаціевъ...

— Стало-быть, объ концессіи хлопотать пріѣхали?

— Парень-то ужъ больно хорошъ. Говоритъ: можно сразу капиталъ на капиталъ нажить. Ну, мнѣ что-жъ! Состояніе у меня достаточное; думаю, не все же по гривенникамъ сколачивать, и мы попробуемъ, какъ люди разомъ бо̀льшіе куши гребутъ. А сверхъ того, кстати ужъ и Марья Потапьевна провѣтриться пожелала.

— Какая Марья Потапьевна?

— Ужъ и забыли? Яшенькина, сына моего, супруга... Мнѣ показалось, что, говоря это, онъ какъ-то посмотрѣлъ совсѣмъ ужъ вкось.

— Не видалъ я ее, Осипъ Иванычъ, не привелось въ ту пору. А красавица она у васъ, сказываютъ. Такъ, значитъ, вы не одни? Это отлично. Получите концессію, а потомъ, можетъ-быть, и совсѣмъ въ Петербургѣ оснуетесь. А впрочемъ, что-жъ я! Переливаю изъ пустого въ порожнее и не спрошу, какъ у васъ въ К., всѣ ли здоровы? Анна Ивановна? Николай Осипычъ?

— Что̀ имъ дѣлается! Цвѣтутъ красотой—и шабашъ. Я нынче со всѣми въ миру живу, даже съ Яшенькой поладилъ. Да и онъ за умъ взялся: сколь прежде строптивъ былъ, столь нонче покоренъ. И такъ это родительскому сердцу пріятно...

— Еще бы! Какой онъ, однако-жъ, чудакъ у васъ! Марью Потапьевну въ Петербургъ отпустилъ, а самъ въ захолустьѣ остался!

— Вѣдь не одну онъ ее отпустилъ, а съ родителемъ. Да ему-то, признаться, въ хорошую-то компанію и пойти покуда нельзя.

— Что̀ такъ?

— Да все то же. Вино мы съ нимъ очень достаточно любимъ. Да не заѣдете ли къ намъ, сударь: я здѣсь, въ Европейской гостиницѣ, поблизности, живу. Марью Потапьевну увидите; она же который день ко мнѣ пристаетъ: покажь да покажь ей господина Тургенева. А онъ, слышь, за границей. Ну, да вѣдь и вы писатель—все одно, значитъ. Э-эхъ! загоняла меня совсѣмъ молодая сношенька! Вотъ къ французу послала, прическу новомодную сдѣлать велѣла, а сама съ «калегвардами» разговаривать осталась.

— Вотъ какъ!

— Да, сударь, всякаго люду къ намъ теперь ходитъ множество. Ко мнѣ—отцы, народъ дѣловой, а къ Марьѣ Потапьевнѣ—сынки навѣдываются. Да вѣдь и то сказать: съ молодыми-то молодой поваднѣе, не-чѣмъ со стариками. Смѣху у нихъ тамъ... ну, а иной и глаза таращитъ—бабенкѣ-то и лестно, будто какъ по ней калегвардское сердце сохнетъ! Народъ военный, свѣжій, саблями побрякиваетъ—а время-то между тѣмъ идетъ да идетъ. Бываютъ и штатскіе, да все такіе же румяные да пшеничные—заодно я и всѣхъ «калегвардами» прозвалъ.

— Что-жъ, чай, любезности напѣваютъ Марьѣ Потапьевнѣ?

— Не безъ того. Вѣдь у васъ, въ Питерѣ, насчетъ женскаго-то полу утѣснительно; офицерства да чиновничества пропасть заведено, а провизіи про нихъ не припасено. Слѣдственно они и гогочутъ, эти самые «калегварды». Такъ идемъ, что ли, къ намъ?

Я согласился.

Деруновъ занималъ въ гостиницѣ отлично меблированный аппартаментъ, комнатъ въ пять. Прямо изъ передней—столовая (здѣсь въ настоящую минуту былъ накрытъ столъ, уставленный разнообразнѣйшими закусками и цѣлою батареей водокъ и винъ), изъ столовой налѣво—кабинетъ и спальня Осипа Иваныча, направо—гостиная и будуаръ Марьи Потапьевны. Въ гостиной раздавались голоса и смѣхъ. Когда мы вошли (было около двухъ часовъ утра), то глазамъ нашимъ представилась слѣдующая картина: Марья Потапьевна, въ прелестнѣйшемъ дезабилье, изъ какой-то неслыханно дорогой матеріи, лежала съ ножками на кушеткѣ и играла кистями своего пеньюара; кругомъ на стульяхъ сидѣло четверо военныхъ и одинъ штатскій. Военные принадлежали къ разнымъ родамъ оружія, но всѣ были одинаково румяны и бѣлы и всѣ одинаково глядѣли

крѣпышами; даже штатскій былъ такъ бѣлъ и румянъ, что сразу его нельзя было признать за штатскаго.

— А я тебѣ, Машенька, писателя привелъ! Шутя на улицѣ нашелъ!—балагурилъ Осипъ Иванычъ, рекомендуя меня Марьѣ Потапьевнѣ.

Марья Потапьевна поспѣшно сошла съ кушетки и какъ-то оторопѣла, словно институтка, передъ которой выросъ изъ земли учитель и требуетъ ее къ отвѣту въ ту самую минуту, когда она всѣми силами души призывала къ себѣ «калегварда». Очень возможно, что она думала, что передъ нею стоитъ самъ Тургеневъ, но я, разумѣется, поспѣшилъ ее успокоить, назвавъ себя. И—увы!—я съ горестью долженъ сознаться, что фамилія моя ровно ничего не сказала ей, кромѣ того, что я к—скій помѣщикъ и какъ-то лѣтомъ былъ у Осипа Иваныча съ предложеніемъ какихъ-то земельныхъ обрѣзковъ.

Впрочемъ, она очень предупредительно подала руку и даже на мгновеніе задумалась, словно стараясь что-то припомнить.

— Ахъ, да, вѣдь вы по смѣшной части!—наконецъ вспомнила она.

— Горестей не имѣю—отъ этого,—отвѣтилъ я, и, не знаю отчего, мнѣ вдругъ сдѣлалось такъ весело, точно я цѣлый вѣкъ былъ знакомъ съ этою милою особой.

«Сколько тутъ хохоту должно быть, въ этой маленькой гостиной, и сколько вранья!»—думалось мнѣ при взглядѣ на этихъ краснощекихъ крупичатыхъ «калегвардовъ», изъ которыхъ каждый, кажется, такъ и готовъ былъ ежеминутно прыснуть со смѣху.

— Садитесь—гости будете!—пригласила меня Марья Потапьевна, принимая прежнее положеніе на кушеткѣ.

Я сѣлъ и тутъ только всмотрѣлся въ нее. Дѣйствительно, это была женщина, въ матеріальномъ смыслѣ, очень привлекательная. Рослая, ширококостая, высокогрудая, съ румянымъ, нѣсколько болѣе чѣмъ нужно круглымъ лицомъ, съ большими сѣрыми на выкатѣ глазами, съ роскошною темнорусою косой, съ алыми пухлыми губами, осѣненными чуть замѣтно темнымъ пушкомъ, она представляла собой совершенный типъ великорусской красавицы въ самомъ завидномъ значеніи этого слова. Мнѣ досадно было смотрѣть на роскошный ея пеньюаръ и на ту нелѣпую позу, въ которой она раскинулась на кушеткѣ, считая ее, вѣроятно, за nec plus ultra аристократичности; мнѣ показа-

лось даже, что всѣ эти «калегварды», въ другихъ случаяхъ придающіе блескъ обстановкѣ, здѣсь только портятъ. Хотѣлось бы видѣть ее въ штофномъ малиновомъ сарафанѣ, въ кисейной рубашкѣ, среди хоровода. Одна рука уперлась въ бокъ, другая полукругомъ застыла въ воздухѣ, голова склонена на бокъ, роскошныя плечи чуть вздрагиваютъ, ноги каблучками притопываютъ, и вотъ она, словно павушка-лебедушка, истово плыветъ по хороводу, а парни такъ и стонутъ кругомъ, не «калегварды», а настоящіе русскіе парни, въ синихъ распашныхъ сибиркахъ, въ красныхъ александрійскихъ рубашкахъ, въ сапогахъ на-выпускъ, въ поярковыхъ шляпахъ, утыканныхъ кругомъ разноцвѣтными перьями...

Какъ по морю по Хвалынскому
Выплывала лебедь бѣлая —

раздается въ моихъ ушахъ...

Ну, скажите на милость, зачѣмъ тутъ «калегварды»? что̀ они могутъ тутъ подѣлать, несмотря на всю свою крупичатость? Вотъ кабы Дерунову, Осипу Иванычу, годовъ сорокъ съ плечъ долой—это точно! Можно было бы залюбоваться на такую парочку!

— Ну-съ, господа «калегварды», о чемъ лясы точите?— между тѣмъ фамильярно обратился къ присутствующимъ Деруновъ.

— Да вотъ, Осипъ Иванычъ, хотимъ вамъ на Марью Потапьевну пожаловаться, никакого хорошаго разговору не допускаетъ: сразу такъ оборветъ — хоть на Кавказъ переводись!—отвѣтилъ одинъ юный корнетъ, съ самымъ легкимъ признакомъ усовъ, совсѣмъ-совсѣмъ херувимъ.

— Стало-быть, перепустили маленько. А вы, господа, не все заразъ. Посрамословьте малость, да и на завтра что-нибудь оставьте! Дней-то вѣдь впереди много у Бога!

— Да мы и то крошечку... объ Шнейдершѣ чуть-чуть вспомнили!

— Знаю я вашу «крошечку». Взглянуть на васъ—ужъ такъ-то вы молоды, такъ-то молоды! Одѣнь любого въ сарафанъ — отъ дѣвки не отличишь! А какъ начнете говорить—кажется, и габвахта ваша, и та отъ вашихъ словъ со стыда сгорѣть должна!

Общій смѣхъ.

— Вотъ я и привелъ нарочно писателя: авось, молъ, онъ васъ остепенитъ. Я ужъ Иванъ Иваныча (Зачатіевскаго) къ нимъ не однажды въ компанію припускалъ—для сте-

пенности, значитъ, — а они, не будь просты, возьмутъ да и откомандируютъ его въ кондитерскую за конфетами!

Сказавъ это, Осипъ Иванычъ тоже взялъ стулъ, придвинулъ его къ кружку и сѣлъ верхомъ.

— Ну, что же притихли!—прикрикнулъ онъ.—Безъ меня, небось, словно мельница безъ мелева, а пришелъ—языки прикусили! Сказывайте, о чемъ безъ меня срамословили?

— Да что̀ при васъ... безъ васъ свободнѣе!—отозвался кто-то, и все вдругъ смолкло.

Дѣйствительно, съ нашимъ приходомъ болтовня словно оборвалась; «калегварды» переглядывались, обдергивались и гремѣли оружіемъ; штатскій «калегвардъ» нѣсколько разъ обѣими руками брался за тулью шляпы и шевелилъ губами, порываясь что-то сказать, но ничего не выходило; Марья Потапьевна тоже молчала; да, вѣроятно, она и вообще не была разговорчива, а болѣе отличалась по части млѣнія.

— Ну, батюшка, это вы страху на нихъ нагнали,— обратился ко мнѣ Деруновъ:—думаютъ, вотъ въ смѣшномъ видѣ представитъ! Ахъ, господа, господа, а еще подъ хивинца хотите идти! А я, Машенька, по приказанію вашему, къ французу ходилъ. Обнатурилъ меня въ лучшемъ видѣ и бороду духами напрыскалъ!

Марья Потапьевна лѣниво вскинула глазами на Осипа Иваныча; изъ рядовъ «калегвардовъ» послышалось нѣсколько панегирическихъ восклицаній.

— Скажите хоть вы что-нибудь!—вдругъ обратилась ко мнѣ Марья Потапьевна.

Обращеніе это застало меня совершенно врасплохъ. Вообще я робокъ съ дамами: въ одной комнатѣ быть съ ними— могу, но разговаривать опасаюсь. Все кажется, что вотъ-вотъ *она* спроситъ что-нибудь такое совсѣмъ неожиданное, на что̀ я ни подъ какимъ видомъ отвѣтить не смогу. Вотъ «калегвардъ»—тотъ отвѣтитъ; тотъ, напротивъ, при мужчинѣ совѣстится, а дама никогда не застанетъ его врасплохъ. И будутъ *они* вмѣстѣ разговаривать долго и безъ умолку, будутъ смѣяться, и—кто знаетъ—будутъ, можетъ-быть, и понимать другъ друга!

— Вы ко мнѣ?.. Но вѣдь я... право, со мной не случалось ничего такого...—бормоталъ я сконфуженно.

И въ то же время мнѣ думалось: а ну, какъ она скажетъ: «какой вы, однако-жъ, невѣжа!» Литераторъ, въ нѣкоторомъ родѣ служитель слова—и ничего не умѣетъ разсказать! Вѣроятно ли это?

Къ счастью, меня озарила внезапная мысль. Я вспомнилъ, что когда-то въ дѣтствѣ я читалъ разсказъ подъ названіемъ: «Происшествіе въ Абруццскихъ горахъ»; сверхъ того, я вспомнилъ еще, что когда наши русскіе Александры-Дюма-фисы желаютъ очаровывать дамъ (дамы ихъ спеціальность), то всегда разсказываютъ имъ это самое «Происшествіе въ Абруццскихъ горахъ», и всегда выходитъ прекрасно.

«А что, не пройтись ли и мнѣ насчетъ «Происшествія въ Абруццскихъ горахъ»?—пришло мнѣ на умъ.—Правда, я тамъ никогда не бывалъ, но вѣдь и они тоже, навѣрное, не бывали... Слѣдственно...»

Я наскоро припомнилъ басню разсказа, читаннаго мною въ дѣтствѣ, и въ то же время озаботился позаимствоваться нѣкоторыми подробностями изъ оперы «Фра-Діаволо», для соблюденія couleur locale.

— Позвольте! — воскликнулъ я, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ:—есть у меня одна вещица: «Происшествіе въ Абруццскихъ горахъ»... Происшествіе это случилось со мной лично, и если угодно, я охотно разскажу вамъ его.

Предложеніе мое встрѣтило радушный пріемъ. Марья Потапьевна томно улыбнулась и даже, оставивъ горизонтальное положеніе на кушеткѣ, повернулась въ мою сторону; «калегварды» переглянулись другъ съ другомъ, какъ бы говоря: nous allons rire.

— Итакъ,—началъ я:—я обѣщалъ вамъ, милая Марья Потапьевна, разсказать случай изъ моей собственной жизни, случай, который въ свое время произвелъ на меня громадное впечатлѣніе. Вотъ онъ:

«Происшествіе въ Абруццскихъ горахъ».

(Посвящается русскимъ беллетристамъ, очаровывающимъ русскихъ дамъ разсказами изъ собственной жизни).

«Въ 1848 году путешествовали мы съ извѣстнымъ адвокатомъ Евгеніемъ Легкомысленнымъ (для чего я привлекъ къ моему разсказу адвоката Легкомысленнаго—этого я и теперь объяснить себѣ не могу; ежели для правдоподобія, то вѣдь въ 1848 году и адвокатовъ, въ нынѣшнемъ значеніи этого слова, не существовало!) по Италіи, и, какъ сейчасъ помню, жили мы въ Неаполѣ, волочились за миловидными неаполитанками, ѣли frutti della mare и пили una fiasca dal vino. Вотъ только однажды говоритъ мнѣ Легкомысленный:

«— А не съѣздить ли намъ въ Абруццскія горы?

«— Съ какой стати въ Абруццскія горы загорѣлось?— спрашиваю я.

«— А тамъ, говоритъ, разбойники!

«Взглянулъ я, знаете, на Легкомысленнаго, а онъ такъ и горитъ храбростью. Сначала меня это озадачило: вѣдь разбойники-то, думаю, убить могутъ! Однако вижу, что товарищъ мой кипятится, ну, и я какъ будто почувствовалъ угрызеніе совѣсти.

«— Идетъ, говорю, ѣдемъ!

«Ну-съ, только ѣдемъ мы съ Легкомысленнымъ, а въ Неаполѣ между тѣмъ насъ предупредили, что разбойники всего чаще появляются подъ видомъ мирныхъ пастуховъ, а потомъ уже оказываются разбойниками. Хорошо. Взяли мы съ собой запасъ frutti della mare и una fiasca dal vino, ѣдемъ въ коляскѣ и калякаемъ.

«— А знаешь ли,—говоритъ Легкомысленный:—я понимаю поступокъ гимназиста Полозова!

«— Что̀-жъ тутъ понимать-то?

«— Нѣтъ, какъ хочешь, а нанять тройку и безъ всякой причины убить ямщика—тутъ есть своего рода дикая поэзія! Я за себя не ручаюсь... можетъ-быть, и я сдѣлалъ бы то же самое!

«— Наплевать мнѣ на твою поэзію, а ты бы вотъ объ чемъ подумалъ: Абруццскія горы близко, страшные-то разговоры оставить бы надо!

«— Помилуй! — говоритъ.—Да я затѣмъ и веду страшные разговоры, чтобъ падшій духъ въ себѣ подкрѣпить! Но знаешь, что̀ иногда приходитъ мнѣ на мысль?—прибавилъ онъ печально.—Что въ этихъ горахъ, въ виду этой суровой природы, мнѣ суждено испустить многомятежный мой духъ!

«Ладно. Между этими разговорами пріѣзжаемъ на станцію. Тутъ, говорятъ намъ, коляску оставить нужно, а придется намъ ѣхать на ослахъ. Что-жъ, на ослахъ, такъ на ослахъ! Сѣли, поѣхали.

«Отъѣхали мы верстъ десять—и вдругъ гроза. Вѣтеръ; снѣгъ откуда-то взялся; небо черное, воздухъ черный и молніи, совсѣмъ не такія, какъ у насъ, а толстыя-претолстыя. Мы къ проводникамъ: долго ли, молъ, этакъ будетъ?— не понимаютъ. А сами между тѣмъ по-своему что-то лопочутъ да посвистываютъ.

«— Молись!—кричитъ мнѣ Легкомысленный.

«И вдругъ, при этомъ его словѣ, показался въ сторонѣ

огонекъ. Смотримъ—хижина, и на порогѣ крыльца бѣдные пастухи съ факелами въ рукахъ.

«— Помнишь, что̀ намъ въ Неаполѣ о пастухахъ говорили?—шепнулъ мнѣ на ухо Легкомысленный.

«Признаюсь откровенно, въ эту минуту я именно только объ этомъ и помнилъ. Но дѣлать было нечего; пришлось сойти съ ословъ и воспользоваться гостепріимствомъ въ разбойничьемъ пріютѣ. Первое, что̀ поразило насъ при входѣ въ хижину—это чистота, почти запустѣлость, царствовавшая въ ней. Ясное дѣло, что хозяева, имѣя постоянный промыселъ на большой дорогѣ, не нуждались въ частомъ посѣщеніи этого пріюта. Затѣмъ, на стѣнахъ было развѣшано нѣсколько ружей, которыя тоже не предвѣщали ничего добраго.

«— Видишь?—спросилъ я шопотомъ Легкомысленнаго.

«Но онъ, въ отвѣтъ, только стучалъ зубами.

«Не успѣли мы снять съ себя верхнее платье и расположиться, какъ намъ принесли овечьяго сыру, козьяго молока и горячихъ лепешекъ. Но такихъ вкусныхъ лепешекъ, милая Марья Потапьевна, я ни прежде, ни послѣ—никогда не ѣдалъ! А шельмы-пастухи прислуживаютъ намъ и между тѣмъ все что-то по-своему лопочутъ.

«Поѣли, надо ложиться спать. Я заперъ дверь на крючокъ и, по разсѣянности, совершенно машинально потушилъ свѣчку. Представьте себѣ мой ужасъ: ни у меня, ни у Легкомысленнаго ни единой спички! Очутиться среди непроглядной тьмы и при этомъ слышать, какъ товарищъ, безъ малѣйшаго перерыва, стучитъ зубами! Согласитесь, что такое положеніе вовсе не благопріятно для «покойнаго сна»...

«Надо вамъ сказать, милая Марья Потапьевна, что никто никогда въ цѣломъ мірѣ не умѣлъ такъ стучать зубами, какъ стучалъ адвокатъ Легкомысленный. Слушая его, я иногда переносился мыслью въ Испанію и начиналъ вѣрить въ существованіе кастаньетъ. Во всякомъ случаѣ, этотъ стукъ до того раздражалъ мои возбужденные нервы, что я, несмотря на всѣ старанія, не могъ ни на минуту уснуть.

«Въ полночь мы совершенно явственно услышали шорохъ...

«— Слышишь?—полушопотомъ спросилъ меня Легкомысленный, переставъ стучать зубами.

«— Слышу,—отвѣтилъ я.

«— Я полагаю, что теперь самое время выстрѣлить изъ револьвера!

«— А я такъ думаю, что, покуда мы съ тобой разговариваемъ, разбойники давно ужъ догадались и спрятались. Будемъ же молчать и ожидать.

«И дѣйствительно, едва мы умолкли какъ шорохъ прекратился.

«Черезъ полчаса онъ, однако-жъ, возобновился съ новой силой.

«— Слышишь?—вновь спросилъ меня Легкомысленный.

«— Стрѣляй!—отвѣчалъ я рѣшительно.

«— Но я боюсь стрѣлять!

«— И все-таки стрѣляй, потому что ты адвокатъ! Въ случаѣ чего, ты можешь цѣлый романъ выдумать, сказать, напримѣръ, что на тебя напала толпа разбойниковъ, и ты находился въ состояніи самозащиты, а я сказать этого не могу, потому что лгать не привыкъ.

«Не успѣлъ я высказать всего этого, какъ раздался выстрѣлъ. И въ то же время два вопля поразили мой слухъ: одинъ раздирающій, похожій на визгъ, другой — въ которомъ я узналъ искаженный голосъ моего друга.

«— Легкомысленный! ты убитъ или ты убилъ?—воскликнулъ я, пораженный ужасомъ.

«Но прежде, нежели я получилъ отвѣтъ, снаружи послышались голоса. Проводники, пастухи — все это всполошилось и стучалось къ намъ въ дверь. Разумѣется, я уперся и не отпиралъ, но дюжіе молодцы въ одну минуту высадили дверь, и безъ того чуть державшуюся на ржавыхъ петляхъ. И что̀ же представилось нашимъ взорамъ при свѣтѣ факеловъ?! Во-первыхъ, на полу простерта была прострѣленная насквозь кошка и, во-вторыхъ, на лавкѣ лежалъ въ глубокомъ обморокѣ мой другъ. Разумѣется, мы прежде всего употребили энергическія усилія, чтобъ возвратить Легкомысленнаго къ сознанію, а остальное время ночи посвятили разъясненію недоразумѣній. Оказалось, что наши хозяева совсѣмъ не разбойники, а дѣйствительно добродушные пастухи, которые на другой день опять накормили насъ сыромъ и лепешками и даже напутствовали своими благословеніями.

«На этотъ разъ Легкомысленный спасся. Но предчувствіе не обмануло его. Не успѣли мы сдѣлать еще двухъ переходовъ, какъ на него напали три голодные зайца и въ нашихъ глазахъ растерзали на клочки! Бѣдный другъ! съ

какою грустью онъ предсказывалъ себѣ смерть въ этихъ негостепріимныхъ горахъ! И какъ онъ хотѣлъ жить!

«Хотите вѣрьте, хотите не вѣрьте этой исторіи, милая Марья Потапьевна, но вы видите предъ собою не только очевидца, но и участника ея».

«Конецъ».

Я кончилъ, но, къ удивленію, исторія моя не произвела никакого эффекта. Очевидно, я адресовался съ нею не туда, куда слѣдуетъ. «Калегварды» переглядывались. Марья Потапьевна какъ-то вяло проговорила:

— Я думала, что вы смѣшное что-нибудь разскажете, а вы, напротивъ, печальное...

А Осипъ Иванычъ сказалъ:

— Слышалъ я что-то: одинъ купецъ у насъ сказывалъ, что съ нимъ подъ Корчевой на постояломъ такое же дѣло приключилось...

Затѣмъ всѣ вдругъ зѣвнули.

— А что, господа «калегварды», въ столовой закуска-то зачѣмъ-же-нибудь да поставлена! Ходимъ! — провозгласилъ Осипъ Иванычъ.

Дѣйствительно, это былъ самый лучшій и, повидимому, даже давно желанный исходъ изъ затрудненія, въ которомъ неожиданно очутилась веселая компанія. Оружіе загремѣло, стулья задвигались, и мы всѣ, вслѣдъ за поднявшеюся Марьей Потапьевной, направились въ столовую.

Въ столовой всѣмъ стало какъ-то поваднѣе. «Калегварды» выпили по двѣ рюмки водки и затѣмъ, по мѣрѣ закусыванья, поглощали соотвѣтствующее количество хересу и другихъ напитковъ. Разговоръ сдѣлался шумнымъ; предметомъ его служила Жюдикъ. Нѣкоторые хвалили; одинъ «калегвардъ» даже сталъ въ позу и спѣлъ «la Chatouilleuse». Другіе, напротивъ того, порицали, находя, что Жюдикъ слишкомъ добродѣтельна, и что, напримѣръ, Шнейдерша...

— Чортъ ли мнѣ въ ея добродѣтели!—восклицалъ одинъ изъ порицателей,—Если я на добродѣтель хочу любоваться, я, конечно, въ Буффъ не пойду!

— Ты не понимаешь, душа моя!—возражалъ одинъ изъ хвалителей: — это только такъ кажется, что она добродѣтельна, а въ сущности—c'est une coquine accompile! Вслушайся, напримѣръ, какъ она поетъ:

Assez!
Finissez!
Monsieur! vous me faites mal!

вѣдь она произноситъ это, какъ будто она совсѣмъ-совсѣмъ невинная, а вглядись-ка въ нее поближе...

— Elle est tellement innocente
Qu'elle ne comprend presque rien!

запѣлъ штатскій «калегвардъ».

— То-то вотъ и есть! — подхватилъ панегиристъ Жюдикъ: — «qu'elle ne comprend presque rien!» — это очень тонко, душа моя!

— Оченно хорошо она это представляетъ,—подтвердила и Марья Потапьевна.

— Хорошо-то хорошо, — подался порицатель: — а все-таки... Помните, Шнейдеръ въ «Dites - lui» — вотъ это... масло! Нѣтъ, воля твоя, мнѣ въ «Буффъ» добродѣтели не нужно! Добродѣтель — я ее уважаю, это опора, это, такъ сказать, основаніе... je n'ai rien à dire contre cela! Но въ «Буффъ»...

— А я такъ, право, дивлюсь на васъ, господа «калегварды»! — по своему обыкновенію, нѣсколько грубо прервалъ эти споры Осипъ Иванычъ: — что вы за скусъ въ этихъ Жюдикахъ находите! Смотрѣлъ я на нее намеднись: вертитъ хвостомъ ловко — это такъ! А настоящаго фундаменту, чтобъ, значитъ, во всѣхъ статьяхъ самостоятельность чувствовалась — ничего такого у нея нѣтъ! Да и не можетъ его быть у французенки!

— Ха-ха! «фундаментъ»! délicieux! Про какой же это «фундаментъ» вы изволите говорить, Осипъ Иванычъ? — подстрекнулъ старика одинъ изъ «калегвардовъ».

— А про такой, чтобы и поясница, и бёдра—все чтобы въ настоящемъ видѣ было! Ты французенкѣ-то не вѣрь: она передъ тобой бедрами шевелитъ—анъ тамъ однѣ юбки. Вотъ какъ наша русская, которая ежели утробистая, такъ это точно! Какъ почнетъ въ хороводѣ бедрами вздрагивать— инда все нутро у тебя переберетъ!

— А вы-таки, Осипъ Иванычъ, любитель!

— Въ стары годы охочъ былъ. А впрочемъ, скажу прямо: и молодъ былъ — никогда этихъ соусовъ да труфелей не любилъ. По-моему, коли ежели все какъ слѣдуетъ на-лицо, такъ труфель тутъ только препятствуетъ.

— Однако вы тоже, папаша, только молодымъ предики

читаете, а сами, ишь ты, какой разговоръ завели! — укорила Марья Потапьевна.

— Я, сударыня, настоящій разговоръ веду! Я натуральные виды люблю, которые, значитъ, отъ Бога такъ созданы. А что̀ создано, то все на потребу, и никакой въ томъ гнусности или разврату нѣтъ, кромѣ того, что говорить о томъ пріятно. Вотъ имъ, «калегвардамъ», натуральный видъ противенъ — это точно. Для нихъ главное дѣло, чтобы вывертъ былъ, да погнуснѣе чтобы... Настоящаго чтобы ничего, а только чтобы подлость одна!

— Ну, господа, бѣда! Теперь намъ всѣмъ одно отъ Осипа Иваныча рѣшеніе—въ молчанку играть!—воскликнулъ одинъ изъ «калегвардовъ».

— Нѣтъ, я ничего! По мнѣ что! Пожалуй, хоть до завтрева языкомъ мели! Я вотъ только насчетъ срамословія: не то, говорю, срамословіе, которое отъ избытка естества, а то, которое отъ мечтанія. Такъ ли я, сударь, говорю? — обратился Осипъ Иванычъ ко мнѣ.

— Да какъ вамъ сказать! Я думаю, что вообще, и «отъ избытка естества», и «отъ мечтанія», матерія эта сама по себѣ такъ скудна, что если съ утра до вечера о ней говорить, то непремѣнно въ концѣ концовъ должно почувствоваться утомленіе.

— Вотъ объ этомъ самомъ я и говорю. Естества, говорю, держись, потому естество—оно отъ Бога, и предѣлъ ему отъ Бога положенъ. А мечтанію этому — конца-краю ему нѣтъ. Далъ ты ему волю однажды — оно ежеминутно тебѣ пакость за пакостью представлять будетъ!

Покуда мы такимъ образомъ морализировали, «калегварды» втихомолку вели свой особливый разговоръ: слышалось шушуканье и тихое, сдержанное хихиканье; казалось, что вотъ-вотъ сама Марья Потапьевна сейчасъ запоетъ:

Assez!
Finissez!
Monsieur! vous me faites mal!

Вообще старики неразсчетливо поступаютъ, смѣшиваясь съ молодыми. Увы! какъ они ни стараются поддѣлаться подъ молодой тонъ, а все-таки подъ конецъ на мораль сведутъ. Вотъ я, напримѣръ — ну, зачѣмъ я это несчастное «Происшествіе въ Абруццскихъ горахъ» разсказалъ? То ли бы дѣло, если-бъ я провелъ параллель между Шнейдершей и Жюдикъ! провелъ бы весело, умно, съ самымъ тонкимъ

запахомъ милой бездѣлицы! Какъ бы я всѣхъ оживилъ! Какъ бы все это разомъ встрепенулось, запѣло, загоготало!

Словомъ сказать, я почувствовалъ себя лишнимъ и потому, улучивъ первую удобную минуту, взялъ шляпу и сталъ раскланиваться.

— Вы лучше вечеркомъ къ намъ зайдите, — любезно пригласилъ меня Осипъ Иванычъ: — по пятницамъ у насъ хорошіе люди собираются. Можетъ-быть, въ стуколку сыграете, а не то такъ Иванъ Иванычъ и по маленькой партію составитъ.

Несмотря на богатство обстановки, которое я сейчасъ видѣлъ, впечатлѣніе, вынесенное мною, было очень непріятно. Мнѣ было жаль прежняго Дерунова, въ старозавѣтномъ синемъ сюртукѣ, желающаго «худымъ платьемъ» вселить въ нѣмцѣ-негоціантѣ увѣренность въ своей «обстоятельности», пробующаго на языкъ сало, дающаго извозчику сначала двугривенный и потомъ постепенно съѣзжающаго на гривенникъ, и т. д. Несмотря на всю несовмѣстность подобныхъ поступковъ съ милліоннымъ состояніемъ, въ личности Осипа Иваныча не было ничего такого, что̀ бы сразу претило. Посторонній человѣкъ рѣдко проникаетъ глубоко, еще рѣже задается вопросомъ, какимъ образомъ изъ ничего полагается основаніе милліонамъ и на что̀ можетъ-быть способенъ человѣкъ, который создалъ себѣ какъ бы ремесло изъ выжиманія пятаковъ и гривенниковъ. Ему видится въ Деруновѣ какая-то искренность и простота, которыя дѣлаютъ отношенія къ нему до крайности легкими. Осипъ Иванычъ могъ прямо смотрѣть въ глаза своему собесѣднику, разсказывая о гривенникахъ, пятакахъ, о колупаніи сала и о пользѣ «худого платья» въ коммерческомъ дѣлѣ. Онъ былъ въ этомъ случаѣ только юмористомъ, добродушно подсмѣивающимся надъ самимъ собой и въ то же время снисходительно выдерживающимъ и чужую шутку. Другое дѣло, если-бъ онъ разсказалъ самую подноготную выжимательнаго процесса; но вѣдь и то сказать: еще вопросъ, понималъ ли онъ самъ, что тутъ существуетъ какая-то подноготная, и что она можетъ быть подвергаема нравственной оцѣнкѣ.

По крайней мѣрѣ, что касается до меня, то хотя я и понималъ довольно отчетливо, что Деруновъ своего рода вампиръ, но наружное его добродушіе всегда какъ-то подкупало меня. А еще болѣе подкупали его практическій умъ

и его бывалость. Въ первомъ смыслѣ, никто не могъ подать болѣе дѣлового совѣта, какъ въ данномъ случаѣ поступить (разумѣется, можно было слѣдовать или не слѣдовать этому совѣту — это уже зависѣло отъ большей или меньшей нравственной брезгливости,—но нельзя было не сознавать, что при извѣстныхъ условіяхъ это именно тотъ самый совѣтъ, который наиболѣе выгоденъ); во второмъ смыслѣ, никто не зналъ столько «Приключеній въ Абруццскихъ горахъ» и никто не умѣлъ разсказать ихъ такъ занятно. Даже явно неправдоподобные разсказы его о чудодѣйственной силѣ скапливаемыхъ гривенниковъ и пятаковъ не казались особенно непріятными, потому что въ самой манерѣ разсказыванія уже слышалось его собственное ироническое отношеніе къ предмету разсказовъ. Видно было, что при этомъ онъ имѣлъ въ виду одну цѣль: такъ-называемое «заговариванье зубовъ», но, какъ человѣкъ умный, онъ и тутъ различалъ людей и зналъ, кому можно «заговаривать зубы» наголо̀, и кому съ тонкимъ оттѣнкомъ юмора, придающаго рѣчи пріятный полузагадочный характеръ.

Теперь, съ исчезновеніемъ старозавѣтной обстановки, исчезла и прежняя загадочность; выжиманіе гроша втихомолку смѣнилось наглымъ вожделѣніемъ грабежа, и хотя старинный юморъ по временамъ еще сказывается, но имѣетъ уже характеръ случайный, искусственный. Очевидно, что Деруновъ ужъ оставилъ всякую оглядку, что онъ не будетъ впредь ни колоколовъ лить, ни пудовыхъ свѣчей къ образамъ ставить, что онъ совсѣмъ бросилъ мысль о гривенникахъ и пятакахъ и задумалъ грабить наголо̀ и въ болѣе приличной формѣ. Всѣ мелкіе виды грабежа, производимые надъ живымъ матеріаломъ и потому сопровождаемые протестомъ въ формѣ оханья и криковъ, онъ предоставляетъ сыну Николашенькѣ и приказчикамъ, самъ же на будущее время исключительно займется грабежомъ «отвлеченнымъ», не сопряженнымъ съ оханьями и криками, но дающимъ въ нѣсколько часовъ рубль на рубль. «И голова у тебя свободна, и совѣсть чиста—потому «разговоровъ нѣтъ!»—такъ, я увѣренъ, разсуждаетъ онъ въ настоящее время. Генералъ, который нарочно пріѣзжалъ въ К., чтобы доказать Осипу Иванычу, что въ его рублѣ даже надобности никакой нѣтъ, что онъ нуженъ только для прилику, для видимости, а что два другихъ рубля на этотъ мнимый рубль придутъ сами собой, — успѣлъ въ этомъ больше, чѣмъ надо. Деруновъ вдругъ утратилъ присущее

всякому русскому кулаку представленіе о существованіи Сибири, или, лучше сказать, онъ и теперь еще помнитъ о ней, но знаетъ навѣрное, что Сибирь существуетъ не для него, а для «другихъ-прочіихъ».

И вотъ, хотя отвлеченный грабежъ, повидимому, гораздо меньше рѣжетъ глаза и слухъ, нежели грабежъ, производимый въ формѣ операціи надъ живымъ матеріаломъ, но глаза Осипа Иваныча почему-то уже не смотрятъ такъ добродушно-ясно, какъ сматривали во время оно, когда онъ въ «худой одёжѣ» за гривенникъ доѣзжалъ до биржи; напротивъ того, онъ старается ихъ скосить вбокъ, особливо при встрѣчѣ съ старымъ знакомымъ. Онъ какъ бы чувствуетъ, что его уже не защищаетъ больше ни «глазокъ-смотрокъ», ни «колупанье пальцемъ», ни та безконечная сутолока, которой онъ съ утра до вечера, въ качествѣ истаго хозяина-пріобрѣтателя, предавался и которая оправдывала его въ его собственномъ мнѣніи, а пожалуй и въ мнѣніи другихъ. Теперь онъ оголенъ; онъ ходитъ праздно съ утра до вечера и только соображаетъ, въ какой степени выгодна новая финансовая пакость, которую предложилъ ему «генералъ». По изстари установившемуся въ немъ самомъ понятію, все это никоимъ образомъ не осуществляетъ представленія о «дѣлѣ», какъ о чемъ-то сопряженномъ съ трудомъ. Онъ вполнѣ сознаетъ, что тутъ нѣтъ и тѣни «труда», а есть только ничѣмъ неприкрытое ёрничество, сопровождаемое наглымъ бросаніемъ денегъ и бражничаньемъ безъ конца.

Самыя отношенія его къ Марьѣ Потапьевнѣ утратили прежнюю загадочность. Нагота ихъ разомъ всплыла наружу и для своего прикрытія потребовала такой обстановки, которая сообщаетъ этимъ отношеніямъ характеръ еще большей пошлости. Въ обществѣ «сквернослововъ» Осипъ Ивановичъ самъ незамѣтно сдѣлался сквернословомъ, и хотя еще держится въ этомъ отношеніи на реальной почвѣ, но кто же можетъ поручиться, что дальнѣйшая практика не сведетъ и его, въ ближайшемъ будущемъ, на ту почву мечтанія, о которой онъ покуда отзывается съ негодованіемъ. Благо въ жизнь вошелъ элементъ срамословія, а что традиціи его будутъ пройдены всѣ до конца— это неминуемо. И тогда—Марьѣ Потапьевнѣ матъ; Осипъ Иванычъ войдетъ во вкусъ и не станетъ смотрѣть, «утробиста» ли женщина или «неутробиста», а будетъ подмѣчать только, какъ она «виляетъ хвостомъ». И останется

онъ постояннымъ жителемъ города С.-Петербурга, и найметъ себѣ дѣвицу Сузетту, а Марью Потапьевну ушлетъ въ К., въ жертву издѣвкамъ Анны Ивановны и семьи Николая Осиповича...

Тѣмъ не менѣе въ одну изъ пятницъ я отправился въ Европейскую гостиницу, отправился отъ скуки, самъ не сознавая зачѣмъ. Было довольно поздно, когда я пришелъ. Въ столовой стоялъ раздвинутый столъ, уставленный фруктами, конфетами и крюшонами съ шампанскимъ; въ кабинетѣ у Осипа Иваныча, вокругъ трехъ соединенныхъ ломберныхъ столовъ, сидѣло человѣкъ десять, которые играли въ стуколку. Было страшно накурено; тамъ и сямъ около играющихъ виднѣлись стаканы съ шампанскимъ. Среди плавающихъ облаковъ дыма я замѣтилъ нѣсколько физіономій, несомнѣнно принадлежащихъ тузамъ финансоваго міра—физіономій, по носамъ которыхъ можно было безошибочно заключить о восточномъ ихъ происхожденіи. Нѣсколько перстней съ крупными брильянтами блеснуло мнѣ въ глаза. Тутъ же сидѣлъ и «генералъ», человѣкъ очень угрюмаго вида, когда-то бывшій полководецъ, совершившій знаменитую переправу черезъ рѣку Вьюлку *) и побѣдившій мятежныхъ семендяевцевъ **), но теперь, за побѣдой и одолѣніемъ, оставшійся за штатомъ и нашедшій пріютъ около концессіонеровъ. Тишина царствовала невозмутимая, прерываемая только условнымъ стуканьемъ пальцевъ и хлясканіемъ картъ. Одинъ Осипъ Иванычъ изрѣдка балагурилъ, немилосердно мусля при этомъ карты. Посреди стола лежала изрядная куча скомканныхъ бумажекъ.

Мое появленіе взбудоражило всю компанію. Осипъ Иванычъ выразилъ какъ бы недоумѣніе, увидѣвъ меня; когда же онъ назвалъ мою фамилію, то такое же недоумѣніе сказалось и на другихъ лицахъ.

— Съ нами, что ли, въ стуколку играть сядете?—тѣмъ не менѣе любезно обратился ко мнѣ хозяинъ, дѣлая видъ, что очищаетъ мѣсто подлѣ себя.

— Нѣтъ, я ужъ къ Марьѣ Потапьевнѣ...

— Ну, къ Марьѣ Потапьевнѣ, такъ къ Марьѣ Потапьевнѣ! А у ней соскучитесь, такъ съ Иваномъ Иванычемъ займетесь. Иванъ Иванычъ! вотъ, братецъ, гость тебѣ! Займи! Да смотри, чтобъ не соскучился! Да чаю имъ,

---

*) Тверской губерніи, Калязинскаго уѣзда.

**) Торговое село Семендяево, тамъ же.

да по питейной части чтобъ неустойки не было! Милости просимъ, сударь!

Иванъ Иванычъ Зачатіевскій, куда-то исчезавшій въ минуту моего прихода, словно изъ земли выросъ на зовъ своего патрона и стоялъ уже сзади меня, готовый по первому манію увлечь меня хоть въ преисподнюю.

— Пожалуйте-съ! Марья Потапьевна будутъ очень рады-съ!—говорилъ Иванъ Иванычъ, уводя меня подъ-руку изъ кабинета.

— Помѣщикъ изъ нашихъ мѣстовъ... Еще родителя ихъ знавалъ...—объяснялъ, слѣдомъ за мной, Деруновъ, повидимому, все еще недоумѣвающимъ игрокамъ и, сказавъ это, намуслилъ карты и стукнулъ.

Въ гостиной, вокругъ Марьи Потапьевны, тоже собралось человѣкъ около десяти, въ числѣ которыхъ былъ даже одинъ дипломатъ, сухой, длинный, желтый, со звѣздой на груди. Въ ту минуту, когда я вошелъ, дипломатъ объяснялъ Марьѣ Потапьевнѣ происхожденіе, значеніе и цѣль брюссельскихъ конференцій.

— Представьте себѣ, chère Марья Потапьевна, что одна изъ воюющихъ сторонъ вошла въ непріятельскую землю,— однозвучно цѣдилъ онъ сквозь зубы, отчего его рѣчь была похожа на гудѣнье.—Что̀ мы видимъ въ подобныхъ случаяхъ? А то, что мѣстное населеніе старается всячески повредить побѣдоносному врагу, устраиваетъ ему измѣнническія засады, бѣжитъ въ лѣса, заранѣе опустошая и предавая огню все, что̀ стоитъ на его пути, предательски убиваетъ солдатъ и офицеровъ, словомъ сказать, совершаетъ все, что̀ дикость и варварство могутъ внушить ему... Тогда какъ тогда...

Мой приходъ помѣшалъ дальнѣйшему развитію объясненій. Но и въ гостиной Марьи Потапьевны я былъ не болѣе счастливъ, чѣмъ въ кабинетѣ Осипа Иваныча. Она словно забыла мое лицо и одно мгновеніе какъ бы колебалась; потомъ однако-жъ вспомнила и подала мнѣ руку, нѣсколько кисло улыбнувшись. «Калегварды», которыхъ я уже встрѣтилъ во время моего перваго утренняго визита, приняли меня радушнѣе. Казалось, имъ надоѣлъ дипломатъ (онъ навѣрное надоѣлъ и Марьѣ Потапьевнѣ), и они надѣялись, что мой приходъ дастъ бесѣдѣ новое направленіе. Многіе зѣвали, и ежели не уходили, то только благодаря крюшонамъ, стоявшимъ въ столовой, и ожидаемой перспективѣ ужина. Что касается до дипломата,

то онъ взглянулъ на меня съ недоумѣніемъ, почти непріязненно.

— Помѣщики изъ нашихъ мѣстовъ,—какъ бы оправдывалась Марья Потапьевна, называя меня по фамиліи.

— Вы, кажется, писатель? — спросилъ дипломатъ, сопровождая этотъ вопросъ какимъ-то невыразимо-загадочнымъ взглядомъ, въ которомъ въ одинаковой степени смѣшались и брезгливость, и смутное опасеніе быть угаданнымъ, и желаніе подольститься, показать, что и мы, дескать, не чужды...

Я поклонился, думая въ то же время (эта мысль преслѣдуетъ меня вездѣ и всегда): а ну, какъ послѣдуетъ назначеніе... вѣдь бывали же примѣры!

— Они по смѣшной части! — объяснила Марья Потапьевна.

— Ah! Ah! «по смѣшной части»! joli! Именно, именно по «смѣшной части»! Faites-nous rire, monsieur. Мы такъ бѣдны смѣхомъ, что нужно, чтобы кто-нибудь расправлялъ наши морщины.

Онъ благосклонно подалъ мнѣ руку, затѣмъ обратился къ прерванному разговору и окончательно разъяснилъ Марьѣ Потапьевнѣ пользу брюссельскихъ конференцій.

Исполнивъ это, онъ любезно обратился къ «калегвардамъ».

— Ну-съ, господа, какъ идутъ дѣла съ м-мъ Жюдикъ?

— Да что̀, баронъ! Нельзя сказать, чтобы очень... добродѣтельна черезчуръ!—отозвался тотъ самый «калегвардъ», который и въ первый визитъ мой заявилъ себя противникомъ Жюдикъ.

— Ну, нѣтъ-съ; я вамъ скажу, это женщина... это, какъ по-испански говорится, salado... salada... Такъ, кажется?

— Такъ-то такъ, баронъ, но къ чему эта строгость... ce puritanisme, enfin!

— Не знаю, не замѣтилъ... А по моему мнѣнію, бываетъ воздержность, которая гораздо больше говоритъ, нежели самая недвусмысленная жестикуляція... Впрочемъ, вы, молодежь, лучшіе цѣнители въ этомъ дѣлѣ, нежели мы, старики. Вамъ и книги въ руки.

— Что касается до меня, то я совершенно вашего мнѣнія, баронъ!—вступился «калегвардъ», приверженецъ Жюдикъ.—Я говорю: жестъ актрисы никогда не долженъ давать все сразу! Онъ долженъ оставлять желать, долженъ *возбуждать* воображеніе, открывать передъ нимъ перспек-

тивы... Schneider! Что такое Schneider? Это нѣсколько усовершенствованная Alphonsine—и ничего больше! Она сразу даетъ все, она не оставляетъ моему чувству никакого повода для самодѣятельности... Je vous demande un peu, si c'est de l'art!

— Такъ-съ, такъ-съ, совершенно съ вами согласенъ... Vous avez saisi mon idée! А впрочемъ, вы, кажется, изъ корпуса вышли первымъ, если не ошибаюсь...

— Точно такъ, баронъ.

— Н-да... это такъ... Жюдикъ... Salado, salada... Ну-съ, chère Марья Потапьевна, я васъ долженъ оставить!—произнесъ дипломатъ, съ достоинствомъ взвиваясь во весь ростъ и взглядывая на часы.—Одиннадцать! А меня ждетъ еще цѣлый ворохъ депешъ! Пойти на минуту къ почтеннѣйшему Осипу Иванычу—и затѣмъ домой!

— А я думала, что вы съ нами отужинаете, баронъ?

— Нѣтъ, chère Марья Потапьевна, я въ этомъ отношеніи строго слѣдую предписаніямъ гигіены: стаканъ воды на ночь—и ничего больше!

И, подавъ Марьѣ Потапьевнѣ руку, а прочимъ сдѣлавъ общій поклонъ, онъ вышелъ изъ гостиной въ сопровожденіи Ивана Иваныча, который, выпятивъ круглый животикъ и граціозно виляя имъ, послѣдовалъ за нимъ. Пользуясь передвиженіемъ, которое произвело удаленіе дипломата, поспѣшилъ и я въ столовую.

— Ну, теперь я васъ не выпущу!—шепнулъ мнѣ по дорогѣ Иванъ Иванычъ.—Вотъ дайте только проводить генерала.

Дипломатъ прослѣдовалъ въ кабинетъ и благосклонно присѣлъ около Осипа Иваныча, который въ эту самую минуту загребъ цѣлую уйму денегъ.

— Ну-съ, господа, какъ поигрываете? — спросилъ дипломатъ.

— Да вотъ его превосходительство побѣждаетъ,—шутилъ Осипъ Иванычъ, указывая на бывшаго полководца.

— Да? Непобѣдимъ, какъ и вездѣ: и на полѣ сраженія, и на зеленомъ полѣ! А я съ вами, генералъ, когда-нибудь намѣренъ серьезно поспорить! Переправа черезъ Вьюлку—это, безспорно, одно изъ славнѣйшихъ дѣлъ новѣйшей военной исторіи, но ошибочка съ вашей стороны таки-была!

— Толкуй больной съ подлѣкаремъ! — проворчалъ себѣ подъ носъ полководецъ.

— Нечего, ваше превосходительство, сердиться! — съ

своей стороны подшучивалъ Осипъ Иванычъ:—ихъ превосходительство это правильно замѣтить изволили! Была ошибочка, дѣйствительно ошибочка была!

— Я, по крайней мѣрѣ, позволяю себѣ думать, что если бы вы въ то время взяли направленіе чуть-чуть влѣво, то талдомцы *) не успѣли бы придти на помощь мятежнымъ семендяевцамъ, и вы не были бы вынуждены пробивать кровавый путь, чтобъ достигнуть соединенія съ генераломъ Голотыловымъ. Сверхъ того, вы успѣли бы обойти Никитскія болота и не потопили бы въ нихъ своей артиллеріи!

— Да что̀ говорить, ваше превосходительство,—подзадоривалъ Осипъ Иванычъ:—я самъ тамошній житель и вѣрно это знаю. Сдѣлай теперича генералъ направленіе влѣво, къ тому, значитъ, мѣсту, гдѣ и безъ того готовый мостъ черезъ Вьюлку выстроенъ, первое дѣло—не нужно бы совсѣмъ переправы дѣлать, второе дѣло — кровопролитія не было бы, а третье дѣло—артиллерія осталась бы цѣла!

— Ну, вотъ видите! Я хоть и не тактикъ, а сейчасъ замѣтилъ... Впрочемъ, господа, побѣдителя не судятъ!—рѣшилъ дипломатъ и съ этимъ словомъ окончательно всталъ, чтобы удалиться.

Осипъ Иванычъ кинулся-было за нимъ, но дипломатъ благосклоннымъ жестомъ руки усадилъ его на мѣсто. Это не помѣшало, однако, Дерунову вновь встать и постоять въ дверяхъ кабинета, слѣдя взоромъ за Иваномъ Иванычемъ, провожавшимъ дорогого гостя.

— Ну, слава Богу, проводили!—сказалъ мнѣ Зачатіевскій, возвращаясь изъ передней.—Теперь вы—нашъ гость; садитесь-ка сюда, поближе къ источнику!—прибавилъ онъ, усаживая меня къ столу, уставленному фруктами и питіями.

Я не разъ бывалъ у Зачатіевскаго во время наѣздовъ Дерунова въ Петербургъ, но зналъ его вообще довольно мало. Помню, что онъ называлъ Осипа Иваныча благодѣтелемъ, но я никогда особенно не вѣрилъ искренности его изліяній. Въ сущности, благодѣянія, изливаемыя семействомъ Деруновыхъ на Зачатіевскаго, были очень скудны и едва ли вознаграждали послѣдняго за хлопоты и стѣсненія. Несмотря на неприхотливость Осипа Иваныча, правила гостепріимства требовали и успокоить его, то-есть отдать въ его распоряженіе лучшій уголъ, и приготовить

---

*) *Талдомъ—тоже торговое* село въ Калязинскомъ уѣздѣ.

лишнее блюдо къ обѣду. Все это дѣлалось почти безкорыстно, потому что Деруновъ отбояривался домашнею провизіей, присылаемой изъ К., и тѣмъ, что крестилъ дѣтей у Зачатіевскаго, при чемъ давалъ на зубокъ выигрышный билетъ съ пожеланіемъ двухсотъ тысячъ. Но таково уже магическое дѣйствіе богатства: Зачатіевскій, быть-можетъ, и ругалъ втихомолку Дерунова, но никогда не позволялъ себѣ отказать ему въ какой-либо услугѣ, хотя бы для этого онъ вынужденъ былъ бѣгать нѣсколько дней сряду высуня языкъ.

Впрочемъ, сама природа, казалось, создала Зачатіевскаго для услуги. Онъ былъ средняго роста и весь круглый. Круглый животъ, круглая спина, округлыя ляжки, круглые, какъ сосиски, пальцы—все это съ перваго раза дѣлало впечатлѣніе, что вотъ-вотъ этотъ человѣкъ сейчасъ засѣменитъ ногами и побѣжитъ, куда приказано. Круглое, одутловатое и нѣсколько суженное кверху лицо не свидѣтельствовало о значительныхъ умственныхъ способностяхъ, но постоянно выражало возбужденность и беззавѣтную готовность что-то выслушать и сейчасъ же исполнить. И на лицѣ у него все было кругло: полныя щеки, носъ картофелиной, губы сердечкомъ, маленькій лобъ горбикомъ, глаза кругленькіе и свѣтящіеся, словно можжевеловыя ягодки у хлѣбнаго жаворонка, и поверхъ ихъ круглыя очки, которыя онъ безпрестанно снималъ и вытиралъ. Даже лысина на его головѣ имѣла видъ пятачка, получившаго постепенно значительное распространеніе. Проворенъ онъ былъ изумительно, и я думаю, что въ этомъ случаѣ ему въ весьма большой степени помогала бочковатость его существа. Онъ устремлялся впередъ и при этомъ учтиво вилялъ всѣмъ тѣломъ, что особенно пріятно поражало начальствующихъ лицъ.

Несмотря, однако-жъ, на услужливость, дѣйствительной доброты въ немъ не было. Собственно говоря, онъ былъ услужливъ помимо своей воли, потому только, что тѣло его очень удобно для этого было приспособлено. Но, оказывая услуги, вскакивая и устремляясь словно на пружинахъ, онъ внутренно роптал и завидовалъ. Въ этой зависти, впрочемъ, скорѣе сказывалось завидущее пономарское естество, которое всю жизнь какъ будто куда-то человѣка подманиваетъ и всю жизнь оставляетъ его на бобахъ. На дѣлѣ онъ довольствовался очень малымъ, но глазами захапалъ бы, кажется, цѣлый міръ. Вообще это былъ очень своеобразный малый, въ которомъ полное отсутствіе воли

своей стороны подшучивалъ Осипъ Иванычъ:—ихъ превосходительство это правильно замѣтить изволили! Была ошибочка, дѣйствительно ошибочка была!

— Я, по крайней мѣрѣ, позволяю себѣ думать, что если бы вы въ то время взяли направленіе чуть-чуть влѣво, то талдомцы *) не успѣли бы придти на помощь мятежнымъ семендяевцамъ, и вы не были бы вынуждены пробивать кровавый путь, чтобъ достигнуть соединенія съ генераломъ Голотыловымъ. Сверхъ того, вы успѣли бы обойти Никитскія болота и не потопили бы въ нихъ своей артиллеріи!

— Да что̀ говорить, ваше превосходительство,—подзадоривалъ Осипъ Иванычъ:—я самъ тамошній житель и вѣрно это знаю. Сдѣлай теперича генералъ направленіе влѣво, къ тому, значитъ, мѣсту, гдѣ и безъ того готовый мостъ черезъ Вьюлку выстроенъ, первое дѣло—не нужно бы совсѣмъ переправы дѣлать, второе дѣло — кровопролитія не было бы, а третье дѣло—артиллерія осталась бы цѣла!

— Ну, вотъ видите! Я хоть и не тактикъ, а сейчасъ замѣтилъ... Впрочемъ, господа, побѣдителя не судятъ!—рѣшилъ дипломатъ и съ этимъ словомъ окончательно всталъ, чтобы удалиться.

Осипъ Иванычъ кинулся-было за нимъ, но дипломатъ благосклоннымъ жестомъ руки усадилъ его на мѣсто. Это не помѣшало, однако, Дерунову вновь встать и постоять въ дверяхъ кабинета, слѣдя взоромъ за Иваномъ Иванычемъ, провожавшимъ дорогого гостя.

— Ну, слава Богу, проводили!—сказалъ мнѣ Зачатіевскій, возвращаясь изъ передней.—Теперь вы—нашъ гость; садитесь-ка сюда, поближе къ источнику!—прибавилъ онъ, усаживая меня къ столу, уставленному фруктами и питіями.

Я не разъ бывалъ у Зачатіевскаго во время наѣздовъ Дерунова въ Петербургъ, но зналъ его вообще довольно мало. Помню, что онъ называлъ Осипа Иваныча благодѣтелемъ, но я никогда особенно не вѣрилъ искренности его изліяній. Въ сущности, благодѣянія, изливаемыя семействомъ Деруновыхъ на Зачатіевскаго, были очень скудны и едва ли вознаграждали послѣдняго за хлопоты и стѣсненія. Несмотря на неприхотливость Осипа Иваныча, правила гостепріимства требовали и успокоить его, то-есть отдать въ его распоряженіе лучшій уголъ, и приготовить

---

*) *Талдомъ—тоже торговое* село въ Калязинскомъ уѣздѣ.

лишнее блюдо къ обѣду. Все это дѣлалось почти безкорыстно, потому что Деруновъ отбояривался домашнею провизіей, присылаемой изъ К., и тѣмъ, что крестилъ дѣтей у Зачатіевскаго, при чемъ давалъ на зубокъ выигрышный билетъ съ пожеланіемъ двухсотъ тысячъ. Но таково уже магическое дѣйствіе богатства: Зачатіевскій, быть-можетъ, и ругалъ втихомолку Дерунова, но никогда не позволялъ себѣ отказать ему въ какой-либо услугѣ, хотя бы для этого онъ вынужденъ былъ бѣгать нѣсколько дней сряду высуня языкъ.

Впрочемъ, сама природа, казалось, создала Зачатіевскаго для услуги. Онъ былъ средняго роста и весь круглый. Круглый животъ, круглая спина, округлыя ляжки, круглые, какъ сосиски, пальцы—все это съ перваго раза дѣлало впечатлѣніе, что вотъ-вотъ этотъ человѣкъ сейчасъ засѣменитъ ногами и побѣжитъ, куда приказано. Круглое, одутловатое и нѣсколько суженное кверху лицо не свидѣтельствовало о значительныхъ умственныхъ способностяхъ, но постоянно выражало возбужденность и беззавѣтную готовность что-то выслушать и сейчасъ же исполнить. И на лицѣ у него все было кругло: полныя щеки, носъ картофелиной, губы сердечкомъ, маленькій лобъ горбикомъ, глаза кругленькіе и свѣтящіеся, словно можжевеловыя ягодки у хлѣбнаго жаворонка, и поверхъ ихъ круглыя очки, которыя онъ безпрестанно снималъ и вытиралъ. Даже лысина на его головѣ имѣла видъ пятачка, получившаго постепенно значительное распространеніе. Проворенъ онъ былъ изумительно, и я думаю, что въ этомъ случаѣ ему въ весьма большой степени помогала бочковатость его существа. Онъ устремлялся впередъ и при этомъ учтиво вилялъ всѣмъ тѣломъ, что особенно пріятно поражало начальствующихъ лицъ.

Несмотря, однако-жъ, на услужливость, дѣйствительной доброты въ немъ не было. Собственно говоря, онъ былъ услужливъ помимо своей воли, потому только, что тѣло его очень удобно для этого было приспособлено. Но, оказывая услуги, вскакивая и устремляясь словно на пружинахъ, онъ внутренно роптал и завидовалъ. Въ этой зависти, впрочемъ, скорѣе сказывалось завидущее пономарское естество, которое всю жизнь какъ будто куда-то человѣка подманиваетъ и всю жизнь оставляетъ его на бобахъ. На дѣлѣ онъ довольствовался очень малымъ, но глазами захапалъ бы, кажется, цѣлый міръ. Вообще это былъ очень своеобразный малый, въ которомъ полное отсутствіе воли

постоянно препятствовало установленію сознательныхъ отношеній къ людямъ.

— Такъ вотъ мы здѣсь, у источника, и побесѣдуемъ!— сказалъ онъ, садясь возлѣ меня. — Намъ съ вами *тамъ* дѣлать нечего, а вотъ около крюшончиковъ... Постойте, я сейчасъ велю новый принести... съ земляникой!

— Да нужно ли, Иванъ Ивановичъ?

— Что вы, что вы! Да Осипъ Иванычъ обидится! Не тѣ ужъ мы нынче, что̀ прежде были! — прибавилъ онъ, уже стоя, мнѣ на ухо.

И прежде, нежели я успѣлъ остановить его, онъ быстрыми шагами юркнулъ въ переднюю.

— А не то, можетъ-быть, вы закусить бы предпочли?— продолжалъ онъ, возвратившись.—И закуска въ передней совсѣмъ готовая стоитъ. У насъ все такъ устроено, чтобъ по первому манію... Угодно?

Но въ эту минуту лакей уже внесъ новый крюшонъ, и вопросъ насчетъ путешествія въ переднюю для закусыванья остался открытымъ.

— Да, не тѣ *мы* нынче!—возобновилъ онъ прерванную матерію, нервно передвигая на носу очки.—Гривеннички-то да пятачки оставили, а желаемъ разомъ...

— Да, большую перемѣну и я въ Осипѣ Иванычѣ замѣчаю.

— Въ каретахъ мы нынче ѣздимъ — да-съ! За карету десять рубликовъ въ сутки-съ; за номеръ пятьдесятъ рубликовъ въ сутки-съ; прислугѣ, чтобы проворнѣе была, три рублика въ сутки; да обѣды, да ужины, да закуски-съ; цѣлый день у насъ труба нетолченая-съ; одни «калегварды» что̀ за сутки слопаютъ-съ; греки, армяне-съ; опять генералъ-съ; вотъ хоть бы сегодня вечерокъ-съ... одного шампанскаго сколько вылакаютъ!

При этомъ перечисленіи меня такъ и подмывало спросить: ну, а вы? что̀ вы получаете? Само собою разумѣется, что я, однако-жъ, воздержался отъ этого вопроса.

— Здѣсь въ одинъ вечеръ тысячи летятъ,—продолжалъ, какъ бы угадывая мою мысль, Зачатіевскій: — а старому пріятелю, можно сказать, слугѣ — грибковъ да маслица-съ. А бѣготни сколько! Съ утра до вечера словно въ котлѣ кипишь! Повѣрите ли, даже службой неглижировать сталъ.

— Вольно же вамъ!

— Нельзя, сударь, нравъ у меня легкій—*онъ* знаетъ это и пользуется. Опять же землякъ, кумъ, дѣтей отъ купели

воспринималъ — надо и это во вниманіе взять. Вѣдь онъ, батюшка, оболтусъ-оболтусомъ, порядковъ-то здѣшнихъ не знаетъ: ни подать, ни принять—ну, и руководствуешь. По его, какъ собрались гости, онъ на всѣхъ готовъ одну селедку выставить да полштофъ очищеннаго! Ну, а я и воздерживай. Эти крюшончики да фрукты — *кто* обо всемъ подумалъ? Я-съ! А кому почетъ-то?

— Иванъ Иванычъ! распорядись, братецъ! — раздался изъ кабинета голосъ Дерунова.—Съ гостемъ со своимъ занялся, а насъ бросилъ!

Зачатіевскій засѣменилъ ногами по направленію къ передней, и вслѣдъ затѣмъ прошли въ кабинетъ два лакея съ подносами, обремененными налитыми стаканами.

— Ваше превосходительство, повелите! Новенькаго! — раздавалось въ кабинетѣ.

— Не велѣть ли закуску подавать? — обратился ко мнѣ Иванъ Иванычъ, смотря на часы. — Первый въ половинѣ!

— Не знаю; по-моему, спать пора.

— У насъ вѣдь до четырехъ часовъ матерія-то эта длится... Н-да-съ, такъ вы, значитъ, удивлены? А ужъ мнѣ-то какой сюрпризъ былъ, такъ и вообразить трудно! Для васъ-то, бывало, онъ все-таки принарядится, хоть сюртучишко надѣнетъ, а вѣдь при мнѣ... Вѣрите ли, — шепнулъ онъ мнѣ на ухо: — даже при семейныхъ моихъ, при женѣ-съ...

— Но чѣмъ же вы объясняете эту перемѣну?

— Да какъ вамъ сказать? Первое дѣло, кровь на старости лѣтъ заиграла, а главное, я вамъ доложу, все-таки жадность.

— Онъ и мнѣ что-то объ концессіи говорилъ.

— Да-съ, вотъ этотъ генералъ... вонъ онъ, полководецъ! Онъ первый его обрящилъ. Нарочно въ К. ѣздилъ, чтобъ залучить. Я, знаете, такъ полагаю, что думали они, вся эта компанія, на простачка напасть, анъ вышло, что сами къ простачку въ передѣлъ попали. Грека-то видите, что̀ возлѣ генерала сидитъ? Онъ собственно воротило и есть, а генералъ не самъ по себѣ, а на содержаніи у грека живетъ. Вотъ они и затѣяли эту самую механику, думали: мужикъ жадный, ходко на прикормку пойдетъ! Анъ Осипъ-то Иванычъ жаднѣе всякаго жаднаго вышелъ, ходитъ около прикормки да посматриваетъ: не трогъ, говоритъ, другіе сперва потеребятъ, а я увижу, что̀ на пользу, тогда ужъ заодно подплыву, да вмѣстѣ съ прикормкой всѣхъ разомъ

и заглону! И такъ этотъ грекъ его теперь ненавидитъ, такъ ненавидитъ!

— Ну, а Осипъ Иванычъ что̀?

— Смѣется—ему что̀! Помилуйте, развѣ возможная вещь въ торговомъ дѣлѣ ненависть питать! Тутъ, сударь, именно смѣяться надо, чтобы завсегда въ человѣкѣ свободный духъ былъ. Онъ генерала-то смѣшками кругомъ пальца обвелъ! Сунулъ ему этто въ руку пакетъ, съ виду толстый-претолстый: какъ, молъ? Ну, тотъ и смалодушествовалъ. А въ пакетѣ-то ассигнаціи все трехрублевыя. Такимъ манеромъ онъ за какихъ-нибудь триста рублей сразу человѣка за собой закрѣпилъ. Объясняться генералъ-то потомъ пріѣзжалъ.

— И что̀ же?

— Велѣлъ закуску подать — и только. «Коли, говоритъ, отъ тебя, ваше превосходительство, и впредь заслуга будетъ—и впредь не оставлю, а теперь, говоритъ, закусимъ да въ кабинетъ пойдемъ, тамъ по душѣ потолкуемъ». Заперлись они это, пошушукали тамъ, только на сей разъ остался нашъ генералъ ужъ доволенъ. Веселый вышелъ, да не успѣлъ, знаете, уйти, какъ слѣдомъ этотъ самый грекъ является. «Купите, говоритъ, мои акціи — одни хозяиномъ дѣла останетесь!» — «А я, говоритъ (это нашъ-то), Христофоръ Златоустычъ, признаться сказать, погорячился маленько: полчаса тому назадъ его превосходительству, довѣренному отъ васъ лицу, всѣ свои акціи запродалъ — да дешево, говоритъ, какъ!»

— Скажите! И все-таки продолжаютъ видѣться?

— И дѣло даже продолжаютъ вмѣстѣ дѣлать! Только грекъ серьезнѣе сталъ на Осипа Иваныча смотрѣть. И посейчасъ каждый день бесѣдуютъ. Грекъ этотъ, знаете, больше насчетъ выдумки, а нашъ—насчетъ понятія. Тотъ выдумаетъ, а нашъ пойметъ. Тотъ нюка съ духомъ собирается, а нашъ, смотри, ужъ и дѣло сдѣлалъ. И представьте себѣ, вѣдь во всемъ ему счастіе такое! Вотъ хоть бы стуколка эта — рѣдкій разъ пройдетъ, чтобы онъ у нихъ карманы не обчистилъ! Намеднись даже самъ говоритъ мнѣ: «помилуй, говоритъ, да мнѣ здѣсь дешевле, нежели въ нашей уѣздной мурьѣ жить, потому, сколько ни есть кармановъ, всѣ они теперь мои стали!»

— Ну, это до поры, до времени!

— Нѣтъ, сударь, это сущую правду онъ сказалъ: поколѣ онъ живъ, всѣ карманы его будутъ! А котораго, онъ ви-

дитъ, ему сразу не одолѣть—онъ и самъ отъ него на время отойдетъ, да издали и поглядываетъ, ровно бы посторонній человѣкъ. Ужъ такъ-то воровàтъ, такъ-то воровàтъ!

Опять возгласъ изъ кабинета: «Иванъ Иванычъ! заснулъ, что ли, братецъ!» и опять торопливое движеніе со стороны Зачатіевскаго.

— Первый часъ въ исходѣ, закуску не прикажете ли подавать?—докладываетъ онъ Осипу Иванычу.

— А тебѣ, видно, спать къ женѣ загорѣлось! Отпустить, что ли, его, господа честная компанія? — предложилъ Деруновъ.

— Отпустить! Отпустить!

— Ну, чтò съ тобой дѣлать, волоки закуску!

Иванъ Иванычъ распорядился и опять подсѣлъ ко мнѣ.

— Вотъ вы сказали давеча, — началъ я: — что у Дерунова кровь на старости лѣтъ заиграла. Я вѣдь и самъ объ этомъ въ К. мелькомъ слышалъ: неужели это правда?

— Вѣрно-съ!

— А отецъ протоіерей к—скій еще «пріятнѣйшимъ сыномъ церкви» его величаетъ!

— Будешь величать! Сторублевку-то на полу не поднимешь!

— Но Яковъ Осипычъ, какъ онъ это терпитъ?

— А онъ съ утра до вечера въ туманѣ: помнитъ ли даже, что и женатъ-то! Нынче ему насчетъ вина уже не велѣно препятствія дѣлать.

— Ну, а Анна Ивановна?

— А Глафирина Николая Петровича знаете?

— Такъ что же?

— Ну, онъ самый и есть... мужчина! У насъ, батюшка, нынче всѣ дѣла полюбовнымъ манеромъ кончаются. Это прежде *онъ* лютъ былъ, а нынче смекнулъ, что безъ огласки да потихоньку не въ примѣръ лучше.

— А знаете ли чтò! Вѣдь я это семейство до сихъ поръ за образецъ патріархальности нравовъ почиталъ. Такъ это у нихъ тихо да просто... Ну, опять и медалей у него на шеѣ сколько! Думаю: стало-быть, много у этого человѣка добродѣтелей, коли начальство его отличаетъ!

— Да вы спросите, кто медали-то ему выхлопоталъ — вѣдь я же-съ! Вы меня спросите, чтò эти медали-то стòятъ! Можетъ, за каждую не одинъ мѣсяцъ высуня языкъ бѣгалъ... а онъ съ грибками да съ маслицемъ! Конечно, я за большимъ не гонюсь... Слава Богу! самъ отъ царя жалованье получаю... ну, частная работишка тоже есть... Сытъ,

одѣтъ... А все-таки, какъ подумаешь: этакой аспидъ, а на даровщину все норовитъ! Да еще и притѣсняетъ! Чуть позамѣшкаешься—ужъ онъ и тово... голосъ подаетъ: «распорядись!...» Развѣ я слуга... помилуйте!

Сказавши это, онъ даже отъ меня отвернулся и столь плотно усѣлся въ кресло, что я такъ и ждалъ: вотъ-вотъ Деруновъ кликнетъ изъ кабинета, и Зачатіевскій останется глухъ къ этому кличу.

— Конечно, ежели разсудить, то и за обѣдомъ, и за ужиномъ мнѣ завсегда лучшій кусокъ, — продолжалъ онъ, нѣсколько смягчаясь: — въ этомъ *онъ* мнѣ не отказываетъ! Да вѣдь и то сказать: отказывай, братъ, или не отказывай, а я и самъ возьму, что̀ мнѣ принадлежитъ! Не хотите ли, — обратился онъ ко мнѣ, едва ли не съ затаеннымъ намѣреніемъ показать свою власть надъ «кусками»:— покуда они тамъ еще рѣжутся, а мы предварительную! Икра, я вамъ скажу, какая! семга... царская!

— Понуждай, Иванъ Иванычъ, понуждай, братецъ! — раздался голосъ Осипа Иваныча.

Но Зачатіевскій на этотъ разъ не ринулся съ мѣста и ограничился отвѣтомъ: «сейчасъ!» потому что закуска была почти уже сервирована.

— А все *она*-съ, — сказалъ онъ, вновь обращаясь къ разоблаченіямъ тайнъ деруновской семьи:—она сюда его и привезла. Мало ей к—скихъ приказчиковъ, захотѣлось на здѣшнихъ «калегвардовъ» посмотрѣть!

— Однако Осипъ Иванычъ, кажется, не ревнуетъ?

— Хитеръ, сударь, онъ—вишь ихъ какую ораву нагналъ! Ну, ей и неспособно. А впрочемъ, кто-жъ къ нему въ душу влѣзетъ! Можетъ, и тутъ у него разсчетъ есть!

— Ну, какой же тутъ разсчетъ!

— Не говорите, сударь! Такого подлеца, какъ этотъ самый Осипъ Ивановъ, днемъ съ огнемъ поискать! Живого и мертваго готовъ ободрать! У насъ въ К. такую механику завелъ, что хоть брось торговать. Одно обидно: всѣ видѣли, у всѣхъ на знати, какъ онъ на постояломъ, лѣтъ тридцать тому назадъ, извозчиковъ овсомъ обмѣривалъ!

— Счастье, Иванъ Иванычъ, счастье!

— Не счастье-съ, а вся причина въ томъ, что онъ проѣзжаго купца обворовалъ. Останавливался у него на постояломъ купецъ, да и занемогъ. Туда-сюда, за попомъ, за лѣкаремъ, анъ онъ и душу Богу отдалъ. И оказалось у этого купца денегъ всего двадцать пять рублей, а Осипъ

Иванычъ пообождалъ немного, да и сталъ потихоньку да полегоньку, шире да глубже, да такъ, сударь, это дѣло умненько повелъ, что и сейчасъ у насъ въ К. никто не разберетъ, когда именно онъ разбогатѣлъ.

— Иванъ Иванычъ! батюшка! да вѣдь это уголовщина!

— А вы думали какъ? Вы, можетъ-быть, думали, что милліонеръ изъ безпортошника такъ, самъ собой, и дѣлается?

— Да, я слыхалъ и про такіе случаи... Вотъ, напримѣръ, былъ одинъ мальчишка, спичками торговалъ, а потомъ четырехэтажный домъ выстроилъ.

— И я отъ матушки-покойницы слыхивалъ, что она меня не родила, а подъ капустнымъ листомъ нашла.

Говоря это, Зачатіевскій нервно подергивалъ свои очки, и я убѣжденъ положительно, что въ эту минуту онъ искренно, отъ всего сердца ненавидѣлъ Дерунова.

— Эти «столпы», я вамъ доложу... — началъ онъ и вдругъ осѣкся.

Въ кабинетѣ послышалось движеніе отставляемыхъ стульевъ. Иванъ Иванычъ вскочилъ и всталъ въ позу почтительнѣйшаго метръ-д'отеля, даже губы у него какъ-то вспухли и замаслились. Съ обѣихъ сторонъ, и изъ кабинета, и изъ гостиной, показались процессіи гостей и ринулись на закуску.

— Вотъ онъ каковъ!—шепнулъ мнѣ на ухо Зачатіевскій: — даже не хотѣлъ подождать, покуда я доложу! А осетрины-то въ соку между тѣмъ нѣтъ, да и стерлядь копченая...

— Гдѣ стерлядь копченая? Что-жъ копченая стерлядь?— ринулся онъ въ толпу лакеевъ, покуда я въ передней отыскивалъ свое пальто.

VII.—Отецъ и сынъ.

На сѣверѣ дикомъ растетъ одиноко
На голомъ утесѣ сосна,
И дремлетъ, качаясь, и снѣгомъ сыпучимъ,
Какъ ризой, одѣта она.
И снится ей...

Снятся консервативныя начала, благонадежные элементы, правящія сословія, англійскіе лорды и, какъ неизбѣжное къ нимъ въ русскомъ стилѣ дополненіе: Сидорова коза и Макаръ, телятъ не гоняющій...

На обрывистомъ берегу рѣки Вопли стоитъ дворянская усадьба и дремлетъ. Снится ей новый съ иголочки домъ, стоящій на противоположномъ низменномъ берегу рѣки, домъ, словно облупленное яичко, весь свѣтящійся въ лучахъ солнца, домъ съ обширнымъ дворомъ, обнесеннымъ досчатымъ заборомъ, съ цѣлымъ рядомъ хозяйственныхъ строеній по обоимъ бокамъ, строеній совсѣмъ новыхъ, свѣжихъ, въ которыхъ помѣщаются: кабакъ, называющійся, впрочемъ, «бѣлой харчевней», лавочка, скотопрогонный дворъ, амбаръ и проч.

Въ барской усадьбѣ живетъ старый генералъ Павелъ Петровичъ Утробинъ; въ новомъ домикѣ, напротивъ—хозяйствуетъ Антошка-кабатчикъ, Антошка-прасолъ, Антошка-закладчикъ, словомъ, Антошка—homo novus, выброшенный волнами современной русской цивилизаціи на поверхность житейскаго моря.

Генералъ называетъ Антошку «подлецомъ» и «христопродавцемъ»; Антошка называетъ генерала «гнилою колодою». Оба избѣгаютъ встрѣчъ другъ съ другомъ, оба стараются даже не думать другъ о другѣ и оба не могутъ ступить шагу, чтобы одному не бросился въ глаза новый съ иголочки домикъ «новаго человѣка», а другому — тоже не старая, но уже несомнѣнно потухающая усадьба «ветхаго человѣка»...

Въ сумерки, когда надвигающіяся со всѣхъ сторонъ тѣни ночи уже препятствуютъ ясно различать предметы, генералъ не утерпитъ и выйдетъ на крутой берегъ рѣки. Долгое время стоитъ онъ недвижно, уставясь глазами въ противоположную сторону.

— Ежели вѣрить Токвилю... — начинаютъ шептать его губы (генералъ—членъ губернскаго земскаго собранія, въ которомъ Токвиль, какъ извѣстно, пользуется славой почти народнаго писателя), но мысль вдругъ перескакиваетъ черезъ Токвиля и круто заворачиваетъ въ сторону родныхъ представленій.—Въ бараній рогъ бы тебя, подлеца!—уже не шепчетъ, а гремитъ генералъ:—туда бы тебя, христопродавца, куда Макаръ телятъ не гонялъ!

И въ тотъ же таинственный часъ, крадучись, выходитъ изъ новенькаго дома Антошка, садится на берегъ и тоже не можетъ свести лисьихъ глазъ съ барской усадьбы.

— Ежели теперича за̀ домъ,—шепчутъ его губы:—ну, хоть полторы, ну, положимъ, за паркъ съ садомъ тысячу...

а впрочемъ, зачѣмъ же! Можетъ, и такъ, безъ денегъ, изморомъ... такъ-то, старая колода!

И, намечтавшись досыта, оба, не замѣтивъ другъ друга, расходятся по домамъ...

Генеральская усадьба имѣетъ видъ очень странный, чтобъ не сказать загадочный. Она представляетъ собой богатую одежду, усѣянную множествомъ безобразныхъ заплатъ. Дѣло въ томъ, что она соединила въ себѣ два элемента: старую усадьбу, слѣды которой замѣчаются и теперь, въ видѣ незаровненныхъ ямъ и разбросанныхъ кирпичей и осколковъ бутоваго камня, и новую усадьбу, съ обширными затѣями, оставшимися, по произволенію судебъ, недоконченными.

Старая барская усадьба еще не такъ давно стояла нѣсколько поодаль отъ рѣки, на берегу впадающаго въ нее оврага. Оврагъ этотъ былъ изстари запруженъ въ самомъ устьѣ и образовалъ громадный, глубокій и хорошо содержанный прудъ, въ водахъ котораго отражался старинный и длинный, словно казарма, господскій домъ. Вправо отъ дома, по берегу пруда, раскинулся обширный паркъ, разбитый по-старинному на квадраты, засаженные внутри березами, елями и соснами, а по бокамъ вѣковыми липами, которыя образовали такимъ образомъ длинныя и темныя аллеи. Сзади дома, подъ руками, находились службы: конный и скотный дворы, застольныя, флигеля для дворовыхъ, амбары, погреба и проч. За паркомъ, на трехъ десятинахъ, былъ разведенъ плодовый садъ съ оранжереями и теплицами, съ яблонями и вишеньемъ, съ громадными ярусами грядъ клубники и ягодныхъ кустовъ. Напротивъ дома, чрезъ прудъ, бокомъ къ барской усадьбѣ и лицомъ къ Воплѣ, расположился крестьянскій поселокъ, дворовъ около двадцати.

Въ то время (съ небольшимъ лѣтъ двадцать пять тому назадъ) генеральскій домъ кипѣлъ млекомъ и медомъ. Самъ генералъ Павелъ Петровичъ Утробинъ былъ старикъ лѣтъ пятидесяти, бодрый, дѣятельный, изъ себя краснощекій и тучный. Служилъ онъ нѣкогда, лѣтъ пятнадцать сряду, губернаторомъ и былъ, какъ тогда говорилось, хозяиномъ своей губерніи. Почтовыя дороги обсадилъ по бокамъ березками, почтовыя станціи выстроилъ съ иголочки, хлѣбные запасные магазины пополнилъ, недоимки взыскалъ, для губернскаго города выписалъ новую пожарную трубу, а для губернской типографіи новый шрифтъ. Затѣмъ, когда все

земное было имъ совершено, онъ самъ, motu proprio, вышелъ въ отставку съ приличною пенсіей (это было лѣтъ за десять до упраздненія крѣпостного права) и поселился у себя въ Воплинѣ. Сюда онъ перенесъ ту же кипучую дѣятельность, которая отличала его и на губернаторскомъ мѣстѣ, а для того, чтобъ не было скучно одному посреди холоповъ, привезъ съ собой, въ качествѣ секретаря, одного довольно жалконькаго чиновника приказа общественнаго призрѣнія, Іону Чибисова, предварительно женивъ его на шустренькой маленькой поповнѣ, по имени Агніи.

Съ пріѣздомъ хозяина, прадѣдовская, нѣсколько запущенная усадьба ожила. Дворовые встрепенулись; генералъ—лѣтомъ въ бѣломъ пикейномъ сюртучкѣ съ форменными пуговицами, зимой въ коротенькомъ дубленомъ полушубкѣ и всегда въ сѣро-синеватыхъ брюкахъ съ выпушкой, въ обтяжку, и въ сапогахъ со шпорами—съ утра до вечера бродилъ по полямъ, садамъ и огородамъ; за нимъ по пятамъ, какъ тѣнь, всюду слѣдовалъ Іона Чибисовъ для принятія приказаній. Аллеи парка утрамбовали и посыпали густымъ слоемъ песка; оранжереи и плодовый садъ подчистили, конный и скотный дворы обрядили такъ, что взойти любо. Генералъ былъ строгъ, но справедливъ; любя наказывалъ, но и добрымъ словомъ не обходилъ. Румяный, плотный, довольный собой, онъ бодро ходилъ по усадьбѣ, позвякивая шпорами, играя селезенкою и зоркимъ старческимъ глазомъ подмѣчая малѣйшую неисправность. Шустрая поповна Агнушка, кругленькая, пухленькая, находилась при ключахъ, и генералъ только языкомъ прищелкивалъ, глядя, какъ она, словно комочекъ, съ утра до вечера перекатывается отъ погреба къ амбару, отъ амбара къ молочной и т. д.

Въ скоромъ времени Воплино сдѣлалось почти ежедневнымъ сборнымъ пунктомъ для всѣхъ окрестныхъ помѣщиковъ. Генералъ водилъ ихъ по усадьбѣ, хвастался вводимыми порядками, кормилъ, предоставлялъ въ ихъ распоряженіе ломберные столы и не отказывалъ въ перинахъ для отдохновенія. Вслѣдствіе этого любовь и довѣріе дворянства къ гостепріимному воплинскому хозяину росли не по днямъ, а по часамъ, и не разъ шла даже рѣчь о томъ, чтобъ почтить Утробина крайнимъ знакомъ дворянскаго довѣрія, то-есть выборомъ въ предводители дворянства; но генералъ, еще полный воспоминаній о недавнемъ славномъ губернаторствѣ, самъ постоянно отклонялъ отъ себя эту честь.

Однимъ словомъ, все шло какъ нельзя лучше желать, и ни о какихъ признакахъ, предвѣщающихъ пришествіе Антошки homo novus, не было и въ поминѣ. Но въ 1856 году смутилъ генерала бѣсъ. Пріѣхалъ къ нему въ побывку сынъ, новоиспеченный двадцатилѣтній титулярный совѣтникъ, молодой человѣкъ, съ честью прошедшій курсъ наукъ въ самыхъ лучшихъ танцклассахъ того времени и основательно изучившій всего Поль-де-Кока. Петенька Утробинъ на чемъ свѣтъ стоитъ раскостилъ папашину усадьбу. И виду нѣтъ, и скотнымъ дворомъ воняетъ, и домъ на казарму похожъ, и рѣка далеко. Попалъ однажды Петенька на крестьянскій поселокъ—и восхитился. Мѣсто высокое, почти утесъ; у подошвы течетъ глубокая Вопля, которая тутъ же неподалеку, принявъ въ себя оврагъ, на которомъ стояла старая усадьба, дѣлаетъ крутой поворотъ направо. Черезъ рѣку—видъ на безграничное пестрое пространство луговой поймы и деревень. По низменному берегу вьется почтовая дорога, упирающаяся прямо въ загибъ Вопли, черезъ которую въ этомъ мѣстѣ ходитъ на канатѣ досчаникъ. На мыску, образуемомъ рѣчнымъ изгибомъ (тамъ, гдѣ нынѣ выстроилъ почти цѣлый поселокъ Антошка-подлецъ), чернѣетъ постоялый дворъ, отдаваемый генераломъ въ аренду богобоязненному и смирному мужику Калинѣ Силантьеву, изъ своихъ же крѣпостныхъ. Около постоялаго двора и досчаника всегдашняя живописная суета: отпряженныя лошади, возы съ завороченными вверхъ оглоблями, мужики, изрѣдка почтовыя тройки и большіе экипажи, кареты, коляски. Вотъ *гдѣ* надобно быть усадьбѣ, а *не тамъ*,— разомъ рѣшилъ Петенька. Вотъ тутъ на берегу, лицомъ къ рѣкѣ, слѣдуетъ выстроить новый домъ, съ башенками, балконами, террасами, и весь его утопить въ зелени кустарниковъ и деревьевъ; обрывистый берегъ срыть и между домомъ и рѣкой устроить покатость, которую убрать газономъ, а по газону распланировать цвѣтникъ; сзади дома, параллельно съ прудомъ, развести изящный молодой паркъ, соединивъ его красивымъ мостомъ черезъ прудъ съ старымъ паркомъ. Крестьянъ, разумѣется, выселить за старый паркъ и плодовый садъ. Таковъ былъ планъ, который начертилъ Петенька и изъ котораго долженъ былъ выйти настоящій château, а не какая-нибудь мурья, въ окна которой безпрестанно врываются гнусные запахи со скотныхъ дворовъ и изъ застольныхъ, и въ которой немыслимо никакое другое развлеченіе, кромѣ мрачнаго истребленія ерофеича.

Къ удивленію, преобразовательныя затѣи Петеньки не встрѣтили почти никакого отпора со стороны генерала. Во-первыхъ, Петенька былъ единственный сынъ, и при томъ такъ отлично кончилъ курсъ наукъ и стоялъ на такой прекрасной дорогѣ, что старикъ-отецъ не могъ безъ сердечной тревоги видѣть, какъ это дорогое его сердцу чадо фыркаетъ, бродя по лабиринту отчаго хозяйства и нигдѣ не находя удовлетворенія своей потребности изящнаго. Во-вторыхъ, генералъ былъ такъ долго «хозяиномъ губерніи», что всякая ломка и перетасовка ему самому была по душѣ. Сообразивъ составленный Петенькой планъ, онъ понялъ, что тутъ предстоитъ цѣлое море построекъ, переносокъ, пересадокъ, присадокъ — и селезенка пуще, чѣмъ когда-либо, заиграла въ немъ.

Одно только обстоятельство заставляло генерала задуматься: въ то время уже сильно начали ходить слухи объ освобожденіи крестьянъ. Но Петенька, который, посѣщая въ Петербургѣ танцклассы, былъ, какъ говорится, au courant de toutes les choses, удостовѣрилъ его, что никакого освобожденія не будетъ, а будетъ «только такъ».

— Полно, такъ ли, мой другъ?—допытывался старикъ.— Въ народѣ ужъ сильно поговаривать начали.

— Niaiseries, mon père!—отвѣчалъ Петенька.—Вы подумайте только, есть ли въ этомъ человѣческій смыслъ! Вотъ и Архипушку, стало-быть, освободить!

Архипушка, деревенскій дурачокъ, малый лѣтъ ужъ за пятьдесятъ, какъ нарочно шелъ въ это время мимо господской усадьбы, поднявши руки въ уровень съ головой, болтая рукавами своей пестрядинной рубахи, свистя и мыча. Взглянулъ генералъ на Архипушку, подумалъ: «въ самомъ дѣлѣ, неужели Архипушку освободятъ?» и рѣшилъ: «нѣтъ, это было бы даже не великодушно!» Тѣмъ не менѣе, чтобы окончательно быть удостовѣреннымъ, что «зла» не будетъ, онъ, по отъѣздѣ сына въ Петербургъ на службу, съѣздилъ въ губернскій городъ и тамъ изложилъ свои сомнѣнія губернатору и архіерею. Губернаторъ, человѣкъ стараго закала, только улыбнулся въ отвѣтъ, присовокупивъ, что хотя подобные слухи и распространяются врагами отечества, но что вѣрить имъ могутъ только люди, не понимающіе истинныхъ потребностей Россіи. Преосвященный же прямо сказалъ, что какъ въ древности были господа и рабы, такъ и напредь сего таковые имѣютъ остаться безъ измѣненія.

Заручившись столь вѣскими авторитетами, Утробинъ, успо-

коенный, возвратился въ Воплино и при первомъ удобномъ случаѣ приступилъ къ преобразованіямъ. На его бѣду, весна и лѣто 1857 года прошли совсѣмъ тихо. Онъ живо перенесъ крестьянскій поселокъ за плодовый садъ, выстроилъ вчернѣ большой домъ, съ башнями и террасами, лицомъ къ Воплѣ, возвелъ на первый разъ лишь самыя необходимыя службы, выписалъ садовника-нѣмца, вмѣстѣ съ нимъ проектировалъ англійскій садъ передъ домомъ на рѣкѣ и паркъ позади дома, прорѣзалъ двѣ-три дорожки, но ни къ нивеллировкѣ береговой кручи, ни къ посадкѣ деревьевъ, долженствовавшей положить начало новому парку, приступить не успѣлъ. Какъ ни усердствовали крестьяне, какъ ни старались сельскіе начальники, но къ концу осени окрестности будущаго château представляли собою скорѣе картину недавняго геологическаго переворота, нежели что-нибудь съ чѣмъ-нибудь сообразное: даже ямы, свидѣтельствовавшія о пребываніи въ этомъ мѣстѣ крестьянскихъ дворовъ и гуменъ, не были заровнены.

А между тѣмъ грозный часъ не медлилъ, и въ концѣ 1857 года уже сдѣланъ былъ первый шагъ къ разрѣшенію крестьянскаго вопроса.

Генералъ былъ такъ озадаченъ, что опять поскакалъ въ губернскій городъ. Тамъ уже сидѣлъ другой губернаторъ, изъ молодыхъ ранній, но архіерей былъ прежній. На вопросъ генерала: «что̀ сей сонъ значитъ?»—губернаторъ нѣсколько нахмурился, ибо просторѣчія даже въ разговорѣ не любилъ, а какъ самъ говорилъ слогомъ докладныхъ записокъ, такъ и отъ другихъ того требовалъ. Впрочемъ, въ виду преклонныхъ лѣтъ, прежнихъ заслугъ и слишкомъ яркой непосредственности Утробина, губернаторъ снизошелъ и процѣдилъ сквозь зубы, что хотя фактъ обращенія къ генералъ-губернатору Западнаго края есть фактъ единичный, такъ какъ и положеніе этого края исключительное, и хотя за симъ виды и предположенія правительства неисповѣдимы, но что, впрочемъ, идея правды и справедливости, съ одной стороны подкрѣпляемая идеей общественной пользы, а съ другой стороны побуждаемая и, такъ сказать, питаемая высшими государственными соображеніями...

Генералъ слушалъ эту рацею, выпучивъ глаза, и къ ужасу своему—понималъ.

— А я, вашество, въ нынѣшнемъ году переформировку у себя затѣялъ,— произнесъ онъ какъ-то машинально, словно эта идея одна и была въ его головѣ.

— Очень радъ-съ, очень радъ-съ!—отвѣтилъ губернаторъ.—Очень радъ видѣть, что господа дворяне оставляютъ прежніе рутинные пути и выказываютъ духъ предпріимчивости, этотъ, такъ сказать, нервъ...

На этомъ мѣстѣ Утробинъ шаркнулъ ножкой, откланялся и направился къ архіерею.

Архіерей принялъ генерала съ распростертыми объятіями и сейчасъ же велѣлъ подать закуску.

— Слышали?—спросилъ генералъ.

— Не токмо слышалъ, но и возвеселился,—отвѣтилъ преосвященный. — Истинно любезная для христіанскаго сердца минута сія была.

Генералъ побагровѣлъ.

— Какъ же такъ, преосвященнѣйшій! А помните: «и въ древности были господа и рабы, и напредь таковые должны остаться безъ измѣненія»?—огрызнулся онъ.

— Да, да, да! То-то вотъ всѣ мы, бѣсу смущающу, умствовать дерзновеніе имѣемъ! И предполагаемъ, и планы строимъ—и все на песцѣ. Думалось вотъ: должны оставаться рабы; а вдругъ воспослѣдовало благочестивѣйшаго государя повелѣніе: не быть рабамъ! При чемъ же, скажиты мнѣ, предположенія и планы-то наши остались? Истинно говорю: на песцѣ строимъ!

Генералъ просидѣлъ у преосвященнаго съ четверть часа, но не проронилъ больше ни слова и даже не прикоснулся ни къ балыку, ни къ свѣжей икрѣ. Казалось, онъ былъ въ летаргическомъ снѣ.

Пріѣхавши изъ губернскаго города въ Воплино, Утробинъ двое сутокъ сряду проспалъ непробуднымъ сномъ. Проснувшись, онъ увидѣлъ на столѣ письмо отъ сына, который тоже извѣщалъ о предстоящей катастрофѣ и писалъ: «самое лучшее теперь, милый папаша,—это переселить крестьянъ на неудобную землю, въ родѣ песковъ: такъ, по крайней мѣрѣ, всѣ дальновидные люди здѣсь думаютъ».

— Ну, нѣтъ, слуга покорный, надо еще объ окончаніи своего собственнаго переселенія подумать! — воскликнулъ генералъ и тутъ же мысленно присовокупилъ:—А впрочемъ, можетъ-быть, ничего и не будетъ!

Но въ январѣ 1858 года отовсюду посыпались адресы, а слѣдующимъ лѣтомъ уже было приступлено къ выборамъ членовъ комитета объ улучшеніи быта крестьянъ, и генералъ былъ въ числѣ двоихъ, избранныхъ за К-ій уѣздъ.

Тѣмъ не менѣе на глазахъ генерала работа по возве-

денію новой усадьбы шла настолько успѣшно, что онъ могъ уже въ іюлѣ перейти въ новый, хотя далеко еще не отдѣланный домъ и сломать старый. Но въ августѣ онъ долженъ былъ переселиться въ губернскій городъ, чтобы принять участіе въ работахъ комитета, и дѣло по устройству усадьбы замялось. Іону и Агнушку генералъ взялъ съ собою, а староста, на котораго было возложено приведеніе въ исполненіе генеральскихъ плановъ, на всѣ заочныя понужденія отвѣчалъ, что крестьяне къ труду охладѣли.

Въ комитетѣ между тѣмъ Утробинъ выказалъ себя либераломъ. Онъ не только говорилъ, но и *кричалъ*, что «сдѣлать что-нибудь надобно». Впрочемъ, предостерегалъ отъ излишествъ и отъ имени большинства представилъ проектъ, который начинался словами: «но ежели» и кончался словомъ «однако». Надъ оригинальной редакціей этого проекта въ то время много смѣялись, не сообразивъ, что необычная форма вступленія въ бесѣду съ читателемъ посредствомъ «но ежели» была лишь порожденіемъ той страстности и убѣжденности, которая постоянно присутствовала при составленіи проекта. Утробинъ просто-напросто былъ убѣжденъ, что все, предшествовавшее словамъ «но ежели», всякому слишкомъ извѣстно, чтобъ требовалось повторять. Какъ прожектеръ, онъ былъ посланъ отъ большинства въ комиссіи въ качествѣ эксперта. Это было лѣтомъ. Въ Петербургѣ его, вмѣстѣ съ прочими экспертами, возили по праздникамъ гулять въ Павловскъ, въ Царское-Село, въ Петергофъ и даже въ Баблово, гдѣ показывали громадную гранитную купальню, въ которой никогда никто не купался. Остальное время онъ проводилъ въ номерѣ гостиницы Демутъ, каждый день все болѣе и болѣе убѣждаясь, что его «но ежели» не выгоритъ. Единственнымъ свѣтлымъ воспоминаніемъ этого періода его жизни былъ вечеръ, проведенный вмѣстѣ съ Агнушкой на Минерашкахъ, при чемъ они сообща отлично надули Іону, сказавъ ему, чтобъ онъ ожидалъ ихъ на Смоленскомъ кладбищѣ.

1861-й годъ засталъ генеральскую усадьбу въ слѣдующемъ положеніи: домъ отстроенъ и обитъ тесомъ, но не выкрашенъ; крыша покрыта желѣзомъ, но тоже не выкрашена и мѣстами уже проржавѣла и дала течь. Внутри дома три комнаты оштукатурены совсѣмъ, въ двухъ сдѣланы приготовленія, т.-е. приколочена къ стѣнамъ дрань, въ прочихъ — стѣны стояли голыя. Передъ домомъ, гдѣ надлежало сдѣ-

лать нивеллировку кручи, существовали слѣды нѣкоторыхъ попытокъ въ этомъ смыслѣ, въ видѣ канавъ и дыръ; сзади дома были прорѣзаны дорожки, по бокамъ которыхъ посажены кленки, ясенки и липки, изъ которыхъ принялась одна часть, а все остальное посохло и въ видѣ голыхъ прутьевъ стояло на мѣстахъ посадки, раздражая генеральское сердце. Изъ службъ были перенесены только кухня и погребъ; все прочее осталось на прежнемъ мѣстѣ за прудомъ. Ямы, гдѣ стояли крестьянскія избы и гумна, остались незаровненными и густо поросли крапивой и дикимъ малинникомъ. Старый паркъ заросъ и одичалъ; по дорожкамъ началъ пробиваться осинникъ; на мѣстѣ стараго дома валялись осколки кирпича, и поднялась цѣлая стѣна крапивы и лопуховъ. Оранжереи потемнѣли, грунтовые сараи задичали; яблони, по случаю немилостивой зимы 1861 года, почти всѣ вымерзли, такъ что въ плодовомъ саду, на мѣстѣ роскошныхъ когда-то деревъ, торчали голые и корявые остовы ихъ.

Въ первое время генералу было, впрочемъ, не до усадьбы: онъ наблюдалъ, кто изъ крестьянъ ломаетъ передъ нимъ шапку и кто не ломаетъ. Собственно говоря, ломали всѣ безъ исключенія; но генералъ сдѣлался до того прозорливъ, что въ самой манерѣ ломанія усматривалъ очень тонкіе, почти неуловимые оттѣнки. Затѣмъ онъ велъ ожесточенную полемику съ мировымъ посредникомъ, самолично ѣздилъ къ нему на разбирательство и съ какою-то страстностью подвергалъ себя «единовременному и унизительному для него совмѣстному сидѣнію» съ какимъ-нибудь Гришкой-поваромъ, который никакъ не хотѣлъ отслужить заповѣдные два года.

Мало-по-малу однако страсти улеглись. Прекратилась полемика съ мировымъ посредникомъ, прошла пора «унизительнаго совмѣстнаго сидѣнія» съ Гришками, Прошками и Марѳушками. Но тутъ, какъ нарочно, случилась катастрофа съ Антошкой-христопродавцемъ, о которой ниже и которая подѣйствовала еще горячѣе, нежели «совмѣстныя сидѣнія». Генералъ былъ окончательно надломленъ. Унылая сиротливость словно пологомъ окутала и его самого, и недавнія его затѣи. Дикъ и угрюмъ шумитъ въ сторонѣ за прудомъ старый паркъ, и рядомъ съ нимъ голо и мизерно выглядитъ окопанное канавой пространство, гдѣ предполагалось быть новому парку. Генералъ посѣдѣлъ, похудѣлъ и осунулся; онъ поселился въ трехъ оштукатуренныхъ

комнатахъ своего новаго дома и на все остальное, повидимому, махнулъ рукой. Заложивъ руки назадъ и понуривъ сѣдую голову, онъ бродитъ по этимъ комнатамъ, словно дремлетъ. Но по временамъ взоръ его вспыхиваетъ и какъ бы магнитическою силой приковывается къ тому берегу Вопли, гдѣ свѣтлѣется выстроенная съ иголочки усадьба Антошки-христопродавца.

Антонъ Валерьяновъ Стрѣлòвъ былъ мѣщанинъ сосѣдняго уѣзднаго города, и большинство мѣстныхъ обывателей еще помнитъ, какъ онъ съ утра до вечера стрѣлой леталъ по базару, исполняя порученія и приказы купцовъ-толстосумовъ. Отсюда—прозвище Антонъ-Стрѣла, которое и оставалось за нимъ до тѣхъ поръ, пока онъ самъ не переименовалъ себя въ Стрѣлòва. Долгое время Антошка погрязалъ въ ничтожествѣ и никакъ не могъ выбиться, да и то не за свой счетъ, а за счетъ какого-нибудь капиталиста, зорко слѣдившаго, чтобы лишній пятакъ не задерживался межъ Антошкиныхъ пальцевъ. Способности были у него богатыя; никто не умѣлъ такъ быстро обшарить мышьи норки, такъ бойко клясться и распинаться, такъ ловко объегорить, какъ онъ; ни у кого не было въ головѣ такого обилія хищническихъ проектовъ; но ни изобрѣтательность, ни настойчивая дѣятельность лично ему никакой пользы не приносили: какъ былъ онъ голякъ, такъ и оставался голякомъ до той минуты, когда пришелъ его чередъ. Время тогда было тугое, темное; сословная обособленность царила во всей силѣ, поддерживаемая всевозможными искусственными перегородками; благодаря этимъ послѣднимъ, всякій имѣлъ возможность крѣпко держаться предоставленнаго ему судьбою мѣста, не употребляя даже особенныхъ усилій, чтобы обороняться отъ вторженія незванныхъ элементовъ. Пробиться при такихъ условіяхъ было мудрено, и какъ бы ни изворотливъ былъ умъ человѣка, брошеннаго общественною табелью ранговъ на послѣднюю ступень лѣстницы,—лично для него эта изворотливость пропадала даромъ и многомного ежели давала возможность кое-какъ свести концы съ концами.

Антошка былъ дѣятеленъ необыкновенно. Каждое утро онъ начиналъ изнурительную работу сколачиванія грошей, бѣгалъ высуня языкъ отъ базарной площади къ заставѣ и обратно, махалъ руками, торопился, проталкивался впередъ, божился, даже терпѣлъ побои—и каждый вечеръ по-

жился спать все съ тѣмъ же грузомъ, съ какимъ всталъ утромъ. Всталъ—грошъ, и легъ—грошъ. Посмотритъ, бывало, Антошка на этотъ заколдованный грошъ, помнётъ его, щелкнетъ языкомъ—и полѣзетъ спать на палати, съ тѣмъ, чтобъ завтра чуть-свѣтъ опять пустить тотъ грошъ въ оборотъ, да чтобы не зѣвать, а то, чего Боже сохрани, и послѣдній грошъ прахомъ пойдетъ. И что всего замѣчательнѣе—несмотря на эту вѣчно преслѣдующую бѣдность, никто не обращалъ на нее вниманія, никто не сострадалъ къ ней, а, напротивъ, всякій до того былъ убѣжденъ въ «дарованіяхъ» Антошки, что звалъ его «стальною душой» и охотно подшучивалъ, что онъ «родного отца на кобеля промѣнять готовъ».

Такъ шло до тѣхъ поръ, пока на русскую землю не повѣяло новымъ духомъ. Антошка былъ однимъ изъ первыхъ, воспользовавшихся ближайшими результатами этого вѣянія. Онъ разомъ смекнулъ, что упраздненіе крѣпостного права должно въ значительной степени понизить старинныя перегородки и создать совершенно новое положеніе, въ которомъ свѣжему и алчному человѣку слѣдуетъ только не зѣвать, чтобы обрѣсти сокровище. Арена промышленной дѣятельности несомнѣнно расширилась: не однимъ мѣстнымъ толстосумамъ понадобились подручные люди, свободно продающіе за грошъ свою душу, но и другимъ всякаго званія шлющимся людямъ, вдругъ вспомнившимъ изреченіе: «земля наша велика и обильна», и на этомъ шаткомъ основаніи вознамѣрившимся воздвигнуть храмъ будущей славы и благополучія.

Во множествѣ появились невѣдомые люди (тѣ же Антошки, но только называвшіе себя «изслѣдователями»), съ пронзительными, почти колючими взорами, съ острымъ и развитымъ обоняніемъ и съ непоколебимою рѣшимостью въ Тетюшахъ открыть Америку. Эти люди ничего не покупали и не законтрактовывали, а нюхали, разспрашивали встрѣчныхъ и поперечныхъ, шатались по базарамъ и торгамъ и увѣряли всѣхъ и каждаго, что полагаютъ основаніе для какихъ-то сношеній, отыскиваютъ новые рынки и новые истоки для отечественной производительности. Для подобныхъ субъектовъ Антошка былъ сущій кладъ. Онъ отлично понялъ, что имѣетъ дѣло съ людьми легкомысленными, которымъ нужно одно: чтобъ «идея», зашедшая въ голову имъ самимъ или ихъ патронамъ, была подтверждена такъ-*называемымъ* «мѣстнымъ изслѣдованіемъ». Поэтому онъ

охотно пристраивался къ вѣстникамъ воспрянувшаго промышленнаго духа и не только остерегался имъ противорѣчить, но лгалъ въ ихъ смыслѣ, что̀ было мочи, лишь бы они остались довольны.

Изслѣдованіе обыкновенно производилось очень просто: пріѣзжій Улиссъ бралъ записную книжку и начиналъ допросъ.

— Скажите, пожалуйста, я слышалъ, что у васъ здѣсь въ значительномъ количествѣ хмель разводится?

Улиссъ развертываетъ при этомъ карту, на которой Россія разрисована разными красками, смотря по большей или меньшей производительности хмеля.

— Хмель-то! Позвольте вамъ, ваше сіятельство, доложить! Хмелю у насъ въ одномъ здѣшнемъ городѣ такъ довольно, такъ довольно, что, можно сказать, не одна тыща пудовъ сгніетъ его... потому сбыта ему у насъ нѣтъ.

— Ну, такъ я и зналъ! Это изумительно! Изумительно, какія у насъ странныя свѣдѣнія объ отечествѣ!—горячится Улиссъ.—А что касается до сбыта, то объ этомъ безпокоиться нечего: сбытъ мы найдемъ.

— А какое бы, ваше сіятельство, здѣшнимъ жителямъ удовольствіе сдѣлали!

— Сбытъ мы найдемъ. Да. Ну, а какъ у васъ обрабатываютъ хмель? Прессуютъ?

— Это что̀ же такое «прессуютъ»?

— Ну, да; вотъ въ Англіи, напримѣръ, тамъ хмель прессуютъ и въ этомъ видѣ снабжаютъ всѣ рынки во всѣхъ частяхъ свѣта... Да-съ, батюшка! Вотъ это такъ страна! Во всѣхъ частяхъ свѣта—все англійскій хмель! Да-съ, это не то, что̀ мы-съ!

Антошка слушаетъ и въ тактъ качаетъ головой.

— И ни Боже мой!—говоритъ онъ:—у насъ и заведеніевъ этихъ нѣтъ! Помилуйте! Примѣрно, ежели теперича мужикъ, или хоша мѣщанинъ... ну, гдѣ же имъ этой самой прессовкѣ обучиться!

— Ну, этого, батюшка, не говорите, потому что русскій народъ—талантливый народъ.

— Это насчетъ того, чтобы перенять, что ли-съ? Ваше сіятельство! Помилуйте! Да покажите хоть мнѣ! Скажите: сдѣлай, Антонъ Верельяновъ, вотъ эту самую машину... Ну, то-есть вотъ какъ съ мѣста, значитъ, не сойду, а ужъ дойду и представлю!

— То-то вотъ и есть. Тутъ только руку помощи нужно

подать. Стало-быть, вы думаете, что ежели устроить здѣсь хмелепрессовальное заведеніе...

— Самая это, ваше сіятельство, полезная вещь будетъ. А для простого народа, для черняди, легкость какая—и Боже ты мой! Потому что возьмемъ къ примѣру хоть этотъ самый хмель: сколько теперича его даромъ пропадаетъ! Просто, съ позволенія сказать, въ навозъ валятъ! А тогда, значитъ, всякій, кто даже отроду хмелемъ не занимался, и тотъ его будетъ разводить. Потому тутъ дѣло чистое: взялъ, собралъ въ мѣшокъ, представилъ въ прессовальное заведеніе, получилъ денежки—и шабашъ!

— Гм!.. а ленъ въ нашихъ мѣстахъ—тоже въ большомъ количествѣ разводится?

Улиссъ развертываетъ другую карту, на которой Россія разрисована тоже разными красками, показывающими большее или меньшее развитіе льняной промышленности. К*** покрытъ краскою жидко, что̀ означаетъ слабое развитіе.

— Ленъ-то! Да наше мѣсто, можно сказать, изстари... Позвольте вамъ, ваше сіятельство, доложить: что̀ теперича хмель, что̀ ленъ—все, значитъ, едино, все—первыя по здѣшнему мѣсту статьи-съ! То-есть, сколько тутъ льну! сколько льну!

— Ну, такъ я и зналъ! Напередъ зналъ, что всѣ эти предварительныя свѣдѣнія—все пустяки! Однако хорошо мы знаемъ наше отечество... можно сказать! Посмотрите-ка, батюшка! Вотъ эта карта! Вотъ на ней положеніе нашей льняной промышленности представлено, и противъ вашего уѣзда значится: льняная промышленность—слабо.

— Ваше сіятельство! Да неужели же я! Сколько лѣтъ, значитъ, здѣсь живу! Да, можетъ, не одна тыща пудовъ...

— Еще бы! Разумѣется, кому же лучше знать! Я объ томъ-то и говорю: каковы въ Петербургѣ свѣдѣнія! Да-съ, вотъ извольте съ такими свѣдѣніями дѣло дѣлать! Я всегда говорилъ: господа! покуда у насъ нѣтъ *живого* изслѣдованія, до тѣхъ поръ все равно, что вы ничего не имѣете! Правду я говорю? Правду?

— Это истинное слово, ваше сіятельство, вы сказали!

— Ну, да. А, впрочемъ, я вѣдь одинъ... Прискорбно это... Трудно, батюшка, трудно!

— Ужъ на что̀ больше труда, ваше сіятельство!

— Ну-съ, а теперь будемъ продолжать наше изслѣдованіе. Такъ вы говорите, что ленъ... какъ же его у васъ обрабатываютъ? Вотъ въ Бельгіи, въ Голландіи кружева дѣлаютъ...

— Позвольте вамъ, ваше сіятельство, доложить! Это точно, что по нашему мѣсту... по нашему, можно сказать, необразованію... ленъ у насъ, можно сказать, въ большомъ упущеніи... Это такъ-съ. Однако, ежели бы теперича обучить, какъ его сѣять, или хоша бы, напримѣръ, сѣмена хорошія предоставить... большую бы пользу можно отъ этого самаго льна получить! Опять хоша бы и наша деревенская баба... нѐшто она хуже галанской бабы кружева сплететъ, коли ежели ей показать?

И такъ далѣе. Изслѣдованіе обходило всѣ предметы мѣстнаго производства, и притомъ не только тѣ, которые уже издавна получили право промысловой гражданственности, но и тѣ, которые даже вовсе не были въ данной мѣстности извѣстны, но, при обращеніи на нихъ должнаго вниманія, могли принести значительныя выгоды. Въ заключеніе изслѣдователь обыкновенно спрашивалъ:

— А не можете ли вы назвать мнѣ главнѣйшихъ здѣшнихъ промышленниковъ?

Антошку при этомъ вопросѣ подергивало: онъ уже начиналъ ревновать своего Улисса.

— Деруновъ, Осипъ Ивановичъ,—отвѣчалъ онъ, запинаясь:—большое колесо у нихъ заведено... Только позвольте, ваше сіятельство, вамъ доложить...

— Что̀ такое?

— Не понравятся они вамъ, господинъ то-есть Деруновъ...

— Отчего такъ?

— Да такъ-съ... немножко они какъ будто по старинѣ-съ... Насчетъ непріятелевъ очинно осторожны... Опасаются. Это чтобы вотъ насчетъ прессовки хмелю или насчетъ кружевъ-съ—и ни Боже мой!

— Рутинными, значитъ, путями идетъ? Рутинными, старыми?

— Еще какими старыми-то! Какъ, значитъ, ваше сіятельство, отцы и дѣдушки калью наѣздили—такъ и мы!

Но изслѣдователь все-таки отправлялся къ Дерунову (нельзя: во-первыхъ, мѣстный Ротшильдъ, а во-вторыхъ, и «сношенія» надо же завести), калякалъ съ нимъ, удивлялъ его легкостью воззрѣній и быстротою мысленныхъ переходовъ—и въ концѣ концовъ, какъ и предсказывалъ Антошка, выходилъ отъ него недовольный.

— Да, батюшка,—говорилъ онъ Антошкѣ:—вы правду сказывали! Это не промышленникъ, а истуканъ какой-то!

Ни духа предпріимчивости, ни пониманія экономическихъ законовъ... ничего! Нѣтъ-съ! Намъ не такихъ людей надобно! Намъ надобно совсѣмъ другихъ людей... понимаете? Вотъ какъ мы съ вами, напримѣръ! А? Понимаете, вотъ какъ мы съ вами?

— Сказывалъ я вашему сіятельству, что понапрасну только время терять изволите. Самый, что̀ называется, закоренѣлый это человѣкъ!

Непосредственнымъ результатомъ этихъ наѣздовъ было то, что въ короткое время Антошка успѣлъ сколотить нѣсколько сотенъ рублей. Главный же результатъ сказался въ томъ, что цѣна на Антошкину услугу внезапно повысилась, и отношенія къ нему мѣстныхъ обывателей въ значительной степени измѣнились. Съ этихъ поръ онъ дѣлается солиднымъ человѣкомъ, вмѣсто «Антошки» начинаетъ именоваться «Антономъ Верельянычемъ», а прозвище «Стрѣла» замѣняетъ фамиліею «Стрѣлòвъ». И дѣйствительно, въ городѣ начали ходить удивительные слухи. Сперва начали говорить, что учреждается компанія для «разведенія и обдѣлки льна», а еще черезъ нѣсколько мѣсяцевъ прошелъ слухъ о другой компаніи, которая поставила себѣ задачей вытѣснить изъ торговли англійскій прессованный хмель и замѣнить его таковымъ же русскимъ. Наконецъ, пришла вѣсть и о желѣзной дорогѣ. Хотя же первые два слуха такъ и остались слухами, а послѣдній осуществился лишь гораздо позднѣе, тѣмъ не менѣе репутація Антошки установилась уже настолько прочно, что даже самому Дерунову не приходило въ голову называть его попрежнему Антошкою.

Въ это же самое время и въ средѣ помѣщиковъ обнаружилось движеніе. Нѣкоторые просто-нà-просто сознали свое неумѣніе вести хозяйство на новыхъ основаніяхъ; другіе же, не отказываясь отъ надежды достигнуть плодотворныхъ результатовъ въ будущемъ, требовали капиталовъ, капиталовъ, капиталовъ... Отсюда—общее желаніе ликвидировать или все, или, по крайней мѣрѣ, то, что̀ казалось менѣе необходимымъ. Неумѣлые готовы были сбыть все и во что бы ни стало, лишь бы бѣжать изъ постылаго мѣста; мнившіе себя умѣлыми отдѣлывались отъ пустошей и тѣхъ обрѣзковъ, которые, благодаря ихъ же настояніямъ, образовались при написаніи уставныхъ грамотъ. Эти затѣи тоже требовали бойкихъ и ходкихъ посредниковъ, потому что толстосумы, въ родѣ Дерунова, ежели обращались къ нимъ

непосредственно, безъ зазрѣнія совѣсти предлагали за рубль грошъ. Въ числѣ этихъ посредниковъ-маклеровъ, само собою разумѣется, на первомъ планѣ оказался Антонъ Стрѣловъ, и дѣйствительно онъ устроилъ на первыхъ порахъ нѣсколько такихъ сдѣлокъ, которыми обѣ стороны остались довольны.

То была именно та самая минута, когда заскучалъ генералъ Утробинъ. Оброки шли туго; земля не только ничего не приносила, но еще требовала затратъ. Генералъ вдругъ почувствовалъ себя одинокимъ и безпомощнымъ. Всякій интересъ къ жизни въ немъ словно погасъ; онъ уже пересталъ ревниво присматриваться къ выраженію лицъ временно-обязанныхъ; онъ даже разомъ прекратилъ, словно оборвалъ, полемику съ мировымъ посредникомъ. Все это было хорошо, покуда теплились еще остатки прежней барской жизни; но теперь, когда пошла рѣчь объ удовлетвореніи потребностей ежедневнаго расхода, шутки шутить было уже не къ лицу. Безучастнымъ, скучающимъ взоромъ глядѣлъ генералъ изъ оконъ новаго дома на воды Вопли и на изрытый, изуродованный берегъ ея, тотъ самый, гдѣ было когда-то предположено быть лугу и цвѣтнику. Изрѣдка, выходя изъ дома, онъ обводилъ удивленными, словно непонимающими взорами, засохшія деревца, ямы, оставшіяся незаровненными, неубранный хламъ—и въ сѣдой его головѣ копошилась одна мысль: что гдѣ-нибудь долженъ быть человѣкъ, который придетъ и все это устроитъ разомъ, однимъ махомъ. Что онъ, генералъ, въ одно утро проснется и *вдругъ* увидитъ, что все цвѣтетъ, красуется, благоухаетъ, и никакихъ признаковъ недавняго геологическаго переворота въ поминѣ нѣтъ. Для опытнаго, свышешестидесятилѣтняго старика, конечно, это была надежда совсѣмъ дѣтская, но когда нервы человѣка почти убиты, то волшебство невольнымъ образомъ дѣлается единственнымъ исходомъ, на которомъ успокаивается мысль.

На Іону генералъ не надѣялся. Со времени освобожденія крестьянъ Іона нѣсколько разъ нагрубилъ генералу, а раза два даже позволилъ себѣ явиться къ нему «не въ своемъ видѣ». По этому поводу произошла баталія, во время которой генералъ напомнилъ Іонѣ, что онъ его «изъ грязи вытащилъ», а Іона, въ свою очередь, сдѣлалъ генералу циническое замѣчаніе насчетъ Агнушки. Конечно, на другой день Іона проспался и принялъ прежній смиренный видъ, но въ сердце генерала уже заползла холодность. Хо-

лодность эта мало-по-малу перешла и на Агнушку, особливо съ тѣхъ поръ, какъ генералъ, однажды, стоя у окна, увидалъ, что Агнушка, озираясь, идетъ со скотнаго двора и что-то хоронитъ подъ фартукомъ. Генералъ, разумѣется, ни однимъ словомъ не намекнулъ о своемъ открытіи, но сталъ примѣчать и услѣдилъ чудовищныя вещи. Въ его глазахъ, съ быстротой молніи, исчезали громадные куски сахару, а расходъ чухонскаго масла, чая и кофея становился просто-нà-просто скандальнымъ. Былъ у генерала цѣлый запасъ перинъ, а недавно пріѣхалъ становой, и не на чемъ было положить его спать. Наконецъ, стали исчезать подсвѣчники, а о мѣлкахъ, карточныхъ щеткахъ и т. п. давно и въ поминѣ не было. «Куда все это дѣвалось?» спрашивалъ себя генералъ и продолжалъ молча наблюдать, съ какимъ-то дикимъ наслажденіемъ растравляя собственныя раны.

«Это они на всякій случай прикапливаютъ!—разсуждалъ онъ самъ съ собою.—Только куда они прячутъ?»

И онъ съ злорадствомъ ожидалъ, что вотъ-вотъ придетъ нѣкто, который всю эту шваль погонитъ и все разомъ устроитъ.

Этотъ таинственный «нѣкто» явился въ лицѣ Антона Стрѣлова. Это уже былъ не прежній худой и замученный Антошка, съ испитымъ лицомъ, съ вдавленною грудью, съ полнымъ отсутствіемъ живота, который въ обшарпанномъ длиннополомъ сюртукѣ ждалъ только мановенія, чтобы бѣжать впередъ, куда глаза глядятъ. Напротивъ того, предъ лицо генерала предсталъ малый солидный, облеченный въ синюю поддевку тонкаго сукна, плотно обтягивавшую довольно объемистое брюшко, который говорилъ сдержанно-резоннымъ тономъ и притомъ умѣлъ сообщить своей почтительности такой характеръ, какъ будто источникомъ служило не грубое раболѣпство, а лишь сознаніе заслугъ и высокости званія того лица, которому онъ, Антонъ, имѣлъ честь «докладывать». Это до того пріятно поразило генерала, что и онъ, въ свою очередь, не счелъ возможнымъ отнестись къ Стрѣлòву въ томъ презрительно-фамильярномъ тонѣ, въ какомъ онъ вообще говорилъ съ людьми низкаго званія.

— Ну, Антонъ... какъ по отчеству—не знаю...—сказалъ онъ, самъ, очевидно, смущенный необходимостью допущенной имъ уступки.

— Валерьянычъ-съ,—спокойно отвѣтилъ Стрѣлòвъ.

— Ну, такъ вотъ, стало-быть, Антонъ Валерьянычъ, надобно намъ ладкомъ объ дѣлахъ поговорить!

— Съ великимъ моимъ удовольствіемъ, ваше превосходительство! Дѣла вашего превосходительства я даже и сейчасъ очень хорошо знаю. Не хороши дѣла, ваше превосходительство, то-есть, такъ не хороши, такъ не хороши!

— Затѣмъ, братецъ, я тебя и позвалъ. Поправить надо.

— Ваше превосходительство! Какъ передъ Богомъ, такъ и передъ вами! Поправку тутъ даже очень хорошую можно сдѣлать! Одно слово—извольте приказать! Только кликнуть извольте: Антонъ, молъ, Валерьяновъ!.. И коли-ежели...

— Ну, да, вотъ это-то я и хочу. Самъ видишь, какъ я живу. Усадьба — не достроена; въ садъ войдешь — сухіе прутья да ямы изъ-подъ овиновъ...

— На что хуже-съ!

— А оброки между тѣмъ поступаютъ плохо, земля—въ убытокъ...

— Земля... въ убытокъ! Помилуйте! Это даже удивительно для меня!—усомнился Антонъ и словно бы даже укоризненно покачалъ головой.

— И я, братецъ, удивляюсь...

— По-нашему, ваше превосходительство, такъ нужно сказать: не токма что убытокъ, а пользу должна земля принести! Вотъ какое объ этомъ дѣлѣ мы разсужденье имѣемъ.

— И я, братъ, это разсужденье-то имѣю...

— Ваше превосходительство! позвольте вамъ доложить! Какъ же эта самая земля можетъ убытокъ приносить, коли-ежели ей, можно сказать, отъ самого Бога такъ опредѣлено, чтобы человѣкъ отъ нея пропитанье себѣ имѣлъ! Это точно, что по нынѣшнему времю всѣ господа большую претензію имѣютъ... Вотъ Толстопятовъ господинъ или кандауровскій баринъ—всѣ они меня точно такъ же спрашивали: «отчего, молъ, Антонъ, землю нынче работать—себѣ въ убытокъ?» Однако, какъ осмотрѣлъ я все какъ слѣдуетъ, и вижу: тутъ мѣстечко полезное, тамъ мѣстечко, въ другомъ мѣстѣ—десятинка-съ... Смотришь, десятинка да десятинка—анъ, можно сказать, и пользу сыскали!

Рѣчь эта сильно пришлась по сердцу генералу. Онъ даже унынье съ себя сбросилъ и нѣсколько дней сряду ходилъ по усадьбѣ орломъ. Стрѣловъ въ это время осматривалъ земельную дачу и каждый вечеръ докладывалъ о результатѣ осмотра.

— Ну, дачка у васъ, ваше превосходительство!—восхи-

щался онъ:—такая дачка! такая дачка! И коли ежели эту самую дачу да къ рукамъ—и Господи Боже мой!

— Гм!.. стало-быть, пользу можно получить?

— Позвольте вамъ, ваше превосходительство, доложить! Возьмемте теперича къ примѣру хоша бы лѣсъ... Что̀ такое этотъ самый лѣсъ? Есть лѣсъ всякой-съ: есть теперича дровяникъ, есть угольникъ, а есть, примѣрно, и строевой-съ. Главная причина—какъ разсортировать. Ежели теперича дрова, скажемъ примѣрно, къ дровамъ, угольникъ — къ угольнику, а строевой, значитъ, чтобы особо... сколько теперича отъ одного угольника пользы получить можно! А при семъ сучья. Крестьянину, значитъ, отопиться нужно—гдѣ онъ возьметъ? А земля-то, ваше превосходительство! По ней вѣдь и опять лѣсъ пойдетъ! Мѣста же здѣсь вольныя, боровыя...

— Такъ ты полагаешь: пилить самимъ?

— Полагаю, что такъ бы слѣдовало. Потому, ежели теперича лѣснику на сводъ продать, онъ первое дѣло—лѣсъ затопчетъ и загадитъ, и второе дѣло — половинной цѣны противъ настоящихъ барышовъ не дастъ!

— Что же, братъ, съ Богомъ!

Черезъ десять дней Стрѣло̀въ окончательно поселился въ генеральской усадьбѣ въ качествѣ главноуправляющаго.

Устроившись такимъ образомъ, Стрѣло̀въ счелъ первымъ долгомъ освободить генерала отъ всякихъ «безпокойствъ». Съ помощью безчисленныхъ мелкихъ предупредительностей онъ довелъ генерала до того, что послѣдній даже утратилъ потребность выходить изъ дому, а не то чтобы дѣлать какія-нибудь распоряженія. Но что̀ всего важнѣе — генералъ сейчасъ же почувствовалъ непосредственный результатъ Стрѣло̀вскаго управленія: отъ него перестали требовать денегъ на расходы по веденію полевого хозяйства. Обработка земли не только не приносила убытка, но въ самое короткое время дала 57½ копеекъ барыша.

— Ты, братецъ, волшебникъ!—воскликнулъ генералъ внѣ себя отъ изумленія.

— Всѣ силы-мѣры, ваше превосходительство!—скромно отвѣтилъ Стрѣло̀въ. — Тутъ урвешь, тамъ сократишь... а ваше превосходительство изволите говорить: волшебникъ-съ! Да кабы мы волшебствами могли заниматься, такъ ли бы мы передъ вашимъ превосходительствомъ заслужили!

И дѣйствительно, волшебства никакого не было, а про-

сто-нà-просто Стрѣлòвъ покрывалъ расходы по полевому хозяйству изъ доходòвъ по лѣсной операціи. Генералъ этого не видѣлъ, да и некому было указать ему на это волшебство, потому что и относительно окружающихъ Стрѣлòвъ принялъ свои мѣры. Весь служебный персоналъ онъ измѣнилъ, Іону съ утра до вечера держалъ въ полубезчувственномъ отъ вина положеніи, а съ Агнушкой прямо вошелъ въ амурныя отношенія, сказавъ ей:

— Теперича, ежели вы его превосходительство безпокоить будете, такъ у насъ въ городу дѣвицъ очень довольно на ваше мѣсто найдется.

Въ первый разъ послѣ мучительныхъ двухъ лѣтъ генералъ почувствовалъ себя спокойно. Конечно, это было спокойствіе очень однообразное, которое скоро бы надоѣло генералу, несмотря ни на какія ухищренія Стрѣлòва, если-бъ не нашлось подходящаго предмета, который вполнѣ поглотилъ все вниманіе старика. Этимъ предметомъ явились пресловутые безпорядки 1862 года. Съ самодовольствомъ вычитывалъ генералъ изъ газетъ загадочныя, но захватывающія духъ извѣстія и торжествующе улыбался при мысли, что все это онъ предвидѣлъ и предрекалъ еще въ то время, когда писалъ свой проектъ: «Но ежели». Сынъ тоже слалъ ему извѣстіе за извѣстіемъ: молодой человѣкъ шелъ въ гору и подробно увѣдомлялъ объ увольненіяхъ, перемѣщеніяхъ и назначеніяхъ. Все говорило генералу, что горячка новшествъ должна въ скоромъ времени стихнуть. Сверхъ того Петенька писалъ еще о какихъ-то нигилистахъ, присовокупляя при этомъ, что въ Москвѣ вырабатывается проектъ изслѣдованія корней и нитей. Генералъ пріосанился и запомнилъ слово: «нигилистъ». Быть-можетъ, ему даже показалось, что его время еще не прошло, что о немъ вспомнятъ, его призовутъ. Тогда это многимъ казалось. Такое было это время, что всякій шлющійся человѣкъ могъ мысленно дерзать. Генералъ началъ даже готовиться по секрету къ какой-то важной миссіи, какъ бы опасаясь, чтобъ его не застали врасплохъ. Съ этою цѣлью онъ началъ сочиненіе, которому, по бывшему уже примѣру, присвоилъ названіе: «О поврежденіи нравовъ» и которое должно было служить, такъ сказать, готовою программой на случай, если его «призовутъ».

Сочиненіе писалось въ разлинованной тетрадкѣ и постаринному раздѣлялось на параграфы, при чемъ сбоку обозначалось кратко содержаніе каждаго. Ежедневно прибав-

влялъ онъ по одному параграфу, приблизительно въ пять строкъ. Параграфъ: «Въ чемъ заключается современное поврежденіе?»—гласилъ такъ: «Всякому времени особливое поврежденіе свойственно; такъ, при блаженной памяти императрицѣ Екатеринѣ II введены были фижмы и господствовалъ геройскій духъ; впослѣдствіи же къ сему присоединилась наклонность къ военнымъ поселеніямъ. Нашему времени свойственное поврежденіе — есть нигилизмъ». Въ параграфѣ: «Видимое происхожденіе нигилизма и тайные предтечи его»—говорилось: «Явное мѣсторожденіе нигилизма открыто недавно въ Москвѣ, на Цвѣтномъ бульварѣ, въ домѣ Селиванова, въ гостиницѣ «Крымъ», въ особомъ оной отдѣленіи, именуемомъ «Адъ»; тайные же предтечи онаго уже съ 1856 года изливали свой ядъ въ той же Москвѣ, въ редакціи нѣкотораго повременнаго изданія, впослѣдствіи принесшаго въ томъ раскаяніе». Въ параграфѣ: «Въ чемъ оное поврежденіе состоитъ?» — значилось: «Въ отверженіи промысла Божія и пользы, предержащими властями приносимой. Равнымъ образомъ: въ непочтеніи, неуваженіи, разрушеніи и неповиновеніи. Сущее отрицаютъ, крѣпкое шаткимъ почитаютъ, а не сущее и не крѣпкое за сущее и крѣпкое выдаютъ. Нелѣпость сего очевидна». Въ параграфѣ: «Какъ въ семъ случаѣ поступать?» — объяснялось: «По усмотрѣнію. Но ежели бы сіе до такого лица относилось, которое, бывъ нѣкогда опытно, а потомъ въ отставкѣ, внезапу подверглось призванію съ облеченіемъ довѣрія, то, кажется, лучше въ семъ случаѣ было бы поступить такъ: разыскавъ корни и нити и отдѣливъ вредныя плевелы отъ подлинныхъ и полезныхъ классовъ, первыя исторгнуть, вторымъ же дать надлежащій по службѣ ходъ».

Однимъ словомъ, въ жизнь генерала всецѣло вторгнулся тотъ могущественный элементъ, который въ то время былъ извѣстенъ подъ именемъ борьбы съ нигилизмомъ.

Тѣмъ не менѣе, сначала это была борьба чисто-платоническая. Генералъ одинъ-на-одинъ бесѣдовалъ въ кабинетѣ съ воображаемымъ нигилистомъ, старался образумить его, доказывалъ опасность *сего*, и хотя постоянно уклонялся отъ объясненія, что̀ слѣдуетъ разумѣть подъ словомъ *сіе*, но по тѣмъ огонькамъ, которые бѣгали при этомъ въ его глазахъ, ясно было видно, что дѣло идетъ совсѣмъ не о невѣдомомъ какомъ-то нигилизмѣ, а о совершившихся новшествахъ, которыя собственно и составляли неизбывную обиду, подлежавшую генеральскому отмщенію.

Впрочемъ, такое платоническое отношеніе не могло быть продолжительно. Явилась потребность осуществить безкровный идеалъ нигилиста въ сколько-нибудь подходящемъ живомъ образѣ, и генералъ былъ отмѣнно доволенъ, когда потребность эта нашла себѣ удовлетвореніе въ лицѣ его мелкопомѣстнаго сосѣда, Анпетова.

Анпетовъ былъ малый лѣтъ двадцати семи, получившій очень ограниченное образованіе, но неглупый по природѣ и, главное, очень сочувствующій. Когда случился тотъ переломъ, который повергъ генерала въ уныніе, Анпетовъ, напротивъ того, какъ-то особенно закопошился: онъ разъѣзжалъ веселый по селамъ и весямъ, обнимался, цѣловался, плакалъ, хохоталъ и въ заключеніе даже принялъ безмездно мѣсто письмоводителя при мировомъ посредникѣ. Въ то время подобныхъ людей не причисляли къ лику нигилистовъ, но считали опорами и дѣлали имъ лестныя предложенія. Но Анпетовъ до того былъ зарытъ въ толпѣ, что даже тогдашнее сильное движеніе не выдвинуло его впередъ, какъ выдвинуло, напримѣръ, Луку Кисловскаго, добившагося, à son corps défendant, чести служить волостнымъ писаремъ. Анпетовъ попрежнему остался въ толпѣ, заявляя о себѣ однимъ лишь ликованіемъ и нося въ своемъ чистомъ сердцѣ только одну гражданскую зависть — къ Лукѣ Кисловскому. Онъ изъ первыхъ покончилъ съ крестьянами выкупною сдѣлкой, что̀, впрочемъ, доставило ему больше радости, нежели матеріальныхъ выгодъ. Подобно большинству энтузіастовъ того времени, онъ съ жаромъ обратился къ вольнонаемному труду и подобно всѣмъ повелъ это дѣло безъ разсчета и съ перваго же раза осѣкся. Однако это не подѣйствовало на него одуряющимъ образомъ: онъ не бросился вонъ изъ «своего мѣста» и не осовѣлъ, запершись въ четырехъ стѣнахъ полуразвалившейся храмины, въ которой предки его съ незапамятныхъ временъ истребляли ерофеичъ. Въ немъ было черезчуръ много потребности жить, чтобъ запереться, и онъ слишкомъ любилъ «свое мѣсто», чтобы бѣжать изъ него въ уѣздный или губернскій городъ на службу. Онъ любилъ приволье, любилъ охоту, любилъ лѣсъ, рѣку, лугъ, любилъ народъ. Вслѣдствіе всего этого, не желая умереть съ голода, онъ сломалъ ветхія отцовскія хоромы, на мѣсто ихъ вывелъ просторную избу и сдѣлался самъ, въ одно и то же время, и землевладѣльцемъ, и работникомъ. Само собою разумѣется, что во всемъ этомъ не было ни тѣни намека ни

на соціализмъ, ни на коммунизмъ, о которыхъ онъ, впрочемъ, и понятія не имѣлъ, но тѣмъ не менѣе поступокъ его произвелъ сенсацію.

Внѣшнимъ поводомъ для этой сенсаціи послужило то, что дворянинъ «занимается несвойственными дворянскому званію поступками»; дѣйствительною же, внутреннею причиной служило просто желаніе къ чему-нибудь придраться, на комъ-нибудь сорвать накипѣвшее зло. Вся окрестность загудѣла; дворяне негодовали, мужики-торгаши посмѣивались, даже крестьянская масса—и та съ какимъ-то пренебрежительнымъ любопытствомъ присматривалась.

Генералъ взглянулъ на Анпетова сначала съ недоумѣніемъ; но потомъ, припомнивъ тѣ тысячи досадъ, которыя онъ въ свое время испыталъ отъ однихъ извѣстій о новаторской рьяности молодого человѣка, нашелъ, что теперь настала настоящая минута отмстить. Какъ-то вдругъ вырвалось изъ устъ его восклицаніе: — ну, вотъ! ну, да! ну, «онъ»! Онъ, то-есть нигилистъ, то-есть то загадочное существо, которое, подобно древнему козлу очищенія, обязывалось понести на себѣ наказаніе за реформаторскую прыткость вѣка. Сейчасъ же генералъ охарактеризовалъ Анпетова именемъ «негодяй», и съ тѣхъ поръ это прозвище вошло въ воплинской усадьбѣ въ употребленіе вмѣсто собственнаго имени.

Трудно представить себѣ, что̀ можетъ произойти и на что̀ можетъ сдѣлаться способенъ человѣкъ, коль скоро обиженное и возбужденное воображеніе его усвоитъ себѣ какое-нибудь убѣжденіе, найдетъ подходящій образъ. Генералъ глубоко увѣровалъ, что Анпетовъ негодяй, и сквозь призму этого убѣжденія началъ строить его жизнь. Само собой разумѣется, что это былъ вымышленный и совершенно фантастическій романъ, но романъ, у котораго было свое незыблемое основаніе и который можно было пополнять и варьировать до безконечности.

Во всякомъ случаѣ все это наполняло бездну празднаго времени и въ то же время окончательно уничтожало въ генералѣ чувство дѣйствительности. Стрѣлòвъ понялъ это отлично и съ большимъ искусствомъ поддерживалъ фантастическое настроеніе генеральскаго духа.

Каждое утро генералъ, сидя за чаемъ и попыхивая трубку, машинально выслушивалъ рапортъ Стрѣлòва о вчерашнихъ операціяхъ и тотчасъ же свертывалъ на любимый предметъ.

— Ну, а кàкъ... негодяй?

Въ отвѣтъ Антонъ, не то скорбно, не то какъ бы едва воздерживаясь отъ смѣха, махалъ рукой.

— Новенькое что-нибудь начудилъ?

— Дѣлежка у нихъ этта была! — говоритъ Стрѣлòвъ, словно умирая отъ смѣха.

— И чтò-жъ?

— Вычисленіе дѣлалъ. «Это, говоритъ, мнѣ процентъ на капиталъ, это — моя часть, значитъ, какъ хозяина», а остальное поровну раздѣлилъ. Рабочіе даже сейчасъ разсказываютъ—смѣются.

— Однако... это важно! Это даже очень важно!

— Помилуйте, ваше превосходительство! нестòящій это совсѣмъ человѣкъ, чтобы вамъ, можно сказать, такъ объ немъ безпокоиться!

— Нѣтъ, мой другъ, не говори этого, не въ такомъ я званіи, чтобъ это дѣло втунѣ оставить! Не Анпетовъ важенъ, а тотъ ядъ, который онъ разливаетъ! Вотъ чтò я прошу тебя понять!

— Ядъ—это такъ точно-съ! Отравы этой они и посейчасъ промежду черняди довольное число распространили. Довольно, кажется, съ ихней стороны было ужъ низко изъ одной чашки съ мужиками хлѣбать — такъ нѣтъ, и этого мало показалось!

— А чтò еще?

— Помилуйте! позвольте вамъ доложить! Теперича сами съ сохой въ поле выходятъ, заодно съ мужиками всѣ работы исполняютъ!

— Негодяй!

— Истинное, ваше превосходительство, вы это слово сказали. Именно не иначе объ нихъ, теперича, заключить можно!

— Да ты видѣлъ?

— Самолично-съ. Вечòръ иду я изъ «Пѣтуховъ», и онъ тоже за сохой домой возвращается. Только я, признаться, имъ камешòкъ тутъ забросилъ: «чтò, говорю, Петръ Иванычъ, видно нынче и баре за соху принялись?» Ну, онъ ничего—смолчалъ.

— Негодяй!—почти задавленнымъ голосомъ произносилъ генералъ.

— А все-таки, позвольте вамъ доложить: напрасно себя изъ-за нихъ безпокоить изволите!

— Нѣтъ, мой другъ, это слишкомъ важно! Это такъ

важно, такъ важно! Знаешь ли ты, чѣмъ такіе поступки пахнутъ?

— Оно конечно, ваше превосходительство, большая смута черезъ это самое промежду черняди идетъ!

— Ну, вотъ видишь ли!.. Значитъ, и простой народъ... крестьяне... какъ они на эти поступки смотрятъ?

— Которые хорошіе мужички—ни одинъ не одобряетъ. Взять хоть бы Лександра-телятникъ или Пётра-бумажникъ—ни одинъ, то-есть, и ни-ни! Ну, а промежду черняди—тоже не безъ сумлѣнія!

— А что̀ въ Писаніи сказано? «Пасите овцы ваша» — вотъ что̀ сказано! Ты говоришь: «не извольте безпокоиться»,—а кто въ отвѣтѣ будетъ?

— Въ отвѣтѣ — это такъ точно, другому некому быть! Ахъ! только посмотрю я, ваше превосходительство, на чины на эти! Почетъ отъ нихъ—это слова нѣтъ! Ну, однако и отвѣту на нихъ лежитъ много! То-есть — столько отвѣту, столько отвѣту!

— Кому много дано, съ того много и взыщется. Такъ-то, мой другъ!

— Это такъ точно, ваше превосходительство. Только коли-ежели, теперича, все сообразить...

Стрѣлòвъ махалъ рукой и умолкалъ, какъ бы нѣмѣя передъ необъятностью открывшихся ему перспективъ.

Такъ проходили дни за днями, и каждый день генералъ становился серьезнѣе. Но онъ не хотѣлъ начать прямо съ крутыхъ мѣръ. Сначала онъ потребовалъ Анпетова къ себѣ—Анпетовъ не пришелъ. Потомъ, подъ видомъ прогулки верхомъ, онъ отправился на анпетовское поле и тамъ самолично убѣдился, что «негодяй» дѣйствительно пробиваетъ борозду за бороздой.

— Стыдно, сударь, званіе дворянина унижаете!—крикнулъ ему Утробинъ; но такъ какъ въ эту минуту Анпетовъ находился на другомъ концѣ полосы, то неизвѣстно, слышалъ ли онъ генеральское вразумленіе, или нѣтъ.

Наконецъ, генералъ надумался и обратился къ «батюшкѣ». Отецъ Алексѣй былъ человѣкъ молодой, очень приличнаго вида и страстно любимый своею попадьей. Онъ щеголялъ шелковою рясой и возвышеннымъ образомъ мыслей и плѣнилъ генерала, сказавъ однажды, что «вѣра—главное, а разумъ — все равно, что слуга на запяткахъ; есть надобность за чѣмъ-нибудь его послать—хорошо, а нѣтъ надобности—и такъ простоитъ на запяткахъ!»

Генералъ любилъ батюшку; онъ вообще охотно разговаривалъ отъ Писанія и даже хвалился начитанностью своей по этой части. Сверхъ того, батюшка давалъ ему случай припоминать объ архіереяхъ, которыхъ онъ зналъ во времена своего губернаторства, и о томъ, какъ и кто изъ нихъ служилъ заутреню въ Свѣтлое Христово Воскресенье.

— При мнѣ у насъ преосвященный Иракламвонъ *) былъ, — разсказывалъ генералъ: — такъ тотъ, бывало, по-военному, къ двумъ часамъ и заутреню, и обѣдню отпоетъ. Чуть, бывало, пѣвчіе зазѣваются: а-а-э-э... онъ сейчасъ съ горняго мѣста: «распѣлись!?»

— Значитъ, скорое и свѣтлое пѣніе любилъ?

— Да; а вотъ преосвященный Памфалонъ **)—тотъ, бывало, полчаса чешется да полчаса облачается, а пѣвчіе въ это время: а-а-а-а...

— Торжественность, значитъ, предпочиталъ?

Одного не любилъ генералъ въ отцѣ Алексѣѣ: что онъ елеемъ волосы себѣ мазалъ. И потому, поговоривъ объ архіереяхъ, всегда склонялъ разговоръ и на этотъ предметъ:

— И охота тебѣ, батя, маслищемъ этимъ...

— Прошу, ваше превосходительство, извинить: еще времени не избралъ помады купить! — оправдывался отецъ Алексѣй.

Однажды изъ-за этого обстоятельства даже чуть не вышло между ними серьезное столкновеніе. Генералъ не вытерпѣлъ и, слѣдуя традиціямъ старинной русской шутливости, послалъ отцу Алексѣю копытной мази. Отецъ Алексѣй обидѣлся...

Вотъ къ нему-то и обратился генералъ въ настоящемъ случаѣ.

— Слышалъ, батя?

— Что̀ изволите, ваше превосходительство, приказать?

— Про «негодяя»?

— Недоумѣваю...

— Про Анпетова, про Ваньку Анпетова говорю! Да ты никакъ, съ попадейкой-то цѣлуясь, и не видишь, что̀ у тебя въ паствѣ дѣлается?

— У господина Анпетова бываю и даже ревнивымъ окомъ за нимъ слѣжу. До сихъ поръ, однако, душепагубнаго ничего не примѣтилъ. Ведетъ себя доброчинно, къ церкви

---

*) Празднуется 12-го іюня.
**) Празднуется 17-го мая.

Божіей нельзя сказать, чтобъ особливо прилеженъ, но и неприлежнымъ назвать нельзя.

— Землю пашетъ! — прогремѣлъ генералъ, вдругъ вытянувшись во весь ростъ.—Самъ! самъ! самъ съ сохой по полю ходитъ! Это—дворянинъ-съ!

Батюшка потупился. Онъ и самъ примѣтилъ, что Анпетовъ поступаетъ «странно нѣкако», но до сихъ поръ ему не представлялся еще вопросъ: возбраняется или не возбраняется?

— Дворянинъ-съ!—продолжалъ восклицать между тѣмъ генералъ. — Знаешь ли ты, чѣмъ это пахнетъ! Ядъ, сударь, возмущеніе! Ты вотъ сидишь да съ попадьей цѣлуешься; «доброчинно» да «душепагубно» — и откуда только ты эти слова берешь! Чѣмъ бы вразумить да пристыдить, а онъ лукошко въ руку да съ попадейкой въ лѣсъ по грибы!

Рѣшили на томъ, чтобъ идти отцу Алексѣю къ Анпетову и попробовать его усовѣстить. Эту миссію выполнилъ отецъ Алексѣй въ ближайшій воскресный день, но успѣха не имѣлъ. Началъ отецъ Алексѣй съ того, что сказалъ, что всегда были господа и всегда были рабы.

— А теперь вотъ рабовъ нѣтъ!—отвѣтилъ Анпетовъ.

— И теперь они есть, только въ сокровенномъ видѣ обрѣтаются,—продолжалъ усовѣщивать отецъ Алексѣй.

— Ты, батя, натощакъ, должно-быть — оттого вздоръ и городишь!—замѣтилъ на это Анпетовъ и затѣмъ отперъ шкапъ, вынулъ оттуда полуштофъ и налилъ двѣ рюмки.— Выпьемъ!

Однимъ словомъ, кончилось ничѣмъ, а батюшка, придя въ тотъ же вечеръ къ генералу, заявилъ, что Анпетовъ, даже по многомъ увѣщаніи, остался непреклоненъ.

Тогда генерала вдругъ осѣнила мысль, что батюшка въ одно изъ ближайшихъ воскресеній произнесетъ краткое поученіе, направленное противъ Анпетова, которое взялся написать самъ генералъ.

И дѣйствительно, поученіе было написано и гласило слѣдующее:

«Давно собирался я, братія, побесѣдовать съ вами объ отцѣ лжи, но доселѣ не представлялось удобнаго къ тому случая. Нынѣ же случай сей несомнѣнно представился, ибо между нами появился одинъ изъ ревностнѣйшихъ аггеловъ его. Не думайте, однако, чтобъ онъ имѣлъ видъ унылый *и душе*пагубный, свойственный дьяволу, обрѣтающемуся

въ первобытномъ состояніи. Нашъ агтелъ не таковъ; онъ не имѣетъ ни крылъ темныхъ, ни копытъ громкозвонныхъ, ни турьяго рога на челѣ, ни раскаленнаго уголья въ гортани своей. Онъ носитъ видъ обыкновеннаго человѣка, съ тѣмъ лишь отличіемъ, что во внутренностяхъ его сокрытъ адъ. Или прямѣе: это не человѣкъ, но человѣкоадъ. Человѣкъ по наружному виду, но адъ по виду внутреннему. Воистину человѣкоадъ, ибо ни о чемъ другомъ не мыслитъ, ничего другого не дѣлаетъ, какъ только сѣетъ плевелы. Сѣетъ на землѣ грѣхопаденія, срѣзаетъ серпомъ умерщвленія и ссыпаетъ зерна въ житницѣ погубленія.

«Но, сказавъ вамъ достаточно о появившемся между нами человѣкоадѣ и прелестяхъ его, я еще не открылъ вамъ его самого. Кто же ты, столь часто упоминаемый мной человѣкоадъ? Кто ты, носящій въ сердцѣ ядъ, а руками сѣющій измѣну? Ты — сынъ почтеннаго коллежскаго регистратора, съ честью служившаго засѣдателемъ въ земскомъ судѣ и потомъ почившаго отъ трудовъ въ дому отцовъ своихъ! Ты — сынъ достойнѣйшей родительницы, которая вскормила и воспитала тебя, отнюдь не думая, что у почтеннѣйшей груди ея вскармливается и воспитывается младенецъ, которому суждено сдѣлаться ближайшимъ совѣтникомъ отца лжи! Ты—юноша, на казенный счетъ, по причинамъ отъ начальства не зависѣвшимъ, не кончившій курса въ среднемъ учебномъ заведеніи и на казенный же счетъ взлелѣявшій въ сердцѣ своемъ сѣмя разврата! Почтенные и добродѣтельные родители — и душепагубный сынъ! Попечительное начальство — и результатъ сей благопопечительности... ужаснѣйшій человѣкоадъ! Размыслимъ о семъ, братія, и поскорбимъ!»

Отецъ Алексѣй даже похолодѣлъ, когда генералъ прочиталъ ему произведеніе своей фантазіи. Но съ генераломъ спорить было мудрено, а заставить его добровольно отступиться отъ однажды принятаго рѣшенія — и совсѣмъ невозможно.

Два воскресенья сряду батюшка сказывался больнымъ и не служилъ обѣдни, но на третье такая отговорка оказалась уже неудобною. Такъ какъ по всей окрестности разнесся слухъ, что генералъ устами отца Алексѣя будетъ обличать Анпетова, то народу въ церковь собралось видимо-невидимо. Явился и самъ Анпетовъ. Генералъ всталъ на возвышенное мѣсто и обводилъ орлинымъ взглядомъ толпу. Но вотъ прочитана была заамвонная молитва, Анпе-

товъ уже вытянулъ шею, чтобы принять публичный репримандъ, все вдругъ притихло... Увы! аналоя не появилось! Батюшка не рѣшился...

Послѣ обѣдни Анпетовъ взошелъ въ генеральскій домъ, пробрался въ кабинетъ къ генералу и сказалъ:

— Если-бъ вы были умны, то вмѣсто того, чтобы полемизировать со мной въ церкви, вы прогнали бы вора Антошку, а меня взяли бы на его мѣсто въ управляющіе. Я бы васъ не обкрадывалъ.

— Вонъ!—заревѣлъ на него не своимъ голосомъ генералъ.

Покуда генералъ боролся съ Анпетовымъ и мнилъ на немъ отомстить пораженіе старыхъ порядковъ, Антонъ Стрѣлôвъ распоряжался въ имѣніи полнымъ господиномъ. Ни Іоны, ни Агнушки въ генеральскомъ домѣ уже не было. Іону генералъ опредѣлилъ въ к—скій уѣздный судъ протоколистомъ, на имя Агнушки — купилъ въ К. домъ. Мѣсто Агнушки заняла дородная и краснощекая дѣвица Евпраксея, которую Стрѣлôвъ самолично разыскалъ и представилъ. Самъ Антонъ къ этому времени раздобрѣлъ такъ, что сталъ почти неузнаваемъ. Обличіе у него сдѣлалось настоящее купеческое; широкое и скулистое отъ природы лицо налилось; сѣрые, нѣкогда пронзительные глаза слегка заплыли. Ѣздилъ онъ по дѣламъ въ купеческой телѣжкѣ, на породистомъ коренникѣ-иноходцѣ, котораго генералъ подарилъ ему въ ознаменованіе побѣды надъ сердцемъ Евпраксеи. Но что̀ всего важнѣе—въ теченіе года съ небольшимъ онъ представилъ генералу до десяти тысячъ рублей денегъ.

Генералъ не справлялся, откуда и какимъ образомъ пришли къ нему эти деньги: онъ былъ доволенъ. Онъ зналъ, что у него есть гдѣ-то какіе-то «Пѣтухи», какое-то «Разуваево», какая-то «Лѣтесиха» и проч., и зналъ, что все это никогда не приносило ему ни полушки. Кромѣ того, онъ давно уже не имѣлъ въ рукахъ разомъ столько денегъ. Онъ былъ такъ доволенъ, что однажды даже, въ порывѣ гордыни, позволилъ себѣ сказать:

Антонъ, проси у меня, чего хочешь!

Но на этотъ разъ Антонъ еще не осмѣлился. Въ отвѣтъ на приглашеніе генерала онъ только повалился ему въ ноги и произнесъ:

Ничего мнѣ, окромя спокойствія вашего превосходительства, не надобно! Коли-ежели ваше превосходительство... Ахъ, ваше превосходительство!

И былъ такъ при этомъ взволнованъ, что генералъ, чтобъ успокоить его, трикраты съ нимъ облобызался.

Но черезъ короткое время Антонъ одумался. Однажды, принеся генералу выручку, полученную за проданный лѣсъ, онъ скромно доложилъ, что имѣетъ попросить у его превосходительства милости.

— Говори, мой другъ!—благосклонно отвѣтилъ генералъ.

— Не будетъ ли вашей милости это самое мѣстечко мнѣ уступить?

Антонъ произнесъ эти слова робко, какъ будто ему давили горло. При этомъ онъ взмахнулъ глазами на Мысокъ, на противоположномъ берегу рѣки, гдѣ и до сихъ поръ стоялъ постоялый дворъ Калины Силантьева. Генералъ словно очнулся отъ сна.

— А какъ же Калина?—спросилъ онъ.

— Калина Силантьичъ довольно попользовались. А при семъ они и на деревнѣ осѣдлость имѣютъ — могутъ, коли-ежели, и тамъ свою торговлю производить.

— Гм!.. да... стало-быть, Калина...

— А между прочаго, ежели такое ихъ желаніе будетъ, чтобъ безпремѣнно на семъ мѣстѣ остаться, такъ они и отъ меня могутъ онное кортомить!

— Что̀! Такъ ты купить, значитъ, «Мысокъ» задумалъ!?— вскочилъ генералъ, словно ужаленный.

— Коли-ежели ваша милость...

— Натко!

И генералъ сдѣлалъ такой жестъ, вслѣдствіе котораго Антошка на цыпочкахъ убрался во-свояси, наклонивъ голову, словно избѣгая удара.

Цѣлую недѣлю потомъ Стрѣло̀въ ходилъ точно опущенный въ воду и при докладѣ генералу говорилъ печально и какъ-то особенно глубоко вздыхалъ. Въ то же время дѣвица Евпраксея сдѣлалась сурова и неприступна. Прочая прислуга, вся подобранная Стрѣло̀вымъ, приняла какой-то особенный тонъ, не то жалостливый, не то пренебрежительный. Словомъ сказать, въ домѣ воцарился страшный порядокъ, въ которомъ генералъ очутился въ роли школьника, съ которымъ за фискальство или другую подлость положено не говорить.

Одиноко ходилъ онъ по комнатамъ барскаго дома и какъ-то фаталистически влекся къ балконной двери, изъ которой, какъ на ладони, виднѣлся «Мысокъ» и постоялый дворъ Калины Силантьева. Какъ будто онъ что-то смутно

предчувствовалъ. Онъ видѣлъ отпряженныя телѣги, видѣлъ восьмидесятилѣтняго Калину, который сидѣлъ на заваленкѣ, грѣлся на солнцѣ и чертилъ что-то палкой на землѣ; видѣлъ цѣлое поколѣніе здоровыхъ и кряжистыхъ Калинычей, сновавшихъ взадъ и впередъ; потомъ переносилъ свою мысль на Агнушку, на Іону, даже на Анпетова... и никакъ не могъ освободиться отъ предчувствія.

Въ одно прекрасное утро онъ получилъ письмо отъ Петеньки, которому писалъ о «дерзкомъ поступкѣ» Антона (Стрѣлòвъ и съ своей стороны написалъ Петенькѣ слезное письмо).

«Не понимаю, — писалъ Петенька:—изъ-за чего вы кипятитесь на Антона. По моему мнѣнію, это—единственный человѣкъ, который стоитъ au niveau de la position. Онъ очень хорошо понялъ, что намъ нужно продавать, продавать и продавать, то-есть обращать въ деньги. Всѣ эти «Пѣтухи», «Разуваевы» и проч., которые не приносили вамъ ни обола—онъ ихъ утилизировалъ и доставилъ вамъ деньги. Почему же «Мысокъ» святѣе ихъ, если Антонъ за него хорошую цѣну даетъ? Вы пишете, что «Мысокъ» прямо противъ оконъ усадьбы,—ну, и пусть будетъ прямо противъ оконъ усадьбы. Если вы боитесь, что Стрѣлòвъ будетъ передъ вашими глазами живыя картины представлять, такъ насчетъ подобныхъ случайностей можно въ купчей крѣпости оговорить. А что касается до того, что «жаль Калину обидѣть», то это просто смѣшно. Насъ никто не жалѣетъ, а мы весь міръ будемъ жалѣть — когда же этимъ великодушіямъ будетъ конецъ?!»

Прочитавъ это письмо, генералъ окончательно поникъ головой. Онъ даже по комнатамъ бродить пересталъ, а сидѣлъ, не вставаючи, въ большомъ креслѣ и дремалъ. Антошка очень хорошо понялъ, что письмо Петеньки произвело эффектъ, и сдѣлался еще мягче, раболѣпнѣе. Евпраксея, съ своей стороны, прекратила неприступность. Всѣ люди начали ходить на цыпочкахъ, смотрѣли въ глаза старались угадать желанія.

Однажды утромъ, при докладѣ, Антонъ опять осмѣлился.

— Такъ какъ же насчетъ «Мыска», ваше превосходительство, какое распоряженіе сдѣлать изволите?—спросилъ онъ, переминаясь съ ноги на ногу.

— Гм!.. это насчетъ того, что ли, что ты купить его хочешь?

— Такъ точно, ваше превосходительство. А ужъ какъ бы я за васъ Бога молилъ... ужъ такъ бы!

Генералъ потупилъ глаза въ землю и молчалъ.

— А ежели что насчетъ услуги касается, такъ ужъ на что спокойнѣе! Только кликните отселѣ: Антонъ! а ужъ я на томъ берегу и слышу-съ.

— Да... вотъ и сынъ тоже...

— Одобряютъ-съ? Ну, хоша за Петра Павлычево здоровье Богу помолимъ, ежели теперича у родителя заслужить не сумѣли...

— Вонъ съ моихъ глазъ, негодяй!

. . . . . .

Тѣмъ не менѣе недѣли черезъ двѣ купчая была совершена и при томъ безъ всякихъ ограниченій насчетъ «живыхъ картинъ», а напротивъ, съ обязательствомъ со стороны генерала оберегать мѣщанина Антона Валерьянова Стрѣлова отъ всякихъ вступщиковъ. А черезъ недѣлю по совершеніи купчей генералъ — даже черезъ затворенныя окна своей усадьбы—слышалъ тотъ почти волчій вой, который подняли кряжистые сыны Калины, когда Антонъ объявилъ имъ, что имѣютъ они въ недѣльный срокъ снести постоялый дворъ и перебраться, куда пожелаютъ.

Стрѣловъ имѣлъ теперь собственность, которая заключалась въ «Мыскѣ», съ прибавкомъ четырехъ десятинъ луга по Воплѣ. За все это онъ внесъ наличными деньгами пятьсотъ рублей, а купчую, чтобы не ѣхать въ губернскій городъ, написали въ триста рублей и совершили въ мѣстномъ уѣздномъ судѣ. При этомъ генералъ былъ твердо убѣжденъ, что продалъ только «Мысокъ», безъ всякой прибавки луговой земли.

Антонъ сдѣлалъ несомнѣнно выгодное дѣло. Мѣсто было бойкое; къ тому же какъ разъ въ это время объявили въ ближайшемъ будущемъ свободную продажу вина.

Мало-по-малу отношенія выяснились. Зиму 1862—1863 года Антонъ, «для ради признательности», еще оставался у генерала, но уже исподволь заготовлялъ лѣсъ для построекъ. Когда же окончательно сказали вину волю, то онъ не вытерпѣлъ и явился за разсчетомъ.

— Куда?—снова какъ бы проснулся генералъ.

— Послужили-съ, — кротко отвѣтилъ Стрѣловъ, стоя на благоразумной дистанціи.

Генералъ бросился-было впередъ, но Антонъ уже не на цыпочкахъ, а полнымъ ходомъ ушелъ изъ дому, а затѣмъ и совсѣмъ изъ усадьбы.

Генералъ попробовалъ не разсчесться съ Антономъ, но

разсчелся; затѣмъ онъ попробовалъ потребовать отъ него отчета по лѣсной операціи; но такъ какъ Антонъ дѣйствовалъ безъ довѣренности, въ качествѣ простого рабочаго, то и въ требованіи отчета полученъ былъ отказъ. Въ довершеніе всего дѣвица Евпраксея сбѣжала, и на вопросъ: «куда?»—генералу было отвѣтствовано, что къ Антону Валерьянычу, у котораго она живетъ «въ родѣ какъ въ наложницахъ».

Съ начала марта, несмотря на не вполнѣ стаявшій снѣгъ, на той сторонѣ рѣки уже кипѣла необычайная дѣятельность. Антошка выводилъ какое-то длинное зданіе съ двумя крылечками, изъ которыхъ одно вело въ горницу, а другое—въ закрытое помѣщеніе, въ родѣ амбара. Рядомъ продолжалъ возвышаться старый постоялый дворъ, который Стрѣлòвъ за безцѣнокъ купилъ у Калины. Въ самое Свѣтлое Христово Воскресенье въ новомъ зданіи открытъ былъ кабакъ, и генералъ имѣлъ случай убѣдиться, что все село, не исключая и сыновъ Калины, праздновало это открытіе, горланя пѣсни, устраивая живыя картины и нимало не стѣсняясь тѣмъ, что генералъ нѣсколько разъ самолично выходилъ на балконъ и грозилъ пальцемъ.

Но всего больше поразила генерала картина, представившаяся его глазамъ въ послѣдовавшій затѣмъ Петровъ день. Вставши еще задолго до обѣдни, онъ увидѣлъ, что на самомъ лучшемъ его лугу собрался какой-то людской сбродъ и коситъ его. Антонъ Стрѣлòвъ ходитъ между рядами косцовъ съ полштофомъ въ одной рукѣ и стаканомъ въ другой и потчуетъ виномъ, а Проська раздаетъ куски пирога. Внѣ себя генералъ попробовалъ послать рабочихъ, чтобъ унять мерзавцевъ, но былъ отбитъ. Тогда онъ отправился въ уѣздный городъ и съ изумленіемъ, почти дошедшимъ до параличнаго удара, узналъ, что онъ самъ, вмѣстѣ съ «Мыскомъ», продалъ Антошкѣ четыре десятины своего лучшаго луга по Воплѣ...

Съ этихъ поръ жизненная колея стараго генерала начала видимо суживаться. Тщетно слалъ онъ письмо за письмомъ къ Петенькѣ, описывая продерзостные поступки «негодяя» (увы! съ Анпетова онъ уже перенесъ эту кличку на Стрѣлòва!): на всѣ его жалобы сынъ отвѣчалъ одними сарказмами. «Извините меня, милый папенька (писалъ онъ), но вы, живучи въ деревнѣ, до того переплелись со *всякимъ сбродомъ*, что вещи, не стòящія ломанаго гроша,

принимаютъ въ вашихъ глазахъ размѣры чего-то важнаго». Или: «пожалуйста, милый папенька, не волнуйте меня вашими дрязгами съ Стрѣловымъ—иначе я, право, подумаю, что вы впадаете въ дѣтство». Письма эти постоянно сопровождались требованіемъ денегъ, при чемъ представлялись такія убѣдительныя доказательства необходимости неотложныхъ и больныхъ субсидій въ видахъ поддержанія Петенькиной карьеры, что генералъ стоналъ какъ раненый звѣрь.

Къ счастью, генерала не оставила благородная страсть къ литературнымъ упражненіямъ; но и тутъ случилось нѣчто неожиданное, доведшее и это развлеченіе до самыхъ крайнихъ размѣровъ. Надумавши (чтобы забыться отъ преслѣдовавшаго его представленія о «негодяѣ») писать свои мемуары, онъ съ удивленіемъ замѣтилъ, что все позабылъ. Отъ цѣлаго славнаго прошлаго въ его памяти осталось что-то смутное, несвязное, порою даже какъ будто неожиданное. То учебный сигналъ, то бѣлая лошадь, то аллеи почтовыхъ дорогъ, то жидовская корчма, то денщикъ Макарка... И все это безъ малѣйшей послѣдовательности и связано только фразой: «и еще припоминаю такой случай...» Въ заключеніе онъ началъ-было: «и еще разскажу, какъ я отъ графа Аракчеева однажды благосклонною улыбкой взысканъ былъ», но едва вознамѣрился разсказать, какъ вдругъ покраснѣлъ и ничего не разсказалъ. Въ одной коротенькой главѣ, въ три страницы разгонистаго письма, умѣстилась вся жизнь генерала Утробина, тогда какъ объ одномъ пятнадцатилѣтнемъ славномъ губернаторствѣ можно было бы написать цѣлые томы. Онъ тѣмъ болѣе удивился этому, что въ то же самое время въ «Русской Старинѣ» многіе генералы, гораздо меньше совершившіе подвиговъ, писали о себѣ безъ малѣйшаго стѣсненія. Пришлось, оставивъ въ покоѣ «исторію», прибѣгнуть къ вымыслу, для чего онъ и выбралъ форму притчей, наиболѣе подходящую къ роду его дарованія. Но и притчей онъ написалъ въ теченіе шести лѣтъ только двѣ, которыя здѣсь и приводятся цѣликомъ.

I. Притча о нѣкоторомъ неосторожномъ генералѣ.

«Одинъ генералъ, служившій по гражданской части (впрочемъ, съ сохраненіемъ военнаго чина и эполетъ), не бывъ никогда въ лѣсу, пожелалъ войти во внутрь онаго. И, будучи храбръ отъ природы, рѣшилъ идти въ лѣсъ одинъ безъ свиты, но въ мундирѣ. Напрасно секретарь его упреждалъ, что въ лѣсу томъ водятся волки, которые могутъ

генерала растерзать; на всѣ таковыя упрежденія генералъ отвѣтствовалъ одно: «не можетъ этого случиться, чтобы дикіе звѣри сего мундира коснулись!» И съ сими словами отправился въ путь. Что же, однако, случилось? Прошелъ одинъ день—генерала нѣтъ; прошелъ другой день—опять нѣтъ генерала; на третій день обезпокоенные подчиненные идутъ въ лѣсъ — и что находятъ? — обглоданный дикими звѣрьми генеральскій остовъ, и при семъ столь искусно, что мундиръ и даже сапоги со шпорами оставлены нимало нетронутыми.

«Смыслъ сей притчи таковъ: и содержащее не всегда для содержимаго защитой быть можетъ».

II. Притча о двухъ расточителяхъ: умномъ и глупомъ.

«Нѣкоторые два расточителя получили отъ дальнихъ родственниковъ въ наслѣдство по одной двадцатипятирублевой бумажкѣ. Нимало не думая, оба рѣшили невеликіе сіи капиталы проѣсть; но при семъ одинъ, накупивъ себѣ на базарѣ знатныхъ яствъ и питій и получивъ, за всѣми расходами, полтинникъ сдачи, сдѣлалъ изъ купленнаго матеріала обѣдъ и со вкусомъ съѣлъ оный; другой же, взявъ кастрюлю, наполнивъ оную водою и вскипятивъ, сталъ въ кипяткѣ варить наслѣдственную двадцатипятирублевую бумажку, исполняя сіе дотолѣ, пока отъ бумажки не осталось одно тѣсто. И велико было его удивленіе, когда, испробовавъ отъ сего новоявленнаго варева, онъ нашелъ, что оно не токмо отмѣннаго, по цѣнѣ своей, вкуса не имѣетъ, но еще смердитъ по причинѣ жира отъ множества потныхъ рукъ, коими та бумажка была захватана.

«Читатель! размысли, не имѣетъ ли притча сія отношенія къ тѣмъ нашимъ реформаторамъ-нигилистамъ (увы! генералъ все еще не могъ забыть мировыхъ посредниковъ начала шестидесятыхъ годовъ!), кои полученное отъ отцовъ наслѣдіе въ котлѣ переформировокъ варятъ, но варевомъ симъ никому удовольствія не дѣлаютъ, а токмо смрадъ!»

Но занятія эти не наполняли и милліонной доли той бездны досуга, которая оставалась въ распоряженіи генерала. Онъ сдѣлался апатиченъ, брюзгливъ, почти близокъ къ разрушенію. Прежде онъ былъ консерваторъ, теперь— постоянно смѣшивалъ консерваторовъ съ нигилистами и какъ-то загадочно говорилъ: «давно пора». Прежде онъ былъ душою уѣздной охранительной оппозиціи, теперь —

только щелкалъ языкомъ, когда ему разсказывали о новыхъ реформаторскихъ слухахъ. Всѣ помнили его гордую и смѣлую позу въ тотъ моментъ, когда катастрофа, несмотря на всѣ контрпрожекты, явилась совершившимся фактомъ. «Сгною подлецовъ во временно-обязанныхъ, а на выкупъ не пойду... Нѣтъ! никогда!» — воскликнулъ онъ тогда — и что̀ же? Теперь онъ не только *пошелъ* на выкупъ, но и вынужденъ былъ совершить его «по требованію одного владѣльца»...

Всѣ его оставили, и онъ не могъ даже претендовать на такое забвеніе, а могъ только удивленными глазами слѣдить, какъ все спѣшитъ ликвидировать и бѣжать изъ своего мѣста. Оставались только какіе-то мрачные наемники, которымъ удалось, при помощи ненавистныхъ мужиковъ, занять по земству и мировымъ судамъ мѣста, съ которыми сопряжено кое-какое жалованье.

А Стрѣлòвъ между тѣмъ цвѣлъ. Онъ вписался въ купцы, женился на молодой купеческой дочери и выглядѣлъ совершенно природнымъ купцомъ. Стараго постоялаго двора уже не было; на мѣстѣ его возвышался полукаменный, двухэтажный домъ, въ верхнемъ этажѣ котораго помѣщался самъ хозяинъ, а внизу — его многочисленные приказчики и рабочіе. Дѣятельность его кипѣла. Онъ торговалъ кабаками, рощами, скупалъ гурты и проч. До десяти кабаковъ и столько же лавочекъ со всякимъ крестьянскимъ товаромъ въ окрестностяхъ Воплина держали все населеніе въ кабалѣ. Постепенно оперяясь, Стрѣлòвъ началъ скупать земли и заводить хутора.

Ничего легкомысленнаго, напоминавшаго прежнюю, пущенную изъ лука стрѣлу, не осталось въ этомъ человѣкѣ. Даже рѣчь его измѣнилась. Прежде онъ говорилъ тòропко, склонивъ голову на бокъ и безпрерывно озираясь по сторонамъ, какъ будто освѣдомляясь, не хочетъ ли кто дать ему сзади треуха по затылку. Теперь онъ выпускалъ слова точно жемчугъ, мазалъ, уснащалъ рѣчь околичностями, но такъ, что это было не смѣшно, а казалось какъ бы принадлежностью высокаго купеческаго слога. Онъ не покинулъ русской одежды, но послѣдняя, особенно въ праздничные дни, глядѣла на немъ такъ щеголевато, что никому не приходило даже въ голову видѣть его въ нѣмецкомъ неуклюжемъ костюмѣ. Это былъ въ полномъ смыслѣ слова русскій бель-омъ: бѣлый, рыхлый, съ широкимъ лицомъ, съ пушистою свѣтлорусою бородкой и съ узенькими, бѣгало-

щими глазами. Любо было посмотрѣть, какъ онъ, нарядившись въ синій тонкаго сукна кафтанъ, въ купецкомъ шарабанѣ, катилъ въ воскресенье съ разряженною въ пухъ женой въ воплинскую церковь, самъ правя откормленнымъ иноходцемъ, стариннымъ генеральскимъ подареньемъ. Генералъ постоянно блѣднѣлъ, когда видѣлъ этого коня, привязаннаго на время обѣдни къ церковной оградѣ. Но дѣлать было нечего, потому что Стрѣловъ представлялъ уже силу. Мужики ломали передъ нимъ шапки даже поспѣшнѣе, чѣмъ передъ генераломъ, и считали за счастье бѣжать къ нему, если онъ поманитъ кого пальцемъ. Самъ батюшка постепенно привыкъ смотрѣть на Стрѣлова, какъ на благонадежнѣйшаго сына церкви, и по окончаніи обѣдни всегда высылалъ ему съ дьячкомъ просвиру.

При всей этой благополучной обстановкѣ была, однако-жъ, язва, которая точила существованіе Стрѣлова. Этою язвой была господская воплинская усадьба. При воспоминаніи о ней фантазія его болѣзненно разыгрывалась. *Тамъ* было приволье, былъ паркъ, была какая-то особенная прохлада въ тѣнистыхъ аллеяхъ. Здѣсь, въ этой низинѣ, несмотря на свое довольство, онъ все-таки — пёсъ, а настоящій *баринъ* все-таки тотъ, который сидитъ *тамъ*, наверху воплинской кручи, въ недостроенномъ домѣ, среди признаковъ геологическаго переворота. И только *онъ*, сидящій *тамъ*, имѣетъ законное основаніе считать себя властелиномъ окрестности, по праву, издавна признанному, а не купленному при содѣйствіи кабаковъ, и только *онъ* же всегда былъ и будетъ подлиннымъ сыномъ церкви, а не нахальнымъ пришлецомъ, воровски восхитившимъ непринадлежащее ему званіе.

И онъ тосковалъ, выходилъ въ сумерки любоваться на барскій домъ, разсчитывалъ на пальцахъ и втайнѣ давалъ себѣ клятву во что бы то ни стало быть *тамъ*.

Таково было положеніе дѣлъ на Воплѣ, когда, наконецъ, давно желанный и ожиданный Петенька пріѣхалъ къ отцу.

Прошло уже лѣтъ шестнадцать съ тѣхъ поръ, какъ онъ не бывалъ въ Воплинѣ, и въ теченіе этого времени онъ успѣлъ значительно пойти кверху. Уже года четыре онъ несъ на плечахъ своихъ генеральскій чинъ, но, къ сожалѣнію, я долженъ сознаться, что онъ несъ его какъ рабъ лукавый, постоянно вводившій въ заблужденіе благодѣющее ему начальство.

Увы! я не могу скрыть, что наше неустойчивое во всѣхъ

отношеніяхъ время выработало особенную породу чиновниковъ-карьеристовъ, которые хотя прикидываются преданными, но, въ сущности, никакой любви къ начальству не питаютъ. Эти люди обладаютъ чрезвычайнымъ чутьемъ относительно мелочей жизни и замѣчательною подвижностью, которая дозволяетъ имъ вездѣ попадаться въ глаза, такъ сказать, съ оника. Съ проницательностью, достойной лучшей участи, они намѣчаютъ «человѣка судьбы», приснащиваются къ нему, льстятъ, изучаютъ его характеръ и иногда даже раздѣляютъ колебанія и невзгоды его карьеры... разумѣется, если есть увѣренность, что «человѣкъ судьбы» сумѣетъ вынырнуть вновь. Если «человѣкъ судьбы» либеральничаетъ — они захлебываются отъ либерализма; если «человѣкъ судьбы» впадаетъ въ консервативное озлобленіе— они озлобляются вдвое. Шалопаи по натурѣ и по воспитанію, они никогда не несутъ никакой дѣятельной службы, и потому постоянно состоятъ въ качествѣ безсмѣнныхъ паразитовъ при административномъ механизмѣ и принимаютъ дѣятельное участіе во всѣхъ канцелярскихъ интригахъ. Кромѣ того, они обладаютъ небольшимъ запасомъ общихъ мѣстъ и взглядовъ, которые, при неуклонномъ повтореніи и благодаря современному оскудѣнію, принимаются за что-то дѣйствительно похожее на нѣкоторый нравственный и умственный фондъ. Я зналъ, напримѣръ, много такихъ карьеристовъ, которые, никогда не читавъ ни одной русской книги и получивъ научно-литературное образованіе въ театрѣ Берга, такъ часто и такъ убѣжденно повторяли: «la littérature russe — parlez-moi de ça!» или «ah! si l'on me laissait faire, elle n'y verrait que du feu, votre charmante littérature russe!» — что люди даже болѣе опытные, но тоже ничего не итавшіе и получившіе научное образованіе въ танцклассѣ Кессенихъ *), не на шутку повѣрили имъ. И вотъ, благодаря какому-нибудь глупому, но во-время попавшемуся на языкъ слову, эти паразиты далеко проскакиваютъ впередъ и даже современемъ становятся на стражѣ.

Но повторяю: они не имѣютъ никакой серьезной преданности къ своимъ начальникамъ и благодѣтелямъ. Напротивъ того: бывали примѣры самой черной неблагодарности и изумительно гнуснаго предательства...

---

*) Танцклассъ этотъ былъ знаменитъ въ сороковыхъ годахъ и помѣщался въ домѣ Тарасова, у Измайловскаго моста.

Я не виню начальство за то, что оно не всегда провидитъ въ сердцахъ подобныхъ людей. Во-первыхъ, оно обременено высшими государственными соображеніями, а во-вторыхъ—оно не всевидяще. Передъ глазами его мелькаютъ молодые и цвѣтущіе здоровьемъ люди, которые ничего другого не являютъ, кромѣ небрезгливой готовности, — и это, разумѣется, нравится. Конечно, тутъ есть немножко пристрастія («Ужъ сколько разъ твердили міру» и т. д.), но пристрастія совершенно естественнаго. Естественнѣе братъ живой административный матеріалъ между своими, въ томъ вѣчно полномъ садкѣ, гдѣ во всякое время можно зачерпнуть «дакающаго человѣка», нежели въ той несослѣдимой массѣ, о которой извѣстно только то, что она не вѣдаетъ никакой дисциплины, и которая, слѣдовательно, имѣетъ самыя сбивчивыя понятія о «тонѣ», представляющемся въ данную минуту желательнымъ. Послѣднее и хлопотливо, и рискованно. Хлопотливо—потому что приходится убѣждать, разговаривать, что̀ замедляетъ теченіе дѣлъ. Рискованно—потому что можно ждать ироническаго отношенія. Тогда какъ свой человѣкъ, прямо животрепещущимъ вынутый изъ садка, ни малѣйшихъ хлопотъ не представляетъ (только мигни—и онъ готовъ!); кромѣ, конечно, возможнаго предательства... Но вѣдь къ предательству мы уже такъ привыкли, что оно, такъ сказать, уже вошло въ нашъ домашній обиходъ и даже названіе носитъ не предательства, а savoir-vivre'а.

Къ такимъ именно обманывающимъ довѣріе начальства карьеристамъ принадлежалъ и Петенька Утробинъ. Въ 1860—1861 годахъ онъ былъ прогрессистъ; въ 1862 году онъ поглядывалъ по сторонамъ и обнюхивалъ, чѣмъ пахнетъ; въ 186* году—прямо объявилъ себя консерваторомъ.

Петенька не шутя вознамѣрился сообщить блескъ фамиліи Утробиныхъ. Уже въ школѣ онъ смотрѣлъ государственнымъ младенцемъ; теперь же, въ тридцать пять лѣтъ, онъ прямо и не шутя мнилъ себя государственнымъ человѣкомъ en herbe. Носились слухи, что въ ресторанѣ Бореля, по извѣстнымъ днямъ, собирается какая-то компанія государственныхъ людей en herbe (тутъ были и Ѳедя, и Сережа, и Володя, и даже какой-то жидокъ, которому въ воображаемыхъ комбинаціяхъ представлялась блестящая финансовая будущность), душою которой былъ Петенька Утробинъ и которая постоянно злоумышляла противъ *установленныхъ* порядковъ. Тамъ, за изящнымъ обѣдомъ, обсу-

ждались текущія правительственныя распоряженія (où allons-nous!) и развивались насущные государственные вопросы (je ne vous dis que ça!). Въ заключеніе, компанія, закончивъ свои занятія, отправлялась въ циркъ или въ театръ Буффъ.

Самъ Петенька не готовилъ себя спеціально ни по какой части, но дѣйствовалъ съ такимъ разсчетомъ, чтобъ быть необходимымъ всюду, гдѣ бы ни пришлось. Только военную, морскую и финансовую части признавалъ онъ стоящими внѣ его компетентности. Военную — потому что тутъ былъ уже кандидатомъ какой-то полководецъ, состоявшій, въ ожиданіи, на службѣ у нѣкоего концессіонера; морскую — потому что боялся морской болѣзни; финансовую — потому что не смѣлъ обойти жидка, у котораго постоянно занималъ деньги. Ко всѣмъ прочимъ частямъ онъ готовился неуклонно и каждую ночь, ложась спать, разрѣшалъ, хотя кратко, по одному государственному вопросу.

Вопросъ: Какое необходимо образованіе для высшихъ классовъ?

Отвѣтъ: Классическое, ибо только высшіе классы обладаютъ необходимымъ для чтенія Кошанскаго («Universus mundus», мелькаетъ въ это время въ его головѣ) досугомъ.

Вопросъ: Какое необходимо образованіе для среднихъ классовъ?

Отвѣтъ: Реальное, съ такимъ, впрочемъ, разсчетомъ, чтобы каждый былъ обучаемъ въ предѣлахъ своей спеціальности, не вторгаясь въ спеціальности другихъ.

Вопросъ: Какое наиполезнѣйшее образованіе для низшихъ классовъ?

Отвѣтъ: Никакого. Должны быть воспитываемы въ страхѣ Божіемъ.

Вопросъ: Есть ли необходимость, при управленіи извѣстною частью, знать составныя части ея механизма и дѣйствіе сихъ послѣднихъ?

Отвѣтъ: Не только нѣтъ необходимости, но даже вредъ, ибо даетъ поводъ къ умствованіямъ. Необходимъ лишь даръ сердцевѣдѣнія и удача въ выборѣ подчиненныхъ чиновниковъ.

Вопросъ: Нуженъ ли судъ присяжныхъ?

Отвѣтъ: Съ удобствомъ можетъ быть замѣненъ судомъ постоянныхъ дворянскихъ засѣдателей, коимъ необходимо присвоить приличное содержаніе, снабдивъ притомъ надлежащими отъ начальства наставленіями.

И такъ далѣе.

Рѣшивши такимъ образомъ насущные вопросы, онъ съ такимъ апломбомъ пропагандировалъ свои «идеи», что не только Сережа и Володя, но даже и нѣкоторые начальники увѣровали въ существованіе этихъ «идей». И когда это мнѣніе установилось прочно, то онъ легко достигъ довольно важнаго второстепеннаго поста, гдѣ имѣлъ своихъ подчиненныхъ, которымъ могъ вполнѣ развязно говорить: «вотъ вамъ моя идея! вамъ остается только развить ее!» Но уже и отсюда онъ прозрѣвалъ далеко и видѣлъ въ будущемъ перспективу совсѣмъ иного свойства...

Тѣмъ не менѣе и у этого человѣка былъ червь, который грозилъ подточить всѣ эти импровизированныя перспективы: онъ по уши погрязъ въ долгахъ. Игра въ государственные подростки составляла лишь малую часть его существованія; бо́льшая часть послѣдняго была посвящена женщинамъ, обжорству и вину. Нынѣшніе кокодессы не любятъ ни домашняго очага, ни такъ-называемаго «свѣта», ни женщинъ его, ни его удовольствій. Они любятъ нанять женщину (иногда даже въ кредитъ) и пользоваться ею на всей своей волѣ, какъ пользуются стаканомъ хорошаго вина или вкуснымъ блюдомъ. Поэтому нѣтъ ресторана, въ которомъ они не были бы кругомъ должны, нѣтъ кокотки, которой бы они, въ концѣ концовъ, самымъ постыднымъ образомъ не надули. Часто эти подвиги сходятъ съ рукъ, но иногда они вліяютъ на ходъ карьеры и даже получаютъ трагическій конецъ.

Петенька былъ именно въ подобномъ положеніи, такъ что въ послѣднее время у него окончательно закружилась голова. Почти безпрерывно онъ обращался къ отцу съ требованіемъ денегъ, и надо отдать справедливость генералу— онъ рѣдко отказывалъ. Выкупныя свидѣтельства сбывались одно за другимъ, и вырученныя деньги отсылались въ Петербургъ на поддержаніе Петенькиной карьеры. Но когда на днѣ шкатулки оказались какіе-то смѣшные остатки, то генералъ застоналъ. Онъ не спросилъ себя, чѣмъ онъ будетъ жить лично (у него, впрочемъ, оставалась въ резервѣ пенсія),—онъ понялъ только, что посылать больше нечего.

Въ эту минуту пріѣхалъ Петенька. Онъ явился взбѣшенный и совершенно непонимающій, какимъ образомъ могло случиться, что денегъ нѣтъ.

Свиданіе двухъ генераловъ было странное. Старый генералъ расчувствовался и пролилъ слезы. Молодой генералъ смотрѣлъ строго, какъ будто пріѣхалъ судить старика. «Рабъ лукавый!—какъ бы говорилъ его холодный, почти стеклянный взоръ:—куда ты зарылъ ввѣренный тебѣ талантъ?»

Старикъ, впрочемъ, не примѣтилъ этого съ перваго раза. Онъ помолодѣлъ и стряхнулъ съ себя сонливость. Съ почти дѣтскою жадностью разспрашивалъ онъ объ увольненіяхъ перемѣщеніяхъ, опредѣленіяхъ, о слухахъ и предположеніяхъ, но молодой генералъ на всѣ вопросы отвѣчалъ нехотя, сквозь зубы. Наконецъ, зашла рѣчь и о деньгахъ. Старый генералъ какъ бы сконфузился и только вздыхалъ; но молодой генералъ настаивалъ. Тогда старикъ изложилъ положеніе дѣлъ довольно подробно и даже связно. Оказывалось, что воплинская экономія, со всѣми ея обезлѣсенными угодьями, стòитъ много-много двадцать тысячъ рублей; сверхъ того, оставалось еще одно выкупное свидѣтельство въ десять тысячъ рублей. Въ суммѣ все состояніе фамиліи Утробиныхъ представляло цѣнность отнюдь не свыше тридцати тысячъ рублей.

— Это чортъ знаетъ чтò!—фыркнулъ молодой генералъ.

— Да, другъ мой; еще я, благодаря пенсіону, могу кой-какъ концы съ концами сводить...—заикнулся-было старый генералъ.

Но молодой генералъ уже окончательно вышелъ изъ себя и не далъ ему окончить.

— Вы! вы! «вы можете»! Еще бы... вы! Вы посмотрите только, какъ вы живете... Вы! Это чтò? это чтò?—восклицалъ онъ бѣшено, указывая пальцами на хаосъ, царствовавшій въ комнатахъ, и на изрытый берегъ Вопли, виднѣвшійся черезъ отворенную балконную дверь.

Старый генералъ ни слова не сказалъ въ отвѣтъ. Онъ покорно понурилъ сѣдую голову, словно сознавая себя безъ оправданія.

— Вы!—продолжалъ между тѣмъ молодой генералъ, расхаживая тревожными шагами взадъ и впередъ по кабинету:—вы! Вамъ нужна какая-нибудь тарелка щей, да еще чтобъ трубка Жукова не выходила у васъ изъ зубовъ... Вы! Посмотрите, какъ у васъ вездѣ нагажено, насрамлено пепломъ этого поганаго табачища... какая подлая вонь!

Наконецъ, онъ остановился противъ отца и пустилъ ему въ упоръ:

— Но объясните же, наконецъ, какимъ образомъ это

могло случиться? Говорите же, что̀ такое вы тутъ дѣлали? балы, что ли, для уѣздныхъ кокотокъ устраивали? Говорите! я желаю знать!

— Мой другъ! я... я... ты самъ отчасти... Въ послѣднее время... требованія денегъ...

— Ну, да! вотъ это прекрасно! *Я*—виноватъ! *Я*—много требовалъ! Я! Je vous demande un peu! А впрочемъ, я зналъ заранье, что у васъ есть готовое оправданіе! *Я*—долженъ былъ жить на хлѣбѣ и водѣ! *Я*—долженъ былъ рисковать своей карьерой! *Я* — долженъ былъ довольствоваться ролью pique-assiette'а при болѣе счастливыхъ товарищахъ! Вы *это*, конечно, хотите сказать?

— Сохрани Богъ, мой другъ, но...

— Безъ всякихъ «но»! Point de «mais», mon père! Я очень хорошо понимаю и вижу! Я заранье знаю все, что̀ вы можете сказать! О! я травленый звѣрь, mon père, меня провести не такъ-то легко! Іоны... Агнушки, — вотъ куда *дозволительно* бросать деньги! Имъ дома̀ покупаютъ, имъ отдаютъ домашнюю движимость, имъ — все! А сынъ — что такое сынъ?! On l'engendre—et tout est dit! И за это онъ обязывается почитать родителей и цѣловать у нихъ ручки... ces chers parents! Нѣтъ, вы скажите, зачѣмъ вы, вмѣсто того, чтобъ дѣйствовать, извлекать, добывать цѣнности, въ нелѣпыя пререканія съ Стрѣлòвымъ вошли?

— Но, другъ мой, онъ-то и есть та причина...

— Нѣтъ, вы, вы, вы! Онъ доставалъ вамъ деньги, онъ умѣлъ это! И, конечно, онъ сумѣлъ бы достать и теперь, онъ нашелъ бы, изъ чего извлечь пользу! Вы! Развѣ вы имѣете понятіе о томъ, что̀ у васъ есть? Развѣ можно повѣрить, чтобы все... чтобы не было... ну, пустоши какой-нибудь... une prairie... une forêt... А онъ... въ пререканія входитъ! Ему, изволите видѣть, оскорбительно, что въ виду его усадьбы поселился честный труженикъ... oui, un honnête travailleur... который, быть-можетъ, пòтомъ и кровью...

Петенька такъ расчувствовался, что произнесъ послѣднія слова почти дрожащимъ голосомъ («au fond je suis démocrate!» мелькнуло въ его головѣ). Въ это же самое время онъ взглянулъ въ окно.

— Э! да онъ тамъ премило устроился! — воскликнулъ онъ:—цѣлый городокъ... право!

— Онъ, другъ мой, нашъ лугъ обманомъ...

— Обманомъ! а кто виноватъ? Вы, вы и вы! Зачѣмъ *вы подписываете* бумаги, не читая? а? На Іону понадѣя-

лись? а? И хотите, чтобъ этимъ не пользовались люди, у которыхъ практическій смыслъ—все? Mais vous êtes donc bien naïf, mon père!

Въ такомъ духѣ разговоръ продолжался около двухъ часовъ. Наконецъ, это надоѣло Петенькѣ. Онъ оставилъ старика подъ бременемъ обвиненій и, сказавъ: «il faut que je mette ordre à ça!» выбѣжалъ изъ дома во вновь разведенный садъ. Тамъ все смотрѣло уныло и заброшенно; рѣдко-рѣдко гдѣ весело поднялись и одѣлись листвой липки, но и то какъ бы для того, чтобы сдѣлать еще болѣе рѣзкимъ контрастъ съ окружающею наготой. Желая пробраться въ старый паркъ, который все еще сохранялъ прежнюю дикую прелесть, Петенька спустился-было по заросшей дорожкѣ къ пруду, который въ этомъ мѣстѣ суживался, и черезъ переузину былъ когда-то перекинутъ мостъ, но вмѣсто моста торчали сгнившіе столбики. Взбѣшенный, побѣжалъ онъ назадъ, прибѣжалъ на скотную — никого не нашелъ, потомъ на конный дворъ — опять никого не нашелъ, и наконецъ случайно набрелъ на мужика, спавшаго подъ деревомъ, растолкалъ его ногою и далъ волю сквернословію. Къ обѣду пришелъ онъ усталый, озлобленный, съ пересохшимъ горломъ и безъ малѣйшаго признака аппетита.

Обѣдъ прошелъ молчаливо. Петенька брезгливо расплескивалъ ложкой превосходныя лѣнивыя щи (старый генералъ хотѣлъ похвастаться, что у него, несмотря на «катастрофу», въ началѣ іюля все-таки есть новая капуста) и съ какимъ-то неизреченнымъ презрѣніемъ швырялся вилкой въ соусѣ изъ телячьей головки. Вино тоже не понравилось ему, хотя это былъ добрый St.-Julien, года четыре лежавшій въ подвалѣ у генерала. Только по временамъ онъ прерывалъ тяжелое молчаніе (онъ, впрочемъ, не чувствовалъ его тяжести и фыркалъ совсѣмъ хладнокровно, какъ ни въ чемъ не бывало), чтобы высказать поученіе въ родѣ слѣдующаго:

— Да-съ, любезнѣйшій родитель! Не могу похвалить ваши порядки, не могу-съ! Пошелъ въ садъ—ни души! на скотномъ—ни души! на конномъ—хоть шаромъ покати! Одного только ракалью и нашелъ—спитъ брюхомъ кверху! И надобно было видѣть, какъ негодяй изумился, когда я ему объяснилъ, что онъ нанятъ не для спанья, а для работы! Да-съ! Нельзя похвалить-съ, нельзя-съ!

— Они въ это время отдыхаютъ, мой другъ, полдни...— попробовалъ оправдаться старый генералъ.

— У васъ, повидимому, всегда пòлдни! И давеча пòлдни, и теперь пòлдни! Наспятся, потомъ начнутъ потягиваться да почесываться—опять пòлдни! Нѣтъ-съ, этакъ нельзя-съ! этакъ не управляютъ имѣніями! Такимъ манеромъ, конечно, никакого дохода никогда получить нельзя!

Генералъ молча выслушивалъ эти реприманды, наклонивъ лицо къ тарелкѣ, и ни разу не пришло ему даже на мысль, что, несмотря на старость, онъ настолько еще сильнѣе и крѣпче своего пащёнка, что стоило ему только протянуть руку, чтобъ раздавить эту назойливую гадину.

Послѣ обѣда, едва старикъ успѣлъ вымолвить: «ну, теперь я пойду», какъ уже Петенька схватился за фуражку и исчезъ изъ дома.

Старый генералъ удалился въ спальную и по обыкновенію легъ отдохнуть. Но ему не спалось. Что-то горькое до остроты, до жгучести шевелилось въ его душѣ, хотя онъ и самъ ясно не сознавалъ, чтò именно. Сомнительно, впрочемъ, чтобъ это было чувство негодованія, возбужденное поведеніемъ сына при встрѣчѣ послѣ шестнадцатилѣтней разлуки; скорѣе это было чувство упорнаго самообвиненія. Дѣйствительно, вѣдь онъ отъ отца своего получилъ полную чашу, а самъ оставляетъ сыну—чтò? Правда, что черезъ него прошла, такъ сказать, цѣлая катастрофа; но все же, если-бъ повести дѣло умненько... да, именно, если-бъ умненько повести!.. если-бъ не воевать съ дворовыми, не полемизировать съ Анпетовымъ, если-бъ сразу обрѣзать себя по-новому, если-бъ не ввѣряться Антошкѣ, если-бъ... Генералъ насчиталъ столько «если-бъ», что объ отдохновеніи нечего было и думать. Проворочавшись цѣлый часъ съ-боку-набокъ, онъ всталъ съ тяжелой головой и прежде всего спросилъ:

— Петръ Павлычъ не возвращался?

— Они къ Антону Валерьянову ушли,—услышалъ онъ въ отвѣтъ.

Старикъ широко раскрылъ глаза, словно сразу не понялъ.

А Петенька былъ дѣйствительно тамъ, у того самаго Антошки, котораго одно имя производило нервную дрожь во всемъ организмѣ стараго генерала. Онъ рѣшилъ этотъ вопросъ очень скоро. Онъ сказалъ себѣ: «Все это вздоръ, въ которомъ почтеннѣйшій мой родитель можетъ, если ему угодно, купаться хоть до скончанія вѣковъ, но который я имѣю полное право игнорировать. Для меня ясно одно: что *мнѣ необходимы* деньги, и что на фатера надежда плоха.

Антошка же человѣкъ оборотливый; у него должны быть деньги, и онъ обязывается снабдить меня ими. Прежде всего я долженъ знать навѣрное, нѣтъ ли еще какихъ-нибудь рессурсовъ... напримѣръ, лѣсъ, земля... и если нѣтъ, то... ma foi! надо будетъ поступить рѣшительно!»

Антошка словно предчувствовалъ, что молодой генералъ посѣтитъ его, и едва лодка, перевезшая Петеньку, успѣла причалить къ «Мыску», какъ уже Стрѣлòвъ, облеченный въ праздничный костюмъ, помогалъ ему выйти на берегъ.

— Если не ошибаюсь, Антонъ...—заговорилъ первый Петенька и остановился: онъ позабылъ отчество Стрѣлòва.

— Верельянычъ-съ,—поправилъ спокойно Стрѣлòвъ.— Вотъ и вы, ваше превосходительство, изволили въ наши, можно сказать, палестины пожаловать?

— Да, ненадолго. А вы тутъ премило устроились... право!—любезно бесѣдовалъ Петенька, оглядывая рядъ построекъ, выведенныхъ Стрѣлòвымъ: — этотъ домъ... двухэтажный... вы въ немъ, конечно, сами живете?

— Точно такъ, ваше превосходительство, благодареніе Богу-съ. Все отъ Него, отъ Создателя Милостиваго! Скажемъ, теперича, такъ: иной человѣкъ и старается, а все ему милости нѣтъ, коли ежели онъ, значитъ, Создателя своего прогнѣвилъ! А другой человѣкъ, ежели, къ примѣру, и не совсѣмъ потрафить сумѣлъ, а смотришь, Создатель все ему посылаетъ да посылаетъ, коли ежели передъ Нимъ сумѣлъ заслужить! Такъ-то и мы, ваше превосходительство: своей заслугѣ не приписываемъ, а все Богу-съ!

— Гм!.. это похвально! Всѣ должны бы такъ думать... Но вы, надѣюсь, напоите меня чаемъ?

— Помилуйте, ваше превосходительство, съ превеликимъ нашимъ удовольствіемъ. Даже за счастіе-съ... какъ мы еще папаши вашего благодѣянія помнимъ... Не токма-что чашку чаю, а даже весь домъ-съ... все, можно сказать, имущество... просто, значитъ, какъ есть...

— Да... вотъ видите, сейчасъ вы сказали, что помните добро, которое вамъ сдѣлалъ отецъ, а между тѣмъ ссоритесь со старикомъ! Дурно это, Антонъ Валерьянычъ, нехорошо-съ!—не то укорялъ, не то шутилъ Петенька.

— Ваше превосходительство! Какъ передъ Богомъ, такъ и передъ вами-съ! Съ моей стороны, окромя, можно сказать, услуги... чтобы его превосходительству, значитъ, спокой былъ... Да помилуйте! кабы не они, что̀ же бы я безъ нихъ былъ? Червь-съ, червякъ—и больше ничего!

Неужто-жъ я не обязанъ это помнить! Да я, можно сказать, и денно, и нощно... А что съ ихней стороны—это дѣйствительно-съ... Позвольте вамъ доложить! Даже походя скверными словами обзываютъ! Иной разъ, сядешь-этта у окошка, плачешь-плачешь: Господи! думаешь, съ моей стороны и услуга, и стараніе... ну, крикни его превосходительство съ того берега... ну, такъ бы... И за все за это награда—просто, можно сказать, походя...

— Ну, ничего, я это устрою! Я собственно и пріѣхалъ... Всѣ эти недоразумѣнія... Уладимъ, почтеннѣйшій мой, уладимъ мы это!

— А ужъ какъ бы мы-то, ваше превосходительство, рады были! Точно бы промежъ насъ тутъ царствіе небесное поселилося: ни шуму, ни гаму, ни свары, тихо, благородно! И сколько мы, ваше превосходительство, васъ здѣсь ждемъ—такъ это даже сказать невозможно! Точно вотъ ангела небеснаго ждемъ—истинное это слово говорю!

Комната, въ которую Стрѣловъ привелъ Петеньку, смотрѣла свѣтло и опрятно; некрашенный полъ былъ начисто вымытъ и снабженъ во всю длину полотняною дорожкой; по стѣнамъ и у оконъ стояли краснаго дерева стулья съ деревянными выгнутыми спинками и волосянымъ сидѣньемъ: посрединѣ задней стѣны былъ поставленъ такой же формы диванъ и передъ нимъ продолговатый столъ съ двумя креслами по бокамъ; въ углу виднѣлась этажерка съ чашками и небольшимъ количествомъ серебра. Стѣны были нештукатуренныя, въ чемъ, впрочемъ, Стрѣловъ немедленно извинился, сказавъ, что еще «не изобралъ времени».

— Вы вѣдь женаты, кажется?—спросилъ Петенька.

— Въ законѣ-съ.

— Надѣюсь, что познакомите меня съ супругой?

— Помилуйте, ваше превосходительство! даже осчастливите-съ! Авдотья Григорьевна!—крикнулъ онъ, пріотворивъ дверь въ сосѣднюю комнату:—чайку-то! Да сами-съ, сами подайте! Большого гостя принимаемъ! Такого гостя, такого гостя, что, кажется, и не чаяли себѣ никогда такой чести!—продолжалъ онъ, уже обращаясь къ Петенькѣ.

Черезъ минуту, съ подносомъ, уставленнымъ чашками, вошла или, вѣрнѣе сказать, выплыла и сама Авдотья Григорьевна. Это была женщина средняго роста, бѣлая, разсыпчатая, съ сахарными грудями, съ сѣрыми глазами на выкатѣ, съ алыми губами сердечкомъ, словомъ сказать, по-*купечески*—красавица.

— Въ Кашинѣ у купца взялъ-съ! — похвастался Стрѣлòвъ: — старинные купцы ихъ родители! Еще когда Москва всей Рассеѣ голова была — еще тогда они торговали!

— Очень, очень пріятно,—любезничалъ Петенька, между тѣмъ какъ Авдотья Григорьевна, стоя передъ нимъ съ подносомъ въ рукахъ, кланялась и алѣла.—Да вы что-жъ это, Авдотья Григорьевна, съ подносомъ стоите? Вы съ нами присядьте! Поговоримъ-съ.

— Что-жъ, сядьте, Авдотья Григорьевна, коли его превосходительство такое, можно сказать, вниманіе къ вамъ имѣютъ!—поощрилъ Стрѣлòвъ и, обращаясь къ Петенькѣ, прибавилъ:—Онѣ у меня, ваше превосходительство, городскія-съ! Въ монастырѣ у монашены обучались! Какой угодно разговоръ имѣть могутъ.

— Тѣмъ лучше-съ, тѣмъ лучше-съ, милая Авдотья Григорьевна! Вотъ мы и поговоримъ! Скучаете здѣсь, конечно?

— Нѣтъ-съ, намъ скучать некогда, потому что мы завсегда въ трудахъ.

— Онѣ у меня, ваше превосходительство, къ своему дѣлу приставлены-съ, потому мы такъ насчетъ этого судимъ, что коли-ежели эта самая... хоть бы дама-съ... да ежели по нашему мѣсту безъ трудовъ-съ... большихъ тутъ мечтаніевъ ожидать нужно-съ!

— Да, это такъ; я это самъ... А все-таки, милая Авдотья Григорьевна, сознайтесь, что скучно?

— Конечно, коли-ежели сравнить съ Кашиномъ... тамъ однѣхъ церквей сколько! Опять же родители...

— А въ Петербургъ хотѣлось бы? Ну, признайтесь,— хотѣлось бы?

— Нѣтъ ужъ, куда въ Петербургъ! Вотъ въ Кашинъ... въ Угличѣ тоже весело живутъ! Ну, а Калязинъ—нѣтъ, кажется, этого города постылѣе!

— Ну, Угличъ тамъ, Кашинъ, Калязинъ... А все, я думаю, сердечко-то такъ въ Петербургъ и рвется?

— Нѣтъ ужъ... Въ одномъ только я петербургскимъ господамъ завидую: что они царскую фамилію постоянно видѣть могутъ!

— Это дѣлаетъ вамъ честь, сударыня. Что же, современемъ, когда дѣла Антона Валерьяновича разовьются, можетъ-быть, вамъ и представится случай удовлетворить вашему похвальному чувству.

— Нѣтъ ужъ... А вотъ у насъ, въ Кашинѣ, одинъ ку-

пецъ въ Петербургѣ былъ, такъ сказывалъ: каждый день, говоритъ, на Невскіимъ въ золотыхъ каретахъ...

— Ну, это-то онъ, положимъ, отъ себя присочинилъ, а все-таки... Знаете ли что? Потормошите-ка вы Антона Валерьяновича вашего, да и махнемъ... А я бы вамъ все показалъ!

— Нѣтъ ужъ... А вы и во дворцѣ бывали?

— Сколько разъ, милая Авдотья Григорьевна!

— И государя видѣть изволили?

— Сколько разъ! Однажды даже...

Петенька вдругъ ощутилъ потребность лгать. Онъ далъ волю языку и цѣлый часъ болталъ безъ умолку. Разсказывалъ про придворные балы, про то, какія платья носятъ петербургскія барыни, про итальянскую оперу, про Патти; однимъ словомъ, истощилъ весь репертуаръ. Подъ конецъ, однако, спохватился, взглянулъ на часы и вспомнилъ, что ему надо еще о дѣлѣ переговорить.

— А я вѣдь къ вамъ, Антонъ Валерьянычъ, между прочимъ, и по дѣлу,—сказалъ онъ.

— Извольте только приказать, ваше превосходительство! Всѣ силы-мѣры, то-есть сколько есть силы-возможности...

— Скажите, неужели дѣла отца такъ плохи?

— Такъ плохи, такъ плохи! То-есть какъ только живутъ еще его превосходительство! Усадьба, теперича, безъ призору... Скотный дворъ, конный... опять же поля... Такъ худо, такъ худо!

— Да, и я уже замѣтилъ. Давеча бѣгалъ—нигдѣ ни одной души не нашелъ. Одинъ только мерзавецъ сыскался, да и тотъ вверхъ брюхомъ дрыхнетъ!

— Ужъ коли ваше превосходительство въ короткую, можно сказать, минуту замѣтили, такъ ужъ намъ-то что и говорить!

— А вѣдь знаете, генералъ немного и васъ обвиняетъ. Говоритъ, что вы весь лѣсъ за десять тысячъ продали, тогда какъ...

— Первое дѣло, не десять, а пятнадцать тысячъ я его превосходительству предоставилъ. Пять-то тысячъ они на покупку Агнушкѣ дома извели... Богъ имъ судья, ваше превосходительство! Конечно, маленькаго человѣка обидѣть ничего не значитъ, однако я завсегда, можно сказать, и денно, и нощно, словомъ, всѣмъ сердцемъ... Ваше превосходительство! позвольте вамъ доложить! Что я такое? Можно сказать, червь ползучій, а можетъ-быть и того хуже-съ! Стало-быть, ежели, теперича, сказать про меня: *Антонъ. молъ.* Стрѣлòвъ воръ! Кому въ этомъ разѣ стыдъ

будетъ? Мнѣ ли, который, примѣрно, всѣ силы-мѣры... или тому, кто меня обидѣлъ?

— Такъ-то такъ, голубчикъ, только вотъ отецъ говоритъ, что за одни Пѣтухи можно было десять тысячъ выручить, а вы тамъ всего на четыре тысячи дровъ продали.

— А коли ежели можно было десять тысячъ выручить, кто же, позвольте вамъ доложить, имъ въ этомъ препятствіе дѣлалъ? А при семъ, позвольте, ваше превосходительство, еще одно слово сказать! Все—отъ ихняго нетерпѣнія-съ. Можетъ-быть, возможно было бы и больше выручить, да что-жъ, ежели они внимать ничему не хотятъ! Кто я таковъ и кто они-съ? позвольте васъ спросить. Я рабъ-съ, а они господинъ-съ. Слѣдственно, ежели, теперича, мой господинъ мнѣ приказываетъ: «Антонъ! продай такую-то пустошь за пять тысячъ!» И я, значитъ, видючи, что эта пустошь, примѣрно, не пять тысячъ стоитъ, а восемь, докладываю: не лучше ли, молъ, ваше превосходительство, попридержаться до времени? И коли ежели при семъ господинъ мнѣ вторительно приказываетъ: безпремѣнно эту самую пустошь чтобъ за пять тысячъ продать—долженъ ли я господина послушаться?

— Ну, все-таки... Впрочемъ, это дѣло прошлое, я не о томъ... Скажите, неужели же у отца совсѣмъ-совсѣмъ никакого лѣсу не осталось?.. Ну, понимаете, который бы продать было можно?

— Теперича, ваше превосходительство, ежели всю дачу насквозь обшарить, кажется, ни одного путнаго дерева не найти. Для своего продовольствія кой-какой лѣсишко остался... Такъ, небольшое количество.

Петенька задумался.

— Ну, а земли? Вѣдь есть же лишнія?

— Земли, ваше превосходительство, по здѣшнему мѣсту самый, значитъ, нестоящій товаръ. А при семъ у папаши вашего въ пустошахъ—одинъ пенекъ-съ. Даже поросли нѣтъ, потому что мужицкій скотъ безвыходно, теперича, по порубкѣ ходитъ.

Петенька задумался еще больше и испустилъ глубокое «гм!»

— Чудеса!—вымолвилъ онъ наконецъ.

— Ужъ такъ чудно, такъ чудно, ваше превосходительство! Первые, можно сказать, по здѣшней округѣ помѣщики были и вдругъ...

— Ну-съ, такъ я того... постараюсь какъ-нибудь васъ

со старикомъ уладить. Можетъ-быть, сообща что-нибудь и придумаемъ!—сказалъ Петенька, поднимаясь.

— Сообща—какъ же можно-съ! Сообща—завсегда лучше! Ладкомъ да миркомъ—смотришь, анъ шутя что-нибудь полезное и представится.

Петенька воротился домой довольно поздно. Старый генералъ ходилъ въ это время по залѣ, заложивъ руки за спину. На столѣ стоялъ недопитый стаканъ холоднаго чая.

— *Тамъ* былъ?—спросилъ старикъ, указывая глазами на балконъ.

— Тамъ. А знаешь ли, фатеръ, вѣдь этотъ Антонъ—онъ вовсе...

— Ни слова, мой другъ!—серьезно вымолвилъ старый генералъ и, махнувъ рукою, отправился въ спальную, откуда уже и не выходилъ цѣлый вечеръ, приславъ сказать сыну, что у него болитъ голова.

Несмотря на безмолвный протестъ отца, путешествія Петеньки на «Мысокъ» продолжались. Онъ сдѣлалъ въ этомъ отношеніи лишь ту уступку, что производилъ свои посѣщенія во время послѣобѣденнаго сна старика. Вообще въ поведеніи Петеньки и Стрѣлова было что-то таинственное, шли между ними какіе-то дѣятельные переговоры, при чемъ Петенька нѣкоторое время не соглашался, а Стрѣловъ настаивалъ и, наконецъ, настоялъ.

Дѣло въ томъ, что Петенькѣ до зарѣзу нужно было имѣть пятнадцать тысячъ рублей, которыя онъ и предположилъ занять или у Стрѣлова лично, или черезъ его посредство, подъ документъ. Стрѣловъ и съ своей стороны не прочь былъ дать деньги, но требовалъ, чтобы долговой документъ былъ подписанъ самимъ старикомъ-генераломъ.

— Позвольте вамъ, ваше превосходительство, доложить—вы еще не отдѣленные-съ!—объяснилъ онъ обязательно:—слѣдственно, ежели какова пора ни мѣра, какъ же я въ семъ разѣ долженъ поступить? Ежели начальство ваше изъ-за пустяковъ утруждать—и вамъ конфузъ, а мнѣ-то и вдвое противъ того! Такъ вотъ, собственно, по этой самой причинѣ, чтобы, значитъ, непріятнаго разговору промежду насъ не было...

Петенька сдѣлалъ еще нѣсколько попытокъ къ примиренію отца съ Стрѣловымъ, но всякій разъ слышалъ одинъ отвѣтъ: «ни слова, мой другъ!»—послѣ чего старый генералъ удалялся въ спальную и запирался тамъ.

Наконецъ, Петенька рѣшился: въ одно прекрасное утро въ карманѣ у Стрѣлова очутились четыре заемныя обязательства, срокомъ на шесть мѣсяцевъ, каждое въ суммѣ пять тысячъ рублей.

— Насилу уломалъ старика!—сказалъ молодой генералъ, вручая документы Стрѣлову и получая отъ него, взамѣнъ ихъ, пятнадцать тысячъ рублей разношерстными пятипроцентными бумагами.

Миссія Петеньки была окончена, и онъ немедленно заторопился въ Петербургъ. Въ послѣдніе два дня онъ уже не посѣщалъ «Мысокъ» и былъ уже нѣженъ съ отцомъ. Старый генералъ, съ своей стороны, по мѣрѣ приближенія отъѣзда сына, дѣлался тревоженъ и взволнованъ, повидимому, тоже принимая какое-то рѣшеніе.

Наконецъ, наступила и минута разлуки. Экипажъ стоялъ у крыльца; по старинному обычаю, отецъ и сынъ на минуту присѣли въ залѣ. Старый генералъ всталъ первый. Онъ былъ блѣденъ, пошатываясь, подошелъ къ сыну и слабѣющими руками обнялъ его.

— Другъ мой,—сказалъ онъ прерывающимся голосомъ:—служи! А это—вотъ...

Съ этими словами онъ сунулъ въ карманъ Петеньки свое послѣднее выкупное свидѣтельство, съ довѣренностью на продажу его и на употребленіе вырученныхъ денегъ по усмотрѣнію.

Петенька поцѣловалъ у папаши ручку, попробовалъ смигнуть съ глазъ слезу, но не смигнулъ, выбѣжалъ изъ комнаты и поспѣшно сѣлъ въ экипажъ.

Ровно черезъ шесть мѣсяцевъ генералу были предъявлены четыре документа, въ которыхъ значилось: «я, нижеподписавшійся, повиненъ...» и въ концѣ которыхъ весьма отчетливо изображена была его собственноручная подпись: «Отставной генералъ-лейтенантъ Павелъ Петровичъ Утробинъ», съ характернымъ росчеркомъ, въ формѣ воскинутой вверхъ лесы, къ концу которой прикрѣпленъ крючокъ.

Генералъ не сдѣлалъ даже вида, что не понимаетъ. Онъ спокойно призналъ документы за подлинные и предоставилъ приступить къ описи и оцѣнкѣ Воплина.

Вечеромъ того же дня онъ лежалъ въ спальной, разбитый параличомъ.

VIII.—Опять въ дорогѣ.

Какъ-то не вѣрится, что я снова въ тѣхъ мѣстахъ, которыя были свидѣтелями моего дѣтства. Природа ли, люди ли здѣсь измѣнились, или я слишкомъ долго велъ бродячую жизнь среди иныхъ людей и иной природы—какъ бы то ни было, но я съ трудомъ узнаю родную окрестность.

Съ освобожденіемъ крестьянъ, помѣщиками овладѣло какое-то страстное желаніе ликвидировать. Безденежье, неумѣлость, неприготовленность, гнетъ старыхъ привычекъ и пріемовъ—все соединилось, чтобы поддерживать въ нихъ это стремленіе. Выраженіе: «у насъ все свое, некупленное»—сдѣлалось уже преданіемъ. Теперь у всѣхъ все купленное, и притомъ втридорога, потому что сдѣлать нужныя закупки оптомъ, въ свое время и въ своемъ мѣстѣ, нѣтъ средствъ, а мѣстный торговецъ-монополистъ на все назначаетъ цѣну по душѣ. Доходы же приходится собирать двугривенными и пятаками, да при этомъ имѣть еще разговоръ съ мировымъ судьей. Какъ будто впервые всѣхъ поразила мысль, что существуетъ какой-то процессъ, безъ котораго пашня не производитъ хлѣба, луга—травы. Прежде все это производилось безъ всякаго процесса, такъ какъ-то, само собой; теперь—нѣтъ. Побьется-побьется помѣщикъ и придетъ къ убѣжденію, что единственный для него выходъ—ликвидировать. А такъ какъ помѣщикъ здѣсь изстари былъ властелиномъ лѣсовъ, полей, луговъ и всего, что на землѣ, и всего, что подъ землею, то и выходитъ, что какъ будто вся мѣстность разомъ ликвидируетъ...

Въ настоящее время все составляетъ бремя для помѣщика: и вода, и небо, и земля, и даже собственный, приходящій къ разрушенію, домъ. Пашни лежатъ запустѣлыя, потому что хотя и пробовали сгоряча на первыхъ порахъ пахать, но напахали себѣ въ карманъ и бросили. Луга заѣзжены и потравлены, потому что прежнее властное слово: «не смѣть!» никого ужъ не сдерживаетъ. Пустоши никому не нужны и поросли чортъ знаетъ чѣмъ. Естественно, что при такомъ положеніи дѣла нѣтъ иного спасенія, кромѣ ликвидаціи. Но—вопросъ: какъ ликвидировать? Продать землю?—за землю даютъ грошъ, да и тотъ съ разсрочкой. Воспользоваться выкупною ссудой?—она давно ужъ пущена въ оборотъ, на затычку старинныхъ помѣщичьихъ легкомысленностей. И вдругъ всѣ какъ-то разомъ

прозрѣли: нашлась статья настоящая, серьезная — лѣса. Лѣса здѣсь были сплошные, береженые; на лѣсъ не было покупателя, потому что нечего было съ нимъ дѣлать. Лѣсомъ исключительно и при томъ безпошлинно пользовались крѣпостные крестьяне, которые курили смолу, сидѣли деготь, дѣлали кадки, чашки, ложки и другой щепной товаръ. Теперь въѣздъ въ помѣщичій лѣсъ крестьянамъ возбраненъ, лѣсной промыселъ палъ, и, конечно, надолго остался бы лѣсъ мертвымъ капиталомъ и для помѣщиковъ, и для края, если-бъ на выручку не подоспѣли желѣзныя дороги, которыя значительно приблизили пункты сбыта. Вмѣстѣ съ первымъ слухомъ о желѣзныхъ дорогахъ появились и личности изъ мѣстныхъ прасоловъ, кабатчиковъ, бывшихъ приказчиковъ, бурмистровъ и прочаго деревенскаго дѣлового люда, которые начали неутомимо разъѣзжать на бѣговыхъ дрожкахъ отъ помѣщика къ помѣщику, предлагая свое содѣйствіе по устройству ликвидаціи. Помѣщики ободрились. «Продать! продать!—завопили они хоромъ.—Продать, и затѣмъ бѣжать!»

Я ѣду и положительно ничего не узнаю. Вотъ здѣсь, на самомъ этомъ мѣстѣ, стояла сплошная стѣна лѣса; теперь по обѣимъ сторонамъ дороги лежатъ необозримыя пространства, покрытыя пеньками. Помѣщикъ зря продалъ лѣсъ; купецъ зря срубилъ его; крестьянинъ зря выпустилъ на порубку стадо. Никому ничего не жалко; никто не заглядываетъ въ будущее; всякій спѣшитъ сорвать все, что въ данную минуту сорвать можно. И вотъ, давно ли началась эта вакханалія, а окрестность уже имѣетъ обнаженный, почти безнадежный видъ. Пеньки, пеньки и пеньки; кой-гдѣ тощій лознякъ.

— Нехороши наши мѣста стали, неприглядны,—говоритъ мой спутникъ, старинный житель этой мѣстности, знающій ее какъ свои пять пальцевъ.—Покуда лѣса были цѣлы—жить было можно, а теперь словно послѣднія времена пришли. Скоро ни гриба, ни ягоды, ни птицы—ничего не будетъ. Пошли сиверки, холода, бездождица: земля трескается, а пару не даетъ. Шутка сказать: май въ половинѣ, а изъ полушубковъ не выходимъ!

И точно: холодный вѣтеръ пронизываетъ насъ насквозь, и мы пожимаемся, несмотря на то, что небо безоблачно, и солнце заливаетъ блескомъ окрестные пеньки и побѣлѣвшую прошлогоднюю отаву, сквозь которую чуть-чуть пробиваются тощія свѣжія травинки. Вотъ вамъ и радостный май. Прежде

въ это время скотина была ужъ сыта въ полѣ, лѣса стонали птичьимъ гомономъ, воздухъ былъ тихъ, влаженъ и нагрѣтъ. Выйдешь, бывало, на балконъ — такъ и обдаетъ тебя душистымъ паромъ распустившейся березы или смолистымъ запахомъ сосны и ели.

— Помнишь, Софронъ Матвѣичъ, въ прежнее время, бывало, въ семицкій четвергъ дѣвки вѣнки завивали?— обращаюсь я къ моему спутнику.

— Да и вы, чай, помните, какъ въ Троицынъ день въ бѣленькихъ панталонцахъ, съ цвѣточками въ рукахъ, въ церковь хаживали?

Да, все это было. И дѣвки вѣнки завивали, и дворянскія дѣти, съ букетами піоновъ, нарцисовъ и сирени, ходили въ Троицынъ день въ церковь. Теперь не то что піона, а и дворянскаго дитяти по всей окрестности днемъ съ огнемъ не отыщешь! Теперь семикъ на дворѣ, и не то что цвѣтка не сыщешь, а скотина ходитъ въ полѣ голодомъ!

— Вонъ она, Григорій Александровичева усадьба-то!—говоритъ между тѣмъ Софронъ Матвѣичъ: — была усадьба, а нынче смотри, какъ изныла!

Въ сторонѣ стоитъ что-то длинное, черное, домъ не домъ, казарма не казарма. По одному наружному виду этого жалкаго строенія можно объ закладъ побиться, что въ немъ нѣтъ ни единой живой половицы, что въ щели стѣнъ его дуетъ, что на стѣнахъ этихъ обои повисли клочьями. Половина оконъ (въ бывшихъ парадныхъ комнатахъ) закрыта ставнями; на другой половинѣ ставни открыты, но едва держатся на петляхъ, вздрагиваютъ и колотятся объ стѣны, чуть посильнѣе подуетъ вѣтеръ. Ни одного цѣльнаго стекла, а въ иныхъ мѣстахъ вмѣсто стеколъ вмазана синяя сахарная бумага. Нигдѣ—ни плетня, ни изгороди. Бывшій передъ домомъ палисадникъ невѣдомо куда исчезъ—тоже, должно-быть, изнылъ; бывшій «проспектъ» наполовину вырубленъ; бывшій прудъ заросъ и покрытъ плѣсенью, а берега изрыты копытами домашнихъ животныхъ; отъ плодоваго сада остались двѣ-три полувымерзшія яблони, едва показывающія признаки жизни...

Усадьба эта и въ цвѣтущія свои времена не могла назваться красивою, но зато она постоянно кипѣла млекомъ и медомъ. Григорій Александрычъ Гололобовъ, стараго закала помѣщикъ, не заботился ни о красотѣ, ни объ удобствахъ, но зато его домъ уподоблялся трактирному заведенію, въ которомъ всякій «прилично одѣтый» могъ съ

утра до вечера пить и ѣсть. Онъ даже не былъ особенно богатъ, и я очень хорошо помню, что сосѣди удивлялись, какимъ образомъ Григорій Александрычъ отъ какихъ-нибудь ста душъ могъ такъ роскошествовать. Но онъ, повидимому, слишкомъ хорошо постигъ тайны крѣпостного права и на всѣ удивленія относительно его житья-бытья объяснялся такъ:

— Сто душъ—большое, батенька, дѣло! Сто душъ—это сто хребтовъ-съ!

И продолжалъ кормить и поить до тѣхъ поръ, пока не ударилъ грозный часъ...

— А живъ еще Григорій Александрычъ?—спрашиваю я.

— Живетъ! Вонъ окно-то—тамъ и ютится. Былъ я у него намеднись—нагажено у него, насорено въ горницѣ-то! Ни у дверей, ни у оконъ настоящихъ запоровъ нѣтъ; войди къ нему ночью, задуши—никто три дня и не провѣдаетъ! Да и самъ-то онъ словно ужъ не въ умѣ!

— Старъ!

— Одно дѣло—старъ, другое дѣло—разоренье. Теперь онъ, можно сказать, весь обнажился; ни у него хлѣба ни травы—хуже, чѣмъ у иного мужика!

— Что такъ?

— Да сначала, какъ уставную-то грамоту писалъ, перестарался ужъ очень. Землю, коя получше, за собой оставилъ, анъ дача-то и вышла у него клочьями. Тоже плутъ вѣдь онъ! Думалъ: коли я около самой ихней околицы землю отрѣжу, тамъ имъ и курицы некуда будетъ выпустить! Анъ вышло, что курицы-то и завсе у него въ овсѣ!

— Чай, судится съ крестьянами-то?

— Пыталъ тоже судиться, да смѣхъ одинъ вышелъ: хоть каждый день ты съ курицей судись, а она все пойдетъ, гдѣ ей лакомо. Надзору у него нѣтъ; самому досмотрѣть нѣтъ возможности, а управителя нанять — три полсотни отдать ему надо. Да и управителю тутъ ни въ жизнь не углядѣть, потому въ одномъ мѣстѣ онъ смотритъ, а въ другомъ, гляди, озоруютъ!

— На чемъ же онъ порѣшилъ?

— Да не поймешь его. Сначала куда какъ сердитъ былъ и суды-то трѣклялъ: «какіе, говоритъ, это праведные суды, это притоны разбойничьи!»—а нынче, слышь, надѣяться началъ. Все около своихъ бывшихъ крестьянъ похаживаетъ, лаской ихъ донять хочетъ, литки съ ними пьетъ. «Мы, говоритъ, всѣ нынче на равной линіи стоимъ, я васъ

не замаю, и вы меня не замайте». Все, значитъ, насчетъ потравъ просить, чтобъ потравъ у него не дѣлали.

— Ну, и что-жъ, крестьяне... чувствуютъ?

— Нельзя сказать, чтобъ очень. Немеднись одинъ мужичокъ при мнѣ ему говоритъ: «ты, говоритъ, Григорій Александрычъ, нече сказать, нынче парень отмѣнный сталъ, не обидчикъ, не ругатель, не что̀; а прежнее-то, по-твоему, какъ?»—А прежнее, говоритъ, простить надо!

— Отчего-жъ бы и не простить, въ самомъ дѣлѣ?

— Отчего не простить! Вотъ и я въ тѣ-поры тоже подумалъ: «старъ, молъ, ты старъ, а тоже знаешь, гдѣ раки зимуютъ! Прежнее чтобы простить, а впередъ чтобы опять попрежнему!» Да вотъ никакъ и самъ онъ!

Смотримъ: невдалекѣ отъ дороги, у развалившихся воротъ, отъ которыхъ остались одни покосившіеся на бокъ столбы, стоитъ старикъ въ засаленномъ стеганомъ архалукѣ, изъ котораго мѣстами торчитъ вата, и держитъ руку щиткомъ надъ глазами, всматриваясь въ насъ. На головѣ у него теплый картузъ, щеки и губы обвисли, борода не брита, жидкіе волосы развѣваются по вѣтру; въ лѣвой рукѣ березовая палка, которую онъ тщетно старается установить.

— Неужто это Григорій Александрычъ?—спрашиваю я, до такой степени изумленный, что мнѣ не приходитъ даже на мысль остановить лошадей, чтобъ поздороваться съ маститымъ свидѣтелемъ игръ моего дѣтства.

— Онъ самый и есть. Смотри, какъ палка-то у него въ рукахъ прыгаетъ; съ палкой совладать ужъ не можетъ.

— Господи! а какой былъ прежде бѣлый да румяный!

— Былъ румянъ, поколь свои мужики на барщину ходили, а теперь вонъ какой сталъ. Сердитыя нынче, сударь, времена настали.

— Чѣмъ же такъ ужъ очень сердиты?

— Да тѣмъ, что спустя-то рукава нынче ужъ, видно, рѣдко кому прожить доведется!

— Ну, что̀-жъ такое! Стало-быть, дѣло надо дѣлать— вотъ и все.

— Да и на дѣло-то нынѣшнее посмотришь, такъ словно бы оно на мошенничество похоже стало. Прежде совсѣмъ дѣловъ не было, а нынче ужъ слишкомъ ихъ много, а настоящаго, постояннаго дѣла все-таки нѣту—все съ наскоку. Перервалъ горло, утащилъ, надулъ — и убёгъ. Вотъ нынѣшнее дѣло. Настоящій-то постоянный-то человѣкъ про-

межъ дошлыхъ и пропадетъ. Со всѣхъ сторонъ его окружили, нигдѣ ни разсчету, ни суда ему нѣтъ. Да и соблазнъ великъ. Станетъ человѣкъ постоянное-то дѣло дѣлать—анъ тутъ его сейчасъ лукавый смутитъ! Зачѣмъ, скажетъ, работать, коли обманомъ да колотырничествомъ жить можно! А иной съ непривычки и обмануть-то путемъ не умѣетъ! Смотришь, анъ современемъ или по судамъ его таскаютъ, или онъ въ кабакѣ смёртную чашу пьетъ!

— Такъ неужто-жъ прежде лучше было?

— Лучше не лучше, только прежде мы объ своихъ качествахъ-то помалчивали да потихоньку ихъ прикапливали. При крѣпостномъ-то правѣ мы словно въ тюрьмѣ сидѣли, и каки-таки были у насъ добродѣтели—никому о томъ было невѣдомо. А теперь всѣ свои капиталы вдругъ объявили. А капиталовъ-то у насъ всего два: жрать да баклуши бить. Жрать хочется, а работать не хочется (прежде, стало-быть, при крѣпостномъ правѣ вдосталь наработались!), — ну, и ищутъ, какъ бы вьюномъ извернуться. Иной всю жизнь безъ штановъ жилъ, да и дѣла отродясь въ глаза не видалъ — анъ, смотришь, онъ въ трактирѣ чай пьетъ, поддёвку себѣ изъ синяго сукна сшилъ! Спроси его, что̀ онъ сработалъ, откуда у него что̀ проявилось — онъ не то что тебѣ, да и себѣ-то настоящаго отвѣта дать не сумѣетъ! Такъ, маклаченьемъ да карманной выгрузкой и живетъ. Да что̀ и говорить! всякаго спроси, всякій скажетъ: сердитыя нынче времена пришли!

— Богъ милостивъ, Софронъ Матвѣичъ! Перемелется—все мука̀ будетъ!

— Извѣстно, Богъ не безъ милости! Однако вотъ пошли пожары, падежи—значитъ же это что-нибудь!

— Да вѣдь и прежде это не въ рѣдкость было!

— Было и прежде, да прежде-то отъ глупости, а нынче все отъ ума. Вороватъ сталъ народъ, началъ самъ себя узнавать. Вонъ она, деревня-то! Смотри, много ли въ ней старыхъ домовъ осталось!

Мы въѣхали въ довольно большую деревню, въ которой было два порядка избъ; одинъ изъ нихъ былъ совершенно новый, частью даже не вполнѣ достроенный; другой порядокъ тоже не успѣлъ еще почернѣть отъ времени.

— Прошлаго года въ Покровъ сгорѣли: престольный праздникъ у нихъ тутъ; а три года назадъ другой порядокъ горѣлъ! А сибирская язва и не переводится у насъ. Въ иной деревнѣ что̀ ни годъ, то половину стада выхватитъ!

— Божья воля, Софронъ Матвѣичъ, вотъ и все!

— Божья воля—само собой. А главная причина—строгія времена пришли. Всякому чужого хочется, а между прочимъ никому никого не жаль. Возьмемъ хоть Григорья Александрыча. Ну, подумалъ ли онъ, какъ уставную-то грамоту писалъ, что мужика обездоливаетъ? Подумалъ ли, что мужику либо землю пахать, либо за курами смотрѣть? Нѣтъ, онъ ни крошки объ этомъ не думалъ, а, напротивъ того, еще надѣялся: то-то, молъ, я штрафовъ съ мужиковъ наберу!

— А вѣдь самое это выгодное дѣло, Софронъ Матвѣичъ, съ мужиковъ штрафы брать!

— Выгодное — какъ не выгодное. Теперича, ежели мужика со всѣхъ сторонъ запереть, чтобъ ему ни входу, ни выходу — чего еще выгоднѣе! Да вѣдь разсчетъ-то этотъ нужно тоже съ умомъ вести, сосчитать нужно, стóитъ ли овчинка выдѣлки! Ну, а Григорій Александрычъ не сосчиталъ, думалъ, что штрафы-то сами къ нему въ карманъ полѣзутъ—анъ вышло, что за ними тоже походить надо!

— Чай, и кается же онъ теперь?

— Кается, какъ не каяться, да потому только и кается, что выдумка его не удалась. А кабы удалась, такъ и онъ бы теперь пироги съ начинкой ѣлъ.

— Видишь, стало-быть, не всегда это вѣрно на чужой-то карманъ разсчитывать!

— Какъ вамъ сказать, сударь! Григорій Александрычъ тутъ не примѣръ. У него хоть и не задашный, а все свой кусъ есть. Вотъ онъ теперь и казнится на него, думаетъ: лучше было бы, кабы по-божески спервоначалу поступить! Ну, а другому и каяться-то резону нѣтъ. Народъ нонче все гольтепа, бездомовый пошелъ: на чтò ни пустись— все ему хуже прежняго не будетъ. Хоть лишнюю рюмку вина выпьетъ—и то въ барышахъ. Скажемъ теперича хоть про престольные праздники. Найдетъ тутъ народу въ деревню видимо-невидимо, и всякій вина проситъ. Не далъ ты ему вина—онъ тебя съ сердцовъ спалилъ, да и сосѣдей твоихъ заурядъ!

— Не можетъ быть! Изъ такихъ пустяковъ!

— Вѣрное слово говорю. Чтобы ему на умъ пришло, что чужое добро жжетъ—ни въ жизнь! Иной даже похваляется, чтобъ его боялись. И не токма-что похвальба эта съ рукъ ему сходитъ, а еще каждый день пьянъ бываетъ!

— Ну, а падежи-то отчего-жъ?

— Да тоже главная причина та, что всякій норовитъ поскорѣй нажиться. У насъ въ городѣ и сейчасъ всѣ лавки больной говядиной полнёхоньки. Торговецъ-то не смотритъ на то, какой отъ этого раззоръ будетъ, а норовитъ, какъ бы ему барыша поскорѣй нажить. Мужикъ купитъ на праздникъ говядинки, привезетъ домой, вымоетъ, помои выплеснетъ, корова понюхаетъ—и пошла язва косить!

— Однако нехороши у васъ дѣла!

— Чего хуже! День живемъ, а завтра что̀ будетъ — не вѣдаемъ.

— А знаешь, вѣдь насъ учатъ, что нигдѣ такъ не крѣпко насчетъ собственности, какъ между крестьянами!

— Вѣдомое дѣло, кому своего не жаль!

— Нѣтъ, не насчетъ только «своей» собственности, а вообще. У васъ, говорятъ, и зацоровъ въ заводѣ нѣтъ!

— Не знаю, какъ въ другихъ мѣстахъ, а у насъ на этотъ счетъ строго. У насъ тѣхъ, которые чужое-то добро жалѣютъ, дураками величаютъ—вотъ какъ!

— Да вѣдь не пойдешь же, напримѣръ, *ты* за чужимъ добромъ?

— Мнѣ на что̀, у меня свое есть!

— Представь себѣ, однако, что у тебя своего или нѣтъ, или мало: неужто же ты...

— Зачѣмъ представлять, что̀ вы!

— Ну, да представь же!

— Пустое дѣло вы говорите! Зачѣмъ я стану представлять, чего нѣтъ!

Вопросъ этотъ такъ и остался неразрѣшеннымъ, потому что въ эту минуту навстрѣчу намъ попались бѣговыя дрожки. На дрожкахъ сидѣлъ верхомъ мужчина въ нѣмецкомъ платьѣ, не то мѣщанинъ, не то бывшій барскій приказчикъ, и самъ правилъ лошадью.

— Хрисанфъ Петровичъ! куда? — кричитъ Софронъ Матвѣичъ, высовываясь всѣмъ корпусомъ изъ тарантаса и даже привставая въ немъ.

Проѣзжій отвѣчаетъ что-то, указывая рукой по направленію гололобовской усадьбы.

— Ну, такъ и есть, къ Гололобову ѣдетъ. То-то Григорій Александрычъ высматривалъ. Это онъ его поджидалъ. Ну, и окружитъ же его Хрисашка!

— Развѣ дѣла у нихъ есть?

— Лѣску у Гололобова десятинъ съ полсотни, должно-быть, осталось—вотъ Хрисашка около него и похаживаетъ.

Лѣсокъ нештѐ, на худой конецъ, по нынѣшнему времени, тысячъ пятокъ надо взять, но только Хрисашка теперича такъ его опуталъ, такъ опуталъ, что ни въ жизнь ему больше двухъ тысячъ не получить. Даже всѣхъ прочихъ покупателевъ отъ него отогналъ!

— Кто же этотъ Хрисашка? Давно онъ въ здѣшнихъ мѣстахъ?

— Хрисанфъ Петровичъ господинъ Полушкинъ-съ? Да у Бакланихи, у Дарьи Ивановны, приказчикомъ былъ— неужто-жъ не помните! Онъ еще при мужѣ имѣньемъ-то управлялъ, а послѣ, какъ мужъ-то померъ, сластить ее сталъ. Только до денегъ очень жаденъ. Сначала тихонько поворовывалъ, а послѣ нахаломъ брать зачалъ. А обравши, бросилъ ее. Нынче усадьбу у Коробейникова, у Петра Ивановича, на Воплѣ на рѣкѣ, купилъ, живетъ-себѣ помѣщикомъ да лѣсами торгуетъ.

— Хрисаша! Помню! помню! Какой прежде скромный былъ!

— Былъ скромный, а теперь выше лѣсу стоячаго ходитъ. Медаль, сказываетъ, во снѣ видѣлъ. Всю здѣшнюю сторону подъ свою державу подвелъ, ни одинъ помѣщикъ дыхнуть безъ его воли не можетъ. У насъ, у Николы на Воплѣ, амвонъ себѣ въ церкви устроилъ, гдѣ прежде дворяне-то стаивали, алымъ сукномъ обилъ — стоитъ да охорашивается!

— Вотъ какъ.

— Ужъ такая выжига сдѣлался — наскрозь на четыре аршина въ землю видитъ! Хватаетъ, словно у него не двѣ, а четыре руки. Лѣсами торгуетъ—разъ; двѣнадцать кабаковъ держитъ — два; да при каждомъ кабакѣ у него лавочка — три. И вездѣ обманываетъ. А все-таки, помяните мое слово, не бывать тому, чтобъ онъ самъ собой отъ сытости не лопнулъ! И ему тоже голову свернутъ!

— Проворуется, значитъ?

— Не то что проворуется, а нынче этихъ прожженыхъ словно воронья развелось. Кусковъ-то про всѣхъ не хватаетъ, такъ изо рту другъ у дружки рвутъ. Сколько ихъ въ здѣшнемъ мѣстѣ за послѣдніе годы лопнуло, сколько черезъ нихъ, канальевъ, народу пò-міру пошло, такъ, кажется, кто самъ не видѣлъ—не повѣритъ!

— А у насъ, братъ, толкуютъ, что въ русскомъ человѣкѣ предпріимчивости мало! А какъ тебя послушать, такъ, пожалуй, ея даже больше, чѣмъ слѣдуетъ!

— Ужъ на что̀ вороватѣе. Завелось, напримѣръ, нынче арендателевъ много: земли снимаютъ, мельницы, скотные дворы, словомъ, всю помѣщичью угоду въ свои руки забрали. Спроси ты у него, кто онъ таковъ? Придетъ онъ къ тебѣ: въ карманѣ у него грошъ, на лицѣ званія нѣтъ, а тысячнымъ дѣломъ орудовать берется. Одно только и держитъ на умѣ: возьму, разорю и убѣгу! И точно, въ два-три года все до нитки спуститъ: скотину выпродастъ, стройку сгноитъ, поля выпашетъ, даже кирпичъ какой есть — и тотъ выломаетъ и вывезетъ. А подъ конецъ и самъ въ трубу вылетитъ!

— Такъ, значитъ, насчетъ собственности-то и у васъ не особенно крѣпко? Ну, по крайней мѣрѣ, хоть насчетъ чистоты нравовъ... надѣюсь, что въ этомъ отношеніи...

— Это насчетъ снохачей, что ли?

— Какіе тутъ снохачи!.. Снохачи—это, братецъ, исключеніе... Я не объ исключеніяхъ тебѣ говорю, а вообще...

— А вообще — такъ у насъ французская болѣзнь есть. Нынче ея во всякой деревнѣ довольно завелось.

— Какъ же это такъ, однако-жъ! Ни къ собственности уваженія, ни къ нравственности! Согласись, что этакъ, наконецъ, жить нельзя!

— Да кабы не палка—и то давно бы врозь пошло.

— Позволь, ты говоришь: кабы не палка! Но вѣдь нельзя же вѣкъ свой съ палкой жить! Представь себѣ, что палки нѣтъ... Вѣдь можно себѣ это представить?

— Никакъ этого представить нельзя!

— Ну, да представь однако! Все только палка да палка—это даже безнравственно! *Должно* же когда-нибудь это кончиться! Что̀-жъ будетъ, если палку, наконецъ, сократятъ?

— А то и будетъ, что все врозь пойдетъ!

— Послушай! Да какой же еще больше розни, чѣмъ та, которая, по твоимъ же словамъ, теперь идетъ? Ни собственности, ни нравственности... французская болѣзнь... чего хуже!

— Это такъ точно!

— Такъ что̀ же палка-то твоя дѣлаетъ? Отчего-жъ она никого не исправляетъ?

— Ну, все же поберегаются!

— Поберегаются... Хрисашка, напримѣръ! И вѣдь, поди-чай, этотъ самый Хрисашка, если не только-что украсть у него, а даже если при немъ насчетъ собственности что-нибудь неладно сказать—поди-чай какъ завопитъ!

— Само собой, завопитъ!

— А онъ, какъ ты самъ говоришь, чуть не пòходя воруетъ. Вотъ и теперь, пожалуй, Гололобову въ карманъ руку запускаетъ!

— Запущаетъ — это вѣрно. Трещитъ Григорій Александрычъ, да еще его же, подлеца, безпремѣнно водкой поитъ!

— А коли ты знаешь, что онъ подлецъ, зачѣмъ же ты подлецу кланяешься? Зачѣмъ картузъ передъ нимъ снимаешь?

Софронъ Матвѣичъ при этомъ вопросѣ на минуту словно опѣшилъ, но тотчасъ же, впрочемъ, опять оправился.

— Позвольте-съ! Какъ же я ему не поклонюсь,—отвѣтилъ онъ мнѣ уже совершенно резонно:—коли онъ у насъ теперь въ округѣ первый человѣкъ?

— Нѣтъ, ты не виляй, ты отвѣть, что̀ все это значитъ?

— А то и значитъ, что «не пойманъ—не воръ»!

Итакъ, изреченіе: «не пойманъ—не воръ», какъ замѣна гражданскаго кодекса, и французская болѣзнь, какъ замѣна кодекса нравственнаго... Ужели это и есть та таинственная подоплёка, то искомое «новое слово», по поводу которыхъ въ свое время было писано и читано столько умильныхъ рѣчей? Гдѣ же основы и краеугольные камни? Ужели они сосланы на огородъ и стоятъ тамъ въ видѣ пугалъ для «дураковъ»?

Григорій Александрычъ обездоливаетъ крестьянъ; Хрисашка обездоливаетъ Григорія Александрыча; пропоецъ изъ-за рюмки водки обездоливаетъ цѣлую деревню; мѣщанинъ-мясникъ изъ-за грошоваго барыша обездоливаетъ цѣлую палестину... Никому ничего не жаль, никто не заглядываетъ впередъ, всякій ищетъ, какъ бы сорвать сейчасъ, сію минуту, и потомъ... потомъ и самому, пожалуй, вылетѣть въ трубу.

Если-бъ мнѣ сказалъ это человѣкъ легкомысленный — я не повѣрилъ бы. Но Софронъ Матвѣичъ не только человѣкъ вполнѣ знакомый со всѣми особенностями здѣшнихъ обычаевъ и нравовъ, но и самъ въ нѣкоторомъ родѣ столпъ. Онъ консерваторъ, потому что у него есть кубышка, и въ то же время либералъ, потому что ни подъ какимъ видомъ не хочетъ допустить, чтобъ эту кубышку могли у него отнять. Какихъ еще столповъ надо!

Но все-таки должно сознаться, что и въ разсказахъ Софрона Матвѣича есть слабая сторона. Если довѣриться

ему безусловно со всѣми выводами, какіе онъ дѣлаетъ, то непонятно было бы, какимъ образомъ люди живутъ. А между тѣмъ люди не только живутъ, но и преуспѣваютъ. Ясно, что Софронъ Матвѣичъ слишкомъ исключительно моралистъ, и въ то же время не менѣе ясно и то, что мораль его имѣетъ довольно узкую исходную точку. Онъ самъ аккуратенъ и требуетъ такой же аккуратности отъ другихъ—развѣ такая низменная мораль можетъ быть навязана міру, какъ общеобязательный жизненный принципъ?

То, въ чемъ онъ видитъ развращеніе нравовъ, есть собственно безтолочь, происшедшая вслѣдствіе смѣшенія понятій уже извѣстныхъ, отвержденныхъ, съ понятіями искомыми, еще не имѣющими на рынкѣ опредѣленнаго курса. Человѣкъ чувствуетъ себя спутаннымъ и вмѣсто того, чтобъ искать этихъ путъ около себя, шаритъ руками въ пространствѣ. Человѣкъ ищетъ, гдѣ лучше, но, не имѣя даже приблизительныхъ свѣдѣній насчетъ того, гдѣ раки зимуютъ, естественнымъ образомъ вынуждается безпрестанно перебѣгать изъ области дозволеннаго въ область запретнаго—и наоборотъ. Если его ограбятъ, онъ старается изловить грабителя, и буде изловитъ, то говоритъ: «стой! законами грабить не позволяется!» Если онъ самъ ограбитъ, то старается схоронить концы въ воду, и если ему удастся, то говоритъ: «какіе-такіе ты законы для дураковъ нашелъ! для дураковъ одинъ законъ: учить надо!» И всѣ кругомъ смѣются: въ первомъ случаѣ смѣются тому, что дурака поймали, во второмъ—тому, что дурака выучили. Что̀ можетъ тутъ сдѣлать мораль, когда ея отправные пункты давнымъ-давно всѣми внутренно осмѣяны и оставлены, въ видѣ реторической шумихи, въ назиданіе... дуракамъ! Но даже и для дураковъ они страшны лишь потолику, поколику за ними стоитъ острогъ...

Должно-быть, иначе ужъ нельзя жить, коли люди такъ живутъ и впредь такъ жить надѣются. Ворчитъ Софронъ Матвѣичъ (хоть онъ же вмѣстѣ съ тѣмъ сознается, что «не пойманъ—не воръ»), а Хрисашки свое дѣло дѣлаютъ. Видно, они ужъ раскинули умомъ, что не такъ чёренъ чортъ, какъ его малюютъ. А въ дѣлѣ воровства—это главное. По началу, воровать дѣйствительно страшно: все кажется, что чужой рубль жжется; а потомъ, какъ увидитъ человѣкъ, что чужой рубль имѣетъ лишь то свойство, что легче всего другого обращается въ свой собственный рубль,

станетъ и походя поворовывать. Точно такъ же и насчетъ чистоты нравовъ: только сначала есть опасеніе, какъ бы бока не намяли, а потомъ, какъ убѣдится человѣкъ, что и противъ этого есть мѣры, и что за симъ, кромѣ сладости, ничего тутъ нѣтъ — станетъ и почаще въ чужое гнѣздо заглядывать. «Заведи свою жену! заведи свой рубль!» говоритъ негодующій Софронъ Матвѣичъ; а Хрисашка ему въ отвѣтъ: «а зачѣмъ мнѣ заводить, коли ты для меня и жену, и рубль припасъ!»

Нѣкоторые видятъ въ подобныхъ фактахъ войну и протестъ. Это, дескать, война незваныхъ противъ званыхъ; это глухой протестъ обдѣленныхъ противъ общественной несправедливости А по-моему, такъ тутъ и войны никакой нѣтъ. Если-бъ въ область запретнаго врывались одни обдѣленные, тогда еще можно было бы, хоть съ натяжкою, сказать: да, это протестъ! Но вѣдь сплошь и рядомъ званые-то еще ходчѣе въ эту область заглядываютъ. Сталобыть, не только незванымъ, но и званымъ туго пришлось. Да и какъ, наконецъ, опредѣлить, кто обдѣленъ, кто не обдѣленъ? Конечно, сытому воровать стыднѣе, нежели голодному, и Софронъ Матвѣичъ, я знаю, первый упрекнетъ сытаго: «не стыдно ли тебѣ, скажетъ, добро бы у тебя своего куска не было!» А Хрисашка ему въ отвѣтъ: «а ты мой аппетитъ знаешь? мѣрялъ ты мой аппетитъ?»

Я не говорю, что Хрисашка представляетъ собой образецъ добродѣтели; я знаю, что онъ кругомъ виноватъ, а, напротивъ того, критикъ его, Софронъ Матвѣичъ (впрочемъ, снимающій передъ Хрисашкой картузъ), кругомъ правъ. Но я знаю также, что Софронъ Матвѣичъ влачитъ свое сѣренькое существованіе съ грѣхомъ пополамъ, между тѣмъ какъ Хрисашка блеститъ паче камня самоцвѣтнаго и, конечно, не всуе видитъ во снѣ медаль. Софронъ Матвѣичъ придетъ въ церковь, станетъ скромненько въ уголокъ, и попъ не назоветъ его ни истиннымъ сыномъ церкви, ни ангельскаго житія ревнителемъ и не вынесетъ просвиры. А Хрисашка взойдетъ въ церковь, такъ словно свѣтлѣе въ ней сдѣлается, взойдетъ и полѣзетъ прямо на свой собственный, крытый алымъ сукномъ, амвонъ. И попъ скажетъ ему притчу, начнетъ съ «яко солнцу просіяваюцу» и кончитъ: «тако да возсіяешь ты добродѣтелями во вѣкъ», а въ заключеніе самъ вручитъ ему просвиру. По выходѣ же изъ церкви, Софрону Матвѣичу поклонится развѣ рѣдкій аматёръ добродѣтелей (да и то, можетъ-быть, въ томъ

разсчетѣ, что у него все-таки кубышка водится), а Хрисашкѣ *всѣ* поклонятся, да не просто поклонятся, а со страхомъ и трепетомъ, ибо въ рукахъ у Хрисашки хлѣбъ *всѣхъ*, всей этой чающей и не могущей наѣсться до-сыта братіи, а въ рукахъ у Софрона Матвѣича—только собственная его кубышка.

«Я въ трубу не вылечу, а Хрисашка—вотъ помяните мое слово—не долго нагуляетъ!»—говорилъ мнѣ Софронъ Матвѣичъ. Прекрасно, но для Хрисашки это все-таки доводъ не убѣдительный. Развѣ ты когда-нибудь жилъ, Софронъ Матвѣичъ? Развѣ ты испыталъ, какое значеніе имѣютъ слова: «пожить въ свое удовольствіе»? Нѣтъ, ты не жилъ, а только уберегался отъ жизни да поученья себѣ читалъ. Захочется тебѣ иной разъ во всѣ лопатки ударить (я знаю, и у тебя эти порывы-то бывали!)—анъ ты: нѣтъ, погоди—вотъ ужо! Ужо да ужо—такъ ты и кончилъ на томъ, что ухватился обѣими руками за кубышку, да брюзжишь на Хрисашку, а самъ ему же кланяешься! А у Хрисашки кубышки и въ заводѣ нѣтъ, ему не надъ чѣмъ дрожать, потому что у него деньга вольная. Всякая деньга—его деньга: и та, которая у тебя въ карманѣ тщетно хоронится отъ его прозорливости, и та, которая скрывается въ груди, въ мышцахъ, въ спинѣ вотъ у этого прохожаго, который съ пилой да съ заступомъ на плечѣ пробирается путемъ-дорогою на промыселъ. Или опять насчетъ чистоты нравовъ—развѣ ты настоящей сладости-то вкусилъ? Приглянется тебѣ, бывало (еще при крѣпостномъ правѣ это было), Дунька, старостина жена, а ты: нѣтъ, погоди, неравно староста обидится! Погоди да погоди, и дожилъ до того, что теперь нечего тебѣ другого сказать, кромѣ: «хорошо дома; пріѣду къ Маремьянѣ Маревнѣ, постелимся на печи, да и захрапимъ во всю ивановскую!» А у Хрисашки и тутъ все вольное: и своя жена вольная, и чужая жена вольная—какъ подойдетъ! Безнравственъ Хрисашка, прелюбодѣй онъ и воръ—что говорить! И въ трубу вылетитъ, и въ острогъ попадетъ—это вѣрно. Но и въ острогѣ ему будетъ чѣмъ свою жизнь помянуть да поразсказать «прочіимъ каторжнымъ», какъ попъ его истиннымъ сыномъ церкви величалъ да просвирами жаловалъ, а ты и на теплой печи, съ Маремьяной Маревной лежа, ничего, кромѣ распостылаго острога, не обрѣтешь!

Ты говоришь: «попъ завидущъ; захочу, десять рублей пошлю—онъ и не такую притчу мнѣ взбодритъ!» Знаю я

это. Но вспомни, что вѣдь ты добродѣтельный, а Хрисашка воръ и прелюбодѣй. Если о тебѣ и за десять копеекъ попъ скажетъ, что ты ангельскаго житія ревнитель—онъ немного солжетъ; а каково о Хрисашкѣ-то это слышать! Хрисашка, сіяющій добродѣтелями! Хрисашка, аки благопотребный дождь, упояющій ниву, жаждущу, како освѣжитися! Слыхана ли такая вещь! А развѣ ты не слыхалъ?

Да взгляни же ты, наконецъ, на Хрисашку, какъ онъ невозмутимъ, спокоенъ, самодоволенъ! Съ какимъ неизреченнымъ состраданіемъ взираетъ онъ съ своего амвона на тебя, героя собственной кубышки, поборника невоспрещеннаго закономъ храпѣнья на собственной печкѣ, возлѣ собственной Маремьяны Маревны! Именно съ состраданіемъ, даже не съ ироніей. Не тебя жалѣетъ онъ, а твою кубышку, держа которую ты такъ сладко похрапываешь на собственной печи, въ свободные отъ копленія часы! «Эхъ, думается ему, кабы эту самую кубышку да въ настоящія руки... Задали бы ей копоти!» Всмотрись же въ Хрисашку пристальнѣе и крѣпче прижми къ груди кубышку, потому что съ такимъ озорникомъ всяко случиться можетъ: вздумается—и отниметъ!

Да, Хрисашка еще слишкомъ добръ, что онъ только поглядываетъ на твою кубышку, а не отнимаетъ ее. Если-бъ онъ захотѣлъ, онъ взялъ бы у тебя все: и кубышку, и Маремьяну Маревну на придачу. Хрисашка! воспрянь! чего ты робѣешь! Воспрянь—и плюнь въ самую лохань этому идеологу кубышки! Воспрянь—и бери у него все: и жену его, и вола его, и осла его—и пусть хоть однажды въ жизни онъ будетъ приведенъ въ необходимость *представить себѣ*, что у него *своего* или ничего, или очень мало!

Итакъ, всякій хочетъ жить—вотъ общій законъ. Если при этомъ встрѣчаются на пути краеугольные камни, то стараются умненько ихъ обойти. Но съ мѣста ихъ все-таки не сворачиваютъ, потому что подобнаго рода камень можетъ еще и службу сослужить. А именно: онъ можетъ загородить дорогу другимъ и тѣмъ значительно сократить размѣры жизненной конкуренціи. Стало-быть: умѣлый пусть пользуется, неумѣлый—пусть колотится лбомъ о краеугольные камни. Вотъ и все.

Между тѣмъ какъ я предавался этимъ размышленіямъ, лошади какъ-то сами собой остановились. Выглянувши изъ тарантаса, я увидѣлъ, что мы стоимъ у такъ-называемаго постоялаго двора, на дверяхъ котораго красуется

надпись: «распивочно и на выносъ». Ямщикъ разнуздываетъ лошадей, которыя трясутъ головами и громыхаютъ бубенчиками.

— Лошадей хочу попоить!—обращается къ намъ ямщикъ.

— Чего «лошадей попоить»! Вижу я, куда у тебя глаза-то скосило!—ворчитъ Софронъ Матвѣичъ.

— Что-жъ, на свои деньги и самъ выпить могу!

— То-то «самъ»... до мѣста-то, видно, нельзя подождать! На пароходъ опоздаемъ!

— На пароходъ еще за сутки пріѣдемъ. Ты, чай, и выпилъ, и закусилъ дома съ «бариномъ», а я на пустыхъ-то щахъ только зубы себѣ нахлопалъ!

Дверь кабака визжитъ, и ямщикъ скрывается за нею.

— А много пьютъ?—спрашиваю я.

— Такъ довольно, такъ довольно, что если, кажется, еще немного, совсѣмъ наша сторона какъ дикая сдѣлается. Многіе даже заговариваться стали.

— То-есть, какъ же это—заговариваться?

— Совсѣмъ не тѣ слова говоритъ, какія хочетъ. Хочетъ сказать, къ примѣру, сѣно, а говоритъ—телѣга. Иного и совсѣмъ не поймешь. Не знаетъ даже, что у него подъ ногами: земля ли, крыша ли, рѣка ли. Да вонъ, смотрите, черезъ поле молодецъ бѣжитъ... ишь поспѣшаетъ! Это сюда, въ кабакъ.

И дѣйствительно, черезъ нѣсколько секундъ съ нашимъ тарантасомъ поровнялся рослый мужикъ, имѣвшій крайне озабоченный видъ. Лицо у него было блѣдное, глаза мутные, волоса взъерошенные, губы сочились и что-то безъ умолку лепетали. Въ каждой рукѣ у него было по подковѣ, которыми онъ звякалъ одна о другую.

— Давно не пивалъ, почтенный?—обратился къ нему Софронъ Матвѣичъ.

— Завтра пивалъ!.. Реговоно табѣ... талды... Веней пина! Зарррокъ!—бормоталъ мужикъ, остановившись и словно испуганный человѣческою рѣчью.

— Вотъ и разговаривай съ нимъ, какъ этакой-то къ тебѣ въ работники наймется! А что, почтенный, тебѣ бы и въ кабакъ-то ходить недляче! Ты только встряхнись—безъ вина пьянъ будешь!

Мужикъ стоялъ, блуждая глазами по сторонамъ и какъ бы нѣчто соображая.

— Подковы-то укралъ, поди! чужія, небось!

— Ч-ч-чіи! веней пина... реговоно... талды!

— Ну, ну! ступай своей дорогой!

— Веней!—крикнулъ мужикъ не своимъ голосомъ, дѣлая всѣмъ корпусомъ движеніе къ нашу сторону.

— Ступай, ступай! нехорошо! Видишь—баринъ!

Мужикъ плюетъ («какіе грубьяны!» вертится у меня въ головѣ) и обращается къ кабаку. Опять визжитъ дверь, принимая въ свои объятія новаго потребителя.

— Хороши наши палестины?—подсмѣивается Софронъ Матвѣичъ.

— Чудакъ ты, однако-жъ! Говоришь такъ, какъ будто ужъ всѣ заговариваются!

— Всѣ не всѣ, а что многіе въ винѣ занятіе находятъ—это вѣрно. Да вотъ увидите. Версты съ четыре проѣдемъ, тутъ въ деревнѣ черезъ Воплю перевозъ будетъ, а при перевозѣ, какъ и слѣдуетъ, кабакъ. Паромишко ледащій, телѣга съ нуждой уставится, не то что экипажъ, вотъ они и пользуются. Какъ есть, у кабака вся деревня ждетъ. Чуть покажемся—всѣ высыплютъ. На рукахъ тарантасъ на паромъ спустятъ, весь переѣздъ заднія колеса на вѣсу держать будутъ—все за двугривенный. Получатъ двугривенный—сейчасъ въ кабакъ. И идетъ у нихъ съ утра до вечера веселье, даже вчуже завидно!

— Однако славно ты земляковъ-то своихъ рекомендуешь!

— Распостылые они мнѣ—вотъ что! всякая пакость—все черезъ нихъ идетъ! Попы носъ задираютъ, чиновники тиранятъ, Хрисашки грабятъ—все не черезъ кого, а черезъ нихъ! Ощирина Павла Потапыча знавали?

— Это владыкинскаго? молодого?

— Какой онъ молодой—сорокъ лѣтъ слишкомъ будетъ! Пріѣхалъ онъ сюда, жилъ смирно, къ помѣщикамъ не ѣздилъ, хозяйствомъ не занимался, землю своимъ же бывшимъ крестьянамъ почесть за ничто сдавалъ, а выжили!

— Какъ такъ?

— Да такъ и выжили: зачѣмъ въ церковь рѣдко ходитъ! Попъ, вишь, къ нему повадился гостить; сегодня пришелъ, завтра пришелъ—ну, Павлу Потапычу это и не понравилось. Сгрубилъ, что ли, онъ попу, только попъ обидѣлся, да, не будь простъ, и науськалъ на него мужиковъ. И въ Бога, говоритъ, не вѣритъ, и въ церковь не ходитъ—фармазонъ. Пошла это слава, провѣдали помѣщики, а спустя время и исправникъ пріѣхалъ. «Какой-такой вы примѣръ *мужикамъ* подаете?..» Ну, посмотрѣлъ-посмотрѣлъ Павелъ

Потапычъ, плюнулъ и уѣхалъ. Да нынче по веснѣ приказъ съ Москвы прислалъ: обрыть всю землю канавой, а крестьянъ чтобы ни ногой! А они его землей только и жили!

— Ну, это-то ужъ лишнее! Крестьяне вѣдь по невѣжеству!

— Знамо, что не по вѣжеству! А поколь у нихъ невѣжество будетъ, стало-быть, подражать имъ надо? Ну, хорошо, будемъ такъ говорить: надо ихъ учить, надо школы для нихъ заводить. А поколь какъ? А поколь онъ тебя стоялому жеребцу за косушку продастъ, да когда тебя къ чортовой матери невѣдомо за что̀ ссылать будутъ—онъ надъ тобой же глумиться станетъ! Нѣтъ, нынче постоянные-то люди сторониться начали! Больше все изъ столицъ пишутъ: школы, молъ, устраивать надо, а сами что-то и носу не показываютъ! Только тотъ и остался здѣсь, который съ мужика послѣднюю рубашку снять разсчитываетъ, или тотъ, кому — вотъ какъ Григорью Александрычу— свѣтъ клиномъ сошелся, некуда, кромѣ здѣшняго мѣста, бѣжать!

Совершивши выпивку, ямщикъ сдѣлался замѣтно развязнѣе. Посвистывалъ, помахивалъ кнутомъ, передергивалъ коренную, крутилъ присяжную въ кольцо и безпрестанно оборачивался на насъ. Да и дорога пошла повеселѣе, все озимями и яровою пашней; пространства, усѣянныя пеньками, встрѣчались рѣже, горизонтъ сдѣлался шире и чище; по сторонамъ виднѣлись церкви, помѣщичьи усадьбы, деревни. Поровнявшись съ одной усадьбой, ямщикъ взмахнулъ кнутомъ, гикнулъ, во весь опоръ промчался мимо воротъ господскаго дома и какимъ-то неестественнымъ голосомъ крикнулъ:

— Ахъ, сахарница ты наша... любе-е-зная!

— Кого это онъ такъ величаетъ?—спросилъ я Софрона Матвѣича.

— Вдова тутъ, Меропа Петровна Кучерявина, живетъ: видно, ее ублажаетъ. А что̀, Иванъ, сладка?

— Ужъ такъ сладка, такъ сладка! Мероша! Мерончикъ!

— Да ты-то изъ чего себѣ кишки надрываешь? Чай, по усамъ текло, а въ ротъ не попало?

Ямщикъ весело взглянулъ Софрону Матвѣичу въ лицо.

— Знаешь, что̀ я тебѣ, Софронъ Матвѣичъ, скажу?— молвилъ онъ.

— Сказывай, только не ври.

— Зачѣмъ врать! Намеднись везу я ее въ этомъ самомъ тарантасѣ... Только везу я, и пришла мнѣ въ голову блажь. Дай, думаю, попробую.—А знаешь ли, говорю, Меропа Петровна, что̀ я вамъ скажу?—«Сказывай», говоритъ.—Скажу я тебѣ, говорю, что хоша я и мужикъ, а въ иномъ разѣ противъ двухъ генераловъ выстою!

— Такъ-таки и сказалъ?

— Вотъ-те Христосъ! Сказалъ, знаешь, а самъ боюсь. Однако ничего, молчитъ. Только проѣхали и еще версты съ двѣ, я опять:—Право, говорю, выстою!—а самъ полегоньку съ козелъ въ тарантасъ... словно какъ ненарокомъ. И вдругъ, братецъ ты мой, какъ свистнетъ она меня по рылу кулакомъ... инда звѣзды въ глаза вступили!

— Строга, значитъ?

— Не то что строга, а не по порядку, стало-быть, дѣло повелъ...

— Кто такая эта Кучерявина?—обращаюсь я къ Софрону Матвѣичу.

— А былъ тутъ помѣщикъ... въ родѣ какъ полоумненькій. Женился онъ на ней, ну, и выманила она у него векселей, да изъ дому и выгнала. Умеръ ли, живъ ли онъ теперь—неизвѣстно, только она вдовой числится. И кто только въ этой усадьбѣ не отдыхалъ—и старъ, и младъ! Теперь на попа сказываютъ...

— Да ты постой, дай досказать-то!—снова вступился ямщикъ.—Обидно мнѣ стало, и Боже мой какъ обидно! Ѣду я и смотрѣть на нее не хочу. Постой, думаю, я-те уважу, я-те въ канаву вывалю!—А знаешь ли, говорю, Меропа Петровна, что я тебя могу въ канаву сейчасъ вывалить!—«Не смѣешь», говоритъ.—Смѣлости, говорю, теперь во мнѣ очень довольно, а ты мнѣ вотъ что̀ скажи: чѣмъ я хуже попа?—«Ну, ну, ври больше!» говоритъ.—Нѣтъ, не ври, а вѣрное дѣло, что я ничѣмъ твоего попа не хуже... даже званіе у насъ съ нимъ одно! И я изъ простыхъ, и онъ изъ простыхъ; и я сапоги дегтемъ смазываю, и онъ сапоги дегтемъ смазываетъ... И началъ я, значитъ, ее урезонивать. Ѣду и все резоны говорю: сякая ты, молъ, такая, за что̀ человѣка обидѣла! И не замѣтилъ, какъ къ городу, къ самой околицѣ подъѣхали...

— А въ городу-то кутузка, слышь, есть...

— Стой... да ты не загадывай впередъ... экой ты, братецъ, непостоянной! Ѣдемъ мы это городомъ, а я тоже *парень бывалый*, про кутузку-то слыхивалъ. Подъѣхали къ

постоялому; я ее, значитъ, за ручку, высаживаю, жду... И вдругъ, братецъ ты мой, какую перемѣну слышу! «А что̀, говоритъ, Иванъ, я здѣсь только ночь переночую, а завтра опять къ себѣ въ усадьбу—доставилъ бы ты меня!»

— Вотъ такъ важно!

— И что̀ послѣ того у насъ съ ней было! что̀ только было! Только сказывать не велѣла!

— То-то ты и помалчиваешь!

— Тебѣ-то! Тебѣ я все одно, что отцу духовному! Только ты ужъ помалчивай, Христа ради!

Въ это время дорога сдѣлала крутой загибъ, и кучерявинская усадьба снова очутилась у насъ въ глазахъ, какъ на ладони.

— Сахарница!—завылъ опять ямщикъ.

— Сахарница-то сахарница, а ужъ выжига какая — не приведи Богъ! — обратился ко мнѣ Софронъ Матвѣичъ.— Ты только погости у ней — не выскочишь! Все одно, что въ Москвѣ на Дербеновкѣ: тамъ у тебя бумажникъ оберутъ, а она тебя напоитъ да вексель подсунетъ!

— И сходитъ съ рукъ?

— Ничего. Взыщетъ деньги —и полно. Хошь опять пріѣзжай гостить, и опять допоитъ до того, что вексель подпишешь! И вездѣ ей почетъ, всѣ къ ней ѣздятъ, многіе даже руки цѣлуютъ. Теперь, слышь, генерала Голозадова обсахариваетъ.

— Это кто? Фамилія, что ли, такая?

— Древняя, сказываетъ. Еще дѣдушки его кантонистами были. Вотъ и усадьба его, вонъ на горѣ! Недавно у насъ поселился, а ужъ мужичокъ одинъ отъ него повѣсился.

— Какъ такъ?

— Да пустосвятъ онъ и кляузникъ, Голозадовъ-то. На всѣхъ прошенія пишетъ, и хоть нигдѣ ему, ни въ какихъ мѣстахъ, резону нынче не даютъ, а онъ все пишетъ. Ну, и изымалъ онъ этта мужичка въ потравѣ, и пошла у него мельница въ ходъ. Къ мировому—отказъ, на съѣздѣ—отказъ. Въ сенатъ, въ Петербургъ—тамъ прицѣпу выдумали, велѣли сызнова судить. Опять къ мировому, къ другому, за сорокъ ужъ верстъ—отказъ; на съѣздъ—отказъ; въ сенатъ—прицѣпу выдумали, въ третій разъ судить велѣли. Намеднись ѣду: на четырехъ подводахъ народъ встрѣчу ѣдетъ.— Чьи такіе?—«Генерала Голозадова, говорятъ, свидѣтелей изъ города веземъ». — Рѣшили ли дѣло-то? — «Чего, говорятъ, рѣшать: Андрей-то Герасимовъ удавился!»

— Однако, братъ, это штука!

— Да ужъ гдѣ эта кляуза заведется—пиши пропало. У насъ до Голозадова насчетъ этого тихо было, а поселился онъ—того и смотри, не подъ судъ, такъ въ свидѣтели попадешь! У всякаго, сударь, свое дѣло есть, у него одного нѣтъ; вотъ онъ и разсчитываетъ: я, молъ, на гулянкахъ-то такъ его доѣду, что онъ послѣднее отдастъ, отвяжись только!

— Ну, этого, по крайней мѣрѣ, не уважаютъ, ты говоришь?

— Покамѣстъ еще не уважаютъ; а вотъ какъ одинъ повѣсится, да другой повѣсится—не мудрено, что и уважать будутъ!

— А тамъ вонъ, влѣво, чья усадьба?

— Талалыкина господина. Онъ у насъ въ тѣ-поры, какъ наши въ Крыму воевали, предводителемъ былъ, да сапоги для ополченія ставилъ. Самъ поставщикъ, самъ и пріемщикъ. Ну, и не доглядѣлъ, значитъ, что подошвы-то у сапоговъ картонныя!

— Тсс... видно, у васъ и насчетъ отечества-то... не шибко-таки любятъ!

— Какъ не любить! любятъ, коли другого не предвидится... Только вотъ ежели сапоги или полушубки ставить... это ужъ шабашъ! Самый здѣсь, сударь, народъ насчетъ этого легкій!

Въ воздухѣ чуется близость большой рѣки. Вѣтеръ свѣжѣетъ, дорога идетъ поймою; мѣстами, сквозь купы кустовъ, показывается сверкающій изгибъ Волги. Вдали, на крутомъ берегу рѣки, то вынырнетъ изъ-за холма, то опять нырнетъ въ яму торговое село К., съ каменными домами вдоль набережной и обширнымъ пятиглавымъ соборомъ надъ самою пароходною пристанью. Исколесивши вавилонами верстъ пять по поемному берегу, мы останавливаемся, наконецъ, у перевоза, прямо противъ села. Паромъ на другой сторонѣ, то-есть по обыкновенію тамъ, гдѣ его не нужно, а между тѣмъ по случаю завтрашняго базара на луговомъ берегу уже набралась цѣлая вереница возовъ, ожидающихъ переправы. Значительное число расшивъ и судовъ покрываетъ рѣку; однѣ бросили якорь, другія медленно двигаются вверхъ по рѣкѣ съ помощью бечевы. На противоположной сторонѣ на пристани идетъ суета; нагружаются и разгружаются воза съ кладью; взбираются по

деревянной лѣстницѣ въ гору крючники съ пятипудовыми тяжестями за плечами. Воздухъ, въ буквальномъ смыслѣ этого слова, насыщенъ сквернословіемъ.

— Мать-мать-мать-ма-а-ть! — словно горохъ перекатывается отъ одного берега до другого.

— Дедюлинскіе! что̀ ротъ-то разинули! Мать-мать-мать-ма-а-ать!

— Вороти носовую! Мать-мать-ма-ать!

Поощряемый этими возгласами, нашъ ямщикъ, въ свою очередь, во всю силу легкихъ горланитъ:

— Перевозчики! заснули! Мать-мать-ма-ать!

— Лодку не вскричать ли? — обращается ко мнѣ Софронъ Матвѣичъ.

— Да, на лодкѣ скорѣе бы переѣхали.

И вотъ мой цѣломудренный спутникъ, поборникъ копилки и чистоты нравовъ, нимало не смущаясь, вопіетъ:

— Лодку подавай! Мать-мать-мать-ма-а-ть!

И вдругъ вся собравшаяся на берегу ватага обозчиковъ, словно остервенившись, возглашаетъ:

— Пар̀омъ давай! перевозъ! Мать-мать-мать-ма-а-ать!

— Сейчасъ, черти! что̀ ругаетесь! Мать-мать-ма-а-ть! — слабо доносится съ другого берега.

— Однако, братъ, насчетъ сквернословія-то у васъ здѣсь свободно! — обращаюсь я къ одному изъ обозчиковъ.

— Отъ самаго Селижарова и вплоть до Астрахани у насъ эта рѣчь идетъ!

— И понимаете другъ друга?

— Въ лучшемъ видѣ!

Наконецъ, мы убѣждаемся, что пар̀омъ отчаливаетъ отъ другого берега. Наступаетъ внезапное затишье, прерываемое лишь посвистываніемъ бурлаковъ на лошадей, тянущихъ бечеву. Страшно смотрѣть. Изможенныя, сплеченныя животныя то карабкаются на крутизну, то спускаются внизъ въ рытвины, скользятъ, падаютъ на переднія ноги и вновь вскакиваютъ подъ градомъ ударовъ кнута.

— Вотъ ты давеча увѣрялъ, — говорю я Софрону Матвѣичу: — что народъ отъ работы отбился! А это, по-твоему, не работа?

— Эти не дошли! — отвѣчаетъ онъ съ самоувѣренностью истиннаго моралиста: — да, надо полагать, и не дойдутъ никогда!

— Богъ труды любитъ! — сентенціозно вмѣшивается одинъ изъ хозяевъ-обозчиковъ, мелочной торговецъ. — Это имъ,

значитъ, отъ Бога назначено, чтобы завсегда въ трудѣ время проводить!

— Кому же это «имъ»?

— Простонародью, чернеди-съ,—отвѣчаетъ обозчикъ, не моргнувъ глазомъ.

— И прочимъ всѣмъ трудиться назначено,—поправляетъ другой обозчикъ: — да у иного достатки есть, такъ онъ удовольствіе доставить себѣ можетъ, а у нихъ достатковъ нѣтъ! Поэтому они преимущественно...

Но вотъ приволокли и паромъ, а лодки не подали. Пришлось переправляться вмѣстѣ съ возами. Покуда паромъ черепашьимъ ходомъ переплываетъ на другую сторону, между переправляющимися идетъ оживленный разговоръ:

— Сапогъ въ заминкѣ (эта мѣстность славится производствомъ громаднаго количества сапоговъ)! совсѣмъ сапогъ остановился!—говоритъ одинъ.

— Сердитыя времена настали! — отзывается другой. — Сочти, сколько теперь народу безъ хлѣба осталось!

— Что, видно, въ чувство пришли! — иронически замѣчаетъ Софронъ Матвѣичъ.

— Будешь чувствовать, почтенный, какъ ѣсть нечего.

— Зачѣмъ же прежде не чувствовали?

— Чувствовали и прежде, да ничего такого не было... Линія, значитъ, тогда была одна, а теперь—другая!

— Да что же такое случилось, что здѣшній сапогъ остановился?—любопытствую я.

— Аршавскій сапогъ въ ходъ пошелъ—вотъ что!

— Какъ будто это причина! Почему же варшавскій сапогъ перебилъ дорогу вашему, а не вашъ варшавскому?

— Пошелъ аршавскій сапогъ въ ходъ — вотъ и вся причина!

— Ловки ужъ очень они стали! — объясняетъ Софронъ Матвѣичъ: — прежде хоть кардону не жалѣли, а нынче и кардону жаль стало: думали, вовсе безъ подошвы сойдетъ! Анъ и не угадали!

— Много ты смыслишь!—вмѣшивается изъ толпы недовольный голосъ.

— Ты и больше моего смыслишь, да не все сказываешь!

— Нечего сказывать-то! Извѣстно, отъ начальства поддержки не видимъ—вотъ и бѣдствуемъ!

— По-твоему, значитъ, всѣхъ надо заставить въ вашихъ сапогахъ ходить?

— Зачѣмъ заставлять! Тебѣ, къ примѣру, и въ лаптяхъ

ходить—въ самую препорцію будетъ! А надо аршавскій сапогъ запретить—вотъ что!

— Какія же такія права ты для этой выдумки отыскалъ?

— А такія права, что мы сапожники старинные, извѣчные. И отцы, и дѣды наши изстари землю покинули, и никакого у нихъ, кромѣ сапога, занятія не было. Стало-быть, съ голоду намъ теперича, по-твоему, помирать?

— А вы бы не фальшивили. По чести бы дѣлали.

— И все-таки скажу тебѣ: говоришь ты, ровно балалайка бренчишь, а ничего въ нашемъ дѣлѣ не смыслишь. У насъ колесо-то съ какихъ поръ заведено? Ты знаешь ли?

— Здѣшній житель—какъ не знать! Да не слишнимъ ли шибко завертѣлось оно у васъ, колесо-то это? Вамъ только бы сбыть товаръ, а про то, что другому, за свои деньги, тоже въ сапогахъ ходить хочется, вы и забыли совсѣмъ! Сказалъ бы я тебѣ одно слово, да боюсь, не обидно ли оно для тебя будетъ!

— Слово—брехъ; и я, пожалуй, слово знаю...

— Знаешь, такъ говори!

— Ты свое прежде скажи!

— Нѣтъ, ты мое угадай, а я твое слово давно угадалъ! Намъ, молъ, умнымъ, чай надо пить, а вы, дураки, невелики бары: и за деньги босикомъ проходите!

Разговоръ въ этомъ тонѣ и духѣ продолжался почти во все время переправы. Какъ я ни старался вникнуть въ смыслъ этого сапожнаго кризиса, но изъ перекрестныхъ мнѣній не могъ извлечь никакого другого практическаго вывода, кромѣ того, что «отъ начальства поддержки нѣтъ», что «варшавскій сапогъ истребить надо», и что «старинным сапожникамъ слѣдуетъ предоставить вести заведенное колесо на всей ихъ волѣ». Эти виды и предположенія обсуждались на всѣ лады, перемежаясь вздохами, ахами, напоминаніями о сердитыхъ временахъ и извѣстіями о новыхъ пожарахъ, происшедшихъ въ разныхъ деревняхъ по случаю Николина дня.

— Каюрово-то, слышь, выгорѣло!

— А въ нашей сторонѣ Мокряги опять до тла сгорѣли!

. . . . . .

Публика въ каютѣ перваго класса была немногочисленна, всего человѣкъ семь-восемь. Изъ К. ѣхала депутація отъ дворянъ, съ цѣлью, какъ потомъ оказалось, ходатайствовать «въ губерніи» объ удаленіи изъ уѣзда одного изъ мировыхъ судей за вредный образъ мыслей и строптивый нравъ. Два

помѣщика отправлялись въ Т., чтобы ликвидировать, и въ ожиданіи минуты, когда нужно будетъ предстать передъ очи старшаго нотаріуса, пропускали по маленькой и съ какимъ-то блаженнымъ видомъ сообщали другъ другу предполагаемые результаты ликвидаціи. Двѣ заспанныя личности уныло слонялись между диванами и отъ времени до времени вопіяли: «господа! въ табельку! по маленькой!» Наконецъ, тутъ же сидѣли: педагогъ и адвокатъ. Педагогъ имѣлъ видъ скорбный, какъ будто даже здѣсь, на пароходѣ, вдали отъ классической гимназіи, его угнетала мысль: нельзя ли кого-нибудь притѣснить или огорошить такимъ вопросомъ, который сразу бы поставилъ человѣка въ безпомощное положеніе? Напротивъ того, отъ адвоката такъ и отдавало внутреннимъ ликованіемъ. Лицо его сіяло, и онъ съ какимъ-то безапелляціоннымъ легкомысліемъ, быстро и рѣшительно выбрасывалъ изъ себя одинъ афоризмъ за другимъ, повидимому, даже не допуская мысли, чтобы можно было что-нибудь ему возразить.

— Въ гражданскихъ дѣлахъ нѣтъ безотносительной истины,—говорилъ адвокатъ, продолжая начатый до прихода моего разговоръ.—Когда мнѣ поручаютъ веденіе процесса, я не имѣю никакой надобности заглядывать въ совѣсть моего довѣрителя. Я говорю себѣ: онъ начинаетъ дѣло, стало-быть, онъ искренно думаетъ, что онъ правъ. Анализировать его побужденія—значило бы возбуждать въ его совѣсти такія сомнѣнія, которыя, быть-можетъ, и не будутъ оправданы дальнѣйшимъ ходомъ дѣла. Поэтому я ставлю вопросъ гораздо проще; я спрашиваю себя: можетъ ли поручаемый мнѣ процессъ быть выигранъ, или нѣтъ — и только. И согласно съ тѣмъ или другимъ рѣшеніемъ этого вопроса—принимаю веденіе процесса или не принимаю его.

— Но вѣдь такимъ образомъ и адвокатъ противной стороны... вѣдь и онъ, пожалуй, можетъ имѣть подобный же упрощенный взглядъ на юридическую истину?—возразилъ педагогъ.

— Не только можетъ, но и обязанъ-съ. Въ этомъ отношеніи юридическая практика требуетъ, чтобы стороны признавали другъ за другомъ самую широкую свободу. Если-бъ не было полной свободы воззрѣній на гражданскую истину, не существовало бы цѣлой громады сочиненій по каждому вопросу гражданскаго права, не было бы, наконецъ, и самаго процесса. Въ вопросахъ гражданскаго права все зависитъ отъ обстановки, умѣнья пользоваться ошибками про-

тивника и отъ способности дѣлать именно тѣ выводы, которые наиболѣе отвѣчаютъ интересамъ кліента. Если мое дѣло обставлено прочно, если я не лишенъ дара противопоставлять выводамъ моего противника другіе, еще болѣе логичные выводы, и если при этомъ я умѣю одни обстоятельства оставить въ тѣни, а на другія бросить яркій свѣтъ—я заранѣе могу быть увѣренъ, что дѣло мое будетъ выиграно. Но не слѣдуетъ думать, что это вещь легкая. Независимо отъ ума, ловкости, знанія законовъ и въ особенности кассаціонныхъ рѣшеній, тутъ необходима и извѣстная доля самопожертвованія. Кліентъ требователенъ, господа, и часто даже несправедливъ и горячъ. Вотъ о чемъ не слѣдуетъ забывать при обсужденіи дѣятельности адвоката!

— Ну, да ужъ это само собой. Умѣешь денежки брать—умѣй и шпаги глотать, не прогнѣвайся!—безцеремонно вмѣшивается одинъ изъ депутатовъ по части истребленія вредныхъ мыслей.

— Если вы подъ этимъ разумѣете гонораръ, то считаю нелишнимъ объяснить вамъ, что размѣръ его исключительно обусловливается высшимъ или низшимъ уровнемъ юридическаго развитія общества. Высокое вознагражденіе за адвокатскую услугу есть налогъ на юридическое невѣжество общества—и ничего болѣе.

— Ну, батенька, про юридическое или тамъ другое развитіе вы намъ не разсказывайте! Знаемъ мы васъ, мудрецовъ! Не тамъ подписалъ «къ сему» да не на той гербовой бумагѣ подалъ... вотъ тебѣ и юридическое развитіе!

— Съ одной стороны, въ послѣднее время все это значительно упрощено, и нынче меньше, нежели когда-нибудь, мы вправѣ отговариваться невѣдѣніемъ законовъ. Съ другой стороны, повѣрьте, что если-бъ законодатель не оградилъ гражданскаго процесса извѣстными формальностями, то шансы на достиженіе юридической истины, конечно, были бы еще болѣе сомнительными, нежели даже въ настоящее время. Tout se lie, tout s'enchaîne dans ce monde, сказалъ одинъ знаменитый философъ, и сказалъ великую истину. Отмѣните, напримѣръ, апелляціонные и кассаціонные сроки—и передъ вами хаосъ, передъ вами бездна, на поверхность которой навѣрное не всплыветъ ни одного рѣшеннаго дѣла!

— Но позвольте, однако-жъ! Какъ же это такъ: въ гражданскихъ дѣлахъ нѣтъ истины?! Гм!.. нѣтъ истины?!—недоумѣвалъ педагогъ.

— Я не говорю: нѣтъ истины; я говорю только: нѣтъ *безотносительной* истины. Если угодно, я поясню вамъ это примѣромъ. Недавно у меня на рукахъ было одно дѣло по завѣщанію. Купецъ отказалъ женѣ своей имѣніе, но при этомъ употребилъ въ завѣщаніи слѣдующее выраженіе: «женѣ моей, такой-то, за ея любовь, отказываю *въ вѣчное владѣніе* то-то и то-то». Какъ, по вашему мнѣнію, слѣдуетъ ли считать жену покойнаго собственницею завѣщаннаго имѣнія?

— Кажется, что слѣдовало бы... а впрочемъ...

— Чего «впрочемъ»! Просто чортъ ногу переломитъ— и все тутъ!

— Вотъ видите, вы сомнѣваетесь сами. Это ужъ признакъ очень важный. Вы говорите: «кажется, слѣдуетъ, а впрочемъ...» Не доказываетъ ли это съ осязательностью неопровержимѣйшей истины, что въ гражданскихъ вопросахъ нѣтъ ничего безотносительно вѣрнаго? Тѣмъ не менѣе, въ данномъ случаѣ, я остановился на той мысли, что кліентку мою *слѣдуетъ* признать собственницею завѣщаннаго. Я сказалъ себѣ: моя кліентка желаетъ быть собственницею— ma foi, постараемся устроить дѣло такъ, чтобъ она была удовлетворена. И чтобъ достичь этого результата, я употребилъ довольно оригинальный пріемъ. Я обратился къ вопросу: что̀ такое завѣщаніе?—и на этомъ простомъ вопросѣ, играя имъ, такъ сказать, во всѣхъ направленіяхъ, я въ буквальномъ смыслѣ слова кругомъ пальца обвертѣлъ все дѣло. Въ самомъ дѣлѣ, господа, что̀ такое завѣщаніе?— завѣщаніе, говорите вы, есть выраженіе воли завѣщателя. Это ясно, и съ этимъ вполнѣ согласенъ и я. Но въ чемъ преимущественно выражается воля завѣщателя: въ буквѣ ли завѣщанія, или въ смыслѣ его? Опять вопросъ, на который, я надѣюсь, вы отвѣтите: конечно, не въ буквѣ, а въ смыслѣ, и даже не въ томъ внѣшнемъ смыслѣ, который водитъ неопытною рукою какого-нибудь невѣжественнаго купца, а въ томъ интимномъ смыслѣ, который соприсутствуетъ его мысли, его, такъ сказать, намѣренію! Утверждать противное—значитъ допускать въ судебную практику прецедентъ въ высшей степени странный, отчасти даже скабрезный. Итакъ, до сихъ поръ мы были съ вами согласны. Но вотъ вы приступаете къ самому разбору завѣщанія и говорите: тѣмъ не менѣе *вѣчное* владѣніе невозможно. Вѣчна собственность, говорите вы, но владѣніе, по самому существу своему, есть нѣчто временное, почти эфе-

мерное. Прекрасно, отвѣчаю я, я первый соглашаюсь съ вами, я даже иду далѣе васъ и утверждаю, что совмѣстное существованіе такихъ представленій, какъ вѣчность и владѣніе, есть не что иное, какъ неестественнѣйшій конкубинатъ. Допустить подобный конкубинатъ, говорю я, значило бы потрясти самое основаніе собственности, а кто же изъ насъ не остановится въ ужасѣ передъ подобнымъ предположеніемъ! Mais entendons-nous, messieurs! не будемте торопливы, постараемтесь проникнуть въ самое сердце вопроса—и лишь тогда рѣшимтесь произнести ему окончательный приговоръ! А чтобы легче достигнуть этого, я попрошу васъ припомнить исходный пунктъ, изъ котораго вышло дѣло, подавшее поводъ для нашихъ разногласій. Припоминаемъ—и находимъ, что этотъ исходный пунктъ таковъ: завѣщаніе есть выраженіе воли завѣщателя. Ни больше, ни меньше. Опредѣленіе это до такой степени вѣрно, что тутъ нельзя ни убавить, ни прибавить ни одного слова, ни одной буквы, ни одной іоты. Завѣщаніе есть выраженіе воли завѣщателя—этимъ все сказано. Затѣмъ намъ ничего другого не остается, какъ идти далѣе и постараться отыскать ту *волю* завѣщателя, которой выраженіемъ должно служить его завѣщаніе. Чтобъ отыскать эту волю, мы обращаемся, какъ уже сказано выше, не къ буквѣ завѣщанія, а къ внутреннему смыслу его. Къ тому смыслу, который несомнѣнно соприсутствовалъ завѣщателю во все время, употребленное имъ на составленіе завѣщанія, къ тому смыслу, который былъ ясенъ и для лицъ, подписавшихъ завѣщаніе, въ качествѣ свидѣтелей, и для жены завѣщателя. И вотъ здѣсь-то, на первыхъ порахъ, мы встрѣчаемся съ словами: *вѣчное* владѣніе! Кто писалъ эти слова, милостивые государи? Ихъ писалъ человѣкъ, съ одной стороны, не искусившійся въ юридическихъ тонкостяхъ, но который, съ другой стороны, несомнѣнно бы содрогнулся, если-бъ понималъ всю необъятность бездны, раздѣляющей такія понятія, какъ «вѣчность» и... «владѣніе»! Эти слова писалъ простой купецъ, который не имѣлъ въ жизни иного культа, кромѣ культа собственности. Невѣрная, быть-можетъ, изможденная болѣзнью рука его (завѣщаніе было писано на одрѣ смерти, при общемъ плачѣ друзей и родныхъ... когда же тутъ было думать о соблюденіи юридическихъ тонкостей!) писала выраженіе, составляющее нынѣ предметъ споровъ, но бодрая его мысль несомнѣнно была полна другимъ выраженіемъ,—выраженіемъ, насчетъ котораго, къ

счастію для человѣчества, не можетъ быть двухъ разныхъ мнѣній. Нужно ли говорить здѣсь, какое это выраженіе? Я, съ своей стороны, находилъ бы это излишнимъ, такъ какъ оно и безъ того, конечно, вертится у каждаго на языкѣ. Но если ужъ непремѣнно нужно произнести его, ежели этого во что бы ни стало требуетъ противная сторона—извольте, я не отступлю и передъ этою обязанностью! Я произнесу это интересующее васъ выраженіе, произнесу его скромно, но увѣренно, безъ ненужнаго паѳоса, но во всеуслышаніе! Выраженіе это, которое такъ сильно васъ интригуетъ, господинъ повѣренный противной стороны... это страшное для васъ выраженіе—есть СОБСТВЕННОСТЬ!

Подъ конецъ адвокатъ, очевидно, забылся и повторилъ недавно сказанную имъ на судѣ рѣчь. Онъ дѣлалъ такъ-называемые красивые жесты и даже наскакивалъ на педагога, мня видѣть въ немъ противную сторону. Когда онъ умолкъ, въ каютѣ на нѣсколько минутъ воцарилось всеобщее молчаніе; даже ликвидаторы какъ будто усомнились въ правильности задуманныхъ ими ликвидацій и, съ безпокойствомъ взглянувъ другъ на друга, разомъ, для храбрости, выпили по большой.

— Да-съ, батенька, ежели такимъ манеромъ... да ежели при этомъ еще ночнымъ временемъ... это точно, что безъ мыла куда хочешь влѣзть можно!—процѣдилъ депутатъ-поимѣщикъ, когда улеглось общее изумленіе, произведенное внезапнымъ пролитіемъ словеснаго дождя.

— И выиграли-съ?—въ свою очередь, какъ-то отрывисто спросилъ педагогъ.

— Выигралъ-съ. Но, съ другой стороны, я очень хорошо понимаю, что на дѣло моей довѣрительницы можно было взглянуть и съ иной точки зрѣнія (поощренный успѣхомъ, адвокатъ до того разыгрался, что съ самою любезною откровенностью, казалось, всѣмъ и каждому говорилъ: я шалопай очень разносторонній, господа! я и не такія штуки продѣлать согласенъ!). Какъ я уже имѣлъ честь объяснить, господа, главная обязанность адвоката относительно поручаемыхъ ему дѣлъ—это обстановка, ловкость и умѣнье освѣтить предметъ тѣмъ свѣтомъ, который наиболѣе благопріятствуетъ интересамъ его кліента. Въ подтвержденіе этой мысли я могъ бы привести вамъ множество разнообразнѣйшихъ случаевъ, но остановлюсь на одномъ, подобномъ сейчасъ же разсказанному мной дѣлу, въ которомъ я

игралъ уже роль не отвѣтчика, а истца. Точь-въ-точь такой же купецъ и точь-въ-точь такое же завѣщаніе. Но тутъ я, конечно, уже остерегся отъ обращенія къ вопросу, что такое духовное завѣщаніе, а прямо поставилъ дѣло на почву строгой законности, на почву несовмѣстимости понятія о владѣніи съ понятіемъ о собственности.—Господа! говорилъ я, не будемъ обманываться! Взглянемъ на предметъ спора прямо, безъ адвокатскихъ увертокъ и въ особенности безъ такъ-называемыхъ цвѣтовъ краснорѣчія! Передъ нами два выраженія: «владѣніе» и «собственность». Чтобы опредѣлить ихъ, намъ стоитъ только заглянуть вотъ въ эту книгу (я поднимаю десятый томъ и показываю публикѣ), и мы убѣдимся, что владѣніе, какими бы эпитетами мы ни сдабривали его, не только не однородно съ собственностью, но даже исключаетъ послѣднюю. Признаки того и другого до такой степени различны, и различіе это такъ наглядно, почти осязаемо, что никто не вправѣ его игнорировать. Здѣсь больше, нежели гдѣнибудь, умѣстна угроза закона: никто не можетъ отговариваться невѣдѣніемъ закона. Допустить смѣшеніе въ такомъ основномъ вопросѣ—значитъ допустить, чтобы обществу постоянно угрожала очень существенная опасность. Единственный оплотъ противъ подобной опасности—это судъ, который, конечно, и не допуститъ, чтобы законъ былъ обойденъ и намѣренія законодателя попраны. Къ нему мы и обращаемся; къ его помощи мы взываемъ, чтобы оградить оскорбленную правду. Намъ говорятъ, что *вѣчное* владѣніе и собственность—одно и то же; но, спрашиваю я васъ, что же станется съ священнымъ принципомъ собственности, если мы допустимъ подобную юридическую ересь? Намъ говорятъ еще, что завѣщатель былъ невѣжественъ, что онъ не получилъ юридическаго образованія, что онъ только *не умѣлъ* различить «вѣчнаго владѣнія» отъ «собственности», но что мысль его несомнѣнно тяготѣла къ сей послѣдней. Но остережемся, милостивые государи! Спросимъ себя прежде всего, имѣемъ ли мы право отдавать на поруганіе невѣжеству самыя дорогія основы нашей гражданственности! До сихъ поръ невѣжество считалось однимъ изъ неудобствъ общежитія; теперь насъ хотятъ увѣрить, что это—привилегія! Привилегія—въ отношеніи къ чему?—въ отношеніи къ священнѣйшему изъ всѣхъ правъ человѣческихъ, къ праву собственности! Не чувствуете ли вы какую-то неловкость при подобномъ не-

слыханномъ притязаніи? Не чувствуете ли вы себя незащищенными, свою жизнь—отданною на произволъ всевозможнымъ случайностямъ? Невѣжество имѣетъ привилегію попирать собственность, невѣжество имѣетъ привилегію игнорировать ее, невѣжество имѣетъ привилегію упразднить ее и на мѣсто ея поставить нѣчто фантастическое и призрачное! Не правда ли, какая кровавая иронія? Къ счастью, у насъ есть судъ, который не допуститъ этого! Вмѣстѣ съ нимъ мы станемъ на стражѣ у входа величественнаго храма собственности и скажемъ: юридическая ересь не имѣетъ права войти сюда! Господа! не будемъ обманывать себя! Свойства юридическихъ ересей таковы, что они неслышно проникаютъ въ самыя сокровенныя святилища и, разъ проникнувъ, утверждаются тамъ навсегда. Кто знаетъ, быть-можетъ, благодаря этимъ неслышнымъ вторженіямъ, уже колеблется и тотъ всѣмъ намъ дорогой храмъ собственности, о которомъ я сейчасъ говорилъ и на стражѣ котораго мы стоимъ... Быть-можетъ, въ то самое время, когда мы собираемъ рать на защиту его,—его уже нѣтъ... онъ потрясенъ! Вотъ почему, въ данномъ случаѣ, я прошу, чтобы за выраженіемъ «собственность» было оставлено то чистое, строгое представленіе, которое имѣлъ о немъ самъ законодатель. Требуя этого, я не высказываю никакой дерзкой самонадѣянности, а только, по мѣрѣ моихъ слабыхъ силъ, защищаю общество отъ грозящей ему опасности! Я кончилъ, господа.

Всѣ тоскливо переглянулись. Казалось, надъ всѣми тяготѣла мысль: да, этотъ обчиститъ! хоть и не яко разбойникъ, а все-таки... Педагогъ потиралъ себѣ колѣнки; помѣщики-депутаты переглядывались между собой, какъ бы говоря: ужъ на что мы ловки, а противъ этого, братъ,—ау! Ликвидаторы, какъ встрепанные, выбѣжали изъ каюты. Послѣдовалъ за ними на палубу и я. Тамъ, въ самомъ уголку носовой части, спиной къ вѣтру, расположились двое Хрисашекъ, повидимому, еще не выросшихъ въ мѣру настоящаго Хрисашки, и, разложивши на колѣняхъ синюю сахарную бумагу, раздирали руками вяленую воблу. Ликвидаторы подбѣжали къ нимъ и начали шептаться, по временамъ возвышая голосъ. Отрывки этого совѣщанія долетали и до меня.

— Въ судъ—чтобы ни-ни! Аблакатовъ—ни-ни!—восклицали ликвидаторы.—Вести дѣло на чистоту!

— Зачѣмъ аблакатовъ! На что̀ лучше, коли-ежели дѣло на чистоту!—успокаивалъ одинъ Хрисашка.

— Чистое-то дѣло — ровно какъ яичко облупленное! И глядѣть-то на него весело!—присовокуплялъ другой Хрисашка.

Успокоенные ликвидаторы, потребовавъ на бѣгу еще графинъ очищенной, вновь скрылись въ каюту, и я за ними. Адвокатъ окончательно разыгрался и сыпалъ случаями изъ своей юридической практики. Онъ весь сіялъ: изъ каждой поры его организма, словно отъ свѣтящагося червячка, исходилъ загадочный свѣтъ.

— Вы удивляетесь, вы восклицаете: вотъ такъ «штука»!— говорилъ онъ, когда мы вошли:—я тоже, въ свою очередь, скажу: да это «штука», но въ томъ лишь смыслѣ, что здѣсь слово «штука» означаетъ побѣду знанія надъ невѣжествомъ, ума надъ глупостью, таланта надъ бездарностью. Недавно въ моей практикѣ былъ слѣдующій оригинальный случай, который я, можно сказать, не доводя до суда, устроилъ въ пользу моей кліентки. Является ко мнѣ дама и говоритъ, что у нея есть вексель отъ одного лица, уже не находящагося въ живыхъ. Мнѣ стоило бросить одинъ только взглядъ на эту даму, чтобы понять, что тутъ есть что-нибудь неладное. И въ самомъ дѣлѣ, взялъ въ руки вексель — чортъ знаетъ что! Подпись не подпись, а такъ какія-то каракули, навараканныя и вкривь, и вкось.—Это собственноручная подпись должника?—спрашиваю я.—«Да, это его подпись». — Но это *обыкновенная* его подпись? *Всегда* онъ подписывался *такимъ образомъ?*—«Нѣтъ... да... болѣзнь...»—Слѣдовательно-съ?..—Баба мнется, краснѣетъ, блѣднѣетъ...—Достаточно, говорю я, я не желаю искушать вашу совѣсть. Я не знаю, выиграется ли *это* дѣло, но знаю, что *подобныя* дѣла выигрываются.—Затѣмъ я условливаюсь насчетъ гонорара, подаю вексель ко взысканію, а черезъ недѣлю уже удостаиваюсь посѣщенія наслѣдника должника. — «Вы взыскиваете съ меня по векселю, говоритъ онъ мнѣ, но это документъ фальшивый; вотъ настоящія и притомъ современныя документу подписи должника».—Не смѣю съ вами спорить, отвѣчаю я, но согласитесь, что ежели дѣлать фальшивый документъ, то гораздо выгоднѣе поддѣлать подпись какъ слѣдуетъ, нежели такъ, какъ она въ настоящемъ случаѣ сдѣлана. Здѣсь самое неряшество подписи доказываетъ, что она дѣйствительная.— «Словомъ сказать, отвѣчаетъ онъ мнѣ, если бы подпись была хорошо поддѣлана, вы бы доказывали, что нельзя подписаться подъ чужую руку такъ отчетливо; теперь же,

когда подпись похожа чортъ знаетъ на что̀, вы говорите, что это-то именно и доказываетъ ея подлинность?»—Не смѣю съ вами спорить, говорю я, но мое убѣжденіе таково, что эта подпись подлинная.—«Позвольте-съ! Ну, предположимъ! Ну, допустимъ, что подпись настоящая; но развѣ вы не видите, что она сдѣлана въ безсознательномъ положеніи, и что вашъ документъ во всякомъ случаѣ безденежный?» — Опять-таки не смѣю спорить съ вами, но позволю себѣ замѣтить, что все это требуетъ доказательствъ и сопряжено съ нѣкоторымъ рискомъ...—Затѣмъ мы пожимаемъ другъ другу руки и разстаемся, какъ джентльмены. Черезъ недѣлю онъ, однако же, вновь удостаиваетъ меня посѣщеніемъ. «Слушайте, говоритъ, я человѣкъ спокойный; въ судахъ никогда не бывалъ и теперь долженъ судиться, нанимать адвокатовъ... поймите, какъ это непріятно!»—Совершенно понимаю-съ, но интересы моихъ кліентовъ для меня священны, и я, къ сожалѣнію, ничего не могу сдѣлать для вашего спокойствія.—«Позвольте! Если бы ваша кліентка сдѣлала уступку... если бы, напримѣръ, половину... Вѣдь задаромъ и половину получить недурно... не правда ли, недурно!»—Правда-съ; но извините, я не имѣю права даже останавливаться на подобномъ предположеніи; это была бы правда, если-бъ было *доказано,* что деньги, которыя вы изволите предлагать на мировую, *дѣйствительно* пріобрѣтаются *задаромъ,* а для меня это далеко не ясно.—«Ну, такъ какъ же? Нельзя, стало-быть... задаромъ-то?»—Извольте, я сдѣлаю, что̀ отъ меня зависитъ, я переговорю съ моей довѣрительницей...—И черезъ нѣсколько дней, дѣйствительно, устраиваю дѣло къ общему удовольствію!..

— То-есть, взяли деньги задаромъ? — отрубилъ одинъ изъ депутатовъ.

— Повторяю: я не считаю себя вправѣ тяготѣть надъ совѣстью моихъ кліентовъ. Въ настоящемъ случаѣ моя роль была ясна: облегчить пути для мирнаго соглашенія, и я достигъ этого. Исполнивши это, я могъ бы счесть мои обязанности оконченными, но я пошелъ даже дальше. Во вниманіе къ тому, что противная сторона предупредительно избавила меня отъ грустной обязанности ходатайствовать предъ судомъ, я далъ ей полезный совѣтъ.—Берегитесь!—сказалъ я наслѣднику должника:—передъ вами еще цѣлыхъ десять лѣтъ, въ продолженіе которыхъ васъ могутъ тревожить подобными документами!

Это было сказано такъ ясно, отчетливо и вразуми-

тельно, что депутатъ-помѣщикъ уже безъ всякой церемоніи запѣлъ:

— Но я-я-ко разбо-ойникъ...

Однако-жъ педагогъ не унялся и рискнулъ возразить.

— Позвольте,—сказалъ онъ:—не лучше ли возвратиться къ первоначальному предмету нашего разговора. Признаться, я больше насчетъ дѣточекъ-съ. Я воспитатель-съ. Есть у насъ въ заведеніи каѳедра гражданскаго права, ну и, разумѣется, тутъ на первомъ мѣстѣ вопросъ о собственности. Но ежели возможенъ изложенный вами взглядъ на юридическую истину, если онъ, какъ вы говорите, даже обязателенъ въ юридической практикѣ... что̀ же такое послѣ этого собственность?

Вопросъ этотъ до такой степени изумилъ адвоката своею наивностью, что онъ смѣрилъ своего возражателя съ головы до ногъ.

— Собственность! — отвѣтилъ онъ докторальнымъ тономъ: — но кто же изъ насъ можетъ имѣть сомнѣніе насчетъ значенія этого слова! Собственность—это краеугольный камень всякаго благоустроеннаго общества-съ. Собственность — это объектъ, въ которомъ человѣческая личность находитъ наиудобнѣйшее для себя проявленіе-съ. Собственность—это та вещь, при несуществованіи которой человѣческое общество рисковало бы превратиться въ стадо дикихъ звѣрей-съ. Я полагаю, что для «дѣточекъ» этихъ опредѣленій совершенно достаточно!

Сказавъ это, онъ, не торопясь, всталъ съ мѣста и вышелъ на палубу.

Усталый послѣ безсонной ночи, проведенной въ тарантасѣ, я прилегъ на диванъ съ намѣреніемъ заснуть, но выполнить это намѣреніе не представлялось никакой возможности. Съ уходомъ адвоката, въ каютѣ сдѣлалось какъ-то вольнѣе, какъ будто отсутствіе его всѣмъ развязало языки.

— Ушелъ! — воскликнулъ одинъ изъ депутатовъ. — И чортъ его знаетъ... вотъ уже именно чортъ его знаетъ!

— Необыкновенные нынче люди пошли, — отозвался другой депутатъ:—глаза у него словно свёрла, языкъ суконный... что̀ захочетъ, то̀ на тебя и наплететъ!

— Долго ли наплести!

— Вотъ хоть бы сейчасъ. Говорилъ-это, говорилъ... Только-что вотъ уцѣпишься за что-нибудь—глядь, онъ опять, шельма, изъ рукъ выскочилъ!

— И какъ онъ это просто сказалъ: налогъ, дескать, на ваше невѣжество! До сихъ поръ казна налоги собирала, а нынче, изволите видѣть, новые сборщики проявились!

— То ли дѣло прежніе порядки! Придешь, бывало, къ секретарю, сунешь ему барашка въ бумажкѣ: плети, не торопясь!

— А покуда онъ плететъ—ты переѣзжай изъ усадьбы въ усадьбу!

— Нѣтъ, этотъ и изъ-за тридевять земель выколупаетъ! Отъ него ни горами, ни морями — ничѣмъ не загородишься!

Съ своей стороны, педагогъ былъ неутѣшенъ.

— Теперича каѳедра гражданскаго права... какъ тутъ учить? Какъ я скажу дѣточкамъ, что въ гражданскомъ процессѣ нѣтъ безотносительной истины? Вѣдь дѣточки—умныя! А какъ же, скажутъ, ты давеча говорилъ, что собственность есть краеугольный камень всякаго благоустроеннаго общества!

Одинъ изъ заспанныхъ праздношатающихся воспользовался этимъ смутнымъ настроеніемъ общества и, остановившись противъ педагога, сказалъ:

— Слушайте! Давайте, ради Христа, въ преферансъ играть!

Педагогъ съ минуту колебался, но потомъ махнулъ рукой и согласился. Его примѣру послѣдовали и депутаты. Черезъ пять минутъ въ каютѣ были раскинуты два стола, за которыми шла игра, перемежаемая бесѣдой по душѣ.

— А вы слышали, что лѣкарь-то нашъ женился?

— Не можетъ быть! Неужто на предводительской француженкѣ?

— Вѣрно изволили угадать. Шестого числа у Петра Петровича въ Вороновѣ и свадьба была.

— Ну, едва ли, однако-жъ, нашъ эскулапъ въ разсчетѣ останется!

— Чего въ разсчетѣ! Сразу такъ и разыгралъ пословицу: по усамъ текло, въ ротъ не попало!

— Что вы!

— Такая тутъ у насъ вышла исторія! такая исторія! Надо вамъ сказать, что еще за недѣлю передъ тѣмъ встрѣчаетъ меня Петръ Петровичъ въ городѣ и говоритъ: «пріѣзжай шестого числа въ Вороново, я Машу замужъ выдаю!» Ну, я, знаете, изумился, потому ничего этакого не видно было...

— Помилуйте! Какъ же не видно было! Да она съ эскулапомъ-то, говорятъ, ужъ давненько!..

— Говорить-то говорятъ, а кто видѣлъ? Конечно, можетъ-быть, она и приголубливала его, но чтобы дойти до серьезнаго — ни-ни! Не такая это женщина, чтобъ стала изъ-за пустого каприза вѣрнымъ положеніемъ рисковать. Ну-съ, такъ слушайте. Пріѣзжаю я передъ вечеромъ, а они ужъ и въ церковь совсѣмъ готовы. Да, надо вамъ, впрочемъ, сказать, что Петръ Петровичъ передъ этимъ въ нашу вѣру ее окрестилъ, чтобы послѣ, знаете, разговоровъ не было... Ну-съ, въ церковь... изъ церкви... шабашъ, значитъ! Въ десять часовъ ужинъ. Весела она, обольстительна—какъ никогда! Кружева, блонды, атласъ, брильянты; ну, думаю, кого-то ты, голубушка, будешь своими парюрами въ нашемъ городишкѣ прельщать? Хорошо. Не успѣли мы отужинать, а у нихъ ужъ и экипажи готовы: молодые—къ себѣ въ городъ, Петръ Петровичъ — въ Москву. И представьте, среди тостовъ, вдругъ встаетъ нашъ эскулапъ и провозглашаетъ: «господа! до сихъ поръ шли тосты, такъ сказать, офиціальные; теперь я предлагаю мой *личный*, задушевный тостъ: здоровье отъѣзжающаго!» Это Петра Петровича-то!

— Отъѣзжающаго! ха-ха!

— Признаться, я тогда же подумалъ: не прогадай, mon cher! какъ бы не пришлось тебѣ пить за здоровье пріѣзжающаго... Ну, да это такъ, къ слову... Часовъ этакъ въ одиннадцать ушли молодые переодѣться на дорогу, и Петръ Петровичъ за ними слѣдомъ. Черезъ полчаса возвращается эскулапъ: щегольская жакетка, сумка черезъ плечо. Понимаете, весь костюмъ для него Петръ Петровичъ въ Москвѣ заказывалъ... Только сидимъ мы еще полчаса—ни Марьи Павловны, ни Петра Петровича! Ну, думаю, житейское дѣло: прощаются! Однако проходитъ и еще время: эскулапъ мой начинаетъ уже на часы поглядывать (Петръ Петровичъ ему великолѣпный хронометръ подарилъ)! Стало ужъ и мнѣ его жалко; я, знаете, спроста и говорю лакею: голубчикъ, попросилъ бы ты Петра Петровича къ намъ! «Да они, говоритъ, ужъ съ часъ времени съ Марьей Павловной въ Москву уѣхали».

— Вотъ такъ случай!

— Ну, мы всѣ, кто тутъ былъ, — поскорѣе за шапки. А ужъ онъ какъ до города добрался—этого не умѣю сказать!

— Однако-жъ!.. исторія!

— И представьте, только тѣмъ и попользовался, что хронометръ да двѣ пары платья получилъ!

— А не дуракъ вѣдь!

— Какой же дуракъ! Какія въ нынѣшнемъ году, во время рекрутскаго набора, симфоніи разыгрывалъ—геніальнѣйшій человѣкъ-съ! А тутъ вотъ слѣпота нашла.

— Да, знаете, немудрено и опростоволоситься-то. Вѣдь если-бъ онъ съ купцомъ дѣло имѣлъ, а то вѣдь Петръ Петровичъ... вѣдь благороднѣйшій человѣкъ-съ!

— Такъ-то такъ... слова нѣтъ, Петръ Петровичъ...

— Если онъ ему обѣщалъ... положимъ, десять или пятнадцать тысячъ... ну, какимъ же образомъ онъ этакому человѣку вѣры не дастъ? Вотъ такъ исторія! Ну, а скажите, вы послѣ этого видѣли эскулапа-то?

— Какъ же, встрѣтились. Ничего. «Погода, говоритъ, стоитъ холодная, прозябаніе развивается туго...»

— Это онъ, должно-быть, еще въ Вороновѣ наблюдалъ... ха-ха!

— Ха-ха... пожалуй! Ха-ха... пожалуй, что и такъ!

— Господа! что-нибудь одно: либо въ карты играть, либо анекдоты разсказывать!—тоскливо восклицаетъ одинъ изъ играющихъ.—Пассъ!

Нѣкоторое время въ каютѣ ничего не слышно, кромѣ: «пассъ! куплю! мизеръ! семь!» и т. д. Но мало-по-малу душевный разговоръ опять вступаетъ въ свои права.

— Впрочемъ, я уже не разъ замѣчалъ, что какъ-то плохо разсчеты-то эти удаются. Вотъ еще недавно въ Москвѣ съ княземъ Зубровымъ случай былъ...

— Какой это князь Зубровъ? Что-то не слыхивалъ такой фамиліи.

— Литовская-съ. Ихъ предокъ, князь Зубръ, въ Литвѣ былъ—еще въ Бѣловѣжской пущѣ имѣніе у нихъ... Потомъ они возсоединились и изъ Зубровъ сдѣлались Зубровыми, настоящими русскими. Только разорились они нынче, такъ что и Бѣловѣжскую-то пущу у нихъ въ казну отобрали... Ну-съ, такъ вотъ этотъ самый князь Андрей Зубровъ... Была въ Москвѣ одна барыня: сначала она въ арфисткахъ по трактирамъ пѣла, потомъ на воздержанье попала... Какъ баба, однако-жъ, неглупая, скопила капиталецъ и открыла номера...

— Позвольте! это не та ли, что въ гостиницѣ «Неаполь» номера снимаетъ? Варвара Ивановна!

— Ну, такъ-такъ-такъ! Она самая!

— И какъ до сихъ поръ сохранилась!

— Ничего, въ тѣлахъ барыня. Только какъ открыла она номера, князь Зубровъ—въ ту пору онъ студентомъ былъ—и сталъ, знаете, около нея похаживать. То въ коридорѣ встрѣтится, помычитъ, то въ контору придетъ—лбомъ въ нее уставится. Видитъ Варвара Ивановна, что дѣло подходящее: князь, молодой человѣкъ, статьи хорошія, образованный... стала его приголубливать. Только все, знаете, пустячками: рюмку водки изъ собственныхъ рукъ поднесетъ, бутербродцемъ попотчуетъ. Словомъ сказать, всякую аттенцію оказываетъ, а настоящаго дѣла не открываетъ. Задумался мой князекъ: въ настоящемъ ничего, въ будущемъ — еще того меньше. Женюсь! Разумѣется, главный разсчетъ — деньги; женюсь, говоритъ, и буду съ деньгами отдыхать! Что-жъ—и женился-съ! Только что бы вы думали? Отвела она ему номеръ... ну, разумѣется, обѣдъ тамъ, чай, ужинъ, а денегъ—ни-ни! И такимъ манеромъ идетъ у нихъ и посейчасъ! Ни его ни къ кому, ни къ нему никого! А себѣ, между прочимъ, независимо отъ сего, орденскаго драгуна завела! Такъ вотъ они каковы, эти разсчеты-то, бываютъ!

— Ужъ очень, должно-быть, простъ вашъ князекъ?

— Простъ-то простъ. Представьте себѣ, украдется какъ-нибудь тайкомъ въ общую залу, да и разсказываетъ, какъ его Бобоша обдѣлала! И такъ его многіе за эти разсказы полюбили, что даже потчуютъ. Кто пива бутылку спроситъ, кто графинчикъ, а кто и шампанскаго. Ну, а ей это наруку: пускай, молъ, болтаютъ, лишь бы вина больше пили! Я даже подозрѣваю, не съ ея ли вѣдома онъ и вылазки-то въ общую залу дѣлаетъ.

— Да, съ этими барынями... ой-ой, нужно ухо остро держать!

— Вотъ кабы векселя... это такъ! Тогда, по крайней мѣрѣ, въ уздѣ ее держать можно. Обмунштучилъ, знаете... пляши! Вотъ у меня сосѣдка, Кучерявина, есть, такъ она все мужа водкой поила да векселя съ него брала. Набрала, сколько ей нужно было, да и выгнала изъ имѣнія!

— Господа! сдѣлайте ваше одолженіе! мы въ карты играемъ! Держу семь въ бубнахъ.

— Позвольте-съ! Двадцать двѣ копейки выигралъ—и за карты долженъ платить! Гдѣ же тутъ справедливость!—протестуетъ за другимъ столомъ педагогъ.

Начинается споръ: слѣдуетъ или не слѣдуетъ. Я убѣ-

ждаюсь, что спать мнѣ не суждено, и отправляюсь вверхъ на палубу.

Восьмого половина; солнце уже низко; вѣтеръ крѣпчаетъ; колеса парохода мѣрно разсѣкаютъ мутныя волны рѣки; раздается троекратный неистовый свистъ, возвѣщающій близость пристани. Виднѣется сѣренькій городишко, у котораго пароходъ долженъ, по положенію, имѣть получасовую остановку. Пассажиры третьяго класса какъ-то безнадежно слоняются по палубѣ, и между ними, накинувъ на плеча плэдъ и заложивъ руки въ карманы пальто, крупными шагами расхаживаетъ адвокатъ.

— Вы въ Петербургъ?—спрашиваетъ онъ, подходя ко мнѣ.

— Да, въ Петербургъ.

— Я тоже. Чортъ знаетъ, какъ этотъ проклятый пароходъ тихо двигается! Просто не знаешь, какъ убить время. А завтра еще въ Т. полсутокъ поѣзда дожидаться нужно.

— Вы бы въ карты... въ каютѣ играютъ ужъ...

— Ну ихъ! Я и то раскаиваюсь, что давеча погорячился. Пожалуй, еще на шпіона наткнешься.

— Ну, вотъ! если-бъ на всѣ пароходы шпіоновъ посылать, такъ тутъ никакого бюджета бы не хватило!

— Нѣтъ, батенька, вы не знаете. У насъ тѣмъ-то и скверно, что добровольныхъ, безплатныхъ шпіоновъ не оберешься! А скажите, я давеча не проврался?

— Ничего, кажется, все какъ слѣдуетъ. А закончили даже отлично.

— Это насчетъ краеугольныхъ камней-то? А что, развѣ вы не согласны?

— Помилуйте, что вы! да я на томъ стою! Въ «нашей уважаемой газетѣ» я только объ этомъ и пишу!

— Да? Такъ вы тоже писатель?

— Еще бы! Вотъ эти статьи, въ которыхъ говорится «съ одной стороны должно признаться, хотя съ другой стороны нельзя не сознаться»—это все мои!

— Такъ позвольте мнѣ рекомендовать себя: мы борцы одного и того же лагеря. Если вы читали статьи подъ названіемъ: «Еженедѣльные плевки въ пустопорожнее мѣсто»—то это были мои статьи!

Мы обнялись. Быть-можетъ, въ другомъ мѣстѣ мы не сдѣлали бы этого, но здѣсь, въ виду этого поганаго городишка, въ средѣ этихъ людей, считающихъ лакомствомъ вяленую воблу, мы, забывъ всякій стыдъ, чувствовали себя

далеко не шуточными дѣятелями русской земли. Хотя мы оба путешествовали по дѣламъ, отъ которыхъ зависитъ только нашъ личный интересъ, но въ то же время насъ ни на минуту не покидала мысль, что, кромѣ личныхъ интересовъ, у нашей жизни есть еще высшая цѣль, извѣстная подъ названіемъ «украшенія столбцовъ». Онъ мечталъ о томъ, какъ бы новымъ «плевкомъ» окончательно загадить пустопорожнее мѣсто; я же съ своей стороны обдумывалъ обременительнѣйшій рядъ статей, изъ которыхъ каждая начиналась бы словами: «съ одной стороны нужно признаться» и оканчивалась бы словами: «объ этомъ мы поговоримъ въ другой разъ...»

Въ отличнѣйшемъ расположеніи духа мы воротились въ каюту. На одномъ столѣ игра еще продолжалась; кончившіе игру сидѣли тутъ же и наблюдали.

— Вы въ Т. ѣдете?—спросилъ педагогъ у одного изъ депутатовъ.

— Мы туда всѣ четверо по одному и тому же дѣлу.

— Къ господину губернатору?

— Да, депутаціей отъ уѣзда. Негодяй одинъ у насъ завелся. Собственности не признаетъ, надъ семействомъ издѣвается... Такъ мы его пробрать хотимъ!

— И проберемъ-съ.

— Молодой человѣкъ?

— Какъ вамъ сказать... онъ у насъ мировымъ судьей служитъ. Да онъ здѣсь, съ нами же, ѣдетъ, только во второмъ классѣ. Почуяла кошка, чье мясо съѣла — предупредить грозу хочетъ! Да ништо ему: спѣши! поспѣшай! Мы свое дѣло сдѣлаемъ!

— Пропаганда, стало-быть, съ его стороны была?

— И пропаганда, и все—мы ужъ разскажемъ! Мы все какъ на картинѣ изобразимъ! Вотъ какъ придется ему холодные-то климанты посѣтить, кровь-то у него и поостынетъ!

Говоря это, депутатъ взялъ взятку и съ такимъ судорожнымъ движеніемъ щелкнулъ ею по столу, что даже изогнулъ карты.

— Ну, что я вамъ говорилъ!—шопотомъ замѣтилъ мнѣ адвокатъ:—каковъ народецъ! Кому-нибудь судья-то отказалъ, дѣло рѣшилъ не въ пользу—сейчасъ и доносъ! Повѣрьте мнѣ, батенька...

Но я уже не слушалъ: я какъ-то безучастно осматривался кругомъ. Въ глазахъ у меня мелькали огни разставленныхъ на столахъ свѣчей, застилаемые густымъ обха-

комъ дыма; въ ушахъ раздавались слова: «пассъ», «проберемъ», «не признаетъ собственности, семейства...» И въ то же время въ головѣ какъ-то назойливѣе обыкновеннаго стучала излюбленная фраза: «съ одной стороны должно сознаться, хотя съ другой стороны—нельзя не признаться...»

На другой день, съ почтовымъ поѣздомъ, я возвращался въ Петербургъ. Дорогой я опять слышалъ «благонамѣренныя рѣчи» и мчался дальше и дальше, съ твердою надеждой, что и впредь, гдѣ бы я ни былъ, куда бы ни кинула меня судьба, всегда и вездѣ будутъ преслѣдовать меня *благонамѣренныя рѣчи*.

IX.—По части женскаго вопроса.

Я возвращался съ вечера, на которомъ былъ свидѣтелемъ споровъ о такъ-называемомъ женскомъ вопросѣ. Говоря по совѣсти, это были, впрочемъ, не споры, а скорѣе обрывки всевозможныхъ предположеній, пожеланій и устремленій, откуда-то внезапно появлявшихся и куда-то столь же внезапно исчезавшихъ. Говорили всѣ вдругъ, говорили громко, стараясь перекричать другъ друга. Въ сознаніи не сохранилось ни одного ясно формулированнаго вывода, но взамѣнъ того передъ глазами такъ и мелькали живые образы спорящихъ. Вотъ кто-то вскакиваетъ и кричитъ крикомъ, захлебывается, жестикулируетъ, а рядомъ, какъ бы соревнуя, вскакиваютъ двое другихъ и тоже начинаютъ захлебываться и жестикулировать. Вотъ четыре спорящія фигуры заняли середину комнаты и одновременно пронекаютъ другъ друга на перекрестномъ огнѣ восклицаній, а въ углу безнадежно выкрикиваетъ нѣкто пятый, котораго осаждаютъ еще трое ораторовъ и, буквально, не даютъ сказать слова. Всѣ глаза горятъ, всѣ руки въ движеніи, всѣ голоса надорваны и тянутъ какую-то недостижимо высокую ноту; во всѣхъ горлахъ пересохло. Среди моря гула слухъ поражаютъ фразы, скорѣе имѣющія видъ междометій, нежели фразъ.

— Хоть бы позволили въ медико-хирургическую академію поступать!—восклицаютъ одни.

— Хоть бы позволили университетскіе курсы слушать!—отзываются другіе.

— Не доказали ли телеграфистки?—убѣждаютъ третьи.

— Наконецъ, кассирши на желѣзныхъ дорогахъ, наборщицы въ типографіяхъ, сидѣлицы въ магазинахъ—все это не доказываетъ ли?—допрашиваютъ четвертые.

И въ заключеніе склоненіе:—Суслова, Сусловой, Суслову, о, Суслова! и т. д.

Наконецъ, когда всѣ пожеланія были высказаны, когда исчерпались всѣ междометія, пренія упали само собою, и всѣ стали расходиться. Въ числѣ прочихъ вышелъ и я, сопутствуемъ другомъ моимъ, Александромъ Петровичемъ Тебеньковымъ.

Я либералъ, а между «своими» слыву даже «краснымъ». «Наши дамы», разумѣется въ шутку, но тѣмъ не менѣе такъ мило называютъ меня Гамбеттой, что я никакъ не могу сердиться на это. Скажу по секрету, названіе это мнѣ даже льститъ. Что-жъ, думаю, Гамбетта такъ Гамбетта—не повѣсятъ же въ самомъ дѣлѣ за то, что я Гамбетта, переложенный на русскіе нравы! Не знаю, по какому поводу пришло ко мнѣ это прозвище, но предполагаю, что я обязанъ ему не столько революціонернымъ моимъ наклонностямъ, сколько тому, что сызмалѣтства сочувствую «благимъ начинаніямъ». Въ сороковыхъ годахъ я съ увлеченіемъ аплодировалъ Грановскому и зачитывался статьями Бѣлинскаго. Въ срединѣ пятидесятыхъ годовъ я помню одну ночь, которую я всю напролетъ прошагалъ по Невскому и чувствовалъ, какъ все мое существо словно уноситъ куда-то высоко, навстрѣчу какой-то зарѣ, которую совершенно явственно видѣлъ мой умственный взоръ. Въ концѣ пятидесятыхъ и въ началѣ шестидесятыхъ годовъ я просто-на-просто ощущалъ, что подо мною горитъ земля. Я не жилъ въ то время, а рѣялъ и трепеталъ при звукахъ: «гласность», «устность», «свобода слова», «вольный трудъ», «независимость труда» и т. д., которыми былъ полонъ тогдашній воздухъ. Въ довершеніе всего—я былъ мировымъ посредникомъ. Даже и нынѣ, когда все уже совершилось и желать больше нечего, я все-таки не прочь посочувствовать тѣмъ людямъ, которые продолжаютъ нѣчто желать. По старой привычкѣ, мнѣ все еще кажется, что во всякихъ желаніяхъ найдется хоть крупица чего-то подлежащаго удовлетворенію (особливо, если тщательно разсортировывать желанія настоящія, разумныя, отъ излишнихъ и неразумныхъ, какъ это дѣлаю я), и что если я люблю на досугѣ послушать, какія бываютъ на свѣтѣ вольныя

мысли, то вѣдь это ни въ какомъ случаѣ никому и ничему повредить не можетъ. Вѣдь я не выхожу съ оружіемъ въ рукахъ! Вѣдь я люблю вольныя мысли лишь постольку, поскольку онѣ представляютъ matière à discussion! Будемте спорить, господа! raisonnons, messieurs, raisonnons! Но чтобы, съ Божьею помощью, выйти съ вольными мыслями куда-нибудь на площадь... Нѣтъ, это ужъ позвольте, господа! Это запрещено-съ!

А такъ какъ «наши дамы» знаютъ мои мирныя наклонности и такъ какъ онѣ очень добры, то прозвище «Гамбетта» звучитъ въ ихъ устахъ скорѣе ласково, чѣмъ сердито. Къ тому же, быть-можетъ, и домашніе Руэры нѣсколько понадоѣли имъ, такъ что въ Гамбеттѣ онѣ подозрѣваютъ что-нибудь болѣе пикантное. Какъ бы то ни было, но наши дамы всегда спѣшатъ взять меня подъ свое покровительство, какъ только услышатъ, что на меня начинаютъ нападать. Такъ что, когда однажды князь Левъ Кирилычъ, выслушавъ одну изъ моихъ «благоначинательныхъ» діатрибъ, воскликнулъ: — «Вы, мой любезнѣйшій другъ, человѣкъ очень добрый, но никогда никакой карьеры не достигнете, потому что вы есть «красный!» — то княгиня Наталья Борисовна очень мило заступилась за меня, сказавъ:

— Ce pauvre Gambetta! Il est dit qu'il restera toujours méconnu et calomnié! Et il ne deviendra ni sénateur, ni membre du Conseil de l'Empire!

Однимъ словомъ, я представляю собой то, что въ нашемъ кружкѣ называютъ «un libéral très prononcé», или, говоря другими словами, я человѣкъ, котораго никто никогда не слушаетъ и которому, если-бъ онъ сунулся къ кому-нибудь съ совѣтомъ, безцеремонно отвѣтили бы: «mon cher, vous divaguez!» И я сознаю это; я понимаю, что я неспособенъ, и что въ мнѣніи моемъ дѣйствительно никому существенной надобности не предстоитъ. Такъ что однажды, когда два дурака изъ породы умѣренныхъ либераловъ (то-есть, два такіе дурака, о которыхъ даже пословица говоритъ: «два дурака съѣдутся—инно лошади одурѣютъ») при мнѣ вели между собой одушевленный обмѣнъ мыслей о томъ, слѣдуетъ ли или не слѣдуетъ принять за благопріятный признакъ для судебной реформы то обстоятельство, что тайный совѣтникъ Проказниковъ не получилъ къ праздникамъ никакой награды, то одинъ изъ нихъ, видя, что и я горю нетерпѣніемъ посодѣйствовать

разрѣшенію этого вопроса, просто-нà-просто сказалъ мнѣ: «mon cher! ты можешь только запутать, помѣшать, но не разрѣшить!» И я не только не обидѣлся этимъ, но простодушно отвѣтилъ:—«да, я могу только запутать, а не разрѣшить!»—и скромно удалился, оставивъ дураковъ переливать изъ пустого въ порожнее на всей ихъ волѣ...

Но какъ ни велико мое сочувствіе благимъ начинаніямъ, я не могу выносить шума; я страдаю, когда въ ушахъ моихъ раздается крикъ. Я росъ и воспитывался въ такой средѣ, гдѣ такъ-называемыя «рѣзкости» считаются первымъ признакомъ неблаговоспитанности. Поэтому, когда передо мной начинаютъ «шумѣть», мнѣ дѣлается не по себѣ, и я способенъ даже потерять изъ вида предметъ, по поводу котораго производится «шумъ». Случалось, что я отворачивался отъ многихъ «благихъ начинаній», къ которымъ я несомнѣнно отнесся бы благосклонно, если-бъ не примѣшались тутъ «шумъ» и «рѣзкости». «Помилуйте!—говорю я:—развѣ можно имѣть дѣло съ людьми, у которыхъ губы дрожатъ, глаза выпучены, и руки вертятся какъ крылья у мельницы? Съ людьми, которые не демонстрируютъ, а кричатъ? Сядемте, господа, будемте разговаривать спокойно! Сперва пусть одинъ скажетъ, потомъ другой пусть выскажется, послѣ него третій и т. д. Тогда я, конечно, готовъ и выслушать, и взвѣсить, и сообразить, а ежели окажется возможнымъ и своевременнымъ... отчего же и не посочувствовать! Но вы хотите кричать на меня! Вы хотите палить въ меня, какъ изъ пушки—ну, нѣтъ-съ, на это я не согласенъ!»

А такъ какъ только-что проведенный вечеръ былъ отъ начала до конца явнымъ опроверженіемъ той теоріи поочередныхъ высказовъ, которую я, какъ либералъ и притомъ «красный», считаю необходимымъ условіемъ истиннаго прогресса, то очевидно, что впечатлѣніе, произведенное на меня всѣмъ слышаннымъ и видѣннымъ, не могло быть особенно благопріятнымъ.

Но еще болѣе неблагопріятно подѣйствовалъ вечеръ на друга моего Тебенькова. Онъ, который обыкновенно бывалъ словоохотливъ до болтливости, въ настоящую минуту угрюмо запахивался въ шубу и лишь изрѣдка, изъ-подъ воротника, разрѣшался афоризмами, въ родѣ: «Quel taudis! Tudieu, quel exécrable taudis!» или: «ah! pour l'amour du ciel! où me suis-je donc fourré!» и т. д.

Тебеньковъ—тоже либералъ, хотя, разумѣется, не такой

красный, какъ я. Я—Гамбетта, то-есть человѣкъ отпѣтый и не признающій ничего святого (не понимаю, какъ только земля меня носитъ!). «Наши» давно махнули на меня рукой, да и я самъ, признаться, начинаю подозрѣвать, что двери сената и государственнаго совѣта заперты для меня навсегда. Я могъ бы еще поправить свою репутацію (да и то едва ли!), написавъ, напримѣръ, вторую «Парашу Сибирячку» или что-нибудь въ родѣ: «Съ бѣлыми Борей власами»; но, во-первыхъ, все это ужъ написано, а во-вторыхъ, къ моему несчастію, въ послѣднее время меня до того одолѣла оффенбаховская музыка, что какъ только я размахнусь, чтобъ изобразить монологъ «Неизвѣстнаго» (воображаемый монологъ этотъ начинается такъ: «И я могъ усомниться! О, судебная реформа! О, земскія учрежденія! И я могъ недоумѣвать!») или — что̀ одно и то же — какъ только приступлю къ написанію передовой статьи для «Старѣйшей Россійской Пѣнкоснимательницы» (статья эта начинается такъ: «Есть люди, которые не прочь усомниться даже передъ такими безспорными фактами, какъ, напримѣръ, судебная реформа и наши все еще молодыя, все еще неокрѣпшія, но тѣмъ не менѣе чреватыя благими начинаніями земскія учрежденія», и т. д.), такъ сейчасъ, словно буря, въ мою голову вторгаются совсѣмъ неподходящіе стихи:

Je suis gai!
Soyez gais!
Il le faut!
Je le veux!

И далѣе я уже продолжать не могу, а прямо бѣгу къ фортепьяно и извлекаю изъ клавишъ цѣлое море веселыхъ звуковъ, которое сразу поглощаетъ всѣ горькія напоминанія о необходимости монологовъ и передовыхъ статей...

Совсѣмъ другое дѣло — Тебеньковъ. Во-первыхъ, онъ, какъ говорится, toujours à cheval sur les principes; во-вторыхъ, не прочь отъ «святого» и выражается о немъ такъ: «convenez cependant, mon cher, qu'il y a quelque chose que notre pauvre raison refuse d'approfondir», и, въ-третьихъ, пишетъ и монологи, и передовыя статьи столь неослабно, что никакой Оффенбахъ не въ силахъ заставить его положить оружіе, покуда существуетъ хоть одинъ несраженный врагъ. Поэтому, хотя онъ въ настоящую минуту и не у дѣлъ, но считаетъ карьеру свою далеко не оконченною, и когда проѣзжаетъ мимо сената, то всегда

хоть однимъ глазкомъ да посмотрить на него. Въ сущности, онъ даже не либералъ, а фрондёръ, или, выражаясь иначе: почтительно, но съ независимымъ видомъ лающій русскій человѣкъ.

Происхожденіе его либерализма самое обыкновенное. Кто-то когда-то сдѣлалъ что-то не совсѣмъ такъ, какъ онъ имѣлъ честь почтительнѣйше полагать. По-настоящему, ему тогда же слѣдовало, не конфузясь, объяснить недоразумѣніе и возразить: «да я именно, ваше превосходительство, такъ и имѣлъ честь почтительнѣйше полагать!»—но, къ несчастію, обстоятельства какъ-то такъ сложились, что онъ не успѣлъ ни назадъ отступить, ни броситься въ сторону, да такъ и остался съ почтительнѣйшимъ докладомъ на устахъ. Вотъ съ этихъ поръ онъ и держитъ себя особнякомъ и не безъ дерзости доказываетъ, что если-бъ вотъ тутъ на вершокъ убавить, а тамъ на вершокъ прибавить (именно какъ онъ въ то время имѣлъ наглость почтительнѣйше полагать), то все было бы хорошо и ничего бы этого не было. Но въ то же время онъ малый зоркій и очень хорошо понимаетъ, что будущее еще не ускользнуло отъ него.

— Я теперь въ загонѣ, mon cher,—откровенничаетъ онъ иногда со мной: — я въ загонѣ, потому что вѣтеръ дуетъ не съ той стороны. Теперь — честь и мѣсто князю Ивану Семенычу: c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Tant qu'il reste là, je m'éclipse—et tout est dit. Но это не можетъ продолжаться. Cette bagarre gouvernementale ne saurait durer. Придетъ минута, когда вопросъ о князѣ Львѣ Кирилычѣ самъ собою, такъ сказать, силою вещей, выдвинется впередъ. И тогда...

Дойдя до этого «тогда», онъ скромно умолкаетъ, но я очень хорошо понимаю, что «тогда»-то именно и должно наступить царство того серьезнаго либерализма, который понемножку да помаленьку, съ Божьею помощью, выдастъ сто одинъ томъ «Трудовъ», съ таковымъ притомъ заключеніемъ, чтобы всѣмъ участвовавшимъ въ «Трудахъ», въ вознагражденіе за рвеніе и примѣрную твердость спинного хребта, дать въ вѣчное и потомственное владѣніе хоть по одной половинѣ уѣзда въ плодороднѣйшей полосѣ Россійской имперіи и затѣмъ уже всякій либерализмъ навсегда прекратить.

За всѣмъ тѣмъ онъ человѣкъ добрый или, лучше сказать, мягкій, и тѣ вершки, которые онъ предлагаетъ здѣсь убавить, а тамъ прибавить, всегда свидѣтельствуютъ ско-

рѣе о благосклонномъ отношеніи къ жизни, нежели объ ожесточеніи. Выраженія: согнуть въ бараній рогъ, стереть съ лица земли, вырвать вонъ съ корнемъ, зашвырнуть туда, куда Макаръ телятъ не гонялъ—никогда не принимались имъ серьезно. По нуждѣ онъ, конечно, терпѣлъ ихъ, но никакъ не могъ допустить, чтобъ они могли служить выраженіемъ какой бы то ни было административной системы. Онъ былъ убѣжденъ, что даже въ простомъ разговорѣ нелишне ихъ избѣгать, чтобы какъ-нибудь по ошибкѣ, вслѣдствіе несчастнаго lapsus linguae, въ самомъ дѣлѣ кого-нибудь не согнуть въ бараній рогъ. Первая размолвка его съ княземъ Иваномъ Семенычемъ (сначала они нѣкоторое время служили вмѣстѣ) произошла именно по поводу этого выраженія. Князь утверждалъ, что «этихъ людей, mon cher, непремѣнно надобно гнуть въ бараній рогъ»; Тебеньковъ же имѣлъ смѣлость почтительнѣйше полагать, что самое выраженіе: «гнуть въ бараній рогъ» — est une expression de nationalgarde, à peu près vide de sens.

— Смѣю думать, ваше сіятельство,—доложилъ онъ:—что и заблуждающійся человѣкъ можетъ отъ времени до времени что-нибудь полезное сдѣлать, потому что заблужденія не такая же спеціальность, чтобы человѣкъ только и дѣлалъ всю жизнь, что заблуждался. Франклинъ, напримѣръ, имѣлъ очень многія и очень вредныя заблужденія, но по прочему по всему и онъ былъ человѣкъ небезполезный. Стало-быть, если-бъ его въ то время взять и согнуть въ бараній рогъ, то хотя бы онъ и прекратилъ по этому случаю свои заблужденія, но, съ другой стороны, и полезнаго ничего бы не совершилъ!

Выслушавъ это, князь обрубилъ разомъ. Онъ всталъ и поклонился съ такимъ видомъ, что Тебенькову тоже ничего другого не оставалось, какъ, въ свою очередь, встать, почтительно расшаркаться и выйти изъ кабинета. Но оба вынесли изъ этого случая надлежащее для себя поученіе. Князь написалъ на бумажкѣ: «Франклинъ—имѣть въ виду, какъ одного изъ главныхъ зачинщиковъ и возмутителей»; Тебеньковъ же, воротясь домой, тоже записалъ: «Франклинъ — имѣть въ виду, дабы на будущее время избѣгать разговоровъ о немъ».

Такимъ образомъ Тебеньковъ очутился за предѣлами жизненнаго пира и началъ фрондировать. Съ этихъ поръ репутація его, какъ либерала, дотолѣ мало замѣтная, утвер-

дилась на незыблемомъ основаніи. Идетъ ли рѣчь о женскомъ образованіи—Тебеньковъ тутъ какъ тутъ; напишетъ ли кто статью о преимуществахъ реальнаго образованія передъ классическимъ—прежде всего спѣшитъ прочесть ее Тебенькову; задумается ли кто-нибудь о средствахъ къ устраненію чумы рогатаго скота—идетъ и передъ Тебеньковымъ изливаетъ душу свою. Народныя чтенія, читальни, изданіе дешевыхъ книгъ, распространеніе въ народѣ здравыхъ понятій о томъ, что ученье свѣтъ, а неученье тьма—вездѣ сумѣлъ пріютиться Тебеньковъ и во всемъ даетъ чувствовать о своемъ присутствіи. Здѣсь скажетъ нѣсколько прочувствованныхъ словъ, тамъ—подаритъ десятирублевую бумажку. И вмѣстѣ съ тѣмъ добръ, ну, такъ добръ, что я самъ однажды видѣлъ, какъ одна нигилисточка трепала его за бакенбарды, и онъ ни однимъ движеніемъ не далъ почувствовать, что это его безпокоитъ. Словомъ сказать, человѣкъ хоть куда, и я даже очень многихъ знаю, которые обращаютъ къ нему свои взоры съ гораздо бо̀льшею надеждою, нежели ко мнѣ...

Но, подобно мнѣ, Тебеньковъ не выноситъ «шума» и «рѣзкостей».

— Зачѣмъ онѣ такъ кричатъ! à quoi mènent toutes ces crudités,—жалуется онъ иногда:—зачѣмъ онѣ привскакиваютъ, когда говорятъ? Премиленькія — а вотъ этого не понимаютъ, что надобно, чтобъ сперва одинъ высказался, потомъ другой бы представилъ свои соображенія, потомъ третій бы присовокупилъ... право! И какіе у нихъ голоса—точь-въ-точь, какъ у актрисъ въ Александринкѣ! Тоненькіе—вотъ какъ булавка! Послушай, напримѣръ, какъ Паска̀ говоритъ—вотъ это голосъ! А наши—ну, ни дать, ни взять, шавочки: амъ-амъ-амъ! Хоть ты что̀ хочешь, ничего не разберешь!

Итакъ, мы возвращались домой. Покуда я вдыхалъ всѣми легкими свѣжій воздухъ начинающейся зимы, мнѣ припомнились тѣ «кабы позволили» да «когда же, наконецъ, позволятъ», которыя въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ преслѣдовали мой слухъ.

Мнѣ казалось, что я цѣлый вечеръ видѣлъ передъ собой человѣка, который зашелъ въ безконечный, темный и извилистый коридоръ и ждетъ чуда, которое вывело бы его оттуда. Съ одной стороны, его терзаетъ мысль: а что̀, если мнѣ всю жизнь суждено бродить по этому коридору! Съ другой—стремленіе увидѣть свѣтъ само по себѣ такъ на-

стоятельно, что оно, даже въ виду полнѣйшей безнадежности, нѣтъ-нѣтъ, да и подскажетъ: а вотъ, погоди, упадутъ стѣны по обѣ стороны корирора, или снесетъ маніемъ волшебства потолокъ, и тогда...

Я знаю, что въ коридоры никто собственною охотою не заходитъ; я знаю, что есть коридоры обязательные, которые самою судьбою устраиваются въ виду извѣстныхъ вопросовъ; но положеніе человѣка, поставленнаго въ необходимость блуждать и колебаться между страхомъ гибели и надеждой на чудесное паденіе стѣнъ, отъ этого отнюдь не дѣлается болѣе яснымъ. Это все-таки положеніе человѣка, котораго умъ поглощенъ не дѣйствительнымъ предметомъ извѣстныхъ и ясно сознанныхъ стремленій, а тѣми несносными околичностями, которыя Богъ вѣсть откуда легли на пути и ни нà волосъ не приближаютъ къ цѣли.

Такого рода именно положеніе совершенно отчетливо рисовалось мнѣ посрединѣ этихъ безпрестанно повторявшихся двухъ фразъ, изъ которыхъ одна гласила: «неужли-жъ, наконецъ, не позволятъ?» а другая: «а чтò, если не позволятъ?»

«Чтò ежели позволятъ? — думалось, въ свою очередь, и мнѣ... — Вѣдь начальство — оно снисходительно; оно, чего добраго, все позволитъ, лишь бы ничего изъ этого не вышло. Чтò тогда будетъ? Будутъ ли *онѣ* усердны въ исполненіи лежащихъ на нихъ обязанностей?—Конечно, будутъ, ибо не доказываютъ ли телеграфистки? Окажутъ ли себя способными охранять казенный интересъ?—Конечно, окажутъ, ибо не доказываютъ ли кассирши на желѣзныхъ дорогахъ?»

Въ моихъ глазахъ это было такъ ясно, что, если-бъ зависѣло отъ меня, я, конечно, ни одной минуты не колебался бы: я бы позволилъ.

Скажите, какой вредъ можетъ произойти отъ того, что въ Петербургѣ, а можетъ, и въ Москвѣ, явится довольно компактная масса женщинъ, скромныхъ, почтительныхъ, усердныхъ и блюдущихъ казенный интересъ, — женщинъ, которыя, встрѣчаясь другъ съ другомъ, вмѣсто того, чтобъ восклицать: «bonjour, chère mignonne! какое вчера на princesse N. платье было!»—будутъ говорить: «а что, mesdames, не составить ли намъ компанію для защиты Мясниковскаго дѣла?»

Какая опасность можетъ предстоять для общества отъ того, что женщины желаютъ учиться, стремятся посѣщать

медико-хирургическую академію, слушать университетскіе курсы? Допустимъ даже самый невыгодный исходъ этого дѣла: что онѣ *ничему* не научатся и потратятъ время *задаромъ* — все-таки спрашивается: кому отъ этого вредъ, кто пострадаетъ отъ того, что онѣ задаромъ проведутъ свое и безъ того даровое время?

Какъ ни повертывайте эти вопросы, съ какими іезуитскими пріемами ни подходите къ нимъ, а отвѣтъ все-таки будетъ одинъ: нѣтъ, ни вреда, ни опасности не предвидится никакихъ... За что же это жестокое осужденіе на безсрочное блужданіе въ коридорѣ, которое, представляя собою фактъ безпричинной нетерпимости, служитъ, кромѣ того, источникомъ «шума» и «рѣзкостей»?

Я знаю, многіе полагаютъ, будто женская работа не можетъ быть такъ чиста, какъ мужская. Но, во-первыхъ, мы этого еще не знаемъ. Мы даже приблизительно не можемъ опредѣлить, какимъ образомъ женщина обработала бы, напримѣръ, Мясниковское дѣло, и не чище ли была бы ея работа противъ той мужской, которую мы знаемъ. Во-вторыхъ, мы забываемъ, что опредѣленіе степени чистоты работы должно быть вполнѣ предоставлено давальцамъ; не станетъ женщина чисто работать — растеряетъ давальцевъ. Въ-третьихъ, наконецъ, не напрасно же сложилась на міру пословица: не боги горшки обжигаютъ, а чѣмъ же, кромѣ «обжиганія горшковъ», занимается современный русскій человѣкъ, къ какому бы онъ полу или возрасту ни принадлежалъ?

Я знаю другихъ, которые не столько опасаются за чистоту работы, сколько за «возможность увлеченій». Но эти опасенія ужъ просто не выдерживаютъ никакой критики. Что женщина охотно увлекается—это правда, но не менѣе правда и то, что она всегда увлекается въ извѣстныхъ границахъ. Начертивъ себѣ эти границы, она все пространство, въ нихъ заключающееся, наполнитъ благороднымъ энтузіазмомъ, но только *это* пространство—ни больше, ни меньше. Она извлечетъ весь сокъ изъ даннаго «позволенія», но извлечетъ его лишь въ предѣлахъ самаго *позволенія*—и отнюдь не дальше. Если даже мужчина способенъ упереться лбомъ въ уставы судопроизводства и не идти никуда дальше, то женщина упрется въ нихъ тѣмъ съ бо́льшимъ упоеніемъ, что для нея это дѣло вновѣ. Она и дома, и на улицѣ будетъ декламировать: «Кто похититъ или съ злымъ умысломъ повредитъ или истребитъ...» и ежели вы

прервете ее вопросомъ: какъ здоровье мамаши? — то она наскоро отвѣтитъ (словно отъ мухи отмахнется): «благодарю васъ», и затѣмъ опять задекламируетъ: «если вслѣдствіе составленія кѣмъ-либо подложнаго указа, постановленія, опредѣленія, предписанія или иной бумаги» и т. д.

Нѣтъ, какъ хотите, а я бы позволилъ. Ужъ одно то, что онѣ будутъ у дѣла, и слѣдовательно не останется повода ни для «шума», ни для «рѣзкостей», — одно это представило бы для меня несомнѣнное основаніе, чтобы не медлить разрѣшеніемъ. Но, кромѣ того, я увѣренъ, что тутъ-то именно, то-есть въ средѣ женщинъ, которымъ *позволено,* я и нашелъ бы для себя настоящую опору, настоящихъ столбовъ. Не спорю, есть много столбовъ и между мужчинами, но, ради Бога, развѣ мужчина можетъ быть настоящимъ, то-есть пламеннымъ, исполненнымъ энтузіазма столбомъ?! Нѣтъ, онъ и на это занятіе смотритъ равнодушно, ибо знаетъ, что оно ему разрѣшено искони, и что никто его права быть столбомъ не оспариваетъ. То ли дѣло столбъ, который еще самъ хорошенько не знаетъ, столбъ онъ или нѣтъ, и потому пламенѣетъ, славословитъ и изъявляетъ желаніе сложить свою жизнь! И за что готовъ сложить жизнь? За то только, что ему «позволено» быть столбомъ наравнѣ съ мужчинами!

Ну, просто, дозволилъ бы—и дѣлу конецъ!

Разумѣется, если бы меня спросили, достигнется ли черезъ это «дозволеніе» разрѣшеніе такъ-называемаго «женскаго вопроса», я отвѣтилъ бы: не знаю, ибо это не мое дѣло.

Если бы меня спросили, подвинется ли хоть на волосъ вопросъ мужской, тотъ извѣчный вопросъ объ общечеловѣческихъ идеалахъ, который держитъ въ тревогѣ человѣчество,—я отвѣтилъ бы: опять-таки это не мое дѣло.

Но потому-то именно я, кажется, даже еще охотнѣе позволилъ бы. Какъ либералъ, какъ русскій Гамбетта, я люблю, чтобъ вопросы стояли особняками, каждый въ своихъ собственныхъ границахъ, и смотрю съ нетерпѣніемъ, когда они слишкомъ цѣпляются другъ за друга. Я представляю себѣ, что я начальникъ (опять-таки, какъ русскій Гамбетта, я не могу представить себѣ, чтобъ у какого бы то ни было вопроса не имѣлось подлежащаго начальника), и что нѣсколько десятковъ женщинъ являются утруждать меня по части улучшенія женскаго быта. Прежде всего, какъ galant homme, я принимаю ихъ съ утонченною вѣж-

ливостью (я настолько благовоспитанъ, что во всякой женщинѣ вижу женщину, а не кобылицу изъ татерсаля).

— Mesdames! charmé de vous voir! Чѣмъ могу быть полезенъ?—спрашиваю я.

— Намъ хотѣлось бы посѣщать университетскіе курсы, ваше превосходительство.

— Прекрасно-съ. Сядемте и будемте обсуждать предметъ вашихъ желаній со всѣхъ сторонъ. Но прежде всего прошу васъ: будемте обсуждать именно тотъ вопросъ, по поводу котораго вы удостоили меня посѣщеніемъ. Остережемся отъ набѣговъ въ область другихъ вопросъ, ибо наше время—не время широкихъ задачъ. Будемъ скромны, mesdames! Не станемъ расплываться! Итакъ, вы говорите, что вамъ угодно посѣщать университетскіе курсы?

— Точно такъ, ваше превосходительство.

— Извольте-съ. Я готовъ дать соотвѣтствующее по сему предмету предписаніе. (Я звоню; на мой призывъ прибѣгаетъ мой главный подчиненный). Ваше превосходительство! потрудитесь сдѣлать надлежащее распоряженіе о допущеніи русскихъ дамъ къ слушанію университетскихъ курсовъ! Итакъ, сударыни, по надлежащемъ и всестороннемъ обсужденіи, ваше желаніе удовлетворено; но я надѣюсь, что вы воспользуетесь даннымъ вамъ разрѣшеніемъ не для того, чтобы сѣять сѣмена революцій, а для того, чтобы оправдать доброе мнѣніе о васъ начальства.

— Рады стараться, ваше превосходительство!

— Вы рады, а я въ восторгѣ-съ. Я всегда и вездѣ говорилъ, что вы скромны. Вы по природѣ переводчицы—я это знаю. Поэтому я всѣхъ, всегда и вездѣ убѣждалъ: господа, дадимте имъ книжку—пусть смотрятъ въ нее! Не правда ли, mesdames?

— Точно такъ, ваше превосходительство!

И если-бъ въ это время отдѣлился какой-нибудь робкій голосъ, чтобъ замѣтить: «Но женскій вопросъ, ваше превосходительство...»—я сейчасъ же остановилъ бы возражательницу, сказавъ ей:

— Позвольте-съ. Мы условились не выходить изъ предѣловъ вопроса, подлежащаго нашему обсужденію, а вопросъ этотъ таковъ: предоставить женщинамъ посѣщать университетскіе курсы. Вы скажете, можетъ-быть, что кромѣ этого есть еще много другихъ, не менѣе важныхъ вопросовъ—я знаю это, милостивыя государыни! Я знаю, что вопросовъ существуетъ больше, чѣмъ нужно. Но знаю также,

что всякому вопросу свой чередъ—да-съ! Впослѣдствіи, идя постепенно, потихоньку да помаленьку, исподволь да не торопясь, мы, съ Божьею помощью, всѣ ихъ по очереди переберемъ, а, быть-можетъ, по каждому издадимъ сто одинъ томъ «Трудовъ»; но теперь мы должны проникнуться убѣжденіемъ, что намъ слѣдуетъ глядѣть въ одну точку, а не во множество-съ. Вы желаете посѣщать университетскіе курсы—я удовлетворилъ вашему желанію! Затѣмъ я больше не имѣю причинъ васъ задерживать, mesdames! Прощайте, и Богъ да просвѣтитъ сердца ваши!

И только. Въ результатѣ оказалось бы, что я позволилъ бы женщинамъ учиться, что допустилъ бы ихъ въ званіе стенографистокъ и что въ то же время, съ Божьею помощью, на долгое время эскамотировалъ бы «женскій вопросъ»!

Такъ было бы, если-бъ я «позволилъ»...

«Но если-бъ я не позволилъ?—мелькнуло у меня въ головѣ.—Что̀ было бы тогда?»

Да очень ясно, что̀ было бы! Было бы то̀, что̀ есть и теперь, а именно, что въ качествѣ либерала и русскаго Гамбетты я былъ бы обязанъ ходить по «умнымъ вечерамъ» и выслушивать безнадежныя: «ахъ, кабы позволили!» да «не доказали ли телеграфистки!» и т. д.

Конечно, и «позволь» я, и «не позволь»—ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ общественное спокойствіе не было бы нарушено; но развѣ это достаточный резонъ, чтобы непремѣнно *не* дозволять? Ужели же перспектива пріобрѣсти либеральную репутацію имѣетъ въ себѣ такъ мало заманчиваго, чтобы предпочитать ей перспективы, обѣщаемыя хладнымъ и безплоднымъ восклицаніемъ: «цыцъ!»?

Но въ эту минуту размышленія мои были прерваны восклицаніемъ Тебенькова:

— Какіе, однако, это неблагонамѣренные люди!

Признаюсь, со стороны Тебенькова высказъ этотъ былъ такъ неожиданъ, что я нѣкоторое время стоялъ молча, словно ошибенный.

— Тебеньковъ! Ты, либералъ, и ты это говоришь!—наконецъ произнесъ я.

— Да, я. Я либералъ, mais entendons-nous, mon cher. Въ обществѣ я, конечно, не высказалъ бы этого мнѣнія; но не высказалъ бы его именно только потому, что я представитель русскаго либерализма. Какъ либералъ, я ни въ какомъ случаѣ не могу допустить аркебузированья ни въ

видѣ частной мѣры, ни въ видѣ общаго мѣропріятія. Но внутренно я все-таки долженъ сказать себѣ: да, это люди неблагонамѣренные!

— Но что же тебя такъ поразило во всемъ, что мы слышали?

— Все! И эта дерзкая назойливость (ces messieurs et ces dames ne demandent pas, ils commandent!), и это полупрезрительное отношеніе къ авторитету благоразумія и опытности, и наконецъ это поруганіе всего, что есть для женщины драгоцѣннаго и святого! Все!

— Надъ чѣмъ же поруганіе, однако-жъ?

— Надъ женскимъ стыдомъ, сударь! Если ты не хочешь понимать этого, то я могу тебѣ объяснить: надъ женскою стыдливостью, надъ цѣломудріемъ женскаго чувства, надъ этимъ милымъ невѣдѣніемъ, ce je ne sais quoi, cette saveur de l'innocence, которыя душистымъ ореоломъ окружаютъ женщину! Вотъ надъ чѣмъ поруганіе!

Я зналъ, что для Тебенькова всего дороже въ женщинѣ— ея невѣдѣніе, и что онъ стоитъ на этой почвѣ тѣмъ болѣе твердо, что она уже составила ему репутацію въ глазахъ «нашихъ дамъ». Поэтому я даже не пытался возражать ему на этомъ пунктѣ.

— Страшно!—продолжалъ онъ между тѣмъ:—не за *нихъ* страшно (les pauvres, elles ont l'air si content en débitant leurs mesquineries, qu'il serait inutile de les plaindre!), но за *женщину!*

— Позволь, душа моя! Если ты всего больше цѣнишь въ женщинѣ ея невѣжество...

— Не невѣжество-съ, mais cette pieuse ignorance, ce délicieux parfum d'innocence que fait de la femme le chef d'oeuvre de la création! Вотъ что-съ!

— Ну, хорошо, не будемъ спорить. Но все-таки гдѣ же ты видишь неблагонамѣренность?

— Вездѣ-съ. По-вашему, подкапываться подъ драгоцѣннѣйшее достояніе женщины—это благонамѣренность? По-вашему, топтать въ грязь авторитеты, подкапываться подъ священнѣйшія основы общества—это благонамѣренность? Ces gens... эти люди... ces gens qui traînent la femme dans la fange... по-вашему, они благонамѣренны? Поздравляю-съ.

— Да, но вѣдь это еще вопросъ: что собственно составляетъ «драгоцѣннѣйшее достояніе» женщины?

— Нѣтъ-съ, это не вопросъ. На этотъ счетъ сомнѣнія непозволительны-съ!

Сказавъ это, Тебеньковъ взглянулъ на меня такъ строго, что я счелъ нелишнимъ умолкнуть. Увы! наше время такъ грозно насчетъ «принципій», что даже узы самой испытанной дружбы не гарантируютъ человѣка отъ вторженія въ его жизнь выраженій въ родѣ «неблагонадежнаго элемента», «сторонника выдохшагося радикализма» и проч. Тебеньковъ уже измѣнилъ «ты» на «вы»—кто же могъ поручиться, что онъ вдругъ, въ виду городового (не съ намѣреніемъ, конечно, а такъ, невзначай), не начнетъ обличать меня въ безвѣріи и попраніи авторитетовъ? Долгое время мы шли молча, и я другого ничего не слышалъ, кромѣ того, какъ изъ взволнованной груди моего друга вылетало негодующее фырканье.

— Нѣтъ, ты замѣть!—наконецъ, произноситъ онъ, опять измѣняя «вы» на «ты»:—замѣть, какъ *она* это сказала: «а вы, говоритъ, милый старецъ, и до сихъ поръ думаете, что Ева изъ Адамова ребра выскочила?...» И изъ-за чего она меня огорошила? Изъ-за того только, что я осмѣлился выразиться, что съ одной стороны исторія, а съ другой стороны Священное Писаніе... Ah, sapristi! Les gueuses!

— Но вѣдь это, наконецъ, твои личные счеты, мой другъ...

— А эта... маленькая... — продолжалъ онъ, не слушая меня:—эта... въ букольках! Замѣтилъ ты, какъ она подскакивала! «Подчиненность женщины... я говорю, подчиненность женщины... если, съ другой стороны, мужчины... если, какъ говоритъ Милль, вѣковой деспотизмъ мужчинъ...» Au nom de Dieu!

— Но скажи, гдѣ же все-таки тутъ неблагонамѣренность?

— Это дерзость-съ, а дерзость есть уже неблагонамѣренность. «Женщина порабощена»! Женщина! этотъ живой ѳиміамъ! эта живая молитва человѣка къ Богу! Она—«порабощена»! Кто имъ это сказалъ? Кто позволилъ имъ это говорить?

— Стало-быть, ты просто-на-просто не признаешь женскаго вопроса?

— Нѣтъ-съ... то-есть, да-съ, признаю-съ. Но признаю совсѣмъ въ другомъ смыслѣ-съ. Я говорю: женщина—это святыня, которой не долженъ касаться ни одинъ нечистый помыселъ! Вотъ *мой* женскій вопросъ-съ! И мужчина, и женщина—это, такъ сказать, двоица; это, какъ говоритъ поэтъ, «Ладъ и Лада», которымъ суждено взаимно другъ

друга восполнять. Они гуляютъ въ тѣнистой рощѣ и слушаютъ пѣніе соловья. Они бѣгаютъ другъ за другомъ, ловятъ другъ друга—и наконецъ устаютъ. Лада склоняетъ томно головку и говоритъ: «réposons-nous!» Ладъ же отвѣчаетъ: «ce que femme veut, Dieu le veut»—и ведетъ ее подъ сѣнь деревъ... A mon avis, toute la question est là!

— Да, хорошо тебѣ говорить: ce que femme veut, Dieu le veut! Согласись, однако, что и пословицы не всегда говорятъ правду! Вѣдь для того, чтобъ женщина дѣйствительно достигла, чего желаетъ, ей нужно, даже при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, лукавить и дѣйствовать исподтишка!

— Не исподтишка-съ, а съ соблюденіемъ приличій-съ.

— Но «приличія»... что же это такое? Вѣдь приличія... это, наконецъ...

— Приличія-съ? Вы не знаете, что такое приличія-съ? Приличія—это, государь мой, основы-съ! Приличія—это краеугольный камень-съ. Отбросьте приличія—и мы всѣ очутимся въ анатомическомъ театрѣ... que dis-je! Не въ анатомическомъ театрѣ — это только первая ступень! — а въ Воронинскихъ баняхъ-съ! Вотъ что такое эти «приличія», о которыхъ вы изволите такъ иронически выражаться-съ!

Однимъ словомъ, мой либеральный другъ такъ разгорячился, началъ говорить такія непріятныя вещи, что я не на шутку сталъ бояться, какъ бы не произошелъ въ немъ какой-нибудь «спасительный» кризисъ! А ну, какъ онъ вдругъ, пользуясь симъ случаемъ, возьметъ да и повернетъ оглобли! Хотя и несомнѣнно, что онъ повздорилъ съ княземъ Иваномъ Семенычемъ—это съ его стороны былъ очень замѣчательный гражданскій подвигъ! — но кто же знаетъ, что онъ не тоскуетъ по этой размолвкѣ? Что, ежели онъ ищетъ только повода, чтобъ прекратить безплодное фрондерство, а затѣмъ явиться къ князю Ивану Семенычу съ повинной, сказавъ: «la critique est aisée, mais l'art est difficile—ваше сіятельство, я вчера окончательно убѣдился въ святости этой истины!»? Что будетъ, если это случится?! Вѣдь Тебеньковъ—это столпъ современнаго русскаго либерализма! Вѣдь если онъ дрогнетъ—что станется съ другими столпами? Что станется съ княземъ Львомъ Кирилычемъ, который въ Тебеньковѣ видитъ своего вѣрнѣйшаго выразителя? Что станется съ тою массой серьезныхъ людей, которые выбрали либерализмъ, какъ временный modus

vivendi, въ ожиданіи свободнаго пропуска къ пирогу? Что станется, наконецъ, съ «Старѣйшею Всероссійскою Пѣнкоснимательницей», этимъ лучшимъ проводникомъ Тебеньковскихъ либеральныхъ идей?

— Другъ мой!—воскликнулъ я почти умоляющимъ голосомъ:—сообрази, однако-жъ! Вѣдь *онѣ* только въ медико-хирургическую академію просятся!

— Да-съ, въ академію,—отвѣчалъ онъ мнѣ сухо:—въ академію-съ, но только не художествъ, а въ медико-хирургическую. Знаю-съ. Я самъ смотрѣлъ на это снисходительными глазами... до нынѣшняго вечера-съ! Онѣ топтали въ грязь авторитеты—и я молчалъ; онѣ подрывали общественныя основы—и я не противорѣчилъ. Я говорилъ себѣ: эти люди заблуждаются, но заблужденія—вѣдь это, наконецъ, въ вѣдомствѣ князя Ивана Семеныча! Пусть онъ и вразумитъ ихъ—je m'en lave les mains! Но женщина-съ! Но бракъ-съ! Но святость семейныхъ узъ-съ! Это ужъ превосходитъ все! Женщина! эта святыня! благоуханіе! этотъ кристаллъ! Et l'on veut traîner tout ça dans la fange! Въ медико-хирургическую академію! Vous êtes bien bonnes, mesdames!

Сказавши это, онъ холодно кивнулъ головой и, даже не пожавъ мнѣ руки, исчезъ въ темнотѣ переулка.

Въ теченіе ночи мои опасенія насчетъ того, что въ Тебеньковѣ, чего добраго, произойдетъ «спасительный кризисъ», послѣдствіемъ котораго будетъ соглашеніе съ княземъ Иваномъ Семенычемъ, превратились въ жгучее, почти несносное безпокойство. Если это соглашеніе состоится, думалось мнѣ, то все кончено—либеральнымъ идеямъ капутъ. Нашъ юный либерализмъ такъ слабъ, такъ слабъ, что только благодушіе Тебенькова и поддерживаетъ его. Откажись Тебеньковъ—и все это зданіе, построенное на песцѣ, рухнетъ, не оставивъ послѣ себя ничего, кромѣ пыли, способной возбудить одно чиханіе. Тебеньковъ тѣмъ опасенъ, что онъ знаетъ (или, по крайней мѣрѣ, убѣжденъ, что знаетъ), въ чемъ суть либеральныхъ русскихъ идей, и потому, если онъ разъ рѣшится покинуть гостепріимныя сѣни либерализма, то, сильный своими познаніями по этой части, онъ на всѣ резоны уже будетъ отвѣчать одно: «Нѣтъ, господа, меня-то вы не надуете! Я самъ былъ «онымъ»! Я знаю!» И тогда вы не только ничего съ нимъ не подѣлаете, а, напротивъ того, дождетесь, пожалуй, того, что онъ,

просто изъ одного усердія, начнетъ открывать либерализмъ даже тамъ, гдѣ есть лишь невинность.

А для князя Ивана Семеныча это возсоединеніе Тебенькова будетъ настоящимъ кладомъ. До сихъ поръ князь былъ силенъ не столько основательностью, сколько живостью своихъ намѣреній. На практикѣ его намѣренія очень рѣдко получали надлежащее осуществленіе, и это происходило именно вслѣдствіе того, что, по неполному знанію признаковъ русскаго либерализма, князь довольно часто попадалъ, какъ говорится, пальцемъ въ небо. Такъ случилось, напримѣръ, съ распоряженіемъ о разысканіи Франклина, въ которомъ этотъ послѣдній былъ названъ сначала «эмиссаромъ», потомъ «человѣкомъ, потрясшимъ Западную Европу», и наконецъ просто «злодѣемъ». Конечно, въ этомъ прежде всего виноватъ секретарь князя, который не досмотрѣлъ (онъ былъ немедленно за это уволенъ), но все-таки даже въ клубахъ всѣ ахнули, когда узнали, что ищутъ «эмиссара» Франклина, а Тебеньковъ прямо такъ-таки и выразился: «ça fait pitié!» Теперь Тебеньковъ всѣ эти смѣшенія устранитъ. Онъ прямо въ настоящую точку ударитъ, онъ сдѣлаетъ это уже по тому одному, что самое возсоединеніе его въ лоно князя Ивана Семеныча можетъ произойти лишь цѣною сожженія Тебеньковскихъ кораблей. Сколько погибнетъ тогда невинныхъ людей! Сколько несчастныхъ, никогда не имѣвшихъ въ головѣ другой идеи, кромѣ: «какъ прекрасенъ Божій міръ съ тѣхъ поръ, какъ въ немъ существуютъ земскія учрежденія!» — вдругъ вынуждены будутъ убѣдиться, что это идея позорная, потрясшая Западную Европу и потому достойная аркебузированья. Да, Тебеньковъ будетъ и аркебузировать, несмотря на то, что до сихъ поръ онъ горячо ратовалъ противъ аркебузированія! Онъ скажетъ: «mon cher! я самъ былъ противъ этого, но—que veux-tu!—у насъ такъ мало средствъ, что это все-таки одно изъ самыхъ подходящихъ!» И напрасно будутъ молить его «невинные», напрасно будутъ они сплетничать на другихъ со-либераловъ, напрасно станутъ клясться и доказывать свою невинность! На всѣ извороты ихъ Тебеньковъ дастъ одинъ холодный и ясный отвѣтъ: «господа, вы меня не надуете! Я самъ былъ «онымъ»! Я знаю!»

Понятно, что, въ виду такого темнаго будущаго, я рѣшился во что бы то ни стало, даже съ пожертвованіемъ своего самолюбія, воспрепятствовать союзу Тебенькова съ

княземъ. При одной мысли, что въ адъ реакціи проникнетъ новый Орфей и начнетъ пѣть тамъ свои чарующія пѣсни, въ умѣ моемъ рисовались самыя мрачныя перспективы. Поэтому я принялъ всю вину на себя, я сдѣлалъ видъ, что не Тебеньковъ говорилъ мнѣ вчера колкости, но я, по своей необдуманности и неопытности, былъ виною происшедшаго скандала. И вотъ, на другой день, около полудня, я уже былъ у моего друга.

— Тебеньковъ! — привѣтствовалъ я его: — ужели изъ-за того, что произошло вчера, изъ-за нѣсколькихъ необдуманныхъ съ моей стороны выраженій, ты захочешь разорвать со мною?

Мой другъ дрогнулъ. Я очень ясно прочиталъ на лицѣ его, что у него ужъ готовъ былъ вицмундиръ, чтобъ ѣхать къ князю Ивану Семенычу, что опоздай я еще минуту—и кто бы поручился за то, что могло бы произойти! Однако замѣшательство его было моментальное. Раскаяніе мое видимо тронуло его. Онъ протянулъ мнѣ обѣ руки, и мы долгое время стояли рука въ руку, чувствуя по взаимнымъ трепетнымъ пожиманіямъ, какъ сильно взволнованы были наши чувства.

— Разорвать! Съ тобой, мой бѣдный Гамбетта! — наконецъ произнесъ онъ.—Никогда!

— Но... съ либерализмомъ?! — спросилъ я, почти задыхаясь отъ страха.

Онъ дрогнулъ опять. Идея, что вицмундиръ вычищенъ, и что затѣмъ стоитъ только взять извозчика и ѣхать — видимо угнетала его. Но такова сила либеральнаго прошлаго, что оно, даже въ виду столь благопріятныхъ обстоятельствъ, откликнулось и восторжествовало.

— Никогда! — воскликнулъ онъ совершенно твердымъ голосомъ. — Plutôt la mort que le déshonneur!

— La mort—c'est trop dire! Но подумай, однако-жъ, мой другъ! Вотъ ты ждалъ къ празднику черезъ плечо... вотъ какъ бы это...

— A bah! ça viendra! — сказалъ онъ весело и махнулъ рукою.

Затѣмъ мы обнялись. Тебеньковъ велѣлъ сервировать завтракъ, и всѣ недоразумѣнія были сейчасъ же покончены.

— Мнѣ—разорвать съ либерализмомъ! Мнѣ?—говорилъ мой другъ, покуда мы дигюстировали какой-то необыкновенной красоты лафитъ:—но развѣ ты не понимаешь, что *это* значило бы разбить вдребезги всю мою жизнь! Знаешь

ли ты, съ которыхъ поръ я либералъ? Ты еще въ рубашечкахъ ходилъ, какъ я ужъ былъ испытаннѣйшимъ либераломъ въ цѣломъ Петербургѣ! Уже тогда я проектировалъ всѣ тѣ идеи, которыми теперь нашъ общій другъ, Менандръ Прелестновъ, волнуетъ умы въ «Старѣйшей Русской Пѣнкоснимательницѣ»! Покойный князь Ѳедоръ Ѳедорычъ не даромъ говаривалъ: «Тебеньковъ тѣмъ болѣе опасенъ, что никогда нельзя понять, чего собственно онъ добивается!» Ты понимаешь? Это была цѣлая система, именно въ томъ и заключающаяся, чтобъ никто ни въ чемъ не могъ уличить, а между тѣмъ всякій бы чувствовалъ, что нѣчто есть, и только вотъ теперь эта система пошла настоящимъ образомъ въ ходъ! Либерализмъ, mon cher, это для меня цѣлое семейное преданіе! C'est tout un culte. Мой отецъ, моя мать, мой дѣдъ... всѣ были либералы! Мой отецъ первый подалъ мысль объ обязательномъ посѣвѣ картофеля... tu sais, потомъ изъ этого еще произошли знаменитыя «картофельныя войны»? Моя мать еще въ 1818 году порѣшила съ женскимъ вопросомъ, выйдя, при живомъ мужѣ, замужъ за моего отца! И ты могъ думать, что я измѣню этимъ преданіямъ! Mon cher! позволь тебѣ сказать: ты грубо, ты непростительно грубо ошибался!

Тебеньковъ такъ былъ взволнованъ, говоря это, что даже закусилъ нижнюю губу.

— Тебеньковъ! Я ошибался, я глубоко, грубо, непростительно ошибался! Я сознаю это!—лепеталъ я.

— Постой, я не все сказалъ. Возьми мои теперешнія связи — онѣ всѣ до одной либеральныя. Отъ кого я жду обновленія Россіи — отъ князя Льва Кирилыча! Какую газету я читаю—«Старѣйшую Всероссійскую Пѣнкоснимательницу»! J'espère que c'est assez concluant! Учрежденіе читаленъ, народнаго театра, распространеніе полезныхъ знаній—во всемъ и вездѣ я играю первую роль! Я всегда и вездѣ говорилъ: «Господа! не полагайте движенію препонъ, но умѣйте овладѣть имъ. Овладѣйте, господа, дайте движенію надлежащее направленіе—et alors tout ça ira comme sur des roulettes! Только овладѣйте!» Сколько я потерялъ черезъ это — ты знаешь самъ. Ты знаешь очень хорошо, чѣмъ бы я могъ быть, если-бъ принялъ въ то время предложеніе князя Ивана Семеныча! Онъ предлагалъ мнѣ Анны... Ты понимаешь, святыя Анны... помимо Станислава! въ мои лѣта! Ah! c'était bien joli! Но я сказалъ прямо: если бы къ

этому прибавили три тысячи аренды, то и тогда я еще подумаю! Почему я такъ смѣло отвѣтилъ? А потому, мой другъ, что, во-первыхъ, у меня есть своя административная система, которая несомнѣнно когда-нибудь понадобится, а во-вторыхъ, и потому, что я знаю навѣрное, что отъ меня мое не уйдетъ. Система моя очень проста: *никогда ничего прямо не дозволять и никогда ничего прямо не воспрещать.* C'est simple comme bonjour. Но чтобы ты могъ лучше понять мой административный идеалъ, я попрошу тебя вообразить себѣ, что въ настоящую минуту я нахожусь у дѣлъ. Первое, что̀ я дѣлаю—это ослабляю бразды. Хотя, въ сущности, въ этомъ еще нѣтъ ничего опредѣленнаго, но для насъ, русскихъ, уже одно это очень и очень важно. Мы такъ чувствительны къ браздамъ, что малѣйшее измѣненіе въ манерѣ держать ихъ уже цѣнится нами. И вотъ, когда я ослабилъ бразды, когда всѣ почувствовали, это—вдругъ начинается настоящее либеральное пиршество, un vrai festin d'idées libérales. Литература ликуетъ, студенты ликуютъ, женщины ликуютъ, всѣ вообще, какъ бы сговорившись, выходятъ на Невскій съ папиросами и сигарами въ зубахъ! И замѣть: я ничего *прямо* не дозволялъ, а *только ничего прямо* не воспрещалъ! Я, съ своей стороны, тоже ликую. Я вижу эти наивныя, малымъ довольныя лица, я указываю на нихъ и говорю: вотъ доказательства разумности моей системы! J'espère que j'ai bien mérité mon cordon rouge de s-te Anna! Такимъ образомъ проходитъ годъ, а можетъ-быть, и два—я все продолжаю мою систему, то-есть ничего прямо не дозволяю, но и ничего прямо не воспрещаю. Тогда начинаютъ тамъ и сямъ прорываться проявленія такъ-называемой licence. Подчиненные Держиморды бѣгутъ ко мнѣ въ ужасѣ и докладываютъ, что такого-то числа въ Канонерскомъ переулкѣ, въ домѣ подъ № такимъ-то, шла рѣчь о непризнаніи авторитетовъ. Но я еще не раздѣляю опасеній моихъ сослуживцевъ и настаиваю на томъ, что мѣръ кротости совершенно достаточно, чтобъ обратить заблудшихъ на путь истины. Pas trop de zèle, messieurs, говорю я, surtout pas trop de zèle! Затѣмъ я призываю зачинщиковъ и келейнымъ образомъ дѣлаю имъ внушеніе: «Господа, говорю я, вы должны понять, что у насъ безъ авторитетовъ нельзя! Если вы хотите, чтобъ я имѣлъ возможность защитить васъ, то поберегите и меня! Если не хотите, то скажите прямо — я удалюсь въ отставку!» Разумѣется, моя угроза дѣйствуетъ. Всѣ кричатъ: «осто-

рожнѣе! осторожнѣе! потому что, если оставитъ насъ Тебеньковъ—мы погибли!» Такъ проходитъ, быть-можетъ, еще цѣлый годъ. Mais hélas! les idées subversives—c'est quelque chose de très peu solide, mon cher! Съ ними никогда нельзя быть увѣреннымъ, гдѣ онѣ остановятся, и не перейдутъ ли ту границу «недозволеннаго», но и «не воспрещеннаго», въ прочномъ установленіи которой и заключается вся задача истиннаго либерализма. И вотъ, по прошествіи извѣстнаго времени, la licence relève la tête и прямо утверждаетъ, что «невоспрещеніе» равняется «дозволенію». Начинается шумъ, mesquineries, рѣзкости въ родѣ тѣхъ, которыя мы слышали вчера вечеромъ. Тогда я говорю уже прямо: «messieurs! je m'en lave les mains!»—и уступаю мое мѣсто князю Ивану Семенычу. Hein? tu comprends?

— Гм!.. да... это въ своемъ родѣ...

— Не правда ли? Mais attends, attends encore! je n'ai pas tout dit! Итакъ, на мое мѣсто приходитъ и начинаетъ оперировать князь Иванъ Семенычъ. Собственно говоря, я ничего не имѣю противъ князя Ивана Семеныча и даже въ ряду прочихъ феноменовъ признаю его далеко не безполезнымъ. Въ общей административной экономіи такіе люди необходимы. Въ минуты, когда дурныя страсти доходятъ до своего апогея, всегда являются такъ-называемые Божіи бичи и очищаютъ воздухъ. Не нужно только, чтобъ они слишкомъ долго оставались въ должности воздухоочистителей, потому что тогда это дѣлается, наконецъ, скучнымъ. Но по временамъ очищать воздухъ—не безполезно. Такимъ образомъ, покуда князь Иванъ Семенычъ выполняетъ свое провиденціальное назначеніе, я остаюсь въ сторонѣ; я только слѣжу за нимъ и слегка критикую его. Этою критикою я, -такъ сказать, напоминаю о себѣ: я не даю забыть, что существуетъ и другая система, которая состоитъ не столько въ очищеніи воздуха, сколько въ умѣренномъ пользованіи его благорастворенiями. И дѣйствительно, не проходитъ нѣсколькихъ мѣсяцевъ, какъ страсти уже утихли, волненія отчасти усмирены, отчасти подавлены, и существованіе князя Ивана Семеныча само собой утрачиваетъ всякій raison d'être. Напрасно старается онъ устраивать бури въ стаканѣ воды: его время прошло, онъ не нуженъ, онъ надоѣлъ, онъ даже не забавенъ. Тогда опять прихожу я и опять приношу съ собой свою систему... И такимъ образомъ мы чередуемся: сперва я, потомъ князь Иванъ Семенычъ, потомъ опять я, опять князь Иванъ Се-

менычъ и такъ далѣе... Mais n'est-ce pas que c'est le vrai système?

— Да; это система... я назвалъ бы ее системою равновѣсія,—твердо замѣтилъ я.

— Именно такъ. Именно система равновѣсія. C'est toi qui l'as dit, Gambetta! Pauvre ami! tu n'as pas de sistème à toi, mais tu as quelquefois des révélations! Ты иногда однимъ словомъ опредѣляешь цѣлое положеніе! Система равновѣсія — c'est le mot, c'est le vrai mot! Сегодня я, завтра опять Иванъ Семенычъ, послѣзавтра опять я — какого еще равновѣсія нужно? Mais revenons à nos moutons, то-есть къ цѣли твоего посѣщенія. Итакъ, ты находишь, что вчера я былъ *къ нимъ* слишкомъ строгъ?

— Да, строгонекъ-таки...

— Нельзя, mon cher! Ты забываешь, что я имъ же добра хочу. Нельзя этого допустить... ты понимаешь, нельзя!

— Но вѣдь ты самъ же сейчасъ говорилъ, что твоя «система», между прочимъ, заключается въ томъ, чтобъ «не воспрещать»!

— Ah, mais entendons-nous, mon cher! *Прямо* не воспрещать, но и *прямо* не дозволять — voici la formule de mon système. Сверхъ того, ты забываешь еще, что, какъ поправку къ моей системѣ, я допускаю періодическое вмѣшательство князя Ивана Семеныча, — а это очень важно! Ah! c'est très grave, mon cher! потому что безъ князя Ивана Семеныча tout mon système s'écroule et s'évanouit! Я необходимъ, но и князь Иванъ Семенычъ... о! онъ тоже въ своемъ родѣ... ah! c'est une utilité! c'est très grande utilité!

— Послушай, однако-жъ! Сообрази, чего же онѣ собственно хотятъ!

— Онѣ хотятъ извратить характеръ женщины—excusez du peu! Представь себѣ, что онѣ достигнутъ своей цѣли, что всѣ женщины вдругъ разбредутся по академіямъ, по университетамъ, по окружнымъ судамъ... что̀ тогда будетъ? Où sera le plaisir de la vie? Что̀ станется съ нами, съ тобой, со мной, которые не можемъ существовать безъ того, чтобъ не *баловать* женщину?

Вопросъ, предложенный Тебеньковымъ, нѣсколько сконфузилъ меня. Признаюсь, онъ и мнѣ нерѣдко приходилъ въ голову, но я какъ-то всегда отлынивалъ отъ его разрѣшенія. Въ самомъ дѣлѣ, что̀ станется со мной, если женщины будутъ пристроены къ занятію? Кого я буду бало-

вать? Теперь, покуда женскій вопросъ еще находится на старомъ положеніи, я знаю, гдѣ мнѣ «въ минуту жизни грустную» искать утѣшенія. Когда мнѣ горько жить, или просто когда мое сердце располагается къ чувствительности, я ищу женскаго общества и знаю навѣрное, что тамъ обрѣту забвеніе всѣхъ несносностей, которыя отуманиваютъ мое существованіе ici bas. Тамъ я найду ту милую causerie, полную неуловимыхъ petits riens, которая, не прибавляя ничего существеннаго къ моему благополучію, тѣмъ не менѣе разливаетъ извѣстный bien être во всемъ моемъ существѣ и помогаетъ мнѣ хоть на время забыть, что я не болѣе, какъ печальный осколокъ сороковыхъ годовъ, живущій воспоминаніемъ прошлыхъ лучшихъ дней и тщетно усиливающійся примкнуть къ настоящему, съ его «шумомъ» и его «crudités». Тамъ я отдохну душой, въ самомъ изящномъ значеніи этого слова. Тамъ, на этихъ волнахъ кружевъ и блондъ, на этомъ граціозномъ смѣшеніи бархата и атласа, мой взоръ успокоится отъ сермяжныхъ впечатлѣній дѣйствительности. Тамъ я найду тотъ милый обманъ, то чудесное смѣшеніе идеальнаго и реальнаго, котораго такъ жаждетъ душа моя и котораго, конечно, не дадутъ никакіе диспуты о прародителяхъ человѣка. Тамъ все уютно, все тепло; тамъ и свѣтъ не рѣжетъ глазъ, и тѣни ложатся мягче, ровнѣе. И всего этого вдругъ не будетъ! И на мой вопросъ: дома ли Катерина Михайловна?— мнѣ отвѣтятъ: «онѣ сегодня въ окружномъ судѣ Мясниковское дѣло защищаютъ»! Что̀ со мной станется, когда всѣ эти petits riens исчезнутъ, уступивъ мѣсто крикливымъ возгласамъ о фаллопіевыхъ трубахъ и объ околоплодной жидкости? Кого я буду баловать? Передъ кѣмъ стану сжигать ѳиміамъ моего сердца? Кому буду дарить конфеты? Кого стану называть «belle dame»?

Но развѣ надо мной однимъ стрясется бѣда—что̀ будетъ съ литературой, съ романомъ? Если бездѣлица отойдетъ на второй планъ, о чемъ будутъ трактовать романисты? Что̀ ни говори, какъ ни притворяйся романистъ публицистомъ и гражданиномъ, ему никогда не скрыть, что настоящая болячка его сердца—это все-таки улучшеніе быта бездѣлицы. Не будетъ дѣвицъ, томящихся подъ сѣнью развѣсистыхъ липъ въ ожиданіи кавалеровъ, не будетъ дамъ, изнемогающихъ въ напрасной борьбѣ съ адюльтеромъ—не будетъ и романа! Вотъ что̀ ясно для меня, какъ дважды-два. Но, ради самого Бога, что̀ же тогда будетъ? Кто меня

утѣшитъ? Кто заставитъ пролить слезу? Нѣтъ! ежели не ради себя, то ради романа, ради «изящной словесности»— я протестую! Возьмите все, что̀ угодно! Попирайте авторитеты! подкапывайтесь подъ основы! оспаривайте русское происхожденіе Микулы Селяниновича! но сохраните дѣвицъ, глядящихъ на большую дорогу, по которой имѣютъ обыкновеніе пріѣзжать кавалеры, и дамъ, выходящихъ на борьбу съ адюльтеромъ! Ah! c'est si joli—une femme qui reste indécise entre le devoir et l'adultère! Сколько тутъ перипетій! сколько непредвидѣннаго! какая горькая, почти безнадежная борьба! Даже суровые моралисты—и тѣ поняли, какъ великъ предстоящій въ этомъ случаѣ женщинѣ жизненный подвигъ, и потому назвали побѣду надъ адюльтеромъ—*торжествомъ добродѣтели.*—Вотъ эта женщина «добродѣтельна», говорятъ они, ибо съ успѣхомъ боролась въ Чугуевѣ съ цѣлымъ штабомъ военныхъ поселеній. А вотъ эта женщина не можетъ быть названа «добродѣтельною», потому что не могла устоять передъ настойчивостью одного землемѣра... Однимъ словомъ, всякая женская «добродѣтель» заключена тутъ, въ этомъ ограниченномъ, завѣтномъ кругѣ...

— И за всѣмъ тѣмъ я все-таки снисходителенъ,—продолжалъ мой другъ:—до тѣхъ поръ, пока онѣ разглагольствуютъ и сотрясаютъ воздухъ междометіями, я готовъ смотрѣть на ихъ домогательства сквозь пальцы. Mais malheur à elles, если онѣ зачнутъ обобщать эти домогательства и пріискивать для нихъ надлежащую формулу... ah, qu'elles y prennent garde!

— Но вѣдь онѣ ничего же и не формулируютъ!

— Гм!.. ты думаешь? Ты полагаешь, что женскій вопросъ, по ихъ мнѣнію, въ томъ только и состоитъ, чтобъ женщины получили доступъ въ телеграфистки и къ слушанію университетскихъ лекцій? Ты серьезно такъ полагаешь?

— Позволь! дѣло не въ томъ, какъ я или онѣ полагаютъ, а въ томъ, чѣмъ онѣ *ограничиваютъ* свои домогательства!

— A d'autres, mon cher! Un vieux sournois, comme moi, ne se laisse pas tromper si facilement. Сегодня къ вамъ лѣзутъ въ глаза съ какою-нибудь медико-хирургическою академіею, а завтра на сцену выступитъ уже вопросъ объ отношеніяхъ женщины къ мужчинѣ и т. д. Connu!

— Да не выступитъ этотъ вопросъ! А ежели и выступитъ, то именно только какъ теоретическій вопросъ, кото-

рый нелишне обсудить! Ты знаешь, какъ онѣ охотно становятся на отвлеченную точку зрѣнія! Вѣдь въ ихъ глазахъ даже мужчина—только вопросъ, и больше ничего!

— Да! но вотъ это-то именно и опасно. C'est justement là que gît le danger. Въ твоихъ глазахъ абстрактность—смягчающее обстоятельство, въ моихъ—это обстоятельство усугубляющее. Если-бъ онѣ разрѣшили этотъ вопросъ практически, каждая сама для себя—ça serait une question de tempérament, et voilà tout. Но онѣ хотятъ, чтобъ имъ разрѣшеніе на бумажкѣ было написано. Онѣ *законовъ* требуютъ! Понимаешь ли: онѣ хотятъ, чтобъ законодатель взялъ въ руки перо и написалъ: позволяется à ces demoiselles и т. д. Нѣтъ-съ! Этого нельзя-съ!

Опять мысль, и опять откровеніе! Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь *онѣ* какъ будто о томъ больше хлопочутъ, чтобъ было что-то на бумажкѣ написано! Ихъ интригуетъ не столько фактъ, сколько то, что вотъ въ такой-то книжкѣ объ этомъ такъ-то сказано! Спрашивается: необходимо ли это, или же представляется достаточнымъ, просто, безъ всякихъ законовъ, признать совершившійся фактъ, да и дѣло съ концомъ?

— Наши дамы давно уже порѣшили съ этимъ вопросомъ, и міръ нимало не пострадалъ отъ этого!—продолжалъ ораторствовать Тебеньковъ:—На-дняхъ la princesse Nathalie—tu sais qu'il lui arrive quelquefois d'avoir des moments de charmante intimité avec ses amis—сказала мнѣ: «mon cher! nous autres, femmes du monde, nous avons depuis longtemps tranché la question! Nous ne faisons pas de radottages, mais nous agissons!»

— La princesse Nathalie! est-ce possible? Une «sainte»!

— Да-съ, une «sainte»! Et elle a parfaitement raison, la belle princesse! Потому что вѣдь, ты понимаешь, ежели извѣстныя формы общежитія становятся слишкомъ узкими, то весьма естественно, что является желаніе расширить ихъ. Не объ этомъ споръ: это давно всѣми признано, подписано и рѣшено. Saperlotte! Не дѣлаться же монахиней изъ-за того только, чтобъ князь Левъ Кирилычъ имѣлъ удовольствіе свободно надѣвать на голову свой ночной колпакъ! Но *какъ* расширить эти формы—вотъ въ чемъ весь вопросъ! Voici la grrande, la grrandissime question.

— Стало-быть, по-твоему, лучшее средство—это протестовать на манеръ «Belle Hélène»?

— А ты шутишь съ «Belle Hélène»? Нѣтъ, ты подумай!

Вотъ онъ, протестъ-то, съ которыхъ поръ начался! И замѣть: въ этой формѣ никто никогда не видѣлъ въ немъ ни малѣйшей опасности. Еще во времена троянской войны женскій вопросъ былъ уже рѣшенъ, но рѣшенъ такъ ловко, что это затрогивало только одного Менелая. Ménélas! on s'en moque—et voilà tout! Всѣ эти Фрины, Лаисы, Аспазіи, Клеопатры—что̀ это такое, какъ не прямое разрѣшеніе женскаго вопроса? А *онѣ* волнуются, требуютъ какихъ-то разъяснительныхъ правилъ, говорятъ: напишите намъ все это на бумажкѣ! Согласись, что это нѣсколько странно? Согласенъ?

— Да... для «Belle Hélène»... дѣйствительно, едва ли требуются разъяснительныя правила!

— Ну, вотъ видишь, *онѣ* сохнутъ о правилахъ! Мы всѣ, tant que nous sommes, понимаемъ, что первозданная Таутова азбука отжила свой вѣкъ, но, какъ люди благоразумные, мы говоримъ себѣ: зачѣмъ подрывать то, что̀ и безъ того стоитъ еле живо, но на чемъ покуда еще виситъ проржавѣвшая отъ времени вывѣска съ надписью: «Здѣсь начинается царство запретнаго»? Зачѣмъ публично и съ какимъ-то дурнымъ шикомъ вторгаться въ предѣлы этого царства, коль скоро мы всѣмъ этимъ quasi-запретнымъ можемъ пользоваться подъ самыми удобными псевдонимами? Для бо̀льшей вразумительности приведу тебѣ хоть слѣдующій примѣръ. И ты, и я, и всѣ мы, люди современной интеллигенціи, любимъ отъ времени до времени посѣщать театръ Берга. Для чего мы ѣздимъ туда? что̀ привлекаетъ насъ?—Это, конечно, личное дѣло. И вдругъ выискивается какой-нибудь intrus и выпаливаетъ намъ въ упоръ: «вы, господа, ѣздите къ Бергу смотрѣть, какъ француженки юбки поднимаютъ!» Согласись, что это было бы крайне непріятно! По крайней мѣрѣ, что касается до меня, то я сразу осадилъ бы наглеца. «Нѣтъ, милостивый государь, сказалъ бы я, вы ошибаетесь! я хожу къ Бергу совсѣмъ не для юбокъ и проч., а для того, чтобъ видѣть французскую веселость, la bonne et franche gaîté française!» Понимаешь? *Онъ* сказалъ: «юбки поднимаютъ», а я ему отвѣтилъ: «французская веселость». Вотъ это-то и есть псевдонимъ, одинъ изъ тѣхъ псевдонимовъ, которые позволяютъ намъ не слишкомъ тяготиться игомъ первозданной Таутовой азбуки!

Тебеньковъ говорилъ такъ убѣдительно и въ то же время такъ просто и мило, что мнѣ оставалось только удивляться:

гдѣ почерпнулъ онъ такія разнообразныя свѣдѣнія о Таутѣ, Фринѣ и Клеопатрѣ и проч.? Ужели все въ томъ же театрѣ Берга, который уже столь многимъ изъ насъ послужилъ отличнѣйшею воспитательной школой?

— Жизнь наша полна подобнаго рода экскурсій въ область запретнаго, или, лучше сказать, вся она—не что иное, какъ сплошная экскурсія. Азбука говоритъ, напримѣръ, очень ясно, что всѣ дѣти имѣютъ равное право на заботы и попеченія со стороны родителей; но если бы я или ты дали одному сыну рубль, а другому грошъ, то развѣ кто-нибудь позволилъ бы себѣ сказать, что подобное дѣйствіе есть прямое отрицаніе семейственнаго союза? Нѣтъ, всякій сказалъ бы себѣ: это только экскурсія въ область запретнаго,—экскурсія, въ которой всякій смертный можетъ встрѣтить нужду! Другой примѣръ: кто не знаетъ, что похищеніе чужой собственности есть прямое нарушеніе гражданскихъ законовъ, но ежели бы X., благодаря какимъ-нибудь формальнымъ упущеніямъ со стороны Z., оттягалъ у послѣдняго съ плечъ рубашку, развѣ кто-нибудь скажетъ, что такой исходъ процесса есть отрицаніе права собственности? Нѣтъ, всякій выразится, что и это только экскурсія, въ которой каждый смертный можетъ встрѣтить нужду! Представь же себѣ теперь, что вдругъ выступаетъ впередъ наглецъ и, заручившись этими фактами, во все горло оретъ: «Господа! посмотрите-ка, вѣдь собственность-то, семейство-то, основы-то ваши... фюйю!» Не въ правѣ ли мы будемъ замазать этому человѣку ротъ и сказать: «Дуракъ! чему ты обрадовался? догадался?! Велика штука! Ты догадался, а мы и подавно! Только мы не хотимъ, чтобъ ты насъ безпокоилъ! Не безпокой насъ, ибо дураковъ-горлановъ на цѣпь сажаютъ!» Но, впрочемъ, pardon, cher! Я, кажется, слишкомъ заболталъ тебя этими mesquineries, которыя слывутъ у насъ подъ пышнымъ именемъ «вопросовъ».

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ! Сдѣлай милость! Съ твоей стороны это такая откровенность! такая, можно сказать, драгоцѣннѣйшая откровенность!

— Итакъ, continuons. Я самъ не дорого цѣню эту первозданную азбуку и очень хорошо понимаю, что стоитъ ткнуть въ нее пальцемъ—и она развалится сама собой. Но для черни, mon cher, это неоцѣненнѣйшая вещь! Представь себѣ, что вдругъ *всѣ* сказали бы, что запретнаго нѣтъ—вѣдь это было бы новое нашествіе печенѣговъ!

Вѣдь они подвергли бы домà наши разграбленію, они осквернили бы нашихъ женъ и дѣвъ, они уничтожили бы всѣ памятники цивилизаціи! Но, Dieu merci, этого нѣтъ и не будетъ, потому что это запрещено. Они знаютъ, saperlotte, что въ каждой губерніи существуетъ окружной судъ, а въ иныхъ даже по два и по три, и что при каждомъ судѣ имѣется прокуроръ, который относительно печенѣговъ неумолимъ. Вотъ это-то именно и заставляетъ меня видѣть въ первозданной азбукѣ нѣкотораго рода палладіумъ. Я говорю себѣ: свойства этой азбуки таковы, что для меня лично она можетъ служить только огражденіемъ отъ печенѣжскихъ набѣговъ,—съ какой же стати я буду настаивать нà ея упраздненіи?

— Позволь, душа моя! Я понимаю твою мысль: если *всѣ* захотятъ имѣть безпрепятственный входъ къ Бергу, то понятно, что твои личныя желанія въ этомъ смыслѣ уже не найдутъ такого полнаго удовлетворенія, какое они находятъ теперь. Но, признаюсь, меня страшитъ одно: а чтò, если они, то-есть печенѣги... тоже начнутъ вдругъ настаивать?

— Impossible! Это именно тотъ предразсудокъ, который уже не разъ ввергалъ въ бездну гибели цѣлыя націи. Съ тѣхъ поръ, какъ печенѣги перестали быть номадами, ихъ нечего опасаться. У нихъ есть осѣдлость, есть домъ, поле, домашняя утварь, и хотя все это, вмѣстѣ взятое, стòитъ двугривенный, но вѣдь для человѣка, не видавшаго ни гроша, и двугривенный уже представляетъ довольно солидную цѣнность. Сверхъ того, они «боятся» и—чтò всего замѣчательнѣе—боятся именно того, чтò всего менѣе способно возбуждать страхъ въ мыслящемъ человѣкѣ. Они боятся грома, боятся домовыхъ, боятся свѣтопреставленія. Et plus ils sont bêtes, plus ils sont souples. Слѣдовательно самая лучшая внутренняя политика относительно печенѣговъ—это разъ навсегда сказать себѣ: чѣмъ меньше имъ давать, тѣмъ больше они будутъ упорствовать въ удовольствіи. Я либералъ, но мой взглядъ на печенѣговъ до такой степени ясенъ, что самъ князь Иванъ Семенычъ, конечно, позавидовалъ бы ему, если бы онъ могъ понять, въ чемъ состоитъ настоящій, разумный либерализмъ. Печенѣгъ смиренъ, покуда ему ничего не даютъ. Какъ только ему попало что-нибудь на зубы—онъ дѣлается ненасытенъ, et puis—c'est fini! L'histoire des peuples est là pour attester la vérité de ce que j'avance!

— Такъ ли это, однако-жъ? Вотъ у меня былъ знакомый, который тоже такъ думалъ: попробую, молъ, я не кормить свою лошадь, можетъ-быть, она и привыкнетъ! И точно, дней шесть не кормилъ и только-что, знаешь, успѣлъ сказать: ну, слава Богу, кажется, привыкла!—анъ лошадь-то возьми да и издохни!

— Гм!.. да... ты все смѣешься, Гамбетта! А знаешь ли ты, что эта смѣшливость очень и очень тебѣ вредитъ? Tu ne parviendras jamais—и я первый объ этомъ жалѣю, parce que tu as quelquefois des idées. Даже наши либералы, и тѣ выражаются о тебѣ: «ce n'est pas un homme sérieux!» Разумѣется, я заступаюсь за тебя, сколько могу. Я всѣмъ и всегда говорю: въ государствѣ, господа, и въ особенности въ государствѣ обширномъ, и Гамбетта имѣетъ право на существованіе! Но вѣдь противъ установившагося общаго мнѣнія и мое заступничество безсильно!

Сдѣлавши этотъ выговоръ, Тебеньковъ такъ дружескимило подалъ мнѣ руку, что я самъ созналъ все неприличіе моего поведенія и далъ себѣ слово никогда не разсказывать анекдотовъ, когда идетъ рѣчь о выѣденномъ яйцѣ.

— Затѣмъ возвратимся вновь къ такъ-называемому женскому вопросу и постараемся придти къ заключенію. Я утверждалъ, что вопросъ этотъ давнымъ-давно разрѣшенъ, и берусь подтвердить эту мысль примѣрами. Оглянись кругомъ: la princesse de P., la baronne de K., наконецъ Катерина Михайловна, наша добрѣйшая Катерина Михайловна—развѣ не разрѣшили онѣ этого вопроса совершенно опредѣленно и къ полному своему удовольствію? Что онѣ не посѣщаютъ медико-хирургической академіи—mais c'est simplement parce qu'elles s'en moquent bien... de l'académie! А если бы захотѣли, то и въ академію бы ѣздили, и никто бы не имѣлъ ничего сказать противъ этого! А почему никто ничего не сказалъ бы? Потому просто, что всякій понялъ бы, что это одинъ изъ тѣхъ jolis caprices de femme, которымъ уже по тому одному нельзя противорѣчить, что ce que femme veut, Dieu le veut.

— Но коли такъ, то почему же не удовлетворить желанію этихъ demoiselles, которыхъ ты слышалъ вчера?

— Да именно потому, что въ первомъ случаѣ c'est un de ces jolis caprices que toute femme a le droit d'avoir. Женщина, и въ особенности хорошенькая, имѣетъ право быть капризною — это ея привилегія. Если она можетъ *вдругъ* пожелать парюру въ двадцать тысячъ, почему же

вдругъ не пожелать ей посѣтить медицинскую академію? И вотъ она желаетъ, но желаетъ такъ мило, что достоинство женщины нимало не терпитъ отъ этого. Напротивъ, тутъ-то именно, въ этомъ оригинальномъ желаніи, и выступаетъ та женственность, которую мы, мужчины, такъ цѣнимъ. La baronne de K., слушающая господина Сѣченова,—можно ли вообразить себѣ quelque chose de plus gracieux, de plus piquant?! Поэтому я не только не буду препятствовать желанію баронессы, но самъ поѣду сопровождать ее, самъ предупрежу господина Сѣченова. Monsieur! lui diraije, la baronne est bonne fille! Elle ne déteste point les crudités, mais à condition qu'on sâche leur donner une forme piquante, qui permette à son sentiment de femme de ne pas s'en formaliser! Затѣмъ мы ѣдемъ, мы беремъ съ собой Катерину Михайловну и ея jeunes gens, мы садимся на тройки, устраиваемъ quelque chose comme un piquenique и выслушиваемъ курсъ физіологіи à l'usage des dames et des demoiselles, который г. Сѣченовъ прочтетъ намъ. Оттуда—къ Дороту или въ другой какой-нибудь кабачокъ. Вотъ и все. О томъ, чтобъ интернировать господина Сѣченова въ сердцахъ нашихъ дамъ, о томъ, чтобы сдѣлать его лекціи настольной книгой нашихъ будуаровъ, о томъ, чтобы укоренить въ нашихъ салонахъ физіологическій жаргонъ—нѣтъ и помину. Мы разрѣшили женскій вопросъ, мы узнали, comment cela leur arrive,—этого съ насъ довольно! Напротивъ того, дѣвицы, въ обществѣ которыхъ мы находились вчера, о томъ только и думаютъ, чтобы навсегда интернировать господина Сѣченова въ своемъ домашнемъ обиходѣ. Чистота женскаго чувства, ce sentiment de pudeur qui fait monter le feu au visage d'une femme, это благоуханіе невѣдѣнія, эта прелесть непочатости — elles mettent tout ça hors de cause! Онѣ требуютъ господина Сѣченова tout de bon, et elles traînent le reste dans la fange! Halte-là, mesdames!

— Но все-таки нѣтъ же прямого повода называть ихъ неблагонамѣренными. Онѣ любятъ Сѣченова, но вѣдь онѣ не неблагонамѣренныя? Не правда ли? Вѣдь ты согласенъ со мной?

— «Неблагонамѣренныя»—это слишкомъ сильно сказано, j'en conviens. Mais ce sont des niaises—отъ этого слова я никогда не откажусь. Это какія-то утопистки стенографистики и телеграфистики! А утопизмъ, mon cher, никогда до добра не доводитъ. Можно упразднять азбуку de facto:

взялъ и упразднилъ—это я понимаю; но чтобъ придти и требовать какихъ-то законовъ объ упраздненіи—c'est tout bonnement exorbitant.

Я задумался. Въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ дожидаться закона объ упраздненіи, когда никто не препятствуетъ de facto совершить самый актъ упраздненія! Вѣдь вотъ и la princesse de P., и la baronne de K. и, наконецъ, наша милѣйшая Катерина Михайловна — вѣдь упраздняютъ же онѣ! О, Наденька Лаврецкая, о, Гапочка Перерепенко! Вы, которыя чуть не пѣшкомъ прибѣжали въ Петербургъ изъ вашихъ захолустьевъ ради разрѣшенія женскаго вопроса,—вы не понимаете, что вопросъ этотъ разрѣшается такъ легко! Стòитъ только подобрать компанію jeunes gens bien comme il faut, затѣмъ нанять нѣсколько троекъ и покатить, съ бубенчиками, прямо въ театръ Берга, эту наицѣлесообразнѣйшую медико-хирургическую академію à l'usage des dames et des demoiselles! Тамъ дѣвица Филиппò прочтетъ вамъ лекцію: «L'impot sur les célibataires», а дѣвица Лафуркадъ, пропѣвъ «A bas les hommes!», вмѣстѣ съ тѣмъ провозгласитъ и окончательную эмансипацію женщинъ...

Тебеньковъ между тѣмъ торжествовалъ. Онъ замѣтилъ мое раздумье и до того увѣровалъ въ неотразимую убѣдительность своихъ доводовъ, что все лицо его какъ бы сіяло вдохновеніемъ.

— Я не называю ихъ неблагонамѣренными,—говорилъ онъ:—à Dieu ne plaise! Но полиція, mon cher, полиція не можетъ быть либеральною, какъ я или ты! Она не имѣетъ права терпѣть, чтобы общественная нравственность была подрываема, такъ сказать, при свѣтѣ дня. Она смотритъ сквозь пальцы, она благосклонно толерируетъ, когда ты, я, всякій другой, наконецъ, разрѣшаемъ женскій вопросъ келейнымъ образомъ и на свой страхъ. Но когда мы выходимъ изъ нашей келейности и съ дерзостью начинаемъ утверждать, что разговоръ объ околоплодной жидкости есть единственный достойный женщины разговоръ—alors la police intervient et nous dit: halte-là, mesdames et messieurs! respectons la morale et n'embêtons pas les passants par des mesquineries inutiles! Согласитесь, что оно и не можетъ быть иначе!

— Да какъ бы тебѣ сказать... оно точно... на практикѣ оно такъ и бываетъ!

— Нѣтъ, не «бываетъ», а «должно быть», не можетъ

иначе быть! Ты, Гамбетта, неисправимъ! Ты думаешь, что тò, чтò совершается такъ, а не иначе, совершается по какому-то озорству. Нѣтъ, оно совершается такъ потому, что не можетъ иначе совершиться. L'histoire a sa logique, mon cher, и для какихъ-нибудь двухъ-трехъ десятковъ дѣвицъ не можетъ измѣнить свое величественное теченіе! Не расплывайтесь, messieurs! Помните, что наше время—не время широкихъ задачъ! Вотъ лозунгъ, къ которому пришла вся наша либеральная партія, et tant qu'elle restera dans ces convictions, la police n'aura rien à y redire! Но, впрочемъ, къ чему продолжать безплодный разговоръ. Чтобъ убѣдить тебя нагляднымъ образомъ, насколько эти дамы неправы, добиваясь какого-то разрѣшенія женскаго вопроса, тебѣ достаточно пройтись со мной по Невскому и потомъ зайти позавтракать къ Дюсò. Здѣсь ты на каждомъ шагу десять разъ убѣдишься, что женскій вопросъ давнымъ-давно разрѣшенъ, и притомъ самымъ радикальнымъ образомъ. Итакъ, идемъ. Кстати, ужъ третій часъ, а это именно моментъ моей прогулки и моего завтрака...

День стоялъ сѣрый, не холодный, но съ легкимъ морозцемъ, одинъ изъ тѣхъ дней, когда Невскій, около трехъ часовъ, гудитъ народомъ. Слышалось бряцаніе палашей, шарканье калошъ, постукиваніе палокъ. Пестрая говорящая толпа наполняла тротуаръ солнечной стороны, сгущаясь около особенно бойкихъ мѣстъ и постепенно рѣдѣя по мѣрѣ приближенія къ Аничкину мосту. Тамъ и сямъ истово выступали «наши дамы», окруженныя молоденькими, послѣдняго выпуска офицерами и сопровождаемыя лакеями въ богатыхъ ливреяхъ. Между ними, словно ящерицы, проползали ревнительницы женскаго вопроса, по поводу которыхъ у насъ чуть-чуть не произошла ссора съ Тебеньковымъ, бойко стуча каблучками и держа подъ мышками книги. Сановники faisaient leur tournée de matin, и нѣкоторые изъ нихъ очень мило вставляли въ глазъ стеклышко и не безъ пріятности фредонировали: «J'ai un pied qui r'mue!» Четыре брата С. видѣлись на всѣхъ перекресткахъ и своимъ сходствомъ вводили проходящихъ въ заблужденіе. Дѣловой людъ не показывался или жался къ стѣнамъ домовъ. Напротивъ, гулящій людъ шелъ вольно, цѣлыми шеренгами и партіями, заложивъ руки въ карманы и занимая всю середину тротуара. У Полицейскаго моста остановились два бывшіе губернатора и объясняли другъ другу,

какъ бы они въ данномъ случаѣ поступили. Выходецъ изъ провинціи, въ фуражкѣ съ краснымъ околышкомъ, съ широкимъ затылкомъ, съ трепещущимъ подъ кашнѐ кадыкомъ и съ осовѣлыми глазами, уставился противъ елисеевскихъ оконъ и только-что не вслухъ думалъ: «хорошо бы тутъ родиться, тутъ получить воспитаніе, тутъ жениться и тутъ умереть, буде безсмертіе не дано человѣку!» Передъ магазиномъ эстамповъ остановилась цѣлая толпа и глядѣла на эстампъ, изображавшій дѣвицу съ поднятою до колѣнъ рубашкою; внизу эстампа было подписано: «L'oiseau envolé». Изъ ресторана Доминика выходили полинялыя личности, жертвы страсти къ бильярду и къ желудочной. По серединѣ улицы царствовала сумятица въ полномъ смыслѣ этого слова. Кареты, сани, дилижансы, желѣзнодорожные вагоны—все это появлялось и исчезало, какъ въ сонномъ видѣніи. Въ самомъ разгарѣ суматохи, рискуя передавить пѣшеходовъ, мчались на тысячныхъ рысакахъ молодые люди, обгоняя кокотокъ, которыхъ коляски и соболя зажигали неугасимое пламя зависти въ сердцахъ «нашихъ дамъ». Газъ въ магазинахъ еще не зажигался, но по мѣстамъ изъ-за оконъ уже виднѣлась протягивавшаяся къ газовому рожку рука. Еще минута—и весь Невскій загорится огнями, а вмѣстѣ съ огнями моментально исчезнетъ и та пестрая, фантастическая публика, которая переполняетъ теперь его тротуары.

Группа 1-я.

На углу Большой Конюшенной; шеренга изъ четырехъ молодыхъ людей неизвѣстнаго оружія.

1-й молодой человѣкъ *(докторальнымъ тономъ).* Чтобъ утверждать что-нибудь, надо прежде всего знать, что̀ утверждаешь. Вѣдь ты незнакомъ съ Муриными?

2-й молодой человѣкъ. Я... да... нѣтъ... но я слышалъ... quelqu'un, qui est très intime dans la maison, m'a raconté...

1-й молодой человѣкъ. Ну, вотъ видишь! Ты только слышалъ, а утверждаешь! И что̀ ты утверждаешь? Qu'Olga est jusqu'à nos jours fidèle à son grand dadais de colonel! Olga! je vous demande un peu, si ça a le sens commun!

Группа 2-я.

У Казанскаго моста; трое штатскихъ молодыхъ людей.

1-й молодой человѣкъ. И представь себѣ: сразу!

2-й и 3-й молодые люди *(вмѣстѣ).* Pas possible!

1-й молодой человѣкъ. Я самъ не успѣлъ хорошенько понять, что со мной дѣлается, какъ ужъ былъ счастливѣйшимъ изъ смертныхъ!

Группа 3-я.

У Михайловской; два несомнѣнные кавалериста.

Первый. И мужъ, ты говоришь, въ сосѣдней комнатѣ... ха-ха!

Второй. Да, въ сосѣдней комнатѣ, за преферансомъ сидитъ. И мы слышимъ, какъ онъ говоритъ: «пассъ!»

Первый. Ah, c'est unique!

Группа 4-я.

У одной изъ Садовыхъ; начальникъ и подчиненный.

Подчиненный. Онъ, вашество, какъ мѣсто-то получилъ? Вы Глафиру-то Ивановну изволите знать?

Начальникъ. Какъ же, какъ же! Хорошенькая! Ахъ, да! вѣдь она съ графомъ Николаемъ Петровичемъ... по-ни-маю!

Подчиненный. Ну, вотъ-съ! ну, вотъ-съ! ну, вотъ-съ!

Начальникъ. Пон-ни-маю!

. . . . . .

Группа 5-я.

У подъѣзда Дюсо; Тебеньковъ и я.

Тебеньковъ. А ты еще сомнѣвался, что женскій вопросъ рѣшенъ! Давно, mon cher! Еще «Прекрасная Елена»—ужъ та порѣшила съ нимъ!

X.—Семейное счастье.

21 іюля, наканунѣ своихъ именинъ, Марья Петровна Воловитинова съ самаго утра находится въ тревожномъ ожиданіи. Она лично надзираетъ за тѣмъ, какъ горничныя убираютъ комнаты и устраиваютъ постели для дорогихъ гостей.

— Пашенькѣ-то, Пашенькѣ-то, подушечку-то маленькую не забудьте подъ бочокъ положить!—командуетъ она направо и налѣво.

— А Семену Иванычу гдѣ постелить прикажете?—спрашиваетъ ее ключница Степанида.

— Ну, Сеничка пусть съ Петенькой поспитъ!—отвѣчаетъ она послѣ минутнаго колебанія.

— А то угольная порожнёмъ стоитъ!

— Нѣтъ, пусть ужъ, Христосъ съ нимъ, съ Петенькой поспитъ!... Ѳеденькѣ-то! Матрена! Ѳеденькѣ-то не забудьте, чтобъ графинъ съ квасомъ на ночь стоялъ!

— А перинку какую Семену Иванычу прикажете?

— Попроще, Степанидушка, попроще! Изъ тѣхъ... знаешь?—отвѣчаетъ Марья Петровна, томно вздыхая.

Сдѣлавъ эти распоряженія, Марья Петровна удаляется въ дѣвичью, гдѣ ждетъ ее поваръ съ разложенною на столѣ провизіей.

— Я сегодня дорогихъ гостей къ себѣ жду, Аѳоня!—говоритъ она повару.

— Слушаю-съ.

— Такъ какъ же ты думаешь, что̀ бы намъ такое сготовить, чтобъ дорогихъ гостей порадовать?

— На холодное галантиръ можно-съ.

— Что̀ это, Господи! Только и словъ у тебя, что галантиръ да галантиръ!

— Какъ вамъ угодно-съ.

— Нѣтъ, ужъ ты лучше... Да что̀ ты жуешь? что̀ ты все жуешь?

Аѳоня проворно подноситъ ко рту руку и что-то выговариваетъ.

— Тараканъ залѣзъ-съ!—отвѣчаетъ онъ.

— Ахъ ты, дурной, дурной! (Марья Петровна рѣшилась не омрачать праздника крѣпкими словами). Вѣрно ужъ клюкнулъ?

— Виноватъ-съ.

— Вотъ то-то вы, дурачки! огорчаете вы старую барыню, а потомъ и заѣдаете всякой дрянью!

— Виноватъ-съ.

— Ты бы вотъ, дурачокъ, подумалъ, что завтра, молъ, день барынина ангела; чѣмъ бы, молъ, мнѣ ее, матушку, порадовать?

— Виноватъ-съ...

— Молчать! Что̀ ты, подлецъ, какую власть надо мной взялъ! Я слово, а онъ два! я слово, а онъ два!.. Такъ вотъ ты бы и подумалъ: что̀ бы, молъ, такое сготовить, чтобъ барынѣ передъ дорогими гостями не совѣстно было! А ты, вмѣсто того, галантиръ да галантиръ!

— Можно ветчину съ горошкомъ подать-съ!—отвѣчаетъ поваръ съ нѣкоторымъ озлобленіемъ.

— Ну, да; ну, хоть ветчину съ горошкомъ... а съ боковъ-то котлеточекъ...

Марья Петровна высчитываетъ, сколько у нея будетъ гостей. Будутъ: Ѳеденька, Митенька и Пашенька; еще будетъ Сеничка, но его Марья Петровна почему-то пропускаетъ.

— Такъ ты три котлеточки къ одному боку положи,— говоритъ она.—Ну, а на горячее что̀?

— Щи изъ свѣжей капусты можно сдѣлать-съ.

Марья Ивановна разсчитываетъ: свѣжей капусты еще мало, а щи надобно будетъ всѣмъ подавать!

— Щи ты изъ крапивы сдѣлай, или нѣтъ, вотъ что̀: сдѣлай ты щи изъ крапивы для всѣхъ, да еще маленькій горшочекъ изъ свѣжей капусты... Понимаешь?

— Слушаю-съ.

— А на жаркое сдѣлай ты намъ баранинки, а сбоку положи три бекасика.

— Можно-съ.

— А пирожное, ужъ такъ и быть, общее: малиновый пирогъ! И я, старуха, съ ними полакомлюсь!

Кончивши съ поваромъ, Марья Петровна призываетъ садовника, который приходитъ съ горшками, наполненными фруктами. Марья Петровна раскладываетъ ихъ на четыре тарелки, поровну на каждую, и въ заключеніе, отобравъ особо самые лучшіе фрукты, отправляется съ ними по комнатамъ дорогихъ гостей. Каждому изъ нихъ она кладетъ въ потаенное мѣсто по нѣскольку отборныхъ персиковъ и сливъ, исключая Сенички, около комнаты котораго Марья Петровна хотя и останавливается на минуту, какъ бы въ бореніи, но выходитъ изъ борьбы побѣдительницей.

Марья Петровна — женщина очень почтенная: сосѣди знаютъ ее за чадолюбивѣйшую изъ матерей, а отецъ Павлинъ, мѣстный сельскій священникъ и духовникъ Марьи Петровны, даже всенародно однажды выразился, что душа ея всегда съ благопоспѣшеніемъ стремится къ благоутѣшенію ближняго, а десница никогда не оскудѣваетъ благоготовностью къ благоукрашенію храмовъ Божіихъ. Марья Петровна сама знаетъ, что она хорошая женщина, и нерѣдко, находясь наединѣ съ самой собою, потихоньку умиляется по поводу разнообразныхъ своихъ добродѣтелей. Сядетъ этакъ у окошечка, раздумается и даже всплакнетъ маленько. Все-то она устроила: Сеничку въ генералы вывела; Митеньку на хорошую дорогу поставила; Ѳеденька— давно ли изъ корпуса вышелъ, а ужъ тоже штабсъ-ротмистръ; Пашенька выдана замужъ за хорошаго человѣка;

одинъ только Петенька... «Ну, да этотъ убогонькій, за насъ Богу помолитъ!—думаетъ Марья Петровна:—надо же кому-нибудь и Богу молиться!..» И все-то она одна, все-то своимъ собственнымъ хребтомъ устроила, потому что хоть и былъ у нея мужъ, но покойникъ ни во что не входилъ, кромѣ какъ подавалъ батюшкѣ кадило во время всенощной да каждодневно вздыхалъ и за обѣдомъ, и за ужиномъ, и за чаемъ о томъ, что не можетъ самъ обѣдню служить. А храмы-то, храмы-то Божіи! Тогда-то Марья Петровна пелену на престолъ пожертвовала, тогда-то воздухи прекрасные вышила, тогда-то паникадило посеребрила... Какъ вспомнитъ это Марья Петровна да сообразитъ, что все это она, одна она сдѣлала, и что вся жизнь ея есть не что̀ иное, какъ рядъ благопотребныхъ подвиговъ, та̀къ у нея все внутри и заколышится, и сдѣлается она тихонькая-претихонькая, Агашку называетъ Агашенькой, Степашку—Степанидушкой, и все о чемъ-то сокрушается, все-то благодушествуетъ.

У Марьи Петровны три сына: Сеничка, Митенька и Ѳеденька; были еще двѣ замужнія дочери, но обѣ умерли, оставивъ послѣ себя Пашеньку (отъ старшей дочери) и Петеньку (отъ младшей).

Сеничка, какъ сказано выше, уже генералъ (разумѣется, штатскій) и занимаетъ довольно видный постъ въ служебной іерархіи. Начальники Сенички не нахвалятся имъ; мало того, что онъ держитъ въ страхѣ своихъ подчиненныхъ, но что̀ всего драгоцѣннѣе—самъ повиноваться умѣетъ. Окончивъ съ успѣхомъ курсъ въ училищѣ правовѣдѣнія, Сеничка съ гордостью могъ сказать, что ни одного чина не получилъ за выслугу, а все за отличіе, и, наконецъ, тридцати лѣтъ отъ роду, довелъ свою исполнительность до того, что начальство нашлось вынужденнымъ наградить его чиномъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника. Поздравляя его съ этой наградою, Сенечкинъ начальникъ публично улыбнулся и назвалъ его «général-enfant», а Сеничка, съ своей стороны, разревновался до того, что въ одинъ годъ сочинилъ пять проектовъ, изъ коихъ два даже по совершенно постороннему вѣдомству. Начальство просто растерялось и не знало, какъ наградить молодого генерала. Сеничка же, съ своей стороны, слушая со всѣхъ сторонъ себѣ похвалы, застѣнчиво краснѣлъ, что̀ придавало еще болѣе цѣны его усердію. Я не читалъ сочиненныхъ Сеничкою проектовъ, но, признаюсь, очень хотѣлъ бы почитать

ихъ. А такъ какъ, съ другой стороны, я достовѣрно знаю, что всѣ они кончались словами: *вмѣнить начальникамъ губерніи въ обязанность* и т. д., то, положивъ руку на сердце, я съ увѣренностью могу сказать, что содержаніе ихъ мнѣ заранѣе извѣстно до точности, а слѣдовательно и читать ихъ особенной надобности для меня не настоитъ.

Итакъ, со стороны службы, Сеничка былъ счастливъ; онъ имѣлъ прекрасный шитый золотомъ мундиръ, былъ баловнемъ своихъ начальниковъ, служилъ предметомъ зависти для сверстниковъ и примѣромъ подражанія для подчиненныхъ. Сверхъ того, онъ имѣлъ очень пріятную наружность и тѣ прекрасныя манеры, которыми вообще отличаются питомцы школы правовѣдѣнія. И въ наружности, и въ манерахъ его прежде всего поражала очень милая смѣсь откровенной преданности съ застѣнчивою почтительностью; сверхъ того, онъ имѣлъ постоянно бодрый видъ, а когда смотрѣлъ въ глаза старшимъ, то взглядъ его такъ отливалъ довѣрчивостью и признательностью, что старшіе, въ свою очередь, не могли оторвать отъ него глазъ и по этой причинѣ называли его «василискомъ благонравія». Замѣчательно, что до всего этого онъ дошелъ своимъ собственнымъ умомъ, безъ малѣйшей протекціи, потому что maman Волотивинова хотя была женщина съ состояніемъ, но жила безвыѣздно въ деревнѣ и никакихъ знатныхъ связей не имѣла. Вообще Сеничка могъ дерзать въ будущемъ очень далеко, и хотя предположеній своихъ по этому предмету не высказывалъ, но я знаю, что и онъ не чуждъ мечтаній. Я знаю, напримѣръ, что нерѣдко ему снились мундиры самыхъ разнообразныхъ цвѣтовъ и покроевъ, но всегда съ великолѣпнымъ шитьемъ; однажды онъ даже увидѣлъ себя во снѣ сплошь утыканнымъ павлиньими перьями, которыя такъ и играли на солнцѣ всевозможными радужными цвѣтами. Сонъ оказался вѣщунъ, потому что на другой же день его представили къ наградѣ. Повторяю: Сеничка былъ счастливъ. Однако было одно обстоятельство, которое грызло его, и обстоятельство это заключалось въ томъ, что онъ никакъ не могъ плѣнить сердце маменьки Марьи Петровны. Повидимому, онъ заключалъ въ себѣ всѣ данныя для увеселенія материнскаго сердца; повидимому, онъ былъ и благонравенъ, и почтителенъ, не пропускалъ ни одного праздника, чтобъ не пожелать милой маменькѣ «встрѣтить его въ полномъ душевномъ спокойствіи и въ той сердечной тишинѣ, которыхъ вы, милая маменька, вполнѣ достойны»,

однако материнское сердце оставалось холодно къ нему. Нельзя сказать, чтобы Марья Петровна не «утѣшалась» имъ: когда онъ въ первый разъ пріѣхалъ къ ней показаться въ генеральскомъ чинѣ, она даже потрепала его по щекѣ и сказала: «ахъ, ты мой!» но денегъ не дала и ограничилась ласковымъ внушеніемъ, что люди для того и живутъ на свѣтѣ, чтобъ другъ другу тяготы носить.

— Маменька, мнѣ надо будетъ мундиръ новый сшить!— сказалъ Сеничка, думая деликатнымъ образомъ дать понять объ истинной цѣли своего посѣщенія.

— Сшей, душенька, сшей! — снисходительно отвѣчала Марья Петровна, а денегъ такъ-таки и не дала.

Сосѣди всячески истолковывали себѣ причины холодности Марьи Петровны къ своему первенцу. Приплетали тутъ и какихъ-то двухъ офицеровъ пошехонскаго пѣхотнаго полка, и Карла Иваныча, аптекаря; говорили, что Сеничка—первый и единственный сынъ своего отца, и что Марья Петровна, не питавшая никогда нѣжности къ своему мужу, перенесла эту холодность и на сына...

Я, съ своей стороны, думаю, что все это пустяки. Не смѣя ни возражать, ни утверждать ничего относительно офицеровъ и аптекаря (потому что я и самъ этого обстоятельства не привелъ въ положительную извѣстность), я объясняю себѣ холодность Марьи Петровны нѣсколько иначе. Она была женщина простая, дѣятельная и весьма сообразительная; Сеничка же, напротивъ того, былъ молодой человѣкъ вычурный, лимфатическій и слегка словно пришибленный. Марья Петровна любила, чтобъ у нея дѣло въ рукахъ горѣло; Сеничка же любилъ всякое дѣло обсудить, то-есть не столько обсудить, сколько наговорить по поводу его съ три короба всякаго рода предварительныхъ пошлостей. Марья Петровна терпѣть не могла, когда къ ней лѣзли съ нѣжностями, и даже цѣлованіе руки считала хотя необходимою, но все-таки скучною формальностью; напротивъ того, Сеничка, казалось, только и спалъ и видѣлъ, какъ бы влѣпить мамашѣ безешку взасосъ, и шагу не могъ ступить безъ того, чтобы не сказать: «вы, милая маменька», или: «вы, добрый другъ, моя дорогая маменька». Весьма натурально, что, будучи отъ природы нетерпѣлива и не видя конца рѣчи, Марья Петровна выходила, наконецъ, изъ себя и готова была выкусить языкъ этому «подлецу Сенькѣ», который прехладнокровно сидѣлъ передъ нею и размазывалъ цвѣты своего краснорѣчія. «Какъ на-

чнетъ онъ это разводить, да размазывать, да душу изъ меня выматывать, какъ начнетъ-это свои слюни распускать, — говорила Марья Петровна по этому случаю: — такъ, повѣрите ли, родная моя, я даже свѣту не взвижу; такъ бы, кажется, изодрала ему ротъ-то его поганый, чтобъ онъ кашу-то эту изъ себя скорѣй выблевалъ!» Когда Марья Петровна ѣла, то совсѣмъ не жевала, а проглатывала пищу, какъ щука; напротивъ того, Сеничка любилъ всякій кусокъ разсмотрѣть, разжевать, просмаковать, посыпать разговорцемъ, и къ довершенію всего разрѣзывалъ кушанье на маленькіе кусочки, а съ огурца непремѣнно срѣзывалъ кожу. Поэтому, когда имъ случалось вдвоемъ обѣдать, то у Марьи Петровны всегда до того раскипалось сердце, что она, какъ ужаленная, выскакивала изъ-за стола и, не говоря ни слова, выбѣгала изъ комнаты, а Сеничка слѣдомъ за ней приставалъ: «кажется, я, добрый другъ маменька, ничѣмъ васъ не огорчилъ?» Наконецъ, когда Марья Петровна утромъ просыпалась, то, сплеснувъ себѣ наскоро лицо и руки холодною водой и накинувъ старенькую ситцевую блузу, тотчасъ же отправлялась по хозяйству и ужъ затѣмъ цѣлое утро переходила отъ погреба къ конюшнѣ, отъ конюшни въ контору, а тамъ въ оранжерею, а тамъ на скотный дворъ. Сеничка, напротивъ того, и спалъ какъ-то не по-человѣчески: во-первыхъ, на ночь умащалъ свое лицо притираньями; во-вторыхъ, проснувшись, цѣлый часъ разсматривалъ, не вскочило ли гдѣ прыщика, потомъ цѣлый часъ чистилъ ногти, потомъ цѣлый часъ изучалъ передъ зеркаломъ различнаго рода улыбки, при чемъ даже ротъ какъ-то на сторону выворачивалъ, словно выкидывалъ губами артикулъ. Хоть Марьѣ Петровнѣ до всего этого было очень мало дѣла, потому что она и не желала, чтобъ дѣти у нея въ домѣ чѣмъ-нибудь распоряжались, однако она и на конюшнѣ, бывало, вспомнитъ, что вотъ «Сенька-фатюй» теперь передъ зеркаломъ гримасы строитъ, и даже передернетъ ее всю при этомъ воспоминаніи. Однимъ словомъ, встрѣчаясь въ жизни на каждомъ шагу, они не только не могли ни въ чемъ сойтись, но положительно и постоянно точили другъ друга. Ясно, что причина этого явленія лежала совсѣмъ не въ офицерахъ пошехонскаго полка, но объяснялась гораздо проще. Они видѣть другъ друга не могли безъ того, чтобы мысленно не произнести — она: «ахъ, если-бъ ты зналъ, какъ меня отъ одного твоего вида тошнитъ!» — онъ: «ахъ, если-бъ ты знала, съ какимъ

бы я удовольствіемъ ноги своей сюда не поставилъ, кабы только отъ меня это зависѣло!» Какой же тутъ аптекарь! Тутъ просто люди не понимаютъ другъ друга, потому что говорятъ на разныхъ языкахъ!

Однажды Сеничка на-смерть перессорился съ маменькой изъ-за бани. Пріѣхавши лѣтомъ въ отпускъ, вздумалъ онъ вымыться въ банькѣ и пришелъ доложить объ этомъ маменькѣ. Онъ тогда только-что былъ произведенъ въ статскіе совѣтники и назначенъ вице-директоромъ какого-то департамента.

— У меня есть до васъ, милая маменька, большая просьба!—приступилъ Сеничка, по своему обыкновенію, съ предисловія.

— Говори, мой другъ!

— Вы меня извините, добрый другъ маменька, я только-что пріѣхалъ и рѣшаюсь уже васъ безпокоить...

— Говори, мой другъ!

— Но обстоятельство такого рода, что я, зная ваше доброе ко мнѣ расположеніе, и какъ вы всегда были снисходительны ко всѣмъ моимъ нуждамъ...

— Да говори же, дуракъ!

— Я, право, не знаю, дорогая маменька, чѣмъ я могъ заслужить вашъ гнѣвъ...

— Долго ли ты меня притѣснять будешь? долго ли тебѣ мной командовать?

— Я, милая маменька...

Но Марья Петровна уже вскочила и выбѣжала изъ комнаты. Сеничка побрелъ къ себѣ, уныло размышляя по дорогѣ, за что̀ его наказалъ Богъ, что онъ ни подъ какимъ видомъ на маменьку потрафить не можетъ. Однако Марья Петровна скоро обдумалась и послала дѣвку Палашку спросить «у этого, прости Господи, чорта», чего ему нужно. Палашка воротилась и доложила, что Семенъ Иванычъ въ баньку желаютъ сходить.

— На-тко! — сказала Марья Петровна и показала при этомъ Палашкѣ указательный палецъ правой руки: — на дворѣ сѣнокосъ, люди въ полѣ, а онъ въ баньку выдумалъ! Поди, доложи, что некому сегодня топить.

Однако черезъ нѣсколько минутъ Марья Петровна опять обдумалась, велѣла затопить баню и послала за Сеничкой.

— Ну, ступай въ баню, мой другъ,—сказала она кротко.

— Но если это затрудняетъ васъ въ вашихъ распоряженіяхъ, милый другъ маменька...

— Ступай въ баню, мой другъ,—опять повторила Марья Петровна и, чтобъ не увлекаться, занялась раскладываніемъ гранъ-пасьянса.

— Если всѣ люди въ полѣ, дорогая маменька...

Марья Петровна не отвѣчала, но, судорожно повертываясь на стулѣ, думала:

«Неужели это *я* такого дурака родила!»

— Я не знаю, милая маменька, что̀ я такое сдѣлалъ, чѣмъ я могъ васъ огорчить?

Молчаніе...

— Я благонравіемъ своимъ заслужилъ любовь всѣхъ моихъ начальниковъ, нынѣ назначенъ уже вице-директоромъ и льщу себя надеждою, что карьера моя далеко не кончена...

То же молчаніе, нарушаемое только шлепаньемъ картъ.

— Во всѣхъ семействахъ первородные сыновья...

— Уйдешь ли ты въ баню, мерзавецъ! — крикнула, наконецъ, Марья Петровна, но такимъ голосомъ, что Сеничкѣ стало страшно. И долго потомъ волновалась Марья Петровна, и долго разговаривала о чемъ-то сама съ собой, и все повторяла: «лишу! ну, какъ Богъ святъ лишу я этого подлеца наслѣдства! И передъ Богомъ не отвѣчу!»

Съ своей стороны Сеничка хоть и пошелъ въ баню, но не столько мылся въ ней, сколько размышлялъ:

«Господи, да отчего же я всѣмъ угодилъ, всѣмъ заслужилъ, только маменькѣ Марьѣ Петровнѣ ничѣмъ угодить и заслужить не могу!»

Второй сынъ Марьи Петровны, Митенька—дипломатъ. Онъ воспитывался въ лицеѣ, прекрасно владѣетъ французскимъ діалектомъ, смотритъ урожденнымъ камеръ-юнкеромъ и отлично танцуетъ. Лицо его выразительно и напоминаетъ скорѣе прекрасный худощавый итальянскій типъ, нежели нашъ мясистый русскій. Поговариваютъ, будто онъ пользуется значительными успѣхами у дамъ; тѣмъ не менѣе онъ ведетъ себя очень осторожно; исторій, которыя могли бы его скомпрометировать, никогда не имѣлъ и, какъ видно, предпочитаетъ обдѣлывать свои дѣла полегоньку. Вообще это малый довольно глубокомысленный, понимающій, что счастье человѣческое заключается въ скромности, терпѣніи и небрезгливости, и вслѣдствіе того всегда предпочитающій даму опытную, знакомую съ жизненною дипломатіей, какой-нибудь молоденькой, привлекательной, но въ то же время неосновательной бабенкѣ. Носились слухи,

что онъ сумѣлъ «сыскать» въ какой-то княгинѣ, знаменитой не столько настоящею, сколько прошедшею своею красотой; говорили, что онъ не только пользуется ея благосклонностью, но не пренебрегаетъ и другими, болѣе вещественными выгодами. Какъ бы то ни было, но квартира его была дѣйствительно отдѣлана какъ игрушечка, хотя Марья Петровна, по своей разсчетливости, не слишкомъ-то щедро давала дѣтямъ денегъ на прожитіе; сверхъ того, княгиня почти публично называла его сынкомъ, давала ему цѣловать свои ручки и безъ устали напоминала Митенькинымъ начальникамъ, что это перлъ современныхъ молодыхъ людей. Мнѣ, какъ автору, кромѣ того, извѣстно, что однажды княгиня, въ порывѣ чувствительности, даже написала къ Марьѣ Петровнѣ письмо, въ которомъ называла ее доброю maman и просила благословенія. Это былъ единственный случай, когда Митенька вышелъ изъ своего обычнаго хладнокровія и чуть-было не поссорился съ своею покровительницей. Въ первомъ увлеченіи гнѣва онъ нашелъ, что поступокъ этотъ черезчуръ уже нелѣпъ, que ça n'a l'air de rien, что это срамъ; однако-жъ, по зрѣломъ размышленіи, успокоился и даже разсудилъ, что нелѣпая сентиментальность княгини можетъ возвысить его въ мамашиныхъ глазахъ и, вмѣсто вреда, принести пользу. И дѣйствительно, почти вслѣдъ за тѣмъ онъ получилъ отъ мамаши письмо, полное самыхъ шутливыхъ намековъ, которое окончательно его успокоило. Письмо это оканчивалось порученіемъ поцѣловать милую княгиню и передать ей, что ея материнское сердце отнынѣ будетъ видѣть въ ней самую близкую, нѣжно любимую дочь. Разумѣется, Митенька порученія этого не исполнилъ.

Въ своемъ обществѣ Митенька называлъ Марью Петровну ma bonne pâte de mère и очень трогательно разсказывалъ, какъ она тамъ хозяйничаетъ въ деревнѣ, чтобъ прилично содержать своихъ дѣтей. Къ Сеничкѣ онъ относился дружелюбно, но видѣлся съ нимъ рѣдко и въ отношенія его къ матери не входилъ, ибо считалъ, что это не его дѣло. Онъ зналъ, что Сеничка не потеряется и въ концѣ концовъ все-таки женится на купчихѣ, которая соблазнится его генеральствомъ. Ѳеденьку, младшаго брата, онъ въ душѣ презиралъ и даже боялся, что онъ когда-нибудь непремѣнно или казенныя деньги украдетъ, или подъ судъ попадетъ, или получитъ непріятность по лицу. Тѣмъ не менѣе это опасеніе, быть-можетъ, было причиной, что онъ

поддерживалъ съ Ѳеденькой сношенія даже болѣе дѣятельныя, нежели съ Сеничкой: онъ надѣялся, что если и возникнетъ какая-нибудь непріятность, то можно будетъ своевременно-принятыми мѣрами предотвратить ее. Повторяю: это былъ малый очень глубокомысленный, принявшій свое положеніе въ томъ видѣ, въ какомъ оно дѣйствительно представлялось, и употреблявшій всѣ свои усилія на то, чтобъ вывернуться изъ него какъ можно приличнѣе. Если-бъ можно было упечь Ѳеденьку куда-нибудь подальше, но такъ, чтобъ это было прилично (ему часто даже во снѣ видѣлось, что Ѳеденька оказался преступникомъ и что его ссылаютъ въ Сибирь), то онъ бы ни на минуту не усомнился оказать въ этомъ дѣлѣ свое содѣйствіе.

Съ своей стороны, Марья Петровна не столько любила Митеньку, сколько боялась его. При одномъ его имени она чувствовала какой-то паническій страхъ—точно вотъ онъ сейчасъ возьметъ да и проглотитъ ее. Митенька дома держалъ себя таинственно-строго, съ матерью никогда не ссорился, но и въ откровенности не пускался. Въ сущности, онъ и Сеничка представляли почти одну и ту же натуру: та же шаткость основъ, то же отсутствіе всякой живой мысли, но вслѣдствіе особенностей характера и жизненной выдержки то, что̀ въ Сеничкѣ сказывалось прямою, неподкрашенною нелѣпостью, въ Митенькѣ являлось твердостью характера, переходившаго въ холодную и разсчетливую злость. Оба они говорили и дѣлали однѣ и тѣ же пошлости, но проводили эти пошлости въ жизнь совершенно различными путями. Сеничка суетился и сентиментальничалъ: онъ не смотрѣлъ на себя, какъ на государственнаго человѣка, но, надѣясь на милость начальства, былъ преданъ и выигрывалъ единственно усердіемъ и ничтожествомъ. Взирая на него, какъ онъ хлопочетъ и надрывается, усматривая на каждомъ шагу несомнѣнныя доказательства его почтительности, начальство говорило: «о! это молодой человѣкъ вѣрный, этотъ не выдастъ!» Напротивъ того, Митенька былъ неприступенъ и непроницаемъ; онъ хранилъ свою пошлость про себя и совершенно искренно вѣрилъ, что въ ней заключаются истинные задатки будущаго государственнаго человѣка; онъ не хлопоталъ, не суетился, но дѣлалъ свои маленькія нелѣпости серьезно и методически и поражалъ при этомъ благородствомъ манеръ. Взирая на эту силу ничтожества, доведенную почти до олимпійскаго спокойствія, начальство говорило: «да! это молодой человѣкъ

положительный, этотъ не выдастъ!» Результаты въ обоихъ случаяхъ выходили одинаковые; и дѣйствительно, Митенька шелъ впередъ столь же быстрыми шагами, какъ и Сеничка, съ тою только разницею, что Сеничка могъ надѣяться всплыть наверхъ въ такомъ случаѣ, когда будетъ запросъ на пошлецовъ восторженныхъ, а Митенька—въ такомъ, когда будетъ запросъ на пошлецовъ непромокаемыхъ. Марья Петровна радовалась успѣхамъ Митеньки, во-первыхъ, потому, что это не позволяло Сеничкѣ говорить: «всѣ у васъ дѣти пастухи—я одинъ генералъ!» и, во-вторыхъ, потому, что Митенька одинъ умѣлъ сдерживать Ѳеденьку, эту скорбь и, вмѣстѣ съ тѣмъ, радость и чаянье ея материнскаго сердца.

И дѣйствительно, Ѳеденька представлялъ собою совершеннѣйшій типъ не только пустѣйшаго малаго, но и положительнаго ерыги. «Всѣ у него удовольствія какія-то неблагородныя! Все-то у него либо подолъ поднять, либо рожу раскровянить!»—часто думала втихомолку Марья Петровна про Ѳеденьку, и болѣло же—охъ, болѣло!—ея материнское сердце! И припоминала ей безпощадная память всѣ оскорбленія, на которыя былъ такъ щедръ ея любимчикъ; подсказывала она ей, какъ онъ однажды, пьяный, ворвался къ ней въ комнату и, ставши передъ ней съ кулаками, заревѣлъ: «сейчасъ послать въ городъ за шампанскимъ, не то весь домъ своими руками передушу!» «И передушилъ бы!»—невольно повторяетъ Марья Петровна при этомъ воспоминаніи. Подсказывала ей память, какъ онъ въ другой разъ преданную ей ключницу Степаниду сбирался за что-то повѣсить, какъ онъ даже вбилъ гвоздь въ стѣну, приготовилъ веревку и, наконецъ, заставилъ Степаниду стать на колѣни и молиться Богу. Подсказывала ей память, какъ онъ однажды дьячку потихоньку косу обстригъ, и какъ дьячокъ былъ отъ того въ великомъ смущеніи и хотѣлъ даже доходить до епархіальнаго начальства... Вообще каждый пріѣздъ Ѳеденьки въ родительскій домъ равнялся непріятельскому погрому, послѣ котораго обыватели долго не могли придти въ себя. Во-первыхъ, всѣхъ горничныхъ непремѣнно перепортитъ, и не то чтобъ лаской или резоннымъ усовѣщиваньемъ, а все арапникомъ да нагайкой; во-вторыхъ, Божьяго дара не столько припьетъ-пріѣстъ, сколько озорствомъ разбросаетъ; въ-третьихъ, изо всего дома словно конюшню сдѣлаетъ. «Другая бы мать давно этакаго молодца въ суздаль-монастырь упекла!—разсуждаетъ сама съ

собой Марья Петровна, совершенно убѣжденная, что есть на свѣтѣ какой-то суздаль-монастырь, въ который чадолюбивые родители имѣютъ право на всякое время упекать ненравящихся имъ дѣтей. Никто въ домѣ не любилъ Ѳеденьку; всѣхъ-то онъ или полюбилъ, или оборвалъ; только горничныя дѣвки оказывали какое-то трепетное малодушіе при одномъ его взглядѣ, несмотря на жестокое его обращеніе.

Тѣмъ не менѣе, сердце Марьи Петровны ни къ кому изъ дѣтей такъ не лежало, какъ къ Ѳеденькѣ. Быть-можетъ, ей именно тò въ немъ и нравилось, что онъ такимъ коршуномъ налеталъ: «разбойникъ!»—громко говорилъ ея разсудокъ; «молодецъ!»—подсказывали внутренности, и, какъ и водится, послѣднія всегда одерживали побѣду въ этой неравной борьбѣ. Будучи сама характера рѣшительнаго и смѣлаго, она весьма естественно симпатизировала Ѳеденькѣ, который ни передъ чѣмъ не задумывался, ничѣмъ не затруднялся. Никогда не имѣлъ случая испытать надъ собой гнетъ чьей-нибудь власти, сама всегда властвуя и повелѣвая, она исполнялась какимъ-то наивнымъ удивленіемъ передъ Ѳеденькой, который сразу подчинялъ ее себѣ. Это былъ совсѣмъ не страхъ, въ родѣ того, который внушалъ ей Митенька,—это именно было удивленіе. Митеньку она боялась, потому что знала, что ужъ если этотъ человѣкъ чего захочетъ, то не станетъ много разговаривать, не станетъ горячиться, а просто ехиднѣйшимъ образомъ подкопается подо все существованіе и изведетъ, измучитъ въ конецъ, покуда не поставитъ на своемъ. Напротивъ того, Ѳеденька, какъ буянъ по натурѣ, дѣйствовалъ убѣжденіемъ, такъ сказать, механическимъ: вспылитъ, подыметъ дымъ коромысломъ, порой чуть-чуть не убьетъ, но черезъ десять минутъ опять успокоится и опять пошелъ шутки шутить.

Ко всему этому Ѳеденька былъ и по наружности молодецъ-молодцомъ. Высокій, плечистый, искрасна-бѣлокурый, онъ олицетворялъ собою типъ чисто-русскій, мясистый типъ, отъ котораго млѣютъ и ноютъ неиспорченныя сердца русскихъ помѣщицъ и ихъ горничныхъ. Часто, глядя на чего, Марья Петровна невольно думала: «Господи! да какъ же и противиться-то этакому молодцу!»— и въ этомъ, быть-можетъ, была вторая причина ея предпочтенія младшему сыну. Когда же, бывало, натянетъ онъ на себя свой кавалерійскій мундиръ, а на голову надѣнетъ мѣдную, какъ жаръ горящую, каску, да войдетъ этакимъ чудакомъ въ

мамашину комнату, то Марья Петровна едва удерживалась, чтобъ не упасть въ обморокъ отъ полноты чувствъ.

— Экъ! ужъ и расползлись!—скажетъ, бывало, Ѳеденька и дико-торжественно загогочетъ.

— Да помилуй, мой другъ!—вымолвитъ только Марья Петровна и долго смотритъ на своего идола, смотритъ безъ всякихъ мыслей, кромѣ одной: «Господи! да неужто же есть на свѣтѣ такая женщина, которая можетъ противиться моему молодцу!»

Кромѣ сыновей, у Марьи Петровны есть еще внучата: Пашенька и Петенька. Пашенька—кругленькое, маленькое и мяконькое существо—вотъ все, что̀ можно сказать о ней. Она менѣе года какъ замужемъ за «хорошимъ человѣкомъ», занимающимъ въ губернскомъ городѣ довольно видное мѣсто, котораго, однако-жъ, Ѳеденька откровенно называетъ «слюняемъ» и «фофаномъ»; Марья Петровна души въ ней не слышитъ, потому что Пашенька любитъ копить деньги. Петенька—четырнадцатилѣтній мальчикъ, полуидіотъ и единственный постоянный собесѣдникъ Марьи Петровны, которая обращается съ нимъ снисходительно и жалуется только на то, что онъ, по своей нечистоплотности, слишкомъ много бѣлья изнашиваетъ. Единственный разсказъ, которымъ всѣхъ и каждаго потчивалъ Петенька, заключался въ томъ, какъ онъ однажды заблудился въ лѣсу, легъ спать подъ дерево и на другой день, проснувшись, увидѣлъ, что кругомъ обросъ грибами.

— Что̀-жъ, ты, чай, такъ ихъ сырые и пріѣлъ?—спрашивалъ его обыкновенно Ѳеденька.

— *Ѣй!*—отвѣчалъ Петенька, который, помимо малоумія, былъ до такой степени косноязыченъ, что трудно было понять, что̀ онъ говоритъ.

— Ну, братъ, скотина же ты!

— *Кати...*

Итакъ, вотъ то семейство, среди котораго Марья Петровна Воловитинова считала себя совершенно счастливою.

Часу въ первомъ усмотрѣно было по дорогѣ первое облако пыли, предвѣщавшее экипажъ. Дѣвки засовались, домъ наполнился криками: «ѣдутъ! ѣдутъ!» Петенька, на палочкѣ верхомъ, выѣхалъ на крыльцо и во все горло дралъ какую-то вновь сочиненную имъ галиматью: «пати-маля, малятата-бумъ-бумъ!» Марья Петровна тоже выбѣжала на крыльцо и по дорогѣ наградила Петеньку такимъ шлепкомъ по то-

ловѣ, что тотъ такъ и покатился. Первая прибыла Пашенька; она была одна, безъ мужа.

— Другъ ты мой! а что же другъ-то твой, Максимъ Александрычъ?—воскликнула Марья Петровна, заключая въ свои объятія возлюбленную внучку.

— Максиму Александрычу никакъ нельзя, милая бабенька; у насъ, бабенька, скоро торги, такъ онъ приготовляется! Здравствуй, Петька!

— *Пати-маля, маля-тата, бумъ-бумъ!*

— Это онъ что-то новое у васъ, бабенька, выучилъ!

— Не слыхала еще, сегодня, должно-быть, выдумалъ! Это онъ «репримандъ» дорогимъ гостямъ дѣлаетъ.

— А я, бабенька, полторы тысячи накопила!—сообщаетъ Пашенька, какъ только унялись первые восторги.

— Ахъ, ты моя ягодка! Да никакъ ты тяжела?

— Я, милая бабенька, тяжела ужъ съ одиннадцатаго февраля!

— Ахъ, малютка ты моя милая! Гдѣ-жъ ты рожать-то будешь?

— Максимъ Александрычъ говоритъ, что у себя въ городѣ.

— Да есть ли у васъ бабка-то тамъ?

— У насъ, бабенька, такая бабка... такая бабка! нарочно для нашей губернаторши лучшую изъ Петербурга прислали!

— Стало-быть, у васъ губернаторша-то еще рожаетъ?

— Ахъ, бабенька, у насъ губернаторша... это ужасъ! Ужъ немолодая женщина, а каждый годъ, каждый годъ!

— Ну, это хорошо, что бабка у васъ такая... Куда же ты деньги-то положила?

— Нѣтъ, бабенька, Максимъ Александрычъ мнѣ класть не совѣтовалъ; проценты нынче въ опекунскомъ совѣтѣ маленькіе, такъ я въ ростъ за большіе проценты отдала.

— Смотри, чтобъ онъ у тебя денегъ-то не выманилъ!

— Кто это?

— А Максимушка-то твой; бываютъ, Пашенька, мой другъ, бываютъ такіе озорники, что и жену готовы живую съѣсть, только бы деньги изъ нея вымучить!

— Ну, ужъ это, бабенька, тогда развѣ будетъ, когда онъ жилы изъ меня потянетъ!

— То-то, ты смотри!

Бабенька смотритъ Пашенькѣ въ глаза и не налюбуется на нее; Пашенька съ своей стороны докладываетъ, что приходилъ къ ней недавно въ городъ мужикъ изъ Жостова,

Михей Пантелеевъ, просилъ оброкъ простить, потому что погорѣлъ: «да я ему, милая бабенька, не простила».

— Ну, душенька, иногда по-божески нельзя и не простить!—замѣчаетъ Марья Петровна.

— Ну, ужъ нѣтъ, бабенька, этакъ они такъ объ себѣ возмечтаютъ, что послѣ съ ними и не сговоришь!

— Однако, душечка...

— Нѣтъ, бабенька, нѣтъ! Я ужъ рѣшилась никогда никому никакихъ снисхожденій не дѣлать!

Потомъ Пашенька разсказываетъ, какой у нихъ въ городѣ домъ славный, какъ ихъ всѣ любятъ, и какіе у Максима Александровича доходы по службѣ прекрасные.

— Въ прошлый наборъ, бабенька, такъ это ужасти, сколько Максимъ Александрычъ пріобрѣлъ!—говоритъ она.

— Да, это хорошо, коли въ домъ, а не изъ дому! Ты, Пашенька, разузнай подъ рукой про его доходы-то, а не то какъ разъ на сторонѣ метрессу заведетъ.

— Что̀ вы, бабенька, да я ему глаза выцарапаю!

— Ахъ, ты моя ягодка!

Пашенька чувствуетъ приливъ нѣжности, которая постепенно переходитъ въ восторгъ. Она ластится къ бабенькѣ, цѣлуетъ у нея ручки и глазки, называетъ царицей и божественной. Марья Петровна сама растрогана; хоть и порывается она замѣтить, по поводу Михея Пантелеева, что все-таки слѣдуетъ иногда «этимъ подлецамъ» снисходить, но замѣтка эта утопаетъ въ другомъ разсужденіи, выражающемся словами: «а коли по правдѣ, что̀ ихъ, канальевъ, и жалѣть-то!» Такимъ образомъ время проводится незамѣтно до самаго пріѣзда дяденекъ.

Наконецъ и они пріѣхали. Ѳеденька, какъ соскочилъ съ телѣги, прежде всего обратился къ Пашенькѣ съ вопросомъ: «ну, что̀, а слюняй твой гдѣ?» Петеньку же взялъ за голову и сряду три раза на ней показалъ, какъ слѣдуетъ ковырять масло. Но какъ ни спѣшилъ Сеничка, однако все-таки опоздалъ пятью минутами противъ младшихъ братьевъ, и Марья Петровна, въ радостной суетѣ, даже не замѣтила его пріѣзда. Безъ шума подъѣхалъ онъ къ крыльцу, слѣзъ съ перекладной, осыпалъ ямщика укоризнами и даже пригрозилъ отправить къ становому.

— Милости просимъ, милости просимъ, хоть и поздній гость!—говоритъ ему Марья Петровна, когда онъ входитъ въ ея комнату.

— Я, милая маменька, выѣхалъ прежде всѣхъ...

— А ты умѣй послѣ всѣхъ выѣхать, да прежде всѣхъ пріѣхать!—говоритъ Ѳеденька.—Право: мы выѣхали со станціи полчаса послѣ него; думаемъ, пускай его угодитъ маменькѣ... Сеня, а, Сеня! признайся, вѣдь тебѣ очень хотѣлось угодить маменькѣ?

Сеничка улыбается; онъ хочетъ притвориться, что Ѳеденька—и его фаворитъ, и что, по любви къ нему, онъ смотритъ на его выходки снисходительно.

— Только на половинѣ дороги смотримъ, кто-то передъ носомъ у насъ трюхъ-трюхъ!—продолжаетъ Ѳеденька:—вѣдь просто даже глядѣть было на тебя тошно, какимъ ты разуваемъ ѣхалъ, а еще генералъ... ха-ха!

— Ну, Христосъ съ нимъ, Ѳеденька!

— Да нѣтъ, маменька, не могу я равнодушно видѣть... его, да вотъ еще Пашенькинова слюняя... Шипятъ себѣ да шипятъ втихомолку!

— Что̀ такое тебѣ мой слюняй сдѣлалъ?—горячо вступается Пашенька, которая до того уже привыкла къ этому прозвищу, что и сама нерѣдко, по ошибкѣ, называетъ мужа слюняемъ.

Митенька сидитъ и хмуритъ брови. Онъ спрашиваетъ себя: куда онъ попалъ? Онъ безъ ужаса не можетъ себѣ представить, что̀ сказала бы княгиня, если-бъ видѣла всю эту обстановку, и даетъ себѣ слово уѣхать изъ родительскаго дома, какъ только будутъ соблюдены необходимыя приличія. Марья Петровна видитъ это дурное расположеніе Митеньки и принимаетъ мѣры къ прекращенію непріятнаго разговора.

— Ну, вы, пѣтухи индѣйскіе, какъ сошлися, такъ и наскочили другъ на друга!—говоритъ она ласково.—Разсказывайте-ка лучше каждый про свои дѣла! Начинай-ка, Ѳеденька!

Митенька думаетъ про себя: «Господи, и слова-то какія! «пѣтухи индѣйскіе»! да куда-жъ это я попалъ!» Сеничка думаетъ: «А вѣдь это она не меня пѣтухомъ-то назвала. Это она все Ѳедьку да Пашку ласкаетъ!»

— Да что̀ я скажу,—начинаетъ Ѳеденька:—жупруемъ!

— Да ты разсказывай! — настаиваетъ Марья Петровна.

— Недавно одну корифейку затравили!

— Что̀ ты!

— Уговаривали добромъ — не хотѣла; ну, и завели обманомъ въ одно мѣсто и затравили!

— Ахъ, вы, бѣдокуры, бѣдокуры!—говоритъ Марья Петровна, покачивая головой и вздыхая.

— Тебя, Ѳеденька, за эти продѣлки непремѣнно въ солдаты разжалуютъ,—очень серьезно замѣчаетъ Митенька.

— Еще что̀?

— Ахъ, боюсь и я этого, боюсь я, что ты очень ужъ шаловливъ сталъ, Ѳеденька!

— Такъ неужто-жъ имъ спуску давать!

— Да ужъ очень ты неосторожно, другъ мой! Чай, вѣдь она, Ѳеденька, плакала?

— Ну, что-жъ... и плакала! Смотрѣть, что ли, на ихнія слезы!

Марья Петровна опять вздыхаетъ, но въ этомъ вздохѣ не слышится ни малѣйшей укоризны, а скорѣе какое-то сладкое чувство удовлетворенной материнской гордости.

— Вотъ если-бъ *онъ* вздумалъ такую продѣлку сдѣлать, — продолжаетъ Ѳеденька, указывая на Сеничку:—ну, это точно: сейчасъ бы его, раба Божьяго, сграбастали... Нѣтъ! да вѣдь я позабыть не могу, какимъ онъ фофаномъ давеча ѣхалъ!

— Ну, гдѣ ужъ ему!

— Нѣтъ, маменька,—прерываетъ вдругъ Сеничка, которому хочется вступиться за свою честь:—я тоже однажды имѣлъ случай въ этомъ родѣ...

— Полно, полно хвастаться-то! Ужъ гдѣ тебѣ, убогому!

Сеничка стыдливо умолкаетъ и весь погружается въ самого себя; онъ думаетъ, что̀ бы такое ему сказать пріятное, когда маменька станетъ разспрашивать о его житьѣ-бытьѣ.

— Я, маменька, опять Эндоурова обыгралъ, — продолжаетъ повѣствовать Ѳеденька.

— Скажи, сдѣлай милость, и много выигралъ?

— Да тысячъ на пять обжегъ.

— Что это за Эндоуровъ такой? Должно-быть, хорошій человѣкъ?

— Просто филинъ... въ карты шагу ступить не умѣетъ— ну, и обжегъ! Не суйся впередъ, коли лапти плетешь!

— Ну, и за это тебя когда-нибудь въ солдаты разжалуютъ,—хладнокровно замѣчаетъ Митенька.

— Ахъ, что̀ это ты, Митенька, точно ворона каркаешь!— съ неудовольствіемъ отзывается Марья Петровна.

— Не тянуть же мнѣ канитель по двѣ копейки въ ералашъ, какъ Семену Иванычу!—огрызается Ѳеденька.

— Извините-съ, я нынче по пяти играю, а не по двѣ-съ!—отвѣчаетъ Сеничка не безъ волненія.

— Такъ ты по пяти играешь! Ахъ ты развратникъ! Но

только ты все-таки не повѣришь, какимъ ты фофаномъ давеча ѣхалъ!

— Для тебя бы, Сеничка, такая-то игра и дорогонька!— сухо замѣчаетъ Марья Петровна и обращается къ Митенькѣ:—è ву, ля метрессъ... тужуръ бьенъ?

— Желалъ бы я знать, отчего вы вдругъ по-французски заговорили?—угрюмо спрашиваетъ Митенька.

— Отчего-жъ мнѣ и не заговорить по-французски!

— Нѣтъ, я желалъ бы знать, отчего вы все время говорили по-русски, а вотъ какъ вамъ взошла въ голову пакость, сейчасъ принялись за французскій языкъ?

— Ахъ, Господи! Да неужто-жъ это преступленіе какое?

— И сколько я разъ говорилъ вамъ, чтобы вы со мной о подобныхъ предметахъ не заигрывали?

— Вѣдь ты, чай, сынъ мнѣ! Всякой матери лестно слышать, коли сынъ успѣхи имѣетъ!

— А я вамъ говорилъ и вновь повторяю, что имѣю ли я успѣхи, или нѣтъ, это до васъ не касается!

— Ну, ужъ не знаю...

— Такъ знайте. И по-французски не упражняйтесь, потому что вы говорите не по-французски, а по-коровьи...

Я не знаю, какъ вывернулась бы изъ этого пассажа Марья Петровна и сумѣла ли бы она защитить свое материнское достоинство; во всякомъ случаѣ Сеничка оказалъ ей неоцѣненную услугу, внезапно фыркнувъ во всеуслышаніе. Вѣроятно, его точно такъ же, какъ и Митеньку, поразилъ французскій языкъ матери, но онъ нѣкоторое время крѣпился, какъ вдругъ Митенька своимъ вовсе не остроумнымъ сравненіемъ вызвалъ наружу всю накопившуюся смѣшливость.

— Ты еще что? — строго обратилась къ нему Марья Петровна.

— Я, маменька, одинъ смѣшной случай вспомнилъ-съ...

— Надъ матерью-то посмѣяться тебя станетъ, а вотъ какъ заслужить чѣмъ-нибудь, такъ тутъ тебя нѣтъ!

— Я, маменька...

Но здѣсь опять—и, конечно, противъ всякаго желанія— Сеничка разразился самымъ неестественнымъ фырканьемъ, такъ что самъ понялъ все неприличіе своего поведенія и инстинктивно поднялся со стула.

— Поди въ свою комнату... очнись!—говорила ему вслѣдъ до глубины души оскорбленная мать.

Только къ обѣду явился Сеничка, но и то единственно

за тѣмъ, чтобъ испить до дна чашу униженія. За обѣдомъ все шло по-сказанному: Марья Петровна сама выбирала и накладывала лучшіе куски на тарелки Митенькѣ, Ѳеденькѣ и Пашенькѣ, и потомъ, обращаясь къ Сеничкѣ, прибавляла: «ну, а ты, какъ старшій, самъ себѣ положишь, да кстати ужъ и Петенькѣ наложи». Очевидно, что при такой простотѣ обращенія только относительно щей дѣло могло принять оборотъ нѣсколько затруднительный, но и тутъ обстоятельства выручили Марью Петровну, потому что Ѳеденька, какъ воинъ грубый, предпочелъ крапивныя щи лѣнивымъ, и вслѣдствіе этого оказалось возможнымъ полтарелки послѣднихъ удѣлить Сеничкѣ. Наѣвшись баранины, Сеничка почувствовалъ такую тяжесть въ желудкѣ, что насилу дошелъ до своей комнаты и какъ снопъ свалился на постель; Ѳеденька отправился послѣ обѣда на конюшню; Пашенька, какъ *тяжелая*, позволила себѣ часочекъ-другой отдохнуть; Марья Петровна осталась съ Митенькой наединѣ.

— Вотъ вы смѣетесь надо мной, мои друзья, — сказала она въ видѣ предисловія:—а я, какъ мать, можно сказать, денно и нощно только объ васъ думаю.

Митенька молчалъ и думалъ про себя: «ну, вѣрно, по обыкновенію, пойдутъ разговоры о завѣщаніи!»

— Вотъ я теперь и стара, и дряхла становлюсь,—продолжала Марья Петровна:—мнѣ бы и о душѣ пора подумать, а не то чтобъ имѣніемъ управлять или свѣтскими дѣлами заниматься!

Митенька продолжалъ молчать, совершенно хладнокровно пуская ртомъ кольца дыма.

— Паче всего сокрушаюсь я о томъ, что для души своей мало полезнаго сдѣлала. Все за заботами да за дѣтьми, анъ о душѣ-то и не подумала. А надо, мой другъ, ахъ, какъ надо! И какой это грѣхъ передъ Богомъ, что мы совсѣмъ-таки... совсѣмъ о душѣ своей не рачимъ!

Но Митенька словно окаменѣлъ. Только чуть замѣтная ироническая улыбка блуждала на губахъ его.

— Вотъ я, мой другъ, и придумала... Да что̀ же ты, однако, молчишь? Я, какъ мать, можно сказать, передъ тобою свое сердце открываю, а ты хоть бы слово!

— Вы объ завѣщаніи хотите говорить... я знаю!—процѣдилъ сквозь зубы Митенька.

— Ну, да, объ завѣщаніи... можно бы, кажется, на слова матери вниманіе обратить!

— Говорите.

— Нѣтъ, это обидно! Я, какъ мать, покоя себѣ не знаю, все присовокупляю, все присовокупляю... кажется, щепочку на улицѣ увидишь, и ту несешь да въ кучку кладешь, чтобъ дѣтямъ было хорошо и покойно, да чтобъ нужды никакой не знали, да жили бы въ холѣ да въ нѣженьи...

— Да мы, маменька, очень вамъ благодарны...

— Нѣтъ, мнѣ, видно, Богъ ужъ за васъ заплатитъ! Одинъ Онъ, Царь милосердый, все знаетъ и видитъ, какъ материнское-то сердце не то чтобъ, можно сказать, въ постоянной тревогѣ объ васъ находится, а еще пуще того объ судьбѣ вашей сокрушается... Чтобы жили вы, мои дѣти, въ веселостяхъ да въ нѣженьи, чтобъ и вѣтромъ-то на васъ какъ-нибудь неосторожно не дунуло, чтобъ и не посмотрѣлъ-то на васъ никто непривѣтливо...

— Да говорите же, маменька, я васъ слушаю.

Мало-по-малу, однако-жъ, Марья Петровна успокоилась. Она очень хорошо понимала, что весь этотъ разговоръ — не что̀ иное, какъ представленіе, да, сверхъ того, понимала и то, что и Митенька знаетъ, что все это представленіе; но такова уже была въ ней потребность порисоваться и посекретничать, что не могла она лишить себя этого удовольствія, несмотря на то, что оно, очевидно, не достигало своей цѣли.

— Ну, такъ видишь ли, другъ мой, что̀ я придумала. Года мои преклонные, да и здоровье нынче уже не то, что̀ прежде бывало: вотъ и хочется мнѣ теперь, чтобъ вы меня, старуху, успокоили, грѣхъ-то съ меня этотъ сняли, что вотъ я всю жизнь все объ мамонѣ да объ мамонѣ, а на хорошее да на благочестивое—и нѣтъ ничего. Такъ снимите же вы, Христа ради, съ меня эту тягость; вѣдь замучилась ужъ я, день-деньской маявшись: освободите вы мою душу грѣшную отъ муки-мученической! Вѣдь ты знаешь ли, какой я себѣ грѣхъ беру на душу: кажется, и не отмолить мнѣ его во вѣкъ!

Марья Петровна даже прослезилась—такъ оно выходило хорошо да чувствительно. Нѣсколько минутъ она все вздыхала и вытирала платкомъ слезы, обильно струившіяся изъ глазъ. Но мысль ея не спала въ это время. Странное дѣло! эта мысль подсказывала ей совсѣмъ не тѣ слова, которыя она произносила; она подсказывала: «да куда-жъ я, чортъ побери, дѣнусь, коли имѣніе-то все раздамъ! Все жила, жила да командовала, а теперь, натко, на старости-то лѣтъ да

подъ команду къ дѣтямъ идти!» И вслѣдствіе этого тайнаго разсужденія слезы текли еще обильнѣе, а материнское горе казалось еще горчѣе и безысходнѣе.

— Такъ что же вы предполагаете сдѣлать?—спокойно спросилъ Митенька.

— Отдамъ, все отдамъ!—съ какимъ-то почти злобнымъ крикомъ отвѣчала Марья Петровна: — нѣтъ моихъ силъ, нѣтъ моихъ силъ! Слушай ты меня, вотъ я какое завѣщаніе составила!

Марья Петровна отперла денежный ящикъ и вынула оттуда бумагу.

— Да вѣдь вы мнѣ ужъ нѣсколько разъ это завѣщаніе читали,—иронически замѣтилъ Митенька.

— Нѣтъ, это я другое... я то перемѣнила.

— Ну-съ, читайте.

— *Во имя*... ну, тамъ все какъ слѣдуетъ, по-старому... *первое*, сыну моему Семену, какъ непочтительному...

— Кто же вамъ повѣритъ, что Сеничка былъ къ вамъ непочтителенъ?

— Да мнѣ какое дѣло, повѣритъ ли кто, или нѣтъ; я мать—я и судья; имѣніе-то, чай, мое, благопріобрѣтенное...

— Ну-съ, хорошо-съ...

— «Сыну моему Семену—село Вырыпаево съ деревнями, всего триста пятьдесятъ пять душъ; второе, сыну моему Дмитрію—село Послѣдово съ деревнями, да изъ вырыпаевской вотчины деревни Манухину, Веслицыну и Горѣлки, всего девятьсотъ шестьдесятъ одну душу...»

Марья Петровна остановилась и взглянула на Митеньку: ей очень хотѣлось, чтобъ онъ хоть ручку у нея поцѣловалъ, но тотъ даже не моргнулъ глазомъ.

— Да что-жъ ты молчишь-то! что ты, деревянный, что ли!—почти крикнула она на него.

— Позвольте, маменька, дайте же до конца прослушать.

— «Третье, сыну моему Ѳедору—сельцо Дятлово съ деревнею Околицей и село Нагорное съ деревнями, а всего тысяча сорокъ двѣ души».

Митенька пускалъ дымъ уже не кольцами, а клубами. Онъ зналъ, конечно, что всѣ эти завѣщанія—вздоръ, что Марья Петровна пишетъ ихъ отъ нечего дѣлать, что она на слѣдующей же недѣлѣ, немедленно послѣ ихъ отъѣзда, еще два завѣщанія напишетъ, но какая-то робкая и вмѣстѣ съ тѣмъ безпокойная мысль шевелилась у него въ головѣ. «А ну, какъ она умретъ!—говорила эта мысль:—вѣдь всѣ

эти бредни, пожалуй, перейдутъ въ дѣйствительность». Справедливость, однако-жъ, заставляетъ меня сказать, что ни разу не пришло ему въ голову, что каково бы ни было завѣщаніе матери, все-таки братьямъ слѣдуетъ раздѣлить имѣніе поровну. Въ этомъ отношеніи онъ очень хорошо понималъ, что долгъ его повиноваться волѣ матери, тѣмъ болѣе, что повиновеніе это для него выгодно.

— Ну-съ?—сказалъ онъ.

— Вотъ и все; тамъ обыкновенно формальности разныя...

— А капиталъ?

— Какой же у меня капиталъ? А коли и есть капиталъ, такъ вѣдь надо же мнѣ, вдовѣ, прожить на что-нибудь до смерти!

— Да вѣдь это завѣщаніе, а не раздѣльный актъ...

— Неужто-жъ вы потребуете, чтобъ я послѣднее отдала? Чтобъ я и рубашку съ себя сняла?

— Это завѣщаніе, маменька, а не раздѣльный актъ...

— Ну, нѣтъ! Не ожидала я этого отъ тебя! Что-жъ, въ самомъ дѣлѣ, выгоняйте мать! И по дѣломъ старой дурѣ! по дѣломъ ей за то, что себѣ, на старость лѣтъ, ничего не припасала, а все дѣтямъ да дѣтямъ откладывала! Пускай съ сумой по дворамъ таскается!

— Извините меня, маменька, но мнѣ кажется, что все это только фантазіи ваши, и напрасно вы съ этимъ дѣломъ обратились ко мнѣ! («Это она Ѳедькѣ весь капиталъ-то при жизни еще передать хочетъ!»—шевельнулось у него въ головѣ). Вы лучше обратились бы къ Сеничкѣ: онъ на эти дѣла мастеръ; онъ и пособолѣзновалъ бы съ вами, и натолковался бы до-сыта, и предположеній бы всякихъ надѣлалъ!

И дѣйствительно, въ то самое время, какъ между Марьей Петровной и Митенькой происходила описанная выше сцена, Сеничка лежалъ на кровати въ Петенькиной комнатѣ и, несмотря на ощущаемую въ желудкѣ тяжесть, никакъ-таки не могъ сомкнуть глаза свои. Предположенія и планы, одинъ другого чуднѣе, одинъ другого разнообразнѣе, являлись его воображенію. То видѣлъ онъ, что Марья Петровна умираетъ, что онъ одинъ успѣлъ пріѣхать къ послѣднимъ ея минутамъ, что она прозрѣла и оцѣнила его любовь, что она цѣпенѣющею рукой указываетъ ему на шкатулку и говоритъ: «другъ мой сердечный! Сеничка мой милый! Это все твое!» То представлялось ему, что и маменька умерла, и братья умерли, и Петенька умеръ, и даже дядя, ма-

менькинъ братъ, съ которымъ Марья Петровна была въ ссорѣ за то, что подозрѣвала его въ похищеніи отцовскаго духовнаго завѣщанія, и тотъ умеръ, и онъ, Сеничка, остался общимъ наслѣдникомъ... То видится ему, что маменька призываетъ его и говоритъ: «слушай ты меня, другъ мой сердечный Сеничка! Лѣта мои преклонныя, да и здоровье не то, что̀ было прежде...» и въ заключеніе читаетъ ему завѣщаніе свое, читаетъ безъ пропусковъ (не такъ, какъ Митенькѣ: «тамъ, дескать, извѣстныя формальности»), а сплошь, начиная съ *во имя* и кончая «здравымъ умомъ и твердою памятью», и по завѣщанію этому оказывается, что ему, Сеничкѣ, предоставляется сельцо Дятлово съ деревнею Околицей и село Нагорное съ деревнями, а всего тысяча сорокъ двѣ души...

— А капиталъ, милый другъ мой маменька?—мысленно спрашиваетъ Сеничка.

— А капиталъ, другъ мой Сеничка, я тебѣ при жизни изъ рукъ въ руки передамъ... Только успокой ты мою старость! Дай ты мнѣ, при моихъ немощахъ, угодникамъ послужить! Лѣта мои пришли преклонныя, и здоровье ужъ не то, что̀ прежде бывало...

Пасмурная и огорченная явилась Марья Петровна ко всенощной. Въ образной никого изъ домашнихъ не было; отецъ Павлинъ, уже совершенно облаченный, уныло расхаживалъ взадъ и впередъ по комнатѣ, по временамъ останавливаясь передъ иконостасомъ и почесывая въ бородѣ; пономарь раздувалъ кадило и, повидимому, былъ совершенно доволенъ собой, когда отъ горящихъ въ немъ угольевъ внезапно вспыхивало пламя; дьячокъ шуршалъ замасленными листами требника и что-то бормоталъ про себя. Изъ залы долеталъ хохотъ Ѳеденьки и Пашеньки.

— Съ дорогими гостями! — привѣтствовалъ отецъ Павлинъ.—Начинать прикажете?

— Начинай, батюшка, начинай! Да что-жъ это Сенички нѣтъ! Дѣвки, позовите Семена Иваныча!

По обыкновенію и въ этомъ случаѣ Сеничка служилъ, такъ сказать, очистительною жертвою за братьевъ. За всенощной онъ долженъ былъ молиться. Но на этотъ разъ ему какъ-то не молилось; машинально водилъ онъ рукою по груди и задумчиво вглядывался въ облака дыма, изобильно выходившія изъ батюшкина кадила. Тщетно заливался дьячокъ, выводя руладу за руладой; тщетно вторилъ ему пономарь, заканчивая каждый кантъ какимъ-то тон-

кимъ дребезжаньемъ, очень похожимъ на дребезжанье, которымъ заканчиваетъ свой свистъ чижикъ; тщетно самъ отецъ Павлинъ вразумительно и ясно произносилъ возгласы: Сеничка не внималъ ничему и весь былъ погруженъ въ мечтанія, мечтанія глупыя, но тѣмъ не менѣе отнюдь не имѣвшія молитвеннаго характера. Марья Петровна, любившая, чтобъ Сеничка за нее молился, тотчасъ же замѣтила это.

— Помилуй, мой другъ,—сказала она ему:—что ты это рукою-то словно на балалайкѣ играешь! Или за мать-то помолиться ужъ лѣнь?

Вообще весь вечеръ прошелъ какъ-то неудачно для Сенички, потому что Марья Петровна, раздраженная послѣобѣденнымъ разговоромъ, то и дѣло придиралась къ нему. Неизвѣстно, съ чего вздумалъ вдругъ Сеничка вступить за чаемъ въ диспутъ съ батюшкой и сталъ доказывать ему преимущество католической вѣры передъ православною (совсѣмъ онъ ничего подобнаго и не думалъ, да вотъ пришла же вдругъ такая несчастная мысль въ голову!), и доказывалъ именно тѣмъ, что въ католической вѣрѣ просфоры пекутся прѣсныя, а не кислыя. Батюшка, съ своей стороны, разревновался и сталъ обличать Сеничку въ ереси.

— Позвольте,—говорилъ онъ:—вѣдь такимъ манеромъ и лютерцевъ оправдывать можно!

— Я не объ лютеранахъ говорю...

— Нѣтъ, позвольте! Я спрашиваю васъ: оправдываете ли вы лютерцевъ?

— Да вѣдь мы...

— Нѣтъ, прошу отвѣтъ дать: заслуживаютъ ли лютерцы, по вашему мнѣнію, быть оправданными?—повторялъ батюшка и, повторяя, хохоталъ какимъ-то закатистымъ, веселымъ хохотомъ и выказывалъ при этомъ рядъ бѣлыхъ, здоровыхъ зубовъ.

— И охота тебѣ, батька, съ нимъ спорить!—вмѣшалась Марья Петровна.—Развѣ не видишь, что онъ съ ума сбрендилъ! Смотри ты у меня, Семенъ Иванычъ! ты, пожалуй, и дворню-то мнѣ всю развратишь!

Тѣмъ этотъ достославный споръ и кончился: Сеничка думалъ удивить маменьку разнообразіемъ познаній и полетомъ фантазіи, но вмѣсто того осрамился прежде, нежели успѣлъ что-нибудь высказать. Послѣ того онъ нѣсколько разъ порывался ввернуть еще что-нибудь насчетъ эмансипаціи (блаженное время! ея тогда не было!), но Марья

Петровна разъ навсегда такъ дико взглянула на него, что онъ едва-едва не проглотилъ языкъ.

Оставалась одна надежда на подарокъ, который Сеничка приготовилъ маменькѣ для дня ангела, но и та обманула его. Проснулся онъ очень рано, да и вообще дурно спалъ ночью. Во-первыхъ, его осаждала прискорбная мысль, что всѣ усилія, какія онъ ни дѣлалъ, чтобъ заслужить маменькино расположеніе, остались тщетными; во-вторыхъ, Петенька всю ночь метался на постели и испускалъ какое-то совсѣмъ неслыханное мычаніе; наконецъ, кровать его была до такой степени наполнена блохами, что онъ чувствовалъ себя какъ бы окутаннымъ крапивою и нѣсколько разъ не только вскакивалъ, но даже произносилъ какія-то непонятныя слова, какъ будто бы приведенъ былъ сильными мѣрами въ восторженное состояніе.

Узнавши, что маменька только-что встала, что къ обѣднѣ еще не начинали благовѣстить, и что братцы еще почиваютъ, Сеничка осторожно вынулъ изъ чемодана щегольской бѣлый муаръ-антиковый зонтикъ и отправился къ маменькѣ. Но каково же было его удивленіе, когда онъ засталъ ее за письменнымъ столомъ въ созерцаніи цѣлыхъ трехъ зонтиковъ! Онъ сейчасъ же догадался, что это были подарки Митеньки, Ѳеденьки и Пашеньки, которые наканунѣ еще распорядились о врученіи ихъ именинницѣ, какъ только «душенька-маменька» откроетъ глаза. Сеничка до того смутился, что даже вытаращилъ глаза и уронилъ зонтикъ.

— Здравствуй, другъ мой!.. Да что-жъ ты на меня вытараща глаза смотришь! Или на мнѣ грибы со вчерашняго дня выросли!—привѣтствовала его Марья Петровна.

— Я, маменька... позвольте мнѣ, милый другъ мой маменька, поздравить васъ съ днемъ ангела и пожелать провести оный среди любящаго васъ семейства въ совершенномъ спокойствіи, котораго вы вполнѣ достойны...

— Благодарствуй, благодарствуй! Да что это ты словно уронилъ что-то?

— Это, милая маменька, я желалъ принести вамъ слабую дань моей благодарности за тѣ ласки и попеченія, которыми вы меня, добрый другъ маменька, постоянно осыпаете!

— Да что̀ вы, взбѣсились, что ли? Всѣ по зонтику привезли!—напустилась на него Марья Петровна при видѣ новой прибавки къ коллекціи зонтиковъ, уже лежавшей на столѣ.—Смѣяться, что ли, ты надо мной вздумалъ?

— Я, милая маменька, всею душою...

— Сговориться вы, что ли, между собой не можете, или и въ самомъ дѣлѣ вы другъ другу не братья, а звѣри, что никакой между вами откровенности нѣтъ?

— Я, милая маменька...

— Это все ты, тихоня, мутишь! Вижу я тебя, насквозь тебя вижу! Ты думаешь, на глупенькую напалъ? Ты думаешь, что вотъ такъ сейчасъ и проведешь! Такъ нѣтъ, ошибаешься, другъ любезный, я всѣ твои прожекты и вдоль, и поперекъ знаю... все вижу, все вижу, любезный другъ!

— Я, маменька, никакихъ прожектовъ не имѣю...

— Ты... ты... ты всей смутѣ заводчикъ! Если-бъ не доброта моя, давно бы тебя въ суздаль-монастырь упечь надо! Не посмотрѣла бы, что ты генералъ, а такъ бы вышколила, что позабылъ бы, да и другимъ бы заказалъ въ семействѣ смутьянничать! Натко, прошу покорно, въ одномъ городѣ живутъ, вмѣстѣ почти всю дорогу ѣхали и не могли другъ дружкѣ открыться, какой кто матери презентъ везетъ!

— Маменька! чѣмъ же я виноватъ, что Ѳеденька не хочетъ мнѣ почтенія дѣлать?

— Да что̀ ты, обалдѣлъ, что ли? Какое тебѣ почтеніе! Вѣдь ты ему, чай, братъ!

— Я, маменька, старшій братъ, и Ѳеденька обязанъ мнѣ почтеніе оказывать!

Богъ знаетъ, чѣмъ бы разыгралась эта исторія, если-бъ въ эту минуту не заблаговѣстили къ обѣднѣ. Марья Петровна такъ и осталась съ раскрытымъ ртомъ, только махнула рукой на Сеничку. Но зато послѣ обѣдни она, можно сказать, испилила его всего. Не только братьямъ разсказала, что Сеничка требуетъ, чтобъ ему было оказываемо почтеніе, но даже всѣхъ сосѣдей просила полюбоваться четырьмя зонтиками, подаренными ей въ одинъ день, и всю вину складывала на Сеничку, который, какъ старшій братъ, обязанъ былъ уговориться съ младшими, какой презентъ маменькѣ сдѣлать. Вслѣдствіе этого Ѳеденька цѣлый день трунилъ надъ Сеничкой, называлъ его «вашимъ превосходительствомъ», привставалъ на стулѣ при его появленіи и даже одинъ разъ бросился со всѣхъ ногъ, чтобъ пододвинуть ему кресло, но въ разсѣянности тотчасъ же выдернулъ его изъ-подъ него. Все это было очень остроумно и возбуждало всеобщій смѣхъ, къ которому оставался равнодушенъ только Митенька. И такимъ образомъ прошелъ

цѣлый мучительный день, въ продолженіе котораго Сеничка могъ въ сотый разъ убѣдиться, что подаваемые за обѣдомъ дупеля и бекасы составляютъ навсегда недостижимый для него идеалъ.

А Марья Петровна была довольна и счастлива. Все-то она въ жизни устроила, всѣхъ-то дѣтей въ люди вывела, всѣхъ-то на дорогу поставила. Сеничка вотъ ужъ генералъ—того гляди, губернію получитъ! Митенька—поди-ка, какой случай имѣетъ! Ѳеденька самъ по себѣ, а Пашенька за хорошимъ человѣкомъ замужемъ! Одинъ Петенька сокрушаетъ Марью Петровну, да вѣдь надо же кому-нибудь и Бога молить!

Съ своей стороны Сеничка разсуждаетъ такъ: «Коего чорта я здѣсь ищу! Ну, коего чорта! Начальники меня любятъ, подчиненные боятся... того гляди, губернаторомъ буду да женюсь на купчихѣ Безселендеевой—ну, что̀ мнѣ еще надо!» Но какой-то враждебный голосъ такъ и преслѣдуетъ, такъ и нашоптываетъ: «а ну, какъ она Дятлово да Нагорное-то подлецу Ѳедькѣ отдастъ!»—и опять начинаются мучительныя мечтанія, опять напрягается умственное око и представляетъ болѣзненному воображенію цѣлый рядъ мнимыхъ картинъ, героемъ которыхъ является онъ, Сеничка, единственный наслѣдникъ и обладатель всѣхъ материнскихъ имѣній и сокровищъ.

Пашенька на другой же день именинъ уѣхала, но Сеничка все еще остается, все чего-то ждетъ, хотя ему до смерти надо въ Петербургъ, гдѣ ожидаютъ его начальники и подчиненные. Онъ ждетъ, не уѣдутъ ли Митенька съ Ѳеденькой, чтобъ одному на просторѣ остаться съ маменькой и объяснить ей, какъ онъ ее обожаетъ. Но проходитъ пять дней, и ожиданія его напрасны. Мало того, что братья не уѣзжаютъ, но онъ видитъ, какъ мать безпрестанно съ ними о чемъ-то шушукается, и какъ только онъ входитъ—перемѣняетъ разговоръ и начинаетъ бесѣдовать о погодѣ. «Это они о духовномъ завѣщаніи шепчутся!»—думаетъ Сеничка, и въ то же время невольно прибавляетъ:—«да для какого же чорта я здѣсь живу!»

Митенька первый сжалился надъ нимъ и предложилъ вмѣстѣ ѣхать въ Петербургъ. Ѳеденька такъ и остался полнымъ властелиномъ материнскаго сердца.

Ѣдетъ Сеничка на перекладной, ѣдетъ и дремлетъ. Снится ему, что маменька костенѣющими руками благословляетъ его и говоритъ: «Сеничка, другъ мой! Вижу, вижу, что я

была несправедлива противъ тебя, но такъ какъ ты генералъ, то оставляю тебѣ... мое материнское благословеніе!» Сеничка вздрагиваетъ, кричитъ на ямщика: «пошелъ!» и мчится далѣе и далѣе, до слѣдующей станціи.

XI.—Еще переписка.

«Наконецъ, chère petite mère, для меня началась упоительная жизнь полка.

«Я принятъ прекрасно и совсѣмъ не жалѣю, что не попалъ въ гвардію. Это еще не уйдетъ, а покамѣстъ, право, мнѣ нечего завидовать тому, что мои товарищи по училищу сокращаютъ свою жизнь, дегюстируя коньяки и ликеры въ закусочной Одинцова. Правда, что К***, въ которомъ расположенъ нашъ полковой штабъ, городокъ довольно мизерный, но по крайней мѣрѣ я имѣю здѣсь просторъ и приволье и узнаю на практикѣ ту поэтическую бивачную жизнь, которая производитъ героевъ. А главное, я вижу здѣсь настоящихъ женщинъ, des femmes à passions, а не какихъ-нибудь Эрнестинокъ, которыя за умѣренную плату показываютъ приходящимъ «l'amour—ce n'est que ça!»

«Я цѣлые дни въ движеньи. Утромъ—ученье; послѣ ученья—отдыхъ въ кругу товарищей, завтракъ въ кабачкѣ, игра на бильярдѣ и проч.; обѣдъ—у полкового командира; послѣ обѣда—прогулка верхомъ съ полковыми дамами; вечеромъ—въ гостяхъ, всего чаще опять у полкового командира. По временамъ дежурство въ караулѣ: каска, мундиръ на всѣ пуговицы, кожаная подушка, жесткій диванъ и какой-то особенный солдатскій запахъ... Но даже и это имѣетъ свою прелесть, не говоря уже о томъ, что подобная суровая обстановка есть лучшая школа для человѣка, котораго назначеніе быть героемъ. Домой я захожу на самое короткое время, чтобъ полежать, потянуться, переодѣться и поругаться съ Ѳедькой, котораго, entre nous soit dit, за непотребство и кражу моихъ папиросъ, я уже три раза отсылалъ въ полицію для «наказанія на тѣлѣ» (сюда еще не проникла «вольность», и потому здѣшній исправникъ очень обязательно наказываетъ на тѣлѣ, если знаетъ, что его проситъ объ этомъ un homme comme il faut).

«Разумѣется, первою моею мыслью по пріѣздѣ къ К.

была мысль о женщинѣ, cet être indicible et mystérieux. къ которому мужчина фаталистически осужденъ стремиться. Ты знаешь, что двѣ вещи: l'honneur et le culte de la beauté—всегда были краеугольными камнями моего воспитанія. Поэтому ты безъ труда поймешь, какъ должно было заботить меня это дѣло. Но и въ этомъ отношеніи все, повидимому, благопріятствуетъ мнѣ.

«Почти всѣ наши старшіе офицеры женаты; стало-быть, если-бъ даже не было помѣщицъ (а ихъ, по слухамъ, достаточно, и притомъ бо̀льшая часть принадлежитъ къ числу такихъ, которымъ, какъ у насъ въ школѣ говаривали, ничто человѣческое не чуждо), то можно будетъ ограничиться и своими дамами. Nous en avons de tous les types, чему, конечно, не мало способствовала кочевая жизнь полка. Нашъ полкъ перебывалъ всюду и вездѣ ремонтировался хорошенькими женщинами. Роскошныя малороссіянки, съ бѣлыми какъ кипень зубами, обаятельныя брюнетки-польки, мечтательныя золотокудрыя нѣмки, знойныя молдаванки, enfin tout ce que les diverses nationalités peuvent offrir d'exquis et de recherché en fait de femmes. У одного дивизіонера жена даже персіянка (говорятъ, съ пунцовыми волосами), но, къ сожалѣнію, онъ ее никому не показываетъ, а по слухамъ даже бьетъ нагайкой... le cher homme! Конечно, въ манерахъ нашихъ женщинъ (не всѣхъ, однако-жъ; даже и въ этомъ смыслѣ есть замѣчательныя исключенія) нельзя искать той женственной прелести, ce fini, ce vaporeux, которыя такъ поразительно дѣйствуютъ въ женщинахъ высшаго общества (tu en sais quelque chose, pauvre petite mère, toi, qui, à trente six ans, as failli tourner la tête au philosophe de Chizzlhurst), но зато у нихъ есть непринужденность жеста и очень большая свобода слова, что̀, согласись, имѣетъ тоже очень большую цѣну. Эта свобода, въ соединеніи съ адскимъ равнодушіемъ мужей (представь себѣ, нѣкоторые изъ нихъ такъ-таки прямо и называютъ своихъ женъ «ѣзжалыми бабами»!), дѣлаетъ ихъ общество настолько пикантнымъ, что поневолѣ забываешь столицу и ея увлеченія...

«Нашъ командиръ, полковникъ баронъ фонъ-Шпекъ, принялъ меня совершенно по-товарищески. Это добрый, пожилой и очень простодушный нѣмецъ, который изо всѣхъ силъ хлопочетъ, чтобъ его считали за русскаго, а потому принуждаетъ себя пить квасъ, ѣсть щи и кашу, а прелестную жену свою называетъ не иначе, какъ «мой бабъ».

«— Мы, русски, безъ церемони!—сказалъ онъ мнѣ съ перваго же раза:—въ три часа у насъ щи-каша—милости прошу! Я васъ мой бабъ представлять буду!

«Разумѣется, я не заставилъ повторять приглашеніе и ровно въ три часа былъ уже представленъ прелестной командиршѣ.

«Я, не преувеличивая, могу сказать, что это одна изъ очаровательнѣйшихъ женщинъ, какихъ я когда-либо видѣлъ въ своей жизни. Прежде всего ей тридцать—тридцать пять лѣтъ, и она блондинка почти съ такимъ же темно-золотистымъ отливомъ, какъ у тебя, petite mère. Ты знаешь, я никогда не былъ охотникъ ни до очень молоденькихъ женщинъ, ни до женщинъ съ черными волосами и темными глазами. Молоденькія бабенки глупы и надоѣдливы. Онѣ поминутно лѣзутъ цѣловаться, сами не понимая, зачѣмъ. Что же касается до брюнетокъ, то хотя и говорятъ, будто онѣ страстны, но, по моему мнѣнію, c'est une réputation usurpée. Въ сущности, онѣ только деспотичны и рѣзки—вотъ что многими принимается за страстность. Я, еще будучи въ училищѣ, изучилъ этотъ вопросъ à fond. Une brune est toujours froide et dénuée de ressources. Я не говорю уже о формахъ, которыя у брюнетки никогда не достигаютъ такой полноты и роскоши развитія, такой, если можно такъ выразиться, лучезарности, какъ у блондинки. Брюнетка пикантна—и ничего больше. Это не женщина наслажденія. Даже каштановая женщина, въ смыслѣ наслажденія, представляетъ передъ брюнеткой неоспоримыя преимущества. Dans sa façon d'aimer une femme marron a déjà quelque chose de blond. Но блондинка, настоящая блондинка—это масло...

«Итакъ, она блондинка; глаза у нея большіе, сѣрые и очень хорошо поставленные. Она не хуже любой Camille de Lyon умѣетъ подрисовать себѣ вѣки, и потому глаза ея кажутся, въ одно и то же время, и блестящими, и влажными. Носъ прелестный, съ тонкими, удивительно очерченными ноздрями. Ротъ съ нѣсколько вздернутой верхней губой, что придаетъ всей физіономіи вызывающее выраженіе. Подбородокъ круглый, мягкій, слегка пушистый, съ ямочкой по серединѣ... on dirait, un nid d'amour. Уши маленькія, сухія, почти прозрачныя. Общій тонъ лица нѣжно-золотистый, какъ у спѣлой сливы. Ничего розоваго, вульгарнаго, напоминающаго дурно свареннаго поросенка. Формы—роскошь, не доходящая, однако-жъ, до пресыщенія;

ножка... но про ножку достаточно сказать, что она сама ею кокетничаетъ!

«Прибавь къ этому бездну женственности и того неуловимаго кокетства, которое всякую свѣтскую красавицу окружаетъ словно облакомъ аромата (она была въ гвардіи, прежде нежели попала сюда)—и ты получишь приблизительное понятіе о томъ сокровищѣ, которое я былъ такъ счастливъ найти въ одномъ изъ самыхъ мизерныхъ уголковъ нашего любезнаго отечества.

«Съ перваго же взгляда на эту женщину я почувствовалъ въ сердцѣ неотразимое желаніе покорить ее.

«Не даромъ любовь правитъ міромъ, chère maman! Не даромъ она проникаетъ и въ раззолоченныя палаты владыкъ міра, и въ скромную хижину земледѣльца! Все живущее спѣшитъ покориться жестокимъ и въ то же время сладкимъ законамъ ея. Даже дикій звѣрь, и тотъ подъ вліяніемъ ея забываетъ аппетитъ и сонъ! Вы видите бѣгущаго по лѣсу волка: пасть его открыта, языкъ высунутъ, глаза мутны, онъ рветъ землю когтями, бросается на своихъ собратовъ, грызетъ ихъ... à propos de quoi, je vous demande un peu? ужели только потому, что онъ видитъ передъ собой эту отвратительную волчицу, которая бѣжитъ впереди стада съ оскаленными зубами? Да-съ, потому-съ! Ибо такова сила любовныхъ чаръ, таково могущество любви! Другой причины нѣтъ... и не можетъ быть!

«Quel mystère, chère maman!

«Читайте великихъ мастеровъ искусства: Paul de Kock, Ponson du Terail, Feydeau... Что вы найдете у нихъ? Любовь, любовь и любовь! Et «la belle Hélène» donc!

«Впрочемъ, повидимому, мое предпріятіе не обойдется безъ препятствій. Я уже намѣтилъ двухъ конкуррентовъ, борьба съ которыми обѣщаетъ не мало трудностей. Одинъ изъ нихъ—предсѣдатель мѣстной земской управы Травниковъ; другой—полковой казначей, ротмистръ Цыбуля.

«Травниковъ—либералъ. Онъ выжилъ два года въ Парижѣ, гдѣ познакомился съ Бастіа, который, de vive voix, передалъ ему тайны своей науки. Это сдѣлало его до того обаятельнымъ между здѣшними гласными, что когда онъ, воротившись изъ Парижа, поселился въ своемъ имѣніи, то его единогласно выбрали предсѣдателемъ управы. Теперь онъ пропагандируетъ Бастіа между полковыми дамами. Наружностью своей и манерами онъ напоминаетъ выцвѣтшаго трактирнаго маркёра. En somme, c'est un

«— Мы, русски, безъ церемони!—сказалъ онъ мнѣ съ перваго же раза:—въ три часа у насъ щи-каша—милости прошу! Я васъ мой бабъ представлять буду!

«Разумѣется, я не заставилъ повторять приглашеніе и ровно въ три часа былъ уже представленъ прелестной командиршѣ.

«Я, не преувеличивая, могу сказать, что это одна изъ очаровательнѣйшихъ женщинъ, какихъ я когда-либо видѣлъ въ своей жизни. Прежде всего ей тридцать—тридцать пять лѣтъ, и она блондинка почти съ такимъ же темно-золотистымъ отливомъ, какъ у тебя, petite mère. Ты знаешь, я никогда не былъ охотникъ ни до очень молоденькихъ женщинъ, ни до женщинъ съ черными волосами и темными глазами. Молоденькія бабенки глупы и надоѣдливы. Онѣ поминутно лѣзутъ цѣловаться, сами не понимая, зачѣмъ. Что же касается до брюнетокъ, то хотя и говорятъ, будто онѣ страстны, но, по моему мнѣнію, c'est une réputation usurpée. Въ сущности, онѣ только деспотичны и рѣзки—вотъ что многими принимается за страстность. Я, еще будучи въ училищѣ, изучилъ этотъ вопросъ à fond. Une brune est toujours froide et dénuée de ressources. Я не говорю уже о формахъ, которыя у брюнетки никогда не достигаютъ такой полноты и роскоши развитія, такой, если можно такъ выразиться, лучезарности, какъ у блондинки. Брюнетка пикантна—и ничего больше. Это не женщина наслажденія. Даже каштановая женщина, въ смыслѣ наслажденія, представляетъ передъ брюнеткой неоспоримыя преимущества. Dans sa façon d'aimer une femme marron a déjà quelque chose de blond. Но блондинка, настоящая блондинка—это масло...

«Итакъ, она блондинка; глаза у нея большіе, сѣрые и очень хорошо поставленные. Она не хуже любой Camille de Lyon умѣетъ подрисовать себѣ вѣки, и потому глаза ея кажутся, въ одно и то же время, и блестящими, и влажными. Носъ прелестный, съ тонкими, удивительно очерченными ноздрями. Ротъ съ нѣсколько вздернутой верхней губой, что придаетъ всей физіономіи вызывающее выраженіе. Подбородокъ круглый, мягкій, слегка пушистый, съ ямочкой по серединѣ... on dirait, un nid d'amour. Уши маленькія, сухія, почти прозрачныя. Общій тонъ лица нѣжно-золотистый, какъ у спѣлой сливы. Ничего розоваго, вульгарнаго, напоминающаго дурно свареннаго поросенка. Формы—роскошь, не доходящая, однако-жъ, до пресыщенія;

ножка... но про ножку достаточно сказать, что она сама ею кокетничаетъ!

«Прибавь къ этому бездну женственности и того неуловимаго кокетства, которое всякую свѣтскую красавицу окружаетъ словно облакомъ аромата (она была въ гвардіи, прежде нежели попала сюда)—и ты получишь приблизительное понятіе о томъ сокровищѣ, которое я былъ такъ счастливъ найти въ одномъ изъ самыхъ мизерныхъ уголковъ нашего любезнаго отечества.

«Съ перваго же взгляда на эту женщину я почувствовалъ въ сердцѣ неотразимое желаніе покорить ее.

«Не даромъ любовь правитъ міромъ, chère maman! Не даромъ она проникаетъ и въ раззолоченныя палаты владыкъ міра, и въ скромную хижину земледѣльца! Все живущее спѣшитъ покориться жестокимъ и въ то же время сладкимъ законамъ ея. Даже дикій звѣрь, и тотъ подъ вліяніемъ ея забываетъ аппетитъ и сонъ! Вы видите бѣгущаго по лѣсу волка: пасть его открыта, языкъ высунутъ, глаза мутны, онъ рветъ землю когтями, бросается на своихъ собратовъ, грызетъ ихъ... à propos de quoi, je vous demande un peu? ужели только потому, что онъ видитъ передъ собой эту отвратительную волчицу, которая бѣжитъ впереди стада съ оскаленными зубами? Да-съ, потому-съ! Ибо такова сила любовныхъ чаръ, таково могущество любви! Другой причины нѣтъ... и не можетъ быть!

«Quel mystère, chère maman!

«Читайте великихъ мастеровъ искусства: Paul de Kock, Ponson du Terail, Feydeau... Что вы найдете у нихъ? Любовь, любовь и любовь! Et «la belle Hélène» donc!

«Впрочемъ, повидимому, мое предпріятіе не обойдется безъ препятствій. Я уже намѣтилъ двухъ конкуррентовъ, борьба съ которыми обѣщаетъ не мало трудностей. Одинъ изъ нихъ—предсѣдатель мѣстной земской управы Травниковъ; другой—полковой казначей, ротмистръ Цыбуля.

«Травниковъ—либералъ. Онъ выжилъ два года въ Парижѣ, гдѣ познакомился съ Бастіа, который, de vive voix, передалъ ему тайны своей науки. Это сдѣлало его до того обаятельнымъ между здѣшними гласными, что когда онъ, воротившись изъ Парижа, поселился въ своемъ имѣніи, то его единогласно выбрали предсѣдателемъ управы. Теперь онъ пропагандируетъ Бастіа между полковыми дамами. Наружностью своей и манерами онъ напоминаетъ выцвѣтшаго трактирнаго маркёра. En somme, c'est un

pauvre sire, и было бы даже удивительно, что Полина (c'est le petit nom de la dame en question) интересуется имъ, если-бъ онъ не былъ богатъ. Но это слово объясняетъ многое.

«Ротмистръ Цыбуля—неуклюжій малороссъ, который говоритъ: «фостъ», вмѣсто: «хвостъ». Но онъ тринадцати вершковъ роста и притомъ такъ крѣпокъ и силенъ, что, я увѣренъ, могъ бы свободно пройти сквозь строй черезъ тысячу человѣкъ...

«Повидимому, однако-жъ, и моя смиренная рожица произвела недурное впечатлѣніе. По крайней мѣрѣ, послѣ обѣда, когда Травниковъ и Цыбуля ушли къ полковнику въ кабинетъ, она окинула меня взглядомъ и сказала:

«— Какой вы молодой!

«На что̀ я поспѣшилъ отвѣтить, что молодое сердце хотя и не можетъ похвалиться опытностью, но зато умѣетъ горячо любить и быть преданнымъ. И отвѣтъ мой былъ выслушанъ благосклонно...

«Я впередъ предвижу, что̀ будетъ. Сначала меня будутъ называть «сынкомъ» и на этомъ основаніи позволятъ мнѣ цѣловать ручки. Потомъ мнѣ дадутъ, въ награду за какую-нибудь дѣтскую услугу, поцѣловать плечико, и когда замѣтятъ, что это производитъ на меня эффектъ, то скажутъ: «какіе, однако-жъ, у тебя смѣшные глаза!» Потомъ тррахъ!— et tout sera dit!

«Таковъ неумолимый законъ любвей!

«Я воротился домой очарованный и весь вечеръ предавался возвышеннымъ мыслямъ. Ночь была тихая, теплая. Я сидѣлъ у растворенного окна, смотрѣлъ на полную луну и мечталъ. Сначала мои мысли были обращены къ *ней*, но мало-по-малу онѣ приняли серьезное направленіе. Мнѣ живо представилось, что мы идемъ походомъ, и что гдѣ-то изъ-за лѣса показался непріятель. Я по обыкновенію гарцую на конѣ, впереди полка, и даю сигналъ къ атакѣ. Ррахъ!.. ружейные выстрѣлы, крики, стоны, «руби!» «коли!» Et, ma foi! черезъ пять минутъ отъ непріятеля осталась одна окрошка!

«Вотъ первыя впечатлѣнія моей новой жизни. Я буду писать тебѣ часто, но надѣюсь, что «Butor» не узнаетъ о нашей перепискѣ. Пиши и ты ко мнѣ какъ можно чаще, потому что твои совѣты теперь для меня болѣе, нежели когда-нибудь, драгоцѣнны. Цѣлую тебя.

«Сергѣй Проказнинъ».

«P. S. Противъ квартиры моей стоитъ большой каменный домъ. Сегодня утромъ, подойдя къ окну, я увидѣлъ на балконѣ этого дома очень недурную и еще молодую женщину. Не говоря худого слова, я взялъ бинокль и навелъ его на нее. Она не только не оскорбилась этимъ, но даже слегка усмѣхнулась и поиграла въ мою сторону глазками. Отъ Ѳедьки я узналъ, что это вдова купца Лиходѣева и что она ежегодно отправляетъ значительное число барокъ съ хлѣбомъ. Говорятъ также (все тотъ же Ѳедька, у котораго на этотъ счетъ изумительное чутье), что тутъ ужъ примазался здѣшній исправникъ. И дѣйствительно, въ ту минуту, какъ я закрываю это письмо, его дрожки подъѣхали къ крыльцу Лиходѣевскаго дома».

«Vous êtes un noble coeur, Serge! Ты понялъ меня! Ты понялъ, что мнѣ нужна переписка съ тобой, чтобъ отдохнуть отъ той безвыходной прозы, которая отнынѣ должна составлять все содержаніе моей бѣдной, неудавшейся жизни.

«Ахъ, какая это жизнь! Вежетировать изо-дня-въ-день въ деревнѣ, видѣть налитую водкой физіономію Butor'a, слышать, какъ онъ, запершись съ Филаткой въ кабинетѣ, выкрикиваетъ кавалерійскіе сигналы, ежеминутно быть подъ страхомъ, что ему вдругъ вздумается сдѣлать нашествіе на мой будуаръ... Это ужасно, ужасно, ужасно!

«Представь себѣ, что̀ я узнала! До сихъ поръ я думала, что должна была оставить Парижъ потому, что Butor отказался прислать мнѣ деньги; теперь мнѣ извѣстно, что онъ подавалъ объ этомъ офиціальную записку, и въ этой запискѣ... просилъ о высылкѣ меня изъ Парижа *по этапу*! L'animal!

«Et moi qui croyais autre fois à l'idéal, au sublime, à l'infini... que sais-je! Я, которая думала, что вся моя жизнь будетъ непрерывнымъ гимномъ божеству! И что-жъ, достаточно было прикосновенія грубой руки одного человѣка, чтобъ разбудить меня отъ моихъ золотыхъ грёзъ. И этотъ человѣкъ... c'est le Butor! Le sublime—et l'horrible, le ciel—et l'enfer, l'ange—et le démon... какой поразительный урокъ!

«Я не знаю, что̀ сталось бы со мной, если-бъ я не нашла утѣшенія въ религіи. Религія—это наше сокровище, мой другъ! Безъ религіи мы путники, колеблемые вѣтромъ сомнѣній, какъ говоритъ le père Basile, очень миленькій молодой попикъ, который недавно опредѣленъ въ нашъ при-

ходъ и котораго нашъ Butor ужъ успѣлъ окрестить именемъ Васьки-шалыгана. Я собственнымъ горькимъ опытомъ убѣдилась въ истинѣ этихъ словъ—и знаешь, гдѣ? Тамъ... въ Парижѣ! Сознаюсь, я въ то время жила... comme une payenne! Я ничего не понимала... c'était un rève! И вдругъ мнѣ объявляютъ, что если я завтра не выѣду изъ Парижа, то меня посадятъ въ Clichy! C'était comme un trait du lumière! Я сейчасъ же приказала уложить мои вещи... и съ этой минуты—ни малѣйшаго ропота, ни единаго горькаго слова! Я вдругъ преобразилась, почувствовала, что мнѣ легко. Paul de Cassagnac, Villemessent, Détroyat, Tarbé, Dugué de la Fauconnerie *)—всѣ прибѣжали, всѣ хотѣли утѣшить меня, но я наотрѣзъ сказала: n-i—ni, c'est fini! Que la volonté de Dieu soit faite. И когда, на другой день, я садилась въ вагонъ, Villemessent, прощаясь со мной сказалъ:—vous êtes une sainte! c'est Villemessent qui vous le dit!

«Но какъ онъ терзаетъ меня... le Butor! какъ онъ изобрѣтателенъ въ своихъ оскорбленіяхъ, какъ онъ умѣетъ повернуть ножъ въ незажившей еще ранѣ!

«На-дняхъ—это было въ день моего рожденія (hélas! твоей pauvre mère исполнилось сорокъ лѣтъ, mon enfant!)—онъ является прямо въ мой будуаръ.

«—Честь имѣю поздравить!

«Я молчу.

«— Сорокъ годковъ изволили получить! Самая, значитъ, пора!

«Я дѣлаю чуть замѣтный знакъ нетерпѣнія.

«— По Бальзаку, это именно настоящая пора любви. Удивительно, говорятъ, какъ у этихъ сорокалѣтнихъ бабъ оно знойно выходитъ...

«— Только не для васъ! — холодно отвѣтила я и, окинувъ его презрительнымъ взглядомъ, поспѣшила запереться у себя въ спальной.

«Я не знаю, какой эффектъ произвелъ на него мой отвѣтъ (Маша, моя горничная, увѣряетъ, что у него даже губы побѣлѣли отъ злости), но я очень отчетливо слышала, какъ онъ нѣсколько разъ сряду произнесъ мнѣ вдогонку:

«— Заставлю-съ! заставлю-съ! заставлю-съ!

«И такимъ образомъ—почти ежедневно. Я каждое утро слышу его неровные шаги, направляющіеся къ моей комнатѣ, и жду оскорбленія. Однажды — это былъ памятный

---

*) Журналисты мазурницкаго оттѣнка.

для меня день, Serge! — онъ пришелъ ко мнѣ, держа въ рукахъ листокъ «Городскихъ и иногородныхъ афишъ» (c'est la seule nourriture intellectuelle qu'il se permet, l'innocent!).

«— Ну-съ, вотъ и чизльгёрстскій философъ околѣлъ! — сказалъ онъ, посылая мнѣ въ упоръ свою пьяную улыбку.

«— Какъ? Кто? Онъ?—только могла я произнести.

«— Да-съ, онъ-съ. Седанскій герой-съ; вашъ...

«Il a nommé la chose.. le monstre! Онъ не пощадилъ ничего... даже этого славнаго воспоминанія моей жизни!

«Je le confesse, я была неделикатна. Я вцѣпилась ногтями въ его лицо, но, впрочемъ, сію же минуту опамятовалась и убѣжала отъ него. Я цѣлый часъ была какъ сумасшедшая! Я думала, что онъ нарочно обманываетъ, дразнитъ меня! Но вслѣдъ затѣмъ — конечно, изъ жестокаго желанія не оставить во мнѣ никакого сомнѣнія—онъ прислалъ мнѣ съ Машей листокъ... Это была правда! Онъ умеръ! Сперва Морни, потомъ Персиньи... наконецъ ОНЪ! Цѣлый рой сновидѣній пронесся предо мной... le rêve doré de mon passé! Я, какъ безумная, бѣгала по залѣ и все напѣвала: «*Ah! j'ai un pied qui r'mue*»—мотивъ кадрили, которая *тогда* рѣшила мою участь. Я помню, на мнѣ было платье совсѣмъ какъ изъ воздуха: des bouillonées, des bouillonées et puis encore des bouillonées, toujours des bouillonées... En un mot, tout-à-fait frou-frou... ОНЪ подошелъ ко мнѣ и сказалъ: «quelle gorge adorable!» — и только! Но при этомъ онъ посмотрѣлъ на меня, какъ только *онъ* одинъ умѣлъ смотрѣть... Это продолжалось не болѣе одной минуты, но участь моя была навсегда рѣшена... Но зачѣмъ растравлять воспоминаніемъ еще дымящуюся рану!.. Однимъ словомъ, я до того увлеклась моими воспоминаніями, что даже не замѣтила, что Butor стоитъ въ дверяхъ и во все горло хохочетъ. У него все лицо распухло отъ глубокихъ царапинъ, которыя сдѣлали мои ногти; il était ignoble, dégoûtant, immonde...

«Вотъ моя жизнь! И представь себѣ, что иногда... бываютъ дни, когда этотъ человѣкъ объявляетъ о какихъ-то своихъ правахъ на меня... le Butor!

«Послѣ всего этого ты можешь себѣ представить, какое блаженство для меня — твои письма. И что̀ придаетъ имъ еще больше прелести—это тайна и даже опасность, съ которыми сопряжено ихъ полученіе. Я получаю ихъ черезъ Машу и иногда по цѣлымъ часамъ бываю вынуждена

держать ихъ подъ корсажемъ, прежде нежели прочитать. Тогда я воображаю себя въ пансіонѣ, гдѣ я впервые научилась скрывать письма (и представь себѣ, это были письма Butor'a, который еще въ пансіонѣ «сослѣдилъ» меня, какъ онъ выражался на своемъ грубомъ жаргонѣ), и жду, пока Butor не уляжется послѣ обѣда спать. Это пытка, мой другъ, это почти истязаніе, mais c'est égal, c'est plein de poésie! Иногда онъ, какъ нарочно, медлитъ, и тогда я готова надѣлать глупостей отъ нетерпѣнія... Но вотъ раздался сигнальный храпъ—и я ужъ за дѣломъ. Я запираюсь у себя въ комнатѣ и читаю, и перечитываю твои письма... noble enfant de mon cœur!

«Я понимаю тебя и твои молодыя стремленія, мой другъ. Я, твоя бѣдная мать, эта сорокалѣтняя женщина, cette femme de Balzac, comme dit le Butor! И я была молода, и я увлекалась... ты знаешь, *кто* меня любилъ! Теперь *онъ* въ могилѣ... всѣ въ могилѣ, мой другъ! Morny, Persigny... Lui! Одинъ Базенъ остался, и тотъ сидитъ на какомъ-то островѣ *), откуда онъ будетъ очень глупъ, ежели не бѣжитъ. Но я не забыла, я помню. Я *все* помню и потому *все* могу понимать...

«Я отсюда вижу тебя и твою Полину... toi, plein de sève et de vigueur, elle—rayonnante de ce doux parfum d'abnégation amoureuse qui est l'auréole et en même temps l'absolution de la pauvre femme... coupable! Tu es beau, elle est belle; вы оба молоды, сильны, оба горите избыткомъ жизни, оба чувствуете, какъ страсть катится по вашимъ жиламъ, давитъ васъ... Но отчего же признаніе дрожитъ на вашихъ губахъ—и не можетъ сказаться?.. Отчего глаза ваши ищутъ встрѣтить другъ друга—и, встрѣтившись, опускаются? Вы встревожены, васъ волнуетъ какая-то горькая мысль... Она — съ трепетомъ вглядывается въ будущее и падаетъ ницъ передъ идеею вѣчности... Ты—пугаешь себя ревнивыми воспоминаніями... Травниковъ, Цыбуля, даже самъ фонъ-Шпекъ... Ты никого не забылъ! *Послѣ*—ты все забудешь, все простишь. *Послѣ*—ты скажешь себѣ: и Травниковъ, и Цыбуля, все это естественныя послѣдствія фонъ-Шпека! *Послѣ* — но не теперь! *Теперь* ты еще помнишь, хотя уже и жаждешь давно забыть.

«А покуда я надѣюсь, что ты выслушаешь воркотню старухи-матери, рѣшающейся высказать нѣсколько совѣтовъ, которые навѣрное не будутъ для тебя безполезны.

---

*) Писано до полученія извѣстія о бѣгствѣ Базена.

«Любовь, мой другъ, — это святыня, къ которой нужно приближаться съ осторожностью, почти съ благоговѣніемъ, и вотъ почему мнѣ не совсѣмъ нравится слово «тррахъ», которое ты употребилъ въ письмѣ своемъ. Можетъ-быть, все такъ и произойдетъ, какъ ты писалъ, но уже по тому одному, что оно именно *такъ* и произойдетъ, т. е. *сначала* назовутъ тебя «сынкомъ», *потомъ* дадутъ ручку, etc. — ты всего менѣе въ правѣ употреблять ce malencontreux «тррахъ». Ça sent la caserne, mon cher, ça pue l'écurie, le fumier. Салонъ свѣтской женщины (ты именно такою описываешь мнѣ Полину) — не манежъ и не одно изъ тѣхъ жалкихъ убѣжищъ, въ которыхъ вы, молодые люди, къ несчастію, получаете первыя понятія о любви... Это мѣсто очень приличное, гдѣ требуются совсѣмъ другіе пріемы, нежели... ты понимаешь—гдѣ?

«Помни, мой другъ, что любовь—все для женщины, или, лучше сказать, что вся женщина есть любовь! Что, стало-быть, оскорбить ея любовь — значитъ оскорбить ея *все*. Этого одного достаточно, чтобы понять, почему успѣхъ, въ бо̀льшей части случаевъ, достается совсѣмъ не тому, кто съ громомъ и трубами идетъ точно на приступъ, а тому, кто умѣетъ ждать. Во-первыхъ, всѣ эти самонадѣянные люди почти всегда нескромны и хвастливы, что̀ совсѣмъ не входитъ въ разсчеты замужней женщины, которая желаетъ сохранить les dehors. Во-вторыхъ, женщины самолюбивы, и имъ всегда пріятно дать щелчокъ человѣку, у котораго на умѣ «тррахъ». Въ-третьихъ—и это главное—женщины вовсе не такъ алчутъ грубыхъ наслажденій, какъ вы, мужчины, обыкновенно объ этомъ думаете..

«Женщины—это существо особенное, c'est un être indicible et mystérieux, какъ ты самъ очень мило опредѣлилъ ее въ твоемъ письмѣ (какъ странно звучитъ твое «тррахъ» рядомъ съ этимъ милымъ опредѣленіемъ!) Разумѣется, я говорю здѣсь не объ институткахъ, а о настоящихъ женщинахъ, о тѣхъ, которыя испытаны жизнью и къ числу которыхъ, повидимому, принадлежитъ и Полина. Такія женщины любятъ медлить. Elles aiment à savourer les préludes de l'amour. Эти таинственныя, безконечныя изліянія, въ которыхъ все отрывочно, недоконченно, неуловимо, но въ которыхъ каждое слово, каждый звукъ, каждая улыбка, каждый вздохъ имѣютъ глубокое значеніе. Женщина любитъ неслышно погружаться въ душистый паръ недоговоренныхъ словъ, затаенныхъ вздоховъ, взглядовъ, брошен-

ныхъ украдкой. Она любитъ замѣнять слово «любовь» словомъ «дружба»... Это доставляетъ ей минуты того сладкаго головокруженія, которое у самаго паденія отнимаетъ все, что̀ въ немъ есть грубаго, сырого. Ce n'est pas une chûte grossière qu'elle ambitionne, c'est une *jolie* chûte.

«Вотъ почему женщинъ такъ увлекаютъ высокопоставленныя лица, даже старики. Съ точки зрѣнія матеріалистической это кажется страннымъ, но дѣло въ томъ, что эти люди въ высшей степени обладаютъ тайною de la jolie séduction. Tout en causant, они неслышно подходятъ къ женщинѣ, неслышно овладѣваютъ ея вниманіемъ и потомъ— неслышно [же берутъ ее. Все — en causant. La femme adore la causerie, les phrases bien tournées, les fines reparties, enfin tout ce joli caquetage qui rend la vie facile et charmante.

«Я знаю, есть женщины, которымъ нравится грубость, которыя даже любятъ, чтобъ ихъ мальтретировали. Но это или очень молодыя бабенки, или такія бабы, которымъ совсѣмъ нечего терять. Я и сама когда-то увлекалась Butor'омъ потому только, что онъ гремѣлъ шпорами, вертѣлъ зрачками и какъ-то иньобильно причмокивалъ, quand j'avais le sein trop découvert; но вѣдь я тогда была дѣвчонка и положительно ничего не смыслила dans les jolis raffinements du sentiment.

«Быть-можетъ, ты съ нетерпѣніемъ читаешь мое письмо и даже удивляешься, съ какой стати я принялась тебя морализировать. Но, рискуя даже надоѣсть тебѣ, прошу выслушать меня до конца.

«Я сказала сейчасъ, что женщины любятъ то, что̀ въ порядочномъ обществѣ извѣстно подъ именемъ causerie. Наединѣ съ женщиной мужчина еще можетъ, à la rigueur, ограничиться вращеніемъ зрачковъ, но въ обществѣ онъ *непремѣнно* долженъ умѣть говорить или, точнѣе, — занимать. Поэтому ему необходимо *всегда* имѣть подъ руками приличный сюжетъ для разговора, чтобы не показаться ничтожнымъ въ глазахъ любимой женщины. Ты понимаешь, надѣюсь, къ чему я веду свою рѣчь?

«Женщина прежде всего любитъ великодушныя идеи, les idées généreuses. Она сама великодушна—это ея ахиллесова пята, которая всего чаще и губитъ ее. Поэтому, ежели мужчина высказываетъ въ ея присутствіи даже слишкомъ великодушныя идеи (les idées dites subversives), то ей все-таки нравится это. Конечно, я никогда не позво-

лила бы тебѣ сдѣлаться на самомъ дѣлѣ поклонникомъ сюбверсивныхъ идей, но въ смыслѣ экспозиціи, какъ aperçu de morale—это одинъ изъ лучшихъ sujets de conversation. Консервативныя идеи страдаютъ большимъ недостаткомъ: имъ никакъ нельзя придать тотъ лоскъ великодушія, который зажигаетъ симпатію въ сердцахъ. Консервативныя идеи хороши въ кабинетѣ, съ-глазу-на-глазъ съ начальствомъ, но въ будуарѣ или въ обществѣ, гдѣ много молодыхъ женщинъ, elles ne valent rien. Великодушныя идеи придаютъ лицу говорящаго оживленное, осмысленное, почти могучее выраженіе, которое прямо свидѣтельствуетъ о силѣ и мощи. Напротивъ того, самый убѣжденный консерваторъ напоминаетъ собой мѣнялу, приведеннаго въ азартъ. Я знаю, что въ послѣднее время расплодилось много женщинъ, которыя охотно выслушиваютъ консервативные разговоры и даже называютъ себя консерваторками; но онѣ положительно себя обманываютъ. Онѣ дурно окружены—вотъ отчего это происходитъ. Онѣ постоянно видятъ передъ собой манекеновъ консерватизма, постоянно слышатъ ихъ безцвѣтное и безсильное жужжаніе — и думаютъ, что такъ и должно быть. Что эти сумерки, эта мѣняльная канитель, этотъ безнадежно-сѣрый цвѣтъ — явленіе нормальное. Но все это дурная привычка — и ничего больше. Представь себѣ теперь, что въ эту ровную, едва не засыпающую атмосферу вдругъ врывается человѣкъ, который прямо, à bout portant, бросаетъ новое, кипучее слово! Въ какомъ положеніи должна очутиться женщина, которая до тѣхъ поръ ничего не слышала, кромѣ тягучаго переливанія изъ пустого въ порожнее?! Ты скажешь, быть-можетъ, что непрошенное врыванье—скандалъ, но почему же ты знаешь, что для женщины даже и тутъ не скрывается своего рода обаяніе? Не забудь, что она великодушна по природѣ, и слѣдовательно...

«Ахъ! тотъ, котораго въ насмѣшку прозвали чизльгёрстскимъ философомъ, понималъ это отлично! Среди величайшихъ запутанностей и махинацій внутренней и внѣшней политики онъ никогда не забывалъ своего знаменитаго: «tout pour le peuple et par le peuple!» Онъ понималъ, конечно, что все это не болѣе, какъ aperçu de morale, но когда онъ говорилъ это, все лицо его свѣтилось, и всѣ сердца трепетали. Я помню: я была въ бѣломъ платьѣ... des bouillonées... des bouillonées... partout des bouillonées! Онъ подошелъ ко мнѣ...

«Et bien, ils sont tous morts! Morny... Persigny... Lui! Всѣ въ могилахъ, другъ мой! Остался одинъ Базенъ... entreprendra-t-il quelque chose? n'entreprendra-t-il rien?

«Но это еще не все, мой другъ. Наука жить въ свѣтѣ— большая наука, безъ знанія которой мужчина можетъ нравиться только офицершѣ, но не женщинѣ.

«Однихъ aperçus de morale, о которыхъ я сейчасъ упомянула, недостаточно: il faut savoir juger des choses de l'actualité et de l'histoire. Однимъ словомъ, нужно всегда имѣть въ запасѣ нѣсколько aperçus politiques, historiques et littéraires. Для самолюбія женщины большой ударъ, если избранникъ ея сердца открываетъ большіе глаза, когда при немъ говорятъ о феніанскомъ вопросѣ, объ интернаціоналѣ, о старокатоликахъ etc., если онъ смѣшиваетъ Геродота съ генераломъ Михайловскимъ-Данилевскимъ, Сафо съ г-жою Кохановскою, если на вопросъ о Гарибальди онъ отвѣчаетъ извѣстіемъ о новомъ фасонѣ гарибальдійки. Наединѣ, съ-глазу-на-глазъ, все это можетъ сойти за наивность, но въ обществѣ, при свѣтѣ люстръ, подобныя смѣшенія не прощаются... никогда! Знаешь ли, что̀ было первою причиной моей холодности къ Butor'y! А вотъ что̀. Однажды (это было въ первый мой пріѣздъ въ Парижъ, сейчасъ послѣ la belle échauffourée de 2 décembre), въ одинъ изъ моихъ пріемныхъ дней, en plein salon, кому-то вздумалось faire l'apologie du chevalier Bayard—тогда вѣдь были въ модѣ рыцарскія чувства. Къ несчастію, я съ кѣмъ-то заговорилась и забыла, что Butor требуетъ неусыпнаго наблюденія. И вдругъ, въ самомъ жару апологіи, я замѣчаю какое-то замѣшательство и вижу, что всѣ глаза обращены на Butor'a, который самымъ неприличнымъ образомъ улыбается и даже всхлипываетъ... Спѣшу къ нему, спрашиваю, что̀ съ нимъ... Представь себѣ мой ужасъ! онъ смѣшалъ le chevalier de Bayard съ le chevalier de Faublas! Et il se pâmait d'aise... отъ одного ожиданія, что вотъ-вотъ сейчасъ начнется разсказъ извѣстныхъ похожденій!

«Vous êtes un noble et généreux coeur, Serge! Но, къ сожалѣнію, свѣтская молодежь нашего времени думаетъ, что одной физической силы (одинъ петербургскій адвокатъ de mes amis называетъ это современною гвардейскою правоспособностью) достаточно, чтобъ увлечь женщину. Не вѣрь этому, другъ мой! La femme aime à être initiée, entre deux baisers, aux mystères de l'histoire, de morale

et de littérature! И она очень рада, когда не слышитъ, какъ близкій человѣкъ утверждаетъ, что Ликургъ былъ главнымъ городомъ Греціи и славился кожевенными и мыловаренными заводами, какъ это сдѣлалъ, лѣтъ пять тому назадъ, на моихъ глазахъ, одинъ національгардъ (и какъ онъ идіотски улыбался при этомъ, чтобы нельзя было разобрать, въ шутку ли онъ говоритъ это, или вслѣдствіе серьезнаго невѣжества!).

«Но довольно. Я вижу, что надоѣла тебѣ своей воркотней. Кстати, до меня уже долетаютъ выкрики одиночнаго ученія: это значитъ, что Butor возсталъ отъ послѣобѣденнаго сна. Надо кончить. Пиши обо всемъ, что касается Pauline. Je voudrais l'embrasser et la bénir. Dis-lui qu'il faut qu'elle aime bien mon garçon. Je le veux. A toi de coeur —

«Nathalie de Prokaznine».

«Ты не теряешь, однако, времени, дурной мальчикъ! Ухаживаешь за Полиной и въ то же время не упускаешь изъ вида вдовушку Лиходѣеву, которая «отправляетъ значительное количество барокъ съ хлѣбомъ». Эта приписка мнѣ особенно нравится! Mais savez-vous que c'est bien mal à vous, monsieur le dameret, de penser à une trahison, même avant d'avoir reçu le droit de trahir!..»

«Я получилъ твое письмо, chère petite mère. Comme modèle de style — c'est un chef d'oeuvre, но, къ сожалѣнію, я долженъ сказать, что ты по крайней мѣрѣ на двадцать лѣтъ отстала отъ вѣка.

«Всѣ эти финессы и деликатессы, эти aperçus de morale et de politique, эти подходцы и подвиливанья — все это старый хламъ, за который нынче гроша не дадутъ. De nos jours, on ne fait plus d'aperçus: on fait l'amour — et voilà tout!.. Мы — позитивисты (il me semble avoir lu quelque part ce mot), мы знаемъ, что time is money, и предпочитаемъ любовный телеграфъ самой благоустроенной любовной почтѣ.

«И знаешь ли, кто произвелъ этотъ коренной переворотъ въ обращеніи съ любовью? Это все тотъ же чизльгёрстскій философъ, l'auteur de la belle échauffourée du 2 décembre, о которомъ ты такъ томно воркуешь. Онъ и она... la résignée de Chizzlhurst la belle Eugénie. Въ такое время, когда прелестнѣйшія женщины въ мірѣ забы-

ваютъ преданія de la vieille courtoisie française, pour fraterniser avec la soldatesque, когда весь міръ звучитъ любезными, но отнюдь не запечатлѣнными добродѣтелью мотивами изъ «La fille de m-me Angot», когда въ наиболѣе высокопоставленныхъ салонахъ танцуютъ кадрили подъ звуки «ah, j'ai un pied qui r'mue», когда всѣ «моды и робы», турнюры и пуффы, всякій бантъ, всякая лента, всякая пуговица на платьѣ, все направлено къ тому, чтобы мужчина, не теряя времени на праздныя изысканія, смотрѣлъ прямо туда, куда нужно смотрѣть,—въ такое время, говорю я, некогда думать объ aperçus, а нужно откровенно, franchement, сказать себѣ: хватай, лови, пей, ѣшь и веселись!

«Сознайся, petite mère, que tu as voulu faire de la blâgue et du joli style—et voilà tout. Въ дѣйствительности же ты сама очень хорошо знаешь, что все это одна меланхолія, какъ выражается ротмистръ Цыбуля. Морни, Персиньи... неужели ты думаешь, что ихъ можно было плѣнить разными aperçus politiques, historiques et littéraires? И сама «la belle résignée de Chizzlhurst»—неужели «le philosophe» плѣнилъ ее какимъ-нибудь ловкимъ изложеніемъ «Слова о полку Игоревѣ»? Нѣтъ, голубчикъ, ты сама не вѣришь этому, потому что тутъ же, черезъ двѣ-три строки, упоминаешь о существованіи d'une certaine robe, «сотканнаго точно изъ воздуха»... Вотъ это такъ! вотъ эти-то «сотканныя изъ воздуха» платья одни и производятъ въ наше время эффектъ. C'est simple comme bonjour.

«И совсѣмъ я не такъ ужъ неотесанъ, какъ ты полагаешь. У меня даже больше sujets de conversation, нежели сколько требуется по тому роду оружія, въ которомъ я служу. Я учился и исторіи, и литературѣ, и кромѣ того владѣю французскимъ языкомъ. Я могу разсказать и про волчицу, вскормившую Ромула, и про Калигулу, котораго многіе (но не я) смѣшиваютъ съ Каракаллой. En fait de littérature, я знаю «Вихрь полунощный, летитъ богатырь», «Оставимъ астрономамъ доказывать»—une foule de choses en un mot. Правда, я нѣсколько призабылъ греческую исторію, но все-таки напрасно ты думаешь меня сбить съ толку своимъ Ликургомъ. Кто же не знаетъ, что главный городъ Греціи былъ Солонъ!

«Вообще, хоть я не горжусь своими знаніями, но нахожу, что тѣхъ, какими я обладаю, совершенно достаточно,

чтобы не ударить лицомъ въ грязь. Что же касается до того, что̀ ты называешь les choses de l'actualité, то для ознакомленія съ ними я, немедленно по прибытіи къ полку, выписалъ себѣ «Сынъ Отечества» за весь прошлый годъ. Все же это получше «Городскихъ и иногородныхъ афишъ», которыми пробавляетесь ты и Butor въ тиши уединенія.

«Не думай, однако-жъ, petite mère, что я сержусь на тебя за твои нравоученія и обиженъ ими. Во-первыхъ, я слишкомъ bon enfant, чтобъ обижаться, а во-вторыхъ, я очень хорошо понимаю, что въ твоемъ положеніи ничего другого не остается и дѣлать, какъ морализировать. Еще бы! имѣй я ежедневно передъ глазами Butor'a, я или повѣсился бы, или такой бы aperçu de morale настрочилъ, что ты только руками бы развела!

«А теперь поговоримъ о моихъ маленькихъ дѣлахъ. То, что̀ я писалъ тебѣ, начинаетъ сбываться. Меня ужъ назвали «сынкомъ» и дали мнѣ поцѣловать ручку (ручка у нея маленькая, тепленькая, съ розовыми ноготками). Конечно, это еще немного (я увѣренъ даже, что ты найдешь въ этомъ подтвержденіе твоихъ нравоученій), но я все-таки продолжаю думать, что ежели мои поиски и не увѣнчиваются со скоростью телеграфнаго сообщенія, то совсѣмъ не потому, что я не пускаю въ ходъ «aperçus historiques et littéraires», а просто потому, что по заведенному порядку никакое представленіе никогда съ пятаго акта не начинается. Что̀ дѣлать! Женщина такъ ужъ воспитана, что требуетъ, чтобы однажды принятая канитель была продѣлана отъ начала до конца, а исключеніе въ этомъ случаѣ допускается только въ пользу «чизльгёрстскихъ философовъ»...

«Это было вчера, послѣ обѣда. Въ этотъ день все офицерство праздновало на именинахъ у одного помѣщика верстъ за пять отъ города, а потому я одинъ обѣдалъ у полковника. Онъ самъ хотя и не поѣхалъ къ имениннику, отозвавшись нездоровьемъ, но послѣ обѣда тотчасъ исчезъ (представь себѣ, я узналъ, что онъ дѣлаетъ экскурсіи къ женѣ нашего дивизіонера, роскошной малороссіянкѣ, и что это даже очень недешево обходится старику). Мы сидѣли вдвоемъ. Погода на дворѣ стояла отвратительная, совсѣмъ осенняя, и хотя былъ всего шестой часъ, въ комнатахъ уже царствовалъ полусвѣтъ. Она полулежала на кушеткѣ, завернувшись въ шаль (elle est frileuse, comme le sont

toutes les blondes); я сидѣлъ нѣсколько поодаль на стулѣ, чутко прислушиваясь къ малѣйшему шороху. На ней было шелковое сѣро-стальное платье, котораго цвѣтъ до того подходитъ къ этимъ сумеркамъ, что мягкіе контуры ея формъ, казалось, сливались съ общимъ полусвѣтомъ комнаты. Я долгое время молчалъ, но опять-таки совсѣмъ не потому, чтобы не имѣлъ sujets de conversation, а потому просто, что наединѣ съ хорошенькой женщиной какъ-то ничего не идетъ на умъ, кромѣ того, что она хорошенькая. Но зато я смотрѣлъ на нее... пристально, почти въ упоръ (c'est une manière comme une autre de faire entrendre certaines intentions).

«— Не хотите ли творогу со сливками? — вдругъ обратилась она ко мнѣ.

«— Madame!..—сказалъ я, не понимая ея вопроса.

«— Вы такой молодой... vous devez adorer le laitage...

«Признаюсь, это меня какъ будто ожгло; но, къ счастью, я скоро нашелся.

«— Можетъ-быть,—отвѣтилъ я:—но во всякомъ случаѣ обожать молоко все-таки лучше, нежели обожать... лукъ!

«Въ свою очередь, она съ минуту въ недоумѣніи смотрѣла на меня... и вдругъ поняла!

«— Ахъ, да!—почти вскрикнула она, весело хохоча:— «лукъ»... «цыбуля»... c'est ça! Ce cher capitaine! Mais savez-vous que c'est très méchant! Лукъ... цыбуля... обожать Цыбулю... ah! ah!

«И она вновь такъ звонко засмѣялась, что я почувствовалъ себя довольно неловко. Ты не можешь себѣ представить, maman, какой это смѣхъ! Звукъ его ясный, чисто-дѣтскій и въ то же время раздражающій, ѣдкій. Нахохотавшись до-сыта, она вздохнула и сказала:

— Какой вы молодой!

— Послушайте, баронесса!—сказалъ я:—я ужъ однажды слышалъ отъ васъ это восклицаніе. Теперь вы его повторяете... Зачѣмъ?

«— А хоть бы затѣмъ, чтобъ вы не смотрѣли такъ, какъ сейчасъ на меня смотрѣли. Vous avez des regards de conquérant qui sont on ne peut plus compromettants... ah oui!

«— Въ чьихъ же глазахъ это можетъ компрометировать васъ? Быть-можетъ...

«Я остановился, какъ бы затрудняясь продолжать.

«— Въ глазахъ ротмистра, хотите вы сказать? А если-бъ и такъ?

«— Цыбуля, баронесса! Поймите меня... Цыбуля!

«— Вамъ не нравится эта фамилія? Какой вы молодой!

«— De grâce, baronne!

«— Да, молодой! Если-бъ вы не были молоды, то поняли бы, что Цыбуля — отличный! Que c'est un homme charmant, un noble coeur, un ami à toute épreuve...

«— Rien qu'un ami?

«— Ah! ah! par exemple!

«Она опять залилась своимъ яснымъ, раздражающимъ смѣхомъ. Но я весь кипѣлъ: виски у меня стучали, дыханіе занималось. Вѣроятно, въ лицѣ моемъ было что-то особенно горячее, потому что она пристально взглянула на меня и привстала съ кушетки.

«— Слушайте,—сказала она:—будемте говорить хладнокровно. Мнѣ тридцать лѣтъ, и вы могли бы быть моимъ сыномъ... à peu près...

«Вотъ оно, сынокъ!»—мелькнуло у меня въ головѣ.

«— Что̀ за дѣло!—началъ я.

«— Нѣтъ, очень большое дѣло. Я не хочу портить вашу жизнь... не хочу! Вы только въ началѣ пути, а я...

«— Неправда! неправда!—воскликнулъ я съ жаромъ:— красота, грація... la chasteté du sentiment!.. cette fraîcheur de formes... ce mœlleux... ça ne passe pas! Это вѣчно!

«Она засмѣялась вновь, но уже тихонько, сладко и приняла задушевный тонъ.

«— Хотите быть моимъ другомъ?—сказала она.—Нѣтъ, не другомъ... а сыномъ?

«— Потому что «другъ» у васъ ужъ есть?—съ горечью произнесъ я.

«— Ну, да, Цыбуля... c'est convenu! А вы будете сыномъ... mon fils, mon enfant—n'est-ce pas?

«Я молчалъ.

«— Но почтительнымъ, скромнымъ сыномъ... pas de bêtises... правда? И чтобъ я никогда не видѣла никакихъ ссоръ... съ Цыбулей?

«— И съ Травниковымъ?—бросилъ я ей въ упоръ.

«— И съ Травниковымъ... ah! ah! par exemple! Да, и съ Травниковымъ, потому что онъ присылаетъ мнѣ прелестные букеты и отлично устраиваетъ въ земствѣ дѣла барона по квартированію полка... Eh bien! pas de bêtises... c'est convenu?

«— Mais comprenez donc...

«— Pas de mais! Un bon gros baiser de mère, appliqué

sur le front du cher enfant, et plus — rien! Слышите! — ничего!

«Съ этими словами она встала, подошла ко мнѣ, взяла меня обѣими руками за голову и поцѣловала въ лобъ. Все это сдѣлалось такъ быстро, что я не успѣлъ очнуться, какъ она уже отпрянула отъ меня и позвонила.

«Я былъ внѣ себя; я готовъ былъ или разбить себѣ голову, или броситься на нее (tu sais, comme je suis impétueux!), но въ это время вошелъ лакей и принесъ лампу.

«Затѣмъ кое-кто подъѣхалъ, и, разумѣется, въ числѣ первыхъ явился Цыбуля. Онъ сіялъ такимъ отвратительнымъ здоровьемъ, онъ былъ такъ омерзительно доволенъ собою, усы у него были такъ подло нафабрены, голова такъ холопски напомажена, онъ съ такою денщицкою самоувѣренностью чмокнулъ руку баронессы и потомъ оглядѣлъ осовѣлыми глазами присутствующихъ (послѣ имениннаго обѣда ему, очевидно, попало въ голову), что я съ трудомъ могъ воздержаться...

«И эта женщина хочетъ втереть мнѣ очки насчетъ какихъ-то платоническихъ отношеній... съ Цыбулей! Съ этимъ человѣкомъ, который пройдетъ сквозь строй черезъ тысячу человѣкъ — и не поморщится! Ну, нѣтъ-съ, Полина Александровна, — это вы напрасно-съ! Мы тоже въ этихъ дѣлахъ кое-что смыслимъ-съ!

«Весь остатокъ вечера я провелъ въ самомъ поганомъ настроеніи духа, но велъ себя совершенно прилично. Холодно и сдержанно. Она замѣтила это и улучила минуту, чтобъ подозвать меня съ себѣ.

«— Vous vous conduisez comme un sage!—сказала она.— Вотъ вамъ за это!

«Она быстро поднесла къ моимъ губамъ руку, но я былъ такъ золъ, что только чуть-чуть прикоснулся къ этой хорошенькой, душистой ручкѣ...

«Къ довершенію всего, мнѣ пришлось возвращаться домой вмѣстѣ съ Цыбулей, которому вдругъ вздумалось пооткровенничать съ мною.

«— Ты, хвендрикъ, не вздумай у меня Парасю отбить!— сказалъ онъ совсѣмъ неожиданно.

«Парася»! le joli nom! И я увѣренъ, что съ-глазу-на-глазъ, въ минуты чувствительныхъ изліяній, онъ ее даже и Параськой зоветъ! Это окончательно взбѣсило меня.

«— Послушайте! — отвѣчалъ я: — во-первыхъ, я не понимаю, о чемъ вы говорите, а во-вторыхъ, объясните мнѣ,

почему вы говорите: «хвендрикъ», тогда какъ отлично произносите: «фостъ»!

«— Эге! да вѣдь и въ самой же вещи такъ!—удивился онъ и на всю улицу разразился хохотомъ...

«Итакъ, первый актъ кончился. Но что это именно только первый актъ, за которымъ пойдутъ второй и послѣдующіе—въ этомъ ручаюсь тебѣ я!

«Цѣлую твои ручки. Ахъ, если-бъ ты могла улизнуть отъ несноснаго Butor'a и пріѣхать въ К***! Мнѣ такъ нужны, такъ нужны твои совѣты!

«Твой С. Проказнинъ».

«P. S. Вчера, въ то самое время, какъ я разыгрывалъ роли у Полины, Лиходѣева зазвала Ѳедьку и поднесла ему стаканъ водки. Потомъ спрашивала, каковъ баринъ? На что̀ Ѳедька отвѣтилъ: «баринъ насчетъ женскаго полу — огонь!» Должно-быть, ей это понравилось, потому что сегодня утромъ она опять вышла на балконъ и стояла тамъ все время, покуда я смотрѣлъ на нее въ бинокль. Право, она недурна!»

«Взвѣсимъ всѣ шансы, мой другъ, и будемъ говорить серьезно.

«Изъ послѣдняго твоего письма я вижу, что твое предпріятіе гораздо сложнѣе, нежели можно было предположить. C'est très sérieux, mon enfant, c'est presque insurmontable. Тутъ нужно много сдержанности, самоотверженія и—passe moi le mot—ума. Потому что дѣло идетъ не о томъ только, чтобы наполнить праздное и скучающее существованіе, не о томъ, чтобы освободить это существованіе отъ тисковъ, которыми оно охвачено и которые со всѣхъ сторонъ заграждаютъ путь къ сердцу женщины.

«Я вижу два заинтересованныхъ лица: Цыбулю и Травникова. Ты приходишь третьимъ. Начнемъ съ Цыбули.

«Ротмистръ въ твоемъ описаніи выходитъ очень смѣшонъ. И я увѣрена, что Полина вмѣстѣ съ тобой посмѣялась бы надъ этимъ напомаженнымъ денщикомъ, если-бъ ты пришелъ съ своимъ описаніемъ въ то время, когда борьба еще была возможна для нея. Но я боюсь, что роковое рѣшеніе ужъ произнесено, — такое рѣшеніе, изъ котораго нѣтъ другого выхода, кромѣ самаго безумнаго скандала.

«Il doit y avoir une question d'argent—c'est presque

certain. Цыбуля—казначей, а такіе люди нужны. Казначеи всегда имѣютъ деньги—j'en sais quelque chose, moi, потому что Butor одно время былъ казначеемъ. Очень возможно, что баронъ скупъ и неохотно даетъ деньги на туалетъ жены; еще возможнѣе, что всѣ доходы его уходятъ на удовлетвореніе прихотей «прекрасной малороссіянки». Въ такомъ случаѣ Цыбуля — настоящій кладъ не только для нея, но и для него. Онъ развязываетъ его руки, избавляетъ его отъ необходимости ремонтировать дорогую игрушку—жену, къ которой онъ уже не чувствуетъ ни малѣйшаго интереса.

«Ты молодъ, мой другъ! tu ne connais rien dans les misères humaines. Ты не можешь себѣ представить, какое горькое значеніе имѣютъ въ жизни женщины тряпки, на которыя ты едва обращаешь вниманіе. Видѣть женщину хорошо одѣтою кажется до такой степени натуральнымъ, что вамъ, мужчинамъ, не приходитъ даже мысль спросить себя, какъ создается эта обаятельная обстановка, cette masse de soies, de velours, de mousselines et de dentelles, qui rend la femme si séduisante, si désirable. А между тѣмъ это цѣлая страдальческая эпопея. Тутъ все: и борьба, и покорность, и обманъ, и униженіе, и предательство, и слезы... tout jusqu'à l'oubli du 7-me commandement inclusivement.

«Я отсюда вижу Полину, cette pauvre âme désolée. Elle aime les bonnes choses; она съ удовольствіемъ прячетъ себя въ нѣжащія, мягкія волны шелка и кружевъ. Ça habille si bien! ça communique à la physionomie la plus ordinaire quelque chose de distingué, de vaporeux, de céleste. Et puis... viennent les messieurs. Они такъ страстно слѣдятъ за этою шелковою зыбью, такъ жадно хотятъ проникнуть тайну, которая за нею скрывается, такъ обаятельно льстятъ, что бѣдная женщина, незамѣтно для самой себя, petit à petit, погружается въ этотъ чарующій міръ, гдѣ все мягко, душисто, уютно, тепло...

«И вотъ въ ту минуту, когда страсть къ наряду становится господствующею страстью въ женщинѣ, когда мужъ, законный обладатель всѣхъ этихъ charmes, tant convoités, смотритъ на нихъ тупыми и сонными глазами, когда покупка каждой шляпки, каждаго бантика возбуждаетъ цѣлый потокъ упрековъ съ одной стороны и жалобъ—съ другой, когда, наконецъ, между обѣими сторонами устанавливается полуравнодушное, полупрезрительное отношеніе — въ эту

минуту, говорю я, точно изъ земли вырастаетъ господинъ Цыбуля. Онъ очень ловко начинаетъ съ того, что накидываетъ на себя маску преданности и смиренія. Онъ ничего не требуетъ, кромѣ счастья оказывать тысячи безкорыстныхъ услугъ. Онъ устраиваетъ дѣла мужа, выводитъ его изъ затрудненій, покровительствуетъ его слабостямъ. И въ то же время выказываетъ безграничное, почти благоговѣйное баловство относительно жены. Такимъ образомъ мало-по-малу онъ становится необходимымъ для обоихъ. Это миротворецъ, это устранитель недоразумѣній, c'est le cœur le plus noble, c'est l'ami à toute épreuve.

«Но если заслуга однажды ужъ признана, то весьма естественно, что съ тѣмъ вмѣстѣ признается и право на вознагражденіе за нее. Это признаніе подкрадывается незамѣтно, въ одну изъ тѣхъ минутъ мечтательнаго состраданія, въ которыя такъ охотно погружается женщина и которыя Цыбули умѣютъ отлично ловить. Dès lors, la femme ne s'appartient plus. Она перестаетъ быть собою, она дѣлается собственностью, вещью... Цыбули! одного Цыбули, sans partage! Самъ мужъ, хотя и замѣчаетъ, что у него подъ носомъ происходитъ нѣчто, не входившее въ его первоначальные разсчеты, но—поздно. Привычка и тысяча мелкихъ услугъ уже до того сковываютъ всѣ его дѣйствія, что онъ не протестуетъ, а думаетъ только о томъ, чтобы спасти приличія.

«Я знаю, ты скажешь опять, что Цыбуля смѣшонъ, что онъ не болѣе, какъ напомаженный денщикъ, что порядочная женщина не можетъ и т. д. Et pourtant, tu sais très bien qu'il y est. Ахъ, мой другъ! вы живете въ провинціи, въ маленькомъ городкѣ, гдѣ горизонты ужасно какъ суживаются. Та самая женщина, которая, живя въ одномъ изъ большихъ цивилизованныхъ центровъ, увидѣла бы въ Цыбулѣ не больше какъ l'homme au gros magot, въ захолустьѣ — мирится съ нимъ совершенно, мирится какъ съ человѣкомъ, даже независимо отъ его magot. Глазъ легко привыкаетъ какъ къ изящному, такъ и къ безвкусному, и среди цѣлой массы денщиковъ—денщикъ Цыбуля уже не производитъ оскорбительнаго впечатлѣнія. Онъ «не противенъ»—этого одного достаточно, чтобы не разрывать съ нимъ, тѣмъ больше, что при тѣхъ условіяхъ, въ которыхъ произошло сближеніе, разрывъ равносиленъ такой огласкѣ, которая для свѣтской женщины тяжелѣе самыхъ тяжелыхъ цѣпей.

«Такимъ образомъ Цыбуля имѣетъ за себя: во-первыхъ, очень вѣскія обязательства, во-вторыхъ, привычку и, въ-третьихъ, молчаливое потворство мужа... И ты думаешь, что она разорветъ съ нимъ!

«Ни за что! Но этого мало, что она не разорветъ: она едва ли даже рѣшится обмануть его въ твою пользу. Въ этомъ маленькомъ городкѣ, гдѣ произошла ея семейная драма, ни одна даже малѣйшая подробность частной жизни не можетъ ускользнуть отъ вниманія праздныхъ наблюдателей. Къ Цыбулѣ всѣ ужъ привыкли; всѣ видятъ въ немъ неизбѣжное дополненіе семейства барона Шпека, такъ что самая ничтожная перемѣна въ этомъ смыслѣ возбудитъ общее вниманіе и непремѣнно будетъ извѣстна Цыбулѣ. Съ другой стороны, Цыбуля вовсе не такой человѣкъ, чтобы выпустить изъ рукъ свою добычу... и даже часть добычи. Повѣрь, что онъ ведетъ подробный счетъ своимъ издержкамъ, что у него всякая копейка записана въ книгу avec noms et prénoms. Это негодяй очень опасный, негодяй, который все помнитъ и все хранитъ. Навѣрное у него есть письма Полины, навѣрное въ этихъ письмахъ... ахъ! ничего не можетъ быть довѣрчивѣе бѣдной любящей женщины, и ничего не можетъ быть ужаснѣе денщиковъ, когда они дѣлаются властелинами судьбы ея!

«Итакъ, вотъ Цыбуля. Что касается до господина Травникова, то мнѣ кажется, что ты ошибаешься, подозрѣвая его въ интимныхъ отношеніяхъ къ баронессѣ. Я, напротивъ, увѣрена, что онъ à peu près находится въ томъ же положеніи, какъ и ты. Il est tout simplement un agréable blâgueur, un chevalier servant, невинный поставщикъ конфетъ и букетовъ, за которые однако же баронессѣ очень достается отъ ревниваго Цыбули.

«Какъ бы то ни было, но ты приходишь третьимъ.

«Знаешь ли что! Я удивляюсь, что Полина даже настолько себѣ позволила, сколько она высказала при томъ случайномъ свиданіи, которое ты описываешь. C'est une âme vraiment héroïque. Другая на ея мѣстѣ совсѣмъ бы притихла. Вѣдь эти денщики... они дерутся! Сколько нужно имѣть твердости характера, самоотверженія и героизма, чтобы въ виду ихъ отважиться на какую-нибудь escapade! Однако-жъ она отважилась, — правда, осторожно, почти двусмысленно, но даже и это навѣрное ей не прошло даромъ. Цыбуля уже подозрѣваетъ, онъ ужъ слѣдитъ за нею, et il n'en démordera pas, sois en certain. Онъ слиш-

комъ денщикъ, чтобы забыть о деньгахъ, которыя онъ истратилъ!

«Вотъ соображенія, которыя я, какъ преданная мать, считаю себя обязанною передать тебѣ... только не поздно ли?

«Стало-быть, нужно отступить? спросишь ты меня и, конечно, спросишь съ негодованіемъ. Мой другъ! я слишкомъ хорошо понимаю это негодованіе, я слишкомъ цѣню благородный источникъ его, чтобъ отвѣтить тебѣ сухимъ: да, лучше отступить! Я знаю, кромѣ того, что подобные отвѣты не успокаиваютъ, а только раздражаютъ. Итакъ, поищемъ оба, не блеснетъ ли намъ въ темнотѣ лучъ надежды, не броситъ ли намъ благосклонная судьба какого-нибудь средства, о которомъ мы до сихъ поръ не думали?

«Скажу тебѣ прямо: это средство есть, но оно потребуетъ съ твоей стороны не только благоразумія, но почти самоотверженія. Это средство—совершенно довѣриться инстинкту и такту Полины. Une femme qui aime est intarrissable en matière d'expédients. Il faut que Pauline trouve un compromis — sans cela pas de salut! *avec ou sans Tziboulla, n'importe*! Ты долженъ сказать себѣ это, и въ особенности остановиться на послѣднемъ, подчеркнутомъ мною условіи. Повторяю: ты не только не имѣешь права быть придирчивымъ, но даже обязанъ всячески помогать Полинѣ въ ея миссіи. Во-первыхъ, не брюскировать ее и не пугать своимъ нетерпѣніемъ; во-вторыхъ, выказать относительно ея много, очень много терпимости.

«Достанетъ ли у тебя героизма, чтобъ выполнить это?

«Но, можетъ-быть, ты и на эти совѣты посмотришь, какъ на пустую старушечью воркотню... Что-жъ дѣлать, мой другъ! Nous autres, vieilles mamans, nous ne savons qu'aimer! Я давно ужъ освоилась съ мыслью, что для меня возможна только роль старухи. Butor слишкомъ часто произноситъ это слово въ примѣненіи ко мнѣ (и съ какою язвительностью онъ дѣлаетъ это, если-бъ ты зналъ!), чтобы я могла сохранять какія-нибудь сомнѣнія на этотъ счетъ... Хотя le père Basile и увѣряетъ, что я могла бы еще любить...

«Кого любить?.. Персиньи, Морни... Онъ!

«Нѣтъ, я никого не могу любить, кромѣ Бога, ни въ чемъ не могу найти утѣшенія, кромѣ религіи! Знаешь ли, иногда мнѣ кажется, что у меня выросли крылья, и что я лечу высоко-высоко надъ этимъ дурнымъ міромъ!

«А между тѣмъ сердце еще молодо... Зачѣмъ оно молодо,

другъ мой, зачѣмъ жестокій рокъ не разбилъ его, какъ разбилъ мою жизнь?

«На-дняхъ, впрочемъ, и мое бѣдное существованіе озарилось лучомъ радости. Paul de Cassagnac вспомнилъ обо мнѣ и прислалъ длинное письмо, которое, будто волшебствомъ, перенесло меня въ міръ чудесъ. Всѣ они: и Cassagnac, и Dugué de la Fauconnerie, и Souillard, и Rouhet — всѣ полны надеждъ. Гамбеттѣ готовится сюрпризъ, отъ котораго онъ долго не оправится. Всѣ веселы, бодры, готовы; всѣ зовутъ меня: «mais venez donc chez nous, pauvre cher ange incompris!»

«И представь себѣ, Butor имѣлъ низость перехватить это письмо и прочитать его. Съ тѣхъ поръ онъ не иначе зоветъ меня, какъ «pauvre cher ange incompris». И все это—въ присутствіи Филатки. Такъ что даже тѣ немногія бѣдныя радости, которыя мнѣ остались,—и тѣ становятся для меня источникомъ досадъ и нравственныхъ истязаній!

«Я одна, одна, одна... Это ужасно! Я пробовала поставить le père Basile au niveau de mon idéal, но до сихъ поръ это какъ-то не удается мнѣ. Хуже всего то, что, говоря со мной, онъ всегда пускаетъ въ ходъ этотъ несносный высокій слогъ. А еще хуже, что онъ совсѣмъ не умѣетъ вести себя за столомъ, и когда кончитъ супъ, то всегда кладетъ ложку на скатерть. Но иногда онъ меня поражаетъ глубиною своихъ опредѣленій. На-дняхъ мы говорили съ нимъ о вѣрѣ, и знаешь ли, что̀ онъ мнѣ сказалъ? Что одна вѣра даетъ намъ твердое (il prononce: «твѐрдое») и извѣстное основаніе... Ахъ, какая это истина, другъ мой! Это именно то самое, въ чемъ я убѣдилась тогда... въ Парижѣ!

«И онъ страдалъ! И ему знакома эта святая жажда сердца, которая, вслѣдствіе злой насмѣшки судьбы, какъ-то всегда остается неудовлетворенною. Представь себѣ: онъ долженъ былъ жениться на дурѣ, которая не можетъ отличить правую руку отъ лѣвой,—жениться, потому что иначе ему предстояло оставаться безъ мѣста на неопредѣленное время. Съ тѣхъ поръ вся его жизнь есть не что̀ иное, какъ безконечная цѣпь самоотверженій. Онъ самъ говорилъ мнѣ, что если-бъ не сошелъ къ нему съ небеси ангелъ (кажется, онъ называетъ этимъ именемъ меня; tu vois, comme il est délicat), то онъ давно бы началъ пить.

«Вотъ моя жизнь, мой другъ, вотъ жизнь твоей старухи-матери. Иногда мнѣ кажется, что я даже начинаю свы-

каться съ ея однообразіемъ, особливо когда Butor оставляетъ меня въ покоѣ. Отъ времени до времени онъ уѣзжаетъ къ сосѣдямъ или на охоту, и тогда я цѣлыми днями остаюсь одна. Я пользуюсь этими минутами отдыха, чтобы освѣжить свою душу воспоминаніями. Я убѣгаю въ паркъ и долго брожу одна, совсѣмъ одна по пустыннымъ аллеямъ. Нашъ паркъ—прелесть, и особенно осенью. Онъ такъ таинственно дремлетъ, облитый золотыми лучами сентябрьскаго солнца, такъ тихо помаваетъ багряными вершинами своихъ деревъ, какъ будто разсказываетъ какой-то безконечный фантастическій сонъ. Воздухъ совсѣмъ-совсѣмъ прозраченъ и такъ гулокъ, что малѣйшій шелестъ, малѣйшій порхъ птицы отдается во всѣхъ углахъ парка. Я поминутно вздрагиваю. Свѣжо, бодро... чудо, какъ хорошо! Я скоро-скоро бѣгу по усыпаннымъ желтыми листьями дорожкамъ и вся отдаюсь своимъ мечтамъ. Morny... Persigny... Lui! Все это такъ недавно было... и всего этого нѣтъ! Rien! Понимаешь ли ты, какое безнадежное чувство я должна испытывать, ежеминутно повторяя себѣ это ужасное: rien!

«Rien! mais c'est le désespoir, c'est le néant, c'est la mort... За что?!

«Иногда мнѣ кажется, что гдѣ-то, близко, меня подстерегаетъ катастрофа... Что вдругъ блеснетъ мнѣ въ глаза великая причина, которая вызоветъ съ моей стороны великое рѣшеніе...

«Я ничего не знаю, что дѣлается на свѣтѣ. Къ довершенію досады, даже «Городскія и иногородныя афиши» почти цѣлый мѣсяцъ не доходятъ до меня. Что дѣлаетъ Базенъ? смирился ли Plon-Plon? неужели «la belle résignée» проводитъ все время въ томъ, что переѣзжаетъ изъ Чизльгёрста въ Арененбергъ и обратно? неужели Флёри ничего болѣе умнаго не выдумалъ, кромѣ парадированія въ полномъ мундирѣ на смотру англійскихъ войскъ à côté de l'Ecolier de Woolwich? Къ чему же привели всѣ эти casse-têtes и sorties de bal, которые когда-то съ такимъ успѣхомъ зажимали рты слишкомъ болтливой canaille? Ужели ихъ никогда уже нельзя будетъ пустить въ ходъ?

«Tout pour le peuple et tout par le peuple» — ужели и это, наконецъ, забыто?!

«Ты, можетъ-быть, удивишься тому, что все это до сихъ поръ меня волнуетъ; но вспомни же, *кто* меня любилъ, и пойми, что я не могу оставаться равнодушною... хотя бы прошли еще годы, десятки лѣтъ, столѣтія!

«Довольно. Еще разъ прошу: внимательно обсуди настоящее мое письмо и не забывай ту, которая сердцемъ всегда съ тобою,—

«N. de Prokaznine».

«P. S. Décidément, m-me Likhodéieff имѣетъ на тебя виды. Et vraiment, elle n'est pas à dédaigner, cette chère dame, которая «отправляетъ множество барокъ съ хлѣбомъ». Повидимому, даже она умна, потому что прямо обратилась къ тому человѣку, который всего лучше можетъ устроить ея дѣло, то-есть къ Ѳедькѣ. Quand à ce dernier, sa réponse à la belle amoureuse est incomparable de brio. Elle m'a rappelée les fines reparties de Jocrisse dans le «Jeu du hasard et de l'amour».

«Vous êtes la meilleure des mères, maman, mais décidément vous donnez dans la mélancolie. Должно-быть, присутствіе Butor'a такъ дѣйствуетъ на тебя. Неужели ты не можешь говорить своими словами, не прибѣгая къ хрестоматіи Ноэля и Шапсаля? Неужели ты и чизльгёрстскаго философа развлекала своими aperçus de morale? Воображаю, какъ ему было весело!

«Право, жизнь совсѣмъ не такъ сложна и запутана, какъ ты хочешь меня увѣрить. Но ежели бы даже она и была такова, то существуетъ очень простая манера уничтожить запутанности—это разрубить тотъ узелъ, который мѣшаетъ больше другихъ. Не знаю, кто первый употребилъ въ дѣло эту манеру,—кажется, князь Александръ Ивановичъ Македонскій,—но знаю, что этимъ способомъ онъ разомъ привелъ армію и флоты въ блистательнѣйшее положеніе.

«Кажется, именно я такъ и поступлю.

«Ты просто бѣсишь меня. Я и безъ того измученъ, почти искалѣченъ дрянною бабёнкою, а ты еще пристаешь съ своими финессами да деликатессами, avec tes blâgues. Я раскрываю твое письмо, думая въ немъ найти *дѣльный* совѣтъ, а вмѣсто того встрѣчаю описанія какихъ-то «шелковыхъ зыбей» да «masses de soies et de dentelles». Connu, ma chère! Спрашиваю тебя: на кой чортъ мнѣ всѣ эти dentell'и, коль скоро я не знаю, что̀ они собою прикрываютъ?

«Въ одномъ только ты права: въ томъ, что Полина дрянная, исковерканная бабёнка. То-есть, тебѣ-то собственно эти коверканья нравятся, но, въ сущности, это просто га-

дость. Полина—одна изъ тѣхъ женщинъ, у которыхъ на первомъ планѣ не страсть и даже не темпераментъ, а какія-то противныя minauderies, то самое, что ты въ одномъ изъ своихъ писемъ называешь «les preludes de l'amour». По-моему, ничего гнуснѣе, развратнѣе этого быть не можетъ. Женщина, которая очень хорошо понимаетъ, чего она хочетъ и чего отъ нея хотятъ, и которая проводитъ время въ томъ, что сама себя дразнитъ... фуй, мерзость! Ты можешь острить сколько тебѣ угодно насчетъ «гвардейской правоспособности» и даже намекать, что я принадлежу къ числу представителей этого солиднаго свойства, но могу тебя увѣрить, что мои открытыя, ничѣмъ не замаскированныя слова и дѣйствія все-таки въ стократъ нравственнѣе, нежели паскудные aperçus politiques, historiques et littéraires, которыми вы, женщины, занимаетесь... entre deux baisers.

«Цѣлуютъ меня безпрестанно — cela devient presque dégoutant. Мнѣ говорятъ «ты», мнѣ при каждомъ свиданіи суютъ украдкой въ руку записочки, написанныя точь-въ-точь по образцу и подобію твоихъ писемъ (у меня ихъ въ теченіе двухъ мѣсяцевъ накопились цѣлые вороха!). Однимъ словомъ, есть всѣ матеріалы для поэмы, нѣтъ только самой поэмы. Это до того, наконецъ, обозлило меня, что вчера я рѣшился объясниться.

«Я нарочно пришелъ пораньше вечеромъ.

«— Вы знаете, конечно, что Базенъ бѣжалъ?—сказалъ я, чтобы завязать разговоръ.

«Она удивленно взглянула на меня.

«— Да-съ, — продолжалъ я:—бѣжалъ съ помощью веревки, на которой даже остались слѣды крови... ночью... во время бури... И долженъ былъ долгое время плыть!

«Я остановился; она все смотрѣла на меня.

«— Какой странный разговоръ!—наконецъ сказала она.

«— Ничего нѣтъ страннаго... Объ чемъ говорить?

«— Вѣроятно, это предисловіе?

«— А если бы и такъ?

«— Предисловіе... къ чему?

«— А хоть бы къ тому, что всѣ эти поцѣлуи, эти записочки, передаваемыя украдкой,—все это должно же, наконецъ, чѣмъ-нибудь кончиться, къ чему-нибудь привести?

«Она взглянула на меня съ такимъ наивнымъ недоумѣніемъ, какъ будто я принесъ ей Богъ вѣсть какое возмутительное извѣстіе.

«— Да-съ,—продолжалъ я:—эти поцѣлуи хороши *между прочимъ*; но какъ *постоянный режимъ* они совсѣмъ не пристали къ гусарскому ментику!

«— Mais vous devenez fou, mon ami!

«— Нѣтъ-съ, не fou-съ. А просто не желаю быть игралищемъ страстей-съ!

«Я былъ взбѣшенъ безконечно; я говорилъ громко и рѣшительно, безъ всякихъ ménagemens расхаживая по комнатѣ.

«— Но чего же *вы* отъ меня хотите?

«— Parbleu! la question me parait singulière.

«— Vous étes un butor!

«Признаюсь, въ эту минуту я готовъ былъ разорвать эту женщину на части! Вмѣсто того, чтобы честно отвѣтить на вопросы, она отдѣлывается какими-то общими фразами! Однако я сдержался.

«— Быть-можетъ, ротмистръ Цыбуля обращается деликатнѣе?—спросилъ я язвительно.

«— Да, Цыбуля—деликатный! C'est un chevalier, un ami à toute épreuve. Онъ никогда не обратится къ порядочной женщинѣ, какъ къ какой-нибудь drôlesse!

«— Еще бы! Мужчина четырнадцати вершковъ росту!

«— Pardon! Il me semble que vous oubliez...

«— Послушайте! неужели вы, однако, не видите, что я, наконецъ, измученъ?

«Это восклицаніе, повидимому, польстило ей. Вѣдь эти авторши разныхъ aperçus de morale et de politique—въ сущности, самыя кровожадныя, тигровыя натуры. Ничто не доставляетъ имъ такого наслажденія, какъ увѣренность, что пущенная въ человѣка стрѣла не только вонзилась въ него, но еще ковыяетъ его рану. Въ ея глазахъ блеснула даже нѣжность.

«— Voyons, asseyons-nous et tâchons de parler raison!—сказала она ласково.

«Я опустился на диванъ возлѣ нея. Опять начались поцѣлуи; опять одна рука ея крѣпко сжимала мою руку, а другая покоилась на моей головѣ и перебирала мои волосы. И вдругъ меня словно ожгло: я вспомнилъ, что все это по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ продѣлываетъ m-me Pasca на сценѣ Михайловскаго театра.

«— И вы называете это «parler raison»?!—почти закричалъ я.

«— *Mon ami*! au nom du ciel!

«— А! это на вашемъ языкѣ называется parler raison! Eh bien! je ne veux pas parler raison, moi! Je veux extravaguer, je veux...

. . . . . .

«Я велъ себя глупо; кажется даже, я мальтретировалъ ее. Но эта женщина—змѣя въ полномъ смыслѣ этого слова! Она скользитъ, вьется... Черезъ четверть часа я сидѣлъ въ своей дурацкой квартирѣ, кусалъ ногти и рвалъ на себѣ волосы...

«Къ довершенію всего, по дорогѣ мнѣ встрѣтился Цыбуля и словно угадалъ, что со мною произошло.

«— А ну-те, хвендрикъ,—сказалъ онъ:—добрые люди въ гости, а онъ изъ гостей бѣжитъ! Можетъ, гарбузъ получилъ?

«И, говоря это, глупѣйшимъ образомъ улыбнулся... скотина!

«Прощай, я слишкомъ озлобленъ, чтобъ продолжать. Пиши ко мнѣ, пиши чаще, но, ради Бога, безъ меланхолій.

«С. Проказнинъ».

«P. S. Лиходѣева опять залучила Ѳедьку, дала ему полтинникъ и сказала, что на-дняхъ исправникъ уѣзжаетъ въ уѣздъ «выбивать недоимки». Кромѣ того, спросила: есть ли у меня шуба?.. Ужъ не хочетъ ли она подарить мнѣ шубу своего покойнаго мужа... cette naïveté! Каждый день она проводитъ часъ или полтора на балконѣ, и я безъ церемоній осматриваю ее въ бинокль. Положительно она недурна, а сложена даже великолѣпно!»

«Все кончено. И тамъ, и тутъ. Вездѣ, во всемъ мірѣ кончено.

«Въ тотъ же день, какъ я отправилъ тебѣ послѣднее письмо, я по обыкновенію пошелъ обѣдать къ полковнику... Ахъ, maman! Вѣроятно, я *тогда* сдѣлалъ что-нибудь такое, въ чемъ и самъ не отдавалъ себѣ отчета!..

«Когда я вошелъ въ гостиную, я сейчасъ же замѣтилъ, что *ея* не было... Полковникъ что-то разсказывалъ, но при моемъ появленіи вдругъ все смолкло. Ничего не понимая, я подошелъ къ хозяину, но онъ не только не подалъ мнѣ руки, но даже заложилъ обѣ свои руки назадъ.

«— Господинъ субалтернъ-офицеръ!—сказалъ онъ мнѣ, возвысивъ голосъ, какъ на ученьи:—вы вели себя какъ ямщицки!

«Мнѣ ничего другого не оставалось, какъ повернуть налѣво кругомъ и исчезнуть.

«Послѣ обѣда я отправился, однако, въ городской садъ. Мнѣ было такъ скверно, такъ тоскливо, что я былъ готовъ придраться къ первому встрѣчному; но товарищи, завидѣвъ меня, скрывались. Я слышалъ только, что при моемъ появленіи произносилось слово: «шуба».

«На другой день все объяснилось. Ахъ, какая это адская интрига! И съ какимъ коварствомъ она пущена въ ходъ, чтобы забрызгать грязью одного меня и выгородить все остальное!.. Утромъ я сидѣлъ дома, обдумывая свое положеніе, какъ ко мнѣ пріѣхалъ одинъ изъ нашихъ офицеровъ. Онъ назвалъ себя депутатомъ и отъ имени всѣхъ товарищей пригласилъ меня оставить полкъ.

«— Но за что̀ же?—спросилъ я:—что̀ я сдѣлалъ такого, что̀ не было бы согласно съ принятыми въ офицерскомъ званіи обычаями?

«— Очень жаль,—сказалъ онъ мнѣ:—что между нами существуетъ на этотъ счетъ разногласіе, но общество наше никакъ не можетъ терпѣть въ средѣ своей офицера, который унизился до того, что принялъ въ подарокъ отъ женщины... шубу! Затѣмъ прошу васъ уволить меня отъ дальнѣйшихъ объясненій и позвольте надѣяться, что вы добровольно и какъ можно скорѣе исполните просьбу бывшихъ вашихъ товарищей!

«Онъ шаркнулъ и былъ таковъ.

«Меня вдругъ точно озарило. Я вспомнилъ дурацкій вопросъ Лиходѣевой: есть ли у меня шуба? Я бросился къ Ѳедькѣ—и что̀ же узналъ! что этотъ негодяй въ какомъ-то кабакѣ хвастался, что я не только въ связи съ Лиходѣевой, но что она подарила мнѣ шубу!.. Какой вздоръ!

«Карьера моя разбита. Пойми, petite mère, что я даже не могу опровергнуть эту клевету, потому что никто не станетъ слушать мои объясненія. C'est un parti pris; «шуба» тутъ ни при чемъ—это просто отводъ, придуманный фонъ-Шпеками и Цыбулей...

«Когда я думаю, что объ этомъ узнаетъ Butor, то у меня холодѣетъ спина. Голубушка! Брось ты свою меланхолію и помирись съ Butor'омъ. Au fond, c'est un brave homme! Вѣдь ты сама передъ нимъ виновата—право, виновата! Ну, что̀ тебѣ сто̀итъ сдѣлать первый шагъ? Онъ глупъ и все забудетъ! Не могу же я погибнуть изъ-за того только, что ты тамъ какія-то меланхоліи соблюдаешь!

«*С. Проказнинъ*».

«P. S. Пожалуйста, поскорѣе уломай Butor'a, потому что я ужъ подалъ въ отставку. Я безъ копейки—пусть пришлетъ денегъ. Представь себѣ, даже Лиходѣева перестала показываться. Сегодня утромъ я смотрѣлъ въ окно—вдругъ дверь балкона отворяется, и въ ней показывается улыбающаяся рожа исправника... Стало-быть, и съ этой стороны все кончено».

«Bazaine s'est évadé! Я сегодня прочла объ этомъ въ «Городскихъ и иногородныхъ афишахъ», которыя доставлены сюда разомъ за цѣлый мѣсяцъ.

«Я не могу описать тебѣ, мой другъ, что̀ я почувствовала, когда прочла это извѣстіе. C'était comme une révélation. Помнишь, я писала тебѣ, что предчувствую катастрофу... et bien, la-voici! Я заперлась въ своей комнатѣ и цѣлый часъ, каждую минуту повторяла одно и то же: Базенъ бѣжалъ! Базенъ бѣжалъ! И потомъ: Рюль... Рюль... Рюль...

«Рюль! Il est brave! il est jeune! il est beau!

«И я вдругъ, почти машинально, начала собираться. Мнѣ такъ ясно, такъ отчетливо представилось, что мое мѣсто... тамъ, à côté de ce brave et beau jeune homme!

«Oui, je dois être à mon poste! je le sens, jamais je ne l'ai senti avec autant d'irrésistibilité. Сначала ѣду въ Парижъ, чтобъ повидаться съ Sainte-Croix (celui qui a donné le soufflet à Gambetta), потомъ... потомъ, быть-можетъ, и совсѣмъ останусь въ Парижѣ... Ah! si tu savais, mon ami!

«Но, само собою разумѣется, что, гдѣ бы я ни была, сердцемъ я всегда съ тобою.

«*Nathalie*».

«Негодяй!

«Всѣ письма твои я перечиталъ, а послѣднія два даже самъ лично получилъ.

«Butor—это я-съ?!

«Наталья Кирилловна, твоя мать, а моя жена, вчерашняго числа въ ночь бѣжала, предварительно унеся изъ моего стола (посредствомъ подобраннаго ключа) двѣ тысячи рублей. Пишетъ, будто бы для свиданія съ Базеномъ бѣжитъ, я же навѣрно знаю, что для канкановъ въ Closeries des lilas. Но я не много о томъ печалюсь, а трепещу только, какъ бы, навѣшавшись въ Парижѣ до̀-сыта, опять не воротилась ко мнѣ.

«До сихъ поръ я читалъ седьмую заповѣдь такъ: не прелюбодѣйствуй! Но вы съ матерью и симъ недовольны, а новую заповѣдь выдумали: не перепрелюбодѣйствуй! Вы простому прелюбодѣйству не можете остаться вѣрными, но даже въ самый разгаръ онаго о томъ всечасно помышляете: какъ бы новое учинить!

«А посему вотъ отъ меня тебѣ приказъ: немедленно съ посланнымъ пріѣзжай въ деревню и паси свиней, доколѣ не исправишься. Буде же сего не исполнишь, то поѣзжай къ Базену и отъ него жди милости, а меня не раздражай.

«За симъ остаюсь навсегда разгнѣванный отецъ твой

«*Семенъ Проказнинъ*».

XII.—Кузина Машенька.

Саваны, саваны, саваны! Саванъ лежитъ на поляхъ и лугахъ; саванъ сковалъ рѣку; саваномъ окутанъ дремлющій лѣсъ; въ саванъ спряталась русская деревня. Морозно; окрестность тихо цѣпенѣетъ; несмотря на трудную, слишкомъ тридцативерстную станцію, объиндевѣвшая тройка, не понуждаемая ямщикомъ, вскачь летитъ по дорогѣ; отъ быстрой ѣзды и лютаго мороза захватываетъ духъ. Пустыня, безнадежная, надрывающая сердце пустыня... Вотъ налетѣлъ круговой вихрь, съ визгомъ взбуравилъ снѣжную пелену—и, кажется, словно гдѣ-то застонало. Вотъ звякнуло вдали; порывами доносится до слуха звонъ колокольчика обратной тройки, то прихлынетъ, то отхлынетъ, и опять кажется, что гдѣ-то стонетъ. Вотъ залаяла у деревенской околицы ледащая собачонка, зачуявъ волка,—и снова чудятся стоны, стоны, стоны... Мнится, что вся окрестность полна жалобнаго ропота, что вѣтеръ захватываетъ попадающіеся по дорогѣ случайные звуки и собираетъ ихъ въ одинъ общій стонъ...

Саваны и стоны...

Для жителя столицы, знакомаго лишь съ желѣзными путями, зимнее путешествіе на лошадяхъ, въ томъ видѣ, въ какомъ оно совершается въ наши дни, должно показаться почти анахронизмомъ. Если даже въ его памяти свѣжо сохранились воспоминанія о старинной ѣздѣ на почтовыхъ, сдаточныхъ и такъ-называемыхъ долгихъ, то и тутъ онъ

долженъ будетъ сознаться, что въ настоящее время этого рода способы передвиженія, сохранивъ за собой прежнія неудобства, значительно измѣнились къ худшему. Прежде вы одинаковымъ способомъ, то-есть на лошадяхъ, передвигались отъ мѣста до мѣста и сообразно съ этимъ устраивали извѣстныя приспособленія: обряжали экипажъ, запасались провизіей, брали погребецъ съ посудой, походную кровать и проч. Нынче вездѣ по вашему пути врѣзалась желѣзная дорога и нигдѣ до «вашего мѣста» не доѣхала. Желѣзныя дороги сдѣлали прежнія приспособленія немыслимыми, а между тѣмъ большинству смертныхъ приходится сворачивать въ сторону и ѣхать болѣе или менѣе значительное разстояніе на лошадяхъ. Прежде по проѣзжимъ дорогамъ вездѣ встрѣчались постоялые дворы, гдѣ можно было найти хоть теплую отдѣльную комнату и съ помощью привезенныхъ съ собою приспособленій устроить кой-какой невзыскательный комфортъ. Нынче о постоялыхъ дворахъ и въ поминѣ нигдѣ нѣтъ, а мѣсто ихъ заняли сырые, на скорую руку выстроенные, вонючіе, исполненные гама и толкотни трактиры.

Вы оставили блестящій, быстро мчавшійся желѣзнодорожный поѣздъ и сразу окунулись въ самую глубину мерзости запустѣнія. Вы очутились на одной изъ третьестепенныхъ станцій, которую станціонный жандармъ насквозь прокурилъ тютюномъ и пропиталъ запахомъ овчиннаго полушубка. Холодно, сыро, воняетъ. Наружныя двери безпрерывно хлопаютъ, и ни до одной нельзя безъ омерзѣнія притронуться рукой: до того онѣ пропитаны жиромъ и слизью. Въ общей пассажирской комнатѣ дуетъ сквозной вѣтеръ и царствуетъ какой-то сизый полумракъ. Сидѣть въ шубѣ—душно и неловко, снять ее—непремѣнно схватишь простуду. Вы уходите въ такъ-называемую «дамскую»—тамъ невыносимый жаръ, угарно, негдѣ повернуться. Вы спрашиваете чаю—вамъ отвѣчаютъ, что на станціи, гдѣ нѣтъ буфета, проклажаться пассажиру не полагается, и указываютъ на трактиръ, который отстоитъ въ тридцатисорока саженяхъ и къ которому надо шагать по сугробамъ. Скрѣпя сердце, вы рѣшаетесь ѣхать немедля, и вотъ васъ обступаетъ стая ямщиковъ, которые, «глядя по пассажиру», устанавливаютъ на васъ цѣну и мечутъ о васъ жребій. Наконецъ, условились. Черезъ полчаса къ подъѣзду станціи подкатываетъ тройка заиндевѣвшихъ лошадей, запряженная въ возокъ, снабженный съ обѣихъ сторонъ отвер-

стіями, черезъ которыя пассажиръ обязывается влѣзать и вылѣзать и которыя занавѣшиваются откидными рогожами. Вы надѣваете тулупъ, потомъ шубу и, чуть дыша подъ тяжестью одеждъ, направляетесь къ двери. По дорогѣ шпалерой выстраиваются какіе-то люди. Одинъ бѣгалъ въ трактиръ за ямщиками; другой пришелъ съ извѣстіемъ, что лошадей запрягаютъ; третій помогалъ снять шубу; четвертый помогалъ надѣть ее; пятый принесъ чемоданъ; шестой что-то подержалъ, покуда вы укутывались. Тутъ же пріютился и мальчикъ, который чиркнулъ спичкой, когда вы вынули папиросницу. Никто явно не проситъ, но всѣ, словно по командѣ, возглашаютъ: «дай Богъ счастливо!» Вы чувствуете, что каждый изъ этихъ людей, по-своему, содѣйствовалъ факту вашего отъѣзда и слѣдовательно каждый же имѣетъ на васъ какое-то право. Начинается процессъ влѣзанія въ повозку, подсаживанія, подталкиванія... «Трогай!»

Дорога. Подуваетъ, продуваетъ, выдуваетъ, задуваетъ. Рогожныя занавѣси хлопаютъ: то взвиваются на крышку возка, то съ шумомъ опускаются внизъ и врываются въ повозку. Путь заметаетъ; повозка по временамъ стучитъ по обнаженному черепу дороги, по временамъ врѣзывается въ сугробъ и начинаетъ буровить. Если вы одни въ повозкѣ, то при каждомъ ухабѣ, при малѣйшей неровности, васъ перекатываетъ изъ стороны въ сторону; если вы сидите вдвоемъ, то безпрерывно наваливаетесь на сосѣда, или онъ на васъ. Всѣ старанія, которыя вы употребляли на станціи, чтобы поплотнѣе закутаться—старанія, сопровождаемыя поощрительными возгласами: «вотъ такъ! вотъ теперь хорошо! теперь хоть тысячу верстъ поѣзжай—не продуетъ!» оказываются напрасными. Черезъ четверть часа вы уже растерзаны; шуба сбилась подъ васъ, ноги и весь передъ тѣла оголились и защищены только тулупомъ и валенками. Начинается дорожная тоска, выражаемая ежеминутнымъ спрашиваніемъ: далеко ли? Изъ глазъ, изъ носу, съ усовъ каплетъ. Наконецъ вы рѣшаетесь лечь на бокъ и притулиться къ одной сторонѣ—тррахъ!—черезъ минуту вы на другомъ боку!

Черезъ три, три съ половиной часа—станція. Васъ привозятъ въ деревенскій трактиръ, гдѣ ужъ угощается толпа проѣзжаго и мѣстнаго люда. Въ минуту вашего появленія людской гомонъ стихаетъ; «гости» сосредоточенно уткнулись въ наполненныя чаемъ блюдечки, осторожно щелкаютъ са-

харъ, чмокаютъ губами и искоса поглядываютъ на ввалившуюся «дворянскую шубу», какъ будто ждутъ, что вотъ-вотъ изъ-за приподнятаго воротника раздастся старинное: «эй, вы, сиволапые,—брысь!» Но такъ какъ нынче подобныхъ возгласовъ не полагается, то вы просто-на-просто освобождаетесь отъ шубы, садитесь на первое свободное мѣсто и скромно спрашиваете чаю. Сквозной вѣтеръ, сырость, грязь, вонь. Приносятъ подлый, захватанный стаканъ, миніатюрный чайникъ, котораго крышка привязана къ ручкѣ жирною бечевкой, мельхіоровую ложку, красную отъ долговременнаго употребленія. Въ виду вашей скромности гомонъ возобновляется. «Гости» постепенно становятся развязнѣе и развязнѣе; наконецъ заводится разговоръ о томъ, что «въ трактирѣ за свой пятачокъ всякій воленъ», что «это прежде, бывало, дворяне форсу задавали, а нынче царь-батюшка всѣмъ волю далъ», что «если, значитъ, пришелъ ты въ трактиръ, то сиди смирно, рядомъ со всѣми, и не фордыбачь!»

— Прежде очень для дворянъ вольготно было!—говоритъ одинъ гость:—пріѣдетъ, бывало, баринъ на постоялый, гаркнетъ: «мужикомъ чтобъ не пахло!»—ну, и ступай на улицу! А нынче—шабашъ!

— Нынче слободно,—излагаетъ другой гость:—нынче батюшка-царь всѣмъ волю далъ! Нынче, коли ты хочешь сидѣть—сиди! И ты сиди, и мужикъ сиди—всѣмъ сидѣть дозволено! То-есть, чтобы никому... чтобы ни-ни... сиди, значитъ, и оглядывайся... Вотъ какъ царь-батюшка повелѣлъ!

— Нынче, братъ, форсы-то оставить надо, и радъ бы пофорсить—да руки коротки! Коли хочешь смирно сидѣть—сиди! И мужикъ сиди, и ты сиди—всѣмъ сидѣть позволено!—разъясняетъ третій гость.

Среди этой поучительной бесѣды проходитъ часъ. Привезшій васъ ямщикъ бѣгаетъ по дворамъ и *продаетъ* васъ. Онъ порядился съ вами, примѣрно, на сто верстъ (до мѣста) со сдачей въ двухъ мѣстахъ, за пятнадцать рублей; теперь онъ проѣхалъ тридцать верстъ и норовитъ сдать васъ рублей за шесть, за семь. Покуда онъ торгуется, вы обязываетесь нюхать трактирные запахи и выслушивать поученія «гостей». Наконецъ ямщикъ появляется въ трактиръ самолично и объявляетъ, что слѣдующую станцію повезетъ онъ же, на тѣхъ же лошадяхъ.

Протестовать безполезно; остается только разъ навсегда изъявить согласіе на всякія случайности — и замереть. И

вотъ, если вы выѣхали въ восемь часовъ утра и разсчитывали попасть въ «свое мѣсто» часовъ въ десять вечера, то уже съ перваго шага начинаете убѣждаться, что всѣ ваши разсчеты писаны на водѣ, и что въ десять-то часовъ врядъ вамъ попасть и на вторую станцію.

Какъ хотите, а при подобной обстановкѣ самое крѣпкое и испытанное чувство собственности, семейственности, государственности и проч.—и то не устоитъ!

Раннимъ утромъ, часовъ около шести, я, наконецъ, добрался до мѣста. Деревня пробуждалась. Окна избъ ярко пылали пламенемъ топящихся печей; черезъ улицу шмыгали бабы съ коромыслами на плечахъ; около деревенскаго колодца, кругомъ окованнаго льдомъ, слышались говоръ и суета; кое-гдѣ у воротъ мужики, позѣвывая и почесываясь, принимались снаряжать дровнишки. Зябко; въ воздухѣ плавала бѣлесоватая, насквозь пронизывающая мгла; лошади, какъ угорѣлыя, мчались по укутанной деревенской улицѣ и замерли передъ крыльцомъ небольшого барскаго флигеля.

Я счастливъ уже тѣмъ, что нахожусь въ теплой комнатѣ и сознаю себя дома, нескутаннымъ, свободнымъ отъ грязи и вони, вдали отъ поученій. Старикъ Лукьянычъ, о которомъ я уже не разъ упоминалъ на страницахъ «Благонамѣренныхъ рѣчей» и который до сихъ поръ помогаетъ мнѣ нести иго собственности, встрѣчаетъ меня съ обычнымъ радушіемъ, хотя, я долженъ сознаться, въ этомъ радушіи по временамъ прорывается легкій, очень явный оттѣнокъ ироніи.

Я люблю Лукьяныча искренно и положительно убѣжденъ, что и онъ, съ своей стороны, готовъ въ мою пользу кому угодно горло перервать. Но въ то же время я знаю, что никто съ такою любовью не выискиваетъ средства отравить мою жизнь, какъ онъ. Независимо отъ обще-ироническаго характера его отношеній ко мнѣ, онъ всегда имѣетъ наготовѣ или отвратительное извѣстіе, или какой-нибудь такой безнадежный выводъ, вслѣдствіе котораго я непремѣнно долженъ почувствовать себя въ положеніи рыбы, бьющейся объ ледъ. Да, существуютъ еще люди этого закала, хотя несомнѣнно, что типъ крѣпостного Ментора уже вымираетъ. По мнѣнію моему, эти люди страдаютъ особенною болѣзнью, которую я назвалъ бы «безсиліемъ преданности», и, кромѣ того, они никакъ не могутъ позабыть изреченіе: «любяй наказуетъ». Лукьянычъ радъ бы вселенную разорить на мою пользу, но такъ какъ руки у него коротки, да и я,

по той же причинѣ, не могу оказать ему въ этомъ смыслѣ ни малѣйшаго содѣйствія, то онъ и вымещаетъ на мнѣ наше обоюдное безсиліе. Можетъ-быть, онъ на что-нибудь надѣется. Я знаю, ему хотѣлось бы, чтобъ я воспрянулъ духомъ, чтобъ я облекся въ звѣриный образъ и началъ бы косить направо и налѣво «какъ папенька». И вотъ онъ думаетъ, что его ироническое шпынянье подѣйствуетъ на меня, что я дѣйствительно воспряну и начну «косить».

Именно это самое ироническое отношеніе повторилось и теперь. Едва успѣлъ я глотнуть чаю, какъ Лукьянычъ уже поспѣшилъ метнуть въ меня камнемъ, который онъ, очевидно, съ любовью холилъ у себя за пазухой.

— Мужички опять несогласны! — вымолвилъ онъ злорадно-спокойнымъ голосомъ, стоя у косяка двери и сложивъ на груди руки кренделемъ.

Это извѣстіе заставило меня вздрогнуть. Я всѣ претерпѣнія принялъ, я оставилъ семейство и занятія именно въ твердой увѣренности, что «мужички согласны», и что иго земельной собственности, наконецъ, перестанетъ тяготѣть надо мной.

— Какъ такъ?—спросилъ я испуганнымъ голосомъ.

— Несогласны, и шабашъ!

— Да не самъ ли же ты писалъ, что они «на все согласны»?

— И были третьяго дня согласны, а вчера одумали и несогласны сдѣлались. Можетъ, сегодня не будетъ ли чего.

— Господи! да который же разъ я сюда ѣзжу!

— И сто разъ будете ѣздить—все то же будетъ!

— Заколдованное ваше мѣсто, что ли?

— Не заколдовано, а жить въ немъ надо. Минуту, значитъ, ловить.

Я какъ-то вдругъ упалъ духомъ. Не далѣе, какъ четверть часа тому назадъ, я ѣхалъ по деревенской улицѣ, видѣлъ пламя топящихся печей, видѣлъ мужиковъ, обряжающихъ дровни (нѣкоторые даже шапки сняли, завидѣвъ меня), бабъ, спѣшащихъ къ колодцу, и былъ увѣренъ, что все это означаетъ: «согласны». И вдругъ оказывается, что это-то именно и означаетъ: «несогласны», что всѣ эти дѣйствія и признаки говорятъ о закоренѣлости и упорствѣ. Вотъ они совершаютъ свой обычный дневной обрядъ, поднимаются отъ сна съ палатей, съ лавокъ и съ пола, ѣдутъ въ поле за сѣномъ и въ лѣсъ за дровами, посылаютъ бабъ за водою, задаютъ кормъ лошадямъ и коровамъ, совершая все это рутинно, почти апатично, безъ всякихъ признаковъ закоре-

нѣлости—и за всѣмъ тѣмъ они упорствуютъ, они несогласны. Кто измѣритъ глубину пучины, называемой мужицкимъ сердцемъ! Кто сумѣетъ урегулировать воздушныя колебанія, которыя производятъ зыбь на поверхности этой пучины!

— Вы бы, сударь, ослобонили меня! — пустилъ вдругъ шипъ по-змѣиному Лукьянычъ, покуда я въ безсиліи мысленно восклицалъ:—«да гдѣ же конецъ этимъ оттяжкамъ!»

Я ужъ не впервые слышу эту угрозу изъ устъ Лукьяныча. Всякій разъ, какъ я пріѣзжаю въ Чемезово, онъ считаетъ своимъ долгомъ пронзить меня ею. Мало того: я отлично знаю, что онъ никогда не рѣшится привести эту угрозу въ дѣйствіе, что съ его стороны это только попытка уязвить меня, заставить воспрянуть духомъ, и ничего больше. И за всѣмъ тѣмъ, всякій разъ, какъ я слышу эту просьбу «ослобонить», я невольно вздрагиваю при мысли о той безпомощности, въ которой я найдусь, если вдругъ, паче чаянія, стрясется надо мной такая бѣда.

— Опомнись, Лукьянычъ, что̀ ты говоришь!—обратился я къ нему.

— Да вѣдь умру—надо же тогда будетъ другого искать!

— А ты прежде кончи!

Онъ уставился глазами въ землю и пощипывалъ одной рукой бородку.

— Кончать надо... это такъ. И самъ я вижу. Только кончимъ ли? Кабы вы настоящій «господинъ» были — это точно... Вотъ какъ березниковская барыня, напримѣръ...

— Какая еще березниковская барыня?

— Порфирьева, Марья Петровна. Сестрица вамъ будетъ... чтой-то ужъ забыли! А они вечо̀ръ гонца въ Чемезово присылали, просили вѣсточку имъ дать, какъ пріѣдете.

— Машенька Величкина! кузина! Боже! Да вѣдь и въ самомъ дѣлѣ она здѣсь.

Цѣлый рой воспоминаній пронесся передо мной при этомъ имени. Я зналъ Машеньку еще шестнадцатилѣтнею дѣвушкой, да и самому мнѣ было въ то время не болѣе двадцати шести, двадцати семи лѣтъ. Въ то время я съ особеннымъ удовольствіемъ ѣзжалъ въ Березники (владѣлецъ ихъ приходился мнѣ двоюроднымъ дядей), верстахъ въ двѣнадцати отъ Чемезова, — въ Березники, гдѣ была прекрасная барская усадьба, въ которой царствовало безграничное гостепріимство. Но, кажется, меня всего больше влекла туда Машенька. Ее нельзя было назвать красивою, но она была удивительно миловидная дѣвушка-ребенокъ.

Именно ребенокъ. Маленькая, худенькая, почти прозрачная, точно бисквитная куколка. «Совсѣмъ-совсѣмъ куколка», говорили тогда о ней. Въ глазахъ у нея постоянно свѣтилось какое-то горе, которое всего точнѣе можно назвать горемъ ни о чемъ; тонкія бровки были всегда сдвинуты; востренькій подбородокъ, при малѣйшемъ недоумѣніи, нервно вздрагивалъ; розовыя губы, въ минуты умиленія, складывались сердечкомъ. «Миленькая, миленькая!» какъ-то естественно думалось при взглядѣ на нее.

Повторяю: я съ особеннымъ удовольствіемъ посѣщалъ Березники и еще съ бо̀льшимъ удовольствіемъ бродилъ съ Машей по аллеямъ парка. Я помню, я говорилъ ей, что истина вѣчна, красота вѣчна, духъ вѣченъ, добро вѣчно. Что все остальное пройдетъ, какъ дурной сонъ, а эти четыре фактора человѣческаго существованія навсегда пребудутъ незыблемыми и неприкосновенными. Что люди — братья, что они должны любить другъ друга, что счастье есть удѣлъ всѣхъ. И что, за всѣмъ тѣмъ, нельзя обойтись безъ страданья, потому что страданье очищаетъ человѣка. Я помню, какъ она съ недоумѣніемъ вслушивалась въ мои слова, какъ глаза ея начинали свѣтиться сугубымъ горемъ «ни о чемъ», и какъ она вдругъ, въ самомъ патетическомъ мѣстѣ, пугливо прерывала меня.

— Голубчикъ!—говорила она мнѣ.—Я знаю, ты будешь смѣяться надо мной, но что̀ же мнѣ дѣлать: мысль о вѣчности пугаетъ меня!

— Какое ребячество!—разувѣрялъ я ее:—чего-жъ тутъ пугаться! Что такое вѣчность? Вѣчность—это красота, это истина, это добро, это жизнь духа — все, взятое вмѣстѣ и распространенное въ безконечность... Мысль о вѣчности должна не устрашать, а утѣшать насъ.

— Да, это такъ... но вѣчность, вѣчность!

— Но почему же ты вдругъ заговорила о вѣчности? — допытывался я.

— Ахъ, я не знаю... но иногда... Иногда, послѣ разговоровъ съ тобой, мнѣ вдругъ приходитъ на мысль: что̀ же такое мы? что̀ такое вся наша жизнь?

И она такъ мило вздрагивала при этомъ, что я употреблялъ всѣ усилія, чтобъ утѣшить это прозрачное, маленькое существо.

Вообще она была большая трусиха. Блѣднѣла при видѣ пробѣгающей мыши, блѣднѣла, заслышавъ внезапный шумъ, но въ особенности сильно трусила совѣтника т—ской казенной палаты, Саввы Силыча Порфирьева.

Савва Силычъ былъ рослый, тучный и рыхлый губернскій сановникъ, съ сѣроватымъ лицомъ, напоминавшимъ ноздреватый известковый камень. Онъ съ пятнадцатилѣтняго возраста облюбовалъ Машеньку, точно предвидѣлъ, что изъ этого хрупкаго матеріала можно выработать благонадежную мать семейства. Нѣсколько разъ онъ дѣлалъ ей предложеніе, но Машенька все отказывала. Однако она дѣлала эти отказы въ такой формѣ, что Порфирьевъ не только не отчаялся въ успѣхѣ, но продолжалъ попрежнему дружески посѣщать домъ Величкиныхъ. Она просто говорила: «боюсь».

— А боитесь, барышня, такъ со временемъ привыкнете!— любезно возражалъ Савва Силычъ, перебирая ногами на манеръ влюбленнаго пѣтуха.—Спѣшить намъ нечего, я подожду-съ!

И, обращаясь къ Петру Матвѣичу Величкину, тутъ же, при ней же, прибавлялъ:

— Ничего-съ, это въ нихъ дѣвичье-съ! Спѣшить нечего-съ! Онѣ—въ цвѣту-съ, я—въ порѣ-съ... подождемъ-съ!

И дождался-таки, хотя я въ то время готовъ былъ сто противъ одного держать пари, что онъ никогда ничего не дождется, и что никогда къ грубому, ноздреватому известковому камню не прикоснется нѣжный, хрупкій бисквитъ.

Съ тѣхъ поръ прошло двадцать лѣтъ. Я совершенно потерялъ Машу изъ вида и только мелькомъ слышалъ, что надежды Порфирьева осуществились, и что «молодые» поселились въ губернскомъ городѣ Т. Я даже совершенно забылъ о существованіи Березниковъ и никогда не задавался вопросомъ, страдаетъ ли Маша боязнью вѣчности, какъ въ былыя времена. Теперь я узналъ отъ Лукьяныча, что она два года тому назадъ овдовѣла и вновь переселилась въ родные Березники; что у нея четверо дѣтей, изъ которыхъ старшей дочкѣ—десять лѣтъ; что Березники хотя и не сохранили вполнѣ прежняго роскошнаго барскаго вида, но во всякомъ случаѣ представляютъ цѣнность очень солидную; что, наконецъ, сама Марья Петровна...

На другой день, часу во второмъ я подъѣзжалъ къ Березникамъ. Въ противоположность чемезовскому и другимъ «дворянскимъ гнѣздамъ», старинная березниковская усадьба и въ настоящее время смотрѣла бодро, почти уютно. Впрочемъ, изъ всѣхъ свидѣтелей прежней барской жизни на широкую руку оставались только громадный домъ, оранжереи и паркъ. Но они не были въ забросѣ, какъ въ боль-

шей части сосѣднихъ имѣній, а напротивъ того, съ перваго же взгляда можно было безошибочно сказать, что здѣсь живется тепло и удобно. Все лишнее, оказавшееся послѣ упраздненія крѣпостного права обременительнымъ, было сломано и снесено. Я помню, такъ-называемый красный дворъ былъ загроможденъ флигелями, людскими, амбарами, погребами; теперь на этомъ самомъ мѣстѣ былъ распланированъ довольно обширный садъ, который посрединѣ прорѣзывала дорога, ведшая къ барскому дому. Всѣ службы были сгруппированы въ одномъ мѣстѣ, черезъ дорогу, и бросались въ глаза новыми бревенчатыми стѣнами. Вѣроятно, еще покойный Савва Силычъ началъ и привелъ къ окончанію всѣ эти преобразованія; однако и по смерти его заботливая рука поддерживала ихъ.

Машенька выбѣжала ко мнѣ въ переднюю со словами:

— Ахъ, родной мой... какъ давно, какъ давно!

— Машенька, ты ли?.. Да, это ты! — въ свою очередь восклицалъ я.

Я сжималъ ее руками за локти, словно желая приподнять, и съ любовью разглядывалъ ее. Она почти совсѣмъ не измѣнилась. Передо мной стояла все та же шестнадцатилѣтняя Машенька, которая когда-то такъ «боялась вѣчности». Маленькая, худенькая, прозрачная, «совсѣмъ-совсѣмъ куколка», несмотря на то, что ей было уже за тридцать пять лѣтъ. Въ глазахъ попрежнему свѣтилось горе «ни о чемъ»; попрежнему вздрагивалъ востренькій подбородокъ; губы, отъ внутренняго умиленія, сложились сердечкомъ; бровки были сдвинуты. Въ ея черныхъ, какъ вороново крыло, волосахъ не было замѣтно ни одной сѣдинки. Ни единой морщины на лбу и около глазъ. Словомъ сказать, для нея какъ будто не было времени, тѣхъ двадцати лѣтъ, которыя такъ придавили и доканали меня. Больной всѣми старческими недугами, молча любовался я ею, внутренно переживая далекое прошлое и съ какимъ-то удивленіемъ встрѣчаясь лицо къ лицу съ своею молодостью, тою безплодною молодостью, которая не дала ни привычки къ труду, ни предусмотрительности, ни выносливости, а только научила «насъ возвышающимъ обманамъ».

— Да, другъ мой, давно я тебя не видала, — продолжала она, вводя меня въ гостиную и усаживая на диванъ подлѣ себя: — многое съ тѣхъ поръ измѣнилось, а, наконецъ, Богу угодно было испытать меня и послѣднимъ ударомъ: недѣлю тому назадъ минуло два года, какъ отлетѣлъ нашъ ангелъ.

Высказавши это, она на минуту отвернула отъ меня лицо; вѣроятно, на ея глаза навернулись двѣ крошечныя слезки, которыя она хотѣла незамѣтно для меня смигнуть.

— Да, слышалъ... Савва Силычъ... Впрочемъ, я зналъ его такъ мало...

— Ты можешь даже сказать, что совсѣмъ не зналъ его. Ахъ, мой другъ, какъ мы были въ то время легкомысленны! Помнишь, какъ я боялась его! И скажу тебѣ откровенно, что даже послѣ выхода замужъ я года три еще боялась его; все казалось: ахъ, какой онъ большой! Глупенькая вѣдь я была. И представь себѣ: никогда онъ даже вида не подалъ, что это для него обидно. Бывало, обниметъ меня рукой, а я вся дрожу. Другой бы забранилъ, а онъ, напротивъ, еще приголубитъ: «ничего, говоритъ, привыкнешь, намъ спѣшить некуда!» И точно: потихоньку да помаленьку я и сама, наконецъ, стала удивляться, что̀ можно было находить въ немъ страшнаго!

— Привыкла?

— Нѣтъ, не то что привыкла, а такъ какъ-то. Я не принуждала себя, просто само собой сдѣлалось. Терпѣливъ онъ былъ. Вотъ и хозяйствомъ я занялась—сама не знаю какъ. Когда я у папеньки жила, ничто меня не интересовало—помнишь? Любила я, правда, помечтать, а спроси, о чемъ—и сама сказать не сумѣю. А тутъ вдругъ...

Я не могъ удержаться, чтобъ вновь не взять ее за руки. Да, это она: глазки, полные грустнаго недоумѣнія; бровки сдвинуты; губки вотъ-вотъ сейчасъ сложатся сердечкомъ... миленькая, миленькая! И я невольно подумалъ: возьми теперь эту тридцатисемилѣтнюю *дѣвочку* за руку и веди ее, куда тебѣ хочется. *Вдругъ* — она очутится въ лѣсу, *вдругъ*—среди долины ровныя, *вдругъ*—сдѣлается хозяйкой-матерью, *вдругъ*—проникнется страстью къ баламъ и пикникамъ. И повсюду одинаково грустно-недоумѣло будутъ смотрѣть ея глазки; повсюду останутся сдвинутыми ея хорошенькія бровки, а губки, въ данную минуту, сложатся сердечкомъ. И что̀ всего важнѣе — нигдѣ она не пропадетъ, ничѣмъ ее не собьешь, кромѣ развѣ что найдется и еще кто-нибудь, и тоже возьметъ ее за ручку, и тоже поведетъ, куда ему хочется.

— А какой христіанинъ онъ былъ, — лепетала она:—и какой христіанской кончины удостоилъ его Богъ!

— Боленъ онъ былъ?

— *Нѣтъ*, вдругъ это какъ-то случилось. Къ обѣду при-

шелъ онъ изъ казенной палаты, скушалъ тарелку супу и говоритъ: «я, Машенька, прилягу». А черезъ часъ велѣлъ послать за духовникомъ и, покуда ходили, всѣ распоряженія сдѣлалъ. Представь себѣ, я ничего не знала, а вѣдь у него очень хорошій капиталъ былъ!

— Стало-быть, онъ скрывалъ его отъ тебя?

— Нѣтъ, не то что скрывалъ, а я сама тогда не понимала. Прямо-то онъ не открывался мнѣ, потому что я еще не готова была. Это онъ и передъ смертью мнѣ высказалъ.

— Стало-быть, ты теперь обезпечена?

— Да, родной мой, благодаря святымъ его трудамъ. И вотъ какъ удивительно все на свѣтѣ дѣлается! Какъ я его, глупенькая, боялась—другой бы обидѣлся, а онъ даже не попомнилъ! Весь капиталъ прямо изъ рукъ въ руки мнѣ передалъ! Только и сказалъ: «Машенька! теперь я вижу по всѣмъ поступкамъ твоимъ, что ты въ состояніи изъ моего капитала сдѣлать полезное употребленіе!».

Машенька слегка заалѣлась и закрыла глазки платкомъ.

— И ты совсѣмъ переселилась въ Березники?

— Да, совсѣмъ; надо же было его волю исполнить.

— Развѣ онъ требовалъ этого?

— Да. Онъ прямо сказалъ, что въ Березникахъ жить дешевле. Ну, и насчетъ помѣщенія капитала здѣсь удобно. Земля нынче дешевле, лѣса тоже. Если умненько за это дѣло взяться, большія деньги можно нажить.

Я вновь взглянулъ на нее, но на этотъ разъ не столько съ любовью, сколько съ любопытствомъ. Такая маленькая, худенькая, совсѣмъ-совсѣмъ куколка — и вдругъ говоритъ: «большія деньги», «нажива»...

— Да отчего же Савва Силычъ при жизни не скупалъ земель? Вѣдь онъ могъ бы заняться этимъ, конечно, съ бо̀льшимъ знаніемъ, нежели ты?

— Ахъ, голубчикъ, въ томъ-то и дѣло, что не могъ! Вѣдь онъ изъ духовнаго званія происходилъ (и никогда онъ этого не стыдился, мой другъ!), слѣдственно, когда на службу поступалъ—разумѣется, у него ничего не было! И вдругъ бы у него оказался капиталъ—откуда? какъ? что̀ подумали бы! Ахъ, мой другъ, не мало онъ страдалъ отъ этого!

— Напрасно, мнѣ кажется, онъ затруднялся этими соображеніями.

— Не говори, мой родной, люди такъ завистливы, ахъ

какъ завистливы! Ну, онъ это зналъ и потому хранилъ свой капиталъ въ тайнѣ, только пятью процентами въ годъ пользовался. Да и то въ Москву каждый разъ ѣздилъ проценты получать. Бывало, какъ 1-е марта или 1-е сентября, такъ и ѣдетъ въ Москву съ позднимъ поѣздомъ. Ну, а процентныя бумаги — ты самъ знаешь, велика ли польза отъ нихъ?

— Покойно зато.

— Да, но имѣемъ ли мы право искать спокойствія, другъ мой? Я вотъ тоже, когда глупенькая была, объ томъ только и думала, какъ бы безъ заботы прожить. А выходитъ, что я заблуждалась. Выходитъ, что мы, какъ христіане, должны безпрерывно печься о присныхъ нашихъ!

— Помилуй, душа моя, вѣдь христіанство-то прямо указываетъ на птицъ небесныхъ!

— Это въ древности было, голубчикъ! Тогда дѣйствительно было такъ, потому что въ то время все было дешево. Вотъ покойный Савва Силычъ говаривалъ: «древніе христіане могли не жать и не сѣять, а мы не можемъ». И батюшку, отца своего духовнаго, я не разъ спрашивала, не грѣхъ ли я дѣлаю, что присовокупляю, — и онъ тоже сказалъ, что по нынѣшнему дорогому времени нѣкоторые грѣхи въ обратномъ смыслѣ понимать надо!

— Если такъ, то понятное дѣло, что покойный Савва Силычъ долженъ былъ тяготиться, получая на свой капиталъ только пять процентовъ.

— И какъ еще тяготился-то! Очень, очень скучалъ! Представь только себѣ: въ то время вольную продажу вина вдругъ открыли—всѣмъ вѣдь залоги понадобились! Давали подъ бумаги восемь и десять процентовъ, а по купонамъ получка—само по себѣ. Ты сочти: если-бъ руки-то у него были развязаны—вѣдь это пятнадцать, а ужъ бѣдно-бѣдно тринадцать процентовъ на рубль онъ получалъ бы!

Высказавъ это, Машенька умилилась и сложила губки сердечкомъ.

— А, впрочемъ, онъ не роптал, — продолжала она: — онъ слишкомъ христіанинъ былъ, чтобы роптать! Однажды онъ только позволилъ себѣ пожаловаться на Провидѣніе — это когда откупа уничтожили; но и тутъ помолился Богу, и все какъ рукой сняло.

— Что же мѣшало ему въ отставку выйти, чтобъ распорядиться съ капиталомъ съ бо́льшею выгодою?

— *Ахъ,* какъ это можно! Въ послѣднее время стали

управляющихъ палатами изъ совѣтниковъ дѣлать—ну, онъ и надѣялся. А какъ онъ прозорливъ былъ—такъ это удивительно! Всякое его слово, все, все такъ именно и сбылось, какъ онъ предсказывалъ!

— Напримѣръ?

— Да вотъ хоть бы насчетъ земли. Сколько онъ разъ, бывало, говаривалъ: «Машенька! паче чаянья, я умру — ты непремѣнно зѐмли покупай! Теперь, говоритъ, у помѣщиковъ выкупныя свидѣтельства пока водятся, такъ зѐмли еще въ цѣнѣ, а скоро будетъ, что всѣ выкупныя свидѣтельства проѣдятъ—тогда зѐмли ни по чемъ покупать будетъ можно!» И все такъ именно по его и сбылось. Всѣ нынче стали зѐмли распродавать, и ужъ такъ дешево, такъ дешево, что просто задаромъ. Вотъ я и покупаю, коли гдѣ сходно. Лѣса покупаю, зѐмли. Лѣса свожу, а землю мужикамъ въ кортому отдаю. Вѣдь имъ земля-то нужна, мой другъ, ахъ, какъ она имъ нужна!

— И выгодно это?

— Такъ выгодно, такъ выгодно! Разумѣется, и тутъ тоже надо съ оглядкой поступать: какая земля? Коли земля близко къ крестьянской околицѣ лежитъ — ту непремѣнно покупать слѣдуетъ, потому что она мужичкамъ нужна. Мужички за нее что̀ хочешь дадутъ: боятся штрафовъ. Ну, а коли земля дальняя—за ту надо дешево давать, да и то если на ней молодой березникъ или осинничекъ растетъ. Съ еловымъ молодятникомъ я совсѣмъ земли не покупаю, потому что туго очень эта ель растетъ; а вотъ березка да осинничекъ—самый это выгодный лѣсъ! И представь себѣ, какъ это хорошо: вѣдь съ перваго-то взгляда кажется, что земля эта такъ, ничего нестоящая — ну, рублей по пяти за десятину и даешь. Смотришь, анъ на ней, лѣтъ черезъ двадцать, ужъ дрова порядочные будутъ — за ту же десятину, на худой конецъ, тридцать рублей дадутъ! Сообрази-ка теперь: вѣдь это въ шесть разъ капиталъ на капиталъ—въ двадцать-то лѣтъ!

Опять умиленіе и опять губы сердечкомъ. Это было до такой степени мило, что я не удержался, чтобъ не спросить:

— Ну, а какъ насчетъ вѣчности, Машенька, не боишься... помнишь, какъ прежде?

— Нѣтъ, мой другъ, я нынче совсѣмъ-совсѣмъ христіанкой сдѣлалась! Чего бояться вѣчности, надо только съ вѣрою приступать — и все легко будетъ! И покойный Савва

Силычъ говаривалъ: бояться вѣчности — только одно баловство!

— Кто же у тебя всѣми этими дѣлами орудуетъ?

— И сама, и добрые люди совѣтомъ не оставляютъ. Вотъ Анисимушка—онъ еще при покойномъ папенькѣ бурмистромъ былъ; ну, и Филоѳей Павлычъ тоже.

— Какой такой Филоѳей Павлычъ?

— Промптовъ. Покойнаго Саввы Силыча другъ. Онъ здѣсь въ земской управѣ предсѣдателемъ служитъ. Хотѣлъ вотъ и сегодня, по пути въ городъ, заѣхать; познакомишься.

Она проговорила эти слова какъ-то неровно; мнѣ показалось, что даже немного сконфузилась при этомъ.

— Ужъ не женихъ ли,—пошутилъ я:—вѣдь въ твои годы...

— Ахъ, нѣтъ! ахъ, нѣтъ! что̀ ты! что̀ ты! Да что-жъ это дѣти, однако-жъ!—продолжала она, перемѣняя разговоръ. — Вѣдь мы тебя не ожидали сегодня, по-домашнему были—ну, и разбрелись по угламъ!

— А много у тебя дѣтей?

— Четверо, мой другъ. Старшенькая-то у меня дочь, Нонночка, а прочіе — мальчики. Ѳеогностъ — старшій, Коронатъ—средній, а Смарагдушка—меньшой. Савва Силычъ любилъ звучныя имена.

— И ты любишь дѣтей?

— Ахъ, мой другъ!

Она съ укоромъ посмотрѣла на меня, какъ будто я и нѐвѣсть какую ересь высказалъ.

— Только скажу тебѣ откровенно, — продолжала она: — не во всѣхъ дѣтяхъ я одинаковое чувство къ себѣ вижу. Нонночка — та, можно сказать, обожаетъ меня, Ѳеогность тоже очень нѣженъ, Смарагдушка — ну, этотъ еще дитя, а вотъ за Короната я боюсь. Думается, что онъ будетъ непочтителенъ. То-есть, не то чтобы я что-нибудь замѣтила, а такъ, по всему видно, что холоденъ къ матери!

— Извини меня, Машенька, но, право, мнѣ кажется, что ты вздоръ говоришь! Ну, какіе же ты могла замѣтить признаки непочтительности въ семилѣтнемъ мальчикѣ?

— Ахъ, не говори этого, другъ мой! Материнское сердце далеко угадываетъ! Сейчасъ оно видитъ, что̀ и ка̀къ. Ѳеогностушка подойдетъ—обниметъ, поцѣлуетъ, однимъ словомъ, все, какъ слѣдуетъ любящему дитяти, исполнитъ. Ну, а Коронатъ—нѣтъ. И то же сдѣлаетъ, да не такъ выйдетъ. *Холоденъ онъ,* ахъ, какъ холоденъ!

— Это бываетъ. Родители заберутъ себѣ случайно въ голову, что ребенокъ неласковъ, да и твердятъ ему объ этомъ. Ну, разумѣется, онъ тоже смекаетъ. Сначала только робѣетъ, а потомъ и въ самомъ дѣлѣ становится холоденъ.

— Ахъ, нѣтъ, не я одна, и Савва Силычъ за нимъ это замѣчалъ! И при этомъ упрямъ, ахъ, какъ онъ упрямъ! Ни за что̀ никогда родителямъ удовольствія сдѣлать не хочетъ! Представь себѣ, онъ однажды даже давиться вздумалъ!

— Что̀ ты!

— Право; сдавилъ себѣ обѣими руками шею... весь посинѣлъ!

Въ эту минуту дѣти гурьбой вбѣжали въ гостиную. И всѣ, точно не видали сегодня матери, устремились къ ней здороваться. Первая, вприпрыжку, подбѣжала Нонночка и долго цѣловала Машу и въ губки, и въ глазки, и въ подбородочекъ, и въ обѣ ручки. Потомъ, тоже стремительно, упали въ объятія мамаши Ѳеогностушка и Смарагдушка. Коронатъ, дѣйствительно, шелъ какъ-то мѣшкотно и разинулъ ротъ, повидимому, заглядѣвшись на чужого человѣка.

— Ну, вотъ и молодцы мои!—рекомендовала мнѣ Машенька дѣтей.—Не правда ли, хорошія дѣти?

Нонночка сдѣлала книксенъ; прочіе шаркнули ножкой.

— Прелестныя!—поспѣшилъ согласиться я, цѣлуя всѣхъ по очереди.

— Хорошія, послушныя, заботливыя дѣти и любятъ свою мамашу. Не правда ли... Коронатъ?

Коронатъ, надувшись, смотрѣлъ внизъ и молчалъ.

— Что̀-жъ ты молчишь! Любишь маму?.. Анна Ивановна, вѣрно онъ опять сегодня шалилъ?

Вопросъ этотъ относился къ молодой особѣ, которая вошла вслѣдъ за дѣтьми и тоже подошла къ Машенькиной ручкѣ. Особа была крайне невзрачная, съ широкимъ, плоскимъ лицомъ и притомъ кривая на одинъ глазъ.

— По обыкновенію-съ,—отвѣчала Анна Ивановна голосомъ, въ которомъ звучала иронія; при этомъ единственный ея глазъ блеснулъ даже ненавистью, которой, конечно, она не ощущала на дѣлѣ, но которую, въ качествѣ опытной гувернантки, считала долгомъ показывать:—очень достаточно-таки пошалилъ monsieur Coronat.

— Ну, что̀ же дѣлать, оставайся, мой другъ, безъ пи-

рожнаго!—тотчасъ же рѣшила Машенька.—Ахъ, пожалуйста, не куксись! Помнишь, что̀ говорила я тебѣ о дурныхъ поступкахъ? Помнишь?

Коронатъ молчалъ.

— Mais répondez donc!—язвила Анна Ивановна.

— Отвѣчай же, помнишь?—приставала Машенька.

Но Коронатъ только пыхтѣлъ въ отвѣтъ.

— Ну, вотъ видишь, какой ты безнравственный мальчикъ, ты даже этого утѣшенія мамашѣ своей доставить не хочешь! Ну, скажи: вѣдь помнишь?

— Помню,—процѣдилъ сквозь зубы Коронатъ.

— Ну, повтори, повтори же, что̀ я говорила! Вотъ при дяденькѣ повтори!

— «Дурные поступки сами въ себѣ заключаютъ свое осужденіе»,—произнесъ красный какъ ракъ Коронатъ, словно клещами вытянули изъ него эту фразу.

— Ну, видишь ли, другъ мой! Вотъ ты себя дурно велъ сегодня—слѣдовательно самъ же себя и осудилъ. Не я тебя оставила безъ пирожнаго, а ты самъ себя оставилъ. Вотъ и дяденька то же скажетъ! Не правда ли, cher cousin?

— Ну, что̀ касается до меня, то я полагаю, что если Коронатъ осудилъ себя самъ, то онъ же не только можетъ простить самого себя, но даже и даровать себѣ право на двойную порцію пирожнаго!—выразился я, стараясь, впрочемъ, придать моему отвѣту шуточный оттѣнокъ, дабы не потрясти родительскаго авторитета.

— Видишь, какой дяденька добрый! Ну, такъ и быть, для дяденьки ты получишь сегодня пирожное. Но ты долженъ дать ему обѣщаніе, что впередъ будешь воздерживаться отъ дурныхъ поступковъ. Обѣщаешься?

На Короната опять находитъ «норовъ», и онъ долгое время никакъ не соглашается «обѣщаться». Новое приставанье: «mais répondez donc, monsieur Coronat!»—со стороны Анны Ивановны, и «да скажи же, что обѣщаешься!»—со стороны Машеньки.

— Да, Господи, обѣщаюсь! — выпаливаетъ, наконецъ, Коронатъ, который, повидимому, готовъ лопнуть отъ натуги.

— Ну, теперь шаркни ножкой и поблагодари дяденьку!

Но я стремительно вскакиваю съ дивана и, чтобъ положить конецъ дальнѣйшимъ сценамъ, обнимаю Короната.

— Можете идти покуда въ залу и побѣгать; а вы, chère

Анна Ивановна, потрудитесь сказать, чтобъ подавали кушать. Ахъ, предурной, презакоренѣлый у него характеръ!— обратилась она ко мнѣ, указывая на удаляющагося Коронатушку и печально покачивая головкой:—очень, очень я за него опасаюсь!

— А я такъ нимало не опасаюсь. Вотъ скажи-ка мнѣ лучше, гдѣ ты такое сокровище достала?

— Эту ты про Анну Ивановну? Дешевенькая, голубчикъ. Всего двѣсти рублей въ годъ, и между тѣмъ съ музыкой. Ну, конечно, иногда на платье подаришь: дурна-дурна, а нарядиться любитъ. Впрочемъ, прекраснѣйшаго поведенія. Покорна, ласкова... никогда дурного слова!

— Ну, а я все-таки не взялъ бы ее въ гувернантки!

— Нѣтъ, мой другъ; Савва Силычъ—онъ ее изъ воспитательнаго привезъ—очень правильно на этотъ счетъ разсуждалъ. Хорошенькая-то, говаривалъ онъ, сейчасъ рядиться начнетъ, а потомъ, пожалуй, и глазами играть будетъ. Смотришь на нее—анъ врагъ-то и попуталъ!

— Вотъ какъ! Стало-быть, онъ не очень-то на себя надѣялся!

— Нѣтъ, не то чтобы, а такъ... Вообще онъ не любилъ себя искушать. Въ семейномъ быту надо вѣрную обстановку устраивать, покойную! Вотъ какъ онъ говорилъ.

Наконецъ, пришли доложить, что подано кушать. Признаюсь, проголодавшись послѣ трехдневнаго поста, я былъ очень радъ настоящимъ образомъ пообѣдать. За столомъ было довольно шумно, и дѣти, повидимому, не особенно стѣснялись, кромѣ, впрочемъ, Короната, который сидѣлъ, надувшись, рядомъ съ Анной Ивановной и во все время ни слова не вымолвилъ.

— Вотъ видишь, какой онъ злопамятный!—шепнула мнѣ по этому поводу Машенька.

— И ты не скучаешь?—спросилъ я Машу, когда мы, послѣ обѣда, заняли прежнія мѣста въ гостиной.

— Нѣтъ, мнѣ скучать нельзя: у меня дѣти, мой другъ. Да и некогда. Если-бъ занятій не было, тогда другое дѣло... Вотъ я помню, когда я въ дѣвушкахъ была, то всегда скучала!

— Будто бы?

— Да, потому что на умѣ все глупости были. Ахъ, ты не можешь вообразить, какая я тогда была глупая и что я себѣ представляла!

— Напримѣръ?

— Ну, вотъ хоть бы... Нѣтъ, ни за что не скажу! Помнишь, тогда сочиненіе это вышло... «Les misérables», что ли... Да нѣтъ, не скажу! Мнѣ самой стыдно, какъ вспомнишь иногда...

Она слегка потупилась и вздохнула.

— Стало-быть, это Савва Силычъ выучилъ тебя не скучать?

— Да, все онъ; всему онъ меня научилъ. Онъ желалъ, чтобъ я всегда была занята. Вообще онъ былъ добръ, даже очень добръ до меня, но насчетъ этого строгъ. «Праздность не только порокъ, но и бѣдствіе: она суетныя мечтанія порождаетъ, а эти послѣднія ввергаютъ человѣка въ духовную и матеріальную нищету»,—вотъ какъ онъ говорилъ.

— Чѣмъ же ты при жизни его занималась?

— Мало ли, другъ мой, въ домѣ занятій найдется! Съ той минуты, какъ утромъ съ постели встанешь, и до той, когда вечеромъ въ постель ляжешь,—все въ занятіяхъ. Всякому надо приготовить, за всѣмъ самой присмотрѣть. Конечно, все больше мелочи, но вѣдь ежели съ мелочами справляться умѣешь, тогда и большое дѣло не испугаетъ тебя.

— Это тоже Савва Силычъ говорилъ?

— Да, мой другъ, онъ. А что?

— Ничего. Такъ спросилось. Хорошая мысль.

На эту тему мы бесѣдовали довольно долго (впрочемъ, говорила все время почти одна она; я же, что̀ называется, только реплику подавалъ), хотя и нельзя сказать, чтобъ разговоръ этотъ былъ разнообразенъ или поучителенъ. Напротивъ, должно думать, что онъ былъ достаточно прѣсенъ, потому что, подъ конецъ, я-таки не удержался и зѣвнулъ.

— Ахъ, что̀ же я,—всполошилась она:—и не подумала, что съ дороги тебѣ отдохнуть хочется. А еще хозяйкой себя выставляю.

— Успокойся, душа моя, я не сплю послѣ обѣда. А вотъ что̀ я думаю: не уѣхать ли мнѣ? По-настоящему, я вѣдь мѣшаю тебѣ!

— Ахъ, что̀ ты, чѣмъ же ты мнѣ мѣшать можешь! Если-бъ и были у меня занятія, то я для родного должна ихъ оставить. Я родныхъ почитаю, мой другъ, потому что ежели мы родныхъ почитать не станемъ, то что̀ же такое будетъ!

И Савва Силычъ всегда мнѣ внушалъ, что почтеніе къ роднымъ есть первый нашъ долгъ. Онъ и о тебѣ вспоминалъ, и всегда съ почтеніемъ!

— Ну, если я не мѣшаю тебѣ, то тѣмъ лучше.

— А я вотъ что̀, братецъ. Я велю вареньица подать, намъ и веселѣе будетъ. А потомъ и чаю; вѣдь ты чай любишь?

— Что̀-жъ, это прекрасно. И вареньица, и чаю—не откажусь.

— Ахъ, какъ я рада! И какъ это хорошо, что ты откровенно мнѣ высказалъ, что̀ тебѣ нравится. А вотъ другіе любятъ, чтобъ хозяева сами угадывали—вотъ му̀ка-то!

Она взяла меня за обѣ руки и такъ грустно-грустно взглянула мнѣ въ лицо, словно хотѣла сказать: сиротка ты, бѣдненькій, надо же тебя приголубить и подкормить!

Черезъ нѣсколько минутъ на столѣ стояло пять сортовъ варенья и еще смоквы какія-то, тоже домашняго издѣлія, очень вкусныя. И что̀ всего удивительнѣе — намъ, дѣйствительно, какъ-то веселѣе стало, или, какъ выражаются крестьяне, поваднѣе. Я откинулся въ уголъ на спинку дивана, ѣлъ варенье и смотрѣлъ на Машу. При огняхъ она казалась еще моложавѣе.

— Машенька!—невольно вырвалось у меня.

— Ахъ, ты кончилъ? Вотъ покушай еще; дай, я тебѣ положу... морошки или крыжовнику?

— Нѣтъ, я не о томъ. Я все хочу тебѣ сказать, какая ты еще молодая! Совсѣмъ-совсѣмъ ты не измѣнилась съ тѣхъ поръ, какъ мы разстались!

— Это по наружности только, а внутри...

— Что̀ такое «внутри»? Ты напускаешь на себя—и больше ничего! Право, ты такъ еще мила, что не грѣхъ и приволокнуться за тобой, и я увѣренъ, что этотъ Филоѳей Павлычъ...

— Ахъ, нѣтъ! что̀ ты, что̀ ты!

— Нѣтъ, признайся! Навѣрное этотъ вертопрахъ...

— Во-первыхъ, онъ совсѣмъ не вертопрахъ, а во-вторыхъ, оставимъ это... Знаешь, вѣдь я о чемъ-то хотѣла съ тобой поговорить!

— О чемъ же?

— Скажи, правда ли, что ты съ Чемезовымъ кончить хочешь?

— Правда.

— Вотъ какъ! А я все думала, что ты у меня въ сосѣдствѣ поселишься. Ахъ, какъ бы это было хорошо!

— Хорошо-то хорошо, да нельзя этого, голубушка! Ты знаешь, занятія, обстоятельства...

— Что̀ такое «обстоятельства»! Не обстоятельства должны управлять человѣкомъ, а человѣкъ обстоятельствами!

— Это тоже Савва Силычъ говорилъ?

— Да, и онъ.

— А Филоѳей Павлычъ, быть-можетъ, подтверждалъ?

— Ахъ, ты опять объ этомъ! Вотъ ты такъ не измѣнился! Все шутишь! А вѣдь я серьезный разговоръ хотѣла съ тобою вести!

— Ну, будемъ вести серьезный разговоръ.

Лицо ея, дѣйствительно, приняло озабоченное выраженіе; бровки сдвинулись больше обыкновеннаго.

— Скажи, пожалуйста, на чемъ же ты хочешь кончить? покупатели есть?—таинственно спросила она, при чемъ даже по сторонамъ оглядѣлась, какъ бы желая удостовѣриться, не подслушиваетъ ли кто.

— Были покупатели. Деруновъ охотился, Бородавкина Заяцъ привозилъ смотрѣть.

— И что̀-жъ?

— Мнѣ хотѣлось бы съ крестьянами сдѣлаться.

— Ахъ, нѣтъ! ахъ, пожалуйста! Прошу тебя: не имѣй ты дѣла съ крестьянами!

— Что̀ такъ?

— Ахъ, это такіе неблагодарные, такіе неблагодарные!

— Да мнѣ-то какое дѣло до того, благодарны они или неблагодарны! Я продавецъ, они покупатели.

— Помилуй, какъ это можно! Они такіе неблагодарные, такіе неблагодарные! Представь себѣ, въ то время... ну, вотъ какъ уставныя грамоты составляли... вѣдь мои-то къ губернатору на Савву Силыча жаловаться ходили! Та̀къ онъ былъ тогда огорченъ этимъ, та̀къ огорченъ!

— А!

— И представь себѣ, какую клевету на него взвели: будто онъ у нихъ Гулино отнялъ! У нихъ! Гулино! знаешь: это какъ къ селу-то подъѣзжаешь, у самой почти-что околицы—тутъ у меня еще прехорошенькая сосновая рощица нынче пошла!

— Что̀-жъ, разобрали дѣло?

— Ну, конечно, имъ отказали, потому что Савва Силычъ какъ дважды-два доказалъ... Зато теперь они и каются: вѣдь имъ, другъ мой, безъ Гулина-то курицы некуда выпустить!

— Какъ «зато»? Да вѣдь если-бъ они и не жаловались, Гулино-то все-таки не осталось бы за ними

— Ахъ, какой ты! Я тебѣ говорю: вотъ какіе они неблагодарные, что даже на Савву Силыча жаловались! Да, мой другъ! Столько мы безпокойствъ, столько, можно сказать, непріятностей черезъ нихъ имѣли, что Савва Силычъ даже на одрѣ смерти меня предостерегъ: «прошу тебя, говоритъ, Машенька, никогда ты не имѣй дѣло съ этими неблагодарными, а дѣйствуй по закону!»

— Однако ты, несмотря на это, имѣешь-таки съ ними дѣла! Вотъ зѐмли въ кортому отдаешь...

— Это совсѣмъ другое дѣло; тутъ ужъ я по закону. Да вѣдь и по-христіански, мой другъ, тоже судить надо. Имъ вѣдь земля-то нужна, ахъ, какъ нужна! Ну, стало-быть, я по-христіански...

Она на минуту смолкла, потихоньку вздохнула и даже какъ бы закручинилась («миленькая!» мелькнуло у меня въ головѣ).

— Ты не повѣришь, какъ они бѣдны, ахъ, какъ бѣдны!— продолжала она такимъ голосомъ, какъ будто ей вотъ-вотъ сейчасъ душу на части начнутъ рвать.—И представь себѣ, бѣдны, а въ кабакѣ у меня всегда толпа!

— Ты и кабакъ устроила?

— Да, тутъ у насъ строеньице ненужное осталось, такъ Анисимушко присовѣтовалъ. Вѣдь это выгодно, родной мой!

— Да?

— Очень, очень даже выгодно. Но представь себѣ: именно все, какъ говорилъ покойный Савва Силычъ, все такъ, по его, и сбывается. Еще въ то время, какъ въ первый разъ вину волю сказали,—ужъ и тогда онъ высказался: «курить вино—нѣтъ моего совѣта, а кабаки держать—можно хорошую пользу получить!»

— Машенька, ты милая!—невольно вскрикнулъ я и—каюсь—не удержался-таки, поцѣловалъ ее въ щечку.

— Что ты! дѣти... ахъ, какой ты!—застыдилась она.

— Ну, хорошо, хорошо, не стану! Такъ что же ты мнѣ насчетъ Чемезова-то сказать хотѣла?

Она на мгновеніе задумалась, потомъ вдругъ все лицо ея словно озарилось.

— Знаешь ли что!—вскрикнула она почти восторженно:— Лукьянычъ обманываетъ тебя!

— Что ты! Христосъ съ тобой! Старику семьдесятъ лѣтъ!

— Говорю тебѣ, обманываетъ! Это такъ вѣрно, такъ вѣрно...

— Ну, оставимъ это, пускай себѣ обманываетъ, а мы возьмемъ да перехитримъ его. Что̀ же ты мнѣ еще скажешь?

— А вотъ что̀, мой другъ. Признаюсь, я очень, даже очень въ твое дѣло вникала. И могу сказать одно: жаль, что ты Кусточки въ то время крестьянамъ отдалъ! И Савва Силычъ говорилъ: «испортилъ братецъ все свое имѣніе».

— Помилуй! Да вѣдь Кусточки какъ разъ около Чемезова; крестьянамъ и обойтись безъ нихъ невозможно! Да и всегда, и при крѣпостномъ правѣ, Кусточками крестьяне владѣли!

— Въ томъ-то и дѣло, другъ мой, что крестьянамъ эта земля нужна—въ этомъ-то и выгода твоя! А владѣли ли они, или не владѣли—это всегда обдѣлать было можно: Савва Силычъ съ удовольствіемъ бы для родного похлопоталъ. Не отдай ты эти Кусточки—вѣдь цѣны бы теперь твоему имѣнію не было!

— Да что̀-жъ объ Кусточкахъ говорить, коли они ужъ отданы! А безъ Кусточковъ какъ велика, по-твоему, цѣна за всю землю?

— А сколько Осипъ Иванычъ (Деруновъ) тебѣ давалъ?

— Пять тысячъ.

— Какъ тебѣ сказать, мой другъ! Я бы на твоемъ мѣстѣ продала. Конечно, кабы здѣсь жить... хорошенькія въ твоемъ имѣніи мѣстечки есть... Вотъ хоть бы Филипцево... хорошъ, очень хорошъ лѣсокъ!.. Признаться сказать, и я иногда подумывала твое Чемезово купить—все-таки ты мнѣ родной!—ну, а пяти тысячъ не дала бы! Пять тысячъ—большія деньги! Ахъ, какія это большія деньги, мой другъ! Вотъ кабы Кусточки...

— Дались тебѣ Кусточки! Какихъ-нибудь двадцать десятинъ!

— Двадцать десятинъ, а за двѣсти отвѣтятъ! Это и Анисимушко скажетъ тебѣ. Вотъ почему я и думаю: обманываетъ тебя Лукьянычъ! Ну, такъ обманываетъ, такъ обманываетъ!

— Да полно же, ради Христа!

— Нѣтъ, мой другъ, это дѣло надо разыскать. Если-бъ онъ вѣрный слуга тебѣ былъ, согласился ли бы онъ допустить, чтобъ ты такое невыгодное условіе для себя сдѣлалъ? Вотъ Анисимушко—тотъ прямо Саввѣ Силычу сказалъ: «держитесь Гулина, ни за что крестьянамъ его не отрѣзывайте!» Ну, Савва Силычъ и послушался.

— Слушай, да вѣдь я самъ уставную-то грамоту и составилъ, и подписалъ!

— Все-таки. Кабы Лукьянычъ настоящій христіанинъ былъ—все бы ему слѣдовало тебя предостеречь!

— Машенька, клянусь, ты милая!

— Ну, видишь ли, я вѣдь знала, что съ тобой серьезно нельзя говорить. Всегда ты былъ такой; всегда въ тебѣ эта неосновательность была. Съ тобой серьезно говорятъ, а у тебя все мысли какія-то. И Савва Силычъ это замѣчалъ; а онъ очень тебя любилъ.

— За что̀-жъ онъ меня любилъ?

— Онъ всѣхъ родныхъ вообще почиталъ. Онъ всегда... онъ такой... Ну, вотъ ты и опять этими воспоминаніями разстроилъ меня, другъ мой!

Дѣйствительно, ея глазки блеснули, и двѣ маленькія слезки скатились на ея щечки. Воспоминаніе ли о Саввѣ Силычѣ на нее подѣйствовало, или просто взгрустнулось... *такъ*—во всякомъ случаѣ, это было такъ мило, что я невольно подумалъ: «а вѣдь этотъ Филоѳей дуракъ будетъ, если Машеньку къ себѣ не пріурочитъ».

Такія женщины въ деревенской тиши—настоящій кладъ. И нѣжна, и Кусточковъ не проглядитъ, и приголубить можетъ, и весь домъ обѣгаетъ, за всѣмъ сама присмотритъ, все прикажетъ. Блаженствуй! Хорошо этакую «куколку» по головкѣ погладить и потомъ сказать ей: «а что, Машенька, кабы теперь вареньица!» Хорошо цѣловать эти глазки и читать въ нихъ, какъ они думаютъ: что̀ бы еще велѣть съ погреба принести? Да и не надоѣдлива вѣдь она: прибѣжитъ, сядетъ къ тебѣ на колѣни, вспомнитъ, что нужно насчетъ бѣлья распорядиться,—вскочитъ и убѣжитъ; потомъ опять прибѣжитъ, на колѣни сядетъ—и опять вспомнитъ, что Смарагдушкѣ нужно пупочекъ бобковою мазью потереть... Вотъ настоящее utile-dulce; вотъ единственное условіе, при которомъ никакое деревенское захолустье опостылѣть не можетъ! Но, можетъ-быть, опостылѣетъ жизнь вообще?..

Нѣтъ, едва ли и это. По крайней мѣрѣ Филоѳей навѣрное совсѣмъ не такъ думаетъ. Не знаю, почему мнѣ вспалъ на умъ этотъ Филоѳей, но я убѣжденъ, что онъ тутъ что-нибудь маклеритъ. Не даромъ два раза Машенька покраснѣла при его имени. Конечно, онъ такой же крупный и вальяжный, какъ и Савва Силычъ, и изъ такого же ноздреватаго известковаго камня вырубленъ. Маленькія женщины

сначала боятся такихъ идоловъ, а потомъ льнутъ къ нимъ: защиту себѣ видятъ. Мужъ нервный, худощавый, болѣзненный не защититъ. А вотъ какъ цѣлая глыба подъ руками—стóитъ только присѣсть сзади, никто и не увидитъ. Таковъ первоначальный поводъ для привязанности, а потомъ, разумѣется, и другіе найдутся. А Машенька ужъ обтерпѣлась за Саввой Силычемъ, и Филоѳей это знаетъ. Можетъ-быть, онъ и тогда, при жизни мужа, ужъ думалъ: «мерзавецъ этотъ Савка, какую штучку поддѣлъ! Вонъ какъ она ходитъ! Ишь! ишь! такъ по стрункѣ и сѣменитъ ножками!» И кто же знаетъ: можетъ-быть, онъ этому Савкѣ, другу своему, даже подсыпалъ чего-нибудь, чтобъ поскорѣй завладѣть этою миленькою женщиной, которая такъ охотно пойдетъ за тѣмъ, кто первый возьметъ ее за ручку, и потомъ всю жизнь будетъ сѣменить ножками по стрункѣ супружества!

Но это была уже уголовщина, и я поспѣшилъ опомниться. Машенька правду сказала: нельзя со мной серьезно говорить, сейчасъ я на окольную дорогу сверну и начну совсѣмъ о другомъ. И съ какой стати я къ этому Филоѳею привязался! Можетъ-быть, это просто семинаристъ какой-нибудь—и самъ семинаристъ, и, кромѣ того, еще другъ покойнаго семинариста,—который, по старой сквалыжнической привычкѣ, заѣзжаетъ въ Березники, на перепутьѣ изъ деревни въ земскую управу, потому только, что у Машеньки сладенько поѣсть можно! Пріѣдетъ, наѣстся, выспится, наговоритъ изреченій изъ старыхъ прописей — и отправится дальше...

Покуда я такъ размышлялъ, доложили, что пришелъ Анисимушко.

Анисимушко—старикъ древній, лѣтъ подъ-восемьдесятъ, но еще бодрый на видъ, хотя и ходитъ съ палкою. Осанку онъ имѣетъ важную, лицо почтенное, выражающее, что онъ себѣ цѣну понимаетъ. Садится, не дожидаясь позволенія, и говоритъ барынѣ «ты». Вообще это одна изъ тѣхъ личностей, безъ совѣта съ которыми, при крѣпостномъ правѣ, помѣщики шагу не дѣлали, которыхъ называли «министрами» и которыя пользовались привилегіей «говорить правду», но не забываться, подобно тѣмъ своимъ знатнымъ современникамъ, которые, въ болѣе высокой сферѣ, имѣли привилегію

Истину царямъ съ улыбкой говорить...

Анисимушко вошелъ степенно, важно; не торопясь по-

молился въ восточный уголъ, гдѣ висѣлъ образъ, потомъ поклонился мнѣ и барынѣ и сѣлъ.

— Вотъ и Анисимушко, рекомендую!—произнесла Машенька:—мой совѣтчикъ, руководитель и—можно сказать даже—другъ. Надѣюсь, что ты позволишь намъ поговорить?

— Ахъ, сдѣлай одолженіе!

— Ну, что̀, Анисимушко, скажешь?

— Клинцы, сударыня, продаютъ.

— Это гдѣ?

— Рядомъ съ Ульянцевымъ. Пустошонка десятинъ съ сорокъ, побольше, будетъ.

— А земля какова?

— Земля не то чтобы... Покосишко есть... не слишкомъ тоже... лѣску тоже молоденькаго десятинки съ двѣ найдется... земля не очень... Только больно ужъ близко къ Ульянцеву подошла!

— Дорого просятъ?

— Дорого. Восемьсотъ; по двадцати рублей за десятину на кругъ.

— Ой! что̀ ты!

Машенька даже испугалась громадности цифры.

— А купить все-таки надо будетъ, — солидно продолжалъ Анисимушко.

— Ни за что̀! Разориться мнѣ, что ли, прикажешь!

И она растерянно взглянула на меня. Навѣрное она вспомнила недавнія свои инсинуаціи насчетъ Лукьяныча и хотѣла угадать, не думаю ли я того же самаго объ ея Анисимушкѣ.

— До разоренья еще далеко, — иронически возражалъ Анисимушко:—ты сначала выслушай!

— Помилуй, Анисимушко!

— Слушай-ко. Первое дѣло—ульянцевскіе сейчасъ за нее тысячу даютъ. Сегодня ты восемьсотъ дашь а завтра тысячу получишь.

— Такъ отчего-жъ они не покупаютъ? Тысячу-то тысячу, да, можетъ-быть, въ разсрочку?

— И не въ разсрочку, а деньги на столъ. Да, вишь, баринъ негодованье на нихъ имѣетъ, судились они съ нимъ за эту самую землю—онъ ее у нихъ и оттягалъ. Вотъ теперь онъ и говоритъ: «мнѣ эта земля не нужна, только я хоть задаромъ ее первому встрѣчному отдамъ, а вамъ, распостылые, не продамъ!»

— Ахъ, Боже мой! да если ты говоришь, что эта земля

такъ имъ нужна, зачѣмъ же ее продавать? Можно и такъ съ пользою отдавать имъ же въ кортому.

— Ему это не рука, барину-то, потому онъ на теплыя воды спѣшитъ. А для насъ, ежели купить ее,—хорошо будетъ. Къ тому я и веду, что продавать не надобно—и такъ по четыре рубля въ годъ за десятину на кругъ дадутъ. Земля-то клиномъ въ ихнюю угоду врѣзалась, имъ выйти-то и некуда. Безпремѣнно по четыре рубля дадутъ, ежели не больше.

Машенька задумалась и перебирала пальчиками, словно разсчитывала.

— Такъ, ты думаешь, купить?—робко спросила она.

— Послушай ты моего мужицкаго разума: не упущай ты этого случаю!

— Денегъ-то очень ужъ много, Анисимушко!

— Мало ли денегъ! Да вѣдь и я не съ вѣтру говорю, а настоящее дѣло докладываю. Коли много денегъ кажется, поторговаться можно. Уступитъ и за семьсотъ. А и не уступитъ—все-таки упускать не слѣдъ. Деньги-то, которыя ты тутъ отдашь, словно въ ламбартѣ будутъ. Еще лучше, потому что въ Москву за процентами ѣздить не нужно, сами придутъ.

— А ежели мужички не будутъ землю кортомить?

— Христосъ съ тобой, куда-жъ они отъ насъ уйдутъ! Вѣдь это не то, что отъ прихоти: земля, дескать, хороша! а отъ нужды отъ кровной: и нехороша земля, да надо ее взять! Вѣрное это слово я тебѣ говорю: по четыре на кругъ дадутъ. И цѣна не то, чтобы съ прижимкой, а самая настоящая, христіанская...

— Да ужъ, Анисимушко, надо по-христіански, и ихъ тоже пожалѣть нужно!

— Извѣстное дѣло, и ихъ пожалѣть, про что-жъ я и говорю. Дѣло хоть обоюдное, вольное, а все же по-христіански нужно. Потому Богъ—Онъ все видитъ. Ты думаешь, Богъ-отъ далеко, а Онъ вонъ Онъ! По-христіански—какъ возможно, не въ примѣръ лучше! И мужичкамъ хорошо, и тебѣ спокой! Такъ-то. Ты тужишь, что у тебя рубликъ-другой промежъ пальцевъ будто ушелъ, анъ Богъ-отъ тебя въ другомъ мѣстѣ благословитъ! А совѣсть-то и завсе у тебя спокойна. И уснулъ ты сладко, и всталъ поутру, никакого покору за собой не знаешь! Такъ ли я, сударыня, говорю?

— *Такъ,* Анисимушко! Я знаю, что ты у меня добрый!

Только я вотъ что̀ еще сказать хотѣла: можетъ-быть, мужички и совсѣмъ Клинцы за себя купить пожелаютъ— ка̀къ тогда?

— Что-жъ, сударыня, съ Богомъ, отчего же и имъ, по-христіански, удовольствія не сдѣлать! Тысячу-то теперь ужъ даютъ, а черезъ годъ—и полторы давать будутъ, коли-ежели степенно передъ ними держать себя будемъ!

Опять минута задумчивости; глазки грустные-грустные; подбородокъ вздрагиваетъ.

— Такъ ужъ я куплю, Анисимушко,—вздохнувъ, рѣшаетъ Машенька.

— Купи, матушка! Ты моего мужицкаго ума слушайся! Потоль и служу, поколь живъ.

— А ужъ я-то какъ благодарна тебѣ, Анисимушко! Такъ благодарна, такъ благодарна! Дѣти! Ѳеогностъ! Нонночка! велите Анисимушку чаемъ напоить! Съ Богомъ, Анисимушко!

Въ эту минуту у крыльца послышался звонъ колокольчика, и дѣти въ залѣ всполошились.

— Дядя пріѣхалъ! Дяденька!—кричали они.

Я не обманулся: это была дѣйствительно глыба. И притомъ глыба, покушавшаяся быть любезною и отчасти даже граціозною. Вошелъ онъ въ гостиную какъ-то бокомъ, пріятно переплетая ногами, вынулъ изъ ушей канатъ, спряталъ его въ жилетный карманъ и подошелъ къ Машенькѣ къ ручкѣ.

— А вотъ и братецъ пріѣхалъ!—рекомендовала меня Машенька, складывая губки сердечкомъ.

— Пріятно-съ. Служить изволите?

— Нѣтъ, не служу, а такъ.

— Вотъ даже сейчасъ видно, что вы Марьѣ Петровнѣ родственникомъ доводитесь! Онѣ тоже очень часто это слово «такъ» въ разговорѣ употребляютъ.

Онъ улыбнулся и не безъ вожделѣнія скосилъ глазами въ сторону Машеньки, при чемъ меланхолически склонилъ голову на бокъ, такъ что я замѣтилъ подъ лѣвою его скулой большой кружокъ англійскаго пластыря, прикрывавшій, очевидно, фистулу.

Однако замѣчаніе его смутило-таки меня. Въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ я сказалъ это «такъ»? Что̀ такое «такъ»? Что̀ хотѣлъ я этимъ выразить? Вотъ Машенька—она дѣйствительно «такъ»; я и самъ это давеча замѣтилъ. И для

нея это нимало не предосудительно; ей это даже прелесть придаетъ, потому что она женщина и притомъ вдова. Впрочемъ, и она, я подозрѣваю, больше ради прелести употребляетъ это слово, потому что Филоѳею оно нравится. А я-то зачѣмъ? Зачѣмъ я сказалъ: «такъ»? И, можетъ-быть, я только не замѣчаю за собой, а на дѣлѣ и частенько-таки этимъ словомъ щеголяю?

— Изъ Петербурга пріѣхать изволили? — любезничалъ со мной Промптовъ.

— Изъ Петербурга.

— Большой городъ. Парижъ, говорятъ, обширнѣе; ну, да вѣдь то ужъ Вавилонъ. Вотъ мы такъ и своимъ уѣзднымъ городомъ довольны. Вездѣ можно пользу приносить-съ. И океанъ, и малая капля водъ—кажется, разница, а какъ размыслишь, то и тамъ, и тутъ—вездѣ одно и то же солнце свѣтитъ. Такъ ли я говорю-съ?

— Да, философы утверждаютъ...

— Скажу хоша про себя; на нынѣшнее трехлѣтіе званіемъ предсѣдателя управы меня почтили. Дѣло оно, конечно, небольшое, а все же пользишку принести можно. Кто желаетъ, и въ такомъ дѣлѣ пищу для труда найдетъ. А трудъ, я вамъ доложу, великая вещь: скуку онъ разгоняетъ. Вотъ и Марья Петровна трудится—и имъ не скучно.

— Не скучно, а такъ...—какъ-то лѣниво промолвила Машенька, и на сей разъ я положительно утверждаю, что она сказала это слово не спроста, а съ желаніемъ пококетничать съ Филоѳеемъ.

— Вотъ видите: и сейчасъ онъ это слово «такъ» сказали! — хихикнулъ онъ, словно у него брюшко пощекотали:—что же-съ! въ дамѣ это даже очень пріятно, потому дама рѣдко когда въ опредѣленномъ кругѣ мыслей находится. Дама—женщина-съ, и имъ это простительно, и даже въ нихъ это нравится-съ. Дамѣ мужчина защиту и вспомоществованіе оказать долженъ, а дама съ своей стороны... хоть бы по части общества: гостей занять, удовольствіе доставить, потанцовать, спѣть, время пріятно провести—вотъ ихнее дѣло.

Онъ опять меланхолически скосилъ глаза въ сторону Машеньки и опять показалъ мнѣ свою фистулу. «Знаетъ ли она, что у него подъ скулой фистула?» невольно спросилъ я себя и тутъ же, внимательно обсудивъ всѣ обстоятельства дѣла, рѣшилъ, что не только знаетъ, но что даже,

быть-можетъ, и пластырь-то на фистулу она сама, собственными ручками, налѣпляетъ.

— Слѣдовательно, вамъ не скучно?—обратился я къ нему.

— Докладываю вамъ: тружусь-съ. Кабы не трудился, можетъ-быть, и скучалъ бы. Можетъ-быть, вино бы пить сталъ; можетъ-быть, въ развратъ бы впалъ...

— Ахъ, что̀ вы, Филоѳей Павлычъ!—испугалась Машенька.

— Не извольте, сударыня, безпокоиться; со мной этого случиться не можетъ. Я себя очень довольно понимаю. Рюмка передъ обѣдомъ, рюмка передъ ужиномъ—для желудка сваренія-съ... Я вотъ и табакъ прежде, отъ скуки, нюхалъ,—обратился онъ ко мнѣ:—да, вижу, доброй сосѣдушкѣ не нравится (Машенька заалѣлась)—и оставилъ-съ!

— И вы постоянно здѣсь живете?

— Осѣдлость имѣю—ну, и живу. Слава Богу, послужилъ. Былъ въ Т. совѣтникомъ губернскаго правленія; теперь государя моего дѣйствительный статскій совѣтникъ въ отставкѣ—чего нужно! Не растратилъ, а, по милости Божіей, пріобрѣлъ-съ. На собственныя, на трудовыя денежки—наслѣдственнаго-то мнѣ родители не завѣщали!—купилъ здѣсь, поблизости, имѣньице, да и катаюсь взадъ и впередъ: изъ имѣнія въ городъ, изъ города въ имѣніе. Вотъ къ Марьѣ Петровнѣ на перепутьѣ заѣзжаю. Чайкомъ напоитъ, вареньицемъ полакомитъ, а иногда, грѣшнымъ дѣломъ, и отдохнуть разрѣшитъ.

Онъ всталъ и опять, переплетая ногами, подошелъ къ Машенькѣ къ ручкѣ.

— Сегодня-то вы у насъ ночуете?—спросила она.

— Всенепремѣнно-съ, ежели такая ваша милость будетъ. Я, сударыня, вчера утромъ фонтанель на обѣихъ рукахъ открылъ, такъ боюсь: дорогой-то въ шубѣ сидишь, какъ бы не разбередить.

— Давно ужъ я вамъ про эту фонтанель совѣтовала... Что̀-жъ, и удачно?

— Нельзя лучше-съ. Сегодня утромъ разсматривалъ: матерія идетъ—отличнѣйшая-съ. И даже сейчасъ ужъ лучше на оба уха слышу!

— Ну, и слава Богу!

Новое переплетанье ногами и новое чмоканье Машенькиной ручки.

— Та̀къ мы здѣсь и живемъ,—сказалъ онъ, усаживаясь:—помаленьку да полегоньку, тихо да смирно; войнъ не объ-

являемъ, тяжбъ и ссоръ опасаемся. Живемъ да поживаемъ. Въ умствованія не пускаемся, идей не распространяемъ—такъ-то-съ! Наше дѣло—пользу приносить. Потому мы—земство. Великое это, сударь, слово, хоть и неказисто на взглядъ. Вотъ, въ прошломъ году, на перервинскомъ трактѣ мостокъ черезъ Перерву выстроили, а въ будущемъ году, съ Божьею помощью, и черезъ Воплю мостъ соорудимъ...

— Ахъ, да, пожалуйста, устройте! Я намеднись чуть не провалилась!—пожаловалась Машенька.

— Ахъ, грѣхъ какой! А вы, сударыня, осторожнѣе! Вотъ изволите, сударь, видѣть, всѣмъ до насъ дѣло! Марьѣ Петровнѣ мостокъ построить, другому—трактецъ починить, третьему—переправочку черезъ ручей устроить! Анъ дѣлато и многонько наберется. А вы, осмѣлюсь спросить, писательствомъ, кажется, заниматься изволите?

— Да, пишу.

— И это полезно, ежели въ учительномъ духѣ... Мы здѣсь, признаться, только «Московскія Вѣдомости» выписываемъ, такъ настоящую-то литературу мало знаемъ.

— Братецъ, кажется, больше по сатирической части,—вмѣшалась Машенька.

— Что̀-жъ, и сатира не безъ пользы, коли въ предѣлахъ. Ridendo castigat mores—такъ, кажется? Дѣло писателей—изображать, а дѣло правительства—ихъ воздерживать. И въ древности сатирики были: Ювеналъ, Персій, Кантеміръ. Даже Цицеронъ временами къ сатирѣ склонность выказывалъ, а Кантеміра такъ самъ блаженной памяти государь Петръ Алексѣичъ изъ Молдавіи вывезти изволилъ. Современникамъ, конечно, не всегда пріятны ихнія стрѣлы были, а теперь, по прошествіи времени, даже въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ читать не возбраняется.

— А дорого, братецъ, за эти сатиры даютъ?

— Не знаю, ка̀къ тебѣ сказать, голубушка, не считалъ.

— Писатели, сударыня, подробностей этихъ никогда не открываютъ. Хотя же и не отказываются отъ приличнаго за труды вознагражденія, однако все-таки желательнѣе для нихъ, чтобы другіе думали, яко бы они безкорыстно произведеніями своего вдохновенія досуги человѣчества услаждаютъ. Такъ, сударь?

— Ну, не совсѣмъ такъ, но во всякомъ случаѣ ничего опредѣлительнаго на вопросъ Машеньки отвѣтить не могу. Вознагражденіе за литературный трудъ такъ измѣнчиво, что точно опредѣлить его норму почти невозможно.

— А знаете ли, братецъ, вѣдь и у насъ здѣсь прошлымъ лѣтомъ чуть-чуть сатирикъ не проявился.

— Какъ же-съ! молодой человѣкъ одинъ, Николо-Воплинскаго іерея сынокъ. Кончилъ курсъ въ семинаріи, да вмѣсто того, чтобъ невѣсту искать, началъ здѣшній уѣздъ въ сатирическомъ смыслѣ описывать. Однако мы сейчасъ же его сократили.

— Какъ такъ?

— Въ настоящее время онъ въ дальнія губерніи, по распоряженію, высланъ-съ.

— Помилуйте, за что̀ же?

— Возмущеніе отъ него большое выходило. Чуть что̀ — сейчасъ опишетъ и начнетъ-это распространять. Всѣ мы, сударь, человѣки и человѣческимъ слабостямъ причастны, а онъ выше всѣхъ себя мнилъ. Вотъ мы его однажды подкараулили да къ господину становому, вмѣстѣ съ писаніями, и представили.

— Однако трудненько-таки у васъ сатирику жить!

— Жить у насъ, сударь, всякому можно. И даже сатирами заниматься никто не препятствуетъ. Вотъ только касаться—этого, дѣйствительно, нельзя.

Разговоръ принималъ такой любопытный оборотъ, что я счелъ долгомъ своимъ поближе вглядѣться въ эту известковую глыбу. Слова Промптова пахнули на меня чѣмъ-то знакомымъ, хотя и недосказаннымъ; они напомнили мнѣ о какой-то жгучей задачѣ, которую я постоянно старался обойти, но отъ разрѣшенія которой—я это смутно чувствовалъ—мнѣ ни подъ какимъ видомъ не избавиться. «Будь сатирикомъ, но не касайся!»—да вѣдь это оно, это то̀ самое рѣшеніе, котораго никто до сихъ поръ ясно не формулировалъ, но которое, несомнѣнно, у всѣхъ на умѣ. Въ особенности въ Петербургѣ на этотъ счетъ существуетъ какое-то малодушное двоегласіе. Языкъ говоритъ: «кто же запрещаетъ: обличайте! преслѣдуйте! карайте!»—а въ глазахъ въ это время бѣгаютъ огоньки. Ясно, что въ результатѣ такого двоегласія должно быть постоянное сатирическое безпокойство. Общечеловѣческая слабость нашоптываетъ сатирику: мужайся! вѣрь словамъ! огоньки — это «такъ»! А опытъ и подозрительность предостерегаютъ: помни объ огонькахъ, а слова̀—это «такъ»!

И вотъ простой рыбарь, какой-то безвѣстный Филоѳей, взялъ на себя трудъ разрѣшить задачу ясно, просто и, главное, спокойно и безъ огоньковъ. «Будь сатирикомъ, но

не касайся!»—да, это оно, оно самое! Но вотъ вопросъ: способенъ ли Филоѳей преподавать надлежащія къ выполненію своего афоризма наставленія? Гм!.. конечно, съ его точки зрѣнія, онъ способенъ. Не онъ ли сейчасъ сказалъ: «подкараулили, да къ господину становому вмѣстѣ съ писаніями и представили». Вотъ вамъ и исполненіе. Только разрѣшаетъ ли оно самую задачу? Создастъ ли оно такого сатирика, который и сатиры будетъ писать, и въ то же время «касаться» не станетъ? Въ этомъ-то я и позволяю себѣ усомниться. Да и въ Петербургѣ, повидимому, тоже сомнѣваются, а вслѣдствіе этого и допускаютъ «огоньки» въ видѣ палліативной мѣры. Пусть, молъ, до времени огоньки служатъ предостереженіемъ, а вотъ ежели... Что̀ «ежели»?

Подъ вліяніемъ этихъ мыслей я еще пристальнѣе взглянулъ на высившуюся передо мною известковую глыбу: не скажетъ ли она еще что-нибудь, не разъяснитъ ли? Но—увы!—глыба такъ заурядно, почти безсмысленно покачивалась вмѣстѣ съ кресломъ, въ которомъ она сидѣла, и при этомъ такъ масляно косила глазами по направленію къ Машенькѣ, что мнѣ сдѣлалось ясно, что она ничего не сознавала. Афоризмъ вырвался у нея изъ глотки «такъ», безъ пониманія и даже безъ малѣйшихъ претензій на дальнѣйшее развитіе. Онъ представлялъ собою одну изъ тѣхъ «благонамѣренныхъ рѣчей», которыми такъ изобилуетъ среда рыбарей. Такъ что я, который намѣревался просить разъясненій по этому поводу и даже не прочь былъ вступить въ споръ, я сразу же убѣдился, что самое лучшее въ этомъ случаѣ—это послѣдовать мудрому правилу: не тронь навоза—не воняетъ.

— А знаете ли что̀, Филоѳей Павлычъ, — догадалась между тѣмъ Машенька:—вѣдь Коронатъ-то у насъ, пожалуй, сатирикомъ будетъ?

— Развѣ расположеніе выказываетъ?

— Нѣтъ, вообще... Безнравственность въ немъ какая-то... изъ всѣхъ дѣтей онъ какой-то... Вонъ и братецъ давеча видѣлъ...

— А вы бы, сударыня, березовой кашицей почаще... И я знавалъ эти примѣры: въ дѣтствѣ не остепеняли, а со временемъ, отъ этой самой родительской слабости, люди злодѣями дѣлались.

— Ахъ, и я этого боюсь! Боюсь я за него!

— Самое главное, сударыня, въ этомъ разѣ—всѣ силы-мѣры употреблять, чтобъ изъ ребенка человѣкъ вышелъ.

Чтобы къ семейству привязанность имѣлъ, собственность чтобы уважалъ, отечество любилъ бы. Лоза, конечно, прямо этому не научитъ, но споспѣшествовать можетъ.

— Да вѣдь и я тоже... вотъ и братецъ... Ахъ, кстати! Вѣдь братецъ съ Чемезовымъ-то кончать хочетъ!

— Что̀ такъ-съ?—огорчился Филоѳей.—А мы было-думали, что вы здѣсь оснуетесь! Съ сестрицей бы, по сосѣдству, видались! Очень бы пріятно!

— Неудобно мнѣ.

— Очень, очень было бы пріятно. А между тѣмъ и имѣніе... хорошенькое у васъ, сударь, имѣньице! Полезныя мѣстечки есть! Вотъ кабы вы Кусточковъ мужичкамъ не отдали—и еще бы лучше было!

— И я ему то же говорила..

— Да-съ, близокъ локоть, да не укусишь. Это бы ужъ Лукьянычево дѣло васъ предостеречь. Онъ обязанъ былъ разъяснить вамъ, что Кусточки—это, такъ сказать, узелъ-съ...

— Слушайте, да какъ же я могъ не отдать Кусточковъ? Вѣдь чемезовскимъ крестьянамъ безъ этой земли просто жить нельзя!

— А они бы у васъ кортомили ее. Вы бы христіанскую цѣну назначили, а они бы пользовались. И имъ бы безъ обиды, и вамъ бы хорошая польза была.

— Да вѣдь они имѣли право на Кусточки! «Право»—ясно ли это, наконецъ? Вы сами сейчасъ говорили, что собственность уважать надо, а по разъясненіямъ-то выходитъ, что уважать надо не собственность, а прижимку!

Высказавъ это, я сейчасъ же догадался, что очень опрометчиво поступилъ, употребивъ слово: «прижимка». Это было и слишкомъ рѣзко, и въ то же время слишкомъ мягко. Рѣзко потому, что обличало во мнѣ человѣка, съ которымъ «попросту» («мы съ нимъ по-родственному, а онъ» и т. д.) объясняться нельзя; мягко потому, что Филоѳей, конечно, отлично понимаетъ, что на умѣ-то у меня совсѣмъ другое слово было, да только не сказалось оно. Тѣмъ не менѣе слово произвело свой эффектъ: Машенька вдругъ съёжилась, Филоѳей отвратительно перекосилъ ротъ. Минуты на двѣ разговоръ совершенно упалъ.

— А какая сегодня погода отличнѣйшая,—первый прервалъ молчаніе Промптовъ:—мягкость какая, тишина-съ!

— Да, давеча, какъ молотили, я выходила—очень было хорошо!—отозвалась Машенька.

— Для меня, какъ путешественника, въ особенности

такая погода пріятна, — съ своей стороны присовокупилъ и я.

— Да вотъ и въ прошломъ году погода...—начала-было Машенька, но не кончила, слегка зѣвнула и потянулась.

Молчаніе.

— А сколько бы вы за чемезовскую землю получить желали?—вдругъ обратился ко мнѣ Промптовъ, словно бы его озарила новая мысль.

— Я вѣдь съ крестьянами въ соглашеніе войти желаю.

— Такъ-съ. Съ крестьянами—на что̀ лучше! Они—настоящіе здѣшніе обыватели, коренники-съ. Имъ отъ земли и уйти некуда. Платежи вотъ съ нихъ... не очень-то, сударь, они надежны! А коли-ежели по христіанству—это что̀ и говорить! Съ Богомъ, сударь, съ Богомъ-съ! Впрочемъ, ежели бы почему-нибудь у васъ не состоялось съ крестьянами, просимъ имѣть въ виду-съ.

Онъ бокомъ повернулъ голову въ мою сторону и любезно искривилъ ротъ въ улыбку.

— Ахъ, что̀ вы,—вступилась Машенька:—братцу вѣдь Осипъ Иванычъ пять тысячъ давалъ!

— Слышали и объ этомъ-съ. Впрочемъ, это въ прошломъ году Осипъ Иванычъ такую цѣну давалъ, а нынче врядъ ли. Пять тысячъ—много денегъ-съ!

— А по-вашему какая же будетъ цѣна?

— По-моему, три съ половинкой, много четыре. Нѣтъ спору, есть въ вашей дачѣ мѣстечки полезныя, да покупатель вѣдь на-двое разсчитываетъ: будутъ прибыли—мои; а убытки будутъ—тоже мои.

— Поэтому-то я и думаю, что съ крестьянами все-таки прямѣе дѣло вести. Если и будетъ оттяжка въ деньгахъ, все-таки я не болѣе того потеряю, сколько потерялъ бы, уступивъ землю за четыре и даже за пять тысячъ. А хозяева у земли между тѣмъ будутъ настоящіе, тѣ, которымъ она нужна, которые не перепродадутъ ее на спекуляцію, потому что, какъ вы сами сейчасъ же высказались, имъ и уйти отъ земли некуда.

— Что̀ говорить! Съ крестьянами кончить — святое это дѣло!

Машенька опять зѣвнула и потянулась; било девять часовъ.

— Ну-съ, а теперь пора тебѣ, Машенька, и покой дать!—сказалъ я, вставая и отыскивая шапку.

Машенька какъ бы встревожилась.

— Братецъ! куда же? А ночевать? Я вѣдь надѣялась, что и вечерокъ вмѣстѣ пріятно проведемъ!—молвила она, выражая глазками знакомую мнѣ грусть ни о чемъ.

Но я уклонился и даже настоялъ, чтобъ она не провожала меня въ переднюю, что̀ она и исполнила, слегка, разумѣется, покобенившись. Одѣваясь, я слышалъ, какъ она произнесла въ залѣ:

— А Анисимушко сегодня Клинцы для меня приторговалъ!

Возвратившись въ Чемезово, я сообщилъ Лукьянычу, что Промптовъ мнѣ за землю четыре тысячи надавалъ. Онъ даже лопатками передернулъ, словно спина у него зачесалась отъ этого извѣстія.

— Промптовъ-то этотъ, — сказалъ онъ: — и съ Марьей Петровной, прошлымъ лѣтомъ, все по грибы въ Филипцево да въ Ковалиху ѣздили. Разъ съ пятокъ были.

— Ну?

— То-то. Чудно̀ мнѣ это тогда показалось. Чтой-то, думаю, наши грибы имъ полюбились! Своихъ рощей дѣвать некуда, а они все къ намъ да къ намъ. А они вонъ что̀!

— Да, похоже на то, что присматривались.

— Такъ вотъ что̀, сударь. Сегодня передъ вечеромъ я къ мужичкамъ на сходку ходилъ. Порѣшили: какъ-ни-какъ, а кончить надо. Стало-быть, завтра чѣмъ-свѣтъ опять на сходку — и совсѣмъ ужъ съ ними порѣшить. Сразу чтобы. А то у насъ, черезъ этого самаго Промптова, и концакраю разговорамъ не будетъ.

XIII.—Непочтительный Коронатъ.

Прошло лѣтъ шесть послѣ того, какъ я въ послѣдній разъ посѣтилъ родное Чемезово, и я совершенно утерялъ изъ вида Машеньку. Два раза, впрочемъ, она сама напоминала мнѣ о себѣ. Въ первый разъ увѣдомила о своемъ вступленіи во вторичный законный бракъ съ Филоѳеемъ Павлычемъ Промптовымъ, тѣмъ самымъ, которому она, еще будучи вдовою послѣ перваго мужа, приготовляла фонтанели на руки и налѣпляла пластырь на фистулу подъ лѣвою скулой. Во второй разъ писала объ отъѣздѣ въ Петербургъ двоихъ старшихъ сыновей, Ѳеогноста и Короната,

для поступленія въ казенныя заведенія, и просила меня принять ихъ въ свое «родственное расположеніе». «Поручаю тебѣ, мой родной,—писала она,—моихъ двоихъ молодцовъ, коихъ и прошу принять въ свое родственное расположеніе; я же, съ своей стороны, имъ лично внушала, чтобы они, какъ добронравнымъ поведеніемъ, такъ и прилежаніемъ, всемѣрно старались оное заслужить. Какъ мать и христіанка, я такъ разсудила, чтобы каждый изъ нихъ тотъ путь избралъ, который всего вѣрнѣе къ счастію ведетъ. И такъ какъ Ѳеогностушка — мальчикъ характера откровеннаго, то я и заключила изъ сего, что онъ ближе всего найдетъ свое счастіе въ кавалеріи; Коронатушку же, какъ мальчика скрытнаго и осмотрительнаго, заблагоразсудила пустить по юридистической части. Что же касается до Смарагдушки, то пускай онъ, по молодости лѣтъ, еще дома понѣжится, а впослѣдствіи, ежели Богу будетъ угодно, думаю пустить его по морской части, ибо онъ и теперь мастерски плаваетъ и, сверхъ того, имѣетъ большую наклонность къ открытіямъ: на-дняхъ въ такомъ мѣстѣ бѣлый грибъ нашелъ, въ какомъ никто ничего путнаго не находилъ» и т. п.

И дѣйствительно, вслѣдъ за вторымъ письмомъ явились ко мнѣ Ѳеогностъ и Коронатъ, шаркнули ножкой, поцѣловали въ плечико и въ одинъ голосъ просили принять ихъ въ свое родственное расположеніе, обѣщаясь, съ своей стороны, добронравіемъ и успѣхами въ наукахъ вполнѣ оное заслужить. При этомъ я узналъ отъ нихъ, что они, по пріѣздѣ въ Петербургъ, поселились у какого-то отставного начальника отдѣленія департамента податей и сборовъ, съ которымъ еще покойный отецъ ихъ, Савва Силычъ Порфирьевъ, состоялъ въ связяхъ по откупнымъ дѣламъ, и что этотъ же начальникъ отдѣленія обязался брать ихъ изъ «заведеній» по праздникамъ къ себѣ.

Однако-жъ племянники не баловали меня визитами. Ѳеогностушка еще заходилъ по временамъ; придетъ, брякнетъ саблею, скажетъ: «а меня, дяденька, вчера чуть въ карцеръ не посадили»—и убѣжитъ. Но Коронатъ приходилъ не больше двухъ-трехъ разъ въ годъ, да и то съ такимъ видомъ, какъ будто его задолго передъ тѣмъ угнетала мысль: и создалъ же Господь Богъ родственниковъ, которыхъ нужно посѣщать! Вообще это былъ молодой человѣкъ несообщительный и угрюмый; чѣмъ старше онъ становился, тѣмъ неуклюжѣе и неотесаннѣе дѣлалась вся его фигура.

Придетъ, бывало, сядетъ какъ-то особнякомъ, закуритъ папироску и молчитъ. Смотритъ всегда исподлобья, иногда вдругъ замурлычитъ или засмѣется, словно хочетъ сказать что-то очень колкое, но ничего не выходитъ. Къ удивленію, я и съ своей стороны чувствовалъ себя не совсѣмъ ловко въ его присутствіи. И угрюмое молчаніе, и отрывистые отвѣты, которые онъ давалъ на мои вопросы,—все явно показывало, что онъ тяготится присутствіемъ въ моемъ домѣ, и что—будь онъ свободенъ—порогъ моей квартиры никогда не увидѣлъ бы ноги его. Сначала я думалъ, что онъ или неуменъ, или запуганъ, но впослѣдствіи, по многимъ признакамъ, убѣдился, что отчужденность его обдуманная, сознательная. Очевидно, въ головѣ этого юноши происходила какая-то своеобразная работа, но онъ считалъ ее настолько принадлежащею исключительно ему, что не имѣлъ ни малѣйшей охоты посвящать всякаго встрѣчнаго въ ея тайны. А на меня онъ, повидимому, именно смотрѣлъ какъ на «встрѣчнаго», то-есть какъ на человѣка, передъ которымъ не стòитъ метать бисера, и если не говорилъ прямо, что насилуетъ себя, поддерживая какія-то ненужныя и для него непонятныя родственныя связи, то во всякомъ случаѣ дѣйствовалъ такъ, что я не могъ не понимать этого.

И вотъ, въ одно изъ воскресеній (это было уже лѣтъ пять спустя послѣ того, какъ онъ опредѣлился въ заведеніе по «юридистической» части), Коронатъ пришелъ ко мнѣ. На этотъ разъ онъ явился еще загадочнѣе, нежели когда-либо. По обыкновенію, отыскалъ дальній уголъ, сѣлъ и закурилъ папироску, но уже по тому, какъ дрожала его рука, зажигая спичку, я заключилъ, что онъ чѣмъ-то сильно взволнованъ. Нѣкоторое время онъ молчалъ, но плечи его безпрестанно вздрагивали, и онъ то обращалъ ко мнѣ свое лицо, какъ будто и рѣшался, и не рѣшался что-то высказать, то опять начиналъ смотрѣть прямо, испытуя пространство. Наконецъ, онъ вдругъ выпалилъ:

— А я, дядя, въ медицинскую академію хочу!

— А школу какъ? По-боку? — спросилъ я, нѣсколько испуганный этимъ внезапнымъ рѣшеніемъ.

— Стало-быть—по-боку.

— Христосъ съ тобой! Чтò же за причина?

— Это было бы долго разсказывать, да притомъ и неинтересно для васъ. Словомъ сказать—я рѣшился.

Я былъ совсѣмъ озадаченъ. Меня всегда пугала та стремительность, съ которою нынѣшніе молодые люди прини-

маютъ самыя радикальныя рѣшенія и приводятъ ихъ въ исполненіе. Придетъ молодой человѣкъ (родственники у меня между *ними* есть), скажетъ: «прощайте, я завтра за границу удираю... совсѣмъ!» Думаешь, что онъ шутку шутитъ, анъ, смотришь, и дѣйствительно завтра его слѣдъ простылъ! Или скажетъ: «прощайте, я на-дняхъ туда нырну, откуда одна дорога: въ то мѣсто, гдѣ Макаръ телятъ не гонялъ!» Опять думаешь, что онъ пошутилъ,—не тутъ-то было! Сказалъ, что нырну, и нырнулъ; а черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, слышу, вынырнулъ, и именно въ томъ мѣстѣ, гдѣ Макаръ телятъ не гонялъ. Словомъ, исполнилъ въ точности: стремительно, быстро, безъ колебаній. Я сначала полагалъ, что это у нихъ *такъ* дѣлается: ни съ того, ни съ сего, взялъ да и удралъ или нырнулъ; но потомъ убѣдился, что въ нихъ это мало-по-малу накапливается. Мы, старцы сороковыхъ годовъ, видимъ, какъ они молчатъ (при насъ они дѣйствительно молчатъ, словно имъ и говорить съ нами не о чемъ), и посмѣиваемся: вотъ, молъ, шалопаи! чай, женскій вопросъ, съ точки зрѣнія Фонарнаго переулка, разрѣшаютъ! А они совсѣмъ не о томъ: у нихъ, просто, въ это время накапливается. Накопится, назрѣетъ, и вдругъ бацъ:—удеру, нырну, исчезну... И какъ скажетъ, такъ и сдѣлаетъ.

И все-таки повторяю: какъ ни обыденна въ послѣднее время эта внезапность рѣшеній, она всегда меня пугаетъ. И странно, и жутко. Онъ, молодой-то человѣкъ, давно ужъ порѣшилъ, что ему *тамъ* лучше—благороднѣе!—а намъ, старцамъ, все думается: ахъ! да вѣдь онъ *тамъ* погибнетъ! И въ насъ вдругъ просыпается при этомъ вся сумма того теплаго, почти страстнаго соболѣзнованія къ гибнущему, которымъ вообще отличается сердобольная и не позабывшая принциповъ гуманности половина поколѣнія сороковыхъ годовъ. Сколько разъ я, на свою долю, принимался и уговаривать, и отклонять—и все напрасно.

— Послушайте, молодой человѣкъ,—говорилъ я:—что̀ вамъ за охота гибнуть?

— Это было бы слишкомъ долго объяснять, да для васъ вѣдь оно и неинтересно.

— Но отчего же! Если-бъ съ вами говорилъ человѣкъ равнодушный или зложелательный, передъ которымъ вамъ было бы опасно душу открыть...

— Извольте-съ. Если вы ужъ такъ хотите, то души своей хотя я передъ вами и не открою, а на вопросъ отвѣчу

другимъ вопросомъ: если-бъ вамъ, съ одной стороны, предложили жить въ сытости и довольствѣ, но съ условіемъ, чтобъ вы не выходили изъ дома терпимости, а съ другой стороны—предложили бы жить въ нуждѣ и не имѣть постояннаго ночлега, но все-таки оставаться на волѣ,—что бы вы выбрали?

Вопросъ странный, почти необыкновенный; но тѣмъ не менѣе, коль скоро онъ однажды стоитъ передъ вами, то не отвѣтить на него невозможно. Стараешься, разумѣется, какъ-нибудь увильнуть, обратить дѣло въ шутку, но вѣдь есть совопросники, съ которыми даже шутить нельзя. Отвѣчайте, сударь, прямо, не увертывайтесь, а прямо говорите: что бы вы выбрали—сытный ли домъ терпимости, или голодную свободу? Ну, и отвѣчаешь: отвѣчаешь, конечно, въ такомъ смыслѣ, чтобы самому себя лицомъ въ грязь не ударить и аттестатъ себѣ хорошій получить. Оно недурно, положимъ, въ довольствѣ да въ сытости пожить, да вѣдь дернула же нелегкая къ хорошему-то житью домъ терпимости пристегнуть. Домъ терпимости, каково-съ?!

— Стало-быть, по-вашему, мы въ домѣ терпимости живемъ?—попробуешь тоже отвѣтить вопросомъ на вопросъ.

— Стало-быть-съ.

— И слѣдовательно я, который...

— Слѣдовательно-съ...

И только. Ни отступленія, ни раскаянія, ни даже самыхъ общеупотребительныхъ формулъ учтивости—ничего. Вотъ и старайся тутъ смягчать, да сглаживать, да компромиссы отыскивать! Что бы, напримѣръ, стоило сказать: «помилуйте, это я не о васъ говорю!» или хоть такъ: «о присутствующихъ, дескать, не говорятъ» и т. д.,—нѣтъ, такъ-таки и претъ: «стало-быть-съ!» Ничѣмъ, даже простою, ничего нестоящею вѣжливостью поступиться не хочетъ! Посмотришь-посмотришь на эту необузданность, да и скажешь себѣ: нѣтъ, лучше съ этими господами не разговаривать! Подальше отъ нихъ—да-съ! Пускай они сами, какъ знаютъ, карьеру свою дѣлаютъ, а мы, старцы, карьеру свою ужъ сдѣлали... Да-съ!

А какъ бы спокойно жить на свѣтѣ, если-бъ этой стремительности, этого сомнѣнія не было! Шелъ бы всякій по своей части, одинъ по кавалергардской, другой по юридической, третій по морской, а маменька Марья Петровна сидѣла бы въ Березникахъ, да умилялась бы, на дѣтокъ глядючи! И сдѣлался бы Коронатушка адвокатомъ, просле-

зился бы онъ въ мясниковскомъ дѣлѣ и ужъ навѣрное упалъ бы въ обморокъ по дѣлу о поджогѣ Овсянниковской мельницы. И былъ бы онъ малый съ деньгами, обзавелся бы домкомъ, женился бы и вечеромъ, возвратясь изъ суда, говорилъ бы: «а я сегодня, душенька, Языкова подкузьмилъ: онъ—въ обморокъ, а я, не будь глупъ, да выкликать началъ!» И вдругъ, вмѣсто всего этого—«хочу въ медицинскую академію!»

— Ты бы, однако-жъ, прежде обдумалъ свое рѣшеніе,— обратился я къ Коронату послѣ минутнаго молчанія.

— Отчего же вы полагаете, что я не обдумалъ его?

— Ты, конечно, знаешь, что мать предназначила тебя не въ медики, а по юридической части...

— А ежели бы она меня по танцовальной части предназначила?

— Позволь, душа моя! Какъ ни остроумно твое сближеніе, но ты очень хорошо знаешь, что юридическая часть и танцовальная—двѣ вещи разныя. Твоя мать, желая видѣть въ тебѣ юриста, совсѣмъ не имѣла въ виду давать пищи твоему остроумію. Ты отлично понимаешь это.

— Но я еще лучше понимаю, что если-бъ она пожелала видѣть во мнѣ танцмейстера, то это было бы много полезнѣе. Я отплясывалъ бы, но, по крайней мѣрѣ, вреда никому бы не дѣлалъ. А впрочемъ, дѣло не въ томъ: я не буду ни танцмейстеромъ, ни адвокатомъ, ни прокуроромъ— это я ужъ рѣшилъ. Я буду медикомъ; но для того, чтобъ сдѣлаться имъ, мнѣ нужно пять лѣтъ учиться и въ теченіе этого времени имѣть хоть какія-нибудь средства, чтобъ существовать. Вотъ по этому-то поводу я и пришелъ съ вами переговорить.

— А мать знаетъ о твоемъ намѣреніи оставить школу?

— Знаетъ.

— Что же она пишетъ?

— А вотъ прочтите.

Онъ вынулъ изъ кармана и подалъ мнѣ письмо, въ которомъ я прочиталъ слѣдующее:

«Любезный сынъ Коронатъ! Намѣреніе твое оставить юридическую часть и пойти по медицинской весьма меня удивило. Причину столь внезапнаго твоего предпочтенія, впрочемъ, очень хорошо понимаю: ты и прежде сего былъ непочтительнымъ сыномъ, и впредь таковымъ быть намѣренъ. Ежели такъ, то пусть будетъ воля Божія! Хотя нынче и въ модѣ родителей не почитать, но я такой моды

не признаю, и правила мои на этотъ счетъ очень тверды. Я всегда была христіанкой и матерью, и всегда буду. Слѣдовательно, ежели ты упорствуешь въ непочтительности, то и я въ своихъ правилахъ остаюсь непреклонною. И согласія моего на твою фантазію не изъявляю, а приказываю, какъ христіанка и мать: продолжай по юридической части идти, какъ тебѣ отъ меня и отъ Бога сіе предназначено. Въ противномъ же случаѣ надѣйся на себя, а на меня не пеняй. За симъ, да будетъ надъ тобой Божіе и мое благословеніе. Я же остаюсь навсегда неизмѣнно тебя любящая—

«Марія Промптова».

— Это—отвѣтъ матери на мое письмо,—объяснилъ Коронатъ, когда я окончилъ чтеніе.—Я просилъ ее давать мнѣ по триста рублей въ годъ, покуда я не окончу академическаго курса. Послѣ я обязуюсь отъ нея никакой помощи не требовать и, пожалуй, даже возвратить тѣ полторы тысячи рублей, которые она употребитъ на мое содержаніе; но до тѣхъ поръ мнѣ нужно. То-есть, коли хотите, я могу обойтись и безъ этихъ денегъ, но это можетъ повредить моимъ занятіямъ.

Онъ остановился и взглянулъ на меня; я тоже глядѣлъ на него, волнуемый смутными подозрѣніями. Я зналъ, что Коронатъ не денегъ отъ меня хочетъ: на этотъ счетъ онъ всегда былъ очень брезгливъ. Одинъ разъ только, когда онъ былъ еще въ первомъ классѣ, онъ прислалъ ко мнѣ училищнаго сторожа съ запиской: «для нѣкотораго предпріятія необходимо 60 копеекъ серебромъ, которыя и прошу вручить подателю сего; я же при первомъ удобномъ случаѣ возвращу». И возвратилъ. Но ежели ничто не угрожало моимъ капиталамъ, то явно, что существовало какое-нибудь посягательство на мое спокойствіе, что на меня возлагалась надежда, быть-можетъ сопряженная съ требованіемъ вмѣшательства. А между тѣмъ идеалъ всей моей жизни именно въ томъ и состоялъ, чтобы никогда ни во что не вмѣшиваться. Вмѣшательство! — при одномъ этомъ словѣ меня кидало въ дрожь! Поди, разговаривай, выслушивай тупоумныя возраженія, старайся опровергнуть мысли, въ которыхъ даже ухватиться не за что, — сколько тутъ пошлаго празднословія, мелочныхъ уколовъ, дрязгъ, утомительной суетни! А я ужъ и старъ, и усталъ. Состарѣлся — самъ не знаю какъ; усталъ — самъ не знаю отъ

чего. Ахъ, лучше бы, во-сто-кратъ лучше бы, если бы онъ у меня денегъ попросилъ, — право, я съ удовольствіемъ пятьдесятъ рублей, сто рублей отдалъ бы! Деньги — это, во-первыхъ, не сопряжено ни съ какими личными хлопотами: вынулъ изъ кармана, отсчиталъ—и пошелъ себѣ по Невскому щеголять; а во-вторыхъ — это жертва, которую всякій оцѣнить и сосчитать въ состояніи. Давши деньги, можно, для облегченія сердца, кой-кому и пожаловаться. Вотъ, молъ, самому были нужны, а бѣдный родственникъ пришелъ да и утащилъ изъ-подъ носа. Такъ нѣтъ же, не нужно ему, изволите видѣть, денегъ, а поди хлопочи, переливай изъ пустого въ порожнее, бей языкомъ, разстраивай себѣ печень — и все ради того, чтобъ въ результатѣ оказался шикъ. Эхъ! сказано было: иди по юридической части — и иди! А если претитъ юридическая часть — ну, самъ и устраивайся, а другихъ не безпокой. Очень ужъ вы строги, господа, а между тѣмъ мало ли между юристами хорошихъ людей! Да и не только между юристами — даже между шпіонами бываютъ такіе, которые возвышенную душу имѣютъ. Я зналъ одного шпіона: придетъ, бывало, со службы домой, сядетъ за фортепьяно, начнетъ баллады Шопена разыгрывать, а слезы такъ и льются, такъ и льются изъ глазъ. Душа у него такъ и таетъ, сердце томительно надрывается, всемогущая міровая скорбь охватываетъ все существо, а уста безсознательно шепчутъ: «подлецъ я! великій, неисправимый подлецъ!» И что-жъ, пройдетъ какой-нибудь часъ или два—смотришь, онъ и опять при исполненіи обязанностей! Быстръ, находчивъ, бодръ, при случаѣ глубокомысленъ, при случаѣ сострадателенъ, при случаѣ шутливъ. А потомъ—и опять Шопенъ, и опять слезы, томительныя, сладкія слезы...

— Слѣдовательно,—продолжалъ между тѣмъ Коронатъ:— если вы желаете мнѣ быть полезнымъ, то этого можно достигнуть слѣдующимъ образомъ: вы съѣздите въ Березники и убѣдите мать, чтобъ она не глупила. Я желаю, чтобъ вы меня поняли, почтеннѣйшій дядюшка; я знаю, что вамъ мое предложеніе не можетъ нравиться, но такъ какъ тутъ дѣло идетъ о томъ, чтобъ вырвать человѣка изъ омута и дать ему возможность остаться честнымъ, то полагаю, что можно и побезпокоить себя. Вы скажите матери, что я не больше пяти лѣтъ буду ей въ тягость, и что, по выходѣ изъ академіи, не только не обращусь къ ней за помощью, *но, пожалуй,* даже возвращу всѣ ея траты на меня.

Я разинулъ-было ротъ, чтобъ вставить и мое слово въ этотъ односторонній разговоръ, но онъ не далъ мнѣ.

— Вы поймите мое положеніе,—сказалъ онъ:—я и мать—мы смотримъ въ разныя стороны; впрочемъ, объ ней даже нельзя сказать, смотритъ ли она куда-нибудь. А между тѣмъ все мое будущее отъ нея зависитъ. Ничего я покуда для себя не могу. Не могу, не могу, не могу... Отъ одной этой мысли можно голову себѣ раздробить. Только нѣтъ, я своей головы не раздроблю... во всякомъ случаѣ! Прощайте. Надѣюсь, что я васъ не стѣснилъ.

Высказавши это, онъ всталъ, пожалъ мою руку и вышелъ изъ комнаты, прежде нежели я могъ очнуться отъ изумленія и что-нибудь возразить.

Не знаю, какъ это случилось, но черезъ недѣлю я былъ уже въ дорогѣ, а еще черезъ два дня — въ томъ самомъ Чемезовѣ, съ которымъ я уже столько разъ знакомилъ читателя.

Я остановился у Лукьяныча, который жилъ теперь въ своемъ домѣ, на краю села, при самомъ трактѣ, на собственномъ участкѣ земли, выговоренномъ при окончательной раздѣлкѣ съ крестьянами. До сихъ поръ я зналъ Лукьяныча исключительно какъ слугу. Пріѣзжая въ Чемезово лишь изрѣдка и притомъ на самое короткое время, я останавливался въ старомъ господскомъ домѣ, куда являлся ко мнѣ и Лукьянычъ. Откуда онъ являлся, какое было его внѣслужебное положеніе, могъ ли онъ обладать какою-либо иною физіономіей, кромѣ той, которую носилъ въ качествѣ старосты, радѣлъ ли онъ гдѣ-нибудь самостоятельно, за *свой* счетъ, въ *своемъ* углу, за *своимъ* горшкомъ щей, подъ *своими* образами, или же, строго придерживаясь идеала «слуги», только о томъ и сохнулъ, какъ бы барское добро соблюсти,—мнѣ какъ-то никогда не приходило въ голову поинтересоваться этимъ. Я зналъ смутно, что хотя онъ, въ моемъ присутствіи, ютился гдѣ-то въ подвальномъ этажѣ барскаго дома, но что у него все-таки есть на селѣ домъ, жена и семья; что два сына его постоянно живутъ въ Москвѣ по фруктовой части, и что при немъ находятся только внучата да бабы, жены сыновей, при помощи которыхъ и справляется его хозяйство. Теперь я увидѣлъ его полнымъ хозяиномъ и самостоятельнымъ устроителемъ собственнаго муравейника, каждый членъ котораго, по мѣрѣ силъ, трудился на пользу общую. Онъ купилъ у крестьянъ на сносъ всю барскую стройку, половину продалъ, а изъ

другой выбралъ матеріалъ покрѣпче и выстроилъ себѣ просторную избу. Въ одной половинѣ жилъ самъ съ семьей, а въ другую пускалъ проѣзжихъ извозчиковъ—благо трактъ былъ довольно оживленный.

Постарѣлъ онъ за эти восемь лѣтъ достаточно, но все еще былъ крѣпокъ, вполнѣ сохранилъ зрѣніе и память и только на ноги жаловался, что къ погодѣ мозжатъ.

— Это я ихъ, должно-быть, въ тѣ-поры простудилъ, какъ въ первый холерный годъ рекрутовъ въ губернію сдавать ѣздилъ,—разсказывалъ онъ.—Схватили ихъ тогда наускори, сейчасъ же въ кандалы нарядили — и айда въ дорогу! Я-было за сапожишками домой побѣжалъ, а маменька ваша, царство небесное, увидѣла въ окошко да и поманила: «это, молъ, что еще за щеголь выискался — и въ валенкахъ будешь хорошъ!» Анъ тутъ, какъ на грѣхъ, оттепель да слякоть пошла — ну, и схватилъ, должно полагать.

Принялъ онъ меня добродушно, почти съ радостью, но когда показывалъ свой домъ, то какъ будто сконфузился. Вѣроятно, думалъ: «увидитъ баринъ, какую Лукьянычъ махину соорудилъ, скажетъ: эге! стало-быть, хорошо старостой-то служить!» Представилъ мнѣ всю семью, отъ старшаго сына, котораго незадолго передъ тѣмъ изъ Москвы выписалъ, до мелконькаго-мелконькаго внучка Ѳомушки, ползавшаго на полу на карачкахъ. Полюбопытствовалъ я на старое пепелище сходить — сводилъ и туда. На мѣстѣ господскаго дома стояли бугры и глубокія ямы, наполненныя осколками кирпича и штукатурки; поверхъ мусора густою стѣной разрослась крапива, а по мѣстамъ пробивались молодыя березки. Но стараго сада покуда еще не тронули; попрежнему былъ онъ полонъ прохлады и сумерекъ; попрежнему старыя дуплистыя липы и березы задумчиво помавали въ вышинѣ всклокоченными вершинами; попрежнему волною неслись отовсюду запахи и прозрачною душистою массою стояли въ воздухѣ.

— Ишь парки-то!—молвилъ Лукьянычъ, когда я, охваченный волнами прошлаго, невольно остановился посреди одной изъ аллей.—Деруновъ мужичкамъ тысячу рублей сулилъ, чтобъ на дрова срубить, однако мужички согласія не дали. Развѣ что послѣ будетъ, а покуда у насъ здѣсь дѣвки по воскресеньямъ хороводы водятъ... гулянье! Такъ и въ приговорѣ написали.

Поговоривши о дѣлахъ, потревоживши старину, спросилъ

я Лукьяныча и о Промитовыхъ; но, къ величайшей неожиданности, вѣсти были очень неутѣшительныя.

— Совсѣмъ нынче Марья Петровна Бога забыла, — сказалъ мнѣ Лукьянычъ: — прежде хоть землей торговала, все не такъ было зазорно, а нынче ужъ кабаками торговать начала. Восемь кабаковъ на округѣ подъ чужими именами держитъ; а сколько ова черезъ это крестьянамъ обиды дѣлаетъ — кажется, никакими слезами ей того не замолить!

— Да вѣдь крестьяне — не маленькіе, голуочикъ. Неужто-жъ стòитъ только кабакъ поставить, чтобы вся деревня такъ и разорилась до тла! Не ходи въ кабакъ, не пей!

— Это чтò и говорить! Чего лучше, коли совсѣмъ не пить! Только вѣдь мужику время провести хочется. Книжекъ мы не читаемъ, мѣстовъ такихъ, гдѣ бы безъ вина посидѣть можно, у насъ нѣтъ,—оттого и идутъ въ кабакъ. А попалъ туда разъ — и въ другой придешь. Дòма-то у мужика стѣны голыя, а у другого и печка-то къ вечеру выстыла, а въ кабакъ онъ придетъ — тамъ и свѣтло, и тепло, и людно, и хозяинъ ласковый—таково весело косушечками постукиваетъ. Ну, и выходитъ, что хоть мы и не маленькіе, а въ нашемъ сословіи одно что-нибудь: либо въ кабакъ иди, либо, ежели себя соблюсти хочешь, запрись дома, да и сиди въ четырехъ стѣнахъ, словно чумнòй.

— Помнится, старостой-то ты не такъ говорилъ?

— Начальникомъ былъ, усердіе имѣлъ—ну, и говорилъ другое. Оброки сбиралъ: къ одному придешь—денегъ нѣтъ, къ другому придешь—хоть шаромъ на дворѣ покати! А баринъ съ теплыхъ водъ пишетъ: вынь да положь! Ходишь-ходишь—и скажешь грѣхомъ: ахъ, волкъ васъ задави, своего барина, мерзавцы, на кабакъ промѣняли! Ну, а теперь самъ мужикомъ сдѣлался.

— Да вѣдь ты самъ-то не пьешь?

— Отъ роду не пивалъ. Такъ вѣдь я не то чтобы за грѣхъ почиталъ, а настращанъ ужъ очень: мужикъ, молъ, ты, а коли мужикъ пить началъ — такъ тутъ ему и капутъ. Ну, и боишься. А отчего же въ другихъ сословіяхъ бываетъ, что и пьютъ, а себя все-таки помнятъ? И Степанъ у меня покуда въ кабакъ никогда ноги не ставилъ, только вотъ чтò, я вамъ скажу: выписалъ я его изъ Москвы, а теперь вижу, что ему скучненько у насъ. День-то еще нештò, словно бы и дѣло дѣлаешь: въ анбаръ захо-

нешь, за ворота выйдешь, на дорогу поглядишь, а вечеръ наступитъ — и пошелъ сонъ долить. Ты зѣвнулъ, за тобой другой, третій зѣвнулъ — смотришь, анъ и вся семья зазѣвала.

— А какъ Машенька съ новымъ мужемъ живетъ? Согласно?

— Да не слыхать ништo. Видится, какъ будто она въ домѣ-то головой. Онъ все предсѣдателемъ въ управѣ состоитъ, больше въ городѣ живетъ, а она здѣсь распоряжается. Нынче, впрочемъ, у нихъ не очень здорово. Несчастья пошли. Сначала-то сынъ старшенькій изобидѣлъ...

— Какъ такъ?

— Долговъ, слышь, надѣлалъ. Какой-то мадамѣ двѣ тысячи задолжалъ да фруктовщику тысячу. Ужъ пріятель какой-то покойнаго Саввы Силыча изъ Петербурга написалъ: скорѣе деньги присылайте, не то изъ заведенія выключатъ. Марья-то Петровна три дня словно безумная ходила, все шептала: «три тысячи! три тысячи! три тысячи!» Она трехъ-то тысячъ здѣсь въ годъ не проживетъ, а онъ, поди, въ одну минуту эти три тысячи матери въ шею наколотилъ!

— Чѣмъ же они рѣшили?

— Было тутъ всего. И молебны служили, и къ покойному Саввѣ Силычу на могилку ѣздили. Филоѳей-то Павлычъ все просилъ, чтобъ она его прокляла, однако она не согласилась: любимчикъ! Думала-думала и кончила тѣмъ, что у Дерунова выкупное свидѣтельство размѣняла, да и выслала денежки на уплату мадамѣ.

— Ну, а еще что у нихъ случилось?

— А потомъ вскорѣ дочка съ судебнымъ слѣдователемъ сбѣжала—тоже любимочка была. И тутъ дымъ коромысломъ у нихъ пошелъ; хотѣла-было Марья Петровна и къ губернатору-то на судъ ѣхать, и прошеніе подавать, да ночью ей, слышь, видѣніе было: Савва Силычъ, сказываютъ, явился, простить приказалъ. Ну, простила, теперь другъ къ дружкѣ въ гости ѣздятъ.

— Такъ что теперь Машенька одна съ мужемъ живетъ?

— Одна, и мужъ-то почти никогда дома не бываетъ. Еще больше въ кабаки ударилась: усчитываетъ да усчитываетъ своихъ повѣренныхъ. Непонятлива ужъ очень: то копейки не найдетъ, то цѣлаго рубля не видитъ. Изъ-за самыхъ пустяковъ по цѣлымъ часамъ человѣка тиранитъ.

На другой день, утромъ рано, я отправился въ Берез-

ники. Изъ полученныхъ свѣдѣній я не могъ вывести никакого заключенія относительно будущности, ожидающей предпринятое мною дѣло, и потому старался припомнить себѣ нравственный образъ кузины Машеньки. Но ничего яснаго, отчетливаго составить себѣ не могъ. Что-то недодѣланное, обрывочное, въ высшей степени противорѣчивое мелькало у меня передъ глазами. Женщина съ ребяческими мыслями въ головѣ и съ пошло-старческими словами на языкѣ; женщина, пораженная недугомъ институтской мечтательности и вмѣстѣ съ тѣмъ по уши потонувшая въ мелочахъ самой скаредной обыденной жизни; женщина, снѣдаемая неутолимою жаждой пріобрѣтенія и въ то же время считающая не иначе какъ по пальцамъ; женщина, у которой съ первымъ ударомъ колокола къ «Достойной» выступаютъ на глазахъ слезки и кончикъ носа неизмѣнно краснѣетъ, и которая, во время проскомидіи, считаетъ вполнѣ дозволеннымъ думать: «а что, кабы у крестьянъ пустошь Клинцы перебить, да потомъ имъ же перепродать?...» Зачѣмъ, ну, зачѣмъ я пріѣхалъ?!

Признаюсь откровенно: давно я не чувствовалъ себя такъ непріятно, какъ въ ту минуту, когда Березники, залитые въ лучахъ іюльскаго солнца, открылись передъ моими глазами.

Березники смотрѣли такъ же солидно и запасливо, какъ и въ послѣднее мое посѣщеніе. Но ни около службъ, ни около дома никого не было видно: по случаю рабочей поры всякій былъ около своего дѣла. На крыльцѣ меня встрѣтила лохматая и босая дѣвчонка въ затрапезномъ платьѣ (Машенька особенно старалась сохранить за своею усадьбой характеръ крѣпостного права и потому держала на своихъ хлѣбахъ почти весь женскій штатъ прежней барской прислуги) и торопливо объявила, что Филоѳей Павлычъ въ городъ уѣхали, а Марья Петровна въ поле ушли. Впрочемъ, она тутъ же опрометью бросилась черезъ дворъ, вѣроятно, за барыней, такъ что я уже собственною властью вошелъ сначала въ переднюю, а потомъ и въ комнаты. Въ залѣ было жарко и душно, какъ на полкѣ въ банѣ; на полу, на разостланномъ холстѣ, сушился розовый листъ и липовый цвѣтъ; на окнахъ, на самомъ солнечномъ припекѣ, стояли бутылки, до горлышка набитыя ягодами и налитыя какою-то жидкостью; мухи миріадами кружились въ лучахъ солнца и какъ-то неистово гудѣли около потолка; гдѣ-то

въ окнѣ бился слѣпень; вдали, въ перспективѣ, виднѣлась остановившаяся кошка съ птицей въ зубахъ. Въ гостиной было прохладнѣе, благодаря отворенной двери на балконъ, защищенный навѣсомъ. Тутъ я и остался въ ожиданіи хозяйки.

Минуты ожиданія длились довольно томительно. Сначала гдѣ-то вдали хлопнула дверь—и все смолкло. Потомъ кто-то стремглавъ пробѣжалъ по коридору — и опять воцарилось безмолвіе минутъ на десять. Наконецъ, вдругъ всѣ двери точно сорвались съ петель, словно волна какая-то шла; началось всеобщее хлопанье и угорѣлая бѣготня; послышались голоса, то громкіе, то осторожные, отдававшіе различныя приказанія.

— Галантиръ изъ телячьей головки приготовить не забудь!—раздавалось гдѣ-то.

— Яицъ-то, яицъ на пирожное повару выдайте! — кричалъ кому-то вдогонку чей-то голосъ.

Машенька измѣнилась необыкновенно. Эта маленькая головка, эти мелкія черты лица, эта миніатюрная фигурка съ легкимъ, почти воздушнымъ станомъ,—все это сморщилось, съёжилось, свернулось въ комочекъ. Глаза ввалились и, вмѣсто прежней грусти ни о чемъ, выражали простую тусклость; кожа на щекахъ и на лбу отливала желтизною; носъ вытянулся, губы выцвѣли, подбородокъ заострился; въ темныхъ волосахъ прокрадывались серебристыя змѣйки. Взамѣнъ того корпусъ отяжелѣлъ и обнаруживалъ явную наклонность сдѣлаться совсѣмъ шарообразнымъ. Увидѣвши меня, она сначала какъ бы удивилась, но сейчасъ же оправилась и протянула мнѣ обѣ руки.

— Ахъ, мой родной! Кто бы могъ думать!—восклицала она, обнимая меня.—Вѣдь эта глупая Анютка сказала, что новый становой пріѣхалъ—ну, я и не тороплюсь! А это—вотъ кто! Вотъ неожиданность-то! вотъ радость! И Филоѳей Павлычъ... вотъ удивится-то! вотъ-то будетъ радъ!

— Мнѣ сказали, что онъ въ городѣ...

— Будетъ, мой другъ, къ обѣду, непремѣнно будетъ. И Нонночка съ мужемъ—всѣ вмѣстѣ пріѣдутъ. Чай, ты ужъ слышалъ: вѣдь я дочку-то замужъ выдала! А какой человѣкъ... преотличнѣйшій! Въ слѣдователяхъ служитъ у насъ въ уѣздѣ, на-дняхъ цѣлую шайку подмѣтчиковъ изловилъ! Вотъ радость-то будетъ! Ахъ ты родной мой, родной!

Какъ ни порывисты были эти восклицанія радости, но на меня уже они не производили прежняго дѣйствія. Мнѣ

слышалась въ нихъ только дань тѣмъ традиціямъ родственности, которыя предписываютъ во что бы то ни стало встрѣчать «добраго родного» шумными изъявленіями радостнаго празднословія. Это—такой же безсодержательный обычай, такое же лганье, какъ и причитаніе по покойникѣ. И прежде, вѣроятно, она лгала, и теперь лжетъ. Только прежде у нея полненькія щечки были — выходило мило, а теперь щечки съёжились — выходитъ противно. Очень возможно, что она и сама не сознаетъ своего лганья, но я увѣренъ, что если-бъ она въ эту минуту порылась въ тайникахъ своей души, то нашла бы тамъ не родственное ликованіе, а очень простую и совершенно естественную мысль: вотъ, молъ, принесла нелегкая «гостя»... въ рабочую пору!

Тѣмъ не менѣе она усадила меня на диванъ передъ неизбѣжнымъ овальнымъ столомъ, по бокамъ котораго, по преданію всѣхъ старинныхъ помѣщичьихъ домовъ, были симметрически поставлены кресла; усадивши, обезпокоилась, достаточно ли покойно мнѣ сидѣть, подложила мнѣ подъ руку подушку и даже выдвинула изъ-подъ дивана скамейку и заставила меня положить на нее ноги.

— За дѣломъ, что ли, за какимъ пріѣхалъ, или такъ?— спросила она меня, когда кончились первыя изліянія, въ которыхъ главную роль играли пожиманія рукъ, оглядыванія и восклицанія: «ахъ, какъ постарѣлъ!» или: «ахъ, какъ посѣдѣлъ!» за которыми, впрочемъ, сейчасъ же слѣдовало: «что-жъ я, однако-жъ: совсѣмъ не постарѣлъ: какой былъ, такой и остался... Даже удивительно!»

— Нѣтъ, не за дѣломъ,—отвѣтилъ я:—а именно «такъ».

— Ну, и слава Богу! На старинное пепелище посмотришь, могилкамъ поклонишься, роднымъ воздухомъ подышишь—все-таки освѣжишься! Чай, у Лукьяныча во дворцѣ остановился? Да, дворецъ онъ себѣ нынче выстроилъ! Тѣсно въ избѣ показалось, помѣщикомъ жить захотѣлъ... Ахъ, мой другъ!

Это было высказано не безъ ехидства, но не потому, чтобы она питала къ Лукьянычу какое-нибудь зло, а просто «такъ». Какъ, молъ, это мужикъ себѣ «дворецъ» выстроилъ—чтой-то ужъ больно чудно!

Начались разспросы, хорошо ли живется, здоровье паче всего въ исправности ли, продолжаю ли я по сатирической части писать и т. д.

— А я, мой другъ, такъ-таки и не читала ничего твоего. Показывалъ мнѣ прошлою зимой Филоѳей Павлычъ въ вѣ-

домостяхъ объявленіе, что книга твоя продается, — ну, и сбиралась все выписать, даже деньги отложила. А потомъ, за тѣмъ да за сѣмъ — и пошло дѣло въ длинный ящикъ! Ужъ извини, Христа ради, сама знаю, что не по-родственному это, да ужъ...

— Помилуй, при чемъ же тутъ родство? Времени у тебя, вѣроятно, нѣтъ—вотъ и все.

— Ахъ, времени-то нѣтъ—это такъ; это ты правду сказалъ. Такъ мало, такъ мало у меня времени, что если бы, кажется, сорокъ восемь часовъ въ суткахъ было, и тѣхъ бы недостало, чтобы всѣ дѣла передѣлать. А впрочемъ, ты не думай, чтобы я совсѣмъ не интересовалась тобой. Всякій разъ, какъ дѣтямъ пишу, всегда о тебѣ спрашиваю. Ну, Коронатъ — тотъ молчитъ, а Ѳеогностушка частенько-таки о тебѣ увѣдомляетъ. Ахъ, какъ ты, однако-жъ, постарѣлъ, и въ особенности посѣдѣлъ! Такъ посѣдѣлъ! такъ посѣдѣлъ! Постой-ка, я поближе на тебя посмотрю... А что-жъ, впрочемъ... нѣтъ! какой въ послѣдній разъ пріѣзжалъ, такимъ и теперь остался! Право-ну, ни на волосъ не перемѣнился!

— Да что же ты все обо мнѣ; ты лучше о себѣ разскажи! — откликнулся я, когда она ужъ достаточно повертѣла меня во всѣ стороны.

— Что же я могу тебѣ о себѣ сказать! Моя жизнь — все равно, что озеро въ лѣсу: ни зыби, ни ряби, тихо, уединенно, безшумно, только небо сверху смотрится. Конечно, нельзя, чтобъ совсѣмъ безъ заботъ. Хоть и въ забытомъ углу живемъ, а все-таки приходится и о себѣ, и о другихъ хлопотать.

— И ты счастлива?

Я очень хорошо замѣтилъ, что при этомъ вопросѣ ея носъ слегка вздрогнулъ; но, повидимому, она сейчасъ же вспомнила, что, по кодексу родственныхъ приличій, никогда не слѣдуетъ упускать случая для лганья,—и поправилась.

— Откровенно тебѣ скажу: очень я, мой другъ, счастлива!—лгала она.—Такъ счастлива, такъ счастлива, что и не знаю, какъ Бога благодарить! Вотъ хоть бы Нонночка—никогда я худого слова отъ нея не слыхала! Опять и мужъ у нея... такъ ласковъ, такъ ласковъ!

Сказавши это, она быстро кинула на меня испытующій взглядъ, не слыхалъ ли, молъ, чего, но, должно-быть, ничего не прочитала на моемъ лицѣ и успокоилась.

— Вотъ и Ѳеогностушка тоже — такъ меня радуетъ! —

продолжала она лгать.—Ни грубаго слова, ни претензіи—никогда! Ласковый мальчикъ, откровенный! А ежели иногда, по молодости лѣтъ, и впадетъ въ ошибку (она бросила на меня новый испытующій взглядъ),—ну, сейчасъ же и поправится: виноватъ, маменька! И обезоружитъ. Ахъ, мой другъ, великая это милость Божія, коли дѣти родителей почитаютъ! Почтеніемъ да ласкою — только вѣдь этимъ и держится свѣтъ! Ежели дѣти родителей почитаютъ, то и родители, съ своей стороны... Вотъ Коронатъ — ну, про этого... А впрочемъ, грѣхъ мнѣ роптать, другъ мой. Всѣмъ Господь свой крестъ посылаетъ, ну, и мнѣ, стало-быть...

Она задумалась и сомнительно покачала головой.

— Что-жъ, и Коронатъ, кажется, хорошій молодой человѣкъ!—счелъ долгомъ вступиться я.

— Какъ бы тебѣ сказать, голубчикъ! Для другихъ, можетъ-быть, и хорошъ, а для меня... Не знаю, не вижу я отъ него ласки! Не вижу!

— Тебѣ бы все ласки! А ты пойми, что у людей разные темпераменты бываютъ. Одинъ любитъ приласкаться, маменькину ручку поцѣловать, а другому это просто въ голову не приходитъ. Коронатъ скроменъ, учится хорошо, жалобъ на него нѣтъ: мнѣ кажется, что больше ты и требовать отъ него не въ правѣ.

— Ну, а мнѣ ужъ позволь *свое* мнѣніе объ этомъ имѣть.

— Имѣй сколько угодно, но только не забудь: если ты будешь избѣгать повѣрки этого «*мнѣнія*», какъ теперь, напримѣръ, то скоро изъ мнѣнія у тебя вырастетъ *предубѣжденіе*...

— Нѣтъ ужъ... Хоть ты и родной мнѣ, и я привыкла мнѣнія родныхъ уважать... Впрочемъ, это—ужъ не первый у насъ разговоръ: ты всегда защитникомъ Короната былъ. Помнишь, въ послѣдній твой пріѣздъ? Я его безъ пирожнаго оставить хотѣла, а ты выпросилъ!

— Помню, помню; ты и тогда ужъ Короната въ категорію «непочтительныхъ» записала!

Я взглянулъ на нее: лицо ея глядѣло совершенно спокойно; но что-то не то чтобы злое, а глупо-непоколебимое сквозило сквозь это спокойствіе. Какъ будто бы она говорила: какъ ты тамъ ни ораторствуй, а у меня «свои правила» есть. Это бываетъ особенно съ женщинами, ибо онѣ вообще какъ-то охотнѣе, нежели мужчины, составляютъ себѣ «правила». Иная во всю свою молодость только и слышала: «ахъ, миленькая! какъ къ ней это платьице

идетъ!» —смотришь, анъ она изъ этого какія-то «правила» вывела! Потомъ выйдетъ замужъ, сначала попадетъ въ школу прописей подъ начальствомъ какого-нибудь Саввы Силыча, затѣмъ перейдетъ въ другую школу прописей подъ фирмою Филоѳея Павлыча—смотришь, и опять у нея «правила». И такъ она за эти «правила» держится, что, словно львица разъяренная, готова всякому горло зубами перервать и кровь выпить, кто къ нимъ безъ сноровки подойдетъ!

Главное свойство этихъ «правилъ» — отсутствіе всякихъ правилъ и полная невозможность отдѣлить отъ шелухи ту руководящую мысль, которая послужила для нихъ основаніемъ. Это — какая-то неуловимая путаница, въ которой ни за что ухватиться нельзя, но потому-то именно она и обладаетъ своего рода неприступностью. Заберется «миленькая» въ эту своеобразную крѣпость, и никакъ ее оттуда не вытащишь. И на убѣжденія, и даже на прямыя опроверженія жизни — на все будетъ говорить: у меня свои «правила» есть. Единственное средство пролѣзть въ эту крѣпость — это начать *уговаривать* «миленькую», то-есть взять ее за руки, посадить поближе къ себѣ и гладить по спинкѣ, какъ лошадку съ норовомъ: тпру, милая, тпру! но-но-но-но! Оглаживаешь-оглаживаешь — и видишь, какъ постепенно начинаютъ «правила» таять. Таютъ-таютъ — и вдругъ образуются новыя «правила», иногда тѣ самыя, какихъ нужно, а иногда и другія, совсѣмъ неожиданныя...

Лѣтъ восемь тому назадъ я непремѣнно употребилъ бы это средство въ отношеніи къ Машенькѣ; но теперь, въ виду измѣненій, которыя произошли въ ея внѣшности, оно показалось мнѣ нѣсколько рискованнымъ. Во всякомъ случаѣ, я рѣшился прибѣгнуть къ нему лишь въ крайности.

— А я... много я перемѣнилась, братецъ?—спросила она меня, словно угадывая часть моихъ мыслей.

— Нѣтъ... ничего! Какъ была восемь лѣтъ тому назадъ, такъ и теперь... Ничего!—солгалъ я «по-родственному».

— Ну, ужъ, чай, гдѣ ничего! Состарѣлась я, голубчикъ, вотъ только духомъ еще бодра, а тѣло... А впрочемъ, и то сказать! О красотѣ ли въ моемъ положеніи думать! (Она вздохнула). Живу здѣсь въ углу, никого не вижу. Прежде хоть Нонночка была, для нея одѣвалась, а теперь и одѣваться не для кого.

— Ты бы въ Петербургъ на зиму пріѣхала; на дѣтей бы посмотрѣла.

— И, что ты! въ Петербургъ! Я и отъ людей-то отвыкла. Право. Мѣсяца съ два тому назадъ вице-губернаторъ нашъ уѣздъ ревизовалъ, такъ Филоѳей Павлычъ его обѣдать сюда пригласилъ. Что-жъ бы ты думалъ? Спрашиваетъ онъ меня за обѣдомъ... ну, однимъ словомъ, разговариваетъ, а я, какъ солдатъ, вскочила это изъ-за стола: «точно такъ, ваше превосходительство!...» Совсѣмъ-таки свѣтское обращеніе потеряла.

— Поживешь мѣсяцъ-другой въ Петербургѣ—опять привыкнешь.

— Поздно, другъ мой; въ Покровъ мнѣ ужъ сорокъ три будетъ. Я вотъ въ шесть часовъ вставать привыкла, а у васъ, въ Петербургѣ, и извозчики раньше девяти не выѣзжаютъ. Что-жъ я съ своею привычкой-то дѣлать буду? Сидѣть да глазами хлопать! Нѣтъ ужъ, надо и здѣсь кому-нибудь хлопотать: дѣти вѣдь у меня. Ахъ, дѣтки, дѣтки!

— Что-жъ «дѣтки»! Дѣтки и безъ тебя дорогу найдутъ, нечего ужъ очень-то убиваться о нихъ. Вотъ, напримѣръ, Коронатъ: ну, могу тебя увѣрить, что онъ...

— Ахъ, братецъ, ты все объ немъ!

— Отчего же и не говорить объ «немъ»? Скажи на милость, развѣ онъ чѣмъ-нибудь тебя огорчилъ, что ты какъ будто имъ недовольна?

— Нѣтъ, ничего... Заварилась-было у насъ каша надняхъ, ну, да вѣдь я...

— А что именно?

— Нѣтъ, такъ... Я ужъ ему отвѣтила. Умнѣе матери хочетъ быть... Однако это еще бабушка на-двое сказала... да! А впрочемъ, и я хороша: тебя прошу не говорить объ немъ, а сама твержу: Коронатъ да Коронатъ! Будемъ-ка лучше о себѣ говорить. Вотъ я сперва закуску велю подать, а потомъ и поговоримъ, да и наши, того гляди, подъѣдутъ. И препріятно денекъ вмѣстѣ проведемъ!

Подали завтракъ, сѣли, но о себѣ какъ-то не говорилось. Это довольно часто случается съ людьми, которые когда-то были близки, потомъ надолго разстались, потомъ опять свидѣлись. И вдругъ оказывается, что не только имъ не о чемъ говорить, но что они даже положительно въ тягость другъ другу. Мы хотя и не совсѣмъ были въ такомъ положеніи, но все-таки ощущали томительную неловкость. Обыкновенно въ такихъ случаяхъ прибѣгаютъ къ воспоминаніямъ, какъ къ такой нейтральной почвѣ, на которой всего легче выйти изъ затрудненія: но мнѣ какъ-то

и вспоминать не хотѣлось. Напрасно Машенька заговаривала, указывая то на липовый кругъ, то на лужайку, обсаженную березами: «помнишь, какъ мы тутъ игрывали?» Или: «помнишь, какъ въ папенькины именины покойница Каролина Ѳедоровна (это была гувернантка Маши) подъ вонъ тѣми березами группу изъ насъ устроила: меня посрединѣ съ гирляндой изъ розановъ поставила, а ты и братецъ Владиміръ Иванычъ — гдѣ онъ теперь, кажется, въ Москвѣ, въ адвокатахъ служитъ? — въ видѣ ангеловъ, въ васильковыхъ вѣнкахъ, по бокамъ стояли? Ахъ, времечко, времечко!»

Я отвѣчалъ на эти напоминанія односложными словами и съ неохотой. И разговоръ навѣрное упалъ бы совсѣмъ, если-бъ я не рѣшился вновь поворотить его на тотъ предметъ, который собственно и составлялъ цѣль моей поѣздки.

— Послушай,—сказалъ я:—я долженъ сознаться передъ тобой, что пріѣхалъ сюда собственно по желанію Короната.

При этихъ словахъ она нѣсколько поблѣднѣла, и сухая улыбка скользнула на ея губахъ.

— По желанію Короната?—повторила она.—Вотъ какъ! Стало-быть, Коронатъ въ тебѣ адвоката нашелъ!

— Да, онъ просилъ меня. Онъ желалъ, чтобъ я лично тебѣ подтвердилъ, что онъ хочетъ оставить школу и поступить въ медицинскую академію.

— Хочетъ!.. Какъ-то это для меня странно... Хочетъ! Помнишь, мы въ эти года не смѣли хотѣть, а дожидались, какъ старшіе хотятъ!

— Дѣло не въ выраженіяхъ, мой другъ, и прошу тебя, ты меня на словахъ не лови. Если тебѣ не нравится слово «хочетъ»...

— И откровенно тебѣ скажу: даже очень, очень не нравится... Такъ какъ-то пошло ужъ слишкомъ!

— Не онъ это слово сказалъ, а я, слѣдовательно ты можешь его замѣнить другимъ: «желалъ бы», «предполагалъ бы», «осмѣливался бы думать»—словомъ сказать, выразиться, какъ тебѣ самой кажется почтительнѣе. Итакъ, къ дѣлу. Онъ писалъ тебѣ о своемъ желаніи и получилъ отъ тебя двусмысленный отвѣтъ...

— Вотъ ужъ не двусмысленный! Напротивъ того, я даже слишкомъ ясно отвѣтила, что никакихъ перемѣщеній не хочу... не то что «не желаю», а именно «не хочу»! Не хочу, не хочу и не хочу!

— Но ежели *онъ* желаетъ этого? Если онъ въ этомъ перемѣщеніи видитъ для себя пользу?

— Ахъ, Боже мой! Если *онъ* желаетъ, если *онъ* для себя видитъ пользу! Что-жъ! съ Богомъ! Нечего у матери и спрашиваться... если *онъ* желаетъ!

Она улыбнулась и даже слегка подсмѣивалась; но ужъ не просто сухость, а злорадство откликнулось въ этомъ смѣхѣ. Злорадство и какое-то торжествующе-идіотское «хоть колъ на головѣ теши»!

— И прекрасно, что ты не препятствуешь: мы примемъ это къ свѣдѣнію. Но вопросъ не въ этомъ одномъ. Ему необходимо существовать въ теченіе пяти лѣтъ академическаго курса, и ежели онъ, ради насущнаго труда, долженъ будетъ удѣлять добрую часть времени постороннему труду, то это несомнѣнно повредитъ его учебнымъ занятіямъ... Ты понимаешь меня?

— Не понимаю... нѣтъ, ничего я не понимаю! Какъ это трудъ можетъ повредить занятію?!

— Очень просто... Вотъ ты своимъ хозяйствомъ занимаешься, а предположи, что необходимость заставляла бы тебя, въ то же время, уроки танцованья давать; вѣдь хозяйство твое потерпѣло бы отъ этого, не такъ ли?

— Уроки танцованья, хозяйство... воля твоя, ничего я тутъ не понимаю, мой другъ!

— Однимъ словомъ, необходимо, чтобы ты, въ теченіе пяти лѣтъ, оказывала ему помощь.

— Ну, это... статья особенная!

— То-есть, какъ же... ты отказываешь ему?

— Ничего я не «отказываю», мой другъ, а только такъ говорю: особенная статья.

— Но вѣдь ты тратишься же на него теперь? Ты даешь ему денегъ на лакомство, ты платишь за него тому господину, который беретъ его къ себѣ по праздникамъ?

— Да, покуда онъ волю родительскую чтитъ.

— Но что же ты имѣешь противъ его намѣренія?

— Ничего я не имѣю, а вообще... Что-жъ, коли хочетъ по медицинской части идти—пусть идетъ, я препятствовать не могу! Можетъ-быть, онъ и счастье себѣ тамъ найдетъ; можетъ-быть, самъ Богъ ему невидимо на эту дорогу указываетъ! Только ужъ...

— Такъ помоги ему!

— Ну, это... особенная статья.

— А почему же?

— А почему... потому...

Машенька окончательно заволновалась и долго бормотала что-то, словно не могла совладѣть съ своими мыслями. Наконецъ она, однако-жъ, кое-какъ собрала ихъ.

— Ужъ коли ты хочешь непремѣнно знать, почему,— сказала она, возвышая голосъ:—такъ вотъ почему: правила у меня есть!

— Какія же это правила?

— А такія правила, что дѣти должны почитать родителей,—вотъ какія!

— Въ чемъ же, однако, выразилась непочтительность Короната?

— И ежели родители что желаютъ, то дѣти должны повиноваться и не фантазировать!—продолжала Машенька, не слушая меня.—Да, есть такія правила! Есть! И правительству эти правила извѣстны, и всѣмъ! И никому эти правила пощады не дадутъ—не только дѣтямъ... непочтительнымъ, но и потаковщикамъ ихъ!

— Такъ ты, значитъ, и меня... по-родственному?

— Нѣтъ, я не про тебя, а вообще... А Богъ непочтительнымъ дѣтямъ потачки не даетъ! Вотъ Хамъ: что ему было за то, что отца родного осудилъ? И до сихъ поръ хамское-то племя... только недавно милость имъ дана!

— Но ежели ты такъ вѣрно знаешь, что Богъ непочтительныхъ дѣтей наказываетъ, то пусть Онъ и накажетъ Короната! Предоставь это дѣло Богу, а сама жди и не вмѣшивайся!

Слова эти окончательно раздражили ее, такъ что она почти хриплымъ голосомъ кинула мнѣ въ отвѣтъ:

— Ахъ, мой родной! Ужъ извини ты меня! Не училась вѣдь я кощунствовать-то!

— Тутъ и нѣтъ кощунства. Я хочу сказать только, что если ты вмѣшиваешь Бога въ свои дѣла, то тебѣ слѣдуетъ сидѣть смирно и дожидаться результатовъ этого вмѣшательства. Но все это, впрочемъ, къ дѣлу не относится, и, право, мы сдѣлаемъ лучше, если возвратимся къ прерванному разговору. Скажи пожалуйста, съ чего тебѣ пришла въ голову идея, что Коронатъ непремѣнно долженъ быть юристомъ?

— Стало-быть, пришла... если такъ вздумалось!

— Вотъ видишь: тебѣ «вздумалось», а Коронатъ, по твоему мнѣнію, не имѣетъ права быть даже сознательно

убѣжденнымъ! Вѣдь ему, конечно, ближе извѣстно, какая профессія для него болѣе привлекательна.

— Хороша привлекательность,.. собакъ потрошить!

— Въ этомъ ли привлекательность, или въ чемъ-нибудь другомъ—это вопросъ особый. Важно тутъ убѣжденіе, на какомъ поприщѣ можешь наибольшую сумму пользы принести.

— Однако! По-твоему, значитъ, дѣти умнѣе родителей стали! Что-жъ, по нынѣшнему времени—пожалуй!

— Оставь, сдѣлай милость, нынѣшнее время въ покоѣ. Сколько бы мы съ тобой объ немъ ни судачили—намъ его не перемѣнить. Что же касается до того, кто умнѣе и кто глупѣе, то, по мнѣнію моему, всякій «умнѣе» тамъ, гдѣ можетъ судить и дѣйствовать съ бо́льшимъ знаніемъ дѣла. Вотъ почему я полагаю, что въ настоящемъ случаѣ Коронатъ—*умнѣе*. Вѣдь правда? Вѣдь не можешь же ты не понимать, что поднятый имъ вопросъ гораздо ближе касается его, нежели тебя?

Я взглянулъ на нее въ ожиданіи отвѣта: лицо ея было словно каменное, безъ всякаго выраженія; глаза смотрѣли въ сторону; ни одинъ мускулъ не шевелился; только нога судорожно отбивала тактъ.

— Скажи же что-нибудь! Ну «да»—не правда ли, «да»?—настаивалъ я.

— Какъ христіанка и какъ мать... не могу, мой другъ!—отвѣчала она, постукивая въ тактъ ножкой съ тою неумолимо-наглою непреклонностью, которая составляетъ удѣлъ глупца, сознающаго себя силой.

Я понималъ, что мнѣ нужно замолчать; но темпераментъ требовалъ, чтобъ я сдѣлалъ еще попытку.

— Вспомни,—сказалъ я:—что ты одной минутой легкомыслія можешь испортить жизнь своего сына!

— Нѣтъ ужъ...

— Помни, что Коронатъ все-таки выполнитъ свое намѣреніе, что упорство твое, въ сущности, ничего не измѣнитъ, что оно только введетъ въ существованіе твоего сына элементъ нужды, и что это несомнѣнно раздражитъ его характеръ и отзовется на всей его дальнѣйшей жизни!

— Нѣтъ ужъ...

— Машенька! Наконецъ, не Коронатъ, а я, я, я прошу тебя измѣнить свое рѣшеніе!

— Нѣтъ ужъ...

— Слушай же ты, однако-жъ...

Я остановился во-время. Но она, должно-быть, сама замѣтила, что отвѣчала мнѣ не «по-родственному», и потому поспѣшила прибавить:

— Я хочу сказать, что правила мои не дозволяютъ...

— Чего не дозволяютъ?

— Ну... сдѣлать... или какъ это... уступить... Господи, Боже мой! Да что же это за несчастіе на меня! Я такъ всегда тебя уважала, да и ты всегда со мной «по-родственному» былъ... и вдругъ такой разговоръ! Право, хоть бы наши поскорѣе пріѣхали, а то ты меня точно въ плѣнъ взялъ!

— Такъ это—твое послѣднее слово?

— Какое же... «слово»! Никакого «слова» я не говорила... ахъ, право, какой ты! Я только объ «правилахъ» своихъ говорю, а онъ сейчасъ: «слово»!

Предметъ моей поѣздки въ нѣсколько минутъ былъ исчерпанъ сполна. Мнѣ оставалось только возвратиться въ Чемезово, но какая-то смутная надежда на Филоѳея Павлыча, на Нонночку удерживала меня. Покуда я колебался, звонъ бубенцовъ раздался на дворѣ, и вслѣдъ затѣмъ цѣлая ватага влетѣла въ переднюю.

— А вотъ и наши пріѣхали!—весело воскликнула Машенька, поднимаясь навстрѣчу пріѣзжимъ.

Филоѳей Павлычъ сдѣлался какъ-то еще крупнѣе прежняго: повидимому, земскіе хлѣба̀ пошли ему въ прокъ. Но граціи отъ этого въ немъ не убавилось, той своеобразно-семинарской граціи, которая выражалась въ томъ, что онъ, во время разговора, въ знакъ сочувствія, поматывалъ направо и налѣво головой, устраивалъ ротъ сердечкомъ, когда хотѣлъ что-нибудь сказать пріятное, и приближался къ лицамъ женскаго пола не иначе, какъ бочкомъ и сѣменя ножками. Фистула попрежнему красовалась подъ лѣвою его скулой и точно такъ же была залѣплена чернымъ тафтянымъ кружкомъ; на лбу возвышался кокъ, и виски были зачесаны по направленію глазъ, словно приклеены. Онъ молодился, одѣтъ былъ въ щеголеватый свѣтло-сѣрый костюмъ и относился къ женѣ съ предупредительностью маркиза съ подмостковъ Александринскаго театра. Вообще онъ былъ игривъ и игралъ въ домѣ роль не деспота, а скорѣе избалованнаго молодого человѣка.

Нонночка нимало не походила на мать. Это была рыхлая и вальяжная молодая особа съ очень круглыми чертами

лица, съ чувственнымъ выраженіемъ въ большихъ сѣрыхъ глазахъ на выкатѣ, съ узенькимъ придавленнымъ лбомъ, какъ у негритянки, съ толстымъ носомъ, пухлыми губами, высокою грудью и роскошною косой. Наружный типъ Саввы Силыча воплотился въ ней вполнѣ; но такъ какъ воспитаніе было дано ей «нѣжное», то-есть глупое, то внутренній типъ выработался свой, не похожій ни на отца, ни на мать. По всѣмъ признакамъ, это была личность лѣнивая, праздная и чувственная, которую могли занимать только сплетни, ѣда и супружескія ласки. Къ близкимъ она относилась капризно, къ мужу—какъ-то пошло-любовно. Безпрестанно присасывала она къ его губамъ свои пухлыя губы (у Машеньки всегда въ этихъ случаяхъ даже бѣлки глазъ краснѣли), и лицо ея при этомъ принимало то плотоядно-страдальческое выраженіе, которое можно подмѣтить только у очень чувственныхъ женщинъ. Ни чтеніе, ни такъ-называемые talents de société, ни даже наряды—ничто не занимало ее. Одѣта она была слишкомъ неряшливо для «молодой», и я безъ труда счелъ нѣсколько пятенъ на ея платьѣ, которое вообще черезчуръ ужъ широко сидѣло на ней.

Мужъ ея, Павелъ Ѳедоровичъ Добрецовъ, одинъ изъ птенцовъ той школы, которая снабжаетъ всю Россію героями судоговоренія,—молодой человѣкъ, небольшого роста, очень проворный, ходкій и съ чрезвычайными претензіями на дѣловитость и проницательность. Едва три года, какъ онъ кончилъ курсъ,—и уже уловлялъ вселенную въ качествѣ судебнаго слѣдователя. Маленькіе глаза его какъ-то пытливо перебѣгали съ одного предмета на другой, какъ будто хотѣли отыскать поличное; но я не думаю, чтобъ это было въ немъ прирожденное ехидство, а скорѣе результатъ похвалъ и начальственныхъ поощреній. Очень часто молодые люди сначала только роль играютъ, а потомъ втягиваются и получаютъ дурныя привычки. На меня подобные люди, всегда что-то высматривающіе, поднюхивающіе и къ чему-то прислушивающіеся, производятъ непріятное впечатлѣніе. Все кажется, будто вотъ-вотъ у меня сейчасъ кошелекъ изъ кармана исчезнетъ. Конечно, я первый очень хорошо понимаю, что подозрѣніе мое неосновательное, но переломить невольнаго чувства все-таки не могу. Не кошелекъ, такъ другое что-нибудь,—а непремѣнно онъ у меня вытянетъ, думается мнѣ. Можетъ-быть, онъ въ душѣ моей покопаться хочетъ, что-нибудь оттудова унести, ра-

иллюстраціи въ искренней бесѣдѣ съ начальствомъ... Много, ахъ, много нынче такихъ молодыхъ людей развелось! И глазки бѣгаютъ, и носикъ вздрагиваетъ, и ушки на макушкѣ—все ради того, что если начальство взглянетъ, такъ чтобы въ своемъ видѣ передъ нимъ быть...

Увидѣвъ меня, Филоѳей Павлычъ любезно потоптался на мѣстѣ, потомъ расцѣловался, потомъ взялъ меня за обѣ руки и откинулся корпусомъ нѣсколько назадъ, чтобъ и издали на меня взглянуть, потомъ опять расцѣловался и, въ заключеніе, радостно-изумленнымъ голосомъ воскликнулъ:

— Вотъ пріятная неожиданность! Сестрицу провѣдать пожелали?

Нонночка отнеслась ко мнѣ апатично и какъ-то лѣниво произнесла:

— Ахъ, дядя,—это вы!

Затѣмъ тотчасъ же обратилась къ матери и продолжала:

— А мы, маменька, мимо усадьбы Іудушки Головлева проѣзжали—къ нему маленькіе Головлята пріѣхали. Одинъ черненькій, другой бѣленькій — преуморительные! Стоятъ около да посвистываютъ — скука у нихъ, должно-быть, адская! Черненькій-то ужъ офицеръ, а бѣленькій—штафирка отчаянный! Я, маменька, въ офицера-то апельсинной коркой бросила!

— Проказница ты! Проказница!

— Да еще что̀-съ! Одному-то апельсинную корку бросила, а другому безé ручкой послала,—пожаловался Филоѳей Павлычъ:—а тотъ, не будь глупъ, да съ разбѣга въ коляску вскочилъ! Да ужъ Павла Ѳедорыча—незнакомы они—увидѣлъ, такъ извинился! Стыдно, сударыня! Стыдно, Нонна Савишна!

— Что-жъ за стыдъ! Мужчины и не то съ нами дѣлаютъ, да не стыдятся. Поль, ты что̀ со мной сдѣлалъ?

Поль, въ отвѣтъ, самодовольно оттопырилъ губы и закрылъ, въ знакъ стыда, глаза.

— Такъ то̀ мужчины, мой другъ,—наставительно замѣтила Машенька:—ихнее и воспитанье такое! Такъ вотъ ка̀къ: стало-быть, и Іудушка... то бишь, и Порфирій Владимірычъ въ радости... сосѣдъ дорогой! Да что-жъ ты, милочка, въ розсказни пустилась, а мужа-то дяденькѣ и не представишь! Все, чай, не худо попросить въ родственное расположеніе принять.

— Извольте. Почтеннѣйшій дядюшка! Имѣю честь пред-

ставить вамъ моего... какъ бы вамъ это объяснить! Ну, однимъ словомъ, вы понимаете... всегда, всегда мы вмѣстѣ... Душка!—прибавила она, жадно прилипая губами къ лицу своего мужа.

Павелъ Ѳедорычъ, какъ молодой человѣкъ благовоспитанный и современный, началъ съ литературы.

— А мы васъ читаемъ!—сказалъ онъ, бросая на меня взглядъ, въ которомъ однако виднѣлась оговорка, что онъ не вполнѣ-таки одобряетъ и со многимъ согласиться не можетъ.

— Ахъ, дядя, я намеднись что-то ваше читала! Такъ хохотала, такъ хохотала! — съ своей стороны польстила Нонночка.

— Ну, видишь ты какова! Небось, сама читала, а нѣтъ того, чтобъ матери дать дяденькино сочиненіе почитать!— посѣтовала Машенька.

— Мы, Марья Петровна, сами соберемся да выпишемъ— тогда имъ и не дадимъ!—не преминулъ слюбезничать Филоѳей Павлычъ.

— И точно что не дадимъ! Вотъ будете просить, а мы не дадимъ!

Словомъ сказать, я вдругъ очутился въ перекрестномъ огнѣ любезностей. Всякій стремился что-нибудь пріятное мнѣ сказать, чѣмъ-нибудь меня ублажить. Такъ что если-бъ я рѣшился быть, и съ своей стороны, «по-родственному», то-есть не «вмѣшивался» бы, не «фыркалъ», то навѣрное я бы тутъ какъ сыръ въ маслѣ катался.

— А я, знаете ли, маменька, что̀ придумала,—молвила вдругъ Нонночка:—вы бы теперь за Головлятами послали, а послѣ обѣда они пріѣдутъ, мы и потанцовали бы.

— А дамы-то гдѣ?

— Можно за сестрицами Корочкиными послать; три сестрицы Корочкины, да я—вотъ и дамы; Поль, двое Головлятъ, дядя—и кавалеры налицо.

— Нѣтъ, на меня не разсчитывай. Во-первыхъ, мнѣ въ Чемезово нужно, а во-вторыхъ, я съ дѣтства не танцовалъ.

— Такъ папа за кавалера будетъ.

— Съ удовольствіемъ-съ. Только зачѣмъ же до послѣобѣда ждать? Это сейчасъ можно, благо лошади запряжены, четыре версты туда, да четыре версты назадъ—мигомъ оборотятъ. Вотъ Павелъ Ѳедорычъ—съѣздите, сударь! И вы—молодой человѣкъ, и господа Головлевы — молодые

люди... тутъ же и познакомитесь! Что-жъ, въ самомъ дѣлѣ, неужто ужъ и повеселиться нельзя!

— Съѣзди, Поль... душка! Ахъ, маменька, какъ будетъ весело! Весело, весело, весело!—кричала она, хлопая въ ладоши и подпрыгивая такъ, что полъ слегка вздрагивалъ и стеклышки гремѣли въ люстрѣ, висѣвшей посреди потолка.

Павелъ Ѳедорычъ уѣхалъ, а мы перешли въ гостиную. Филоѳей Павлычъ почти толкнулъ меня на диванъ («вы, братецъ,—старшій въ семействѣ; по христіанскому обычаю, вамъ слѣдовало бы подъ образами сидѣть, а такъ какъ у насъ, по легкомыслію нашему, въ парадныхъ комнатахъ образовъ не полагается,—ну, такъ хоть на диванъ попокойнѣе помѣститесь!»—сказалъ онъ при этомъ, крѣпко сжимая мнѣ руку), а самъ сѣлъ на кресло подлѣ меня. Сбоку, около стола, помѣстились маменька съ дочкой, и я слышалъ, какъ Машенька шепнула: «займи дядю-то!».

— Итакъ, вы въ наши палестины пожаловали?—началъ Филоѳей Павлычъ, любезно пригибая голову по направленію ко мнѣ.

— Надобность есть, Филоѳей Павлычъ.

— И надобность даже! Вотъ какъ пріятно!

Онъ опять взялъ мою руку, подержалъ ее въ обѣихъ своихъ и взглянулъ на меня такими елейными глазами, что я такъ и ждалъ: вотъ-вотъ онъ меня сейчасъ соборовать начнетъ.

— Изъ Петербурга чего нѣтъ ли? — спросила между тѣмъ Маша Нонночку.

— Ничего еще... такая досада! Нашъ прокуроръ пишетъ, что министръ за границей, такъ ждутъ его возвращенія, чтобъ о Полѣ доложить. А впрочемъ—обѣщаетъ.

— Павелъ Ѳедорычъ шайку подмётчиковъ въ нашихъ мѣстахъ накрылъ,—объяснилъ мнѣ Филоѳей Павлычъ:— организація цѣлая... такъ вотъ награды себѣ ждетъ.

— Представьте, дядя, Богъ знаетъ что̀ хотѣли тутъ натворить!—прибавила Нонночка.—Поль пять человѣкъ въ острогъ засадилъ!

— Да-съ, собирались-таки, собирались-съ! Дьячка отъ Спаса Милостиваго сынокъ, да учителишка тутъ у Троицы есть, да господинъ Аннетовъ... Изъ Петербурга, говорятъ, лозунгъ у нихъ былъ!

— Что̀-жъ они дѣлали?

— Да охуждали-съ. Промежду себя, конечно, ну, и при

свидѣтеляхъ случалось. А по нашему мѣсту, знаете, охуждать еще не полагается! Вотъ за границей—тамъ, сказываютъ, это можно; тамъ даже министрами за охужденья-то дѣлаютъ!

— И такую кутерьму они натворили,—вступилась Машенька:—все было у насъ тихо да смирно, а тутъ вдругъ... пошли-это спросы да допросы—весь околотокъ запутали! Даже мужиковъ отъ работы отбили—страхъ, что̀ тутъ было.

— И все Павелъ Ѳедорычъ раскрылъ?

— Да, все онъ, голубчикъ. Хочется у начальства на хорошее замѣчаніе попасть—ну, и старается! Много Нонночка отъ нихъ, отъ негодяевъ, слезъ приняла.

— Еще бы! Ночь, спать хочется, а у Поля допросы идутъ!

— И какая, братецъ, умора была! Дьячковъ-то сынъ вдругъ исчезъ! Ищутъ-ищутъ—сгинулъ да пропалъ, и все тутъ! А онъ—что̀-жъ бы ты думалъ!—не будь простъ, да въ грядахъ на огородѣ и спрятался. Такъ въ бороздочкѣ между двухъ грядъ и нашли!

— Да... это... уморительно!

— Умора-то умора, а между прочимъ и перепугались всѣ. Та̀къ перепугались, та̀къ перепугались! Сперва-то съ одного началось, а потомъ шире да глубже, глубже да шире... Всякій думаетъ, что и его притянутъ! Иной и не виноватъ, да невѣрно нынче очень! Очень нынче невѣрно, ахъ, какъ невѣрно! Куда ступить, въ какую сторону идти—никто это нынче не знаетъ!

— Выходитъ, стало-быть, что оно и уморительно, да и не весело.

— Вы здѣсь, дядя, въ одну недѣлю соскучитесь,—какъ-то некстати молвила Нонночка:—у насъ даже и сосѣдей настоящихъ нѣтъ. Прежде, говорятъ, очень весело въ здѣшней сторонѣ бывало: по три дня помѣщики другъ у друга гащивали, танцовали, въ фанты играли, свои оркестры у многихъ были. А нынче хорошіе-то или повымерли, или въ разныя стороны разъѣхались—все эта эмансипація надѣлала! Только остались что сестрицы Корочкины, да вотъ мы, да еще старый Головель года съ четыре поселился. А вы, маменька, не слыхали, какъ наши «сестрицы» себѣ жениховъ заманиваютъ? У нихъ на селѣ одинъ офицеръ изъ нашего полка квартировалъ, такъ онъ разсказывалъ. Встанутъ утромъ, да и пойдутъ всѣ три въ Воплю купаться—прямо противъ его квартиры. И у

выдѣлываютъ онѣ штуки въ водѣ, выдѣлываютъ! А онъ стоитъ у окна да въ бинокль смотритъ!

— А ему, коли онъ благородный человѣкъ, отвернуться бы слѣдовало или мать бы предупредить!—сентенціозно замѣтила Машенька.

— Есть радость жаловаться! Мать-то, можетъ, сама и учила... Да и ему... какой ему резонъ себя представленья лишать! Дядя, вы у насъ долго пробудете?

— Нѣтъ, сегодня въ Чемезово ѣду, а завтра чѣмъ-свѣтъ—въ дорогу, въ Петербургъ.

— Въ городѣ бы у насъ побыли; на будущей недѣлѣ у головы балъ—головиха именинница. У насъ, дядя, въ городѣ весело: драгуны стоятъ, танцовальные вечера въ клубѣ по воскресеньямъ бываютъ. Вотъ въ К.—тамъ пѣхота стоитъ, ну, и скучно, даже клубъ жалкій какой-то. На-дняхъ въ нашъ городъ новаго землемѣра прислали—такъ танцуетъ, такъ танцуетъ! Даже изъ драгунъ никто съ нимъ сравняться не можетъ! Словомъ сказать, у всѣхъ пальму первенства отбилъ!

— Ахъ ты, танцовальщица, и сегодня вотъ танцы затѣяла, а подумала ли, кто музыку-то вамъ играть будетъ!

— Вы, маменька. Фортепьяно-то у насъ не очень вѣдь разстроено?

— Не знаю; съ тѣхъ поръ, какъ ты уѣхала, не раскрывали. Да что же я вамъ играть-то буду? Какъ молода была—ну, дѣйствительно... даже варьяціи игрывала, а теперь... Развѣ вотъ «ach, mein lieber Augustin!» вспомню, да и то наврядъ!

— Вспомните, вспомните... какъ-нибудь... А вы, дядя, отчего не танцуете?

— Склонности, другъ мой, не имѣю.

— А вы принудьте себя. Не все склонности, надо и другимъ удовольствіе сдѣлать. Вотъ папенька: ему только слово сказали—онъ и готовъ, а вы... фи, какой вы недобрый! Можетъ-быть, вы любите, чтобы васъ упрашивали?

— Нѣтъ, ужъ сдѣлай милость, уволь!

— Дядя! душка! хотите, я на колѣни передъ вами встану?

— Коли охота есть на колѣняхъ стоять—становись!

— Фи, недобрый какой, а еще либераломъ считается! Дяденька, вѣдь вы либералъ—ха-ха? Меня намеднись предводитель спрашивалъ: «что это вашъ дяденька-либералъ какъ будто хвостъ поджалъ?..» Въ риѳму, ха-ха!

Въ такомъ характерѣ длился разговоръ въ продолженіе цѣлаго часа, то-есть до тѣхъ поръ, когда, наконецъ, явился Павелъ Ѳедорычъ съ обоими Головлятами. Дѣйствительно, одинъ былъ черненькій, другой бѣленькій. Оба шаркнули ножкой, подошли къ Машенькѣ къ ручкѣ. а Нонночкѣ и Филоѳею Павлычу руку пожали.

— Внучки Арины Петровны—чай, помнишь, братецъ!—отрекомендовала ихъ мнѣ Машенька.—Пріятельница мнѣ была, а во многихъ случаяхъ даже учительница. А христіанка какая... даже кончина ея... ну, самая христіанская была! Пришла въ праздникъ отъ обѣдни, чайку покушала, легла отдохнуть—такъ мертвенькую въ постели и нашли!

На нѣсколько минутъ всѣ вдругъ смолкли. Машенька вздыхала, Нонночка улыбалась и обмѣнивалась съ молодыми Головлевыми взглядами, которые очень смѣшили ихъ.

— Поль, а скоро старый Головель своихъ Головлятъ съ тобой отпустилъ?—первая прервала молчаніе Нонночка.

— Ну, нѣтъ, подумалъ-таки!

— Онъ, Нонна Савишна, боится, чтобъ мы нечаянно въ развратъ не впали!—сказалъ бѣленькій Головленокъ.

— Онъ насъ, Нонна Савишна, нынче по утрамъ все просвирами кормитъ!—присовокупилъ черненькій Головленокъ.

— Ужъ онъ крестилъ насъ, крестилъ! Мы ужъ въ коляску сѣли, а онъ все креститъ. Какъ мостъ переѣхали, я нарочно назадъ оборотился, а онъ стоитъ на балконѣ и все креститъ!

— Ахъ, молодые люди, молодые люди!—вступилась Машенька:—все-то бы вамъ покощунствовать! А развѣ худое дѣло—хоть бы просвиры! Вѣдь онѣ... божественныя! Ну, или покрестить—отчего же и не перекрестить въ путь шествующихъ!

— Въ путь шествующихъ... въ Березники!—замѣтилъ Павелъ Ѳедорычъ, и всѣ вдругъ засмѣялись.

Опять наступило молчаніе, и возобновилась прежняя игра глазами между молодыми людьми. Наконецъ, уже около четырехъ часовъ доложили, что кушать подано, и всѣ гурьбой потянулись въ залу.

За обѣдомъ всѣ языки развязались, и сдѣлалось очень шумно, такъ что я начиналъ уже терять надежду возобновить разговоръ о Коронатѣ, какъ Нонночка совершенно неожиданно помогла мнѣ.

и вспоминать не хотѣлось. Напрасно Машенька заговаривала, указывая то на липовый кругъ, то на лужайку, обсаженную березами: «помнишь, какъ мы тутъ игрывали?» Или: «помнишь, какъ въ папенькины именины покойница Каролина Ѳедоровна (это была гувернантка Маши) подъ вонъ тѣми березами группу изъ насъ устроила: меня посрединѣ съ гирляндой изъ розановъ поставила, а ты и братецъ Владиміръ Иванычъ — гдѣ онъ теперь, кажется, въ Москвѣ, въ адвокатахъ служитъ? — въ видѣ ангеловъ, въ васильковыхъ вѣнкахъ, по бокамъ стояли? Ахъ, времечко, времечко!»

Я отвѣчалъ на эти напоминанія односложными словами и съ неохотой. И разговоръ навѣрное упалъ бы совсѣмъ, если-бъ я не рѣшился вновь поворотить его на тотъ предметъ, который собственно и составлялъ цѣль моей поѣздки.

— Послушай,—сказалъ я: — я долженъ сознаться передъ тобой, что пріѣхалъ сюда собственно по желанію Короната.

При этихъ словахъ она нѣсколько поблѣднѣла, и сухая улыбка скользнула на ея губахъ.

— По желанію Короната?—повторила она.—Вотъ какъ! Стало-быть, Коронатъ въ тебѣ адвоката нашелъ!

— Да, онъ просилъ меня. Онъ желалъ, чтобъ я лично тебѣ подтвердилъ, что онъ хочетъ оставить школу и поступить въ медицинскую академію.

— Хочетъ!.. Какъ-то это для меня странно... Хочетъ! Помнишь, мы въ эти года не смѣли хотѣть, а дожидались, какъ старшіе хотятъ!

— Дѣло не въ выраженіяхъ, мой другъ, и прошу тебя, ты меня на словахъ не лови. Если тебѣ не нравится слово «хочетъ»...

— И откровенно тебѣ скажу: даже очень, очень не нравится... Такъ какъ-то пошло ужъ слишкомъ!

— Не онъ это слово сказалъ, а я, слѣдовательно ты можешь его замѣнить другимъ: «желалъ бы», «предполагалъ бы», «осмѣливался бы думать»—словомъ сказать, выразиться, какъ тебѣ самой кажется почтительнѣе. Итакъ, къ дѣлу. Онъ писалъ тебѣ о своемъ желаніи и получилъ отъ тебя двусмысленный отвѣтъ...

— Вотъ ужъ не двусмысленный! Напротивъ того, я даже слишкомъ ясно отвѣтила, что никакихъ перемѣщеній не хочу... не то что «не желаю», а именно «не хочу»! Не хочу, не хочу и не хочу!

— Но ежели *онъ* желаетъ этого? Если онъ въ этомъ перемѣщеніи видитъ для себя пользу?

— Ахъ, Боже мой! Если *онъ* желаетъ, если *онъ* для себя видитъ пользу! Что-жъ! съ Богомъ! Нечего у матери и спрашиваться... если *онъ* желаетъ!

Она улыбнулась и даже слегка подсмѣивалась; но ужъ не просто сухость, а злорадство откликнулось въ этомъ смѣхѣ. Злорадство и какое-то торжествующе-идіотское «хоть колъ на головѣ теши»!

— И прекрасно, что ты не препятствуешь: мы примемъ это къ свѣдѣнію. Но вопросъ не въ этомъ одномъ. Ему необходимо существовать въ теченіе пяти лѣтъ академическаго курса, и ежели онъ, ради насущнаго труда, долженъ будетъ удѣлять добрую часть времени постороннему труду, то это несомнѣнно повредитъ его учебнымъ занятіямъ... Ты понимаешь меня?

— Не понимаю... нѣтъ, ничего я не понимаю! Какъ это трудъ можетъ повредить занятію?!

— Очень просто... Вотъ ты своимъ хозяйствомъ занимаешься, а предположи, что необходимость заставляла бы тебя, въ то же время, уроки танцованья давать; вѣдь хозяйство твое потерпѣло бы отъ этого, не такъ ли?

— Уроки танцованья, хозяйство... воля твоя, ничего я тутъ не понимаю, мой другъ!

— Однимъ словомъ, необходимо, чтобы ты, въ теченіе пяти лѣтъ, оказывала ему помощь.

— Ну, это... статья особенная!

— То-есть, какъ же... ты отказываешь ему?

— Ничего я не «отказываю», мой другъ, а только такъ говорю: особенная статья.

— Но вѣдь ты тратишься же на него теперь? Ты даешь ему денегъ на лакомство, ты платишь за него тому господину, который беретъ его къ себѣ по праздникамъ?

— Да, покуда онъ волю родительскую чтитъ.

— Но что же ты имѣешь противъ его намѣренія?

— Ничего я не имѣю, а вообще... Что-жъ, коли хочетъ по медицинской части идти—пусть идетъ, я препятствовать не могу! Можетъ-быть, онъ и счастье себѣ тамъ найдетъ; можетъ-быть, самъ Богъ ему невидимо на эту дорогу указываетъ! Только ужъ...

— Такъ помоги ему!

— Ну, это... особенная статья.

— А почему же?

— А почему... потому...

Машенька окончательно заволновалась и долго бормотала что-то, словно не могла совладѣть съ своими мыслями. Наконецъ она, однако-жъ, кое-какъ собрала ихъ.

— Ужъ коли ты хочешь непремѣнно знать, почему,— сказала она, возвышая голосъ:—такъ вотъ почему: правила у меня есть!

— Какія же это правила?

— А такія правила, что дѣти должны почитать родителей,—вотъ какія!

— Въ чемъ же, однако, выразилась непочтительность Короната?

— И ежели родители что желаютъ, то дѣти должны повиноваться и не фантазировать!—продолжала Машенька, не слушая меня.—Да, есть такія правила! Есть! И правительству эти правила извѣстны, и всѣмъ! И никому эти правила пощады не дадутъ—не только дѣтямъ... непочтительнымъ, но и потаковщикамъ ихъ!

— Такъ ты, значитъ, и меня... по-родственному?

— Нѣтъ, я не про тебя, а вообще... А Богъ непочтительнымъ дѣтямъ потачки не даетъ! Вотъ Хамъ: что ему было за то, что отца родного осудилъ? И до сихъ поръ хамское-то племя... только недавно милость имъ дана!

— Но ежели ты такъ вѣрно знаешь, что Богъ непочтительныхъ дѣтей наказываетъ, то пусть Онъ и накажетъ Коронатъ! Предоставь это дѣло Богу, а сама жди и не вмѣшивайся!

Слова эти окончательно раздражили ее, такъ что она почти хриплымъ голосомъ кинула мнѣ въ отвѣтъ:

— Ахъ, мой родной! Ужъ извини ты меня! Не училась вѣдь я кощунствовать-то!

— Тутъ и нѣтъ кощунства. Я хочу сказать только, что если ты вмѣшиваешь Бога въ свои дѣла, то тебѣ слѣдуетъ сидѣть смирно и дожидаться результатовъ этого вмѣшательства. Но все это, впрочемъ, къ дѣлу не относится, и, право, мы сдѣлаемъ лучше, если возвратимся къ прерванному разговору. Скажи пожалуйста, съ чего тебѣ пришла въ голову идея, что Коронатъ непремѣнно долженъ быть юристомъ?

— Стало-быть, пришла... если такъ вздумалось!

— Вотъ видишь: тебѣ «вздумалось», а Коронатъ, по твоему мнѣнію, не имѣетъ права быть даже сознательно

убѣжденнымъ! Вѣдь ему, конечно, ближе извѣстно, какая профессія для него болѣе привлекательна.

— Хороша привлекательность... собакъ потрошить!

— Въ этомъ ли привлекательность, или въ чемъ-нибудь другомъ—это вопросъ особый. Важно тутъ убѣжденіе, на какомъ поприщѣ можешь наибольшую сумму пользы принести.

— Однако! По-твоему, значитъ, дѣти умнѣе родителей стали! Что-жъ, по нынѣшнему времени—пожалуй!

— Оставь, сдѣлай милость, нынѣшнее время въ покоѣ. Сколько бы мы съ тобой объ немъ ни судачили—намъ его не перемѣнить. Что же касается до того, кто умнѣе и кто глупѣе, то, по мнѣнію моему, всякій «умнѣе» тамъ, гдѣ можетъ судить и дѣйствовать съ бо́льшимъ знаніемъ дѣла. Вотъ почему я полагаю, что въ настоящемъ случаѣ Коронатъ—*умнѣе*. Вѣдь правда? Вѣдь не можешь же ты не понимать, что поднятый имъ вопросъ гораздо ближе касается его, нежели тебя?

Я взглянулъ на нее въ ожиданіи отвѣта: лицо ея было словно каменное, безъ всякаго выраженія; глаза смотрѣли въ сторону; ни одинъ мускулъ не шевелился; только нога судорожно отбивала тактъ.

— Скажи же что-нибудь! Ну «да»—не правда ли, «да»?—настаивалъ я.

— Какъ христіанка и какъ мать... не могу, мой другъ!—отвѣчала она, постукивая въ тактъ ножкой съ тою неумолимо-наглою непреклонностью, которая составляетъ удѣлъ глупца, сознающаго себя силой.

Я понималъ, что мнѣ нужно замолчать; но темпераментъ требовалъ, чтобъ я сдѣлалъ еще попытку.

— Вспомни,—сказалъ я:—что ты одной минутой легкомыслія можешь испортить жизнь своего сына!

— Нѣтъ ужъ...

— Помни, что Коронатъ все-таки выполнитъ свое намѣреніе, что упорство твое, въ сущности, ничего не измѣнитъ, что оно только введетъ въ существованіе твоего сына элементъ нужды, и что это несомнѣнно раздражитъ его характеръ и отзовется на всей его дальнѣйшей жизни!

— Нѣтъ ужъ...

— Машенька! Наконецъ, не Коронатъ, а я, я, я прошу тебя измѣнить свое рѣшеніе!

— Нѣтъ ужъ...

— Слушай же ты, однако-жъ...

Я остановился во-время. Но она, должно-быть, сама замѣтила, что отвѣчала мнѣ не «по-родственному», и потому поспѣшила прибавить:

— Я хочу сказать, что правила мои не дозволяютъ...

— Чего не дозволяютъ?

— Ну... сдѣлать... или какъ это... уступить... Господи, Боже мой! Да что же это за несчастіе на меня! Я такъ всегда тебя уважала, да и ты всегда со мной «по-родственному» былъ... и вдругъ такой разговоръ! Право, хоть бы наши поскорѣе пріѣхали, а то ты меня точно въ плѣнъ взялъ!

— Такъ это—твое послѣднее слово?

— Какое же... «слово»! Никакого «слова» я не говорила... ахъ, право, какой ты! Я только объ «правилахъ» своихъ говорю, а онъ сейчасъ: «слово»!

Предметъ моей поѣздки въ нѣсколько минутъ былъ исчерпанъ сполна. Мнѣ оставалось только возвратиться въ Чемезово, но какая-то смутная надежда на Филоѳея Павлыча, на Нонночку удерживала меня. Покуда я колебался, звонъ бубенцовъ раздался на дворѣ, и вслѣдъ затѣмъ цѣлая ватага влетѣла въ переднюю.

— А вотъ и наши пріѣхали!—весело воскликнула Машенька, поднимаясь навстрѣчу пріѣзжимъ.

Филоѳей Павлычъ сдѣлался какъ-то еще крупнѣе прежняго: повидимому, земскіе хлѣба пошли ему въ прокъ. Но граціи отъ этого въ немъ не убавилось, той своеобразно-семинарской граціи, которая выражалась въ томъ, что онъ, во время разговора, въ знакъ сочувствія, поматывалъ направо и налѣво головой, устраивалъ ротъ сердечкомъ, когда хотѣлъ что-нибудь сказать пріятное, и приближался къ лицамъ женскаго пола не иначе, какъ бочкомъ и сѣменя ножками. Фистула попрежнему красовалась подъ лѣвою его скулой и точно такъ же была залѣплена черным тафтинымъ кружкомъ; на лбу возвышался кокъ, и виски были зачесаны по направленію глазъ, словно приклеены. Онъ молодился, одѣтъ былъ въ щеголеватый свѣтло-сѣрый костюмъ и относился къ женѣ съ предупредительностью маркиза съ подмостковъ Александринскаго театра. Вообще онъ былъ игривъ и игралъ въ домѣ роль не деспота, а скорѣе избалованнаго молодого человѣка.

Нонночка нимало не походила на мать. Это была рыхлая и вальяжная молодая особа съ очень круглыми чертами

лица, съ чувственнымъ выраженіемъ въ большихъ сѣрыхъ глазахъ на выкатѣ, съ узенькимъ придавленнымъ лбомъ, какъ у негритянки, съ толстымъ носомъ, пухлыми губами, высокою грудью и роскошною косой. Наружный типъ Саввы Силыча воплотился въ ней вполнѣ; но такъ какъ воспитаніе было дано ей «нѣжное», то-есть глупое, то внутренній типъ выработался свой, не похожій ни на отца, ни на мать. По всѣмъ признакамъ, это была личность лѣнивая, праздная и чувственная, которую могли занимать только сплетни, ѣда и супружескія ласки. Къ близкимъ она относилась капризно, къ мужу—какъ-то пошло-любовно. Безпрестанно присасывала она къ его губамъ свои пухлыя губы (у Машеньки всегда въ этихъ случаяхъ даже бѣлки глазъ краснѣли), и лицо ея при этомъ принимало то плотоядно-страдальческое выраженіе, которое можно подмѣтить только у очень чувственныхъ женщинъ. Ни чтеніе, ни такъ-называемые talents de société, ни даже наряды—ничто не занимало ее. Одѣта она была слишкомъ неряшливо для «молодой», и я безъ труда счелъ нѣсколько пятенъ на ея платьѣ, которое вообще черезчуръ ужъ широко сидѣло на ней.

Мужъ ея, Павелъ Ѳедоровичъ Добрецовъ, одинъ изъ птенцовъ той школы, которая снабжаетъ всю Россію героями судоговоренія,—молодой человѣкъ, небольшого роста, очень проворный, ходкій и съ чрезвычайными претензіями на дѣловитость и проницательность. Едва три года, какъ онъ кончилъ курсъ,—и уже уловлялъ вселенную въ качествѣ судебнаго слѣдователя. Маленькіе глаза его какъ-то пытливо перебѣгали съ одного предмета на другой, какъ будто хотѣли отыскать поличное; но я не думаю, чтобъ это было въ немъ прирожденное ехидство, а скорѣе результатъ похвалъ и начальственныхъ поощреній. Очень часто молодые люди сначала только роль играютъ, а потомъ втягиваются и получаютъ дурныя привычки. На меня подобные люди, всегда что-то высматривающіе, поднюхивающіе и къ чему-то прислушивающіеся, производятъ непріятное впечатлѣніе. Все кажется, будто вотъ-вотъ у меня сейчасъ кошелекъ изъ кармана исчезнетъ. Конечно, я первый очень хорошо понимаю, что подозрѣніе мое неосновательное, но переломить невольнаго чувства все-таки не могу. Не кошелекъ, такъ другое что-нибудь,—а непремѣнно онъ у меня вытянетъ, думается мнѣ. Можетъ-быть, онъ въ душѣ моей покопаться хочетъ, что-нибудь оттудова унести, ради

иллюстраціи въ искренней бесѣдѣ съ начальствомъ... Много, ахъ, много нынче такихъ молодыхъ людей развелось! И глазки бѣгаютъ, и носикъ вздрагиваетъ, и ушки на макушкѣ—все ради того, что если начальство взглянетъ, такъ чтобы въ своемъ видѣ передъ нимъ быть...

Увидѣвъ меня, Филоѳей Павлычъ любезно потоптался на мѣстѣ, потомъ расцѣловался, потомъ взялъ меня за обѣ руки и откинулся корпусомъ нѣсколько назадъ, чтобъ и издали на меня взглянуть, потомъ опять расцѣловался и, въ заключеніе, радостно-изумленнымъ голосомъ воскликнулъ:

— Вотъ пріятная неожиданность! Сестрицу провѣдать пожелали?

Нонночка отнеслась ко мнѣ апатично и какъ-то лѣниво произнесла:

— Ахъ, дядя,—это вы!

Затѣмъ тотчасъ же обратилась къ матери и продолжала:

— А мы, маменька, мимо усадьбы Іудушки Головлева проѣзжали—къ нему маленькіе Головлята пріѣхали. Одинъ черненькій, другой бѣленькій — преуморительные! Стоятъ около да посвистываютъ — скука у нихъ, должно-быть, адская! Черненькій-то ужъ офицеръ, а бѣленькій—штафирка отчаянный! Я, маменька, въ офицера-то апельсинной коркой бросила!

— Проказница ты! Проказница!

— Да еще что̀-съ! Одному-то апельсинную корку бросила, а другому безé ручкой послала,—пожаловался Филоѳей Павлычъ:—а тотъ, не будь глупъ, да съ разбѣга въ коляску вскочилъ! Да ужъ Павла Ѳедорыча—незнакомы они—увидѣлъ, такъ извинился! Стыдно, сударыня! Стыдно, Нонна Савишна!

— Что-жъ за стыдъ! Мужчины и не то съ нами дѣлаютъ, да не стыдятся. Поль, ты что̀ со мной сдѣлалъ?

Поль, въ отвѣтъ, самодовольно оттопырилъ губы и закрылъ, въ знакъ стыда, глаза.

— Такъ то̀ мужчины, мой другъ,—наставительно замѣтила Машенька:—ихнее и воспитанье такое! Такъ вотъ ка̀къ: стало-быть, и Іудушка... то бишь, и Порфирій Владимірычъ въ радости... сосѣдъ дорогой! Да что-жъ ты, милочка, въ розсказни пустилась, а мужа-то дяденькѣ и не представишь! Все, чай, не худо попросить въ родственное расположеніе принять.

— Извольте. Почтеннѣйшій дядюшка! Имѣю честь пред-

ставить вамъ моего... какъ бы вамъ это объяснить! Ну, однимъ словомъ, вы понимаете... всегда, всегда мы вмѣстѣ... Душка!—прибавила она, жадно прилипая губами къ лицу своего мужа.

Павелъ Ѳедорычъ, какъ молодой человѣкъ благовоспитанный и современный, началъ съ литературы.

— А мы васъ читаемъ!—сказалъ онъ, бросая на меня взглядъ, въ которомъ однако виднѣлась оговорка, что онъ не вполнѣ-таки одобряетъ и со многимъ согласиться не можетъ.

— Ахъ, дядя, я намеднись что-то ваше читала! Такъ хохотала, такъ хохотала! — съ своей стороны польстила Нонночка.

— Ну, видишь ты какова! Небось, сама читала, а нѣтъ того, чтобъ матери дать дяденькино сочиненіе почитать!— посѣтовала Машенька.

— Мы, Марья Петровна, сами соберемся да выпишемъ— тогда имъ и не дадимъ!—не преминулъ слюбезничать Филоѳей Павлычъ.

— И точно что не дадимъ! Вотъ будете просить, а мы не дадимъ!

Словомъ сказать, я вдругъ очутился въ перекрестномъ огнѣ любезностей. Всякій стремился что-нибудь пріятное мнѣ сказать, чѣмъ-нибудь меня ублажить. Такъ что если-бъ я рѣшился быть, и съ своей стороны, «по-родственному», то-есть не «вмѣшивался» бы, не «фыркалъ», то навѣрное я бы тутъ какъ сыръ въ маслѣ катался.

— А я, знаете ли, маменька, что̀ придумала,—молвила вдругъ Нонночка:—вы бы теперь за Головлятами послали, а послѣ обѣда они пріѣдутъ, мы и потанцовали бы.

— А дамы-то гдѣ?

— Можно за сестрицами Корочкиными послать; три сестрицы Корочкины, да я—вотъ и дамы; Поль, двое Головлятъ, дядя—и кавалеры налицо.

— Нѣтъ, на меня не разсчитывай. Во-первыхъ, мнѣ въ Чемезово нужно, а во-вторыхъ, я съ дѣтства не танцовалъ.

— Такъ папа за кавалера будетъ.

— Съ удовольствіемъ-съ. Только зачѣмъ же до послѣобѣда ждать? Это сейчасъ можно, благо лошади запряжены, четыре версты туда, да четыре версты назадъ—мигомъ оборотятъ. Вотъ Павелъ Ѳедорычъ—съѣздите, сударь! И вы—молодой человѣкъ, и господа Головлевы — молодые

люди... тутъ же и познакомитесь! Что-жъ, въ самомъ дѣлѣ, неужто ужъ и повеселиться нельзя!

— Съѣзди, Поль... душка! Ахъ, маменька, какъ будетъ весело! Весело, весело, весело!—кричала она, хлопая въ ладоши и подпрыгивая такъ, что полъ слегка вздрагивалъ и стеклышки гремѣли въ люстрѣ, висѣвшей посреди потолка.

Павелъ Ѳедорычъ уѣхалъ, а мы перешли въ гостиную. Филоѳей Павлычъ почти толкнулъ меня на диванъ («вы, братецъ,—старшій въ семействѣ; по христіанскому обычаю, вамъ слѣдовало бы подъ образами сидѣть, а такъ какъ у насъ, по легкомыслію нашему, въ парадныхъ комнатахъ образовъ не полагается,—ну, такъ хоть на диванъ попокойнѣе помѣститесь!»—сказалъ онъ при этомъ, крѣпко сжимая мнѣ руку), а самъ сѣлъ на кресло подлѣ меня. Сбоку, около стола, помѣстились маменька съ дочкой, и я слышалъ, какъ Машенька шепнула: «займи дядю-то!»

— Итакъ, вы въ наши палестины пожаловали?—началъ Филоѳей Павлычъ, любезно пригибая голову по направленію ко мнѣ.

— Надобность есть, Филоѳей Павлычъ.

— И надобность даже! Вотъ какъ пріятно!

Онъ опять взялъ мою руку, подержалъ ее въ обѣихъ своихъ и взглянулъ на меня такими елейными глазами, что я такъ и ждалъ: вотъ-вотъ онъ меня сейчасъ соборовать начнетъ.

— Изъ Петербурга чего нѣтъ ли? — спросила между тѣмъ Маша Нонночку.

— Ничего еще... такая досада! Нашъ прокуроръ пишетъ, что министръ за границей, такъ ждутъ его возвращенія, чтобъ о Полѣ доложить. А впрочемъ—обѣщаетъ.

— Павелъ Ѳедорычъ шайку подмётчиковъ въ нашихъ мѣстахъ накрылъ,—объяснилъ мнѣ Филоѳей Павлычъ:— организація цѣлая... такъ вотъ награды себѣ ждетъ.

— Представьте, дядя, Богъ знаетъ что̀ хотѣли тутъ натворить!—прибавила Нонночка.—Поль пять человѣкъ въ острогъ засадилъ!

— Да-съ, собирались-таки, собирались-съ! Дьячка отъ Спаса Милостиваго сынокъ, да учителишка тутъ у Троицы есть, да господинъ Анпетовъ... Изъ Петербурга, говорятъ, лозунгъ у нихъ былъ!

— Что̀-жъ они дѣлали?

— Да охуждали-съ. Промежду себя, конечно, ну, и при

свидѣтеляхъ случалось. А по нашему мѣсту, знаете, охуждать еще не полагается! Вотъ за границей—тамъ, сказываютъ, это можно; тамъ даже министрами за охужденья-то дѣлаютъ!

— И такую кутерьму они натворили,—вступилась Машенька:—все было у насъ тихо да смирно, а тутъ вдругъ... пошли-это спросы да допросы—весь околотокъ запутали! Даже мужиковъ отъ работы отбили—страхъ, что̀ тутъ было.

— И все Павелъ Ѳедорычъ раскрылъ?

— Да, все онъ, голубчикъ. Хочется у начальства на хорошее замѣчаніе попасть—ну, и старается! Много Нонночка отъ нихъ, отъ негодяевъ, слезъ приняла.

— Еще бы! Ночь, спать хочется, а у Поля допросы идутъ!

— И какая, братецъ, умора была! Дьячковъ-то сынъ вдругъ исчезъ! Ищутъ-ищутъ—сгинулъ да пропалъ, и все тутъ! А онъ—что̀-жъ бы ты думалъ!—не будь простъ, да въ грядахъ на огородѣ и спрятался. Такъ въ бороздочкѣ между двухъ грядъ и нашли!

— Да... это... уморительно!

— Умора-то умора, а между прочимъ и перепугались всѣ. Та̀къ перепугались, та̀къ перепугались! Сперва-то съ одного началось, а потомъ шире да глубже, глубже да шире... Всякій думаетъ, что и его притянутъ! Иной и не виноватъ, да невѣрно нынче очень! Очень нынче невѣрно, ахъ, какъ невѣрно! Куда ступить, въ какую сторону идти—никто это нынче не знаетъ!

— Выходитъ, стало-быть, что оно и уморительно, да и не весело.

— Вы здѣсь, дядя, въ одну недѣлю соскучитесь,—какъ-то некстати молвила Нонночка:—у насъ даже и сосѣдей настоящихъ нѣтъ. Прежде, говорятъ, очень весело въ здѣшней сторонѣ бывало: по три дня помѣщики другъ у друга гащивали, танцовали, въ фанты играли, свои оркестры у многихъ были. А нынче хорошіе-то или повымерли, или въ разныя стороны разъѣхались—все эта эмансипація надѣлала! Только остались что сестрицы Корочкины, да вотъ мы, да еще старый Головель года съ четыре поселился. А вы, маменька, не слыхали, какъ наши «сестрицы» себѣ жениховъ заманиваютъ? У нихъ на селѣ одинъ офицеръ изъ нашего полка квартировалъ, такъ онъ разсказывалъ. Встанутъ утромъ, да и пойдутъ всѣ три въ Воплю купаться—прямо противъ его квартиры. И ужъ

выдѣлываютъ онѣ штуки въ водѣ, выдѣлываютъ! А онъ стоитъ у окна да въ бинокль смотритъ!

— А ему, коли онъ благородный человѣкъ, отвернуться бы слѣдовало или мать бы предупредить!—сентенціозно замѣтила Машенька.

— Есть радость жаловаться! Мать-то, можетъ, сама и учила... Да и ему... какой ему резонъ себя представленья лишать! Дядя, вы у насъ долго пробудете?

— Нѣтъ, сегодня въ Чемезово ѣду, а завтра чѣмъ-свѣтъ—въ дорогу, въ Петербургъ.

— Въ городѣ бы у насъ побыли; на будущей недѣлѣ у головы балъ—головиха именинница. У насъ, дядя, въ городѣ весело: драгуны стоятъ, танцовальные вечера въ клубѣ по воскресеньямъ бываютъ. Вотъ въ К.—тамъ пѣхота стоитъ, ну, и скучно, даже клубъ жалкій какой-то. На-дняхъ въ нашъ городъ новаго землемѣра прислали—такъ танцуетъ, такъ танцуетъ! Даже изъ драгунъ никто съ нимъ сравняться не можетъ! Словомъ сказать, у всѣхъ пальму первенства отбилъ!

— Ахъ ты, танцовальщица, и сегодня вотъ танцы затѣяла, а подумала ли, кто музыку-то вамъ играть будетъ!

— Вы, маменька. Фортепьяно-то у насъ не очень вѣдь разстроено?

— Не знаю; съ тѣхъ поръ, какъ ты уѣхала, не раскрывали. Да что же я вамъ играть-то буду? Какъ молода была—ну, дѣйствительно... даже варьяціи игрывала, а теперь... Развѣ вотъ «ach, mein lieber Augustin!» вспомню, да и то наврядъ!

— Вспомните, вспомните... какъ-нибудь... А вы, дядя, отчего не танцуете?

— Склонности, другъ мой, не имѣю.

— А вы принудьте себя. Не все склонности, надо и другимъ удовольствіе сдѣлать. Вотъ папенька: ему только слово сказали—онъ и готовъ, а вы... фи, какой вы недобрый! Можетъ-быть, вы любите, чтобы васъ упрашивали?

— Нѣтъ, ужъ сдѣлай милость, уволь!

— Дядя! душка! хотите, я на колѣни передъ вами встану?

— Коли охота есть на колѣняхъ стоять—становись!

— Фи, недобрый какой, а еще либераломъ считается! Дяденька, вѣдь вы либералъ—ха-ха? Меня намеднись предводитель спрашивалъ: «что это вашъ дяденька-либералъ какъ будто хвостъ поджалъ?..» Въ риѳму, ха-ха!

Въ такомъ характерѣ длился разговоръ въ продолженіе цѣлаго часа, то-есть до тѣхъ поръ, когда, наконецъ, явился Павелъ Ѳедорычъ съ обоими Головлятами. Дѣйствительно, одинъ былъ черненькій, другой бѣленькій. Оба шаркнули ножкой, подошли къ Машенькѣ къ ручкѣ. а Нонночкѣ и Филоѳею Павлычу руку пожали.

— Внучки Арины Петровны—чай, помнишь, братецъ!—отрекомендовала ихъ мнѣ Машенька.—Пріятельница мнѣ была, а во многихъ случаяхъ даже учительница. А христіанка какая... даже кончина ея... ну, самая христіанская была! Пришла въ праздникъ отъ обѣдни, чайку покушала, легла отдохнуть—такъ мертвенькую въ постели и нашли!

На нѣсколько минутъ всѣ вдругъ смолкли. Машенька вздыхала, Нонночка улыбалась и обмѣнивалась съ молодыми Головлевыми взглядами, которые очень смѣшили ихъ.

— Поль, а скоро старый Головель своихъ Головлятъ съ тобой отпустилъ?—первая прервала молчаніе Нонночка.

— Ну, нѣтъ, подумалъ-таки!

— Онъ, Нонна Савишна, боится, чтобъ мы нечаянно въ развратъ не впали!—сказалъ бѣленькій Головленокъ.

— Онъ насъ, Нонна Савишна, нынче по утрамъ все просвирами кормитъ!—присовокупилъ черненькій Головленокъ.

— Ужъ онъ крестилъ насъ, крестилъ! Мы ужъ въ коляску сѣли, а онъ все креститъ. Какъ мостъ переѣхали, я нарочно назадъ оборотился, а онъ стоитъ на балконѣ и все креститъ!

— Ахъ, молодые люди, молодые люди!—вступилась Машенька:—все-то бы вамъ покощунствовать! А развѣ худое дѣло—хоть бы просвиры! Вѣдь онѣ... божественныя! Ну, или покрестить—отчего же и не перекрестить въ путь шествующихъ!

— Въ путь шествующихъ... въ Березники!—замѣтилъ Павелъ Ѳедорычъ, и всѣ вдругъ засмѣялись.

Опять наступило молчаніе, и возобновилась прежняя игра глазами между молодыми людьми. Наконецъ, уже около четырехъ часовъ доложили, что кушать подано, и всѣ гурьбой потянулись въ залу.

За обѣдомъ всѣ языки развязались, и сдѣлалось очень шумно, такъ что я начиналъ уже терять надежду возобновить разговоръ о Коронатѣ, какъ Нонночка совершенно неожиданно помогла мнѣ.

— Отъ Короната Савича какой-нибудь новенькой выходки не получили ли?—обратилась она къ матери.

— Нѣтъ, пока ничего... — отвѣтила Машенька, слегка сконфузясь и быстро взглядывая на меня.

— Вы знаете, дядя, что у насъ въ семействѣ нигилистъ проявился?—продолжала болтать Нонночка.

— Философъ-съ,—пояснилъ Филоѳей Павлычъ:—юриспруденціей не удовлетворяется, считаетъ ее за науку эфемерную и преходящую-съ. Въ корень бытія проникнуть желаетъ.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ! Вы слышали, дядя, что Коронатъ Савичъ въ медицинскую академію перейти желаетъ... ха-ха!

— Слышалъ. Но что же тутъ смѣшного?

— Какъ что̀ смѣшного! Мальчишка въ семнадцать лѣтъ—и самъ себѣ званіе опредѣляетъ... ха-ха! Медикомъ быть хочу... ха-ха!

— Онъ, можетъ-быть, Нонна Савишна, ветеринаромъ быть желаетъ. Нынче земскія управы все ветеринаровъ вызываютъ—такъ вотъ онъ и прочелъ!—съострилъ бѣленькій Головлевъ.

— Ветеринаромъ—ха-ха! именно, именно ветеринаромъ! Отлично, отлично! Вы—душка, Головлевъ! Папаша, пожалуйста, вы его въ нашъ уѣздъ ветеринаромъ опредѣлите! Я его къ своей «Бижуткѣ» годовымъ врачомъ приглашу!

Нонночка хохотала, и весь синклитъ вторилъ ей, кромѣ, впрочемъ, Машеньки, которая сидѣла, уткнувшись въ тарелку, и Добрецова, который былъ серьезно-печаленъ, словно страдалъ гражданскимъ недугомъ.

— Я не имѣю чести знать Короната Савича,—обратился онъ ко мнѣ:—и, конечно, ничего не могу сказать противъ выбора имъ медицинской карьеры. Но за всѣмъ тѣмъ позволяю себѣ думать, что съ его стороны пренебреженіе къ юридической карьерѣ, по малой мѣрѣ, легкомысленно, ибо въ настоящее время профессія юриста есть самая священная изъ всѣхъ либеральныхъ профессій, открытыхъ современному человѣку.

— Почему же вы такъ думаете?

— А потому просто, что общество никогда такъ не нуждалось въ защитѣ, какъ въ настоящее время.

— Въ защитѣ? Противъ чего?

— Противъ современнаго направленія умовъ-съ. Противъ тѣхъ недозрѣлыхъ и, смѣю такъ выразиться, нетер-

пимыхъ теорій, которыя предъявляются со стороны извѣстной части молодого поколѣнія, къ которому, впрочемъ, имѣю честь принадлежать и я.

— Но вѣдь такого рода защиту могутъ и становые пристава оказать!

— Могутъ-съ, но безъ знанія дѣла-съ.

— Отчего же? Вѣдь доискаться, что человѣкъ между грядами спрятался, или допросить его такъ, чтобъ ему тепло сдѣлалось,—право, все это становой можетъ сдѣлать если не лучше (не забудьте, на его сторонѣ опытъ прежнихъ лѣтъ!), то отнюдь не хуже, нежели любой юристъ!

— Да-съ, но вѣдь факты, на которые вы указали,—ни больше, ни меньше, какъ простыя формальности. И даже печальныя формальности, прибавлю я отъ себя. Ихъ, конечно, могъ бы съ успѣхомъ выполнить и становой приставъ, но вѣдь не въ нихъ собственно заключается миссія юриста, а въ чемъ-то другомъ. Слѣдствіе будетъ мертво, если въ него не вложенъ духъ живъ. А вотъ этотъ-то духъ живъ именно и дается юридическимъ образованіемъ. Только юридическимъ образованіемъ, а не рутиною-съ.

— Гм!.. ежели вы съ точки зрѣнія «духа жива»... Скажите, пожалуйста, этотъ «духъ живъ»—вѣдь это то самое, что̀ въ прежнія времена было извѣстно подъ именемъ «корней и нитей»?

— И это-съ. Вообще, юристъ, прежде всего, обращаетъ вниманіе не на частности, а на полноту общей картины, на тоны ея, на то, чтобы въ ней, какъ въ зеркалѣ, отражалось дѣйствительное вѣяніе среды и минуты. Что преступленіе не должно остаться безнаказаннымъ — это, конечно, не можетъ подлежать ни малѣйшему спору. Но главное все-таки — это раскрыть глаза самому обществу, указать ему на сущность и источникъ вредныхъ поползновеній и возбудить въ немъ желаніе самозащиты. Этотъ послѣдній результатъ въ особенности важенъ; въ немъ, я полагаю, заключается самое безспорное доказательство преимущества современныхъ юридическихъ дѣятелей надъ прежними.

— Извините, я—человѣкъ стараго покроя, и многое въ современныхъ порядкахъ не совсѣмъ для меня ясно. Вотъ вы сейчасъ о самозащитѣ упомянули: скажите, часто бываютъ доносы въ вашихъ краяхъ?

— Не доносы-съ, а выраженія общественной самопомощи-съ.

— Ну, да, разумѣется, самопомощи... Часто?

— Да, общество наше, повидимому, съ каждымъ годомъ яснѣе и яснѣе сознаетъ свои права и обязанности.

— Гм!.. Конечно, это — не больше, какъ личное мое мнѣніе, но я все-таки долженъ сознаться, что сердце мое больше лежитъ къ становымъ приставамъ. И даже именно потому, что у нихъ мало юридическаго развитія.

— Ну, это ужъ—дѣло вкуса-съ.

Покуда мы такимъ образомъ бесѣдовали, всѣ остальные молчали. Нопночка съ удовольствіемъ слушала, какъ ея Поль разговариваетъ съ дяденькой о чемъ-то серьезномъ, и только однажды бросила хлѣбнымъ шарикомъ въ бѣленькаго Головлева. Филоѳей Павлычъ, какъ глиняный котъ, наклонялъ голову то по направленію ко мнѣ, то въ сторону Добрецова. Машенька попрежнему не отрывала глазъ отъ тарелки.

— А впрочемъ, — кинулъ Добрецовъ въ заключеніе:— такъ какъ рѣчь у насъ началась съ Короната Савича, то я считаю долгомъ заявить, что ничего противъ его намѣреній не имѣю. Медицинское поприще, и даже ветеринарное, какъ замѣтилъ мсьё Головлевъ...

Достаточно было возобновленія этой остроты, чтобы всѣ засмѣялись, и разговоръ нашъ прекратился. Машенька вздохнула свободно и, чтобы дать другое направленіе мыслямъ, обратилась къ черненькому Головлеву съ вопросомъ:

— Ну, а папенька какъ? Здоровъ?

— Какъ быкъ-съ.

— Ну, и слава Богу. Благочестивый вашъ папенька человѣкъ. Вотъ я такъ не могу: въ будни рано встаешь, а въ воскресенье все какъ-то понѣжиться хочется. Ну, и не поспѣешь въ церковь раньше какъ къ Евангелію. А папенька вашъ, какъ въ колоколъ ударили—онъ ужъ и тамъ.

— Онъ у насъ самъ первый въ колоколъ и ударяетъ. Возьметъ за веревку и зазвонитъ.

— Любитъ Бога вашъ папенька, нечего сказать—очень любитъ! Не всякій это...

— Онъ у насъ съ священникомъ все полемику ведетъ!— какъ-то высунулся впередъ, словно вынырнулъ, бѣленькій Головлевъ.

— Старозавѣтный вѣдь попъ-то у васъ!

— Да, все на ектеніяхъ сбивается — ну, отецъ и по-

правляетъ, да вслухъ, на всю церковь! «Николаевну!— врешь: Михайловну!»

— Вотъ какъ!

— А то у насъ такой случай былъ: въ Егорьевъ день начали крестьяне попа по полю катать — примѣта у нихъ такая, что урожай лучше будетъ, если попъ по полю покатается,—а отецъ на эту сцену и нагрянулъ! Ну, досталось тутъ всѣмъ на орѣхи!

— Скажите на милость—такъ вотъ у васъ попъ какой! Нѣтъ, у насъ попикъ—ничего, чистенькій. Все «Труды» какіе-то читаетъ. Зато, можетъ-быть, вашъ малымъ довольствуется, а нашъ за свадьбы больно дорого беретъ! Ни на-что не похоже. Вотъ я земскому-то дѣятелю жаловалась: хоть бы вы, земство, за неимущихъ вступились!

— Ничего-съ, погодите. Въ губернію съѣздимъ — и попика къ одному знаменателю приведемъ.

И вдругъ, въ самомъ разгарѣ «свѣтскаго» разговора, Нонночку словно бѣсъ подъ бока толкнулъ.

— Дядя, вы давно ли Короната Савича видѣли?—обратилась она ко мнѣ.

Машеньку даже передернуло всю.

— Нонночка! финиссѐ... лессѐ! — заговорила она по-французски (когда она терялась, то всегда прибѣгала къ французскому языку):—ты видишь, что дяденькѣ этотъ разговоръ непріятенъ.

Нонночка съ наивнымъ изумленіемъ взглянула сперва на меня, потомъ на мать, и вдругъ что-то поняла.

— По-ни-маю!—пробормотала она какъ бы про себя, ворочая крупными, воловьими глазами: — такъ вотъ что! Бѣленькій Головликъ, разскажите-ка намъ, какъ васъ папенька отъ соблазновъ оберегаетъ?

— Во-первыхъ, на ночь всѣ входы и выходы собственноручно запираетъ на ключъ; во-вторыхъ, внезапно встаетъ по ночамъ и подслушиваетъ у нашихъ дверей; въ-третьихъ, аѳонскій уставъ въ Головлевѣ ввелъ: ни коровъ, ни куръ— никакого животнаго женскаго пола...

Головлевъ долго что-то разсказывалъ, возбуждая общую веселость, но я уже не слушалъ. Теперь для меня было ясно, что меня *всѣ* поняли. Филоѳей Павлычъ вскинулъ въ мою сторону изумленно-любопытствующій взоръ; Добрецовъ—язвительно улыбнулся. Всѣ говорили себѣ: «каковъ! пріѣхалъ законы предписывать!»—и единодушно находили мою претензію возмутительною.

Подъ конецъ обѣда гостей прибавилось: три дѣвицы Корочкины поспѣли къ мороженому. Наконецъ, ѣда кончилась. Отдавши приказаніе немедленно закладывать лошадей, я рѣшился сдѣлать послѣднюю попытку въ пользу Короната и съ этою цѣлью пригласилъ Промптова и Машеньку побесѣдовать наединѣ.

— Филоѳей Павлычъ, — началъ я, когда мы усѣлись втроемъ въ гостиной: — до вашего пріѣзда я долго говорилъ съ Машенькой, но, повидимому, безъ успѣха. Позвольте теперь обратиться къ вамъ: можетъ-быть, вашъ авторитетъ подѣйствуетъ на нее убѣдительнѣе...

Я взглянулъ на нихъ: Филоѳей Павлычъ дѣлалъ видъ, что слушаетъ... но не больше, какъ изъ учтивости, Машенька даже не слушала; она смотрѣла совсѣмъ въ другую сторону, и вся фигура ея выражала: «Господи! сказано было разъ... чего бы, кажется!»

— Дѣло вотъ въ чемъ, — продолжалъ я: — Коронатъ не чувствуетъ въ себѣ призванія къ юридической карьерѣ и желаетъ перейти въ медицинскую академію...

— Такъ что же-съ?

— Но для того, чтобъ просуществовать въ продолженіе пяти лѣтъ академическаго курса, онъ нуждается въ помощи...

— Что̀ же-съ, вотъ мать—права̀ ея-съ!

— Но матери кажется, что Коронатъ, поступая такимъ образомъ, выходитъ изъ повиновенія родительской власти, что если она разъ, по какимъ-то необъяснимымъ соображеніямъ, сказала себѣ, что ея сынъ будетъ юристомъ, то онъ и долженъ быть таковымъ. Однимъ словомъ, что онъ— непочтительный.

— Никогда я этого не говорила!—вдругъ встрепенулась Машенька.

— Помилуй, душа моя, да въ этомъ весь и вопросъ!

— Никогда не говорила, что непочтительный! Заблуждающій—вотъ это такъ!

— Позвольте, Марья Петровна, допустимте, что вы даже сказали: непочтительный! Что же, сударь! И по-моему— довольно-таки близко около этого будетъ!

— Послушайте! Коронату ужъ семнадцать лѣтъ, и онъ самъ можетъ понимать свои склонности. Вопросъ о будущемъ, право, ближе касается его лично, нежели даже самыхъ близкихъ его родственниковъ. Всѣ удачи и неудачи, которыя ждутъ его впереди,—все это его собственное. Онъ

самъ вызвалъ ихъ и самъ же будетъ ихъ выносить. Кажется, это понятно?

— Помилуйте, даже очень-съ! Но вѣдь и родителямъ тоже смотрѣть на свое дѣтище... А впрочемъ, я—что же-съ! Вотъ мать—права ея-съ!

— Но если-бъ сынъ даже заблуждался, скажите: достаточная ли это для родителей причина, чтобъ оставлять его въ жертву лишеніямъ?

— Но если онъ самъ на лишенія напрашивается... А впрочемъ—вотъ мать-съ!

— Я долженъ сказать вамъ, что Коронатъ ни въ какомъ случаѣ намѣренія своего не измѣнитъ. Это я знаю вѣрно. Поэтому весь вопросъ въ томъ, будетъ ли онъ получать изъ дома помощь, или не будетъ?

— Нѣтъ ему моего благословенія по медицинской части! Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ!—какъ-то восторженно воскликнула Машенька.—Какъ христіанка и мать... не позволяю!

— Слушай Машенька. ты готовишь для себя очень, очень горькое будущее!

— Будущее, братецъ, въ рукѣ Божіей!—сентенціозно произнесъ Филоѳей Павлычъ.

— Машенька, я... я прошу тебя объ этомъ!

— Ахъ, братецъ!

— Неужели же ты такъ и остановишься на этомъ рѣшеніи?

— Голубчикъ! пожалуйста... позволь мнѣ уйти! Меня тамъ ждутъ... потанцовать имъ хочется... Я бы поиграла... Право, позволь мнѣ...

Какъ разъ, совсѣмъ кстати, въ эту минуту въ дверяхъ гостиной показалась Нонночка и довольно безцеремонно крикнула:

— Дядя, вы скоро ихъ отъисповѣдуете? Мы танцовать хотимъ!

Ясно, что дѣлать мнѣ больше было нечего. Я вышелъ въ залу и началъ прощаться. Какъ и водится, меня проводили «по-родственному». Машенька даже всплакнула.

— Братецъ,—сказала она:—можетъ, и еще въ нашу сторону заглянешь—не забудь, ради Христа, заверни!

Господинъ Добрецовъ сильно потрясъ мою руку и произнесъ:

— А мы васъ почитываемъ!

Нонночка, не желая отставать отъ другихъ, сказала:

— Дядя, вы что-жъ меня не цѣлуете?.. Фи, недобрый какой!

Филоѳей Павлычъ проводилъ меня до крыльца и, поматывая головой, воскликнулъ:

— Что̀ прикажете—женщина-съ... А впрочемъ, мать — всѣ права̀ ея-съ. Такъ и въ законѣ-съ...

Покуда ямщикъ собиралъ возжи и подавалъ тарантасъ, въ ушахъ моихъ раздалось:

A-ach! mein lieber Augustin,
Augustin, Augustin!

Дружный хохотъ, встрѣтившій эту допотопную ритурнель, проводилъ меня до воротъ.

Былъ часъ восьмой, когда я выѣхалъ отъ Промптовыхъ, и въ воздухѣ надвигались уже сумерки. Скоро мы въѣхали въ лѣсъ, и съ каждымъ шагомъ мгла становилась гуще и гуще. Казалось, что тѣни выползаютъ изъ глубины лѣсной чащи, бѣгутъ за экипажемъ, хватаются за него. Я началъ припоминать происшествія дня, и вдругъ мнѣ сдѣлалось страшно. Цѣлое море глупости, предразсудковъ, ничѣмъ не обусловленнаго упрямства развернулось передъ глазами,— море по наружности тихое, но алчущее человѣческихъ жертвъ. «Такъ ужъ», «нѣтъ ужъ»—невольно припоминалось мнѣ, и сзади этихъ безсмысленныхъ словесныхъ обрывковъ появлялся упорствующій образъ непочтительнаго Короната, на которомъ, по какой-то удивительной логикѣ, непочтительность должна отозваться голодомъ, холодомъ и всяческими лишеніями.

Но, какъ ни простодушна Машенька, однако и у нея нечаянно вырвалось мѣткое слово.

«Невѣрно нынче,—сказала она:—очень даже, мой другъ, невѣрно! Куда ступить, въ которую сторону идти—никто нынче этого не знаетъ!»

Этимъ изреченіемъ я и заканчиваю.

XIV.—Въ дружескомъ кругу.

Кромѣ Тебенькова, съ которымъ я уже познакомилъ читателя, у меня есть еще пріятель—Максимъ Михайлычъ Плѣшивцевъ.

Всѣ трое мы воспитывались въ одномъ и томъ же «заведеніи» и всѣ трое еще на школьной скамьѣ обнаружили

нѣкоторый вкусъ къ мышленію. Это былъ первый общій признакъ, который положилъ начало нашему сближенію,— признакъ настолько вѣскій, что даже позднѣйшія разномыслія не имѣли достаточно силы, чтобъ поколебать образовавшуюся между нами дружескую связь.

Въ то время, и въ особенности въ нашемъ «заведеніи», вкусъ къ мышленію былъ вещью очень мало поощряемою. Вызывать его можно было только втихомолку и подъ страхомъ болѣе или менѣе чувствительныхъ наказаній. Тѣмъ не менѣе, мы усердно слѣдили за тогдашними русскими журналами, пламенно сочувствовали литературному движенію сороковыхъ годовъ и въ особенности съ горячимъ увлеченіемъ относились къ статьямъ критическаго и полемическаго содержанія. То было время поклоненія Бѣлинскому и ненависти къ Булгарину. Міръ не видалъ двухъ другихъ людей, изъ которыхъ одинъ былъ бы столь пламенно чтимъ, а другой — столь искренно ненавидимъ. Конечно, во всемъ этомъ было очень много юношескаго пыла и очень мало сознательности, но важно было то, что въ насъ уже существовало «предрасположеніе» къ наслажденіямъ болѣе тонкимъ и сложнымъ, нежели, напримѣръ, наслажденіе прокатиться въ праздникъ на лихачѣ или забраться съ утра въ заднюю комнату ресторанчика и немедленно тамъ напиться. А именно этого рода наслажденіямъ предавалось большинство товарищей.

Дружба, начавшаяся на школьной скамьѣ, еще болѣе укрѣпилась на первое время, послѣдовавшее за выпускомъ изъ «заведенія». Первое ощущеніе свободы было для насъ еще бо̀льшимъ ощущеніемъ изолированности. Большинство однокашниковъ, съ свойственною юности рьяностью, поспѣшило занять соотвѣтственныя мѣста: кто въ циркѣ Гверры, кто въ циркѣ Лежара, кто въ ресторанѣ Леграна, кто въ ресторанѣ Сенъ-Жоржа (дѣло идетъ о сороковыхъ годахъ). Съ другой стороны, новыя знакомства для насъ могъ представлять только чиновническій кругъ канцелярій, въ которыя мы поступили, но съ этимъ кругомъ мы сходились туго и неохотно. Мы очутились втроемъ, ни съ кѣмъ не видясь, не разставаясь другъ съ другомъ, вмѣстѣ восхищаясь, пламенѣя и нимало не скучая унисонностью нашихъ восхищеній. Мы не спорили, даже не комментировали, а просто-на̀-просто метафоризировали, чѣмъ въ особенности отличался Плѣшивцевъ, человѣкъ, весь сотканный изъ пламени. Мы не подозрѣвали, что за міромъ мысли и

слова есть какой-то міръ дѣйствія и игры страстей, міръ насущныхъ нуждъ и эгоистическихъ вожделѣній, съ которымъ мы рано или поздно должны встрѣтиться лицомъ къ лицу. Мы не думали, что этому дрянному міришку суждено будетъ вызвать въ каждомъ изъ насъ ту интимную подкладку, которая до сихъ поръ оставалась безмолвною. Что столкновеніе съ нимъ можетъ сдѣлать изъ насъ западниковъ, славянофиловъ, прогрессистовъ, консерваторовъ, федералистовъ, централизаторовъ и т. д. То-есть лицъ, обладающихъ убѣжденіями, рѣзкая противоположность которыхъ заставляетъ иногда людей ненавидѣть другъ друга.

Этотъ міръ практической дѣятельности, существованія котораго мы такъ долго не подозрѣвали, представила намъ провинція, въ которую бросилъ насъ естественный ходъ нашей служебной карьеры. Служба разбросала насъ по разнымъ концамъ Россіи и положила конецъ нашимъ совмѣстнымъ восхищеніямъ. Въ провинціи мы выровнялись и пріобрѣли ту драгоцѣнную дѣловую складку, которая полагаетъ раздѣльную черту между дѣломъ и убѣжденіями и позволяетъ первому идти вполнѣ незасимо отъ послѣднихъ. И когда мы, послѣ долгихъ лѣтъ скитаній, вновь встрѣтились въ Петербургѣ, то эта складка прежде всего бросилась въ глаза и вновь сдѣлалась для насъ соединительнымъ звеномъ. Подкрѣпленная воспоминаніями прошлаго, она помогла намъ вынести то разнорѣчіе въ убѣжденіяхъ, которое принесла намъ жизнь. Мы очень серьезно сказали себѣ: прежде всего — Россія! прежде всего отечество, призывавшее насъ къ обновительной дѣятельности! А потомъ ужъ—убѣжденія.

Это былъ самый удобный modus vivendi для того времени, когда начальство вездѣ искало «людей» и охотно давало имъ мѣста съ хорошимъ жалованьемъ. Начальство было тогда снисходительное и сквозь пальцы смотрѣло на такъ-называемыя убѣжденія. Только не допускайте рѣзкостей, не призывайте къ оружію, а затѣмъ будьте хоть федералистомъ. Вѣдь ни сепаратизмъ, ни соціализмъ не мѣшаютъ писать доклады, циркуляры, предписанія и отношенія. Съ такого-то часа до такого-то сиди въ Фонарномъ переулкѣ, развивай за стаканомъ чаю сепаратистическія соображенія насчетъ самостоятельности Сибири, покрывай міръ фаланстерами, а съ такого-то часа до такого-то сиди въ департаментѣ и пиши бумагу о «возсоединеніяхъ», о средствахъ къ искорененію превратныхъ толкованій. Вотъ

какъ думало тогдашнее начальство, и думало, по мнѣнію моему, правильно, потому что, несмотря на его снисходительность по сему предмету, Сибирь все-таки и по настоящую пору не отдѣлена. Такъ же точно думали и мы. Дѣло прежде всего! — восклицали мы: — то обновительное дѣло, которое, въ званіи мировыхъ посредниковъ, можетъ одинаково пріютить и западниковъ, и славянофиловъ, и централизаторовъ, и федералистовъ... и фельдфебелей.

Какъ бы то ни было, но мы подоспѣли съ своею дѣловою складкой совершенно ко времени, такъ что начальство всевозможныхъ вѣдомствъ приняло насъ съ распростертыми объятіями. Въ его глазахъ уже то было важно, что мы до тонкости понимали прерогативы губернскихъ правленій и не смѣшивали городскихъ думъ съ городовыми магистратами. Сверхъ того предполагалось, что, проживъ много лѣтъ въ провинціи, мы видѣли лицомъ къ лицу народъ и слѣдовательно знаемъ его матеріальныя нужды и его нравственный образъ.

— Мы, ваше превосходительство, народъ-то не изъ книжекъ знаемъ! Мы его видѣли — вотъ какъ (рука поднимается и ставится на недалекомъ разстояніи передъ глазами, ладонью внутрь)! Мы въ курныхъ избахъ, ваше превосходительство, ночевали, мы хлѣбъ съ лебедой ѣдали! — говорили мы бойко и весело.

По правдѣ сказать, въ этихъ словахъ была очень значительная доля преувеличенія. Окунувшись въ тину провинціальной жизни, мы вовсе не думали ни о матеріальныхъ нуждахъ, ни о нравственномъ образѣ народа. Мы засѣдали въ палатахъ и правленіяхъ, мы производили судъ и расправу, мы ревизовали, играли въ карты, ѣздили въ мундирные дни въ соборъ, танцовали и т. д. Проѣзжая мимо базарной площади въ присутствіе или мчась на почтовыхъ мимо селъ и деревень къ мѣсту производства слѣдствія, мы столь же мало видѣли народъ, какъ мало видитъ его любой петербуржецъ, проѣзжающій мимо Сѣнной или Конной площади. Но, во-первыхъ, провинція несомнѣнно дала намъ хотя впечатлѣніе курной избы и сѣраго зипуна. Во-вторыхъ, провинціальная жизнь имѣетъ ту особенность, что она незамѣтно накопляетъ въ человѣкѣ значительную массу анекдотовъ, изъ совокупности которыхъ составляется какое-то смутное представленіе о томъ, что̀ дѣйствительно кишитъ гдѣ-то далеко на самомъ днѣ. И представленіе это,

если имъ ловко воспользоваться, можетъ при случаѣ сослужить службу великую.

Сверхъ того, въ этомъ преувеличеніи немалое участіе принимала и нервная чиновническая впечатлительность. Трудно не снервничать, когда на лицѣ начальника видишь благосклонную улыбку, когда начальство, такъ сказать, само, подъ вліяніемъ нервной чувствительности, ко всякому встрѣчному вопіетъ: искренности, только искренности, одной искренности!

Благонравенъ ли русскій мужикъ? Привязанъ ли онъ къ тѣмъ исконнымъ основамъ, на которыхъ зиждится человѣческое общество? Достаточно ли онъ обезпеченъ въ матеріальномъ отношеніи? Какую дозу свободы можетъ онъ вынести, не впадая въ самонадѣянныя преувеличенія и не возбуждая въ начальствѣ опасеній?—вотъ нешуточные вопросы, которые обращались къ намъ, *людямъ, имѣвшимъ случай стоять лицомъ къ лицу съ русскимъ народомъ.*

Согласитесь, что для людей, имѣющихъ въ виду сдѣлать служебную карьеру, подобные вопросы—сущій кладъ.

Но мы, даже независимо отъ эгоистическихъ соображеній о карьерѣ, имѣли полную возможность дать именно тѣ отвѣты, которые всего больше подходили къ вѣяніямъ минуты. Подобные отвѣты вырываются какъ-то сами собою. Бываютъ торжественныя минуты, когда сердце подчиненнаго невольно настраивается въ унисонъ съ сердцемъ начальника, и когда память, словно подкупленная, представляетъ цѣлую массу именно такихъ фактовъ, которые наиболѣе въ данный моментъ желательны. Это тѣ минуты, когда въ воздухѣ чуется особенно сильный запросъ на подчиненную искренность. Тогда мысли зарождаются въ головѣ мгновенно, слова льются изъ устъ безъ удержа, и все слова хорошія, настоящія. «Благонравенъ», «привязанъ», «обезпеченъ», «способенъ и достоинъ» и т. д. И мы видѣли, какъ, по мѣрѣ нашихъ отвѣтовъ, тѣни, лежавшія на лицахъ нашихъ начальниковъ, постепенно сбѣгали съ нихъ, какъ эти люди, дотолѣ недоумѣвавшіе, а, быть-можетъ, и снѣдаемые опасеніями, вдругъ загорались увѣренностью, что чортъ совсѣмъ не такъ страшенъ, какъ его малюютъ...

— Такъ что если, въ видахъ пользы службы, нѣсколько усилить власть исправниковъ, то народъ это вынесетъ?

— Совершенно вынесетъ, ваше превосходительство!

— А ежели распорядиться насчетъ упроченія основъ *при посредствѣ* не отяготительной, но зрѣло соображен-

ной системы штрафовъ, то народъ и этимъ останется доволенъ?

— Совершенно доволенъ, ваше превосходительство!

— Ну, а ежели поприкинуть кой-что къ повинностямъ... какъ вы думаете, это не произведетъ чувствительнаго вліянія на народное благосостояніе?

— Не только, ваше превосходительство, не произведетъ, но даже... ахъ, ваше превосходительство!

И такъ далѣе.

Однимъ словомъ, мы непререкаемыми фактами подтвердили всѣ тѣ предвидѣнія и чаянія, которыя смутно гнѣздились въ сердцахъ петербургскихъ начальниковъ насчетъ «достоинствъ» и «способностей» русскаго мужика. Въ Петербургѣ надѣялись, что русскій человѣкъ гостепріименъ— мы привели столько анекдотовъ насчетъ русскаго гостепріимства (нѣкоторые анекдоты даже свидѣтельствовали о гостепріимствѣ съ раскровяненіемъ), что отнынѣ фактъ этотъ изъ области «видовъ и предположеній» перешелъ въ область самой неопровержимой дѣйствительности. Въ Петербургѣ предвидѣли, что русскій человѣкъ патріархаленъ — мы разсказали столько анекдотовъ изъ практики патріархальнѣйшаго снохачества, что и этотъ фактъ утвердился на незыблемомъ основаніи. Въ Петербургѣ догадывались, что русскій человѣкъ живетъ въ полномъ удовольствіи—мы и эту догадку подтвердили, разсказавъ, что многіе мужики разводятъ гусей, утокъ и поросятъ... для себя.

Если бы мы не подтвердили всего этого, то очень можетъ быть, что петербургскіе начальники огорчились бы; но, къ счастію для насъ, наши собственныя наблюденія (по крайней мѣрѣ, въ томъ видѣ, какъ представляла ихъ наша память) до того сходились съ петербургскими предвидѣніями, что намъ не приходилось даже лицемѣрить.

Повторяю: мы были искренни. Мы дѣйствительно видѣли въ деревнѣ и гусей, и утокъ, дѣйствительно знали множество примѣровъ патріархальнаго снохачества, дѣйствительно производили слѣдствія о гостепріимствѣ съ раскровяненіемъ. И по мѣрѣ того, какъ мы разсказывали наши анекдоты, въ насъ самихъ происходилъ психологическій миражъ, вслѣдствіе котораго мужикъ становился передъ нами словно живой. Мужикъ благонравный, патріархальный, трудолюбивый, мужикъ угодный Богу и начальству не непріятный. И много прочувствованныхъ словъ сказали мы объ этомъ мужикѣ, и даже не одну слезу пролили по поводу его.

были сладкія, нервныя слезы, подъ тихое журчаніе которыхъ незамѣтно, сами собой, устраивались наши служебныя карьеры...

Тѣмъ не менѣе, какъ я сказалъ выше, въ нашихъ теоретическихъ взглядахъ на жизнь существовало извѣстное разнорѣчіе, которое хотя и сглаживалось общею намъ всѣмъ дѣловою складкою, но совсѣмъ уничтожено быть не могло. Разнорѣчіе это, впрочемъ, имѣетъ и свою хорошую сторону, потому что позволяетъ намъ, въ свободное отъ заботъ о служебной карьерѣ время, разнообразить наши бесѣды живою полемикой по поводу безчисленныхъ вопросовъ, которыми такъ богата современная русская жизнь. Сегодня сойдемся, посидимъ, поспоримъ, наговоримъ другъ другу колкостей, а завтра, какъ ни въ чемъ не бывало, опять засядемъ за докладныя записки, за циркуляры и предписанія и даже будемъ подавать другъ другу совѣты насчетъ вящаго и успѣшнѣйшаго подкузмленія.

Я ничего не буду говорить о себѣ, кромѣ того, что во всѣхъ этихъ спорахъ и пререканіяхъ я почти исключительно играю роль свидѣтеля. Но считаю не лишнимъ обратить вниманіе читателей на Тебенькова и Плѣшивцева, какъ на живое доказательство того, что даже самое глубокое разномысліе не можетъ людямъ препятствовать дѣлать одно и то же дѣло, если этого требуетъ начальство.

Оба они, какъ говорится, всегда à cheval sur les principes, то-есть прежде всего выкладываютъ свои принципы на столъ и потомъ уже, отправляясь отъ нихъ, начинаютъ диспутировать. Но въ самой манерѣ того и другого относиться къ собственнымъ принципамъ замѣчается очень рѣзкая разница. Тебеньковъ называетъ себя западникомъ и въ этомъ качествѣ не прочь прослыть за esprit fort. Поэтому онъ относится къ своимъ собственнымъ принципамъ нѣсколько озорно и хотя защищаетъ ихъ очень прилично, но не нужно быть черезчуръ проницательнымъ, чтобы замѣтить, что вся эта защита ведется какъ будто бы «пуръ лѐ жансъ», и что, въ сущности, для него все равно, что̀ востокъ, что̀ западъ, по пословицѣ: была бы каша заварена, а тамъ хоть чортъ родись! Вообще онъ никогда не забываетъ, что у него есть вицмундиръ, который хотя и виситъ теперь въ шкапу, но который завтра все-таки приведется надѣть. Напротивъ того, Плѣшивцевъ, спрятавши свой вицмундиръ въ шкапъ, смотритъ на себя, какъ на апостола, и обращается съ своими принципами бережно

словно обѣдню служитъ. Какъ «почвенникъ», онъ вѣритъ въ жизненность своихъ убѣжденій и при защитѣ ихъ всегда имѣетъ въ виду «русскую точку зрѣнія». Вслѣдствіе этого, въ разгарѣ спора, Плѣшивцевъ называетъ Тебенькова «департаментской засушиной», «гнуснецомъ» и «паскудникомъ», а Тебеньковъ Плѣшивцева — «юродствующимъ» и «блаженненькимъ».

— Тебѣ что̀,—говоритъ Плѣшивцевъ:—ты гнуснецъ, ты вотъ завтра встанешь, умоешься и смоешь съ себя все, что̀ случайно сегодня на тебя насѣло!

— Не знаю,—отвѣчаетъ въ свою очередь Тебеньковъ:— но думаю, что чистоплотность не лишнее качество... даже въ юродствующемъ!

И только чувство деликатности мѣшаетъ ему прибавить: «блаженненькій! вѣдь и ты каждый день умываешься въ департаментѣ, да еще какъ умываешься-то!»

И Тебеньковъ, и Плѣшивцевъ—оба консерваторы. Ежели спросить ихъ, въ чемъ заключается ихъ консерватизмъ,— они, навѣрное, назовутъ вамъ одни и тѣ же краеугольные камни, тѣ самые, о которыхъ вы услышите и въ любой обвинительной рѣчи прокурора, и въ любой защитительной рѣчи адвоката. Пойдите на улицу — вамъ объяснитъ ихъ любой прохожій; зайдите въ лавочку—любой сидѣлецъ скажетъ вамъ: кабы на человѣка да не узда, онъ и Бога-то позабылъ бы! Всѣ — и прокуроры, и адвокаты, и прохожіе, и лавочники—понимаютъ эти камни точно такъ же, какъ понимаютъ ихъ Плѣшивцевъ и Тебеньковъ. А между тѣмъ какое глубокое разномысліе раздѣляетъ ихъ по этому коренному вопросу! Плѣшивцевъ утверждаетъ, что человѣкъ долженъ быть консерваторомъ не только за страхъ, но и за совѣсть; Тебеньковъ же объявляетъ, что прибавка словъ: «и за совѣсть» только усложняетъ дѣло, и что человѣкъ вполнѣ правъ передъ обществомъ и закономъ, если можетъ доказать, что онъ консерваторъ «только за страхъ».

— Мнѣ все равно, какъ ты подплясываешь,—говоритъ онъ:—за одинъ ли страхъ, или вмѣстѣ за страхъ и за совѣсть! Ты подплясываешь—этого съ меня довольно, и больше ничего я не могу отъ тебя требовать! И не только не могу, но даже не понимаю, чтобы можно было далѣе простирать свои требованія!

— Ты не понимаешь, потому что ты паскудникъ!—возражаетъ ему Плѣшивцевъ. — Ты вотъ и выраженія такія подыскиваешь, которыя доказываютъ, что въ тебѣ не душа,

а департаментская засушина! Это ты «подплясываешь», а я не подплясываю, а пламенѣю! Да, «пламенѣю», вотъ что̀.

— Ну, и пламенѣй!—подсмѣивается Тебеньковъ.

И Тебеньковъ, и Плѣшивцевъ одинаково утверждаютъ, что для человѣка необходима «почва», внѣ которой человѣкъ для обоихъ представляется висящимъ въ воздухѣ. Но, высказавши это, Тебеньковъ объясняетъ, что «почва», въ его глазахъ, не что̀ иное, какъ modus vivendi, какъ сборникъ извѣстныхъ правилъ (въ родѣ, напримѣръ, «Искусства нравиться женщинамъ»), на которыя человѣкъ, дѣлающій себѣ карьеру, можетъ во всякое время опереться. Въ жизни всякое можетъ случиться. Начальство вдругъ спроситъ: «а покажите-ка, молодой человѣкъ, есть ли у васъ правила!»; родителю любимой особы взбредетъ на мысль сказать: «охотно отдали бы мы, молодой человѣкъ, вамъ нашу Катеньку, да не знаемъ, какъ вы насчетъ правилъ». Вотъ тутъ-то и можетъ сослужить службу «почва», въ томъ смыслѣ, какъ понимаетъ ее Тебеньковъ. Сейчасъ въ карманъ, вынулъ книжку «Искусство нравиться начальникамъ» и тутъ же вымолвилъ: «правила, ваше превосходительство, вотъ они-съ». Словомъ сказать, «почва», по мнѣнію Тебенькова, есть все то, что̀ не воспрещено, что̀ не противорѣчитъ ни закону, въ его современномъ практическомъ примѣненіи, ни обычаямъ общественной среды. Если принято платить карточный долгъ на другой день по проигрышѣ — это «почва»; если можно воспользоваться наблюденіемъ тѣхъ или другихъ формальностей, чтобъ оттягать у сосѣда домъ,—это тоже «почва». Просто, ясно и вразумительно. Однако Плѣшивцевъ не только не удовлетворяется этимъ объясненіемъ, но называетъ его «паскудствомъ». Къ сожалѣнію, самъ онъ подъ словомъ «почва» разумѣетъ что-то очень загадочное, и когда принимается опредѣлять его, то болѣе вращаетъ глазами и вертитъ руками въ воздухѣ, нежели опредѣляетъ, надъ чѣмъ Тебеньковъ очень добродушно смѣется.

— А ну-ка, скажи, скажи-ка, что̀ же, по-твоему, почва?— подзадориваетъ онъ Плѣшивцева.

— Ты паскудникъ,—горячится въ свою очередь послѣдній:—тебѣ этого не понять! Ты все на свой ясный паскудный языкъ перевести хочешь! Ты всюду съ своимъ поганымъ, жалкимъ умишкомъ пролѣзть усиливаешься! Шишъ выкусишь—вотъ что! «Почва» не опредѣляется, а чувствуется—вотъ что! Безъ «почвы» человѣкъ не можетъ со-

знавать себя человѣкомъ—вотъ что! Почва, однимъ словомъ, это... вотъ *это!*

И, высказавшись такимъ образомъ, дѣлаетъ жестъ, какъ будто копается гдѣ-то глубоко руками...

И Тебеньковъ, и Плѣшивцевъ—оба аристократы, то-есть имѣютъ или думаютъ, что имѣютъ, кровь алую и кость бѣлую. Предки Тебенькова доподлинно играли въ исторіи роль: одинъ былъ спальникомъ, другой — чашникомъ; у третьяго была выщипана по волоску борода. Насчетъ предковъ Плѣшивцева исторія была менѣе краснорѣчива. Извѣстно было только, что дѣдъ его былъ однажды посланъ свѣтлѣйшимъ княземъ Потемкинымъ, за двѣ тысячи верстъ, за свѣжею севрюжиной, исполнилъ это порученіе съ честью и съ тѣхъ поръ бойко пошелъ въ ходъ. Но, одинаково признавая принципъ аристократизма, Тебеньковъ и Плѣшивцевъ глубоко расходятся во взглядѣ на его основанія. Тебеньковъ въ основаніи аристократизма полагаетъ право завоеванія. «Первые дружинники—вотъ мои предки,—говоритъ онъ:—они своею кровью запечатлѣли свое право, и я, ихъ потомокъ, явилъ бы себя недостойнымъ ихъ, если-бъ поступился хотя однимъ атомомъ этого дорого добытаго права!» Сверхъ того, подъ веселую руку, Тебеньковъ сознается, что аристократическій принципъ ему еще потому по душѣ, что вообще лучше воспользоваться земными благами, нежели не пользоваться ими. И такимъ образомъ онъ сообщаетъ своимъ объясненіямъ какой-то матеріалистическій, недостойный характеръ. Напротивъ того, Плѣшивцевъ основываетъ аристократизмъ на «любви». «Первые излюбленные люди—вотъ мои предки,—говоритъ онъ:—и я былъ бы недостоинъ ихъ, если-бъ поступился хоть частицей ореола народной любви, которая освятила права ихъ!»

— Но ты забываешь, что у тебя никакой «любви» не было, а просто была севрюжина!—подсмѣивается Тебеньковъ.

— Да вѣдь и тебѣ не мѣшало бы помнить, что и у тебя никакого «завоеванія» не было, а былъ какой-то Митька Тебеньковъ, которому за «шатость и измѣну» выщипали бороду по волоску!—язвилъ съ своей стороны Плѣшивцевъ.

И Тебеньковъ, и Плѣшивцевъ—оба религіозны и оба очень усердно выполняютъ требуемые религіей обряды. Оба утверждаютъ, что общество безъ религіи—все равно, что тѣло безъ души, но въ то же время оба придаютъ своей религіозной практикѣ глубоко различный смыслъ. Тебеньковъ

стоитъ на почвѣ государственной религіи, говоритъ, что религія есть одинъ изъ рычаговъ, которымъ государство имѣетъ право пользоваться для своихъ цѣлей. А лично о себѣ выражается, что онъ *обязанъ* быть религіознымъ, потому что долженъ подавать примѣръ «пуръ лѐ жансъ». Сверхъ того, онъ не скрываетъ, что религіозность не безполезна, «какъ средство обратить на себя вниманіе начальства» (бываютъ такія эпохи, когда начальство вдругъ все сплошь проникается набожностью, какъ бываютъ и такія, когда начальство сплошь проникается скептицизмомъ). Съ нимъ даже былъ очень любопытный случай въ этомъ родѣ. Сначала въ томъ вѣдомствѣ, гдѣ служилъ Тебеньковъ, былъ начальникъ esprit fort и любилъ крошечку покощунствовать. Вмѣстѣ съ нимъ крошечку же кощунствовалъ Тебеньковъ и получилъ (конечно, не за это собственно, но все-таки немножко по поводу этого) повышеніе. Потомъ на мѣсто прежняго esprit fort поступилъ новый начальникъ, который не только усердно посѣщалъ подвѣдомственную ему домовую церковь, но даже любилъ пѣть на клиросѣ. Тогда Тебеньковъ являлся къ самому началу службы и не безъ дерзости выбивалъ поклоны передъ мѣстною иконой. И тоже получилъ повышеніе. Ничего подобнаго Плѣшивцевъ не допускаетъ: онъ религіозенъ безъ надежды на повышеніе. Онъ тоже считаетъ государство немыслимымъ безъ религіи, но видитъ въ послѣдней не «подспорье», какъ Тебеньковъ, а основаніе. И вслѣдствіе этого жалѣетъ о временахъ патріарховъ. Религія, почва и любовь—вотъ тріада, которой поклоняется Плѣшивцевъ и въ которой онъ видитъ такъ-называемую русскую подоплёку. Онъ не можетъ болѣе ясно опредѣлить, въ чемъ собственно состоитъ эта подоплека, но ожидаетъ отъ нея очень многаго.

— Ты проходимецъ! — говоритъ онъ Тебенькову: — ты постное жрешь, потому что знаешь, что князь Иванъ Семенычъ посты блюдетъ! А я ѣмъ постное, потому что этимъ во мнѣ дѣйство русскаго духа проявляется! Вотъ ты и понимай!

— А кто въ прошлое воскресенье князу Ивану Семенычу просвирку принесъ?—неожиданно, словно изъ пистолета, выстрѣливаетъ въ отвѣтъ Тебеньковъ.

— Я принесъ! Но не страха ради іудейска принесъ, а потому, что въ этомъ приношеніи любви дѣйство проявляется—вотъ что̀!

На это Тебеньковъ уже не возражаетъ, а только потихоньку мурлыкаетъ себѣ подъ носъ:

A Provîns, trou-la-la!
On recolte des roses,
Et du jasmin, trou-la-la!
Et beaucoup d'autres choses...

И Тебеньковъ, и Плѣшивцевъ—оба раздѣляютъ человѣчество на пасущихъ и пасомыхъ. Но Тебеньковъ видитъ въ этомъ раздѣленіи простое требованіе устава благоустройства и благочинія, а Плѣшивцевъ и тутъ ухитряется примостить «любви дѣйство». Тебеньковъ говоритъ: «всѣ не могутъ повелѣвать; надобно, чтобы кто-нибудь и повиновался». Плѣшивцевъ говоритъ: «нѣтъ, это не такъ, это слишкомъ сухо, черство, голо; это черезчуръ пахнетъ счетомъ, ариѳметикой». И предлагаетъ въ основаніе раздѣленія людей на повелѣвающихъ и повинующихся положить принципъ «любви». Повелѣвающіе повелѣваютъ «любви ради», а покоряющіеся покоряются тоже «любви ради». И это первыхъ ободряетъ, а послѣднихъ утѣшаетъ.

— Да на кой чортъ тебѣ эти ободренія и утѣшенія!—споритъ Тебеньковъ.—Вѣдь суть-то въ томъ, чтобъ покоряющіеся покорялись—и ничего больше!

— Ты паскудникъ, ты этого не понимаешь!—отвѣчаетъ Плѣшивцевъ:—ты всюду со своей ариѳметикой лѣзешь, изъ всего сухую формулу хочешь сдѣлать, а для меня совсѣмъ другое важно. Для тебя животворящій принципъ—палка, а для меня этого мало. И палка, сударь, нѣма, коли въ ней любви дѣйство не проявляется!

Наконецъ, и Тебеньковъ, и Плѣшивцевъ—оба уважаютъ народность; но Тебеньковъ смотритъ на этотъ предметъ съ точки зрѣнія армій и флотовъ, а Плѣшивцевъ—съ точки зрѣнія подоплёки. Оба говорятъ: есть ли на свѣтѣ другой народъ, какъ русскій! Но Тебеньковъ относитъ свои похвалы преимущественно къ дисциплинѣ, а Плѣшивцевъ—къ смиренію.

Такимъ образомъ живо и бойко идутъ наши вечернія собесѣдованія. Подчасъ, благодаря пламенности Плѣшивцева и язвительнымъ замашкамъ Тебенькова, они угрожаютъ перейти въ серьезныя стычки, но насъ спасаетъ увѣренность, что на утро намъ всѣмъ троимъ придется встрѣтиться въ департаментѣ и всѣмъ троимъ приняться за общее дѣло подкузмленія. И такимъ образомъ департамент-

ская бездна пожираетъ всѣ разномыслія и на всѣ наши распри проливаетъ умиротворяющій бальзамъ.

Если бы читатель спросилъ меня, чью сторону я держу во время этихъ полемическихъ собесѣдованій, я очень затруднился бы отвѣтомъ на этотъ вопросъ. Для меня вполнѣ ясно только одно: что оба друга мои вполнѣ благонамѣренные люди. Оба признаютъ необходимость «почвы», оба консерваторы, оба сторонники аристократическаго принципа, оба религіозны, оба раздѣляютъ человѣчество на пасущихъ и пасомыхъ, оба уважаютъ народность. Этого для меня вполнѣ достаточно, чтобъ находить ихъ общество вполнѣ приличнымъ,—а затѣмъ, какимъ процессомъ достались имъ эти убѣжденія, и въ какіе закоулки каждый изъ нихъ считаетъ нужнымъ зайти, чтобъ подкрѣпить свой нравственный строй,—къ этому я совершенно равнодушенъ.

Я думаю даже, что въ ихъ разномысліи скорѣе играетъ роль различіе темпераментовъ, нежели различіе убѣжденій. Плѣшивцевъ пылокъ и нетерпѣливъ; Тебеньковъ разсудителенъ и сдержанъ. Плѣшивцевъ охотно лѣзетъ на стѣну; Тебеньковъ предпочитаетъ пролѣзть въ подворотню. Плѣшивцевъ проникаетъ въ человѣческую душу съ помощью взлома; Тебеньковъ дѣлаетъ то же самое съ помощью подобраннаго ключа. Вотъ и все.

Иногда мнѣ даже кажется, что передо мною лицедѣйствуютъ два субъекта: прокуроръ, въ пухъ и прахъ разбивающій адвоката, и адвокатъ, въ пухъ и прахъ разбивающій прокурора. Оба эти человѣка очень серьезно взаимно считаютъ себя противниками; оба отъ полноты сердца язвятъ другъ друга и отнюдь не догадываются, что только счастливое недоумѣніе не позволяетъ имъ видѣть, что оба они, въ сущности, дѣлаютъ одно и то же дѣло и уязвленіями своими не разбиваютъ, а, напротивъ того, подкрѣпляютъ другъ друга. На дѣлѣ, передъ вами происходитъ замысловатая, но въ то же время нѣсколько шальная комедія, въ которой графъ, неизвѣстно зачѣмъ, разыгрываетъ роль лакея, а лакей, безъ всякаго разумнаго основанія, напяливаетъ на себя графскій фракъ. Или нѣчто въ родѣ встрѣчи двухъ пьяныхъ, которые, собственно говоря, имѣютъ въ виду только поцѣловаться, но которыхъ взаимныя приставанья, обыкновенно сопровождающія процессъ пьянаго цѣлованія, нерѣдко доводятъ до потасовки.

Говорятъ, будто Плѣшивцевъ искреннѣе, нежели Тебеньковъ, и будто бы съ этой точки зрѣнія онъ заслужи-

ваетъ болѣе симпатіи. Но, по-моему, они оба—равно симпатичны. Правда, я достовѣрно знаю, что если Плѣшивцеву придется кого-нибудь преслѣдовать, то не мудрено, что онъ или на дыбу того человѣка вздернетъ, или на кострѣ изжаритъ. Но я знаю также, что если и Тебенькову выдастся случай кого-нибудь преслѣдовать, то онъ тихимъ манеромъ, кроткими мѣрами... но все-таки того человѣка изведетъ.

Затѣмъ, если кто предпочитаетъ перспективу дыбы и костра перспективѣ тихаго и постепеннаго изведенія, или наоборотъ, то это ужъ дѣло личнаго вкуса, относительно котораго я судьей быть не берусь.

На-дняхъ наша дружеская полемика получила новую богатую пищу. Въ газетахъ появилась рѣчь одного изъ эльзасъ-лотарингскихъ депутатовъ, Тейтча, произнесенная въ германскомъ рейхстагѣ. Рѣчь эта, очень мало замѣчательная въ ораторскомъ смыслѣ, задѣла насъ за живое внезапностью своего содержанія. Никто изъ насъ не ожидалъ, чтобъ могъ выступить, въ качествѣ спорнаго, такой предметъ, о которомъ, повидимому, не могло существовать двухъ различныхъ мнѣній. Этотъ оказавшійся спорнымъ предметъ—любовь къ отечеству.

Изъ обращенія Тейтча къ германскому парламенту мы узнали, во-первыхъ, что человѣкъ этотъ имѣетъ общее à tous les coeurs bien nés свойство любить свое отечество, которымъ онъ почитаетъ не Германію и даже не отторгнутыя ею, вслѣдствіе послѣдней войны, провинціи, а Францію; во-вторыхъ, что, сильный этою любовью, онъ сомнѣвается въ правильности присоединенія Эльзаса и Лотарингіи къ Германіи, потому что съ разумными существами (каковыми признаются эльзасъ-лотарингцы) нельзя обращаться, какъ съ неразумными, безсловесными вещами, или, говоря другими словами, потому что нельзя разумнаго человѣка заставить перемѣнить отечество такъ же легко, какъ онъ мѣняетъ бѣлье; а въ-третьихъ, что, по всѣмъ этимъ соображеніямъ, онъ находитъ справедливымъ, чтобы совершившійся фактъ присоединенія былъ подтвержденъ спросомъ населенія присоединенныхъ странъ, дѣйствительно ли этотъ фактъ соотвѣтствуетъ его желаніямъ.

«До сихъ поръ было въ обычаѣ въ этой палатѣ,—говорилъ Тейтчъ, обращаясь къ рейхстагу:—что ежели кто-нибудь возвышалъ голосъ въ защиту угнетенныхъ вами на-

селеній, то ему зажимали ротъ и карали его, какъ измѣнника отечеству (какому? вчерашнему или сегодняшнему?). Но измѣнникъ—не тотъ, который проклинаетъ неправду, а тѣ, которыхъ стремленія къ матеріальному преобладанію увлекаютъ къ попранію всякаго права».

Оставимъ въ сторону «проклинанія неправды» и «попранія права»; пусть будутъ эти слова пустыми цвѣтами краснорѣчія, которые въ людяхъ, «стремящихся къ матеріальному преобладанію», могутъ возбудить только веселый смѣхъ. Фактъ ясенъ и простъ самъ по себѣ: Тейтчъ любитъ свое отечество,—то отечество, которое онъ съ тѣхъ поръ, какъ помнитъ себя, всегда считалъ таковымъ. Съ другой стороны, онъ обращается съ этою любовью не къ космополитамъ-теоретикамъ и не къ какимъ-нибудь проходимцамъ, которые вчера предлагали свои услуги американскимъ рабовладѣльцамъ, сегодня предлагаютъ ихъ Донъ-Карлосу, а завтра предложатъ Наполеону IV или ватиканскому владыкѣ. Нѣтъ, онъ обращается къ такимъ же солиднымъ людямъ, какъ и онъ самъ, къ членамъ рейхстага, изъ которыхъ каждый отнюдь не меньше его любитъ *свое* отечество. И Тейтчъ, и эти люди стоятъ на одной и той же почвѣ, говорятъ однимъ и тѣмъ же языкомъ и объ одномъ и томъ же предметѣ. Такъ что, напримѣръ, если-бъ Тейтчъ въ стѣнахъ берлинскаго университета защищалъ диссертацію на тему о любви къ отечеству, то Форкенбекъ (президентъ рейхстага) не только не оборвалъ бы его и не пригрозилъ бы ему призывомъ къ порядку, но первый же съ восторгомъ объявилъ бы его докторомъ отечестволюбія.

Между тѣмъ здѣсь, въ стѣнахъ рейхстага, гдѣ, по всѣмъ правамъ, любовь къ отечеству должна бы ожидать для себя торжественнаго практическаго подтвержденія, — тутъ-то именно и происходитъ нѣчто совершенно неожиданное. Люди этого собранія, такъ горячо любящіе свое отечество, не только не поощряютъ Тейтча, не только не приглашаютъ его дать полезный урокъ «безпочвенному космополитизму», но, напротивъ того, глумятся надъ Тейтчемъ, какъ надъ блаженненькимъ, осыпаютъ его насмѣшками и бранью, какъ будто онъ самый вредный изъ вреднѣйшихъ членовъ интернаціоналки. Они скорѣе готовы примириться съ архіепископомъ Ресомъ, съ этимъ непомнящимъ родства субъектомъ, явившимся въ рейхстагъ во имя интересовъ папства, нежели съ чудакомъ, который никакъ не можетъ по-

забыть, что у него недавно было нѣчто такое, что̀ онъ называлъ своимъ отечествомъ.

Какъ они смѣялись надъ нимъ! Какъ весело провели они эти полчаса, въ продолженіе которыхъ Тейтчъ, на ломаномъ нѣмецкомъ языкѣ, объяснялъ, какъ сладко любить отечество, и какъ сильна можетъ быть эта любовь! И что̀ всего замѣчательнѣе: они смѣялись во имя той же самой «любви къ отечеству», именемъ которой и Тейтчъ посылалъ имъ въ лицо свои укоры!

Что̀ скажутъ объ этомъ космополиты? Что̀ подумаютъ тѣ чистые сердцемъ, которые, говоря объ отечествѣ, не могутъ воздержаться, чтобы не произнести: да будетъ забвенна десница моя, ежели забуду тебя, Іерусалиме! Какъ глубоко поражены будутъ тѣ пламенные юноши, которыхъ еще въ школѣ напитывали высокими примѣрами Регуловъ и Муціевъ Сцеволъ, которые еще въ колыбели засыпали подъ сладкіе звуки псалма: «на рѣкахъ вавилонскихъ, тамо сѣдохомъ и плакахомъ»?!

О чемъ «плакахомъ»? Увы! нынче нѣтъ ни Іерусалима, ни Регуловъ, ни Муціевъ Сцеволъ! Зато есть хохочущій рейхстагъ, есть президентъ Форкенбекъ, осушающій непрошенныя слезы призывомъ къ порядку, есть Бисмаркъ, освѣжающій разгоряченную воспоминаніями объ утраченномъ «Іерусалимѣ» голову насмѣшкою, почерпнутою изъ устава о благоустройствѣ и благочиніи!

Происшествіе это тѣмъ болѣе затронуло насъ, что наше время есть по преимуществу время превратныхъ толкованій, которыхъ мы, какъ извѣстно, боимся до страсти. Не далѣе, какъ наканунѣ, Плѣшивцевъ написалъ и представилъ князю Ивану Семенычу проектъ циркуляра, въ которомъ, именно въ виду постояннаго распространенія «превратныхъ толкованій», любовь къ отечеству рекомендовалась вниманію начальствующихъ лицъ, какъ такое чувство, которое заслуживало со стороны ихъ особливаго вниманія и поощренія. «Любовь къ отечеству, — писалось въ этомъ проектѣ, — родитъ героевъ. Она возвышаетъ нравственную температуру человѣка, изощряетъ его умъ и дѣлаетъ его способнымъ не только къ подвигамъ личной самоотверженности, но и къ изобрѣтенію орудій съ цѣлью истребленія враговъ... Науки обязаны ей своимъ непрерывнымъ развитіемъ, чему примѣромъ служитъ Ломоносовъ, который, будучи рожденъ въ податномъ состояніи, умеръ въ чинѣ статскаго совѣтника... Но наипаче существеннымъ оказа-

вается ея вліяніе при отправленіи денежныхъ и натуральныхъ повинностей, ибо только при дѣятельномъ содѣйствіи его жизненнаго стимула достигается безнедоимочное поступленіе принадлежащихъ казнѣ сборовъ... То же должно сказать и о бѣдствіяхъ, которыя, въ формѣ повальныхъ болѣзней, неурожаевъ и проч., постигаютъ человѣческій родъ, и которыя поистинѣ были бы непереносимы, если-бъ бѣдствующему человѣку не являлась на помощь любовь къ отечеству, споспѣшествуемая благотворнымъ сознаніемъ, что законъ неукоснительно преслѣдуетъ людей, не умѣющихъ быть твердыми въ бѣдствіяхъ». Въ заключеніе изъявлялась надежда, «что, по всѣмъ этимъ соображеніямъ, ваше превосходительство не оставите обратить ваше просвѣщенное вниманіе на столь важный предметъ и въ согласность сему озаботитесь сдѣлать распоряженіе, дабы въ предѣлахъ ввѣреннаго вамъ вѣдомства упомянутое чувство воспитывалось и охранялось со всею неуклонностью, и дабы превратнымъ толкованіямъ были пресѣчены всѣ способы къ омраченію и извращенію онаго».

Эта бумага была плодомъ завѣтнѣйшихъ замысловъ Плѣшивцева. Онъ писалъ ее по секрету и по секрету же сообщилъ о ней лишь одному мнѣ. Читая ее, онъ говорилъ: «я здѣсь — Плѣшивцевъ! Понимаешь? Плѣшивцевъ, а не чиновникъ!» И затѣмъ, представивъ свою работу князю Ивану Семенычу, онъ даже нѣсколько побаивался за ея судьбу.

— Замѣть, братецъ,—говорилъ онъ:—о государствѣ ни одного слова! Отечество—и баста!

— Да, братъ, это — штука! — отвѣчалъ я съ своей стороны.

Тѣмъ не менѣе надежда на успѣхъ все-таки была, хотя, должно сознаться, она основывалась преимущественно на каламбурѣ. Предполагалось, что въ департаментской практикѣ нѣкоторыя выраженія до такой степени осинонимизировались, что нужно было нарочито подыскивать, чтобъ употребленная Плѣшивцевымъ тонкость могла быть понята. Къ числу такихъ однородныхъ выраженій принадлежали «отечество» и «государство», которыя въ департаментѣ употреблялись не только безразлично, но даже чередовались другъ съ другомъ, въ видахъ избѣжанія частыхъ повтореній одного и того же слова. Поэтому Плѣшивцевъ имѣлъ очень вѣскія основанія надѣяться.

— Не догадаются!—таинственно шепталъ онъ мнѣ.

— Не догадаются!—отъ всей души откликался и я.

Съ другой стороны, и Тебеньковъ не дремалъ, но тоже по секрету представилъ князю Ивану Семенычу проектъ циркуляра, о которомъ тоже сообщилъ только мнѣ. Тамъ писалось: «Любовь къ отечеству, чувство безподобное само по себѣ, пріобрѣтаетъ еще больше значенія, если взглянуть на него, какъ на одно изъ самыхъ могущественныхъ административныхъ подспорьевъ... Будучи эксплоатируемо съ осторожностью, но неукоснительно, оно незамѣтно развивается въ чувство государственности; сіе же послѣднее, содѣлывая управляемыхъ способными къ быстрому постиженію административныхъ мѣропріятій, въ значительной степени упрощаетъ механизмъ оныхъ и чрезъ то, въ ближайшемъ будущемъ, обѣщаетъ существенныя сокращенія штатовъ, при чемъ, однако-жъ, чиновники усердные и вполнѣ благонадежные не токмо ничего не потеряютъ, но даже пріобрѣтутъ... Главнѣйшее же вниманіе должно быть обращено на то, дабы отечество, въ сознаніи управляемыхъ, ни въ какомъ случаѣ не отдѣлялось отъ государства, и дабы границы сего послѣдняго представлялись онымъ яко непремѣнныя и естественныя границы перваго... Исторія всѣхъ образованныхъ государствъ, съ самой глубокой древности и до нашихъ временъ, доказываетъ, сколь полезны бывали внушенія сего рода, не токмо въ годины бѣдствій, не перестающихъ и понынѣ періодически удручать родъ человѣческій, но и во всякое другое, благопріятное для административныхъ мѣропріятій, время. А посему ваше превосходительство не оставите обратить на сей важный предметъ ваше просвѣщенное вниманіе и въ согласность сему озаботитесь сдѣлать зависящія распоряженія, дабы въ предѣлахъ ввѣреннаго вамъ вѣдомства упомянутое чувство любви къ отечеству развивалось и охранялось со всею неуклонностью, и дабы превратнымъ толкованіямъ были пресѣчены всѣ способы къ омраченію и извращенію онаго».

Итакъ, оба друга мои сочинили по циркуляру. Отъ одного разило государственностью, въ другомъ очень осторожно, но въ то же время очень искусно былъ пущенъ запахъ подоплёки. А такъ какъ я лично оплошалъ, то есть никакого циркуляра не сочинилъ, то мнѣ оставалось только выжидать, который изъ моихъ пріятелей восторжествуетъ.

И вдругъ въ газетахъ появляется рѣчь Тейтча, которая на всѣ плѣшивцевскія махинаціи проливаетъ яркій свѣтъ!

вается ея вліяніе при отправленіи денежныхъ и натуральныхъ повинностей, ибо только при дѣятельномъ содѣйствіи его жизненнаго стимула достигается безнедоимочное поступленіе принадлежащихъ казнѣ сборовъ... То же должно сказать и о бѣдствіяхъ, которыя, въ формѣ повальныхъ болѣзней, неурожаевъ и проч., постигаютъ человѣческій родъ, и которыя поистинѣ были бы непереносимы, если-бъ бѣдствующему человѣку не являлась на помощь любовь къ отечеству, споспѣшествуемая благотворнымъ сознаніемъ, что законъ неукоснительно преслѣдуетъ людей, не умѣющихъ быть твердыми въ бѣдствіяхъ». Въ заключеніе изъявлялась надежда, «что, по всѣмъ этимъ соображеніямъ, ваше превосходительство не оставите обратить ваше просвѣщенное вниманіе на столь важный предметъ и въ согласность сему озаботитесь сдѣлать распоряженіе, дабы въ предѣлахъ ввѣреннаго вамъ вѣдомства упомянутое чувство воспитывалось и охранялось со всею неуклонностью, и дабы превратнымъ толкованіямъ были пресѣчены всѣ способы къ омраченію и извращенію онаго».

Эта бумага была плодомъ завѣтнѣйшихъ замысловъ Плѣшивцева. Онъ писалъ ее по секрету и по секрету же сообщилъ о ней лишь одному мнѣ. Читая ее, онъ говорилъ: «я здѣсь — Плѣшивцевъ! Понимаешь? Плѣшивцевъ, а не чиновникъ!» И затѣмъ, представивъ свою работу князю Ивану Семенычу, онъ даже нѣсколько побаивался за ея судьбу.

— Замѣть, братецъ,—говорилъ онъ:—о государствѣ ни одного слова! Отечество—и баста!

— Да, братъ, это — штука! — отвѣчалъ я съ своей стороны.

Тѣмъ не менѣе надежда на успѣхъ все-таки была, хотя, должно сознаться, она основывалась преимущественно на каламбурѣ. Предполагалось, что въ департаментской практикѣ нѣкоторыя выраженія до такой степени осинонимизировались, что нужно было нарочито подыскивать, чтобъ употребленная Плѣшивцевымъ тонкость могла быть понята. Къ числу такихъ однородныхъ выраженій принадлежали «отечество» и «государство», которыя въ департаментѣ употреблялись не только безразлично, но даже чередовались другъ съ другомъ, въ видахъ избѣжанія частыхъ повтореній одного и того же слова. Поэтому Плѣшивцевъ имѣлъ очень вѣскія основанія надѣяться.

— Не догадаются!—таинственно шепталъ онъ мнѣ.

— Не догадаются!—отъ всей души откликался и я.

Съ другой стороны, и Тебеньковъ не дремалъ, но тоже по секрету представилъ князю Ивану Семенычу проектъ циркуляра, о которомъ тоже сообщилъ только мнѣ. Тамъ писалось: «Любовь къ отечеству, чувство безподобное само по себѣ, пріобрѣтаетъ еще больше значенія, если взглянуть на него, какъ на одно изъ самыхъ могущественныхъ административныхъ подспорьевъ... Будучи эксплоатируемо съ осторожностью, но неукоснительно, оно незамѣтно развивается въ чувство государственности; сіе же послѣднее, содѣлывая управляемыхъ способными къ быстрому постиженію административныхъ мѣропріятій, въ значительной степени упрощаетъ механизмъ оныхъ и чрезъ то, въ ближайшемъ будущемъ, обѣщаетъ существенныя сокращенія штатовъ, при чемъ, однако-жъ, чиновники усердные и вполнѣ благонадежные не токмо ничего не потеряютъ, но даже пріобрѣтутъ... Главнѣйшее же вниманіе должно быть обращено на то, дабы отечество, въ сознаніи управляемыхъ, ни въ какомъ случаѣ не отдѣлялось отъ государства, и дабы границы сего послѣдняго представлялись онымъ яко непремѣнныя и естественныя границы перваго... Исторія всѣхъ образованныхъ государствъ, съ самой глубокой древности и до нашихъ временъ, доказываетъ, сколь полезны бывали внушенія сего рода, не токмо въ годины бѣдствій, не перестающихъ и понынѣ періодически удручать родъ человѣческій, но и во всякое другое, благопріятное для административныхъ мѣропріятій, время. А посему ваше превосходительство не оставите обратить на сей важный предметъ ваше просвѣщенное вниманіе и въ согласность сему озаботитесь сдѣлать зависящія распоряженія, дабы въ предѣлахъ ввѣреннаго вамъ вѣдомства упомянутое чувство любви къ отечеству развивалось и охранялось со всею неуклонностью, и дабы превратнымъ толкованіямъ были пресѣчены всѣ способы къ омраченію и извращенію онаго».

Итакъ, оба друга мои сочинили по циркуляру. Отъ одного разило государственностью, въ другомъ очень осторожно, но въ то же время очень искусно былъ пущенъ запахъ подоплёки. А такъ какъ я лично оплошалъ, то есть никакого циркуляра не сочинилъ, то мнѣ оставалось только выжидать, который изъ моихъ пріятелей восторжествуетъ.

И вдругъ въ газетахъ появляется рѣчь Тейтча, которая на всѣ плѣшивцевскія махинаціи проливаетъ яркій свѣтъ!

— Не пройдетъ, нечего и думать! — шепнулъ мнѣ Плѣшивцевъ еще утромъ, какъ только прочиталъ газетное извѣстіе.

Напротивъ того, Тебеньковъ сдѣлался веселѣе и самоувѣреннѣе обыкновеннаго.

— Теперь мое дѣло въ шляпѣ, — сказалъ онъ мнѣ: — придется, можетъ-быть, нѣсколько почистить: «отечества» поурѣзать да «государственности» поприпустить—и готово!

Вечеромъ мы всѣ были въ сборѣ, но долгое время, словно сговорившись, не приступали къ интересовавшему насъ предмету. Плѣшивцевъ молча ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ, ерошилъ себѣ волосы, какъ бы соображая, нельзя ли и «подоплёку» соблюсти, и рейхстагу германскому букетецъ приподнести. Я ни о чемъ особенномъ не думалъ, но въ ушахъ моихъ съ какою-то мучительною назойливостью звенѣло: вотъ тебѣ и «сѣдохомъ и плакахомъ»! Тебеньковъ тоже молчалъ, но это было молчаніе, полное торжества, и взглядъ его глазъ, и безъ того ясныхъ, сдѣлался до такой степени колючъ, что меня подиралъ морозъ по кожѣ.

— Однако чудеса на свѣтѣ дѣлаются! — сказалъ, наконецъ, я, чтобы завязать разговоръ.

— Да, братъ, ничего не подѣлаешь!—отозвался Плѣшивцевъ:—вотъ она, вотъ она, подоплёка-то, гдѣ сказалась!

— Encore cette malheureuse podoplioka!—почти воскликнулъ Тебеньковъ.

— Не прогнѣвайтесь, Александръ Петровичъ! Малёрёзъ подопліока — это такъ точно-съ! Съ канканчикомъ-съ, съ польдекоковщиной-съ, съ гнильцой-съ, съ государственнымъ обезличеніемъ-съ! Вотъ имъ, обладателямъ этой малёрёзъ подопліока, и говорятъ: не трудитесь, молъ, насчетъ отечества прохаживаться, потому что ваше отечество въ танцклассѣ у Марцинкевича... Да-съ!

— Joli!

— Жоли или не жоли, а только это такъ-съ. Съ канканчикомъ, конечно, можно еще какъ-нибудь на идею государства—вашего, Александръ Петровичъ, Тебеньковскаго государства! — набрести, ну, а отечество — это штука помудренѣе будетъ.

Я былъ смущенъ. Я зналъ, что со стороны Тебенькова оправданіе претерпѣнной Тейтчемъ неудачи не только возможно, но и вполнѣ естественно, но, признаюсь, выходка Плѣшивцева нѣсколько изумила меня.

— Какъ! и ты, Плѣшивцевъ, — воскликнулъ я: — и ты, значитъ, оправдываешь этотъ веселый хохотъ надъ человѣкомъ, огорченнымъ потерею отечества?

— Ничего, братецъ, не подѣлаешь! Когда у людей вмѣсто подоплёки канканчикъ...

— Послушай, душа моя, зачѣмъ же ты приплетаешь сюда какой-то канканчикъ? Вѣдь у французовъ не одинъ же канканъ! Есть у нихъ и своя цивилизація, и своя литература, и своя промышленность! Всего этого, право, очень достаточно, чтобы въ человѣкѣ получилось представленіе о той совокупности вещей и явленій, изъ которой выводится идея отечества! Посмотри, не прошло трехъ лѣтъ послѣ разгрома, а почти не замѣтно и слѣдовъ его! Уплатили пять милліардовъ нѣмцу, а сколько еще милліардовъ потребовалось, чтобъ собственныя внутреннія раны залѣчить! И все это совершилось воочію! Какая сила! Какое неистощимое богатство!

— И богатство есть, и фабрики, и заводы; даже полиція есть. Но чтобъ была цивилизація — вотъ съ чѣмъ никогда не соглашусь! Плоха, братъ, та цивилизація, отъ которой мертвечиной пахнетъ, въ которой жизни духа нѣтъ!

— «Жизни духа, духа жизни»!—поддразнилъ Тебеньковъ.

— Да-съ, Александръ Петровичъ, ни жизни духа, ни духа жизни — ничего, кромѣ гнили-съ! А потому и не жалуйся, гнилой человѣчишко, что его въ полонъ взяли! Не сѣтуй, не растабарывай насчетъ отечества, котораго у тебя нѣтъ!

— Но ты забываешь, что Франція въ продолженіе многихъ столѣтій была почти постоянно побѣдительницей, что французскія войска квартировали и въ Берлинѣ, и въ Вѣнѣ...

— Et Moscou donc!—озорно отозвался Тебеньковъ.

— Шишъ взяли!

— Что этотъ самый Эльзасъ, эта самая Лотарингія были когда-то нѣмецкими провинціями.

— Ну, да, и въ Берлинѣ были, и въ Вѣнѣ были, и Эльзасъ съ Лотарингіей отобрали у нѣмцевъ! Что-жъ! сами никогда не признавали ни за кѣмъ права любить отечество — пусть же не пеняютъ, что и за ними этого права не признаютъ.

— Постой, это другой вопросъ, правильно или неправильно поступили французы. Рѣчь идетъ о томъ, имѣетъ ли французъ настолько сознательное представленіе объ оте-

чествѣ, чтобы сожалѣть объ утратѣ его, или не имѣетъ его? Ты говоришь, что у французовъ вмѣсто жизни духа— одинъ канканъ; но неужели они съ однимъ канканомъ прошли черезъ всю Европу? Неужели съ однимъ канканомъ они офранцузили Эльзасъ и Лотарингію до такой степени, что провинціи эти никакого другого отечества, кромѣ Франціи, не хотятъ знать?

— Все это былъ одинъ пьяный порывъ! А вотъ какъ ихъ приперли хорошенько, да показали, что есть на свѣтѣ ружья почище шасспо̀, — на днѣ-то порыва и оказалась гниль!

— Гниль! что̀ же это за слово, однако-жъ! Третій разъ ты его повторяешь, а вѣдь, собственно говоря, это совсѣмъ не отвѣтъ, а простой восклицательный знакъ! Ты оставь метафоры и отвѣчай прямо: имѣлъ ли германскій рейхстагъ основаніе не признавать за Тейтчемъ право любить свое отечество?

— Да я съ того и началъ, что сказалъ: вотъ она, подоплёка-то! Вотъ какъ она дала себя почувствовать!

— «Подоплёка»! «Гниль»! Воля твоя, а это не разговоръ!

— Господинъ Плѣшивцевъ, конечно, полагаетъ, что чебоксарская подоплёка (Плѣшивцевъ былъ родомъ изъ Чебоксаръ) будетъ мало-мало подобротнѣе, нежели французская!—уязвилъ Тебеньковъ.

— Да-съ, подобротнѣе-съ! Чебоксарская подоплёка не деретъ глотки, а постоитъ за себя! Да-съ, постоитъ-съ! Мы, чебоксарцы, не анализируемъ своихъ чувствъ, не взвѣшиваемъ своихъ побужденій по гранамъ и унціямъ! Мы просто идемъ въ огонь и въ воду—и все тутъ! И насъ не отберутъ, какъ какихъ-нибудь эльзасцевъ-съ! Нѣтъ-съ, обожгутся-съ!

Тебеньковъ на эту діатрибу только свиснулъ въ отвѣтъ и, улегшись съ ногами на диванъ, замурдыкалъ себѣ подъ носъ изъ «m-me Angôt»:

Elle est tellement innocente
Qu'elle ne comprend presque rien!

Я тоже недоумѣвалъ. Я мысленно спрашивалъ себя, въ какой степени возможно продолженіе разговора, предметъ котораго грозитъ перейти на чебоксарскую почву? Можно ли, напримѣръ, оспаривать, что чебоксарская подоплёка добротнѣе французской? не будетъ ли это противно тѣмъ инстинктамъ отечестволюбія, которые такъ дороги моему сердцу? не разсердитъ ли это, наконецъ, Плѣшивцева, ко-

торый хоть и пріятель, а вдругъ возьметъ да и крикнетъ: караулъ! измѣна! И ничего ты съ нимъ не подѣлаешь, потому что онъ крѣпко стоитъ на чебоксарской почвѣ, а ты колеблешься! Хороши Чебоксары, прекрасенъ Наровчатъ, но когда передъ тобой начнутъ сравнивать ихъ съ Парижемъ въ ущербъ послѣднему — тебѣ все-таки совѣстно. А ему, Максиму Михайлову Плѣшивцеву, потомку майора, ѣздившаго за двѣ тысячи верстъ за севрюжиной для Потемкина, не только не совѣстно, но онъ даже цвѣтнѣе отъ этихъ сравненій дѣлается!

Тѣмъ не менѣе вопросъ, о которомъ зашла у насъ рѣчь, представлялъ для меня такой интересъ, что я рѣшился довести нашу бесѣду до конца, хотя бы даже Плѣшивцевъ и обвинилъ меня въ измѣнѣ.

— Итакъ, ты въ цѣлой Франціи, въ ея исторіи, въ ея геніи, ничего не видишь, кромѣ «La belle Hélène»?—сказалъ я вновь.

— Ничего!

— «La belle Hélène»? Mais je trouve que c'est encore très joli ça! Она познакомила нашу армію и флоты съ классическою древностью!—воскликнулъ Тебеньковъ.—Надняхъ приходитъ ко мнѣ капитанъ Потугинъ: «правда ли, говоритъ, Александръ Петровичъ, что въ древности греческій царь Менелай былъ?»—А вы, говорю, откуда узнали?—«Въ Александринкѣ, говоритъ, господина Марковецкаго на-дняхъ видѣлъ!»

— Вотъ она... французская-то цивилизація! Смотри на него, любуйся! — трагически произнесъ Плѣшивцевъ, протягивая руку по направленію Тебенькова.

— А ты хочешь отъ меня примѣровъ чебоксарской цивилизаціи! Успокойся, душа моя, ихъ много найдется и во Франціи! Есть, голубчикъ, есть! Вспомни лурдскія богомолья, вспомни парэ-ле-моніальское посвященіе Іисусову сердцу! Право, хоть сейчасъ въ Чебоксары!

— И въ самомъ дѣлѣ, — ободрился я: — вѣдь это тоже своего рода подоплёка!

— И даже едва ли не болѣе добротная, нежели чебоксарская! По крайней мѣрѣ это подоплёка, выразившаяся независимо отъ начальственныхъ поощреній, тогда какъ если вглядѣться попристальнѣе въ чебоксарскую подоплёку, то навѣрное увидишь на ней слѣды исправника или станового!

— А вѣдь это правда, что чебоксарская-то подоплёка

немного тово... какъ будто помята руками особъ, на заставахъ команду имѣющихъ... Что̀ ты скажешь на это, Плѣшивцевъ?

— Что̀ говорить? Шутить изволите—ну, и шутите!

— Хорошо. Будемъ говорить серьезно,—сказалъ Тебеньковъ.—Отбросимъ въ сторону «подоплёки», «гнили», «жизни духа» и другія метафоры, которыми ты такъ охотно уснащаешь свой разговоръ, и постараемся резюмировать сущность сказаннаго тобою по поводу похожденій господина Тейтча въ германскомъ рейхстагѣ. Эта сущность, выраженная въ грубой, но правдивой формѣ, заключается въ слѣдующемъ: человѣкъ, который въ свои отношенія къ явленіямъ природы и жизни допускаетъ элементъ сознательности, не долженъ имѣть претензіи ни на религіозность, ни на любовь къ отечеству? Est-ce ça, mon vieux!

— Ça да не ça. Сознательность бываетъ разная. Я, напримѣръ, сознаю себя русскимъ—это сознательность здоровая, сильная, освѣжающая. Но ежели сознательность родитъ Тебеньковыхъ... извини меня, я такой сознательности и уважать не могу!

— Благодарю—не ожидалъ! Такъ что, напримѣръ, ежели я не вѣрю, что будущій урожай или неурожай зависитъ отъ того, катали или не катали попа по полю въ Егорьевъ день, какъ вѣрятъ этому господа чебоксарцы, то я не могу называть себя религіознымъ человѣкомъ? Такъ вѣдь?

— Продолжайте, Александръ Петровичъ, продолжайте!

— Но вѣдь это логически выходитъ изъ всѣхъ твоихъ заявленій! Подумай только: тебя спрашиваютъ, имѣетъ ли право французъ любить свое отечество, а ты отвѣчаешь: нѣтъ, не имѣетъ, потому что онъ пріобрѣлъ привычку анализировать свои чувства, развѣшивать ихъ на унціи и граны; а вотъ чебоксарецъ—тотъ имѣетъ, потому что онъ ничего не анализируетъ, а просто идетъ въ огонь и въ воду! Стало-быть, по-твоему, для патріотизма нѣтъ лучшаго помѣщенія, какъ невѣжественный и полудикій чебоксарецъ, который и границъ своего отечества не знаетъ!

— Для того, чтобы любить родину, нѣтъ надобности знать ея географическія границы. Человѣкъ любитъ родину, потому что о ней говоритъ ему все нутро его. Въ человѣкѣ есть внутреннее чутье! Оно лучше всякаго учебника укажетъ ему тѣ границы, о которыхъ ты такъ много хлопочешь!

— То-есть, не столько «внутреннее чутье», сколько на-

чальственное распоряженіе. Скажетъ начальство чебоксарцу: вотъ городъ Золотоноша, въ которомъ живутъ все враги; любезный чебоксарецъ! возьми и предай Золотоношу огню и мечу! И чебоксарецъ исполнитъ все это.

— Врешь ты! Этого не можетъ быть!

— Это было, Плѣшивцевъ. Вспомни удѣльный періодъ, вспомни въ позднѣйшее время Тверь, Новгородъ, Псковъ...

— Это совсѣмъ не то, это были усобицы! это были внутреннія неурядицы! это...

Ясно было, что Плѣшивцевъ окончательно начинаетъ терять хладнокровіе, что онъ—вообще плохой спорщикъ—дошелъ уже до такой степени раздраженія, когда всякое возраженіе, всякій запросъ принимаютъ размѣры оскорбленія. При такомъ расположеніи духа одного изъ спорящихъ первоначальный предметъ спора постепенно затемняется, и на сцену Богъ вѣсть откуда выступаютъ всевозможныя детали, совершенно ненужныя для разъясненія дѣла. Поэтому я рѣшился напомнить друзьямъ моимъ, что полемика ихъ зашла слишкомъ далеко.

— Къ вопросу, господа!—сказалъ я.—Вопросъ заключается въ слѣдующемъ: вслѣдствіе неудачъ, испытанныхъ Франціей во время послѣдней войны, Бисмаркъ отнялъ у послѣдней Эльзасъ и Лотарингію и присоединилъ ихъ къ Германіи. Имѣетъ ли онъ право требовать, чтобы жители присоединенныхъ провинцій считали Германію своимъ отечествомъ и любили это новое отечество точно такъ, какъ бы оно было для нихъ старымъ отечествомъ?

— Не Бисмаркъ, а народъ! Понимаешь, не германское государство, которое воплощаетъ собою Бисмаркъ, а германскій народъ!

— А народъ германскій, стало-быть, имѣетъ это право?

— Имѣетъ.

— На какомъ же основаніи?

— А на томъ основаніи, что его нравственная физіономія выше, нежели нравственная физіономія какого-нибудь эльзасца, воспитаннаго въ растлѣвающей французской школѣ!

— Послушай! Но вѣдь это своего рода дарвинизмъ, своеобразный, но все-таки дарвинизмъ. По твоему мнѣнію, организмъ болѣе нравственный имѣетъ право порабощать организмъ менѣе нравственный?

— Не порабощать, а преображать, просвѣтлять. Для

развращеннаго, лишеннаго нравственной подкладки эльзасца это не порабощеніе, а просвѣтленіе. Да-съ.

— Но кто же судья въ этомъ дѣлѣ? кому принадлежитъ право рѣшать, какой организмъ болѣе нравственъ и какой организмъ менѣе нравственъ?

— Судья въ этомъ дѣлѣ — совѣсть самого болѣе нравственнаго организма, его собственное сознаніе принадлежащаго ему права и — какъ результатъ этого сознанія — успѣхъ.

— Такъ что если, напримѣръ, ты признаешь себя относительно меня и Тебенькова болѣе нравственнымъ организмомъ, то ты имѣешь право просвѣтлять насъ на всей твоей волѣ?

— Имѣю-съ.

— И нѣмцы имѣютъ право сказать эльзасцамъ: отнынѣ вы обязываетесь любить насъ?

— Имѣютъ-съ. И не только имѣютъ основаніе теоретически заявить объ этомъ правѣ, но и достигать его осуществленія. И достигнутъ-съ.

— Такъ что ежели эльзасцы будутъ продолжать упорствовать...

— То они докажутъ этимъ, что для нихъ нужна школа. И получатъ ее.

— Mais c'est juste ce que je dis: люби не люби, а подплясывай!—вставилъ Тебеньковъ.

— Но ты забылъ, душа моя, что присоединеніе Эльзаса и Лотарингіи есть результатъ войны, что шансы войны подвержены множеству случайностей; ты забылъ, что случайности эти одинаковы для всѣхъ, и что такимъ образомъ и Чебоксары могутъ подвергнуться процессу просвѣтленія... Опомнись!

— Не случайности, а пути Провидѣнія! Слышишь! Я не признаю случайностей! Я знаю только Провидѣніе!

— Но Чебоксары?..

Это былъ крикъ моего сердца, мучительный крикъ, не встрѣтившій, впрочемъ, отзыва. И я, и Плѣшивцевъ—мы оба умолкли, какъ бы подавленные однимъ и тѣмъ же вопросомъ: «но Чебоксары?!» Только Тебеньковъ попрежнему смотрѣлъ на насъ ясными, колючими глазами и втихомолку посмѣивался. Наконецъ, онъ заговорилъ:

— Господа! — сказалъ онъ: — къ удивленію моему, я съ каждымъ днемъ все больше и больше убѣждаюсь, что какъ ни безпощадна полемика, которую ведетъ противъ меня

нашъ общій другъ Плѣшивцевъ, но, въ сущности, мы ни по одному вопросу ни въ чемъ существенномъ не расходимся. Онъ требуетъ для человѣка почвы, и я требую для человѣка почвы. Онъ признаетъ, что есть извѣстныя основы, безъ которыхъ общество не можетъ существовать, и я признаю, что есть извѣстныя основы, безъ которыхъ общество не можетъ существовать. Онъ уважаетъ религію, и я уважаю религію. Онъ консерваторъ, и я консерваторъ. Разница между нами заключается въ томъ, что я употребляю нѣкоторыя выраженія, которыя не по душѣ Плѣшивцеву, а онъ употребляетъ нѣкоторыя выраженія, которыя не по душѣ мнѣ. Но смѣю думать, что это только діалектическія особенности, ибо ежели резюмировать наши убѣжденія въ кратчайшей формѣ, отрѣшивъ ихъ отъ діалектическихъ пріемовъ, а особенно ежели взять во вниманіе тѣ практическія примѣненія, которыя эти убѣжденія получаютъ, проходя сквозь горнило департамента, въ которомъ мы оба служимъ, то, право, окажется, что вся наша полемика есть не что̀ иное, какъ большое діалектическое недоразумѣніе. Мы оба требуемъ отъ массъ подчиненія, а во имя чего мы этого требуемъ—во имя ли принциповъ «порядка», или во имя «жизни духа»—право, это еще не суть важно. Blanc bonnet, bonnet blanc — вотъ и все. Слѣдовательно намъ нужно только отказаться отъ нѣкоторыхъ мудреныхъ и малоупотребительныхъ выраженій — и всѣ недоразумѣнія исчезнутъ. Не правда ли, Плѣшивцевъ? Скажи по совѣсти, вѣдь мы можемъ подать другъ другу руки?

Сказавши это, Тебеньковъ протянулъ Плѣшивцеву руку, но послѣдній не принялъ ея.

— Ну, нѣтъ! Это стара штука! — сказалъ онъ. — Это споръ старый! Онъ еще при Петрѣ начался! Тутъ не одними мудреными словами пахнетъ! Тутъ есть кое-что поглубже!

— Очень жаль, что наружное разномысліе наше должно продолжаться безъ срока, хотя, повторяю, разномысліе это чисто-наружное и отнюдь не мѣшаетъ полному внутреннему нашему единомыслію. Да, мой другъ, что̀ ни говори, а всѣ эти «подоплёки», всѣ эти «жизни духа»—все это діалектическіе пріемы того же устава благочинія, во имя котораго ратую и я. Тебѣ по сердцу «просвѣтленіе», мнѣ—«административное воздѣйствіе», но и въ томъ, и въ другомъ случаѣ, въ концѣ концовъ, все-таки прозрѣвается военная экзекуція. Тебѣ нравится московскій періодъ государства

россійскаго, мнѣ нравится петербургскій періодъ государства россійскаго, но оба и несомнѣнно мы имѣемъ въ виду одну и ту же государственность. Не правда ли?

Отвѣта на этотъ вопросъ не послѣдовало.

— Итакъ, будемъ продолжать. Ты говоришь: эльзасъ-лотарингцы обязываются примириться съ тѣмъ положеніемъ, въ которое поставили ихъ результаты войны, и не имѣютъ права ссылаться на старое отечество, когда сила обстоятельствъ подарила ихъ отечествомъ новымъ. Я говорю: эльзасъ-лотарингцы обязываются примириться съ тѣмъ положеніемъ, въ которое поставили ихъ результаты войны, и не имѣютъ права ссылаться на старое отечество, когда сила обстоятельствъ подарила ихъ отечествомъ новымъ. Воля твоя, но мы говоримъ совершенно одно и то же!

— Ты позабылъ исходные пункты... малость!

— То-есть, нѣкоторые діалектическіе пріемы...

— Нѣтъ, не діалектическіе пріемы, а исходные пункты! Понимаешь! Исходные пункты!

— Ну, да, я ихъ-то и называю діалектическими пріемами. Потому что если-бъ наши исходные пункты были дѣйствительно разные, то и результаты ихъ были бы разные. Но этого нѣтъ. А слѣдовательно, при одинаковыхъ результатахъ, какая же надобность знать, откуда кто отправляется: съ Плющихи ли въ столичномъ городѣ Москвѣ, или съ Офицерской въ столичномъ городѣ Петербургѣ?

Это было ясно. Въ сущности, откуда бы ни отправлялись мои друзья, но они, незамѣтно для самихъ себя, фаталистически всегда пріѣзжали къ одному и тому же выходу, къ одному и тому же практическому результату. Но это была именно та «поганая» ясность, которая всегда такъ глубоко возмущала Плѣшивцева. Признаюсь, на этотъ разъ она и мнѣ показалась не совсѣмъ умѣстною.

— Къ дѣлу, Тебеньковъ, къ дѣлу,—сказалъ я:—говори, правы ли, по твоему мнѣнію, члены германскаго рейхстага, такъ весело насмѣявшіеся надъ Тейтчемъ?

— То-есть, вотъ видишь ли: я никогда не одобряю неделикатности, и, по мнѣнію моему, смѣяться надъ огорченнымъ человѣкомъ во всякомъ случаѣ непростительно. C'est bourgeois, c'est mesquin. Но я не могу все-таки не сказать, что въ настоящемъ случаѣ смѣхъ имѣетъ въ свою пользу смягчающія обстоятельства. Помилуй! что же можетъ быть постылѣе, какъ назойливость по поводу выѣденнаго яйца! Люди занимаются дѣломъ, обсуждаютъ новый

законъ о книгопечатаніи, предпринимаютъ реорганизацію армій и флотовъ, а къ нимъ лѣзутъ съ протестами противъ безповоротнаго удара судьбы!

— Но какъ же все это согласить съ тѣмъ... ну, съ тѣмъ циркуляромъ... въ которомъ любовь къ отечеству...

— Ah! mais entendons-nous, mon cher! Отечество любить обязательно, но необходимо все-таки объяснить себѣ, что̀ такое это обязательно любимое отечество?

— Что̀ же, по-твоему, это отечество?

— Eh bien, nous y arrivons. Возражая Плѣшивцеву, я упомянулъ о необходимости имѣть точныя свѣдѣнія о географическихъ границахъ. По моему мнѣнію, вотъ вещь, необходимая для совершенно яснаго опредѣленія предѣловъ вѣдомства любви къ отечеству, вотъ вещь, безъ точнаго знанія которой мы всегда будемъ блуждать впотьмахъ.

— Но это ужасно! Стало-быть, если граница Россіи идетъ до Эмбы, я долженъ любить ее до Эмбы, а ежели эта граница идетъ только до Урала, то я долженъ любить только до Урала.

— C'est triste, mais c'est vrai.

— Но Чебоксары?! Опомнись, душа моя! Вѣдь географическія границы—дѣло наживное! Вѣдь такимъ образомъ Ветлуга, Малмыжъ, Чебоксары...

На этомъ нашъ разговоръ кончился. Мы пожали другъ другу руки и разошлись. Но я увѣренъ, что даже въ холодной душѣ Тебенькова не разъ послѣ этого шевельнулся вопросъ:

— Но Чебоксары?!

XV.—Въ погоню за идеалами.

Ежели мы, русскіе, вообще имѣемъ довольно смутныя понятія объ идеалахъ, лежащихъ въ основѣ нашей жизни, то особенною безалаберностью отличается наше отношеніе къ одному изъ нихъ, и самому главному—къ государству. Даже люди культуры, какъ-то предводители дворянства, члены земскихъ управъ и вообще представители такъ-называемыхъ дирижирующихъ классовъ—и тѣ какъ-то нерѣшительно и до крайности разнообразно отвѣчаютъ на вопросъ: что̀ такое государство? Одни смѣшиваютъ его съ отечествомъ, другіе—съ закономъ, третьи—съ казною,

четвертые — громадное большинство — съ начальствомъ. Одни, чтобъ отдѣлаться отъ вопроса, прибѣгаютъ къ нагляднымъ примѣрамъ: Швеція — государство, Великобританія—государство, Франція—государство и проч. Другіе говорятъ: государство! смѣшно даже спрашивать, что̀ такое государство! Третьи таращатъ глаза, точно ихъ сейчасъ разбудили. А если, сверхъ того, предложить еще вопросъ: какую роль играетъ государство въ смыслѣ развитія и преуспѣянія индивидуальнаго человѣческаго существованія, то отвѣтомъ на это просто-на̀-просто является растерянный видъ, сопровождаемый несмысленнымъ бормотаніемъ. Однимъ словомъ, изъ всего видно, что выраженіе «государство» даже въ понятіяхъ массы культурныхъ людей не представляетъ ничего опредѣленнаго, а просто принадлежитъ къ числу словъ, случайно вошедшихъ въ общій разговорный языкъ и силою привычки укоренившихся въ немъ. А такъ какъ съ подобнаго рода словами обыкновенно обращаются очень неряшливо, то выходитъ, что выраженіе, само по себѣ требующее опредѣленія, дѣлается, вслѣдствіе частаго употребленія, опредѣляющимъ, дающимъ окраску цѣлой совокупности жизненныхъ подробностей. Изъ коренного слова «государство» являются производныя: «государственность», «государственный», которыми предводители дворянства щеголяютъ въ клубахъ и на земскихъ собраніяхъ безъ малѣйшаго стѣсненія, точно такъ, какъ бы слова эти были совершенно для нихъ понятны.

Но ежели такая смута въ понятіяхъ о государствѣ господствуетъ въ дирижирующихъ классахъ общества, то что̀ же должны мы ожидать отъ непросвѣщенной черни! Увы! здѣсь представленіе объ этомъ важномъ предметѣ уже до такой степени отсутствуетъ, что трудно даже вообразить себѣ простолюдина, произносящаго слово: «государство». Простолюдинъ, конечно, знаетъ, что надъ нимъ поставленъ становой приставъ, и что въ извѣстные сроки онъ обязанъ уплачивать подати и повинности; но какую роль во всемъ этомъ играетъ государство—этого онъ не знаетъ. Въ этомъ отношеніи передъ нимъ вѣчно стоитъ какое-то загадочное пространство, въ которое онъ тревожно вперяетъ взоры, но ничего, кромѣ станового и повинностей, различить не можетъ.

Благодаря этой путаницѣ, мы вспоминаемъ о государствѣ (и даже не о государствѣ, въ собственномъ смыслѣ этого слова, а о чемъ-то подходящемъ къ нему) лишь

тогда, когда насъ требуютъ въ участокъ для расправы. Что же касается до обыденной жизненной практики, то, кромѣ профессоровъ, читающихъ съ каѳедры лекціи государственнаго права, да школьниковъ, обязанныхъ слушать эти лекціи, врядъ ли кто-нибудь думаетъ о той высшей правдѣ, осуществленіемъ которой служитъ государство и служенію которой должна быть всецѣло посвящена жизнь обывателей. Всякій живетъ и прозябаетъ по-своему, самъ по себѣ, и дѣлаетъ свое маленькое дѣло совершенно независимо отъ государственныхъ соображеній. Сапожнику, тачающему сапоги, даже и на умъ никогда не придетъ, что его работа (да и вообще вся его жизнь) имѣетъ какое-нибудь отдаленное отношеніе къ тому общему строю вещей, которое носитъ названіе государства. Много-много, ежели онъ сознаетъ связь своей жизни съ мѣстнымъ квартальнымъ надзирателемъ, да и то не съ квартальнымъ надзирателемъ вообще, а именно съ Иваномъ Иванычемъ, который поступилъ на мѣсто Петра Петровича и увеличилъ дани вдвое! Поэтому въ такихъ захолустьяхъ, куда квартальные не заглядываютъ вовсе, обыватели доходятъ до того, что вспоминаютъ о своей прикосновенности къ чему-то болѣе обширному и для нихъ загадочному только въ минуты уплаты повинностей. И вспоминаютъ, конечно, невесело. Въ городахъ и въ мѣстахъ болѣе населенныхъ эта неряшливость сказывается, конечно, въ меньшей степени; но вѣдь и здѣсь, какъ уже упомянуто выше, руководящею нитью обывательской жизни все-таки служатъ взгляды и требованія ближайшаго начальства, а отнюдь не мысль о государствѣ. Да и сами квартальные надзиратели — развѣ они, заставляя, напримѣръ, обывателей очищать дворы отъ навоза, сознаютъ, что этимъ удовлетворяютъ высшей правдѣ, осуществляемой государствомъ? Нѣтъ; они исполняютъ это, во-первыхъ, потому, что такъ приказываетъ начальство, и, во-вторыхъ, потому, что выполненіе приказаній начальства есть ихъ ремесло. А на вопросъ: что̀ такое государство, и они могутъ точно такъ же, какъ и прочіе обыватели, отвѣчать только вздрагиваніемъ. Начальство же съ своей стороны...

Здѣсь я остановлюсь. Я знаю, мнѣ могутъ сказать, что я отсталъ отъ своего вѣка, что то, что̀ я говорю объ отсутствіи чувства государственности въ квартальныхъ надзирателяхъ, относится къ дореформенному времени, и что, напротивъ того, нынѣшнее поколѣніе квартальныхъ надзи-

рателей очень тонко понимаетъ, чему оно служитъ и какой идеи является представителемъ. На это я могу отвѣтить слѣдующее: я не выдаю своихъ мнѣній за безусловно истинныя и первый буду очень радъ успѣхамъ господъ квартальныхъ надзирателей на поприщѣ государственности, ежели успѣхи эти будутъ доказаны. Но, признаюсь откровенно, я боюсь, что упомянутое сейчасъ возраженіе основано на недоразумѣніи, и что характеристическою чертою настоящаго времени является не столько знаніе интересовъ и нуждъ государства и безкорыстное служеніе имъ, сколько самоувѣренная и хлёсткая болтовня, сопровождаемая знаніемъ, гдѣ раки зимуютъ, и надеждою на повышеніе. Согласитесь, что между тѣмъ и другимъ имѣется разница довольно существенная.

А между тѣмъ путаница въ понятіяхъ производитъ путаницу и въ практической жизни. Тутъ мы на каждомъ шагу встрѣчаемся и съ взяточничествомъ, и съ наглѣйшимъ обираніемъ казны, и съ полнымъ равнодушіемъ къ уплатѣ податей, и, наконецъ, съ особымъ явленіемъ, извѣстнымъ подъ именемъ сепаратизма. И все—слѣдствіе неясности нашихъ представленій о государствѣ.

Обратитесь къ первому попавшемуся на глаза чиновнику-взяточнику и скажите ему, что дѣйствія его дискредитируютъ государство, что по милости его страдаетъ высшая идея правды и справедливости, оберегать которую призванъ сенатъ и государственный совѣтъ,—онъ посмотритъ на васъ такими удивленными глазами, что вы навѣрное скажете себѣ: да, этотъ человѣкъ беретъ взятки единственно потому, что онъ ничего не слыхалъ ни о государствѣ, ни о высшей идеѣ правды и справедливости. И дѣйствительно, все, что̀ онъ знаетъ по этому предмету, заключается лишь въ слѣдующемъ: 1) что дѣйствія его противорѣчатъ такой-то статьѣ уложенія о наказаніяхъ и, буде достаточно изобличены, подлежатъ такой-то карѣ; 2) что прежде, нежели подпасть этой карѣ, нужно его судить, а прежде нежели судить, нужно еще предать суду; 3) что, слѣдовательно, взятки нужно брать съ осторожностью, а паче всего надѣяться на милосердіе начальства, отъ котораго зависитъ преданіе суду. Спрашивается: при чемъ же тутъ государство?

То же самое замѣчаніе, и даже съ бо̀льшимъ основаніемъ, можетъ быть примѣнено и къ той категоріи преступныхъ дѣйствій, которая извѣстна подъ названіемъ казнокрадства.

Государство такъ часто продается за грошъ, и при томъ такъ простодушно продается, что даже исторія уже не слѣдитъ за подобными дѣяніями и не заноситъ ихъ на свои скрижали. Была горькая година въ жизни Россіи—година, во время которой шла рѣчь о ея значеніи въ сонмѣ европейскихъ государствъ и подвергалась сомнѣнію ея военная слава. И что-жъ! въ это самое время находились люди, которые ставили ополченцамъ сапоги съ картонными подметками, продавали въ свою пользу воловъ, пожертвованныхъ на мясную порцію для нижнихъ чиновъ, снабжали солдатъ кремневыми ружьями, въ которыхъ вмѣсто кремня была вставлена выкрашенная чурочка, и т. д. И въ то же время эти люди не только не имѣли злодѣйскаго вида, но и сами себя не считали злодѣями. Они пили, ѣли, провозглашали тосты, устраивали фестивали и даже очень искренно молились въ церквахъ о ниспосланіи побѣды и одолѣнія тѣмъ самымъ ратникамъ, которыхъ сейчасъ спустили по морозцу на картонныхъ подошвахъ. Ужели можно предположить, что, поступая такимъ образомъ, эти люди понимали, что они обездоливаютъ и продаютъ то самое государство, которое ихъ пріютило, поставило подъ защиту своихъ законовъ и даже дало средство нажиться? Нѣтъ, предположить это—значило бы допустить въ людяхъ такую нравственную одичалость, которая сдѣлала бы немыслимымъ существованіе человѣческаго общества. Скорѣе всего упомянутые казнокрады отъ того такъ дѣйствовали, что не имѣли никакого понятія ни о ключахъ отъ храма гроба Господня, ни объ устьяхъ Дуная, которыми разрѣшался вопросъ о ключахъ, ни объ отношеніи этихъ вопросовъ къ русскому государству. Они дѣйствовали совершенно простодушно, полагая, что обездоливаютъ совсѣмъ не государство, а только казну. А о казнѣ-матушкѣ даже пословица такая сложилась, которая доказываетъ, до какой степени велико ея долготерпѣніе.

Затѣмъ, что̀ касается уплаты податей и повинностей, то всѣ плательщики на этотъ счетъ единодушны. Всѣ уплачиваютъ, что̀ нужно, и втайнѣ все-таки думаютъ, что не платить было бы не въ примѣръ лучше. Рѣдкій понимаетъ, что своевременное и безнедоимочное очищеніе окладныхъ листовъ есть дѣло государственной важности; большинство же исповѣдуетъ то мнѣніе, что казна и безъ того богата.

Наконецъ, если мы всмотримся ближе въ причины, обусловливающія такое явленіе, какъ сепаратизмъ, то легко

увидимъ, что и тутъ главную роль играетъ неясность понятій о государствѣ: многіе смѣшиваютъ понятіе о государствѣ съ понятіемъ о родинѣ и даже о родной колокольнѣ; другіе приходятъ въ смущеніе вслѣдствіе частыхъ измѣненій государственныхъ граничныхъ рубежей. И ежели для вразумленія первыхъ достаточно домашнихъ мѣръ, то вторые не мало-таки причиняютъ безпокойствъ серьезнымъ людямъ, завѣдующимъ дѣлами Европы. Достаточно указать на такія мѣстности, какъ альпійское побережье Средиземнаго моря, Шлезвигъ и, наконецъ, Эльзасъ и Лотарингія. Всѣ эти мѣстности кишатъ людьми, которые, несмотря на увѣренія, что понятіе о государствѣ есть понятіе безразличное, независимое ни отъ національностей, ни даже отъ историческихъ преданій, никакъ не могутъ понять, почему они обязаны съ такого-то момента считать *своимъ* государствомъ Францію, а не Италію, Германію, а не Данію и не Францію. Единственное въ этомъ отношеніи исключеніе составляетъ Ташкентъ, но и то не потому, чтобы тамъ идеи о государствѣ были очень ясны, но потому, что правда, осуществлявшаяся въ лицѣ автобачей, не въ примѣръ менѣе доброкачественна, нежели правда, олицетвореніемъ которой явились русскіе уѣздные исправники.

Однимъ словомъ, какъ-то выходитъ, что мы точно съ такимъ же правомъ называемъ себя членами государства, съ какимъ пустосвяты называютъ себя людьми религіи. Конечно, такое положеніе вещей не составляетъ новости (и въ прежнія времена, въ этомъ отношеніи, не лучше было), но ново то, что оно начинаетъ пробуждать пытливость человѣческаго ума. Покуда люди «жили безъ тоски, безъ думы роковой», до тѣхъ поръ и столпы стояли твердо и прямо. Становые брали взятки, подрядчики надували и обирали казну, крестьяне копили недоимки, сепаратисты говорили: «нѣтъ, никогда москалямъ не пивать такихъ водокъ, какъ наши малороссійскія сливянка и запеканка!»—и за всѣмъ тѣмъ никому не проходило на мысль, что отъ этого можетъ страдать государство. Но вотъ консерваторы первые замѣтили, что есть въ этомъ положеніи вещей что-то неладное, и, разумѣется, приписали это интригамъ злонамѣренныхъ людей. Это было съ ихъ стороны и неосторожно, и неполитично. Консерваторы лучше другихъ должны были понимать, что есть вещи, которыя слѣдуетъ молчаливо оставлять предметомъ боязливаго культа, даже и въ такомъ случаѣ, если-бъ интрига (притомъ же существующая

только въ воображеніи) и дѣйствительно направляла противъ нихъ свое жало.

Но особенную дикость понятій относительно значенія слова «государство» выказываютъ у насъ женщины. Вообще онѣ у насъ бойки только по части разговора о томъ, какое чувство слаще—любовь или дружба, или о томъ, какую роль игралъ кринолинъ въ исторіи женскаго преуспѣянія. Тѣмъ не менѣе, ежели вы спросите, напримѣръ, княжну Оболдуй-Тараканову, на какую монету купецъ дастъ больше яблокъ—на гривенникъ или на цѣлковый, то, быть-можетъ, найдутся свѣтлыя минуты, когда она и отвѣтитъ на этотъ вопросъ. Но спросите и ее: что̀ такое государство—и она, во-первыхъ, струситъ, а во-вторыхъ, заподозритъ въ васъ или демагога, или шпіона. Она не только ничего тутъ не понимаетъ, но и считаетъ лишнимъ понимать. И въ своей обыденной жизни поступаетъ совершенно такъ, какъ бы не была связана никакими государственными узами.

А между тѣмъ, замѣтьте, княжна—совсѣмъ не рядовая дѣвица изъ тѣхъ, которыя хохочутъ, когда имъ показываютъ палецъ (имена ихъ Ты, Господи, вѣси!). Нѣтъ, было время, когда она называла себя консерваторкой и въ этомъ качествѣ дѣлала изъ окна ручкой проѣзжему кавалергарду и выходила гулять не иначе, какъ въ сопровожденіи ливрейнаго лакея. Теперь она называетъ себя нигилисткой и въ согласность съ этимъ постукиваетъ по тротуару каблучками, говоритъ о трудовой жизни и кавалергардовъ называетъ «пустоплясами». Стало-быть, на ней все-таки что-нибудь да отражается, и она понимаетъ, что выражать собою нѣчто—пріятнѣе, нежели не выражать ровно ничего. Но ежели даже такая женщина, какъ княжна Оболдуй-Тараканова, не можетъ дать себѣ надлежащаго отвѣта ни въ томъ, что̀ она охраняетъ, ни въ томъ, что̀ отрицаетъ, то что̀ же можно ждать отъ того несмѣтнаго легіона обыкновенныхъ женщинъ, изъ котораго, безъ всякой предвзятой мысли, но съ изумительнымъ постоянствомъ бросаются палки въ колеса человѣческой жизни? Нѣсколько примѣровъ, взятыхъ изъ обыденной жизненной практики, лучше всего отвѣтятъ на этотъ вопросъ.

Въ молодости я зналъ одну почтенную старушку (фамилія ея была Терпугова), обладательницу значительнаго имѣнія и большую охотницу до гражданскихъ процессовъ, которая до смерти своей прожила въ полномъ невѣдѣніи о

«государствѣ», несмотря на то, что самъ губернаторъ, встрѣчаясь съ нею, считалъ долгомъ цѣловать у нея ручку. И ни домашнее ея хозяйство, ни душевная ясность ея никогда не потерпѣли ни малѣйшаго ущерба отъ этого пробѣла. Она жила, распоряжалась, кормила чиновниковъ обѣдами, выдавала беременныхъ дѣвокъ замужъ за мужиковъ въ дальнія деревни, содержала цѣлую стаю приказныхъ, которые именемъ ея вели тяжебныя дѣла въ судахъ, и никогда ей даже на мысль не приходило, что она живетъ и дѣйствуетъ такимъ образомъ—въ государствѣ.

Однажды пріѣзжаетъ къ ней въ побывку сынъ, молодой человѣкъ, только пять лѣтъ тому назадъ покинувшій школьную скамью, и объявляетъ, что онъ уже получилъ мѣсто оберъ-секретаря въ сенатѣ.

— Я, маменька, хоть и молодъ,—похвастался онъ:—но начальство любитъ и отличаетъ меня. Теперь я въ своей экспедиціи—все. Сенаторы будутъ дремать, а всѣ дѣла буду рѣшать—я! Согласитесь сами, что въ двадцать пять лѣтъ—это штука не маленькая!

— Ну, вотъ и слава Богу!—отвѣчала почтенная старушка:—теперь, стало-быть, ты какъ захочешь, такъ и будешь рѣшать! А у меня кстати съ птенцовскими мужиками дѣло объ лугахъ идетъ; двадцать лѣтъ длится—ни взадъ, ни впередъ! То мнѣ отдадутъ во владѣнье, то опять у меня отнимутъ и имъ отдадутъ. Да этакъ разъ съ десять ужъ. А теперь, по крайности, хоть конецъ будетъ: какъ тебѣ захочется, такъ ты и рѣшишь.

Какъ ни упоенъ былъ молодой человѣкъ собственнымъ величіемъ, но и у него отъ маменькиныхъ словъ дыханіе въ зобу сперло.

— Помилуйте, маменька!—воскликнулъ онъ:—вѣдь я не за тѣмъ оберъ-секретаремъ сдѣланъ, чтобы свои дѣла въ свою пользу рѣшать! Вѣдь меня за это...

— А ты, мой другъ, потихоньку! Разумѣется, со всякимъ встрѣчнымъ о такихъ дѣлахъ не слѣдъ болтать, а такъ, слегка, какъ будто тебя некасающе...

— Некасающе! Да самъ-то я буду же знать! Ахъ, маменька, маменька! я вѣдь не личнымъ своимъ интересамъ, а государству служу.

— Такъ что-жъ, что государству! Государство—само по себѣ, а свои дѣла—сами по себѣ. Объ своихъ дѣлахъ всякій долженъ радѣть: грѣхъ великій у того на душѣ, который объ устройствѣ своемъ не печется! Ты знаешь ли, что

въ Писаніи-то сказано: имущему прибавится, а у неимущаго и послѣднее отнимется!

— Да, но вѣдь это, голубушка, совсѣмъ не въ томъ смыслѣ сказано!

— Въ томъ ли смыслѣ, или въ другомъ—это какъ хочешь, такъ и можешь понимать. А только я всегда, и какъ мать, и какъ христіанка, скажу: кто о своихъ дѣлахъ не радѣетъ, тотъ и Богу не слуга.

На первый разъ разговоръ этимъ кончился. Но такъ какъ за нимъ скрывались интересы очень существенные, то онъ возобновился и на другой день, и вообще повторялся въ теченіе всѣхъ двадцати восьми дней, покуда длился отпускъ Терпугова. Молодой человѣкъ нарочно пріѣхалъ къ старухѣ-матери, чтобъ обрадовать ее своимъ возвышеніемъ, и вдругъ, вмѣсто радости, чуть-было не сдѣлался причиной цѣлаго семейнаго переполоха! Тщательно старался онъ втолковать старухѣ, что̀ такое государство и почему чувство государственности должно имѣть верхъ надъ чувствомъ индивидуализма—почтенная женщина на всѣ его толкованія отвѣчала одними и тѣми же словами:

— Знаю я, батюшка! Десять лѣтъ сряду за убылыя души плачу—очень хорошо знаю! Кого въ солдаты, кого въ ратники взяли, а кто и самъ собой померъ, а я плати да плати! Россія-матушка—вотъ тебѣ и государство! Не маленькая я, что ты меня этимъ словомъ тычешь! Знаю, ахъ, какъ давно я его знаю!

— Но ежели вы, маменька, знаете...

— Знаю и все-таки говорю: государство тамъ какъ хочетъ, а свои дѣла впереди всего! А объ птенцовскихъ лугахъ такъ тебѣ скажу: ежели ты ихъ себѣ не присудишь, такъ лучше и усадьбу, и хозяйство—все зараньше нарушь! Плохо, мой другъ, то хозяйство, гдѣ скота заведено пропасть, а кормить его нечѣмъ!

Кончилось тѣмъ, что восторжествовалъ все-таки индивидуализмъ, а государственность должна была уступить. Правда, что Терпуговъ оставлялъ поле битвы понемногу; сначала просто потому, что говорить о пустякахъ не стоило, потомъ потому, что надо же старушку чѣмъ-нибудь почтить, но, наконецъ, разговаривая, и самъ вошелъ во вкусъ птенцовскихъ луговъ.

— А что̀, въ самомъ дѣлѣ,—разсудилъ онъ:—вѣдь безъ птенцовскихъ луговъ, пожалуй, и плохо придется! Ну, самъ я, положимъ... ну, конечно, я самъ ни за что̀!.. А кого бы,

однако-жъ, попросить, чтобъ это дѣло направить? То-то старушка обрадуется!

И дѣйствительно, года черезъ два процессъ о птенцовскихъ лугахъ былъ конченъ...

Другой примѣръ.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ женился мой однокашникъ и другъ, Володя Гороховъ. Жена его—очень милая особа, только-что вышедшая изъ института (съ шифромъ) и наивная до безконечности. Однако медовый мѣсяцъ ей понравился. Къ сожалѣнію, Гороховъ состоитъ на государственной службѣ и, въ качествѣ столоначальника департамента пренонъ, очень хорошо помнитъ мудрое изреченіе: «дѣлу—время, потѣхѣ—часъ». Это изреченіе имѣлъ онъ въ виду и при женитьбѣ, а именно: выпросился въ двадцативосьмидневный отпускъ съ тѣмъ, чтобы всецѣло посвятить это время потѣхѣ, а затѣмъ съ свѣжею головой приняться за дѣло.

Сказано—сдѣлано. На двадцать девятый день, утромъ, проснулась Наденька Горохова—хвать, мужа простылъ и слѣдъ! Живо надѣла она на босу-ногу туфельки и въ одной кофточкѣ тихо-тихо подкралась къ мужнину кабинету. О, ужасъ! онъ сидѣлъ за письменнымъ столомъ совсѣмъ одѣтый и строчилъ докладную записку «о мѣрахъ къ пресѣченію распространенія идей между инородцами, населяющими Мамадышскій уѣздъ». И передъ нимъ, и по обоимъ бокамъ лежали развернутыя объемистыя дѣла, въ которыя онъ заглядывалъ съ видимымъ нетерпѣніемъ, какъ будто они стѣсняли полетъ его административной фантазіи. Но что̀ важнѣе всего—онъ до такой степени углубился въ свою работу, что не только не *почувствовалъ* присутствія Наденьки, но даже не слыхалъ приближенія ея шаговъ.

На одно мгновеніе въ бѣлокурой головкѣ Наденьки промелькнула мысль: обидѣться ей или нѣтъ? Но, къ чести ея, должно сказать, что она перемогла себя и не обидѣлась. Потихоньку, на цыпочкахъ, приблизилась она къ креслу, на которомъ сидѣлъ мужъ, и зажала ему глаза своими крошечными ручками. Сюрпризъ засталъ Володю немного врасплохъ (въ эту минуту онъ только-что началъ загибать фразу: «слѣдовательно, сжели съ одной стороны злоумышленники...»), и на мгновеніе онъ даже поморщился. Но именно только на одно мгновеніе, потому что тотчасъ же вслѣдъ за этимъ онъ очень нѣжно отнялъ отъ глазъ ручки жены, поцѣловалъ ихъ и тономъ радостнаго изумленія сказалъ:

— Какъ, ты ужъ и встала, Наденька?

— И онъ говоритъ это... безсовѣстный! Ушелъ—и думаетъ, что я не почувствую! А какъ мнѣ, Володька, безъ тебя было холодно! Сейчасъ же бери меня на колѣни и согрѣй!

— Но, Наденька, ты знаешь... Сегодня срокъ моему отпуску; я долженъ явиться въ департаментъ, и вотъ докладная записка...

— Уже?!—воскликнула Наденька.

Только всего она и сказала, но въ голосѣ ея звучало такое горе, что Гороховъ тревожно взглянулъ на нее. На голубыхъ ея глазахъ дрожали двѣ маленькія слезинки, щечки пылали, ротъ полураскрылся подъ вліяніемъ горестнаго изумленія. Словомъ сказать, никогда она не была такъ очаровательна. Но Гороховъ былъ столоначальникъ всѣмъ естествомъ своимъ, и притомъ такой столоначальникъ, который съ минуты на минуту ждалъ, что его позовутъ въ кабинетъ директора и скажутъ: «не хотите ли мѣсто начальника отдѣленія?» Поэтому, даже въ такую опасную минуту, когда кофточка на груди у Наденьки распахнулась,—даже и тогда онъ не могъ выжать изъ своихъ мозговъ иной мысли, кромѣ: дѣлу—время, потѣхѣ—часъ. Тѣмъ не менѣе онъ понялъ, что нужно же какъ-нибудь утѣшить это милое дитя, которое такъ скоро зябнетъ въ его отсутствіи. Поэтому онъ шутливо искривилъ губы и сказалъ:

— А ты какъ думала, дурочка? Вѣдь я на государственной службѣ состою и слѣдовательно несу извѣстныя обязанности. Государство, мой другъ, не шутитъ. Оно уволило меня на двадцать восемь дней, а двадцать девятый день требуетъ, чтобъ я былъ на своемъ посту. Ступай же, ангелъ мой, и постарайся заснуть! Въ десять часовъ я тебя разбужу, ты нальешь мнѣ чаю, а въ одиннадцать часовъ я беру шляпу и спѣшу въ департаментъ!

Но она стояла неподвижно, раскрывши глазки, въ которыхъ словно застыли двѣ слезинки, появившіяся еще въ началѣ семейной сцены. Казалось, она ровно ничего не понимала въ томъ сумбурѣ, который бормоталъ ея мужъ.

— Неужели?!—тихо шептала она, покуда мужъ разводилъ свою канитель.

— Что̀ такое: «неужели»?—обидѣлся онъ.

— Неужели ты уже промѣнялъ меня... *меня!*.. на эти дрянныя бумаги?—вырвался изъ груди ея вопль.

— Но неужели же ты не можешь понять, что сегодня истекаетъ срокъ моему отпуску? Наденька! да пойми же меня, мой другъ! Я состою на службѣ; я служу не какому-нибудь частному лицу, а государству... Государству, голубчикъ мой, государству!

— Ахъ, это противное государство!

Гороховъ улыбнулся и обнялъ Наденьку за талію. Онъ понималъ тайну Наденькиныхъ восклицаній и не безъ основанія надѣялся, что съ той минуты, какъ она назвала государство «противнымъ», дѣло непремѣнно должно пойти на ладъ. И дѣйствительно, какъ только Наденька почувствовала, что онъ гладитъ ее по спинѣ, такъ тотчасъ же всѣ ея сомнѣнія разсѣялись. Черезъ минуту она уже обвила руками его шею и говорила:

— Володька! Гадкій! Противный! Не смѣй бумагами заниматься! Цѣлуй меня крѣпче... вотъ такъ!

Это было такъ мило, что даже вошедшій въ эту минуту въ кабинетъ лакей Иванъ—и тотъ не могъ удержаться, чтобъ не улыбнуться.

На этотъ разъ размолвка кончилась благополучно. Правда, что Гороховъ, вмѣсто надлежащихъ развитій, наскоро закончилъ свой докладъ такъ: «посему я полагаю раздѣлить сихъ людей на три категоріи: первую—разорить, вторую—расточить, третью—выдержавъ при полиціи, водворить въ мѣста жительства подъ строгій надзоръ. И тогда край несомнѣнно процвѣтетъ»,—но все-таки онъ поспѣлъ въ департаментъ какъ разъ за пять минутъ до того, какъ прибылъ туда директоръ. Директоръ принялъ его милостиво, пристально посмотрѣлъ ему въ глаза, какъ будто отыскивалъ тамъ слѣды чего-то, и, взявъ изъ его рукъ докладную записку, дружески молвилъ:

— Впрочемъ, я думаю, едва ли вы были въ состояніи дать моимъ мыслямъ надлежащее развитіе. Въ вашемъ положеніи... столь важная перемѣна въ жизни... Поздравляю васъ, мой другъ! Отъ души поздравляю!

Несмотря на такой исходъ, государственная карьера Горохова была уже подорвана. Миръ былъ заключенъ, но на условіяхъ очень и очень нелегкихъ. Наденька потребовала, во-первыхъ, чтобъ въ кабинетѣ мужа была поставлена кушетка; во-вторыхъ, чтобъ Володька, всякій разъ, какъ идетъ въ кабинетъ заниматься, переносилъ и ее туда на рукахъ и клалъ на кушетку, и, въ-третьихъ, чтобы Володька, всякій разъ, какъ Наденькѣ вздумается, сейчасъ же

бросалъ и свои гадкія бумаги, и свое противное государство, и садился къ ней на кушетку.

Понятно, что при такомъ положеніи вещей никакія идеи надлежащаго развитія получить не могли.

Результатъ оказался плачевный. Мало-по-малу Гороховъ совсѣмъ утратилъ довѣріе начальства, а вмѣстѣ съ тѣмъ и надежду на полученіе мѣста начальника отдѣленія. И вотъ на-дняхъ встрѣчаю я его на Невскомъ: идетъ сумрачный, повѣсивъ голову, какъ человѣкъ, у котораго на душѣ скребутъ мыши, но который въ то же время уже принялъ неизмѣнное рѣшеніе.

— Поздравь меня! Я сейчасъ въ отставку подалъ!— сказалъ онъ мнѣ.

— Что̀ такъ? Помилуй, вотъ чего бы я никогда не ожидалъ! Такая блестящая карьера предстояла впереди — и вдругъ!

— Карьера моя... то, бишь, семейное мое положеніе... фу, ты! Словомъ сказать, не клеится тутъ что-то, мой другъ! Быть-можетъ, впослѣдствіи... со временемъ... Прощай, голубчикъ!

И такимъ образомъ, благодаря Наденькѣ, государство лишилось одного изъ лучшихъ слугъ своихъ. И на этотъ разъ узкій индивидуализмъ побѣдилъ государственность. Спрашивается: могла ли бы Наденька такимъ образомъ поступать, если бы въ институтѣ ей было своевременно преподано ясное и отчетливое понятіе о томъ, что̀ такое государство? Но—увы!—не о государствѣ и его требованіяхъ толковали ей, а на всѣ лады пѣли:

L'amour—qu'est que c'est que ça, mam'zelle?
L'amour—qu'est que c'est que ça?

И вотъ плоды.

Третій примѣръ.

Кормилицу мою, семидесятилѣтнюю старуху Домну, Богъ благословилъ семействомъ. Двѣнадцать человѣкъ дѣтей у нея, все—сыновья, и всѣ какъ на подборъ—одинъ другого краше. И вотъ, какъ только, бывало, пройдетъ въ народѣ слухъ о наборѣ, такъ старуха начинаетъ тосковать. Четырехъ сыновъ у нея въ солдаты взяли, двое послужили въ ополченцахъ. Теперь очередь доходитъ до внуковъ. Плачетъ старуха, убивается каждый разъ, словно по покойникѣ воетъ.

— Вотъ Богъ благословилъ, а радости нѣту!—жалуется она мнѣ.

— Напротивъ того,—урезониваю я ее:—есть радость, и даже большая. Дѣти твои государству послужатъ, и этого одного достаточно, чтобъ утѣшить тебя въ разлукѣ съ ними.

И я начинаю ей разъяснять, какъ, что̀ и почему; но по мѣрѣ того какъ развиваются мои разъясненія, я и самъ незамѣтнымъ образомъ сбиваюсь съ толку. Вмѣсто того, чтобъ пропагандировать чистую идею государственности, я ударяюсь въ околичности, привожу примѣры, доказывающіе, что многіе солдаты до генеральскихъ чиновъ дослужились, а больше, конечно, до чина прапорщичьяго.

— Такъ-то такъ,—возражаетъ старуха:—да что̀ радости! Вотъ у Петра Васильича сынъ-офицеръ изъ полку пріѣхалъ, взялъ да отца по шеѣ изъ дома и выгналъ!

И затѣмъ опять начинается вой, вой безъ конца, вой, который нельзя утолить ни увѣщаніями, ни государственными соображеніями. Не понимаетъ глупая баба—и все тутъ.

Я могъ бы привести такихъ примѣровъ множество, но думаю, что достаточно и трехъ.

Быть-можетъ, мнѣ скажутъ: все это—женщины, которымъ по неразумію многое прощается?

Позвольте, господа! Откупщики—развѣ женщины? Желѣзнодорожные дѣятели—развѣ женщины? Да и сами женщины—развѣ онѣ не по образу и подобію Божію созданы, хотя бы и изъ ребра Адамова?

Нѣтъ! Я знаю одно: въ былыя времена, когда еще чудеса дѣйствовали, поступки и рѣчи, подобные тѣмъ, которые указаны выше, навѣрное не остались бы безъ должнаго возмездія. Либо земля бы разверзлась, либо огонь небесный опалилъ бы—словомъ сказать, непремѣнно что-нибудь да случилось бы въ предостерегательномъ и назидательномъ тонѣ. Но ничего подобнаго мы нынче не видимъ. Люди на каждомъ шагу самымъ несомнѣннымъ образомъ попираютъ идею государственности, и земля не разверзается подъ ними. Что̀ же это означаетъ, однако-жъ?

Я знаю, впрочемъ, что не только иностранцы, но и многіе русскіе смотрятъ на свое отечество, какъ на Украйну Европы, въ которой было бы даже странно встрѣтиться съ живымъ чувствомъ государственности. Нельзя и ожидать, говорятъ они, чтобы оголтѣлые казаки сознавали себя живущими въ государствѣ; не здѣсь нужно искать осуществле-

нія идеи государственности, а въ настоящей, заправской Европѣ, гдѣ государство является продуктомъ собственной исторіи народовъ, а не случайною административною поддѣлкой, устроенной ради наибольшей легкости административныхъ воздѣйствій.

Къ сожалѣнію, возраженіе это дѣлается больше по наслышкѣ, при чемъ теоретическая разработка идеи государства, всепроникающаго и всеобъемлющаго, смѣшивается съ ея примѣненіемъ на практикѣ.

Несомнѣнно, что наука о государствѣ доведена на западѣ Европы до крайнихъ предѣловъ; правда и то, что всѣ усилія предержащихъ властей направлены къ тому, чтобъ воспитать въ массахъ сознаніе, что существованіе человѣка немыслимо иначе, какъ въ государствѣ, подъ защитой его законовъ, для всѣхъ равно обязательныхъ и всѣмъ равно покровительствующихъ. Представительными собраніями издано великое множество положеній, которыя до мельчайшихъ подробностей опредѣляютъ отношенія индивидуума къ государству; съ другой стороны, учеными издано не меньшее количество трактатовъ, въ которыхъ съ послѣднею убѣдительностью доказывается, что внѣ государства нѣтъ ни справедливости, ни обезпеченности, ни цивилизаціи. Зная и видя все это, конечно, ничего другого не остается, какъ радоваться и восклицать: вотъ благословенныя страны, для которыхъ ничто не остается неразъясненнымъ! Вотъ счастливые люди, которые могутъ съ горделивымъ сознаніемъ сказать себѣ, что каждый ихъ поступокъ, каждый шагъ проникнутъ идеей государственности!

Но есть одно обстоятельство, которое въ значительной степени омрачаетъ эту прекрасную внѣшность. Обстоятельство—это глухая борьба, которая замѣчается всюду и существованіе которой точно такъ же подлежитъ сомнѣнію, какъ и существованіе усилій къ ея подавленію. Трактаты пишутся, но читаются лишь самымъ незамѣтнымъ меньшинствомъ; законоположенія издаются, но не проникаютъ внутрь ядра, а лишь скользятъ по его поверхности. И здѣсь старуха Домна наполняетъ воздухъ своимъ воемъ и антигосударственными причитаніями.

Отношеніе массъ къ извѣстной идеѣ—вотъ единственное мѣрило, по которому можно судить о степени ея жизненности. Въ томъ еще нѣтъ ничего удивительнаго, что государственные люди и профессора государственнаго права имѣютъ совершенно отчетливое понятіе о значеніи госу-

дарства въ жизни современныхъ обществъ. Это — ихъ ремесло, за которое они получаютъ соотвѣтствующее вознагражденіе. Можно бы даже и съ тѣмъ примириться, если-бъ съ ихъ стороны было меньше отчетливости, лишь бы массы отрѣшились отъ своей одичалости и хотя до нѣкоторой степени (и притомъ, конечно, безъ вознагражденія) сообщили своимъ стремленіямъ и дѣйствіямъ характеръ сознательно-государственный. Но тутъ-то именно мы и встрѣчаемся съ тою сумятицей, которая существуетъ и у насъ, съ незначительными лишь видоизмѣненіями въ подробностяхъ.

Вотъ уже цѣлый годъ, какъ я скитаюсь за границей: сперва жилъ въ южной Германіи, потомъ въ Парижѣ и, наконецъ, въ южной Франціи. И всѣ мои наблюденія сводятся къ слѣдующему: 1) люди культуры видятъ въ идеѣ государственности базисъ для извѣстнаго рода профессіи, дающей или прямыя выгоды въ видѣ жалованья, или выгоды косвенныя—въ видѣ преміи за принадлежность къ той или другой политической партіи, и 2) массы либо совсѣмъ игнорируютъ эту идею, либо относятся къ ней крайне робко и безалаберно. Я даже не думаю, чтобъ послѣднія почувствовали какое-либо безпокойство, если-бъ, напримѣръ, отбываніе воинской повинности — одна изъ существеннѣйшихъ прерогативъ государства — было объявлено навсегда упраздненнымъ.

Правда, что южная Германія — больное мѣсто имперіи, созданной войной 1870—71 г., но для наблюдателя важно то, что здѣсь даже рѣзкія перемѣны, произведенныя успѣхами Пруссіи, не помѣшали появленію нѣкоторыхъ симптомовъ, которые въ другихъ частяхъ новосозданнаго государства находятся еще въ дремотномъ состояніи. Несмотря на замѣчательную ловкость прусскихъ государственныхъ людей и сильную поддержку, доставляемую имъ печатью, партикуляризмъ не только не успокаивается на югѣ Германіи, но, повидимому, съ каждымъ годомъ пріобрѣтаетъ болѣе и болѣе ожесточенный характеръ. Конечно (въ особенности въ городахъ), и теперь встрѣчается не мало людей убѣжденныхъ, которыхъ восторгаетъ мысль о единствѣ и могуществѣ Германіи, о той неувядаемой славѣ, которою покрыло себя нѣмецкое оружіе, раздавивши «наслѣдственнаго врага», и о томъ прекрасномъ будущемъ, которое отнынѣ принадлежитъ нѣмецкому народу; но вѣдь эти люди представляютъ собою только казовый конецъ современной южно-германской дѣйствительности. Подъ ними

и за ними стоятъ цѣлыя массы субъектовъ, изнемогающихъ подъ гнетомъ вопроса о насущномъ хлѣбѣ, субъектовъ, которые не вопрошаютъ ни прошедшаго, ни будущаго, но зато съ удивительною цѣпкостью хватаются за наличную дѣйствительность и очень безцеремонно взвѣшиваютъ и сравниваютъ все, что̀ взвѣшиванію и сравниванію подлежитъ.

Пропаганда идеи о германскомъ единствѣ ведется уже такъ давно, что не могла обойти и людей насущнаго хлѣба. Имъ припоминали прогулки Наполеона I-го по Германіи и угрожали подобными же прогулками «наслѣдственнаго врага» въ ближайшемъ будущемъ. Имъ говорили объ общемъ германскомъ отечествѣ, которое тогда будетъ только въ состояніи противостоять какимъ бы то ни было присоединительнымъ поползновеніямъ, когда оно сплотится въ единое, сильное и могущественное государство. Что только тогда они могутъ считать себя спокойными за свои семейства и за свою собственность, когда у нихъ не будетъ смѣшныхъ государствъ, въ родѣ Шаумбургъ-Липпе, о которыхъ ни одинъ путешественникъ не можетъ говорить иначе, какъ при помощи анекдотовъ. Что, тѣмъ не менѣе, снисходя къ ихъ человѣческой слабости, можно примирить партикуляризмъ съ объединеніемъ, оставивъ рядомъ съ общимъ государствомъ, сильнымъ и неприступнымъ, и прежнія частныя государства. И что такимъ образомъ для нихъ откроется возможность имѣть разомъ «двѣ высшихъ правды и два вѣрныхъ подданства».

Изъ всего этого люди насущнаго хлѣба отнеслись сочувственно только къ надеждѣ быть спокойными за свою собственность и за свои семейства; все прочее они выслушивали ни сочувственно, ни несочувственно, потому что это прочее составляло для нихъ тарабарскую грамоту. Быть-можетъ, нѣкоторымъ приходилъ въ голову вопросъ: а въ какомъ положеніи будутъ подати и повинности?—но вопросъ этотъ уже по тому одному остался безъ послѣдствій, что некому было отвѣтить на него. Война была на носу, и потому все дѣлалось впопыхахъ. Не до разъясненій въ такія минуты, когда требуются деньги и солдаты, солдаты и деньги. Даже представители южно-германской культуры, которые нынче такъ ясно понимаютъ, что промѣняли кукушку на ястреба, — и тѣ въ то время должны были молчать. Они находились въ очень фальшивомъ положеніи, ибо надъ ними тяготѣло подозрѣніе въ недостаткѣ

сочувствія къ опасностямъ, угрожающимъ общему германскому отечеству.

Такимъ образомъ, и солдаты, и деньги были даны. И вотъ, въ одно прекрасное утро, баденцы и проч. проснулись не просто королевскими, но императорско-королевскими подданными. Само собою разумѣется, что это привело ихъ въ восторгъ.

Но это былъ именно только восторгъ слѣпой и внезапный, а отнюдь не торжество чувства государственности. Это было хмельное упоеніе славой побѣдъ, громомъ оружія, стонами побѣжденныхъ,—упоеніе, къ которому, сверхъ того, въ значительной долѣ примѣшивалось и ожиданіе добычи, въ видѣ пяти милліардовъ.

Прошло не болѣе пяти лѣтъ, и путешественникъ уже съ изумленіемъ спрашиваетъ себя: куда дѣвались восторги? что̀ сдѣлалось съ недавнимъ упоеніемъ? гдѣ признаки того добровольнаго стремленія къ единству, въ жертву которому приносились солдаты и деньги, деньги и солдаты?

Ничего подобнаго нѣтъ и въ поминѣ. Вмѣсто восторговъ, мы видимъ полное господство низменныхъ интересовъ, вмѣсто добровольнаго стремленія къ успокоенію на лонѣ великаго единаго государства—борьбу. Да, все политическое существованіе современной Германіи представляетъ отнюдь не торжество государства, а только сплошную борьбу во имя его. Борьбу съ партикуляризмомъ, борьбу съ католицизмомъ, борьбу съ соціалистическими порываніями—словомъ, со всѣмъ, что̀ чувствуетъ себя утѣсненнымъ въ тѣхъ рамкахъ, которыя выработалъ для жизни идеалъ государства, скомпонованный въ Берлинѣ. Но спрашивается: можно ли считать осуществившеюся идею, которая имѣетъ уже за себя право сильнаго, но и за всѣмъ тѣмъ вынуждена бороться за свое существованіе, и можно ли назвать успѣшнымъ такое мѣропріятіе, которое выполняется только потому, что за невыполненіе его грозитъ кара?

Повторяю: покуда низменные, будничные интересы держатъ массы въ плѣну, до тѣхъ поръ для нихъ недоступна будетъ высшая идея правды, осуществляемая государствомъ. Нѣмецъ—ежели онъ не гелертеръ, не присяжный политикъ и не чиновникъ—есть обыватель по преимуществу. Онъ всецѣло преданъ идеѣ насущнаго хлѣба и тѣмъ подробностямъ, которыми эта идея обставлена; затѣмъ всѣ отношенія его къ государству ограничиваются податями и

солдатчиною. Подати имперія значительно увеличила, солдатчину сдѣлала общедоступною. Все это, конечно, необходимо, ради государства, ради его величія и славы, и въ Германіи на этотъ счетъ менѣе, нежели гдѣ-либо, можетъ быть недоразумѣній. Всякому извѣстно, что столько-то милліоновъ употреблено на заказъ пушекъ, столько-то на пріобрѣтеніе ружей новой системы, столько-то на постройку и вооруженіе крѣпостей, и что все это необходимо на страхъ наслѣдственнымъ и ненаслѣдственнымъ врагамъ. Но когда люди думаютъ совсѣмъ о другомъ, то отъ нихъ самыя доказательныя убѣжденія отскакиваютъ, какъ отъ стѣны горохъ.

— Всѣ милліарды, уплаченные Франціей, употреблены на составленіе инвалиднаго фонда, да на вооруженія, да на дотаціи, а на развитіе промышленности ничего не попало!—жалуется одинъ нѣмецъ.

— Прежде мы солдатчины почти не чувствовали, а теперь даже болѣзнью отъ нея не отмолишься. У меня былъ сынъ; даже докторъ ему свидѣтельство далъ, что слабъ здоровьемъ,—не повѣрили, взяли въ полкъ. И что-жъ! шесть мѣсяцевъ его тамъ мучили, увидѣли, что малый дѣйствительно плохъ, и прислали обратно. А онъ черезъ мѣсяцъ умеръ!—вторитъ другой нѣмецъ.

— У насъ нынче въ школахъ только *завоеваніямъ* учатъ. Молодые люди о полезныхъ занятіяхъ и думать не хотятъ, все — «Wacht am Rhein» да «Kriegers Morgenlied» распѣваютъ! Что̀ изъ этого будетъ—одинъ Богъ знаетъ!—разсказываетъ третій нѣмецъ.

— Всѣ наши соки Берлинъ сосетъ...

Понятно, что въ людяхъ, которые такимъ образомъ говорятъ, чувство государственности должно вполнѣ отсутствовать.

Во Франціи это дѣло поставлено иначе. Тамъ партикуляризма, въ смыслѣ политической партіи, не существуетъ вовсе; борьба же съ католицизмомъ ведется совсѣмъ не во имя того, что онъ служитъ помѣхою для исполненія начальственныхъ предписаній, а во имя освобожденія человѣческой мысли отъ призраковъ, ее угнетающихъ. Сверхъ того, во Франціи, съ 1848 года, практикуется всеобщая подача голосовъ, которая, повидимому, должна бы непрестанно напоминать обывателямъ, во-первыхъ, о томъ, что они живутъ въ государствѣ, и, во-вторыхъ, о томъ, что

косвенно каждый изъ нихъ участвуетъ и въ выборѣ правителей страны, и въ самомъ управленіи ею.

Тѣмъ не менѣе все это отнюдь не устраняетъ множества недоразумѣній, которыя и тутъ, какъ и вездѣ, ставятъ идею государства въ условія весьма для нея неблагопріятныя.

Несмотря на нѣсколько революцій, во Франціи, какъ и въ другихъ странахъ Европы, стоятъ лицомъ къ лицу два класса людей, совершенно отличныхъ другъ отъ друга и по внѣшнему образу жизни, и по понятіямъ, и по темпераментамъ. Во главѣ государства стоитъ такъ-называемый правящій классъ, состоящій изъ уцѣлѣвшихъ остатковъ феодальной аристократіи, изъ адвокатовъ, литераторовъ, банкировъ, купцовъ и вообще всевозможныхъ наименованій буржуà. Внизу—кишитъ масса управляемыхъ, т. е. городскихъ пролетаріевъ и крестьянъ. И тотъ, и другой классы относятся къ государству совсѣмъ не одинаковымъ образомъ.

Въ средѣ правящихъ классовъ стремленіе къ государственности высказывается довольно опредѣленно. У буржуà государство не сходитъ съ языка, такъ что вы сразу чувствуете, что этотъ человѣкъ даже не можетъ мыслить себя внѣ государства, ибо слишкомъ хорошо понимаетъ, что это единственное его убѣжище противъ разнузданности страстей. Государство ограждаетъ его собственность, оно устраиваетъ въ его пользу тысячи разнообразнѣйшихъ удобствъ, которыя онъ никакъ не могъ имѣть, предоставленный самому себѣ; оно охраняетъ его предпріятія противъ завистливыхъ притязаній одичалыхъ массъ и, въ случаѣ надобности, встанетъ за него горой. Взвѣшивая всѣ эти выводы и сравнивая ихъ съ тѣми жертвами, которыя государство, взамѣнъ ихъ, отъ него требуетъ, буржуà не можетъ не сознавать, что послѣднія почти ничтожны, и потому рѣдко ропщетъ по ихъ поводу (между прочимъ, онъ понимаетъ и то, что всегда имѣетъ возможность эти жертвы разложить на другихъ). И жизнь его течетъ легко и обильно, проникнутая сознаніемъ тѣхъ благъ, которыя изливаются на него государствомъ, и рѣшимостью стоять за него, по крайней мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока этой рѣшимости не будетъ угрожать серьезная опасность.

Но самая эта увѣренность въ возможности всегда найти для себя защиту подъ покровомъ государства имѣетъ свою невыгодную сторону. А именно: она дѣлаетъ буржуà самонадѣяннымъ и даже привередливымъ; она пріучаетъ его

неряшливо относиться къ тому самому предмету, передъ которымъ онъ долженъ только благодарно благоговѣть. Убѣжденный, что будущее во всякомъ случаѣ принадлежитъ ему, буржуà уже не довольствуется тѣмъ, что у него есть государство, которое не дастъ его въ обиду, но начинаетъ разсуждать вкривь и вкось о формѣ этого государства и признаетъ законною только ту форму, которая ему люба. Есть буржуà-монархисты и есть буржуà-республиканцы. Монархистовъ три сорта: легитимисты, орлеанисты и бонапартисты; республиканцевъ тоже три сорта: лѣвый центръ, просто лѣвая сторона и, наконецъ, крайніе лѣвые. И всѣ эти прихотливые буржуà видятъ другъ въ другѣ смертельныхъ враговъ, предаются безпрерывнымъ взаимнымъ пререканіямъ и въ этихъ чисто внѣшнихъ эволюціяхъ доходятъ иногда до такого паѳоса, что издали кажется, не забыли ли они, что у всѣхъ у нихъ одна цѣль: чтобъ государство оставалось неприкосновеннымъ, и чтобъ буржуà былъ сытъ, стоялъ во главѣ и благодушествовалъ.

Изъ области государства дѣло переходитъ въ область вопроса о кличкахъ и о принадлежности тому или другому хозяину. Является предательство, измѣна, желаніе лучше утопить страну, нежели дать возможность восторжествовать противнику. Словомъ сказать, всѣ тѣ скандалы, которыми такъ обильно было существованіе недавно канувшаго въ вѣчность національнаго собранія и которые такъ ясно доказали, что политическая арена слишкомъ легко превращается въ арену для разрѣшенія вопроса: при комъ или при чемъ выгоднѣе? — благоразумнѣе при этомъ умалчивая: для кого?

Результатомъ такого положенія вещей является, конечно, не торжество государства, а торжество ловкихъ людей. Не преданность странѣ, не талантъ, не умъ дѣлаются гарантіей успѣха, а пронырливость, наглость и предательство. И Франція доказала это самымъ дѣломъ, безспорно, въ теченіе двадцати лѣтъ, вынося иго людей, которыхъ, по счастливому выраженію одной англійской газеты, всякій честный французъ счелъ бы позорнымъ посадить за свой домашній обѣдъ.

Такимъ образомъ и государство, и все, что до него относится, находится во Франціи, такъ сказать, на откупу у буржуазіи. Что же касается до массъ, то онѣ коснѣютъ въ полномъ невѣдѣніи чувства государственности и въ совершенномъ равнодушіи къ тѣмъ политическимъ пререканіямъ,

которыя волнуютъ буржуазію. И здѣсь, какъ и вездѣ, очень мало сдѣлано въ этомъ отношеніи; и здѣсь, какъ и вездѣ, государство представляетъ исключительно въ видѣ усмирителя и сборщика податей, а не въ видѣ убѣжища. Надъ массами тяготѣютъ два закона: надъ городскими пролетаріями—законъ отчаянія, надъ обывателями деревень — законъ безсознательности. Отъ этого первые, при удобномъ случаѣ, такъ легко ударились въ коммуну; отъ этого вторые, во время прусской войны, массами бѣжали съ поля сраженія. Первые не понимали, что̀ они разрушаютъ, вторые—что̀ имъ предстоитъ защищать. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ—увѣренность, что формы правленія безразличны и что всѣ онѣ имѣютъ въ виду только вящее утучненіе и безъ того тучнаго буржуа̀,—увѣренность печальная и даже неосновательная, но тѣмъ не менѣе сообщающая самому акту всеобщей подачи голосовъ характеръ чистой случайности.

Послѣдній опытъ всеобщей подачи голосовъ, происходившій въ февралѣ 1876 года, далъ торжество республиканской партіи. Буржуазія, повидимому, поняла, что республика нисколько не препятствуетъ осуществленію ея стремленій, и, во-вторыхъ, что она представляетъ даже больше шансовъ для «благоразумной экономіи». Вслѣдствіе этого, во время избирательнаго періода, Франція была покрыта цѣлою сѣтью комитетовъ, которыхъ цѣль заключалась въ уловленіи массъ. Усилія комитетовъ увѣнчались успѣхомъ. Правда, что почти вездѣ цѣлая треть избирателей воздержалась отъ подачи голосовъ, и затѣмъ остальныя двѣ трети выказали въ этомъ случаѣ больше дисциплины, нежели сознательности; но, какъ бы то ни было, поле сраженія осталось за республикой. Естественно, что республиканцы поспѣшили запечатлѣть эту побѣду практическимъ результатомъ. Министерство Дюфора-Бюффѐ пало и было замѣнено министерствомъ Дюфора-Рикара...

Когда я узналъ объ этомъ изъ газетъ, то, конечно, прежде всего поспѣшилъ сообщить о происшедшей перемѣнѣ портьѐ того пансіона, въ которомъ я поселился.

— Vous savez, André, — сказалъ я ему: — que le ministère Dufaure-Buffet n'existe plus, et que désormais c'est le ministère Dufaure-Ricard qui dirigera les destinées de la France?

Но, къ удивленію, онъ до такой степени не понялъ моего вопроса, что заставилъ меня повторить его. И когда я это сдѣлалъ, то онъ вытаращилъ глаза и произнесъ:

— Est-ce que je sais!

А между тѣмъ этотъ человѣкъ существуетъ (cogito ergo sum), получаетъ жалованье, устраиваетъ, какъ можетъ, свои дѣла, и я даже положительно знаю, что 20-го февраля онъ подалъ голосъ за республиканца. И все это онъ дѣлаетъ, ни разу въ жизни не спросивъ себя: что̀ такое государство?

Можно ли такъ жить?

XVI.—Тяжелый годъ.

За двадцать лѣтъ назадъ.

Прошу читателя перенестись мыслью въ эпоху 1853—1855 годовъ.

Я жилъ тогда въ одномъ изъ опальныхъ захолустьевъ Россіи. Въ Крыму, на Черномъ морѣ, на берегахъ Дуная гремѣла война, но мы такъ далеко засѣли, что вѣсти о перипетіяхъ военныхъ дѣйствій доходили до насъ медленно и смутно. Губернія наша была не дворянская, и потому въ ней не могли имѣть мѣста шумныя демонстраціи. Не было у насъ ни обѣдовъ по подпискѣ, ни тостовъ, ни адресовъ, ни просьбъ о разрѣшеніи идти на брань съ врагомъ поголовно, съ чадами и домочадцами. Мы смирно радовались успѣхамъ родного оружія и смирно же горевали о неудачахъ его. За отсутствіемъ дворянства, интеллигенцію у насъ представляло чиновничество и весьма немногочисленное купечество, высшіе представители котораго въ этой мѣстности искони промѣняли народный зипунъ на нѣмецкій сюртукъ. Къ интеллигенціи же причисляло себя и довольное количество опальныхъ, бо̀льшая часть которыхъ принадлежала къ категоріи такъ-называемыхъ «политическихъ». И чиновники, и купцы, и даже опальные—все это былъ людъ настолько занятый и разсчетливый, что затѣвать подписные обѣды было рѣшительно некому и некогда. Было, правда, между опальными нѣсколько шуллеровъ, дѣлателей фальшивыхъ ассигнацій и злоупотребителей помѣщичьею властью (былъ даже пожилой, но очень видный мажордомъ, ходившій съ большимъ брильянтовымъ перстнемъ на указательномъ пальцѣ и сосланный по просьбѣ дѣтей какой-то княгини за «предосудительныя дѣйствія, сопровождаемыя покушеніемъ войти въ беззаконную связь съ ихъ родитель-

ницей»), которымъ, казалось бы, представлялся при этомъ отличнѣйшій случай блеснуть, но и они вели себя какъ-то сдержанно, въ той надеждѣ, что сдержанность эта поможетъ имъ пройти въ общественномъ мнѣніи заурядъ съ «политическими». Такое ужъ было тогда время, что даже въ захолустномъ обществѣ «политическихъ» принимали лучше, ласковѣе, нежели шуллеровъ.

Патріархъ у насъ въ то время былъ старый, беззубый, безволосый, малорослый и совсѣмъ простой. Это было тѣмъ болѣе необыкновенно, что рядомъ, въ сосѣдней губерніи, патріархъ былъ трехъ аршинъ роста и имѣлъ грудь колесомъ. Даже въ нашемъ захолустьѣ какъ-то обиднымъ казалось появленіе такого человѣка на патріаршескомъ поприщѣ. Тогда времена были строгія, и отъ патріарха требовалось, чтобъ онъ былъ «хозяинъ» или по малой мѣрѣ «орелъ». Нашъ же, въ сравненіи съ сторожами губернскаго правленія, казался ощипанною курицей. И къ довершенію всего фамилію онъ носилъ какую-то странную: Набрюшниковъ. Все это, вмѣстѣ взятое, самую губернію какъ бы принижало, переводило изъ высшаго въ низшій классъ, чѣмъ въ особенности обижался вице-губернаторъ.

— Просто курамъ на смѣхъ,—негодовалъ онъ:—не патріархомъ ему быть, а въ шалашѣ сидѣть да горохъ стеречь!

И попалъ онъ къ намъ самымъ страннымъ образомъ. Служилъ онъ нѣкогда въ одной изъ внутреннихъ губерній акушеромъ при врачебной управѣ (въ то время такая должность была, — такъ и назывался: «акушеръ врачебной управы»), но акушерства не зналъ, а зналъ наговоръ, отъ котораго зубную боль какъ рукой снимало. Многихъ онъ отъ зубного недуга исцѣлилъ, и въ числѣ этихъ многихъ случилась одна изъ мѣстныхъ магнатокъ, графиня Варвара Алексѣевна Серебряная. Прошло послѣ того много лѣтъ; Набрюшниковъ успѣлъ выйти въ отставку съ чиномъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника (чинъ этотъ выхлопотала ему графиня) и поселился у себя въ деревнѣ. И прожилъ бы онъ тамъ спокойно остальные дни живота своего и, по всѣмъ вѣроятіямъ, даже изобрѣлъ бы средство избавлять домашнихъ птицъ отъ типуна, какъ вдругъ получилъ отъ графини письмо. «Любезный куманекъ, господинъ Набрюшниковъ! Съ тѣхъ поръ, какъ ты мнѣ услугу оказалъ, отъ зубовъ навсегда избавилъ, не успѣла я тебя еще какъ слѣдуетъ отблагодарить. А нонича мнѣ двоюродный братецъ мой два преотличнѣйшихъ мѣста за любовь обѣщалъ;

такъ одно изъ нихъ, пожалуй, не откажи мнѣ, прими. Мѣсто, правда, не бойкое, да вѣдь прокормиться въ тишинѣ можно. Еще гдѣ потише, пожалуй, для вашего брата сытѣе будетъ. А впрочемъ, пребываю къ вамъ доброжелательная». И вотъ черезъ мѣсяцъ онъ уже сидѣлъ на «обѣщанномъ за любовь» мѣстѣ, сидѣлъ плотно и поселялъ своимъ видомъ уныніе во всѣхъ сердцахъ, которымъ дороги были достоинство и блескъ губерніи.

Смиренъ онъ былъ до такой степени, что даже акциденціи почти исключительно бралъ провизіей. Подадутъ, напримѣръ, у городского головы зернистой икры къ закускѣ—онъ сейчасъ же поманитъ хозяина пальцемъ: нельзя ли, дескать, мнѣ фунтиковъ десять прислать. Или узнаетъ, что такой-то купецъ на ярмарку ѣдетъ—сейчасъ ему реестрикъ: изюму столько-то, миндальныхъ орѣховъ столько-то, шепталы, черносливу и т. д. Однажды былъ даже такой случай, что по цѣлому городу мужичокъ съ возомъ мерзлой рыбы ѣздилъ, спрашивая, гдѣ живетъ патріархъ: оковскій, молъ, исправникъ въ презентъ ему рыбки прислалъ. Много было у насъ толковъ по поводу этого случая.

— Ахъ, срамъ какой!—восклицалъ совѣтникъ питейнаго отдѣленія, Петръ Гаврилычъ Птенцовъ.—Рыбой!

— Рыбой беретъ! Рыбой!—выходилъ изъ себя вице-губернаторъ.

— Не вникъ еще! Еще узы ему Богъ не разрѣшилъ!—замѣчалъ уѣздный лѣкарь Погудинъ, человѣкъ ума остраго и прозорливаго, какъ бы предрекая, что придетъ время, когда узы сами собою упадутъ.

Даже обывателямъ казалось какъ-то постыдно, что съ нихъ такую малость берутъ.

— Ну, возьми онъ! Ну, если ужъ такъ надобно... ну, возьми! А то—рыбой! Рыбой!—восклицали всѣ хоромъ.

Въ тѣ времена о внутренней политикѣ въ примѣненіи къ администраціи еще не было рѣчи, а была только строгость. Но жить все-таки было можно. Были, правда, какъ я уже сказалъ выше, «политическіе», но въ глазахъ всѣхъ это были люди, удаленные не за какіе-нибудь предосудительные поступки, а за свойственныя дворянскому званію заблужденія. Заблуждаться казалось естественнымъ. «Заблуждаться»—это означало любить отечество по-своему, не такъ, быть-можетъ, какъ начальство приказываетъ, но все-таки любить. Заблуждались преимущественно дворяне, потому что ихъ наукамъ учили. Ежели бы не учили ихъ на-

укамъ, то они и не заблуждались бы. Во всякомъ случаѣ, ни о «внутреннихъ врагахъ», ни о «неблагонадежныхъ элементахъ» тогда даже въ поминѣ не было. Какіе къ чорту «внутренніе враги», которые сидятъ смирно да книжки читаютъ! И какъ имъ книжекъ не читать, когда ихъ тому въ кадетскихъ корпусахъ учили! Наукамъ учатъ, а заблуждаться не позволяютъ — на что похоже! Таково было тогдашнее настроеніе умовъ нашей интеллигенціи, и вслѣдствіе этого «политическихъ» не только не лишали огня и воды, но даже не въ примѣръ охотнѣе принимали въ домахъ, нежели шуллеровъ, чему, впрочемъ, много способствовало и то, что «политическіе» по бо́льшей части были люди молодые, образованные и обладавшіе приличными манерами. Даже полиціймейстеръ сознавалъ это, и хотя, играя въ клубѣ въ карты, запускалъ по временамъ глазуна въ сторону какого-нибудь «политическаго», но дѣлалъ это почти машинально, потому только, что ужъ служба его такая.

Просто было тогдашнее время, а патріархъ нашъ ухитрился упростить его еще больше. Всякій обходился съ нимъ за панибрата; всякій могъ ему противорѣчить и даже грубить. Собственные его чиновники особыхъ порученій, народъ молодой и вѣтренный, въ глаза смѣялись надъ нимъ, разсказывая всякія небылицы. Однажды его очень серьезно увѣряли, будто одного изъ его предмѣстниковъ губернское правленіе сумасшедшимъ сдѣлало. Пришелъ, дескать, онъ въ губернское правленіе, закричалъ, загамилъ, на законъ наступилъ, а совѣтники (въ то время вице-губернаторы не были причастны губернскимъ правленіямъ, а въ казенныхъ палатахъ предсѣдательствовали), не будь просты, послали за членами врачебной управы, да и составили вкупѣ актъ объ освидѣтельствованіи патріарха въ состояніи умственныхъ способностей. И Набрюшниковъ повѣрилъ этому.

Панибратство это тоже многимъ казалось обиднымъ, ибо тоже принижало губернію. Всѣ чувствовали, всѣ понимали, что на этомъ мѣстѣ долженъ быть «орелъ», а тутъ вдругъ — тетеревъ! Даже сторожа присутственныхъ мѣстъ замѣчали, что есть въ нашемъ патріархѣ что-то неладное, и нимало не стѣснялись въ выраженіи своего негодованія.

— Какой это начальникъ, — говорили они: — идетъ, бывало, начальникъ — земля у него подъ ногами дрожитъ, а этотъ идетъ, ногами во всѣ стороны дрыгаетъ, словно киселя дать хочетъ!

— За губернію стыдно-съ! — вторилъ сторожамъ вицегубернаторъ.

Итакъ, вотъ при какой административной обстановкѣ застигла насъ памятная эпоха 1854—1856 годовъ.

Повторяю: вѣсти съ театра войны доходили до насъ туго. Не было въ то время ни желѣзныхъ дорогъ, ни телеграфовъ, а были только махальные. Почта приходила къ намъ изъ Петербурга два раза въ недѣлю, да и то въ десятый день. Собираясь въ почтовые дни въ клубѣ, мы съ жадностью прочитывали газеты и передавали другъ другу извѣстія, полученныя частнымъ путемъ. Но въ сущности мы очень хорошо понимали, что всѣ наши тревоги и радости (смотря по содержанію полученныхъ извѣстій) происходятъ, такъ сказать, заднимъ числомъ, и что, быть-можетъ, въ ту самую минуту, когда мы, напримѣръ, радуемся, дѣйствительное положеніе дѣла представляетъ картину, долженствующую возбудить чувство совершенно иного, противоположнаго свойства.

Въ особенности много мутили насъ частныя письма, которыми мы, такъ сказать, комментировали загадочность газетныхъ реляцій. То держится Севастополь, то сданъ; то сданъ и опять взятъ. По поводу подобныхъ извѣстій сочинялись цѣлые планы кампаній. Съ картой театра военныхъ дѣйствій въ рукахъ, стратеги въ вицмундирахъ толковали по цѣлымъ часамъ, какимъ образомъ могло случиться, что французъ сперва взялъ Севастополь, а потомъ снова его уступилъ. Встрѣчались при этомъ такія затрудненія, что для разъясненія ихъ обращались къ батальонному командиру внутренней стражи (увы!—нынѣ ужъ и эта должность упразднена!), который, впрочемъ, только таращилъ глаза и несъ сущую чепуху.

— Все зависитъ отъ того,—говорилъ онъ:—какъ начальство прикажетъ-съ. Прикажетъ сдать—сдадимъ-съ. Прикажетъ опять взять—возьмемъ-съ.

Такимъ образомъ по части внѣшнихъ извѣстій все было мракъ и сомнѣніе...

Былъ, однако-жъ, призракъ, который даже искренно убѣжденныхъ въ непобѣдимости русскаго оружія заставлялъ печально покачивать головами. Этотъ призракъ составляли: безпрерывные рекрутскіе наборы, сборы безсрочно-отпускныхъ и т. п. За мѣсяцъ и за два мы знали, что предстоитъ наборъ, по тѣмъ распоряженіямъ, которыя обыкновенно предшествуютъ этой мѣрѣ. Въ палатѣ государствен-

ныхъ имуществъ наскоро составлялись призывные списки; у батальоннаго командира, въ швальной, шла усиленная заготовка комиссаріатскихъ вещей. А такъ какъ распоряженія этого рода учащались все больше и больше, то и сомнѣнія невольнымъ образомъ усиливались.

Сидимъ мы, бывало, въ клубѣ и трактуемъ, кто остался побѣдителемъ при Черной, какъ вдругъ въ залу влетаетъ батальонный командиръ и какъ-то необыкновенно юрко возглашаетъ:

— Сорокъ тысячъ паръ сапоговъ приказано изготовить-съ.

Или:

— Получено распоряженіе выслать въ К. сто человѣкъ портныхъ-съ!

При этомъ извѣстіи обыкновенно наступала минута сосредоточеннаго молчанія. Слово: «наборъ» — жужжало по залѣ, и глаза всѣхъ присутствующихъ инстинктивно устремлялись къ столу, гдѣ сидѣли за вистомъ предсѣдатель казенной палаты и совѣтникъ ревизскаго отдѣленія и дѣлали видъ, что ничего не слышатъ. Но всѣмъ понятно было, что они не только слышатъ, но и мотаютъ себѣ на усъ. А прозорливый Погудинъ даже прозрѣвалъ весь внутренній процессъ, который происходилъ въ это время въ совѣтникѣ ревизскаго отдѣленія.

— Посмотрите, — говорилъ онъ: — какъ у Максима Аѳанасьича лѣвое ухо разгорѣлось! Къ добрымъ вѣстямъ, значитъ. Наборъ будетъ.

И дѣйствительно, наборы почти не перемежались. Не успѣемъ одинъ отбыть, какъ ужъ другой на дворѣ. На улицахъ снова плачущія и поющія толпы. Цѣлыми волостями валилъ народъ въ городъ и располагался лагеремъ на площадкѣ передъ губернскимъ рекрутскимъ присутствіемъ въ ожиданіи пріемки. На всю губернію было въ то время только четыре рекрутскихъ присутствія; изъ нихъ къ губернскому причислено было три съ половиной уѣзда съ населеніемъ около двухсотъ тысячъ душъ, съ которыхъ причиталось до тысячи рекрутовъ (нѣкоторыя волости должны были совершить скорбный путь въ триста слишкомъ верстъ, чтобы достигнуть губернскаго города). Въ рекрутскомъ присутствіи шла дѣятельность безпримѣрная. Пріемъ начинали съ восьми часовъ утра, кончали въ четыре пополудни, принимая въ день отъ восьмидесяти до ста двадцати человѣкъ. Происходила великая драма, мѣстомъ дѣйствія которой было рекрутское присутствіе и площадь пе-

редъ нимъ, объектомъ—податное сословіе, а дѣйствующими лицами — военные и статскіе распорядители набора, совмѣстно съ откупщикомъ и коммерсантами-поставщиками сукна, полушубковъ, рубашечнаго холста и проч.

Я не могу сказать, какъ велика была сила патріотизма въ объектѣ драмы, т. е. въ податномъ сословіи. Въ то время мы какъ-то не обращали на этотъ предметъ вниманія. Но зато дѣйствующія лица драмы были настолько патріоты, что не только не изнемогали подъ бременемъ лежавшихъ на нихъ обязанностей, но даже какъ бы почерпали въ нихъ новыя силы. Максимъ Аѳанасьичъ (совѣтникъ ревизскаго отдѣленія) хотя и жаловался на ломъ въ поясницѣ, но въ рекрутское присутствіе ходилъ неупустительно. Лицо у него сдѣлалось масляное, глаза покрылись неисточимою слезой, и что̀ всего замѣчательнѣе, когда кто-нибудь у него спрашивалъ, какъ дѣла̀, то онъ благодарилъ, видимо стараясь взглянуть вопрошающему какъ можно прямѣе въ глаза. Предсѣдатель казенной палаты прямо говорилъ, что не только въ настоящій наборъ, но если будетъ объявленъ и другой, и третій—онъ всегда послужить готовъ. Управляющій палатой государственныхъ имуществъ смотрѣлъ даже благороднѣе, нежели обыкновенно, и всѣмъ существомъ какъ бы говорилъ: никакая клевета до меня коснуться не можетъ! Откупщикъ, перекрестъ изъ евреевъ, не только не сомнѣвался въ непобѣдимости русскаго оружія, но даже до того повеселѣлъ, что задолго до появленія г. Вейнберга утѣшалъ общество разсказами изъ еврейскаго быта. Батальонный командиръ метался, словно вьюнъ на сковородѣ: то вытягивался, то свертывался въ кольцо, то предавался боковому конвульсивному движенію.

Одинъ патріархъ продолжалъ на все смотрѣть холодными глазами и даже никому не завидовалъ.

Однако послѣ второго или третьяго набора стали мы замѣчать, что у старика начинаютъ раздуваться ноздри, какъ будто онъ къ чему-то принюхивается. Первый, разумѣется, замѣтилъ это прозорливый лѣкарь Погудинъ.

— Помяните мое слово,—говорилъ онъ:—что къ слѣдующему набору Богъ ему узы разрѣшитъ!

И точно, мало-по-малу сталъ онъ подсаживаться то къ предсѣдателю казенной палаты, то къ батальонному командиру, то къ управляющему палатой государственныхъ имуществъ. Сядетъ и смотритъ не то мечтательно, не то словно

въ душу проникнуть хочетъ. И вдругъ заговоритъ о любви къ отечеству, но такъ заговоритъ, что предсѣдатель казенной палаты такъ-таки и сгоритъ со стыда.

— «Впроситься» старикъ хочетъ!—по секрету сообщилъ предсѣдатель Максиму Аѳанасьичу.

— Похоже на то-съ!—меланхолически отвѣтилъ Максимъ Аѳанасьичъ.

И всѣ словно замерли, въ ожиданіи, что̀ будетъ.

И вотъ однажды послѣ пульки подсѣлъ старикъ къ батальонному командиру и нѣкоторое время до того пристально смотрѣлъ на него, что полковникъ весь съёжился.

— Ну-съ, какъ дѣла̀, полковникъ? — вдругъ произнесъ старикъ.

— Помаленьку, вашество!

— То-то по-ма-лень-ку! — проскандировалъ старикъ, постепенно возвышая голосъ, и въ заключеніе почти ужъ крикомъ крикнулъ:—Старика, сударь, забываете! Да-съ!

Съ этими словами онъ всталъ и твердыми шагами вышелъ изъ клубной залы.

Смятеніе было невообразимое; у всѣхъ точно пелена съ глазъ упала. И вдругъ, безъ всякаго предварительнаго соглашенія, въ одно мгновеніе ока, всѣмъ припомнилось давно забытое слово: «начальникъ края»...

Это было незадолго до появленія манифеста объ ополченіи...

Пришелъ, наконецъ, и манифестъ. Патріархъ прозрѣлъ окончательно.

Прежде всего его поразила цифра. Всего, всего тутъ было много: и холста, и сукна, и сапожныхъ подметокъ, не говоря уже о людяхъ. Ядреная, вкусная, сочная, эта цифра разомъ разрѣшила связывавшія его узы, такъ что прежде даже, нежели онъ могъ хорошенько сообразить, какое количество изюма, миндаля и икры представляетъ она, уста его уже шептали:

— Теперь я все самъ. Самъ все сдѣлаю. Да-съ, самъ-съ.

И шепталъ онъ это съ какимъ-то злорадствомъ, словно бы хотѣлъ отмстить всѣмъ этимъ хищникамъ, которые безцеремонно набивали свои карманы, а его держали на балыкахъ да на зернистой икрѣ.

Въ тотъ же вечеръ онъ призвалъ къ себѣ откупщика и огорошилъ его вопросомъ:

— Ты, любезный, мнѣ что̀ присылаешь?

Откупщикъ стоялъ какъ опущенный въ воду и не смѣлъ взглянуть ему въ глаза.

— Два ведра водки въ мѣсяцъ мнѣ посылаешь! Ска-а-ти-на!

Больше онъ ничего не сказалъ, но вѣсть объ этомъ разговорѣ съ быстротою молніи разнеслась по городу, такъ что на слѣдующій день, когда, по случаю какого-то чиновничьяго парада, мы были въ сборѣ, то всѣ уже были приготовлены къ чему-то рѣшительному.

И дѣйствительно, трудно даже представить себѣ, до какой степени онъ вдругъ измѣнился, выросъ, похорошѣлъ. Многимъ показалось даже, что онъ сидитъ на конѣ и гарцуетъ, хотя въ дѣйствительности никакого коня подъ нимъ не было. Онъ окинулъ насъ взоромъ, потомъ на минуту сосредоточился, потомъ раза съ два раскрылъ ротъ и... заговорилъ. Не засвисталъ, не замычалъ, а именно заговорилъ.

Прежде всего онъ поставилъ внѣ всякаго сомнѣнія, что удобный для истребленія врага моментъ наступилъ.

— У враговъ нашихъ есть нарѣзныя ружья, но нѣтъ усердія-съ, — сказалъ онъ: — у насъ же нѣтъ нарѣзныхъ ружей, но есть усердіе-съ. И притомъ дисциплина-съ. Смирно!—вдругъ крикнулъ онъ, грозя на насъ очами.

Затѣмъ, очень лестно отозвавшись объ ополченіи, которому предстоитъ въ близкомъ будущемъ выполненіе славной задачи умиротворенія, онъ перешелъ отъ внѣшнихъ враговъ къ внутреннимъ (онъ первый употребилъ это выраженіе, и такъ удачно, что послѣ того оно вполнѣ акклиматизировалось въ нашемъ административномъ обиходѣ), которыхъ раздѣлилъ на двѣ категоріи. Къ первой онъ отнесъ безпокойныхъ людей вообще и критиковъ въ особенности.

— Ни безпокойныхъ людей, ни критиковъ я не потерплю, — сказалъ онъ. — Критики вообще вредны, а у насъ въ особенности. Государство у насъ обширное, а потому и операціи въ немъ обширныя. И притомъ въ самоскорѣйшемъ времени-съ. Слѣдовательно, если выслушивать критики, то для одного разсмотрѣнія ихъ придется учредить особую комиссію, а впослѣдствіи, быть-можетъ, и цѣлое министерство. А ополченіе тѣмъ временемъ будетъ безъ сапогъ-съ. Не критиковать надобно, а памятовать, что въ мірѣ все подвержено тлѣнію, а аммуничныя вещи въ особенности. Скажу вамъ притчу. Въ прошломъ году нѣкоторый садоводъ посадилъ у себя въ саду двѣ яблони, а въ нынѣшнемъ ожидалъ получить отъ нихъ плодъ. И точно:

одна яблоня дала плодъ, но другая — высохла. Ужели же слѣдуетъ садовода за то критиковать? Подобно сему — и ратнецкій сапогъ. Одинъ сапогъ дойдетъ до Севастополя, другой — только до первой станціи. Никакая критика въ этомъ случаѣ не поможетъ, потому что достоинство сапога зависитъ не отъ критики, а отъ сапожника. Законъ это предвидѣлъ и потому ни въ какомъ вѣдомствѣ должности критика не установилъ-съ.

Къ другой категоріи «внутреннихъ враговъ» онъ отнесъ тѣхъ чиновниковъ «постороннихъ вѣдомствъ», которые, выставляя впередъ принципъ раздѣленія властей, тѣмъ самымъ стремятся къ пагубному административному сепаратизму.

— Многіе изъ васъ, господа, не понимаютъ этого, — сказалъ онъ, не то гнѣвно, не то иронически взглядывая въ ту сторону, гдѣ стояли члены казенной палаты:—и потому черезчуръ ужъ широкой рукой пользуются предоставленными имъ прерогативами! Думаютъ только о себѣ, а про старшихъ или совсѣмъ забываютъ, или не въ той мѣрѣ помнятъ, въ какой по закону помнить надлежитъ. На будущее время всѣ эти фанаберіи должны быть оставлены. *Я* здѣсь всѣхъ критикую, *я*-съ. А на себя никакихъ критиковъ не потерплю-съ!

Высказавши это, онъ въ заключеніе воскликнулъ:

— А теперь обратимся къ Подателю всѣхъ благъ и вознесемъ къ Нему теплыя мольбы о ниспосланіи любезному отечеству нашему побѣды и одолѣнія. Милости просимъ въ соборъ, господа!

Рѣчь эта произвела очень разнообразное впечатлѣніе. Губернское правленіе торжествовало; казенная палата казалась сконфуженною; палата государственныхъ имуществъ внимала въ гордомъ сознаніи своего благородства. Батальонный командиръ держалъ руки по швамъ.

Даже строительная комиссія—и та соображала, нельзя ли ей примкнуть къ общему патріотическому настроенію, вызвавшись взять на себя хозяйственную заготовку пикъ и другого не-огнестрѣльнаго оружія.

Я ѣхалъ въ соборъ вмѣстѣ съ Погудинымъ.

— А вѣдь рѣчь-то хоть куда, — сказалъ я:—и главное, совсѣмъ неожиданно.

— Это бываетъ, — отвѣтилъ онъ: — въ моей практикѣ я и не такія чудеса видѣлъ. Позвали меня однажды къ попу. Прихожу; лежитъ мой попъ какъ колода, языкомъ не владѣетъ, не слышитъ, не видитъ, только носомъ нюхаетъ.

Домашніе, разумѣется, въ смятеніи; приготовляютъ горчичники, припарки. — Не нужно, говорю, ничего, а вотъ поднесите къ носу ассигнацію. И что̀-жъ бы вы думали? какъ только онъ нюхнулъ—вдругъ вскочилъ какъ встрепанный! Откуда что̀ полѣзло̀: и заговорилъ, и прозрѣлъ, и услышалъ! И сейчасъ же водки попросилъ.

— Ну, вы это ехидничаете. А вы по правдѣ скажите: хороша рѣчь?

— Хороша-то хороша. И критиковъ заранѣе устранилъ, и насчетъ этой дѣлежки: объ себѣ, молъ, думаете, а старшихъ забываете... Хоть куда! Только вотъ что̀ я вамъ скажу: не бывать воронѣ орломъ! Какъ онъ тамъ ни топырься, а оставятъ они его попрежнему на однихъ балыкахъ!

— Будто бы?

— Право, такъ. Взглянулъ я давеча на управляющаго палатой государственныхъ имуществъ: ужъ такъ онъ благородно смотрѣлъ! Словно такъ вотъ всѣмъ естествомъ и говоритъ: ты только меня припусти къ ополченію, а ужъ я тебѣ покажу, гдѣ раки зимуютъ!

— Да вѣдь вы извѣстный пессимистъ!

— Вѣрьте моей опытности. Управляющій палатой государственныхъ имуществъ — это именно тотъ самый человѣкъ, про котораго еще въ древности писано было: «и придутъ нѣцыи, и на вратахъ жилищъ своихъ начертаютъ: здѣсь стригутъ, брѣютъ и кровь отворяютъ». А Набрюшникову—балыки!

Когда мы пріѣхали въ соборъ, литургія уже оканчивалась. Потомъ шелъ молебенъ съ колѣнопреклоненіемъ. Пѣвчіе превзошли себя, протодьяконъ тоже. Набрюшниковъ стоялъ впереди и отъ времени до времени осматривался назадъ, какъ бы испытывалъ, нѣтъ ли гдѣ «внутреннихъ враговъ». Я случайно взглянулъ на управляющаго палатой государственныхъ имуществъ. Онъ смотрѣлъ благородно и вмѣстѣ съ прочими выражалъ довѣріе въ силу русскаго оружія, но съ тѣмъ лишь непремѣннымъ условіемъ, если ему, управляющему, будетъ предоставлено хозяйственное заготовленіе нужныхъ для ополченія вещей. Не знаю почему, но мнѣ невольно вспомнились при этомъ слова Погудина: «а Набрюшникову—балыки!»

Итакъ, «придутъ нѣцыи и на вратахъ жилищъ своихъ начертаютъ: здѣсь стригутъ, брѣютъ и кровь отворяютъ...»

Несмотря на шуточность тона, предсказаніе Погудина

сильно огорчило меня. Увы! оно относилось къ моему пріятелю Удодову, управляющему палатою государственныхъ имуществъ.

Владиміръ Онуфріевичъ Удодовъ былъ самый симпатичный изъ піонеровъ того времени. Если-бъ я былъ женщина-романистъ, то слѣдующимъ образомъ описалъ бы наружность его: «Его нельзя было назвать красавцемъ, но лицо его представляло такое гармоническое сочетаніе линій, что въ немъ, какъ въ зеркалѣ, отражались всѣ свойства прекрасной души. Темные волосы счастливо оттѣняли высокій, матовой бѣлизны лобъ, на которомъ мысль врѣзала клеймо свое. То была скорбная, горькая мысль, которая глубоко, до самаго сердца, пускала свои развѣтвленія. Подъ вліяніемъ ея, выразительное лицо его мгновенно вспыхивало, тонкія античныя ноздри нервно вздрагивали, а глубокіе темные глаза гнѣвно искрились. Эти глаза — ихъ нельзя было забыть. Темно-сѣрые, вдумчивые, они, какъ живая загадка, выглядывали изъ-за большихъ темныхъ рѣсницъ. Что сулили они? упоеніе или горечь разочарованія — это была тайна, которую знало только его сердце, да сердце той... Но не будемъ предупреждать событій и скажемъ только, что тотъ, кто однажды видѣлъ эти глаза, навсегда былъ преслѣдуемъ воспоминаніемъ о нихъ. Голосъ у него былъ мягкій, вкрадчивый и до такой степени мелодичный, что сердце женщины, внимавшей ему, словно пойманная птичка, трепетало въ груди. Роста онъ былъ небольшого, но строгая соразмѣрность всѣхъ частей организма заставляла забыть объ этомъ недостаткѣ, если можно назвать это недостаткомъ въ мужчинѣ, который не предназначалъ себя въ тамбуръ-мажоры. Прибавьте къ этому тончайшій запахъ ess-bouquet, которымъ онъ имѣлъ привычку душить свой платокъ,—и вы получите разгадку того обаятельнаго дѣйствія, которое онъ производилъ на женщинъ».

Но я не романистъ и не женщина, а потому скажу просто: Удодовъ былъ піонеръ. Онъ ревностно поддерживалъ и хранилъ тѣ преобразовательныя традиціи, въ силу которыхъ обыватели, съ помощью цѣлой системы канцелярскихъ мѣропріятій, долженствовали быть приведенными къ одному знаменателю. Тогда не было еще и рѣчи ни о централизаціи, ни о самоуправленіи, ни объ акцизномъ и контрольномъ вѣдомствахъ, но уже высказывались, хотя и съ большою осторожностью, мнѣнія о вредѣ взяточничества и о необходимости оградить отъ него обывателей при по-

собіи хорошо устроенной системы опекательства. Это было своего рода вѣяніе времени, не преминувшее разрѣшиться появленіемъ цѣлаго полчища Удодовыхъ, которые бойко принялись за выполненіе принадлежавшей имъ реформаторской задачи. Въ провинціи Удодовы были встрѣчены съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ и даже съ боязнью; втихомолку ихъ называли эмиссарами Пугачева.

Владиміръ Онуфріевичъ любилъ блеснуть своими ораторскими дарованіями. Онъ охотно говорилъ обо всемъ: и о народѣ, и о высшихъ соображеніяхъ, и о святости задачи, къ выполненію которой онъ призванъ. У него былъ всегда наготовѣ цѣлый словесный потокъ, который плавно и порой даже съ одушевленіемъ сбѣгалъ съ его языка, но сущность котораго опредѣлить было довольно трудно. Такъ, напримѣръ, я никогда не могъ вполнѣ опредѣлительно отвѣтить на вопросъ, дѣйствительно ли онъ «жалѣетъ» народъ, или, въ сущности, просто-на-просто презираетъ его. Чаще всего мнѣ казалось, что онъ въ народѣ усматриваетъ подходящую anima vilis, надъ которою всего удобнѣе производить опыты канцелярскихъ преобразованій и которую, ради успѣха этихъ преобразованій, позволительно даже слегка поуродовать.

Вообще это былъ человѣкъ нервный, увлекающійся не столько собственными идеями, сколько идеями своихъ начальниковъ, которыя онъ воспринималъ необыкновенно живо. Мысль: ограждать невѣжественную массу крестьянъ отъ притязаній чиновниковъ-взяточниковъ—несомнѣнно увлекала и его самого, но она сдѣлалась для него еще болѣе привлекательною вслѣдствіе того, что къ задачѣ огражденія пристегивали еще, съ начальственнаго соизволенія, воспитательный элементъ. Мало ограждать, надо еще опекать. Пріятно сказать человѣку: ты найдешь во мнѣ защиту отъ набѣговъ, но еще пріятнѣе крикнуть ему: ты найдешь во мнѣ умъ, котораго у тебя нѣтъ! И Удодовъ неутомимо разъѣзжалъ по волостямъ, разговаривалъ съ головами и писарями, старался пріобщить ихъ къ тѣмъ высшимъ соображеніямъ, носителемъ которыхъ считалъ самого себя, всюду собиралъ какія-то крохи и изъ этихъ крохъ составлялъ записки и соображенія, которыя по мѣрѣ изготовленія и отправлялъ въ Петербургъ. Всѣ мужицкіе обычаи представлялись ему вредными, весь мужикъ—подлежащимъ коренной передѣлкѣ. Записки «о средствахъ къ истребленію нерачительности и лѣни», «о необходимости искорененія

вредныхъ предразсудковъ»—сыпались одна за другою, свидѣтельствуя о неусыпной реформаторской дѣятельности Удодова. И что̀ въ особенности дорого было въ этихъ «запискахъ»—это полное совпаденіе ихъ съ тѣмъ обще-опекательнымъ тономъ, который господствовалъ въ то время въ одной части петербургскаго бюрократическаго міра! Начальство читало эти записки и думало: вотъ оно! отовсюду одно и то же пишутъ!—нимало не подозрѣвая, что оно, такъ сказать, занималось перепиской само съ собою, то-есть само себѣ посылало руководящія предписанія и само отъ себя же получало соотвѣтствующія своимъ желаніямъ донесенія.

Какъ бы то ни было, но въ общежитіи Удодовъ былъ малый положительно пріятный и любезный. Онъ охотно сближался съ молодыми людьми и не только не важничалъ, подобно прочимъ чинамъ пятаго класса, но даже пускался съ ними въ откровенныя бесѣды, предметъ которыхъ преимущественно составляли: святость его миссіи и бюрократическая его безупречность. Одно было въ немъ нѣсколько подозрительно: онъ слишкомъ часто впадалъ въ нервную раздражительность, слишкомъ охотно злоупотреблялъ «слезою». Это какъ-то напоминало Ипполита Маркелыча Удушьева, о которомъ въ такихъ восторженныхъ выраженіяхъ отзывался Репетиловъ.

Нерѣдко мы цѣлыми вечерами просиживали съ нимъ одинъ-на-одинъ, и, право, это были недурные вечера. За стаканомъ добраго вина онъ передавалъ мнѣ завѣтнѣйшія мечты свои и, несмотря на полное отсутствіе какой-либо теоретической подготовки, по временамъ даже поражалъ меня силою полета своей мысли.

— Нашъ народъ дитя,—говорилъ онъ мнѣ.—Дитя доброе, смышленое, но все-таки дитя. Самъ собою онъ управляться не можетъ. Онъ не имѣетъ понятія ни о гражданскомъ союзѣ, ни о союзѣ государственномъ. Весь циклъ его идей вертится около требованій и указаній обычнаго права. Поэтому для него необходимы добрые правители, которые были бы, такъ сказать, посредниками между нимъ и государствомъ. Государству необходима военная оборона, необходимъ бюджетъ, а народъ ничего этого не понимаетъ. Онъ не умѣетъ обобщать и всего себя пріурочивать къ общинѣ, къ волости и въ крайнемъ случаѣ къ своему уѣздному городу. Въ его глазахъ фискъ есть нѣчто загадочное, нѣчто такое, что̀ приходитъ, беретъ и уходитъ. Поэтому надобно его воспитывать. Надобно, чтобъ онъ безпрестанно

былъ лицомъ къ лицу съ государствомъ, чтобы послѣднее, такъ сказать, проникло въ самое сердце его. Народъ—дитя, повторяю я, дитя, имѣющее множество предразсудковъ, обычаевъ, привычекъ... дурныхъ привычекъ. Онъ настолько погрязъ во всемъ этомъ, что самъ по себѣ не чувствуетъ отъ этого даже особенныхъ неудобствъ. Но вѣдь дѣло не въ немъ одномъ, а въ государствѣ,—въ государствѣ, относительно котораго народъ представлялъ лишь тягольную единицу. Государство должно быть сильно, государство должно быть образовано, государство обязывается имѣть свою промышленность, торговлю и проч. Высшее же выраженіе государства есть правительство, которое и несетъ на себѣ всю отвѣтственность за него. Отсюда—его права и обязанности. Права: собирать подати для удовлетворенія требованіямъ бюджета, объявлять рекрутскіе наборы для пополненія арміи и флотовъ, поддерживать благочиніе, гармонію и единообразіе. Обязанности: входить въ нужды народа и устраивать его благосостояніе съ такимъ разсчетомъ, чтобы государство отъ того процвѣтало. Такова основная мысль нашего управленія. Мы обязываемся не только ограждать подвѣдомственныхъ намъ крестьянъ отъ всевозможныхъ притязаній, но служить посредниками между ними и государствомъ. Или, другими словами, мы должны требовать и наблюдать, чтобы ихъ внутренніе распорядки отнюдь не противорѣчили высшимъ государственнымъ соображеніямъ. Хотите, я прочту вамъ записку о необходимости увеличить срокъ возраста для вступленія въ бракъ мужескаго пола лицъ изъ крестьянскаго сословія?

И онъ читалъ мнѣ свою «записку», въ которой излагалъ, что во время разъѣздовъ по волостямъ онъ неоднократно былъ поражаемъ незрѣлымъ и слабосильнымъ видомъ нѣкоторыхъ молодыхъ крестьянъ, которыхъ онъ принималъ за подростковъ и которые по справкѣ оказывались уже отцами семействъ. Имѣя въ виду, съ одной стороны, что преждевременное исполненіе супружескихъ обязанностей вообще имѣетъ вредное вліяніе на человѣческій организмъ, а съ другой стороны, что ранніе браки въ значительной мѣрѣ усложняютъ успѣшное отправленіе рекрутской повинности, онъ, Удодовъ, полагалъ бы разрѣшать крестьянамъ мужескаго пола вступать въ бракъ не прежде, какъ по вынутіи благопріятнаго рекрутскаго жребія, и притомъ по надлежащемъ освидѣтельствованіи, въ особо учрежденномъ на сей предметъ присутствіи, относительно достиженія дѣйствитель-

наго физическаго совершеннолѣтія. Что же касается до крестьянокъ-женщинъ, то участь ихъ онъ предоставлялъ на благоусмотрѣніе начальства.

Такимъ образомъ онъ прочиталъ мнѣ цѣлый рядъ «записокъ», въ которыхъ съ государственной точки зрѣнія мужикъ выказывался опутаннымъ такою сѣтью всевозможныхъ опасностей, что если-бъ изъ тѣхъ же «записокъ» не явствовало, что въ лицѣ моего собесѣдника мужикъ всегда найдетъ себѣ вѣрную и скорую помощь, а слѣдовательно до конца погибнуть не можетъ, то мнѣ сдѣлалось бы страшно.

— И вотъ наше существованіе, другъ мой!—прибавлялъ онъ грустно:—мы не имѣемъ ни одной свободной минуты, мы ни объ чемъ другомъ не думаемъ, какъ объ исполненіи обязанностей службы, а между тѣмъ намъ завидуютъ, насъ называютъ пугачевскими эмиссарами! Ну, похожи ли мы на это?

Иногда онъ былъ даже черезчуръ либераленъ и, быть-можетъ, устрашилъ бы меня рѣзкостью нѣкоторыхъ своихъ положеній, если-бъ они были высказаны не въ то простодушное время, когда о «неблагонадежныхъ элементахъ» не было и помина, а «въ настоящее время, когда...»

— Я понимаю одно изъ двухъ,—говорилъ онъ:—или Россія, или Соединенные Штаты; но никакихъ другихъ административныхъ сочетаній не признаю. Я не отрицаю: Соединенные Штаты... это дѣйствительно... хороши, мой другъ, Соединенные Штаты! Но Россія, по мнѣнію моему, для человѣчества еще полезнѣе. Что̀ такое Россія? спрашиваю я васъ. Это Соединенные Штаты, доведенные до простѣйшаго и, такъ сказать, яснѣйшаго своего выраженія. А потому ни одно правительство въ мірѣ не въ состояніи произвести столько добра. Возьмите, напримѣръ, такое явленіе, какъ война. Какая страна можетъ разомъ выставить такую массу операціоннаго матеріала? Выставить безъ шума, безъ гвалта, безъ возбужденія распрей? Или, напримѣръ, такое явленіе, какъ неурожай. Какая страна можетъ двинуть разомъ такое громадное количество продовольственнаго матеріала изъ урожайной мѣстности въ неурожайную, при помощи одной натуральной подводной повинности? А мы—все это выставимъ и двинемъ! Итакъ, дѣло не въ имени, а въ результатахъ. Говорятъ, что у насъ, благодаря отсутствію гласности, сильно укоренилось взяточничество. Но спрашиваю васъ: гдѣ его нѣтъ? И гдѣ же, въ сущности, оно можетъ быть такъ легко устранимо, какъ у насъ? Со-

образите хоть то одно, что вездѣ требуется для взяточниковъ судъ, а у насъ достаточно только внутренняго убѣжденія начальства, чтобы вредный человѣкъ навсегда лишился возможности наносить вредъ. Стало-быть, стòитъ только быть внимательнымъ и умѣть находить достойныхъ правителей. Вотъ и все. А что такіе люди есть—отвѣтомъ на это служитъ наше вѣдомство.

Наконецъ, онъ былъ совершенно неистощимъ и даже поэтиченъ, когда заходила рѣчь о любви къ отечеству.

— Отечество,—говорилъ онъ:—это что-то таинственное, необъяснимое, но въ то же время затрогивающее всѣ фибры человѣческаго сердца. Спойте передо мной: «je m'en fiche, je m'en moque»—и вы найдете меня холоднымъ. Но спойте: «Не бѣлы снѣги» или даже «Барыню»—и я готовъ расплакаться. Почему? А именно потому, что тутъ есть что-то необъяснимое, загадочное. Я не могу равнодушно видѣть, когда на театрѣ пляшутъ трепака, хотя въ трепакѣ рѣшительно нѣтъ ничего трогательнаго. Я не могу безъ умиленія видѣть декорацію, изображающую нашу русскую деревню. Темная изба, безконечно вьющаяся дорога, бѣлый саванъ зимы, обнаженныя деревья и внизу, подъ горой, застывшая рѣчка... Не правда ли, что тутъ есть что-то родное? N'est ce pas?

По цѣлымъ часамъ заговаривались мы на эту тему и, не ограничивались словами, выражали глубину своего чувства дѣйствіемъ. То-есть затягивали «Не бѣлы снѣги» и оглашали унылымъ пѣніемъ стѣны его квартиры до тѣхъ поръ, пока не докладывали, что подано ужинать. За ужиномъ мы опять говорили, говорили, говорили безъ конца...

И вотъ объ этомъ-то человѣкѣ Погудинъ изрекаетъ такой жестокій приговоръ!

Въ самомъ дѣлѣ, со дня объявленія ополченія, въ Удодовѣ совершилось что-то странное. Началъ онъ какъ-то озираться, предался какой-то усиленной дѣятельности. Прежде не проходило почти дня, чтобы мы не видѣлись, теперь—онъ словно въ воду канулъ. Даже подчиненные его вели себя какъ-то таинственно. Покажутся въ клубѣ на минуту, пошепчутся и разойдутся. Одинъ только разъ удалось мнѣ встрѣтить Удодова. Онъ ѣхалъ по улицѣ и, остановившись на минуту, крикнулъ мнѣ:

— Тяжкія испытанія, мой другъ, наступаютъ для Россіи!

Затѣмъ, пожавъ мнѣ руку горячѣе обыкновеннаго, онъ прослѣдовалъ далѣе.

Что̀ хотѣлъ онъ сказать этимъ? Кто готовитъ тяжкія испытанія для Россіи? Воевода ли Пальмерстонъ, или онъ, Удодовъ?

Наконецъ, разнесся слухъ, что онъ заключилъ оборонительный и наступательный союзъ съ Набрюшниковымъ,— съ Набрюшниковымъ, о которомъ никогда до тѣхъ поръ не выражался иначе, какъ тономъ величайшаго негодованія...

И вотъ въ одинъ прекрасный вечеръ я встрѣтилъ его въ клубѣ. Онъ пришелъ поздно и какъ-то особенно горячо обнялъ меня.

— Я сегодня счастливъ, мой другъ,—сказалъ онъ:— нынче вечеромъ на меня возложена вся хозяйственная часть по устройству ополченія. Борьба была жаркая, но я побѣдилъ. Ну, вы, конечно, увѣрены, что я своего кармана не забуду!

Послѣднія слова были сказаны тѣмъ шуточнымъ тономъ, который у мало-мальски благовоспитаннаго собесѣдника долженъ вызвать, по малой мѣрѣ, разувѣряющій простосердечный смѣхъ.

Но я, не знаю почему, вдругъ покраснѣлъ.

— Ѳома невѣрующій!—воскликнулъ онъ съ укоромъ.

Затѣмъ мы сѣли ужинать, и онъ спросилъ шампанскаго. Тутъ же подсѣла цѣлая компанія подручныхъ устроителей ополченія. Все было уже сформировано и находилось, такъ сказать, на чеку. Все смѣялось, пило и съ довѣріемъ глядѣло въ глаза будущему. Но у меня не выходило изъ головы: «придутъ нѣцыи и на вратахъ жилищъ своихъ начертаютъ: здѣсь стригутъ, брѣютъ и кровь отворяютъ».

Это была скорбная пора; это была пора, когда моему встревоженному уму впервые предсталъ вопросъ: что̀ же, наконецъ, такое этотъ патріотизмъ, которымъ всякій такъ охотно заслоняетъ себя, который я самъ съ колыбели считалъ для себя обязательнымъ и съ которымъ, въ столь рѣшительную для отечества минуту, самый послѣдній изъ прохвостовъ обращался самымъ наглымъ и безцеремоннымъ образомъ?

Теперь, съ помощью Бисмарковъ, Наполеоновъ и другихъ поборниковъ отечестволюбія, я нѣсколько уяснилъ себѣ этотъ вопросъ, но тогда я еще былъ на этотъ счетъ новичокъ.

Въ первый моментъ всѣхъ словно пришибло. Говорили шопотомъ, вздыхали, качали головой и вообще вели себя

прилично обстоятельствамъ. Потомъ мало-по-малу освоились, и каждый обратился къ своему ежедневному дѣлу! Наконецъ, всмотрѣлись ближе, вникли, взвѣсили...

И вдругъ неслыханнѣйшая оргія взволновала нашъ скромный городъ. Словно молнія, блеснула всѣмъ въ глаза истина: требуется до двадцати тысячъ ратниковъ! Сколько тутъ сукна, холста, кожевеннаго товара, полушубковъ, обозныхъ лошадей, провіанта, приварочныхъ денегъ! И сколько потребуется людей, чтобы все это сшить, пригнать въ самый короткій срокъ!

И вотъ весь мало-мальски смышленый людъ заволновался. Всякій спѣшилъ какъ-нибудь поближе пріютиться около пирога, чтобъ нѣчто урвать, утаить, ушить, укроить, усчитать и вообще, по силѣ-возможности, накласть въ загорбокъ любезному отечеству. Лица вытянулись, глаза помутились, уста оскалились. Съ утра до вечера, среди непроходимой осенней грязи, сновали по улицамъ люди съ алчными физіономіями, съ цѣпкими руками, въ чаяніи воспользоваться хоть грошомъ. Нашъ тихій, всегда скупой на деньгу, городъ вдругъ словно ошалѣлъ. Деньги полились рѣкой: базары оживились, торговля закипѣла, клубъ процвѣлъ. Вино и колоніальные товары цѣлыми транспортами выписывались изъ Москвы. Обѣды, балы слѣдовали другъ за другомъ, съ танцами, съ патріотическими тостами, съ пѣніемъ моднаго тогдашняго романса о воеводѣ Пальмерстонѣ, который какой-то проѣзжій итальянецъ положилъ, по просьбѣ полиціймейстера, на музыку и немилосердно коверкалъ при взрывѣ общаго энтузіазма.

Безсознательно, но тѣмъ не менѣе безпощадно, отечество продавалось всюду и за всякую цѣну. Продавалось и за грошъ, и за болѣе крупный кушъ; продавалось и за карточнымъ столомъ, и за пьяными тостами подписныхъ обѣдовъ; продавалось и въ домашнихъ кружкахъ, устроенныхъ съ цѣлью наилучшей организаціи ополченія, и при звонѣ колоколовъ, при возгласахъ, призывавшихъ побѣду и одолѣніе.

Кто не могъ ничего урвать, тотъ продавалъ самого себя. Все, что было въ присутственныхъ мѣстахъ пьяненькаго, неспособнаго, лѣниваго,—все потянулось въ ополченіе. На улицахъ и клубныхъ вечерахъ появились молодые люди въ новенькихъ ополченкахъ, въ которыхъ трудно было угадать вчерашнихъ неуклюжихъ и щипанныхъ канцелярскихъ чиновниковъ. Еще вчера ни одна губернская ба-

рыня ни за что въ свѣтѣ не пошла бы танцовать съ какимъ-нибудь коллежскимъ регистраторомъ Горизонтовымъ, а нынче Горизонтовъ такъ чистъ и милъ въ своей офицерской ополченкѣ, что барыня даже изнемогаетъ, танцуя съ нимъ «польку-трамблямсъ». И не только она, но даже вчерашній начальникъ, вице-губернаторъ, не узнаетъ въ этомъ чистенькомъ офицерикѣ вчерашняго неопрятнаго, отрепаннаго писца Горизонтова.

— А! Горизонтовъ! мило! очень, братецъ мой, хорошо!— поощряетъ вице-губернаторъ, повертывая его и посматривая сзади и спереди.

— Сегодня только-что отъ портного, ваше высокородіе!

— Прекрасно! очень, даже очень порядочно сшитъ кафтанокъ! И скоро въ походъ?

— Поучимся недѣли съ двѣ, ваше высокородіе, и въ походъ-съ.

— Смотри, сражайся! Сражайся, братецъ, потому что отечество...

— Намъ, ваше высокородіе, сражаться врядъ ли придется, потому—далеко. А такъ, страны свѣта увидимъ...

И шли эти люди, въ чаяньи на ратницкій счетъ «страны свѣта увидать», шли съ легкимъ сердцемъ, не зная, не вѣдая, куда они путь-дороженьку держатъ, и какой-такой Севастополь на свѣтѣ состоитъ, что̀ такіе за «ключи», изъ-за которыхъ сыръ-боръ загорѣлся. И бо̀льшая часть ихъ впослѣдствіи воротилась домой изъ-подъ Нижняго, воротилась спившаяся съ круга, безъ гроша денегъ, въ затасканныхъ до дыръ ополченкахъ, съ одними воспоминаніями о видѣнныхъ по бокамъ столбовой дороги странахъ свѣта. И такъ-таки и не узнали они, какіе-такіе «ключи», ради которыхъ черноморскій флотъ потопили и Севастополь разгромили.

Шитье ратницкой аммуниціи шло дни и ночи напролетъ. Все, что̀ могло держать въ рукѣ иглу, все было занято. Почти во всякомъ мѣщанскомъ домишкѣ были устроены мастерскія. Тутъ шили рубахи, въ другомъ мѣстѣ — ополченскіе кафтаны, въ третьемъ—стучали сапожными колодками. Ѣдешь, бывало, темною ночью по улицѣ — вездѣ горятъ огни, вездѣ отворены окна, несмотря на глухую осень, и изъ оконъ несется паръ, говоръ, гамъ, пѣсни...

А объектъ ополченія тѣмъ временемъ такъ и валилъ валомъ въ городъ. Валилъ съ пѣснями, съ причитаніями,

съ подыгрываніемъ гармоники; валилъ, сопровождаемый ревущимъ и всхлипывающимъ бабьемъ.

— Волость привели!—молодецки докладываетъ волостной старшина управляющему палатой государственныхъ имуществъ, выстроивъ будущихъ ратниковъ передъ квартирой начальника.

Управляющій выходитъ съ гостями на крыльцо и здоровается.

— Молодцы, ребята! — кричитъ онъ по-военному: — за вѣру! Помнить, ребята! Съ желѣзомъ въ рукѣ... Съ Богомъ!

И вотъ изъ числа гостей выступаетъ впередъ откупщикъ, перекрестъ изъ жидовъ. Онъ приходитъ въ такой энтузіазмъ отъ одного вида молодцовъ-ребятъ, что тутъ же возглашаетъ:

— По царкѣ! по двѣ царки на каждаго ратника зертвую! За вѣру!

— Съ Богомъ, трогай! — вновь напутствуетъ управляющій толпу:—за вѣ-ѣ-ру!

«Объектъ» удаляется съ пѣснями.

Знаетъ ли онъ, что̀ за «ключи» такіе, ради которыхъ перекрестъ изъ жидовъ жертвуетъ ему по чаркѣ водки на человѣка?

Однимъ словомъ, и на улицахъ, и въ домахъ шла невообразимая суета. Но человѣка, посторонняго дѣлу организаціи ополченія, въ этой суетѣ прежде всего поражало преобладаніе натянутости и таинственности. Общій разговоръ исчезъ совершенно. Въ собраніяхъ, въ частныхъ домахъ — сейчасъ же формировались отдѣльныя группы людей, горячо о чемъ-то между собою перешоптывавшихся. Въ виду этихъ группъ непосвященному становилось просто неловко. На привѣтствіе его отвѣчали машинально; ежели же онъ проявлялъ желаніе присоединиться къ общему разговору, то перемѣняли разговоръ и начинали говорить вздоръ. Приходилось или уединиться, или присаживаться къ дѣвицамъ, которыя или щипали корпію, или роптали на то, что въ нашъ городъ не присылаютъ плѣнныхъ офицеровъ. По временамъ отъ которой-нибудь группы отдѣлялся индивидуумъ и торопливо куда-то исчезалъ. Черезъ нѣкоторое время, исчезнувшій такъ же торопливо появлялся вновь одинъ или съ новыми индивидуумами, и опять начинался оживленный шопотъ. По временамъ цѣлая группа куда-то исчезала, вѣроятно, въ домъ къ кому-

нибудь изъ заговорщиковъ, у котораго можно было расположиться вольнѣе...

— Да что же такое происходитъ, наконецъ? — спросилъ я однажды Погудина, который зашелъ ко мнѣ утромъ посидѣть.

— Топка, батюшка, происходитъ, великая топка теперь у насъ идетъ,—отвѣтилъ онъ:—и Богу молятся, и воруютъ, и опять Богу молятся, и опять воруютъ. «И притомъ въ самоскорѣйшемъ времени», какъ выразился Набрюшниковъ.

— Неужто и Удодовъ тутъ?

— Удодовъ — по преимуществу. Много тутъ конкуррентовъ было: и голова вправшивался, и батальонный командиръ освѣдомлялся, чѣмъ пахнетъ,—всѣхъ Удодовъ оттеръ. Теперь онъ Набрюшникова такъ настегалъ, что тотъ такъ и лѣзетъ, какъ бы на кого наброситься. Только и твердитъ каждое утро полиціймейстеру: «критиковъ вы мнѣ разыщите! критиковъ-съ! А враговъ мы, съ Божьею помощью, побѣдимъ-съ!»

— А развѣ ужъ и критики появились?

— Немудрые. Какой-то писаришко анонимное письмо написалъ: новымъ Ровоамомъ Набрюшникова называетъ. Ну, какой же онъ Ровоамъ!

— Стало-быть, сдѣлка между Набрюшниковымъ и Удодовымъ состоялась?

— Нехитрая сдѣлка: Набрюшниковъ десять процентовъ себѣ выговорилъ. Тутъ, батюшка, сотни тысячъ полетятъ, такъ ежели десять копеекъ съ каждаго рубля — сочтите, сколько денегъ-то будетъ!

— Послушайте, да не много ли десять-то процентовъ? Вѣдь ежели Набрюшникову десять процентовъ, сколько же Удодовъ себѣ возьметъ, сколько возьмутъ его агенты!

— Всѣ возьмутъ, да еще увидите, что и «благоразумная экономія» будетъ. А впрочемъ, знаете ли, что мнѣ приходитъ на мысль: Удодовъ поглядитъ-поглядитъ, да и заграбитъ все самъ. А Набрюшникова на бобахъ оставитъ!

— Ну, это мудрено!

— Ничего мудренаго нѣтъ. Вы вглядитесь въ Удодова, какая у него въ послѣднее время физіономія сдѣлалась. Такъ вѣдь и написано на ней: и за что я какому-нибудь тетереву буду десять процентовъ отдавать!

— Такъ вотъ онъ, Удодовъ-то! А какой человѣкъ-то! Намеднись сидѣлъ я у него, и зашелъ у насъ разго-

воръ о любви къ отечеству. «Отечество,—говоритъ,—это святыня!»

— А «Не бѣлы снѣги» какъ поетъ, просто даже слеза прошибаетъ!

Погудинъ даже закручинился подъ вліяніемъ этого воспоминанія. Машинально свѣсилъ голову на бокъ и чуть-чуть самъ не запѣлъ.

— Да,—сказалъ онъ послѣ минутнаго молчанія:—какая-нибудь тайна тутъ есть. «Не бѣлы снѣги» запоютъ—слушать безъ слезъ не можетъ, а обдирать народъ — это вольнымъ духомъ, сейчасъ! Или и впрямь казна-матушка такъ ужъ согрѣшила, что ни въ комъ-то къ ней жалости нѣтъ и никто ничего не видитъ за нею! Ужъ на что казначей — хранитель, значитъ, — и тотъ въ прошломъ году сто тысячъ укралъ! Не щемитъ ни въ комъ сердце по ней, да и все тутъ! А что̀ промежду купечества теперь происходитъ—страсть!

— Напримѣръ?

— И грызутся, и смѣются, и анекдоты другъ про дружку разсказываютъ. Хоть и большое дѣло двадцать тысячъ человѣкъ снарядить, а все-таки не всякому туда впроситься удалось. Вотъ и идетъ у нихъ теперь потѣха: кто кому больше въ карманъ накладетъ. Орфенову, напримѣръ, ничего не дали, а онъ у насъ по кожевенной части первый человѣкъ. А подѣлили между собою полушубки и кожевенный товаръ Москвины да Костромины, а они сроду около кожевеннаго-то товара и не хаживали. Вотъ Орфеновъ и обозлился. Живъ, говоритъ, не буду, коли весь товаръ не скуплю: пущай за тридевять земель полушубки покупаютъ! Такъ его сегодня полиціймейстеръ къ Набрюшникову таскалъ.

— Это зачѣмъ?

— Репримандъ Набрюшниковъ дѣлалъ. «Отъѣлся, говоритъ, такъ за критики принялся! Знаешь ли, говоритъ, что съ тобою яко съ заговорщикомъ поступить можно?»

— Ловко!

— Да, не безъ пріятности для Удодова. Да, собственно говоря, онъ одинъ и пріятность-то отъ всего этого дѣла получитъ. Онъ-то свой процентъ даже сейчасъ ужъ выручилъ, а прочимъ, вотъ хоть бы тѣмъ же Костроминымъ съ братіей, кажется, просто безъ всякихъ пріятностей придется на нѣтъ съѣхать. Только вотъ денегъ много за разъ въ рукахъ увидятъ—это какъ будто радуетъ!

— Ну, не станутъ же и они безъ пользы хлопотать!

— А вотъ какъ я вамъ скажу. Былъ я вчера у Радугина: онъ ночью нынче въ Москву за сукномъ уѣхалъ. Такъ онъ мнѣ сказывалъ: «Взялся, говоритъ, я сто тысячъ аршинъ сукна поставить по рублю за аршинъ и для задатковъ впередъ двадцать пять тысячъ получилъ—сколько, ты думаешь, у меня отъ этихъ двадцати пяти тысячъ денегъ осталось?» — Двѣ синенькихъ? говорю. «Двѣ не двѣ, а... пять тысячъ!»

— Строгъ же Удодовъ!

— Ужъ такъ аккуратенъ, такъ аккуратенъ! Разомъ со всего подряда двадцать процентовъ учелъ. Святое дѣло. Да еще что: реестриковъ разныхъ Радугину со всѣхъ сторонъ наслали: тотъ то купить проситъ, тотъ — другое. Однѣхъ дамскихъ шляпокъ изъ Москвы пять штукъ привезти обязался. Признаться сказать, я даже пожалѣлъ его: купи, говорю, кстати и мнѣ въ Москвѣ домишко какой-нибудь немудрящій; я, говорю, и надпись на воротахъ такую изображу: подаренъ, дескать, въ знакъ ополченія.

— Удивительнѣе всего, что они даже не скрываются. Такъ-таки все и выкладываютъ!

— Нельзя. Удодовъ пыталъ останавливать, даже грозилъ, да ничего не подѣлаешь. Сначала пообѣщаютъ молчать, а черезъ часъ не выдержатъ — и выболтаютъ. По секрету, разумѣется. Тому по секрету, другому по секрету— анъ оно и выходитъ, словно въ газетахъ напечатано! Вотъ и я вамъ тоже по секрету.

— Чортъ возьми, однако! Вѣдь, по-настоящему, Удодову теперь руку подать стыдно!

— Ничего стыднаго нѣтъ. Рука у него теперь мягкая, словно бархатъ. И самъ онъ добрѣе, мягче сдѣлался. Бывало, глаза такъ и нижутъ насквозь, а нынче больше все подъ лобъ зрачки-то закатывать сталъ. Очень ужъ, значитъ, за отечество ему прискорбно! Намеднись мы въ клубѣ были, когда газеты пришли. Бросился это Удодовъ, конвертъ съ «Вѣдомостей» сорвалъ: «держится! — кричитъ:— держится еще батюшка-то нашъ!» Это онъ про Севастополь! Ну, да прощайте! Секретъ!

Погудинъ направился-было къ передней, но съ половины дороги вернулся.

— Забылъ!—сказалъ онъ:—сегодня ко мнѣ мажордомъ приходилъ—знаете, тотъ самый, что за «покушеніе войти въ незаконную связь съ княгиней ***» къ намъ сосланъ,

«А что̀, говоритъ, не махнуть ли и мнѣ, Петръ Васильичъ, въ ополченіе? Ужъ очень, говоритъ, Рассеѣ послужить захотѣлось!»—Валяй, говорю.—«Только я, говоритъ, насчетъ чина сомнѣваюсь. Вонъ Горизонтова въ прапоры произвели, а меня какимъ чиномъ примутъ?» — Прямо прохвостомъ, говорю.—«Ну, нѣтъ, говоритъ, мнѣ, по моему положенію, не того надобно!»—А какое же, спрашиваю, твое положеніе?—«А такое, говоритъ, положеніе, что хоша я по просьбѣ князя Павла Павлыча сюда сосланъ, а онъ самъ—безпремѣнно мой сынъ!»—Врешь, говорю, хвастаешься! За «покушеніе» ты сосланъ—понимаешь! Покушался ты только мерзость сдѣлать, а въ исполненіе не привелъ!..—Такъ онъ даже въ азартъ вошелъ! Вертитъ это перстнемъ у меня передъ глазами: «это, говоритъ, что̀! Развѣ за «покушенія» такіе перстни дарятъ!» Посмотрѣлъ я на перстень — хорошъ!—Хорошъ, говорю, перстенекъ, а все-таки никакого другого чина, кромѣ прохвоста, обѣщать тебѣ не могу!—Съ тѣмъ онъ отъ меня и ушелъ... Такъ вотъ оно что̀ значитъ отечество-то! Даже мажордомъ восчувствовалъ! «Рассеѣ, говоритъ, послужить хочу!»

И все опять запрыгало, завертѣлось. Дамы щиплютъ корпію и танцуютъ. Мужчины взываютъ о побѣдѣ и одолѣніи, душатъ шампанское и устраиваютъ въ честь ополченія пикники и déjeuners dansants. Откупщикъ жертвуетъ чарку за чаркой. Бородатые ратники, въ собственныхъ рваныхъ полушубкахъ, въ ожиданіи новыхъ казенныхъ, толпами ходятъ по улицамъ и поютъ пѣсни. Все перепуталось, все смѣшалось въ одинъ общій густой гвалтъ.

И какъ-то отчетисто, рѣзко выдѣляется изъ этого гвалта голосъ Удодова, возглашающій:

— Держится голубчикъ-то нашъ! Не сдается! Нахимовъ! Лазаревъ! Тотлебенъ! Герои! Уррра!

Наконецъ, ополченіе, окончательно сформированное, двинулось. Я, впрочемъ, былъ уже въ это время въ Петербургѣ и потому не могъ быть личнымъ свидѣтелемъ развязки великой ополченской драмы. Я узналъ объ этой развязкѣ изъ письма Погудина.

«Наша ополченская драма,—писалъ онъ мнѣ:—разрѣшилась вчера самымъ неожиданнымъ образомъ. Удодовъ исчезъ, т.-е. уѣхалъ ночью въ Петербургъ, чтобы не возвращаться сюда. Оказывается, что уже двѣ недѣли тому

назадъ у него былъ въ карманѣ отпускъ. Все это сдѣлалось такъ внезапно, что самыя приближенныя къ Удодову лица ничего не знали. Вечеромъ у него собралось два-три человѣка изъ «преданныхъ», играли въ карты, ужинали. Въ полночь онъ послалъ за лошадьми, говоря, что ѣдетъ на сутки на ревизію. И только уже садясь въ возокъ, сказалъ провожавшимъ его гостямъ: «господа, не поминайте лихомъ, въ Петербургъ удираю!» Набрюшниковъ такъ и остался при малой мздѣ, которая ему была выдана изъ задаточныхъ денегъ. Однако онъ рѣшился не оставлять этого дѣла и сегодня же посылаетъ просьбу о разрѣшеніи ему отпуска въ Петербургъ. Надѣется хоть на половину суммы Удодова усовѣстить. Усовѣстить ли?»

XVII.—Привѣтъ.

Мы мчались на всѣхъ парахъ по направленію изъ Кёнигсберга въ Вержболово. Вотъ Вёлау, вотъ Инстербургъ, вотъ Гумбиненъ... скоро, теперь скоро! Сердце робѣло, какъ бы припоминая старую привычку болѣть; саднящая тревога распространилась по всему организму; глаза закрывались, словно боясь встрѣтиться съ неожиданностью.

Собственно говоря, впереди не было ничего ни неизвѣстнаго, ни неожиданнаго—напротивъ! Но сложилась на свѣтѣ какая-то особаго рода неизвѣстность, которую, какъ ни вертись, нельзя назвать иначе, какъ извѣстностью неизвѣстности. Что̀ проку въ томъ, что впереди все до послѣдней нитки извѣстно, ежели въ чревѣ этой извѣстности нельзя найти ничего другого, кромѣ пословицы: извѣстно, что всѣ мы подъ Богомъ ходимъ. Ахъ! Это—самая безсовѣстная, самая унизительная пословица! Смыслъ ея горчѣе всякой горькой несправедливости, жесточе самой жестокой кары!

Нехорошо жить тому, кто не можетъ даже опредѣлить для себя, виноватъ онъ или не виноватъ; не имѣетъ руководящей нити, чтобы угадать, что̀ его ждетъ впереди—награда или кара. Посреди этой смуты представленій настоящаго и будущаго, конечно, самое разумное—это довести свой искъ къ жизни до минимума, т.-е. сказать себѣ: удобнѣе всего быть ни виноватымъ, ни невиноватымъ, не заслуживать ни кары, ни награды; я, дескать, самъ по себѣ, я ничего не требую, ничего не ищу и претендую

только на то, что имѣю право жить. Согласитесь, что это немного. Но тутъ-то именно изнуренное прирожденнымъ плѣномъ воображеніе и отыскиваетъ всякаго рода загвоздки. Во-первыхъ, что̀ это за чинъ такой: «самъ по себѣ»? Во-вторыхъ, какое такое «право жить»? Право существовать, то-есть? Право ходить по стрункѣ? Право жить въ той мѣрѣ...

Мнѣ было стыдно. Я смотрѣлъ на долину Прегеля и весь горѣлъ. Не страшно было, а именно стыдно. Меня охватывала безпредметная тоска, желаніе метаться, биться головой объ стѣну. Что-то въ родѣ безсильной злобы раба, который всю жизнь плясалъ и пѣлъ пѣсни, и вдругъ, въ одну минуту, всѣмъ существомъ своимъ понялъ, что онъ весь, съ ногъ до головы—рабъ.

Очевидно, сердце припоминало старую боль. Я слишкомъ долгое время чувствовалъ себя чужимъ среди чужихъ и потому отвыкъ болѣть. Но намъ это необходимо, намъ нужна ноющая сердечная боль, и покамѣстъ это все-таки—лучшій (самый честный) modus vivendi изъ всѣхъ, которые предлагаетъ намъ дѣйствительность.

Но истинный рабъ имѣетъ впечатлительность скоропреходящую; потому-то именно онъ и рабъ, что не можетъ сосредоточить свою мысль ни въ какомъ ощущеніи. Вспышки совѣсти въ немъ часты, но минутны. Блужданіе между нравственною анэміей и безпорядочнымъ раскаяніемъ—вотъ единственная форма, въ которой воплощаются тѣ проблески общечеловѣческихъ основъ, которые безсильна заглушить даже безпощадная рабская дисциплина. И чѣмъ сильнѣе вспышки самосознанія, тѣмъ рѣзче слѣдующій за ними общій упадокъ силъ. Даже раскаяніе, эта податливѣйшая изъ всѣхъ формъ внутренняго человѣческаго самосуда, слишкомъ тяжеловѣсно, чтобы плечи раба могли выносить его бремя.

Рабъ не перестаетъ быть рабомъ даже въ тѣ минуты, когда у него болитъ сердце. Охваченный бунтующею совѣстью, онъ умиротворяетъ ее не дѣйствительнымъ удовлетвореніемъ ея законныхъ требованій, а тѣмъ, что старается обойти, замять, позабыть. Онъ изобрѣтателенъ на всякія уловки—это одна изъ прерогативъ его званія—и потому безъ труда отыскиваетъ противовѣсъ пробудившемуся сознанію въ готовыхъ представленіяхъ о неизбѣжности и коловратности. И вотъ крики боли начинаютъ мало-по-малу стихать, и недавній ропль: «унизительно, стыдно, больно!»

смѣняется другимъ: «лучше не думать!» Затѣмъ человѣкъ уже дѣлается разсудительнымъ; въ умѣ его постепенно образуется представленіе о неизбѣжномъ рокѣ, о гнетущей силѣ обстоятельствъ, противъ которой безполезно или, по малой мѣрѣ, рискованно прать, и, наконецъ, какъ достойное завершеніе всѣхъ этихъ недостойностей, является краткій, но имѣющій рѣшающую силу афоризмъ: «надо же жить!»

Да, надо жить! Надо нести иго жизни съ осторожностью, благоразуміемъ и даже стойкостью. Рабъ — дипломатъ по необходимости: онъ долженъ какъ можно чаще повторять себѣ: «жить! жить надо!» потому что въ этихъ словахъ заключается отпущеніе его совѣсти, потому что въ нихъ утопаютъ всевозможныя жизненныя программы, начиная свободой и кончая рабствомъ.

Мало-по-малу мой стыдъ пропалъ, и его мѣсто заняло смутное желаніе «увидѣть вновь». Я не объяснилъ себѣ, что̀ предстоитъ увидѣть; я именно твердилъ только эти слова: «увидѣть вновь». А такъ какъ не могло быть ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что я «увижу вновь» непремѣнно и не дальше, какъ вслѣдъ за симъ, то мысли мои невольно начали принимать направленіе дѣловое, реальное, которое не мало помогло окончательному умиротворенію потугъ стыда. Я началъ вслушиваться, всматриваться и мало-по-малу вполнѣ допустилъ завладѣть собой мелочамъ обыденной, чередовой жизни.

Насъ сидѣло въ купе́ четыре человѣка, все русскіе. Мы выѣхали изъ Берлина наканунѣ, въ восемь часовъ вечера, но, по русскому обычаю, разсѣлись по угламъ, помолчали и, наконецъ, заснули, какъ кто могъ. Только утромъ товарищи мои начали вглядываться другъ въ друга и испускать какіе-то предварительные звуки, которые обнаруживаютъ поползновеніе вступить въ разговоръ. Но въ Кёнигсбергѣ, за завтракомъ, общественное положеніе моихъ спутниковъ объяснилось вполнѣ. Всѣ трое были представителями русской культурности: одинъ, Василій Иванычъ, ѣхалъ изъ Парижа; другой, Павелъ Матвѣичъ—изъ Ниццы; третій, Сергѣй Ѳедорычъ—изъ Баденъ-Бадена, въ соотвѣтствующіе города: Навозный, Соломенный и Непросыхающій. Всѣ трое были женаты; жены ихъ провели ночь вмѣстѣ, въ особомъ вагонѣ для некурящихъ, и довольно близко между собою познакомились. И немудрено: у нихъ былъ общій и очень существенный интересъ. У каждой было по нѣскольку кусковъ матерій, которые надлежало утаить отъ та-

моженнаго надзора, а это, какъ извѣстно, составляетъ предметъ неистощимѣйшихъ разговоровъ для всякой свободномыслящей русской дамы, которая, пользуясь всѣми правами культурнаго срамословія, потому только не мнитъ себя кокоткою, что освобождается отъ взятія желтаго билета. За кофеемъ послѣдовало взаимное представленіе мужей, а когда поѣздъ тронулся, то знакомство уже стояло на прочномъ основаніи, и между новыми пріятелями безъ задержки полилась вольная русская рѣчь.

Покуда мнѣ было стыдно, я не обращалъ вниманія на происходившій около меня разговоръ; теперь, когда стыдъ мой прошелъ, я, какъ уже сказано выше, началъ вслушиваться. Спутники мои, за исключеніемъ Сергѣя Ѳедорыча, были, очевидно, истыми представителями и ревнителями интересовъ русской культурности, изъ числа тѣхъ, которые помнили времена, когда еще существовали культурные люди, «не позволявшіе себѣ на ногу наступить». Теперь, когда наступаніе на ноги, за всесословнымъ его распространеніемъ, пріобрѣло уже до такой степени обычный характеръ, что никого не заставляетъ даже краснѣть, домашнее дѣло этихъ господъ, т.-е. защита интересовъ культурности, до такой степени упростилось, что они увидѣли передъ собою пропасть празднаго времени, которое и рѣшились наполнить безцѣльнымъ шатаніемъ по безчисленнымъ заграничнымъ stations de santé, гдѣ праздность находитъ для себя хоть то оправданіе, что доставляетъ занятіе и хлѣбъ безконечному сонмищу комиссіонеровъ, пактрэгеровъ и динстмановъ. И Василій Иванычъ, и Павелъ Матвѣичъ были люди вполнѣ утробистые, съ тою, однако-жъ, разницею, что у перваго животъ расплывался вширь, въ видѣ обширнаго четыреугольника, приподнимавшагося только при очень обильномъ насыщеніи; у второго же животъ былъ собранъ клубкомъ, такъ что со стороны можно было подумать, что у него въ штанахъ спрятана бомба. Василій Иванычъ выглядѣлъ джентльменомъ: одѣтъ былъ щеголевато, лицо имѣлъ чистое, матовое, доказывавшее, что періодическое омовеніе уже вошло въ его привычки, напротивъ того, Павелъ Матвѣичъ глядѣлъ замарашкой: одѣтъ былъ неряшливо, въ бѣльѣ рыжеватаго цвѣта, лицо имѣлъ пористое, покрытое противною маслянистою слизью, какъ у человѣка, который нѣсколько сутокъ сряду спалъ лежа въ тарантасѣ, на протухлой подушкѣ. Василій Иванычъ обнаруживалъ нѣкоторое знакомство съ европейскими манерами, т.-е. говорилъ ре-

зонно и свободно, дышалъ ровно и совсѣмъ не курилъ: напротивъ, Павелъ Матвѣичъ говорилъ отрывисто, почти-что мычалъ, не дышалъ, а сопѣлъ и фыркалъ, курилъ вонючія папиросы, одну за другою, и при этомъ какъ-то неистово захлебывался. Что же касается до Сергѣя Ѳедорыча, то это былъ малый низенькій, вертлявый и поджарый, что прямо обнаруживало, что прикосновенность его къ культурности очень недавняя и притомъ сомнительная. Очевидно, онъ былъ когда-то исправникомъ или становымъ и лишь въ послѣднее время, за общимъ запустѣніемъ, очутился представителемъ интересовъ культурности. Даже фамилія у него была совсѣмъ не культурная — Курицынъ, тогда какъ Василій Иванычъ былъ Спальниковъ, а Павелъ Матвѣичъ—Постельниковъ.

— А вѣдь это было когда-то все наше!—говорилъ Василій Иванычъ, указывая рукой на долину Прегеля.

Павелъ Матвѣичъ устремилъ въ окно непонятливый взоръ, какъ будто хотѣлъ что-то разглядѣть сквозь туманъ, хотя въ дѣйствительности никакого тумана не было, кромѣ того, которымъ сама природа застилала его глаза.

— Когда же?—заёрзалъ на мѣстѣ господинъ Курицынъ.

— Да ужъ тамъ когда бы то ни было, хоть при царѣ Горохѣ, а все наше было. И это, и дальше все. Отцы наши тутъ жили, мощи нашихъ угодниковъ почивали. Кёнигсбергъ-то Королевцемъ назывался, а это ужъ послѣ нѣмцы его въ Кёнигсбергъ перекрестили.

Павелъ Матвѣичъ зѣвнулъ и произнесъ:

— Пущай ихъ, у насъ и своихъ болотъ дѣвать некуда!

— Однако-жъ,—возразилъ Василій Иванычъ:—довольно не довольно, а все-таки своего своему жалко.

Да неужто это правда?—встревожился Сергѣй Ѳедорычъ.

— Вѣрно говорю: все наше было. Самъ покойный Михайло Петровичъ мнѣ сказывалъ: поѣдешь, говоритъ, за границу, не забудь Королевцу поклониться: нашъ, братецъ, былъ! И Данцигъ былъ нашъ—Гданскомъ назывался, и Лейпцигъ – Липовецъ, и Дрезденъ — Дрозды, все наше. И Поморье все было наше, а теперь нѣмцы Помераніемъ называютъ. Больно, говоритъ. Да что тутъ еще толковать!— и по сейчасъ одинъ рукавъ Мемеля Русью зовется, и мѣстечко при устьѣ его—тоже Русь! Вотъ она гдѣ, наша Русь православная, была!

— Странно, какъ же мы это такъ... оплошали!

— Объ томъ-то я и говорю, что сротозѣйничали. Не будь этого... Ишь-ишь-ишь! сколько аистовъ по полямъ бредетъ!

Павелъ Матвѣичъ взглянулъ въ окно, но только почесалъ носъ.

— Все бы наше было, и аисты наши были бы!

— Не корыстная птица,—замѣтилъ Павелъ Матвѣичъ:— я слышалъ, мышами питается.

— Что-жъ, гадовъ выводитъ—и за то спасибо! Вотъ у насъ этой птицы нѣтъ, оттого и гаду много! Какъ переѣхалъ за Эйдкуненъ—ау, аисты! Ворòна пошла.

— Въ одномъ мѣстѣ аисты, въ другомъ—ворòна, гдѣ чему водъ!

— Да, вотъ здѣсь крыши черепицей кроютъ, а у насъ— соломой!

— Соломой-то проще! Да вѣдь и то сказать: у другого крыша хоть и соломенная, да зато подъ крышею...

— По-одъ кры-ышею!—зѣвнулъ во весь ротъ Павелъ Матвѣичъ:—фу-ты, разоспался! Отъ самаго отъ Берлина въ себя придти не могу! Вы откудова ѣдете?

— Мы—изъ Парижа. Каждый годъ ѣздимъ; поживемъ, закупки сдѣлаемъ—и домой!

— А я изъ Ниццы. Море...

— Я цѣлую зиму въ Баденъ-Баденѣ прожилъ, — отозвался и Сергѣй Ѳедорычъ.—Всѣмъ хорошо, только праздникъ Христовъ тяжело на чужой сторонѣ встрѣчать!

— Па-асха!—опять зѣвнулъ Павелъ Матвѣичъ.

— Да, побыли, погуляли, а теперь вотъ домой ѣдемъ, дѣломъ займемся, оброки соберемъ. А зимой, ежели захочемъ—и опять за границу!—разсудилъ Василій Иванычъ.

— Хорошо-хорошо за границей, а дома лучше.

— Дома—чего лучше!

— Пасха пресвята-а-я!—затянулъ Павелъ Матвѣичъ.

Всѣ трое на минуту смолкли. Павелъ Матвѣичъ повернулся бокомъ къ окну и смотрѣлъ непонятливыми глазами вдаль; остальные двое покачивались.

— Дома—святое дѣло!—началъ, наконецъ, Василій Иванычъ:—это такъ только говорятъ, что за границей хорошо, а какъ же можно сравнить? Вотъ хоть бы насчетъ ѣды: у насъ ли ѣда, или за границей?

— Вотъ именно это я всегда и женѣ говорилъ! Помилуй, говорю, у насъ ли ѣда, или въ этой Ниццѣ проклятой!—съ какою-то жадностью воскликнулъ Павелъ Ма-

твѣичъ. Онъ весь оживился, и даже непонятливые его глаза какъ будто блеснули.

— Мнѣ,—доложилъ въ свою очередь Сергѣй Ѳедорычъ:— какъ я за границу отправлялся, губернаторъ говорилъ: «счастливецъ ты, Сергѣй Ѳедорычъ, будешь тюрбо̀ ѣсть!» А я ему: это еще, говорю, ваше превосходительство, бабушка на-двое сказала, кто счастливѣе: тотъ ли, который тюрбо̀ будетъ ѣсть, или тотъ, у кого подъ руками и осетринка, и стерлядка, и севрюжка—словомъ, все.

— Да, надъ этимъ еще задумаешься!—отозвался Павелъ Матвѣичъ и утеръ ладонью носъ.

— Съ однимъ тюрбо̀—хоть онъ растюрбо̀ будь—далеко тоже не уѣдешь!—согласился и Василій Иванычъ.

— Вотъ въ Ниццѣ и много рыбы, да чорта ли въ ней!

— То ли дѣло наша стерлядь!

— Одна ли стерлядь, вы возьмите: судакъ! Вѣдь это— какая рыба! Куда хотите, туда и поверните: и а ля-рюссъ, и съ провансаломъ, и съ кисленькимъ соусомъ—всяко!

— А молодые судачки—на жаркое!

— Вотъ это—такъ рыба, настоящая рыба!

— Осетрина, бѣлужина, севрюжка, бѣлорыбица, сазанъ, налимъ!

— А лещъ-то, лещъ! Тёшку леща зажарить да съ кашей!

— Ну, я вамъ скажу, ежели линя тоже приготовить, хоть и невидная, деревенская это рыба, а ежели подъ краснымъ соусомъ приготовить да лучку подпустить!

— А про лососину-то и забыли!

— Ну, лососина, пожалуй, и у нихъ есть. У насъ въ Баденъ-Баденѣ...

— Что̀ въ Баденъ-Баденѣ! Бывалъ я въ Баденъ-Баденѣ! Форель—только и свѣту въ окнѣ! Ну, еще лососина, пожалуй... кусочекъ съ горошину попадутъ... Нѣтъ, вы про сига нашего вспомните! Нѣтъ нашего сига, нигдѣ нашего сига нѣтъ!

— Какого тутъ сига искать! Щуку ѣдятъ, назовутъ «броше́»—и ѣдятъ!

— А у меня щуку люди не станутъ ѣсть. При крѣпостномъ правѣ ѣли, а теперь—баста! Попы—тѣ и сейчасъ щукъ ѣдятъ.

— Тюрбо̀ да тюрбо̀, а его только и можно ѣсть, что подъ бѣлымъ соусомъ!

Дойдя до такого почти безнадежнаго результата, спутники

мои чувствуютъ, однако, что зашли слишкомъ далеко. Поэтому въ мнѣніяхъ ихъ происходитъ минутная реакція, выразителемъ которой, къ удивленію, является Павелъ Матвѣичъ.

— Ну, положимъ, и не одно тюрбо̀,—говоритъ онъ, не безъ хитрости подмигивая однимъ глазомъ:—вспомните-ка!

— Конечно, не одно тюрбо̀,—уступаетъ и Василій Иванычъ:—ежели все-то вспомнить, такъ и у нихъ рыба есть—ка̀къ рыбѣ не быть!

— Тоже народъ живетъ—пить-ѣсть надо!—присовокупляетъ Сергѣй Ѳедорычъ.

— Соль, барбю—это вѣдь въ своемъ родѣ...

— Соусы-съ!

— Соусы—это вѣрно, что соусы! Я и сколько разъ гарсону въ кафе́ Ришъ говорилъ: что̀ ты меня, Филиппъ, все соусомъ-то кормишь! Съ соусомъ-то я тебѣ перчатки свои скормлю, а ты настоящее дѣло подавай!

Это замѣчаніе опять настраиваетъ мысли на патріотическій ладъ.

— Соусъ! Что такое соусъ? Есть ли это настоящая пища, или только такъ, какое-то мнимое, не достигшее пресуществленія антреме́?

— Ѣлъ я ихъ пресловутую буйль-абессъ, — говоритъ таинственно Павелъ Матвѣичъ:—это у нихъ вмѣсто нашей ухи!

— Ну, ужъ! куда ужъ!

— У насъ уху-то подадутъ—а?! Со стерлядью да съ налимьими печенками... зо-ло-та-а-я! Да растегаи къ ней...

— Что̀ ужъ!

— У меня коли уху готовятъ: сперва изъ мелкихъ стерлядей бульонъ сдѣлаютъ, да луку головку туда бросятъ, потомъ сквозь чистое полотенце процѣдятъ, да въ этомъ-то бульонѣ ужъ и варятъ настоящую стерлядь! Такъ она такъ на зубахъ и брызжетъ!

— Что̀ ужъ!

— А то буйль-абессъ! А они даже и ее только по праздникамъ ѣдятъ—диковина!

— И опять-таки: буйль-абессъ эта—совсѣмъ не уха, а соусъ!

— Все соусы! За что̀ ни возьмись—все соусъ!

— Зато они въ соусахъ — мастера̀! То-есть, впрочемъ, французы только... Мастера̀, бестіи, соусы приготовлять!

— Еще бы: субизъ, морне́, беарнезъ, борделезъ... пальчики оближешь!

— Хитеръ народъ, настоящей провизіи нѣтъ, такъ на соусахъ выѣзжаютъ!

— Настоящей провизіей только у насъ, въ матушкѣ-Россіи, и можно разжиться!

— Только у насъ—это вѣрно! Насчетъ чего другого, а насчетъ провизіи къ намъ пріѣзжай!

Всѣ трое затихаютъ и погружаются въ себя, словно отыскивая въ тайникахъ души какую-нибудь новую провизію для сравненія. Надо, впрочемъ, сказать, что Сергѣй Ѳедорычъ вообще принималъ довольно ограниченное участіе въ этомъ разговорѣ. Какъ человѣкъ новый, въ нѣкоторомъ родѣ мѣщанинъ въ дворянствѣ, онъ, во-первыхъ, опасался компрометировать себя какимъ-нибудь слишкомъ простымъ кушаньемъ, а во-вторыхъ, находилъ, что ему предстоитъ единственный въ своемъ родѣ случай поучиться у настоящихъ культурныхъ людей, чтобы потомъ, по пріѣздѣ въ Непросыхающій, сдѣлать соотвѣтствующія примѣненія, которыя доказали бы его знакомство съ послѣдними результатами европейской культуры.

— Сравните теперь нашего цыпленка съ ихнимъ пуле́!—начинаетъ Павелъ Матвѣичъ.

— Велика Ѳедора, да дура!—отзывается Василій Иванычъ.

— Нашъ ли цыпленокъ, или ихній? Нашъ цыпленокъ—ребенокъ, его съ косточками, съ головой, со всѣмъ проглотить можно! У него и жиръ-то ребячій! Запонируютъ это въ сухарикахъ, да въ сливочномъ маслѣ заколеруютъ—такъ это что̀!

Опять легкая пауза, въ продолженіе которой всѣ трое сопятъ.

— У насъ цыпленка гречневой кашей, да творогомъ, да бѣлымъ хлѣбомъ, да яйцомъ кормятъ—ну, онъ и цыпленокъ! А у нихъ чѣмъ кормятъ? Былъ я въ жардѐнъ акклиматасьонъ — тамъ за деньги кормленіе-то это показываютъ—срамъ смотрѣть!

— Однако и у нихъ бываютъ... жирные бываютъ пуле́!

— Еще бы не жирные! будешь жиренъ, какъ стервятиной да дохлятиной кормить будутъ! Да и вообще... развѣ это цыпленокъ! Подадутъ дылду на столъ, двоимъ врядъ убрать, и говорятъ: пуле́.

— Пулярка—это правильнѣе.

— Коли пулярка, такъ и говори, что пулярка, а пуле́, молъ, пожалуйте въ Россію кушать. Да опять и пулярка: наша ли пулярка, или парижская—объ нѣмецкихъ ужъ и не говорю! Наша пулярка, хоть небольшая, да нѣжная, тонкая, ароматъ у ней есть; а тамошняя пулярка—большая да прѣсная—чорта ли въ ней, въ этой прѣснятинѣ! Только говорятъ: саверъ да саверъ, а саверу-то именно и нѣтъ!

— Ну, положимъ, пулярки у нихъ все-таки еще бываютъ, а вотъ вы мнѣ что̀ скажите: гдѣ у нихъ наша дичь?

При этомъ вопросѣ собесѣдники сначала изумленно переглядываются, потомъ безнадежно махаютъ руками.

— Нашъ рябчикъ, нашъ тетеревъ, нашъ дупель—гдѣ они?

— Утица наша... да кряковная!—неосторожно вмѣшивается Сергѣй Ѳедорычъ и тотчасъ же стыдливо потупляетъ глаза.

По холодному блеску глазъ, которыми взглянулъ на него Василій Иванычъ, онъ убѣждается, что сдѣлалъ какой-то непозволительный промахъ. Утица, да еще кряковная... что̀ такое утица? Филе де-каннетонъ—еще пожалуй! Это, быть-можетъ, даже на дѣло похоже! Крряко-вная! Даже Павелъ Матвѣичъ, и тотъ какъ-то добродушно сконфузился при этомъ воспоминаніи.

— Тетерева-то, коли въ кастрюлькѣ да на чухонскомъ маслѣ зажарить,—спѣшитъ Павелъ Матвѣичъ перемѣнить разговоръ:—да подрумянить... да чтобы онъ въ кастрюлькѣ-то хорошенько вздохнулъ... вѣдь это—что̀-жъ!

— Да коли онъ не лежалый, да ароматъ этотъ въ немъ... вѣдь это—что̀!

— А рябчика-то на вертелѣ... да перчикомъ, да перчикомъ... бочка̀-то, бочка̀!

— У насъ тетеревъ, рябчикъ, дупель, вальдшнепъ, куропатка, а у нихъ—кайль да кайль!

— А по-нашему кайль-то—перепелка!

— У насъ дроздъ, а по-ихнему—грифъ. Думаешь, и Богъ знаетъ что̀ подаютъ—анъ дроздъ простой!

— Ну, есть у нихъ и пердро̀. Это вѣдь тоже недурно, особливо коли-ежели...

— А вы попробуйте-ка каждый день зарядить пердро̀ да пердро̀, такъ оно у васъ, батюшка, въ горлѣ застрянетъ! Нѣтъ, у насъ—какъ можно! Сегодня рябчикъ, завтра

тетеревъ, послѣзавтра, пожалуй, пердрò... Господи, а поросенокъ! объ поросеночкѣ-то и позабыли!

И всѣ вдругъ засмѣялись, но такъ любовно, какъ будто блуднаго сына обрѣли.

— Поросенка за границей днемъ съ огнемъ не отыщешь!—съ знаніемъ дѣла заявилъ Сергѣй Ѳедорычъ.

— Имъ поросенокъ невыгоденъ. Я не одинъ разъ у Филиппа спрашивалъ: отчего у васъ, Филиппъ, поросенка не подаютъ? «А оттого, говоритъ, что для насъ поросенокъ невыгоденъ; мы его затѣмъ воспитываемъ, чтобъ изъ него свинья или боровъ вышелъ—тогда и бьемъ!»

— А того не понимаетъ, что свинья—сама по себѣ, а поросенокъ—самъ по себѣ.

— Поросеночка да молочненькаго, да ежели съ недѣлю еще сливочками подкормить... Это—чтò же такое!

— Кожица-то у него, ежели онъ жареный... заслушаешься, какъ она на зубахъ-то хруститъ!

— А я, признаться, больше люблю вареннаго... да тепленькаго, да чтобъ сметанки съ хрѣнкомъ...

— Въ англійскомъ клубѣ, въ Москвѣ, въ прежнія времена поваръ былъ... ахъ, хорошо, бестія, поросятъ подавать умѣлъ!

Опять пауза; всѣ трое смотрятъ въ землю, словно подавленные воспоминаніями. Наконецъ, Павелъ Матвѣичъ восклицаетъ:

— Ахъ, заграница, заграница!

Я думалъ, что этимъ восклицаніемъ кулинарныя воспоминанія исчерпаются; но, видно, много накипѣло въ душѣ у этихъ людей, и это многое уже не могло держаться подъ спудомъ въ виду скораго свиданія съ родиной.

— Баранина у нихъ—вотъ это такъ! А что касается до говядины, до телятины—все у насъ лучше!

— Крысы у нихъ хороши въ Парижѣ; во время осады, говорятъ, все крысами питались.

— Ну, я, кажется, озолоти меня—не стану крысу ѣсть.

— Однако, смотря потому...

— Съ голода лопну, а не стану!

— А французъ ѣстъ; соусцемъ приправитъ, перчикомъ сдобритъ и ѣстъ. Можетъ, и мы когда-нибудь въ Парижѣ кошку за лапéна съѣли.

— И съѣли.

— Вотъ оно чтò соусъ-то значитъ!

— Велико дѣло—соусъ!

— У насъ этихъ соусовъ нѣтъ, потому что наша ѣда— настоящая.

— Какъ же возможно! Наша ли ѣда, или заграничная!

Всѣ трое разомъ зѣвнули и потянулись: знакъ, что сюжетъ начиналъ истощаться, хотя еще ни однимъ словомъ не было упомянуто о ветчинѣ. Меня они, повидимому, совсѣмъ не принимали въ соображеніе: или имъ все равно было, есть ли въ вагонѣ посторонній человѣкъ или нѣтъ, или же они принимали меня за иностранца, не понимающаго русскаго языка. Сергѣй Ѳедорычъ высунулся изъ окна и съ минуту вглядывался впередъ.

— Что̀? видно?—спросилъ его Василій Иванычъ.

— Богъ знаетъ! видно что-то, да не разберу!

— Да, мудрена Россія-матушка, не скоро ее разберешь!

Павелъ Матвѣичъ только махнулъ рукой и сильнѣе прежняго затянулся папироской.

— И прежде трудно было,—сказалъ онъ:—а теперь, какъ вездѣ наслѣдили слѣдовъ, пожалуй, и совсѣмъ не разберешь! Вездѣ для тебя дорога написана, и нигдѣ тебѣ дороги нѣтъ!

— Именно. У меня, въ Навозномъ, дѣло завелось; самъ-то я за границу уѣхалъ, такъ ходоку поручилъ,—представьте! пишетъ, что четвертый мѣсяцъ начальства ищетъ, не можетъ найти!

— Какъ такъ?

— Да такъ вотъ. Исправникъ нынче никакихъ дѣлъ не принимаетъ, а мировые—одинъ въ отставку вышелъ, другой по болѣзни не правитъ, а третій по уѣзду ѣздитъ, поймать нигдѣ нельзя. Нѣтъ начальства—хоть волкомъ вой!

— А вотъ французы, у нихъ начальства даже по закону не положено, а живутъ!

— Спросили бы вы, какъ живутъ-то! Тоже вѣдь какъ и мы, грѣшные, горе мыкаютъ! Голоштанники да республиканцы—тѣ, конечно, рады, а хорошихъ людей спросите—ой-ой, какъ морщатся!

— Какъ можно безъ начальства! Безъ начальства—матъ!

— И хоть бы свобода была! Республика да республика, а посмотришь, да поглядишь—право, у насъ свободнѣе!

— Какъ же возможно, у насъ—просторъ!

— У насъ коли ты сидишь смирно, да ничего не дѣлаешь, такъ никто тебя не тронетъ—Христосъ съ тобой, хоть два вѣка смирно сиди!

— А захотѣлъ разговаривать—такъ не прогнѣвайся!

— И дѣльно—потому молчи!

— Насмотрѣлся-таки я на ихнюю свободу: и въ ресторанахъ побывалъ, и въ театрахъ, вездѣ былъ, даже въ палату депутатовъ однажды пробрался—никакой свободы нѣтъ! Въ ресторанѣ, коли ты до пяти часовъ пришелъ, ни за что тебѣ обѣдать не подадутъ! Послѣ восьми—тоже! Обѣдай между пятью и восемью! Въ театръ взялъ билетъ—такъ ужъ не прогнѣвайся: ни шевельнуться, ни ноги протянуть—сиди какъ приговоренный! Во время представленія—жара, въ антрактахъ—сквозной вѣтеръ. Свобода!

— Да, посидишь въ тискахъ—запросишь простору! А впрочемъ, правду надо сказать: бестіи эти француженки, можно для нихъ и въ тискахъ посидѣть! Насчетъ это лямуру или ляшозу...

— Какъ вамъ сказать, вѣдь и насчетъ лямуру онѣ больше у насъ распоясываются. Знаютъ, что денегъ у русскихъ много—ну, и откалываютъ. А въ Парижѣ и половины тѣхъ штукъ не выдѣлываютъ, что у насъ.

— Говорятъ, Макъ-Магонша лямуру не любитъ.

— Да, и она. Много она для Франціи полезнаго сдѣлала, а частичка тоже и вреда есть. Главное дѣло—иностранцевъ отъ Парижа отвадила. Возьмемъ хоть бы насъ, русскихъ: кабы настоящимъ-то манеромъ, какъ при Евгеніи, лямуръ выдѣлывали, да насъ бы, кажется, и не отодрать оттолѣ!

— Кричатъ: республика, а свободы не даютъ!

— Скажите, однако-жъ: я слышалъ, что картинки такія въ Парижѣ продаются... интересныя, будто бы, картинки пріобрѣсти можно?

— Это для стереоскопа, что ли? Я цѣлую охапку съ собой захватилъ!

— Интересны?

— Отдай все да и мало!

— Тсс!..

— Да у нихъ еще то ли есть! Въ модныхъ магазинахъ показываютъ, какъ барыни платья примѣриваютъ! Пріѣдетъ-это дама—и все изъ большого свѣта!—раздѣнется декольтѐ, а изъ сосѣдней комнаты кавалеръ на нее сквозь щелочку и смотритъ.

— Ишь ты! А она, сердешная, и не знаетъ?

— Иныя и знаютъ, нарочно знакомиться съ кавалерами пріѣзжаютъ. Повертывается она декольтѐ передъ зеркаломъ, а изъ засады — кавалеръ: же лоннёръ... Большіе съѣзды бываютъ.

— И наши, чай, барыньки?..

— Чего ужъ!

Каждый смотритъ на каждаго вопрошающимъ взглядомъ, словно хочетъ сказать: а что, братъ, ужъ не твоя ли?

— Ахъ, дамочки наши, дамочки! — вздыхаетъ Сергѣй Ѳедорычъ.

— Такъ вы и въ палатѣ депутатовъ побывали?—любопытствуетъ Павелъ Матвѣичъ.

— Былъ, въ самый разъ попалъ, амнистію обсуждали. Галдятъ, а толку нѣтъ. Знаютъ, что придетъ Наполеонъ, и всѣмъ имъ одно рѣшеніе выйдетъ—въ Кайенну ушлютъ.

— Вотъ и этого у насъ нѣтъ!

— Зачѣмъ намъ! У насъ, коли ты сидишь смирно, да ничего не дѣлаешь—живи! У насъ все чередомъ дѣлается. Вотъ, пріѣдемъ въ Вержболово—тамъ насъ разсортируютъ, да всѣхъ по своимъ мѣстамъ и распредѣлятъ.

— Турки-то! турки-то! тоже конституціи запросили! Ахъ, прахъ ихъ побери!

— Смѣхота!

— То-то оно и есть! Даже у турокъ взбѣленились, а у насъ—спокой!

— Намъ конституціевъ не надо. Мы и безъ нихъ проживемъ! Разъѣдемся теперь по деревнямъ, амуницію долой—спокой!

Всѣ трое заговорили разомъ: «У насъ какъ возможно! У насъ—тишина, спокой! Какихъ еще тамъ конституціевъ! Долой амуницію — чего лучше!» Гулъ стоялъ въ отдѣленіи вагона отъ восклицаній, лишенныхъ подлежащаго, сказуемаго и связки.

— Нѣтъ, вы только сообразите, сколько у нихъ, у этихъ французовъ, изъ-за пустяковъ времени пропадаетъ!—горячился Василій Иванычъ. — Ему надо землю пахать, а его въ округу гонятъ: ступай, говорятъ, голоса̀ подавать надо! Смотришь, анъ полоса-то такъ и осталась непаханная!

— И ништо имъ, пущай безъ хлѣба сидятъ!

— Зато у насъ мужичка никто ужъ не тронетъ: паши себѣ да паши!

— Развѣ съ подводой выгонятъ — такъ вѣдь безъ этого тоже нельзя!

— Подвода—дѣло, а у нихъ что̀!

— Ахъ, французы, французы! жаль ихъ! Дѣльный народъ, а насчетъ язычка—слабеньки!

— А вы думаете, что они сами этого не чувствуютъ? не

чувствуютъ, что ли, что если Россія имъ хлѣба не дастъ, такъ имъ матъ? Чувствуютъ, да еще и ахъ какъ чувствуютъ!

Опять завопили всѣ разомъ: «чувствуютъ! да еще какъ чувствуютъ! матъ! именно матъ!»

— А позвольте спросить, — вдругъ надумался Сергѣй Ѳедорычъ: — вотъ вы насчетъ Турціи изволили говорить, будто тамъ конституціи требуютъ; стало-быть, это дѣйствительно такъ?

— Чего вѣрнѣе, во всѣхъ газетахъ написано.

— Да! заварили турки кашу! Придется матушкѣ-Россіи опять ихъ уму-разуму учить!

— А позвольте еще спросить: дворяне у нихъ есть... турецкіе?

Вопросъ этотъ сначала словно ошеломилъ собесѣдниковъ, такъ что послѣдовала короткая пауза, во время которой Павелъ Матвѣичъ, чтобъ скрыть свое смущеніе, поворотился бокомъ къ окну и попробовалъ засвистать. Но Василій Иванычъ, повидимому, довольно твердо помнилъ, что главная обязанность культурнаго человѣка состоитъ въ томъ, чтобы выходить съ честью изъ всякаго затрудненія, и потому колебался недолго.

— Какъ, чай, дворянамъ не быть, — отвѣтилъ онъ: — только документовъ у нихъ настоящихъ нѣтъ, а по-ихнему—все-таки дворяне.

— Помилуйте! да у меня въ Соломенномъ и сейчасъ турецкій дворянинъ живетъ, и фамилія у него турецкая— Амурадовъ!—обрадовался Павелъ Матвѣичъ.—Дѣдушку его Потемкинъ простымъ арабченкомъ вывезъ, а впослѣдствіи сто душъ ему подарилъ, да чинъ коллежскаго асессора выхлопоталъ. Внукъ-то, когда еще выборы были, три трехлѣтія исправникомъ по выборамъ прослужилъ, а потомъ три трехлѣтія подъ судомъ состоялъ—лихой!

— И бѣлый... изъ лица, то-есть?

— Немножко какъ будто съ точечками, а впрочемъ какъ есть—русскій: и въ церковь нашу ходитъ, и ругается по-нашему.

— У насъ дворяне—жалованные, а у нихъ—такъ!—пояснилъ Василій Иванычъ:—у нашихъ права, а у ихнихъ— правовъ нѣтъ!

— Сегодня онъ—дворянинъ, а завтра опять халуй!

— Завтра его подрѣжутъ да евнухомъ въ гаремъ определятъ.

— Тсс!.. а что̀, кабы у насъ такъ?

— Вотъ еще что̀ вздумали! У насъ этого нельзя, у насъ—законъ!

— У насъ чего лучше! у насъ ежели ты по закону живешь, никто тебя пальцемъ не тронетъ! Ну, а коли-ежели не по закону—ау, братъ!

Спутники мои, очевидно, начинали повторяться: знакъ, что скудный запасъ разговора приближается къ концу. Всѣ отяжелѣли: Василій Иванычъ вытянулъ руки вверхъ и съ наслажденіемъ сибарита шевелилъ лопатками; Павелъ Матвѣичъ просто-на̀-просто завывалъ, зѣвая; одинъ Сергѣй Ѳедорычъ ёрзалъ на мѣстѣ, но не для того, чтобъ спросить еще что-нибудь, а какъ бы ища куда-нибудь половчѣй примазаться. Если-бъ не близость Вержболова, навѣрное эти люди черезъ минуту заснули бы тѣмъ тревожнымъ, захлебывающимся сномъ, отъ котораго у русскаго культурнаго человѣка стискиваются зубы и лицо въ самое короткое время покрывается глянцовитымъ тукомъ. Однако я былъ убѣжденъ, что еще далеко не все сказано. Не можетъ быть, думалось мнѣ, что они такъ-таки и позабыли о ветчинѣ! И дѣйствительно, предчувствіе не обмануло меня: хотя и окольнымъ путемъ, но они пришли, однако-жъ, къ ветчинѣ.

— Обѣдать, что ли, въ Вержболовѣ будемъ?—спросилъ Павелъ Матвѣичъ.

— Сперва на страшный судъ сходимъ, а потомъ и отобѣдаемъ!

— Да, скажите пожалуйста,—я вѣдь за границей-то въ первый разъ,—что̀ съ нами, собственно говоря, въ Вержболовѣ дѣлать будутъ?—интересовался Сергѣй Ѳедорычъ.

— Ничего, голову сперва снимутъ, а потомъ отпустятъ!—пошутилъ Василій Ивановичъ.

— Нѣтъ, вы серьезно... поучите! Въ первый вѣдь разъ!

— А вотъ увидите. Сперва на одинъ страшный судъ поведутъ—таможенные обшарятъ; потомъ на другой страшный судъ представятъ — жандармы пачпорта̀ осматривать будутъ.

— Посмотрятъ и отдадутъ?

— Ну, тамъ глядя по человѣку. Ежели человѣкъ въ книгѣ живота не записанъ — простятъ, а ежели чего паче чаянія—въ пастухи опредѣлятъ, вмѣстѣ съ Макаромъ телятъ пасти велятъ.

— Однако!

— Въ другихъ земляхъ вотъ этого нѣтъ!

— Въ другихъ земляхъ нѣтъ, а у насъ — порядокъ! Въ полгода всю Европу объѣхалъ — нигдѣ задержекъ не было; а у насъ—нельзя! Ни въѣхать, ни выѣхать у насъ безъ спросу нельзя; всѣ мы подъ сумлѣніемъ состоимъ, можетъ-быть, злоумышленникъ!

— И дѣльно.

— Спокойнѣе. Да ежели и есть задержка — развѣ она велика? Коли я ничего не сдѣлалъ, да пачпортъ у меня чистъ—да хоть до завтра его смотри! Я даже съ удовольствіемъ!

— Еще для меня спокойнѣе. Коли хорошенько пачпортъ, то у меня проэкзаменуютъ, такъ и мнѣ легче. По крайности увѣренность есть, что ни въ чемъ не замѣченъ.

— Ну, насчетъ увѣренности—это еще бабушка на-двое сказала. Начальство—оно тоже съ умомъ: иногда нарочно повадку даетъ, чтобъ ты въ увѣренности былъ, а самъ между тѣмъ примѣчаетъ!

— Что-жъ, и это дѣльно: будь въ страхѣ, оглядывайся. Кабы мы не оглядывались, да насъ бы...

— Вообще у насъ порядку больше. Лишняго не позволятъ, да зато и въ яму упасть не дадутъ.

— А коли по правдѣ-то говорить, такъ вѣдь это-то настоящая свобода и есть!

— Чего свободнѣе! Просторъ у насъ одинъ какой! Зима-то наша! зима-то! Велишь это тройку въ сани заложить—покатывай!

— Да колокольчикъ у коренной подъ дугой заливается, да пристяжныя бубенчиками погромыхиваютъ, да кучеръ пѣсни пѣть велишь... и-ахъ! и-ухъ!

— Въ цѣломъ свѣтѣ такого раздолья не найдешь!

— Опять же насчетъ провизіи: наша ли ѣда, или ихняя.

— Я и сплю и вижу, какъ въ Вержболово пріѣдемъ — сейчасъ же ветчинки кусочекъ спрошу!

— Вота! давеча перечисляли-перечисляли ѣду всякую, а про ветчину-то и позабыли!

— А ветчина между тѣмъ... знаете ли, ѣдалъ я ихнюю ветчину, и вестфальскую, и ліонскую, и итальянскую, всякую пробовалъ, — ну, нѣтъ, противъ нашей тамбовской куда жиже!

— Помилуйте, наша ли свинья, или ихняя! Наша свинья — чистая, хлѣбная, а ихняя — что! Стервятиной свинью кормятъ, да еще требуютъ, чтобъ она вкусомъ вы-

шла! А ты сперва свинью какъ слѣдуетъ накорми, да потомъ ужъ съ нея и спрашивай!

— Трихинъ-то, трихинъ-то, чай, сколько въ ихней ветчинѣ!

— Пожалуй, что окромя трихинъ ничего другого и нѣтъ. Признаться, я все время, какъ былъ за границей, какъ отъ огня отъ ихней свинины бѣгалъ. Вотъ, стало-быть, и еще одинъ предметъ продовольствія изъ реестрика исключить приходится.

— Да и предметъ-то какой!

— Чего еще! Коли безъ опасенія свинину употреблять— хоть на сто манеровъ ее приготовляй! Ветчины захотѣлось: хòшь провѣсную, хòшь копченую—любую выбирай! Свѣжая свинина по вкусу пришлась—буженину заказывай, котлетки жарь, вò щи свининки кусочекъ припусти! Буженина, да ежели она въ соку—вѣдь это чтò! Опять колбасы, сосиски— сколько сортовъ ихъ однѣхъ наберется! Сосиски въ мадерѣ, сосиски съ чеснокомъ, сосиски въ сливкахъ, сосиски съ кислой капустой, сосиски... Э, да чтò тутъ!

Разговоръ внезапно оборвался. Эти перечисленія до того взволновали моихъ спутниковъ, что глаза у нихъ заблестѣли зловѣщимъ блескомъ, и лица обозлились и осунулись, словно подъ гнетомъ сильнаго душевнаго изнуренія. Мнѣ показалось, что еще одна минута — и они совершенно созрѣютъ для преступленія. Къ счастью, въ эту минуту поѣздъ нашъ началъ мало-по-малу уменьшать ходъ, и всѣ сердца вдругъ забились въ виду чего-то рѣшительнаго.

Мы пріѣхали въ Эйдкуненъ, откуда послѣ короткой остановки поѣздъ медленно и какъ-то торжественно повлекъ насъ въ Вержболово. Казалось, Европа сдавала насъ по принадлежности съ какою-то попечительною благосклонностью: вотъ, молъ, они! Берите и распредѣляйте ихъ! Невинными я ихъ отъ васъ приняла и невинными же сдаю вамъ! А ежели и случился съ ними какой грѣхъ, то виновата въ этомъ я одна, а ихъ — простите! Каюсь, я не только открыла имъ доступъ во всѣ рестораны и модные магазины, но многимъ даже развязала языки; однако-жъ я увѣрена, что дома, у себя, они сумѣютъ и помолчать! Не правда ли, mesdames et messieurs?

— Помилуйте! да мы! да никогда! да упаси Боже! — слышались мнѣ воображаемые голоса соотечественницъ и соотечественниковъ, съ готовностью и съ чистымъ сердцемъ устремляющихся на «страшный судъ».

Но на дѣлѣ никакихъ голосовъ не было. Напротивъ того, во время минутнаго переѣзда черезъ черту, отдѣляющую Россію отъ Германіи, мы всѣ какъ будто остепенились. Даже дамы, которыя въ Эйдкуненѣ пересѣли въ наше отдѣленіе, чтобы предстать на страшный судъ въ сопровожденіи своихъ мужей, даже и онѣ сидѣли смирно и, какъ мнѣ показалось, шептали губами обычную короткую молитву культурныхъ людей: «пронеси, Господи!»

— Что, притихла небось!—обратился Василій Иванычъ къ своей женѣ, высокой и статной брюнеткѣ, которая даже въ Парижѣ, этомъ всесвѣтномъ сборномъ пунктѣ красивыхъ кокотокъ, не осталась незамѣченною.

Но красавица ничего не отвѣтила и продолжала шевелить губами.

— Матерію-то куда спрятала? — приставалъ Василій Иванычъ.

Легкая краска, которою покрылось красивое лицо барыни, да какой-то загадочный жестъ внутрь себя, сдѣланный почти безсознательно, послужили отвѣтомъ на этотъ вопросъ. Дѣйствительно, въ эту минуту красавица показалась мнѣ гораздо полнѣе, вальяжнѣе, нежели въ Кёнигсбергѣ за завтракомъ.

— Чай, аршинъ съ тридцать кругомъ себя обмотала?— подмигнулъ Василій Иванычъ своимъ собесѣдникамъ: — а вотъ изъ Вержболова выйдетъ — разматываться начнемъ. Ахъ, барыни, барыни!

Павелъ Матвѣичъ и Сергѣй Ѳедорычъ только махнули руками въ сторону своихъ дамъ, которыя тоже послѣ кёнигсбергской остановки замѣтно пополнѣли.

Вержболово... свершилось!

Насъ попросили выйти изъ вагоновъ, и, надо сказать правду, именно только *попросили,* а отнюдь не вытурили. И при этомъ не употребляли ни огня, ни меча—такъ это было странно! Такая ласковость подѣйствовала на меня тѣмъ болѣе отдохновительно, что передъ этимъ у меня положительно подкашивались ноги. Въ головѣ моей даже мелькнула нахальная мысль: да что-жъ они о страшномъ судѣ говорили! какой же это страшный судъ! Или, быть-можетъ, онъ *послѣ* будетъ?

Но и послѣ никакого страшнаго суда не было. Таможенный чиновникъ съ такою изысканностью обозрѣлъ наши чемоданы, что дамамъ оставалось только пожалѣть, зачѣмъ онъ и ихъ хорошенько не обыскалъ. Жандармскій офицеръ

величаво исполнилъ обрядъ обрѣзанія надъ нашими паспортами, но, исполнивши, съ улыбкой заявилъ, что въ сущности это—пустая формальность, и что по этой статьѣ, какъ и по всѣмъ прочимъ, ожидается реформа въ самомъ ближайшемъ времени. Даже жандармскій унтеръ-офицеръ Тарара и тотъ широко улыбался, словно всѣмъ своимъ лицомъ говорилъ:

— Наши! наши пріѣхали!

Я повеселѣлъ окончательно и, въ порывѣ радости, навѣянной свиданіемъ съ родиной, готовъ былъ даже потребовать отъ Василія Иваныча строгаго отчета.

— Гдѣ же, милостивый государь, тотъ страшный судъ, которымъ вы изволили насъ стращать?

Но онъ предупредилъ мой вопросъ. Въ рукахъ его была паспортная книжка, на которую онъ смотрѣлъ съ какимъ-то недоумѣніемъ, словно ему казалось страннымъ, что послѣдній листокъ, заключающій отмѣтку о возвращеніи, вдругъ исчезъ.

— Ну, теперь, братъ, крѣпко!—проговорилъ онъ вслухъ:— теперь, братъ, ау! ужъ никуда не убѣжишь!

Оглавленіе

V ТОМА.

Благонамѣренныя рѣчи.

(1872—1876 гг.).

		стр.
	Къ читателю	5
I.	Въ дорогѣ	21
II.	Охранители	44
III.	Переписка	77
IV.	Столпъ	102
V.	Кандидатъ въ столпы	134
VI.	Превращеніе	158
VII.	Отецъ и сынъ	187
VIII.	Опять въ дорогѣ	240
IX.	По части женскаго вопроса	280
X.	Семейное счастье	314
XI.	Еще переписка	342
XII.	Кузина Машенька	374
XIII.	Непочтительный Коронатъ	409
XIV.	Въ дружескомъ кругу	446
XV.	Въ погоню за идеалами	473
XVI.	Тяжелый годъ	495
XVII.	Привѣтъ	520

Stanford University Libraries
3 6105 013 383 398

Stanford University Library
Stanford, California

In order that others may use this book, please return it as soon as possible, but not later than the date due.